АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Почетный академик
Н. А. МОРОЗОВ

Повести моей жизни

МЕМУАРЫ

ТОМ ВТОРОЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА · 1965

РЕДАКЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

С. Я. ШТРАЙХА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Проф. *Б. П. КОЗЬМИН*

КНИГА ТРЕТЬЯ

IX. Дни испытания[1]

1. Я вновь на родине

Дремал тусклый серый день.

Когда мы выехали в свой путь с берегов Женевского озера, был полный разгар весны, но, по мере нашего движения сначала к северу, а потом к востоку, мы снова постепенно въезжали в область зимы. Казалось, что с каждой сотней километров я и Саблин удалялись также и в прошлое. Ведь зима, казалось нам, предшествует весне, а мы из весны возвратились в зиму. Взамен зеленеющих деревьев и луговых цветов мы въехали в сугробы снега. Он покрывал здесь все кругом, и ни одна древесная почка еще не наливалась соками на оголенных от листьев сучьях.

На станции нас встретил служащий там немец Крюгер. Он был помощником знакомых нам евреев-контрабандистов и сам занимался контрабандой. Те дали нам его адрес после нашего переезда за границу прошлой весной, и мы посылали на его имя все тюки номеров издаваемого нами в Женеве «Работника», по мере их выхода в свет, для переправки контрабандой в Россию.

Однако теперь Крюгеру, по-видимому, захотелось поработать самостоятельно.

— Зачем вам ездить к евреям так далеко,— сказал он, уводя нас в свой домик.— Я вас так же хорошо переведу через границу, как и они, а возьму дешевле. Они с вас брали по двадцати пяти рублей, а я только по десяти, да и скорее будет сделано.

— А как же вы переправите нас? — спросил Саблин.

— Очень просто! Я возьму вам немецкие паспорта у заведующего этим делом моего знакомого, и вы оба пройдете прямо через станцию под именем германских подданных. Это у нас часто делается.

— Надо подумать! — сказал Саблин.— Главное затруднение, что мы плохо говорим по-немецки.

— Говорить совсем и не нужно,— возразил Крюгер.— Там на станции не разговаривают с проезжающими. Все, что потребуется ответить, это ja, ja! или nein, nein! * — когда будут осматривать чемоданы.

Саблин отвел меня в сторону.

— Как ты думаешь? — спросил он.

— Это было бы хорошо! — ответил я, всегда имея в виду не издержать ни одной лишней копейки из средств, назначенных на общественное дело.— Ведь мы сохранили бы нашему обществу тридцать рублей.

— Да! — сказал он.— Я то же думаю. Можно будет проехать так, как он предлагает.

Он задумчиво пошел от меня и нерешительно сказал Крюгеру:

— Ну, что же, если вы ручаетесь, что проведете благополучно, так делайте по-вашему.

Тот немедленно побежал куда-то и через час принес нам два немецких листка для перехода через границу, один на имя Энгеля — для меня и другой на имя Брандта — для Саблина [2]. С ними мы и сели в передаточный пограничный поезд со своими чемоданчиками в руках и через пять минут возвратились на свою родную землю.

Странно было впечатление о России после заграницы!

Казалось, мы прибыли в военный лагерь. Везде мундиры со светлыми пуговицами, и для нашего глаза, отвыкшего от всего этого в гражданственной, свободной Швейцарии, где даже военные, вне исполнения своих обязанностей, ходят в штатском платье, эта перемена казалась поразительной, тем более, что не только жандармские и полицейские мундиры или мундиры пограничной стражи, но даже пальто штатских чиновников с их светлыми пуговицами казались нам с отвычки военной формой. Вся платформа была оцеплена полицией.

Наши чемоданы были тотчас же взяты из вагона носильщиком. Он провел нас через высокую дверь в большой пустой зал, средина которого была окружена изгородью вроде балконных перил. В ней посредине открывалась низкая перильчатая же дверь, в которую мы и были введены все вместе. В этой изгороди находился неприступный для непосвященных, как бы заколдованный четырехугольник из длинных черных столов, замыкающих в своей средине пустое пространство, где стояли посвященные: жандармы, полицейские и еще какие-то чиновники в

---

* Да, да! нет, нет!

пальто со светлыми пуговицами. Все мы, пассажиры, введенные в изгородь, были поставлены вокруг этих столов, положив перед собою наши полуоткрытые чемоданы.

Прошло полчаса в томительном ожидании. Наконец, явился жандарм с пачкой паспортов, и какой-то чиновник начал выкликать одного за другим владельцев этих документов. Каждый из них показывал тогда пальцем себе на грудь. К нему подходили таможенные служители, шарили более или менее старательно его чемодан, в зависимости от внешности владельца, а затем отдавали ему паспорт, и он уходил со своими пожитками из очистительного зала через противоположную перильчатую загородку, у которой, как и у первой, дежурил жандармский унтер.

— Энгель! — раздался, наконец, возглас чиновника со светлыми пуговицами.

— Ich bin hier! (я тут!) — ответил я.

Он подошел к моему чемодану.

— Haben Sie Tabak? (есть табак?) — спросил он.

— Nein! (нет!) — отвечаю я.

Он порылся и пошел далее, выдав мне мой временный диплом на звание немецкого подданного. Листок мой был действителен только на сутки, да и то в пограничном районе.

То же самое было проделано с Саблиным и с Крюгером, у которого оказалась постоянная книжка на переход через прусскую границу.

Мы были пропущены, как и все другие, через заднюю часть изгороди в другую залу, из которой имели право уже сесть в русский поезд и ехать далее. Но в поезде оказались только первый и второй классы. Мы этого совсем не подозревали, переходя границу. Ехать во втором классе и таким образом даром выбросить деньги, назначенные нами на освобождение России, казалось преступлением.

— Когда идет следующий поезд с третьим классом? — спросил я Крюгера.

— Через четыре часа! — ответил он.— Хотите подождать? Тогда пойдемте к моей куме в деревню и напьемся у нее чаю.

Какой-то пожилой чиновник с жуликоватой физиономией, бритый, с седыми и острыми усами прошел около нас, затем вернулся назад и еще раз прошел мимо, прислушиваясь к нашему разговору. В то же время раздался свисток отходящего поезда.

— В таком случае пойдемте скорее! — сказал я Крюгеру, когда чиновник отошел.

Забрав свои чемоданы, мы отправились через улицу и повернули мимо какого-то трактира за угол по шоссе в соседнюю

деревню. Я посмотрел назад. Из-за трактира выбежал черный длинный полицейский и посмотрел нам вслед.

— Скверно! — сказал я Саблину.— Тот бритый чиновник, верно, послал его посмотреть, куда мы идем.

— Нет! — сказал Крюгер.— Я того чиновника знаю. Он пограничный комиссар Смельский и давно на содержании у контрабандистов. Я и сам ему не раз приплачивал.

Мы несколько успокоились, но далеко не совсем.

«Ведь, если этот взяточник,— думал я,— почует возможность получения несравненно большей взятки с противоположной стороны за поимку нас, то он сейчас же предаст своих прежних приятелей. Такова его физиономия».

— Нам нельзя теперь возвращаться на станцию и ехать оттуда по железной дороге,— заметил я.— На нас уже обращено внимание, и когда мы придем туда, нас, наверно, арестуют.

— Как же теперь быть? — сказал Крюгер.

Было видно, что этот глуповатый человек уже совсем растерялся и перетрусил.

— Наймите в деревне ямщика, чтоб отвез нас в ближайший уездный город или большое село подальше от границы.

— Как же! Как же! Хорошо! Хорошо! — воскликнул Крюгер радостно.— У меня тут брат живет, и он сам вас довезет до Владиславова.

— Вот и отлично. Там мы затеряемся. Бегите сейчас же и велите закладывать лошадей.

Крюгер привел нас в избу к своей куме, велел ей ставить самовар, а сам бросился в один из соседних домов к своему брату.

Инстинктивно чувствуя опасность, я с самого выхода из вагона незаметно держал в левой руке письмо Веры Фигнер, которое она передала мне в Берне для вручения ее друзьям в Москве и которое я обещал ей ни в каком случае не отдавать жандармам. В правом боковом кармане моих штанов находился заряженный револьвер с коробкой запасных патронов на случай, если придется защищать порученный мне документ с оружием в руках, убежав за какое-либо прикрытие. Еще до входа в избу я присмотрел против нее груду разбросанных в беспорядке бревен, где можно было укрыться и отстреливаться с моим запасом патронов хоть целый час против толпы осаждающих, тогда как для уничтожения письма Веры мне было нужно всего лишь несколько минут.

Я сел у окна, не снимая своего пальто, а только распахнув его, в этой жарко натопленной избе, и начал смотреть перед

собой на улицу и в поле за деревней. Там еще не было ничего подозрительного. Кое-где у южных стен домов были видны весенние проталинки. Слежавшийся снег на проселочной деревенской дороге резко отличался от прилегающих к нему белых полей за деревней своим грязно-желтым цветом и отдельными комками или целыми кучками оттаявшего лошадиного навоза, лежавшего тут и там по самой средине тройной полосы извивающегося в даль проселочного пути. Петух важно и гордо ходил со своими курами около одной из таких кучек у самой деревни, энергично разрывая ее своими вытянутыми, как ножки циркуля, шпористыми ногами, и затем показывал в ней что-то сбегающимся к нему курам.

Привычная русская картина зимней оттепели, прикрытая тусклым, серым родным небом!

Вот и наш Крюгер быстро прошел мимо окна, возвращаясь от своего брата, и, войдя в избу, заявил:

— Лошади будут готовы через десять минут.

Мы вздохнули несколько свободнее, но это оказалось слишком преждевременно для нас. Почти в то же мгновение я увидел, как мимо окна пробежал ходивший недавно по железнодорожной платформе жуликоватый седоусый Смельский, окруженный теперь не менее как пятнадцатью городовыми.

— Смотри! — показал я Саблину.

Но он уже сам все заметил. Взглянув на него, я был поражен бледным цветом его лица.

«Неужели так же бледен и я?» — пришло мне в голову.

Но в избе не было зеркала, чтобы я мог видеть выражение своего собственного лица, да не было и времени делать какие-либо наблюдения. В одно мгновение мне стало ясно, что наступил критический момент в моей жизни и далее она пойдет по новому, еще неведомому мне, но нерадостному направлению.

«Надо встретить опасность лицом к лицу,— подумалось мне,— и прежде всего исполнить свой долг! А там будь, что будет! Надо напрячь все свое внимание на настоящее, а будущее пусть заботится само о себе!»

Дверь сразу распахнулась, и вся толпа, ворвавшись, как будто штурмом, в комнату, окружила нас. Я сразу почувствовал, что показать в этот миг какую-нибудь тревогу, сделать резкое быстрое движение, значило быть тотчас же схваченным несколькими руками. А мне этого нельзя было допускать, чтоб не погубить письма Веры, и потому я продолжал сидеть на своем месте у окна, делая вид, что я совершенно изумлен происходящим передо мною и не понимаю, что это значит.

Крюгер, совершенно бледный, стоял в противоположном углу.

— Кто вы такие? — грозно обратился пограничный комиссар к Саблину, как старшему из нас двоих по возрасту.

Он выступил при этом из-за спин городовых, заслонявших его в первую минуту, и его жуликоватая выцветшая физиономия приняла вдруг хищный вид.

— Вот мой билет! — сказал Саблин, подавая свою немецкую бумагу.

— Я уже видел этот билет,— сказал Смельский, сейчас же кладя его в свой карман.— Это пропуск через границу — для немца, а вы русский! Я с самого начала обратил на вас внимание: вы оба русские!

— Нет! — вмешался я.— Мы немецкие подданные, я — Энгель, а он — Брандт.

— А почему же вы так хорошо говорите по-русски?

— Потому что мы выросли в Москве,— сымпровизировал я,— и только три года назад переселились к себе на родину в Германию, после смерти дяди, оставившего нам наследство.

Смельский, видимо, не ожидал такого ответа и на минуту смешался.

— А зачем же в таком случае вы переехали границу с таким отчаянным контрабандистом? — вдруг воскликнул он, видимо обрадовавшись предлогу и показывая пальцем на бледного, растерявшегося Крюгера, стоявшего в углу.

— Мы с ним случайно познакомились в Эйдкунене,— ответил я.— Мы даже и не подозревали, что он контрабандист.

— А что же вы намеревались здесь делать?

— Нам надо было побывать в России по личным делам.

— Каким делам?

— Это наши дела и никого не касаются! — ответил я.

— А! Никого не касаются! — воскликнул он.— Так пожалуйте обратно на станцию, где вас предварительно обыщут.

— Пойдемте! — сказал я.— Но только вы потом будете отвечать перед германским правительством, что задержали без причины немецких подданных.

Комиссар поморщился, но, пробормотав себе под нос какую-то ругань по адресу немцев, велел всем нам идти, в том числе и Крюгеру, от которого, как мы уже знали, он получал не раз подарки за провоз контрабанды.

Но с Крюгером он пошел сзади и, отстав, о чем-то говорил некоторое время вполголоса.

Первой моей мыслью было, конечно, отыскание способа как бы незаметно уничтожить письмо Веры. Я опустил в карман своего пальто левую руку и беззаботно обратился к идущему слева от меня полицейскому:

— Вы давно здесь служите?

— Два года.

— А тяжела служба?

— Да, не легка...

Отвлекши таким образом его внимание от моей руки и действуя в кармане одними пальцами, я оторвал от письма кусок и свернул его в плотный шарик величиною с орех. Вынув потом руку вместе с ним и со своим носовым платком, я сделал вид что вытираю нос, а тем временем просунул шарик себе в рот. Но я чуть не подавился, проглотив его. Совершенно сухой, он едва-едва продрался в мое горло и словно проскреб его до самого желудка.

Смельский, услышав мой разговор с полицейским, сейчас же подбежал ко мне, оставив сзади Крюгера.

— О чем вы говорите?

— Да о трудности вашей службы.

— Да-с, не легка, и скажу: опасна-с! — ответил он.

— А я вот и без нее простудился! — заметил я.— Совсем не могу дышать без боли!

И вновь поднеся платок к своему носу, я принял новый комок бумаги, но проглотил его уже не сразу, как первый, а предварительно покатав языком во рту, и он, влажный, легче пошел через мое горло.

Я сам удивился, как легко я сделал все это. Я никогда не занимался фокусами, никогда не играл ролей в жизни, всегда старался казаться тем, что я есть, а между тем, как только нужда наступила мне на ногу, я вдруг получил способность действовать, как самый завзятый фокусник! Я шел с ними особенно развязно, а в тот миг, когда нужно было действовать незаметно, я быстро взбрасывал глазами на какой-либо отдаленный предмет, и все мои окружающие смотрели туда же, упуская на нужное мгновение из вида мою руку, в которой именно и заключался для них действительный интерес.

Откуда все это бралось? По какой интуиции?

Я сам не могу ответить на подобный вопрос! Велики и таинственны ресурсы человеческой души, и часто сам не знаешь, откуда появляются способности к тому или иному непривычному делу как раз в нужное мгновение, когда все внутренние струны напряжены!

С последним прошедшим внутрь меня глотком сухой бумаги огромная тяжесть, лежавшая свинцовым комом на моей душе, как будто свалилась с нее. Мне стало вдруг так легко!

«Как бы теперь вырваться самому, уведя с собой и товарища?» — мелькнула у меня мысль.

Кругом было поле. Далеко ли граница, я не знал. Я вынул из жилетного кармана мои часы, в циферблат которых, еще со времени моего детства, был вделан маленький компасик, и попробовал узнать по нему страны света, потому что граница, как я знал из географии, должна была лежать прямо к западу от нас, а без компаса нельзя было узнать, где запад, так как никаких признаков солнца не было видно за сплошными серыми слоями туч. Однако компас мой долго не устанавливался от колебания на ходу, и я только приблизительно мог отметить нужное мне направление, а смотреть долго было неудобно. Глаза всех моих спутников тоже уставились на мои часы.

«А как быть с Саблиным? — пришло мне в голову.— Если я побегу назад, отстреливаясь от их погони, то что будет делать он, безоружный? Ведь за меня отомстят на суде ему как соучастнику! Да мы с ним даже и не сговаривались бежать в случае ареста! Нет! — решил я,— раз самое главное сделано, письмо уничтожено, попробуем оба стоять на том, что мы немцы, и требовать нашего освобождения или обратной высылки за границу!»

Это решение сразу успокоило меня. Убить для своего спасения несколько человек казалось мне ужасным. «Отдамся же,— подумал я,— на волю судьбы! Попробую выпутаться изворотливостью».

Но для изворотливости в данном случае оказалось одно большое неудобство: нас было двое. Опытные в подобных делах полицейские крючки сейчас же нас разъединили, а мы, новички и притом выбравшие этот более дешевый способ перехода русской границы экспромтом, не догадались сговориться на такой случай...

Меня ввели в отдельную комнату, Саблина — в другую. В первый момент мне даже не приходило в голову, что это была разлука на много лет. Иначе как утерпели бы мы не броситься тут же на шею друг другу! Но мы здесь расстались как будто на минуту. Меня оставили одного, усадив на стул, под стражей четырех полицейских, не спускавших с меня глаз, и все ушли к Саблину, как к более важному, потому что он был на шесть лет старше меня, а это при нашем возрасте составляло огромную разницу. Я имел тогда совсем юношеский вид, Саблин же обладал внешностью солидного человека, и все внимание сначала направилось на него.

Прошли томительные полчаса. Затем Смельский в сопровождении какого-то писца с чернилами вновь явился ко мне.

— Так вы сказали, что вы русский? — быстро и громко спросил он меня, становясь вплотную передо мною.

— Когда? Я говорил, что я немец.

— Нет! Вы сказали — русский, когда мы с вами шли сюда! Не будете же вы отрекаться от своих собственных слов?!

— Но как же я мог сказать русский, когда я немец?

Мы с минуту молча стояли, смотря в лицо друг другу.

«Какие же, однако, элементарные приемы сбиванья! — пришло мне в голову.— Неужели простые контрабандисты и уголовные, с которыми ему приходилось иметь дело до сих пор, так глупы, что этот дутый апломб их сбивает?»

— Но вы же сами говорили мне! — явно не зная, что еще придумать, воскликнул он вновь с плохо сделанным негодованием.— И как не стыдно запираться! Да и ваш товарищ уже сознался, что он русский. Как его фамилия? Я забыл... Он только что сказал!

Я молча пожал плечами.

— Вы же знаете, что он немецкий подданный Брандт!

Смельский с неприятной гримасой два раза прошелся по комнате, заложив руки за спину.

— Вас надо обыскать! — вдруг воскликнул он.

Полицейские подошли ко мне справа и слева.

— Я сам вам покажу, что у меня есть в карманах,— сказал я, не ожидая их противного прикосновения.

Я вынул из одного кошелек. Глаза пограничного комиссара так и впились в него.

— Много у вас денег?

— Около пятидесяти рублей.

Он раскрыл кошелек, жадно заглянул в него и положил на самый дальний от меня угол стола.

Я вынул из другого кармана револьвер. Все так и отскочили от меня. Я положил его на стол, и револьвер порывисто был схвачен ближайшим полицейским.

— Зачем у вас револьвер? — воскликнул побледневший на мгновение пограничный комиссар.

— Как зачем? Приходится путешествовать по проселочным дорогам, иногда с большими деньгами в карманах. Мало ли что может случиться!

Я выложил из кармана коробку патронов.

— Целая коробка патронов! — воскликнул вновь Смельский.— Письмоводитель, занесите в протокол!

Мне сейчас же велели снять все платье и белье и, подойдя ко мне со всех сторон с руками, готовыми схватить меня при первом порывистом движении, тщательно обыскали все мои карманы. Затем начали протирать швы моих панталон и пиджака, чтоб увидать, нет ли чего под их подкладкой.

— Ваше благородие! — сказал вдруг один полицейский, — за подкладкой деньги.

Это было для меня совершенно ново. Как могли попасть туда деньги? Я вспомнил, что в одном из карманов пиджака уже давно протерлась дырка. Верно, что-нибудь провалилось в нее! Полицейский тотчас же подтвердил мое предположение. Через дырку в кармане он вытащил корректурный листок «Работника», одним из редакторов которого я состоял в Женеве.

Смельский с жадностью схватил его и, не соблюдая никаких знаков препинания, начал читать вслух содержание.

Я с изумлением раскрыл свои глаза: офицер не умеет плавно читать даже по печатному! Это обстоятельство так меня поразило, что я едва мог следить за содержанием читаемого им. Там не оказалось ничего революционного, а только полемика с буржуазией.

— Так вы говорите, что этот листок вам дал... как его вы назвали? Забыл! — опять, резко повернувшись ко мне, воскликнул он.

— Никто мне его не давал. Я и сам не знаю, как он завалился за подкладку. Очевидно, обрывок одной из книг, которые мне приходилось случайно покупать и читать за границей. Вы сами видите, что это клочок, не имеющий никакого значения. Верно, он там лежал уже несколько месяцев.

— Письмоводитель, занесите в протокол: найден листок противоправительственного содержания!

Он взял протокол, прочел про себя, затем взял перо и, торопливо сунув мне его в руки, возопил громким голосом:

— Скорее! Скорее! Подписывайте протокол! Мне сейчас же надо идти!

Он вырвал из своего кармана часы и взглянул на них.

Эта спешность показалась мне подозрительной. «Верно, что-нибудь подтасовано!» — подумал я и внимательно прочел бумагу, прежде чем подписать, но, к моему удивлению, там ничего не было, кроме того, что мне было уже известно.

И. Энгель, — писал я не своим почерком.

Смельский, как голодный волк, схватил протокол и впился глазами в мою подпись. Но тотчас лицо его вытянулось прежней неприятной, косой гримасой.

«А! — догадался я, — так вот в чем дело! Он думал, я глуп или трус и с испугу напишу свою настоящую русскую фамилию! Ну и дурень же он!»

Смельский между тем стал передо мной в величественную позу.

— Вы издеваться надо мной, что ли, вздумали! — с искренним на этот раз бешенством заорал он.

Затем, опомнившись при виде моего спокойного по внешности взгляда прямо ему в лицо, опять начал с пафосом:

— Да знаете ли вы, что за фальшивую подпись на протоколе определяется по суду лишение всех прав состояния и ссылка в Сибирь на поселение?

— А я говорю,— ответил я,— что мне ничего не определяется по суду, потому что подпись моя настоящая!

— Так тогда подпишите и свое звание!

Я прибавил: германский подданный.

— Ну, вот теперь вам уж будет, уж будет поселение в Сибири! Отречение от своего отечества! Измена своему законному государю! — воскликнул он торжествующе.— Вы, может быть, и Энгель по вашей фамилии, да только русский, а не немецкий подданный!

И он театрально посмотрел на меня, как бы говоря: «Вот он теперь в моих руках».

Затем, увидев, что и это меня не приводит к просьбам о прощении, он вновь пробежал несколько раз по комнате, заложив руки за спину, и вновь остановился передо мной совсем с иной, неожиданной для меня, физиономией. На его глазах стояли даже слезы жалости, и притом не к кому другому, как ко мне самому!

— Молодой человек! Мне жаль вас! Жаль вас губить! Жаль вашу молодость, вашу неопытность! Жаль вашу мать, которую убьет ваша грустная неосторожность! Убьет ссылка вас в Сибирь с лишением всех, всех прав состояния за неосмотрительное название себя немецким подданным! Я сейчас же разорву этот протокол, и мы напишем новый, только скажите наконец, что вы — русский!

— Как же я могу сказать: русский, когда я немецкий подданный Энгель и больше ничего! — ответил я, улыбаясь невольно его ломаниям и уже войдя в свою роль.

— Ну, так и гибните же! Гибните! Умываю свои руки! Отираю свои слезы! Вы — не достойны их!

И он действительно отер рукавом глаза.

«Господи, какой глупый комедиант! — подумал я.— Если б он с такими приемами действовал не в сыске, а на комической сцене, какой гомерический хохот возбуждал бы он! Вот оно, наше правительство, вот они, наши начальники, которым отданы в крепостную зависимость русские обыватели!»

— Пойдемте! Пойдемте отсюда! — закричал он вскочившему при этих словах письмоводителю.— Пойдемте к другому! Тот много лучше, много благороднее этого!

И они оба быстро ушли снова к Саблину.

Часа через два или три появился в дверях новый наряд из четырех полицейских. Он сменил прежних и повел меня по грязным полуснежным улицам в местную еврейскую гостиницу, в которой был взят уже для меня отдельный номер во втором этаже. Вся компания поместилась тут же, в одной комнате со мною. Мой кошелек с деньгами остался у Смельского. На мое заявление, что я хочу есть, один из стражи сбегал в его квартиру, куда унесен был также и мой чемодан. Вернувшись, он сказал, что я всегда могу заказывать через свою стражу в гостинице обед, ужин и чай.

Прошло часа четыре или пять. Начинало смеркаться, и Смельский опять с шумом влетел ко мне.

— Молодой человек! — воскликнул он.— Я вам прощаю все, что вы говорили утром, но, как друг, я умоляю вас сказать вашу настоящую фамилию! Подумайте о ваших родных! Есть же у вас кто-нибудь близкий на свете! Подумайте, каково будет их состояние, когда они не получат от вас известий неделю, месяц, даже целый год!

Он вынул носовой платок и отер слезы, вновь показавшиеся на обоих его глазах, так он умилен был своими собственными словами.

Я промолчал. Мне было слишком тяжело думать о своей матери и своих близких и слишком противно было слышать о них от него.

Увидев, что я не отвечаю, и приняв это за признак падения духа, он воскликнул:

— Знаете ли вы, что в отрицании вам нет спасения? Ваш провожатый уже вас назвал, но мне только надо, чтоб вы сами сказали, чтоб можно было хлопотать о смягчении вашей участи ввиду добровольного сознания! Сознайтесь же, и я даю вам честное слово, понимаете, даю честное слово благородного человека, что вам будет прощено все, что вы сделали, и я сам отпущу вас сейчас же на все четыре стороны!... Что же вы не отвечаете?

— Что мне отвечать? Мой паспорт у вас, посмотрите в нем мое имя!

— Молодой человек! — уже с искренним отчаянием воскликнул он и, встав передо мною в театральную позу, продолжал: — Умоляю вас именем бога, пострадавшего за нас и искупившего на кресте наши грехи своею кровью, скажите свою фамилию!

Он возвел глаза к грязному потолку комнаты, представляя, что это — небо.

— Но нет! — вдруг воскликнул он после некоторого молчания, — я знаю, вы не верите в бога! — Он быстро отвел глаза от потолка. — Только ведь верите же вы во что-нибудь другое, высшее нас, в какую-нибудь материю, что ли, или природу, которая создала весь мир, ведь создал же его кто-нибудь? Так вот этой самой материей или природою заклинаю вас — скажите свою фамилию!

Несмотря на весь трагизм моего положения, безнадежности которого я нисколько не преуменьшал, мне было очень любопытно наблюдать все его такие метаморфозы, явно производимые с единственной целью — доставить в Петербург новую жертву для третьего отделения и получить за нее соответствующую «награду». А награда уже, очевидно, мерещилась его жадным глазам не менее как в удесятеренном виде сравнительно с тем, что будет ему дано в действительности, и это именно заставляло его так ломаться передо мной.

— Во имя природы и материи, как ваша фамилия? — повторил он.

— Энгель!

Все лицо его задергалось от бешенства, брови сдвинулись, но он уже знал, что угрозами от меня ничего не вырвешь, и потому, быстро пройдя по комнате несколько раз, он справился с собой и даже, сверх всякого моего ожидания, недурно сострил.

Дело в том, что фамилию Энгель, которая по-немецки значит ангел, выбрал для меня Саблин, а себя назвал Брандтом, т. е. пожаром. Пограничный комиссар, освоившись, очевидно, с немецким языком при долгой службе рядом с Германией, снова стал передо мною и с хитрой усмешкой воскликнул:

— Может быть, вы и действительно «ангел» для кого-нибудь, но только не для меня! Нет, не для меня! Для меня вы хуже чёрта!

Затем лицо его вдруг приняло очень коварное выражение. Очевидно, новая мысль мелькнула в его ограниченном, но хитром, как у обезьяны, мозгу.

— Господи! Господи! — возопил он с деланным отчаянием. — Какой позор! Какой позор! Вот он, образованный человек, — и Смельский показал на меня своим городовым, с неподвижными лицами слушавшим его и тут нервно зашевелившимся, не зная, что им делать. — Он хотел добра народу, а боится это прямо заявить! Скрывает свою фамилию, как уголовный бродяга! Какой позор! Какой позор! Где же все эти ваши разные там идеи! Где они? Где? Скажите мне! Не позорьте их своим трусливым поведением! Не берите себе за образец воров и мошенников, которые всегда так поступают. Разве вам есть чего стыдиться?

«Хочет повлиять на меня, задевая тщеславие, — подумал я, видя, как сквозь стекло, все движения его элементарной психики, — думает, что вот я, в порыве мелочного самолюбия, сейчас же и каркну, как ворона в басне Крылова, а он, как лисица, тут же и подхватит свой желаемый от меня кусочек сыра».

Убедившись, что и это не действует, он дал, наконец, себе передышку. Промучив меня своими приставаниями битых два часа, он ушел, заявив торжественно:

— Теперь я к вам уже не приду! Но я все узнаю от вашего товарища! Я вижу, вы верите еще в дружбу, так я же вам покажу на деле, каковы нынешние друзья! Все друзья ни за грош продают человека! И ваш друг и спутник не лучше других! Скажите же сами, как ваша фамилия!

— Энгель! — ответил я.

Он стремительно выскочил в дверь и бешено захлопнул ее за собой.

— Сильно рассердился! — сказал мне старший городовой. — Отомстит! Я знаю его! Уж лучше скажите ему все!

— Да я же и в самом деле Энгель! — возразил я, зная, что каждое мое слово они передадут своему начальнику.

Я лег на постель и сделал вид, что заснул. Мне не хотелось разговаривать с ними. У меня было страшно тяжело на душе от этой необходимости говорить неправду и от этих монотонных приставаний без конца.

2. Первая ночь под арестом

Городовые, поговорив между собой о чем-то шёпотом, вновь расселись по своим местам. Мало-помалу наступил вечер. Отдохнув немного, я заговорил со своими сторожами о местных делах, чтоб постепенно приручить их. Они отвечали охотно, но зорко смотрели за мной, а старший из них несколько раз пробовал даже задавать мне вопросы о моей жизни и намерениях, и по хитрому выражению его глаз я ясно видел, что все мои ответы он передаст по начальству. Простой крестьянин почти совсем не может управлять своей физиономией, и если хочет вас надуть, то такое же желание вы увидите за версту по его лицу.

Еще днем я заметил окрестности своей гостиницы на случай побега, на котором теперь сосредоточились все мои помыслы. Уже в половине десятого часа вечера я нарочно разделся и лег в постель. Я положил все, снятое с себя, на стул так, чтоб в решительный момент можно было схватить, не рассыпав, и, убежав в одном белье, одеться потом.

«Но только как же я буду без денег? — пришло мне в голову. — Все равно! Как-нибудь обойдусь! Я могу пробыть без всякой пищи дня два, а питьем мне послужит снег. Верстах в двадцати отсюда находится немецкий городок Шервинд, по ту сторону границы, где я останавливался в гостинице почти полгода назад, при своем первом отъезде за границу. Там меня приютят, пока я не получу денег через Клеменца из Берлина».

Я притворился спящим и даже начал равномерно сопеть, наблюдая время от времени за своими сторожами. Я лег нарочно боком, закрыл тот глаз, который пришелся выше, а другой, прилегающий к подушке и затененный от света лампы, время от времени приоткрывал.

Вскоре двое из моих сторожей громко захрапели, но остальные двое сидели с открытыми глазами, покуривая время от времени или обмениваясь друг с другом несколькими словами и заслоняя собою дверь. В окно же нельзя было выскочить иначе, как выбив стекла, потому, что в нем были вставлены двойные зимние рамы. В полночь пришла смена моим сторожам, расположившаяся точно так же, как они: двое дремали и храпели на стульях против моей кровати в полном вооружении, а двое других, заслоняя дверь, переговаривались вполголоса о своих житейских делах, а в промежутки курили папиросы, чтоб разогнать дремоту. Через два часа дежурящие у двери сели дремать и храпеть на стулья, а отдыхавшие заняли их сторожевые места.

Всю ночь для меня не было ни малейшей возможности убежать из-под стражи.

О чем я думал в промежутке между своими наблюдениями в эту первую ночь под арестом? Об очень многом! Мне вспомнилась вся моя прошлая жизнь, вспомнились оставленные мною «на том берегу» друзья. Скоро ли узнают они, что случилось со мной? Очень ли будут жалеть обо мне? Где-то теперь сидит Саблин? Я уже знал от своей стражи, что он был помещен в другой гостинице, и что у него после меня долго сидел наш жуликоватый «пограничный комиссар», как он сам себя называл. Думает ли и Саблин теперь о побеге? Ведь ясно, что нас уже не выпустят, пока мы не скажем, где прежде жили в России, и пока не получат специальных удостоверений нашей личности из указанных нами русских городов. Правда, мы можем оттянуть дело, указав какие-нибудь отдаленные города. Каждому из нас можно в этом отношении говорить, что угодно, не противореча другому, если мы заявим, что жили всегда в разных местах России, и будем сочинять небылицы только о себе самих. Но из указанных нами мест рано или поздно ответят, что там в первый раз слышат об Энгеле и Брандте.

«Не лучше ли в таком случае сразу окончить всю эту бесполезную ложь и назвать свое имя?» — заговорил внутренний голос в глубине моей души.

«Нет, нет и нет!» — ответил ему второй, который, казалось мне, был моим истинным я.

Роились мои мысли в ту тревожную ночь, перемешиваясь с моментами наблюдения за сторожами с целью бежать при первой их дремоте. И постоянно они принимали форму диалога, как это часто бывало при моих одиноких размышлениях о запутанных вопросах реальной, но традиционной морали и о нерешенных еще вопросах науки.

Только к утру, часам к шести, когда сторожа сменились новыми, уже выспавшимися, у меня не осталось более никакой надежды, что они задремлют. Поняв, что днем мне не удастся сделать попытки к побегу, я решил подкрепиться сном и, действительно, забылся на некоторое время, повернувшись к стене.

3. Меня победили!

Говор ли стражи в моей комнате или шум в коридоре за дверью вдруг разбудил меня, я не знаю, так как первым моим впечатлением в момент пробуждения было слуховое ощущение того и другого. Я открыл глаза, обвел ими свою комнату и сразу припомнил все случившееся вчера со мной и Саблиным.

«Так вот пришло оно, неминуемое! — подумалось мне. — Как прежде я был счастлив среди своих друзей, так буду теперь несчастен среди врагов! В кого раз впились когти абсолютизма, того они никогда не выпустят. Со мной будет то же, что с тем воробьем, которого схватил на лету ястреб перед моими глазами, когда я еще был ребенком. Я тогда думал с содроганием: что почувствовала бедная беззаботная птичка, когда в ее тело, словно шесть шильев, неожиданно вонзились когти хищной птицы?

Так будет теперь и со мной, — думал я. — Нет! Со мной будет еще хуже! Со мной будет, как с тем бедным путешественником в Индии, о котором я читал где-то давно. Его схватил за платье тигр, неожиданно выскочивший из джунглей. Он унес его живого на полянку, и другой безоружный путешественник, не способный ничем ему помочь, видел, как тигр, положив его перед собою, играл с ним, как кошка с мышкой. Он ложился около него и зажмуривал глаза. Бедный путник начинал потихоньку уползать, отползал на несколько шагов, но вот прыжок — и тяжелая лапа тигра, вонзив свои когти в его спину,

придавливала его к земле. Затем тигр вновь отпрыгивал в сторону, опять ложился на свой живот, делая вид, что спит, снова давал бедному путнику отползти на несколько шагов и снова прыгал, кладя на него свою лапу. Так много раз повторялась одна и та же ужасная игра, пока тигр не утомился ею и, схватив несчастного за платье, помчался с ним большими скачками к своему логовищу, чтоб дать поиграть с ним также и своим тигренкам, прежде чем перекусить ему окончательно шею».

Я был совершенно искренен в этих своих мыслях и ожиданиях. В то время мы все были убеждены, что Третье отделение не останавливается перед самыми ужасными пытками, когда надо вырвать у заговорщика сознание.

Ведь без этого, думали мы, кто же скажет хоть одно слово? Выдают себя и других, конечно, не иначе, как под пыткой. Потом, выпытав все, что нужно, — думали мы, — человека убивают в крепости, чтоб он никому не мог сказать, что именно они с ним сделали.

И я решил, что, когда меня увезут в Петропавловскую крепость и мне будет уже слишком невыносимо от боли при медленном вытягивании ногтей из моих пальцев или жил из рук, то я, чтобы немного отдохнуть, буду вплоть до смерти давать такие ложные показания, которые доставят им только множество хлопот! Скажу, например, что где-нибудь в лесу зарыто оружие и запрещенные книги, и пусть их едут и роют напрасно там, где ничего нет!

— Хотите, чтоб принесли чаю? — сказал мне старший полицейский, видя, что я уже умылся.

— Да, — сказал я.

Он отворил дверь и вдруг столкнулся там перед моими глазами не с кем иным, как с самим тигром! Тигр уже спешил ко мне, чтобы снова поиграть со мной... Это был, конечно, Смельский. Как и тот тигр, о котором я рассказывал сейчас, он тоже имел свою семью и тоже заботился о ней. И ему самому тоже хотелось вкусно есть, а моральное чувство и чувство любви к ближнему было для него так же чуждо, как и для того тигра в индийских джунглях. Пародируя его недавние слова, я тоже имел бы право сказать, что он, может быть, и был для своей семьи, если не ангелом, то кормильцем, а для меня это был настоящий тигр, такой же беспощадный, как и те, индийские...

Смельский вошел ко мне торжествующий.

— Ваш товарищ Саблин просил вам кланяться! — заявил он, останавливаясь посредине комнаты и смотря на меня с насмешкой.

Он сделал сильное ударение на слове Саблин, чтоб сразу

показать мне, что настоящая фамилия моего товарища Брандта ему теперь известна.

У меня промелькнула мысль: «Итак, Саблин назвал ему себя потому, что ему стало слишком противно разговаривать с такой гиеной. Как же мне теперь быть? А что, если это не так? Что, если Саблин продолжает называть себя немецким подданным, а Смельский сам определил его по списку разыскиваемых Третьим отделением? Ведь там есть и его и мои приметы и даже совсем верные! Может быть, он хочет меня поймать, чтоб подтвердить свою догадку? Ну нет! Ничего не получишь», — подумал я.

— Какой Саблин?

Смельский поднял обе руки к небу, как будто взывал: «Боже, посмотри на его упорство!»

Потом сел у столика против меня и, глядя на меня продолжительным взглядом, как бы созерцая всю глубину моей души, наконец, громко сказал:

— Понимаю, понимаю, молодой человек! Вы и теперь еще боитесь выдать своего товарища! Вы думаете, я вас обманываю, что я сам его обнаружил по разосланным нам всем приметам! Так даю же вам честное слово благородного человека, что он сам вчера вечером сказал мне свою фамилию потому, что он старше и опытнее вас и понял, что скрывать ее бесполезно!

На этот раз я ему поверил. И тон его голоса да и все обстоятельства дела не оставляли для меня никакой возможности сомневаться.

— В таком случае передайте ему поклон и от меня, Энгеля!

— Энгеля? — воскликнул он. — Опять Энгеля! Сколько же дней, наконец, будет ваш Энгель? Ведь я же знаю вашу фамилию! Она тоже — в присланном мне из Петербурга списке и с вашими всеми приметами! Да и ваш товарищ вчера сказал мне ее!

И опять он грустно закачал головой.

— Вы, вижу, верите еще в человеческую дружбу! Не верьте же, не верьте, молодой человек! Верьте в дружбу собаки, кошки, лошади, наконец, коровы, но не верьте дружбе людей! Она только до тех пор, пока выгодна им! Он все сказал о вас, все, все, что вы делали и что хотели делать, возвращаясь в Россию. Все, все! Даже более того! Он многое прямо налгал на вас для собственного своего спасения, чтоб выслужиться перед правительством!

И комиссар опять начал качать головой, как бы говоря про себя: «какая низость, какая низость!»

— Да-с! — воскликнул, наконец, он. — Да-с! Я уверен, что многое из того, что он мне вчера наговорил о вас, он прямо на-

лгал! Нет! Я ему не верю! Нет! Я ему не верю! Я хочу все слышать от вас самих!

«Ну, опять залгал, — подумал я. — Саблин, очевидно, сказал ему свою фамилию, считая бесполезным ее скрывать. На это он имел полное право, но обо мне он, конечно, не сказал и не скажет ему ни одного слова».

— А что же говорил вам обо мне Саблин? — спросил я.

— Он сказал, что вы русский эмигрант, давно разыскиваемый Третьим отделением.

— Неправда! — ответил я. — Саблин вам сказал только одно: что он русский эмигрант, а я немецкий подданный Энгель, ехавший с ним случайно.

— А кто вам передал наш разговор? Это вы? — обратился он грозно к моим сторожам.

— Никак нет, ваше высокородие! — отрапортовал старший с испуганным лицом.

— Кто же это? — воскликнул он, обращаясь ко мне.

— Да это я сам догадался, потому что ничего другого Саблин сказать не мог.

Смельский весь покраснел. Он понял, что попался в ловушку и теперь ему нельзя более клеветать мне на Саблина. Мелочное самолюбие, на которое он хотел действовать у меня, заговорило в нем самом.

— Вы очень догадливы! — сказал он мне иронически, но с явной досадой и злостью. — Только напрасно думаете, что это вам поможет выскользнуть из моих рук!

И он быстро вышел из комнаты, крикнув в дверях моим сторожам:

— Смотрите зорко, чтоб не убежал! От него всего ожидать можно!

— Слушаем, ваше высокородие! — ответил старший.

И они удвоили свою бдительность.

«Глупо я сделал! — подумал я. — Не надо было обнаруживать, что не он меня, а я его вижу насквозь. Надо было разыгрывать роль упрямого наивного юноши и не выходить из нее. Вперед буду умнее!»

— Вы бы лучше все сказали ему, — вновь заувещевал меня старший полицейский. — Он будет пилить вас каждый день с утра до вечера и не отстанет, пока не исполните всего, что ему нужно. Я его хорошо знаю.

И Смельский действительно пилил меня без устали целых пять дней. Правда, он и сам мог бы догадаться, кто такой я. У него был список разыскиваемых тогдашней охранкой с моей фамилией, и там были даны мои приметы: «роста высокого,

лицо круглое, бледное, с тонкими чертами, борода и усы едва заметны, носит очки». Однако в том же списке разыскиваемых было несколько лиц с неопределенными приметами, и потому Смельский не решался козырнуть наудачу моей фамилией, так как тогда ему нельзя было бы продолжать свои утверждения, что он знает, кто я, и уже давно ждал на границе моего возвращения в Россию. Я прекращаю здесь дальнейшее описание его приставаний, чтоб вы не умерли со скуки, как готов был умереть я, слушая его. Тоскливое, однообразное пиление, безостановочно вращающееся в круге одних и тех же немногих и банальных идей, менее всего поддается литературному описанию. Можно ли нарисовать яркими красками тусклый, серый осенний день? Если вы захотите быть здесь правдоподобным, то и краски, и описание ваше должны быть тусклы, как полинявшая ткань, и однообразны, как капли дождя, падающие с крыши вашего дома и монотонно раздражительно ударяющие о подоконник. Переброшу же эти печальные страницы первых пяти дней моего заточения и перейду прямо к шестому дню.

— Ну-с, молодой человек! — воскликнул Смельский, вновь влетая ко мне ранним утром. — Теперь вы в моих руках! Вы были упорны! Никакие мои усилия не могли вас заставить сознаться! Так вот я доведу вас до сознания, да-с, доведу другим способом! Ваш путеводитель, этот плут контрабандист Крюгер, скрывавшийся от меня три дня по ту сторону границы, вчера вечером снова вернулся сюда к своей семье! Он хоть и немецкий подданный, а дом его и вся его семья здесь, и я каждый день ждал, что он придет домой! Теперь он вернулся, и я его сейчас же арестовал! Он уже сидит при полиции, и всякие свидания с ним его жены и шестерых детей прекращены, пока он не скажет вашей настоящей фамилии! Его жена ревет, валяется передо мной на коленях, дети плачут, он сам плачет и умоляет выпустить; говорит, что ничего не знает, что его арест есть разорение всей его семьи! Но я не таков, чтоб уступить! Я им сказал: вините в своем разорении того, кого перевозили через границу, этого молодого человека, который называет себя Энгелем, а в душе безжалостнее чёрта!

Он остановился снова в театральной позе и насмешливо смотрел мне в лицо, явно сознавая, что пустил в своей игре новый козырь, на который вполне рассчитывал. Затем он начал торжественным тоном, наблюдая за впечатлением каждого своего слова:

— Идите, говорю я жене и детям Крюгера, просите на коленях этого Энгеля сказать свою настоящую фамилию, и я даю вам честное слово благородного человека, что сейчас же выпущу Крюгера, — его мне не надо!

Он снова посмотрел мне иронически в лицо.

— Так хотите сейчас же сказать свою фамилию или желаете сначала видеть в своей комнате всех его плачущих детей, на коленях умоляющих вас?

Он явно торжествовал и уже заранее предвкушал успех. Физиономия его теперь напоминала мне гиену, скалящую от удовольствия свои зубы при виде обеспеченной добычи. Он сбросил теперь маску и был отвратителен в своей откровенности.

«Да, он теперь не врет, — подсказал мне инстинкт, — и он действительно погубит всю эту бедную семью из-за простой возможности привезти меня в Третье отделение не безымянным, а с моей настоящей, «открытой им» фамилией, так как он думает, что тогда более выдвинется на глаза начальству и получит бóльшую награду. Я не хочу, — думал я, — губить из-за себя невинных детей и бедную женщину, и как ни неприятно, но мне придется теперь помочь этому поставщику человеческого мяса устраивать свою карьеру за счет моей жизни. У меня нет другого выхода... А вдруг он и тут врет, — мелькнула у меня мысль, — и у него ничего нет в запасе? Я имею право сказать свою фамилию, раз это не вредит никому, кроме меня, для спасения других, но я не хочу быть надутым этой гадиной. Надо проверить его слова».

— Как ваша настоящая фамилия? — громко и твердо воскликнул он.

— Энгель! — ответил я.

— Так беги же в управление! — приказал он сопровождающему его городовому, — и веди их всех сюда! Пусть они все поревут здесь!

Городовой выбежал. Сидя у окна, я видел, как он пересек площадь. Через пять минут он вновь появился на ней в сопровождении плачущей женщины и нескольких девочек и мальчиков.

У меня сжалось сердце. Сомнения прекратились. Нанять какое-либо подставное семейство вместо Крюгера он, конечно, мог, но весь вид его показывал, что трагедия была устроена им реальная, а не подложная.

— Довольно! — сказал я ему. — Пошлите сейчас же другого вашего городового с приказанием освободить Крюгера, и я скажу вам свою настоящую фамилию.

— Верно? — спросил он.

— Верно! — ответил я.

— Так иди! — обратился он к одному из городовых, — и вели немедленно освободить его! А тех не приводи! — он указал на подходящее к крыльцу гостиницы плачущее семейство.

— Слушаюсь! — сказал городовой и быстро вышел.

— Моя фамилия Морозов! — сказал я.

— Морозов! — воскликнул он торжествующе. — Я так и знал это!

Он был в полном восторге. Все лицо его теперь сияло от самодовольства.

— Хотите, — сказал он, насладившись своим торжеством, — я докажу вам, что все это я уже знал заранее и только хотел довести вас до собственного сознания?

И, не дожидаясь моего ответа, он перешел к другому окну, достал из кармана на своей груди сложенный лист бумаги, развернул его, повернувшись ко мне спиной, и отыскал там какое-то место. Потом, сложивши лист так, чтоб найденные им строки оказались самыми верхними, он закрыл его низ ладонью и торжествующе показал мне. Там были мое полное имя и приметы.

— Эта бумага — донесение, которое я уже давно написал о вас для представления начальству, но только ждал вашего сознания.

«Что за ломака! — подумал я. — К чему ему теперь еще новая ложь? Ведь я же отлично знаю из копии этой самой бумаги, напечатанной три месяца тому назад в журнале «Вперед», что она не его «донесение», а разосланный повсюду тайный список лиц, разыскиваемых Третьим отделением! Он в ней закрыл передо мной все остальные фамилии и думает теперь, что я приму этот лист за его собственное донесение обо мне. Ну, что же? Пусть его думает, что хоть тут меня надул».

Пограничный комиссар тотчас же убежал с очевидной целью немедленно телеграфировать в Третье отделение о поимке им двух «важных политических преступников». Я уже знал от своих сторожей, что до сих пор он не посылал о нас никаких извещений в Петербург из опасения, что нас прямо могут вытребовать туда, и в таком случае заслуга в определении моей фамилии достанется не ему, а кому-нибудь из петербургских чиновников, вследствие чего и награда ему окажется меньшей.

Оставшись один, я лег на постель и повернулся лицом к стене, чтоб не видеть своих сторожей. Мне так было горько чувствовать, что меня заставили-таки сказать часть правды — мою фамилию, несмотря на то, что при аресте я твердо решил говорить своим врагам только одну ложь и все время путать и сбивать их с правильных путей в их розысках.

Пограничный комиссар более не являлся, и благодаря этому я чувствовал себя весь этот день несравненно легче, чем предыдущие, несмотря на то, что не спал все ночи, чтоб сделать при первом удобном случае попытку к побегу. Но сторожа, несмотря на мою по внешности беззаботную дневную болтовню с ними,

зорко следили за мною по ночам и никогда не засыпали одновременно.

Только один раз в пятом часу ночи все четверо, показалось мне, захрапели. Я уже встал со своей постели, взяв свое платье со стула, и приготовился быстро перепрыгнуть через полицейского, заслонявшего своею спиною дверь в коридор, и скрыться во мраке ночи. Но в это самое мгновение один из сидящих у противоположной стены открыл глаза и, уставившись тупыми сонными зрачками прямо на меня, встал со своего места. Мне пришлось удовольствоваться тем, что я отыскал в кармане пальто оставленный там на такой случай носовой платок, а проснувшийся сторож тотчас же разбудил всех остальных.

После этого случая около меня бодрствовали всегда не менее как двое, да и остальные тоже постоянно пробуждались.

Прошел еще день и одна ночь, и Смельский ко мне не являлся. Затем за мной пришли трое жандармов и повели на станцию в сопровождении также и четырех моих полицейских. Там меня поместили в отдельное купе третьего класса и повезли в Петербург.

Саблина не было нигде видно. По-видимому, он был отправлен туда еще накануне.

4. *Путь в одиночество*

Быстро проносились передо мною в окнах вагона близкие сердцу, привычные с детства родные сельские ландшафты. Как радостно было мне встретить после моего долгого отсутствия в чужих краях свои родные равнины, с их весенними тающими снегами, с их отлогими холмами и темно-серыми деревушками! Я увидел вновь наши темно-зеленые хвойные леса, выращенные самой природой, без признаков искусственного насаждения, с их ветвями, одетыми кое-где свежевыпавшим снегом. Я увидел вновь проектирующиеся на бледно-голубом фоне неба миллионы тонких коричневых веток в ивовых, ольховых, липовых и березовых рощах, окаймлявших невдалеке железнодорожную насыпь.

Как близка, как знакома сердцу была эта картина! Как будто после долгой разлуки я вновь увидел своих старых друзей!

В природе чувствовалось уже приближение весны, возвращающейся с юга на милый север. Солнце бросало на мое лицо сквозь пыльное стекло вагонного окна свой горячий приветливый луч.

«Прощай, солнце! Прощайте, поля, холмы, леса, все хвойные и лиственные деревья! — обращался я мысленно к проходившим

передо мною предметам. — Прощайте и вы, деревенские домики и избушки, прощайте все люди, большие и маленькие, мужчины и женщины, живущие в них! Я расстаюсь теперь с вами навсегда. Мне не удалось добыть для вас новой лучшей жизни, но я сделал все, на что был способен. И как мало удалось мне сделать!»

Странным казалось мне теперь все проходившее перед окнами вагона. Я никогда еще не смотрел на окружающее с этой точки зрения, когда и леса, и поля, и деревни, и люди оказывались для меня совершенно недоступными.

Я смотрел теперь на все окружающее в земной природе с таким же чувством, как ранее смотрел только на небесные предметы — на солнце, на луну, на звезды, на облака. Все на земле было теперь так же далеко для меня и не могло войти со мною ни в какие непосредственные сношения! Непосредственно и притом ненавистно близки были для меня только грубые лица, сидевшие рядом и напротив, жандармы в полном вооружении, готовые застрелить меня при малейшей попытке бежать от них в недра окружающей меня матери-природы...

Смельский, как я скоро убедился, сопровождал меня лично, но он ехал не со мною, а во втором классе, и, добившись от меня желаемого, сразу принял важный начальнический вид, не обращаясь ко мне больше ни с какими разговорами. На всех станциях местные жандармы, очевидно, предупреждались заранее, в каком вагоне меня везут, так как при самой остановке они становились прямо против моего окна и отгоняли от него случайно проходящую публику, возбуждая тем самым ее особенное внимание.

Публика сейчас же начинала собираться за их спинами, и все старались хоть издали разглядеть меня сквозь стекла. Сопровождающие жандармы сейчас же заставляли меня перейти на противоположную сторону купе и заслоняли окна своими выпяченными грудями с украшающими их орденами. Смельский же выходил на каждой большой станции и прохаживался взад и вперед по платформе, оттесняя вытянутой рукой публику на более дальнее расстояние и важно приказывая ей не подходить близко.

Невольно получалось впечатление, что он тут совершает что-то чрезвычайно важное, что везет в моем лице такого необыкновенного человека, один взгляд на которого достаточен, чтобы вся толпа сейчас же бросилась разрушать в России государственный строй.

«Но я не допущу этого! — говорил вид Смельского. — Я бодрствую здесь, и потому ни один посторонний глаз не увидит такого опасного человека».

Всего же удивительнее для меня было то, что как сами унтера, так и возбужденная ими и боязливо толпящаяся публика, казалось, верили, что тут действительно скрывают какую-то особу, обнаружение которой может привести к большим затруднениям для высшего правительства в России.

Играли ли здесь сознательную комедию, желая придать себе важность в глазах публики, или все это производилось по глупости? Я думаю, что тут одинаково действовали обе указанные мною причины.

И несомненно, что, применяясь везде при наших перевозках, такие меры много содействовали популяризированию нашей деятельности. При каждом нашем проезде взбудораживались все станции железной дороги никак не менее, чем при проезде великокняжеских особ. А это не могло не вызывать по всей сети русских путей сообщения самых разнообразных толков, и потому первично пущенные измышления о наших «развратных» нравах и побуждениях мало-помалу разъяснялись частными разговорами в нашу пользу, как и вообще бывает со всякой клеветой, распространенной в слишком широких размерах.

На петербургском вокзале меня поджидала карета.

Выпустив из вагонов предварительно всю публику, вывели, наконец, и меня, окруженного восемью жандармскими унтерами с их офицером. Меня посадили в карету, офицер сел рядом со мною, двое унтеров напротив меня, и карета рысью покатила в путь. Ее окна были задернуты занавесками, и я ничего не видел на улицах вплоть до того момента, когда мы въехали на какой-то мост, на котором всколыхнулась занавеска моего окна, а затем мы попали внутрь каких-то отворившихся перед нами тяжелых ворот.

Дверь кареты распахнулась передо мною.

Я был во внутреннем очень небольшом дворе какого-то многоэтажного дома. Смельский, сопровождавший меня на извозчике, стоял в нескольких шагах и смотрел на мою высадку. В руках у него был какой-то круглый сосуд, величиною в кастрюлю, завернутый в салфетку, за углы которой он его и держал.

«Какое-то подношение начальству привез! — подумалось мне. — Верно, что-нибудь из захваченной контрабанды».

Но я не имел возможности долее останавливаться на своей мысли. Жандармский офицер, сказав что-то шёпотом Смельскому, оставшемуся на дворе, повел меня по лестнице, находившейся тут же в углу дворика, в третий этаж и ввел меня там в небольшой темный коридор, против которого стояла открытая дверь, а около нее жандармский солдат-часовой с обнаженной саблей и еще двое солдат без оружия, вроде денщиков.

— Сюда! — сказал мне офицер.

Мы вошли в небольшую комнату с обыкновенной печкой у стены, железной кроватью около нее и обыкновенным, как в комнатах, окном, в котором, однако, стекла были матовые, а за ними смутно просвечивала железная решетка своими темными тенями на матовом фоне. У окна стоял небольшой стол и табурет; на кровати лежали синий халат, рубашка, кальсоны и носки, а около них на полу кожаные истертые туфли.

— Надо раздеться! — сказал мне офицер.

Я снял все, что на мне было. Один из служителей взял это себе на руки и ушел.

— Одеться надо в здешнее! — сказал жандармский офицер и, повернувшись, тоже удалился вместе со всеми своими спутниками.

Дверь затворилась, и замок одиночного заточения в первый раз щелкнул за мною.

«Куда меня привезли? — возник первый вопрос. — Как бы узнать?»

Я вспомнил, как перед самым въездом в этот таинственный дом мы переехали через мост. Бросив взгляд в щелку, оставшуюся тогда между занавеской и рамой моего окна, я увидел, что мост был на цепях. Из книг и рассказов я знал, что Третье отделение помещается у Цепного моста, и потому сделал предположение, что меня привезли именно сюда.

«Но в Третьем отделении людей секут!» — пришло мне в голову.

Мне вспомнился куплет из стихов Герцена или Огарева, я уже забыл, кого из них, об этом таинственном месте:

Влепят в назидание
Этак розог со сто,
Будешь помнить здание
У Цепного моста! [3]

Затем мне пришли в голову ходившие тогда повсюду в обществе рассказы, — я слышал их не раз и от своего отца, — что здесь есть кресло, в которое жандармы любезно приглашают сесть особу, вызванную ими в Третье отделение. А как только «он» или «она» сядет, кресло вдруг обхватывает их своими ручками и проваливается наполовину сквозь пол, так что в комнате остается видна только голова приглашенного. А под полом специальные экзекуторы снимают с сидящего или сидящей нижнюю одежду и секут по голому седалищу, после чего кресло вновь поднимается и вызванную особу вежливо и с поклонами отпускают домой.

— Впрочем так, — говорили мне, — поступают только с очень высокопоставленными лицами. Обычных же людей секут здесь просто на дыбе. Для помещения политических, не желающих давать показания, устроены здесь, — говорили мне, — каменные мешки, т. е. глубокие, сложенные из кирпича, воронки, в которые опускают человека, так что ему нельзя ни встать, ни сесть, и, чем больше он там сидит, тем больше вдавливается своею тяжестью в глубину, а это так невыносимо, что хуже всякой другой пытки. Мне показывали даже рисунки подобных мешков с сидевшим в одном из них Нечаевым, который после суда над ним пропал будто бы без следа в этом Третьем отделении.

Потом рассказывали мне, что здесь завинчивают несознающегося в особые колодки и заставляют падать ему на голову с высоты капли холодной воды. Сначала это бывает ничего, но затем человеку становится все мучительнее и мучительнее. Капли начинают, наконец, казаться ему ударами тяжелого молота, которые тем невыносимее, что каждую каплю уже ожидаешь заранее как раз в данный момент. Человек, — говорили мне, — сходит с ума после суток такого испытания.

«Будут ли здесь сечь и меня? — приходил в мою голову вопрос. — Посадят ли в такой мешок? Будут ли капать на голову, когда я откажусь от всяких показаний?»

«Надо быть теперь ко всему готовым, — отвечал я сам себе, — и надо все вынести до конца».

Я знаю, что для современного читателя все мои описанные здесь опасения и мысли покажутся очень наивными.

— В наших политических темницах, — скажет он, — действительно и секли, и пытали, но только пытки применяли моральные, а из физических — большею частью медленно разрушающие тело человека, а не средневековые изобретения, вроде ожидавшихся мною.

Но я отвечу читателю: примите во внимание, что время, которое я теперь описываю, было совсем иное...

Вот почему не было ничего удивительного и в моих предположениях. Ведь я даже не думал, как мои сверстники, что меня будут пытать ни с того, ни с сего. Я только знал, что мои враги беспощадны, что для них необходимо заставить заключенных говорить им правду, так как, иначе, как же они откроют их свободных товарищей? Поэтому и я, как решивший с самого начала отказаться от показаний или во всяком случае не говорить ни слова истины, имел полное право по тогдашним представлениям о Третьем отделении ожидать от него всевозможных жестоких истязаний.

И я их серьезно ожидал для себя в ближайшем будущем и серьезно готовился их встретить.

«А может быть, — подумалось мне (и это была реакция против предыдущего пессимистического настроения), — сюда уже проник под видом одного из виденных мною служителей кто-нибудь из членов нашего общества и освободит в эту же ночь меня и других моих здешних товарищей от заключения? Может быть, я сам найду возможность вылезть через трубу в печке? Может быть, могу, разорвав свою простыню на полосы, спуститься на них из окна? Надо сейчас же все осмотреть и получше ориентироваться в окружающем».

Я подошел к двери. В ней находилось четырехугольное окошечко величиной с маленькую книжку. В нем было вставлено стекло, а за стеклом висел картонный клапан. Ничего не было видно из-за него, как я ни пробовал заглянуть вбок.

Постояв немного и не слыша ничего за дверью, кроме мерных шагов жандармского солдата-часового, побрякивавшего при каждом шаге своими шпорами, я подошел к печи и посмотрел в нее.

Она была обыкновенная голландская и лишь сейчас вытопленная. Влезть в ее глубину было можно, но далеко ли? Достаточно ли широка ее труба? Труба еще не была закрыта. Заслонки лежали на полу у печки и показывали мне своими диаметрами ширину их отверстия, через которое пришлось бы пролезть. Увы, — отверстие моей печной трубы оказалось по их виду меньше внутренней части обыкновенной глубокой тарелки! Моя голова не прошла бы в такую небольшую круглую дыру.

Разочарованный, я подошел к окну.

В нем были двойные рамы, и в них большая форточка.

Я отворил её. Свежий воздух со двора пахнул мне сразу в лицо.

Слыша, что часовой еще ходит по коридору, я быстро поднялся на стул и просунул в нее голову. Передо мною внизу был тот самый двор, в который меня привезли, и мое окно было в самом его углу.

Вертикальные круглые прутья решетки были из железных стержней шириной в обыкновенную свечу и перехватывались рядами толстых горизонтальных железных полос.

Я попробовал потянуть тот стержень, который был против форточки, — он нисколько не подался.

Вдруг шаги часового прекратились у самой моей двери. Я быстро соскочил и с беззаботным видом прошелся несколько раз из угла в угол по комнате.

Подкравшись тихо к двери, я остановился около нее и опять попробовал заглянуть вбок в ее закрытое картоном окошечко. Вдруг картон слегка сдвинулся с места и обнажил серый глаз, смотрящий прямо в мой. Мы несколько мгновений смотрели друг на друга, затем картон начал медленно опускаться, и серый глаз исчез за ним.

В своем желании плотно закрыть отверстие часовой потерял меру. Он слишком передвинул клапан в ту сторону, с которой он смотрел, и потому с противоположной стороны обнаружилась узенькая щелка, достаточная для того, чтоб я мог заглянуть в коридор.

Он был невелик. С левой стороны его ничего не было, а с правой шли одна за другой четыре или пять комнат.

Часовой подкрадывался тихо к каждой из них и минуты по две смотрел в нее. От ближайшей из них тихо доносились до меня через пол коридора быстрые шаги по восьми взад и восьми вперед.

«Заключенный ходит! И, по-видимому, волнуется! Очень быстро бегает»,— подумал я.

Моя камера была в этом коридоре изолирована от всех других. Те были сбоку, а моя против коридора и отделялась от всех еще лестницей, по которой меня привели.

«Зачем меня посадили именно в единственную изолированную камеру? Значит, они считают меня более важным; значит, хотят, чтоб то, что они скоро сделают со мной, оставалось в особой тайне?»

Эта мысль очень взволновала меня, т. е. заставила считать себя обреченным на что-то ужасное.

«Будь, что будет! — сказал я про себя.— Пусть моя жизнь окончится теперь, она окончится честно».

Я уже видел себя замученным и увезенным ночью в море на пароходе и выброшенным в глубину с чугунными гирями на ногах, чтобы никто никогда не мог меня найти. Мне стало очень жалко себя.

5. *Первые дни заточения*

Утомленный своей дорогой и новыми впечатлениями, я хорошо спал в эту ночь.

Я получил накануне обед — суп и жаркое, а к вечеру два стакана чаю с тремя кусочками сахару и небольшим розанчиком белого хлеба.

Я проснулся рано утром, но не вставал с постели, не зная, который час. Карманные часы были отобраны у меня с самого начала. Вот в коридоре раздались шаги, и прежний служитель принес мне умывальник и полотенце и поставил все это у двери. Затем, когда я умылся, он все убрал и принес мне снова два стакана чаю с розанчиком белого хлеба. Он затопил мне печку, вымел пол и собрался уходить. Жандармский солдат-часовой во все время его пребывания в моей комнате стоял, со своей саблей на плече, у отворенной в коридор двери.

— Нет ли здесь каких-нибудь книг для чтения? — спросил я.

— Хорошо! Я доложу,— ответил служитель и ушел.

Вместе с обедом в этот же день он принес мне несколько томов журнала «Заря», кажется, за шестидесятые годы[4]. На каждой книжке был эллиптический штемпель с круговой надписью «III отделение собственной его императорского величества канцелярии». Это окончательно подтверждало мою догадку, что я находился действительно в нем. Открыв книгу, я прежде всего попал на стихотворение, не помню какого автора, кажется, князя Вяземского[5].

Цветики, цветики,
Цветики аленькие...
Ай, да какие ж вы,
Цветики, маленькие!
Ветер ли с запада —
Цветики, цветики,—
С ним вы милуетесь,
С ним вы целуетесь:
«Мы твои верные
Слуги примерные,
Ты нам спасение
И избавление!»
Ветер с востока ли,—
Цветики, цветики —
Вновь перекинулись,
С ним уж милуетесь,
С ним уж целуетесь:
«Мы твои верные,
Слуги примерные,
Ты нам спасение
И утешение!»

Что было далее в этом стихотворении, я уже не помню. Оканчивалось же оно тем самым припевом, который был в начале, т. е. восклицанием:

Цветики, цветики,
Цветики аленькие...
Ай, да какие ж вы,
Цветики, маленькие,
Маленькие!

Стихотворение это осталось на всю жизнь мне памятным, как первое прочитанное мною в одиночном заключении.

Затем я принялся запоем читать романы в этом журнале, чтоб как-нибудь отвлечь свои мысли от предстоящего мне тяжелого испытания. И чтение помогло мне.

Гулять меня не выводили, и потому я прочитывал по три тома в день от доски до доски и через два дня попросил новых, возбудив у служителя явное убеждение, что журнал мне не понравился и что я его возвращаю, не прочитав и десятой части.

Одиночное заключение имеет одну оригинальную особенность. Первые два дня вы чувствуете себя очень нервно, так как не знаете режима этого места заключения и воображение всегда рисует вам самое худшее. На третий день вы узнаете режим и входите в него, все становится так буднично, так обычно. Но зато начинается новое горе. День, ничем не занятый, кажется вам бесконечно длинным. Вы не видите ему конца, он кажется длиннее года; вы думаете, вот прошел уже час, а на деле, если вам оставили ваши карманные часы и вы взглянете на них, то с изумлением увидите, что не прошло еще и минуты!

Эта медленность времени всегда поражала меня в первые дни заточения, особенно когда не давали книг.

Но в этот раз с книгами мне было легче.

Чтение романов и всяких статей (я читал все!) возбуждало воображение, и в голове у меня начинали создаваться собственные романы. Вспоминались друзья на свободе. Каждое их слово, каждый жест, особенно в последние дни перед арестом, выступали с необыкновенной яркостью.

Душа страстно стремилась к ним и пылала к ним такой горячей любовью, как никогда при обычных жизненных обстоятельствах. Воображение не хотело мириться с мыслью, что все для меня уже кончено, являлась надежда на непредвиденное, которое вдруг выручит и бросит вновь в любимую среду, на любимую деятельность.

Такой процесс приспособления совершил в моей душе все свои переходы в первые же шесть дней, которые я провел в изолированной камере Третьего отделения, раньше своего первого допроса.

Но уже наладившаяся жизнь скоро окончилась.

6. Первый допрос

Я отворил форточку своего окна и, когда шаги часового начали удаляться, выглянул в нее.

Порыв сильного ветра дунул мне в лицо, кругом все было серо, и по всему двору, как клочки белого пуха, гонялись друг за другом крупные редкие хлопья снега.

«Внук пришел за дедушкой!» — вспомнились мне слова моей няни Татьяны, утверждавшей, что предвесенний снег приходит для того, чтоб увести с собою на небо осенний, так как промежуточные зимние слои все уже стаяли и остался только тот, который выпал первым, осенью.

Но, несмотря на снежную метель, в воздухе все же пахло весной. Из дальней Швейцарии, где я ее оставил две недели назад, весна добиралась и до наших стран.

«В каком каземате встречу я это время года, которое всегда так особенно любил?» — поднялся вопрос.

«Доживу ли до весны, или уже уморят?»

За дверью раздались шаги, бряцанье шпор, звяканье оружия и ключей. Я тотчас же соскочил с окна и закрыл форточку.

— Надо одеться! — сказал обычный служитель, принося мне мое собственное белье, платье и пальто.

За дверью стояло несколько жандармов.

«Верно, на допрос! — подумал я, одеваясь.— Наконец и для меня пришло время! Не буду отвечать им на угрозы, буду все время молчать».

Меня повели по той же лестнице, по которой я сюда пришел. Перед самой дверью стояла карета, запряженная парой. Кучер на козлах был обыкновенного вида, в синей четырехугольной шапке, синей поддевке с цветным кушаком на искусственно сделанном большом животе.

«Тоже и этот положил себе подушку на живот, как все обыкновенные»,— подумал я.

Я уже давно знал, что кучера карет и частных экипажей для важности всегда делают так и потому тонких между ними не бывает, а этого я считал поддельным кучером из тайной политической полиции.

Внутри четырехместной кареты на передних местах сидели вытянувшись два дюжие жандармские унтера, а на одном из двух задних — жандармский капитан.

— Садитесь сюда рядом! — сказал он мне любезно.

Я сел. Ничего особенно зверского не было на его гладко выбритом лице с черными выхоленными усами.

— Вы здесь недавно? — спросил он меня.

«Как он ловко притворяется добродушным! — мелькнула у меня мысль.— Везет меня на допрос, как будто куда-нибудь в гости! Или он так умственно ограничен, что не понимает того, что делает? Во всяком случае буду с ним тоже очень вежлив. Буду безукоризненно вежлив со всеми, кто вежлив со мной».

— Да! — ответил я.— Меня привезли сюда прямо с прусской границы.

— И зачем вы возвратились? — заметил он.— Уж лучше бы жили там, если удалось убежать.

— Скучно стало по России.

Он начал расспрашивать меня о заграничной жизни; он сам никогда не выезжал из России, и ему интересно было послушать очевидца. Я ему рассказал о горах, о тоннелях и внутренно очень удивился, что он не знает, где именно находится Женева, но я не показал ему своего изумления.

При переезде через мост он открыл оконную занавеску со своей стороны, и я увидел, что едем через Неву.

На том берегу поднимался к серому небу острый, как игла, золоченый шпиц Петропавловской крепости, окруженный массивными серыми гранитными бастионами.

Глубокие, как пещеры, виднелись в их нижней части сводчатые амбразуры, в далекой глубине которых находились решетки, а за ними рамы небольших окон. Я видел их в первый раз, и впечатление получилось очень грустно-романтическое и очень внушительное.

«Вот где мне придется теперь сидеть! — подумал я.— Но это лучше, чем в Третьем отделении. Отсюда будет видна часть Невы. И если я доживу до весны, то я буду тогда смотреть из глубины этих ниш, как река вскроется ото льда и по ней будут ходить пароходы. А в Третьем отделении ничего не видно, кроме пустого глухого двора».

Карета, переехав Неву, направилась в сводчатые внешние ворота бастиона, а затем, миновав какие-то переулки, подъехала к внутренним затворенным воротам, преграждавшим нам дальнейший путь. Они, как будто сами собой, безмолвно распахнулись перед нами, а затем так же замкнулись, пропустив нас. Мы очутились в узеньком промежутке между большим мрачным зданием направо и другим поменьше. И спереди и сзади этого недлинного промежутка находились замкнутые ворота.

Мой жандармский офицер отворил ближайшую к нему дверцу кареты, вышел и пригласил меня сделать то же. Мы пошли по темной лестнице и небольшому мрачному коридорчику в мрачный сводчатый зал с запыленными окнами, прямо за которыми подымались стены бастиона, и потому свет проникал

только сверху. Посредине стоял длинный стол, покрытый зеленым сукном, а вокруг него ряд стульев с высокими спинками. Несколько таких же стульев стояло около стен.

«Вот где меня будут допрашивать! — пришло мне в голову.— Они будут сидеть кругом этого стола, а меня поставят перед собою с безоконной стороны, и за моей спиной будут жандармы с обнаженными саблями».

Но офицер повел меня дальше, в другую, тоже сводчатую комнату, а потом в третью, где на столе стоял самовар, а за ним сидело человек восемь жандармских офицеров разных чинов и возрастов.

— Вот Морозов! — сказал приведший меня капитан.

— А, Николай Александрович! — как будто обрадовавшись, воскликнул любезно высокий подполковник и протянул мне руку, здороваясь.

Я подал ему свою.

— А вот это мои товарищи! — сказал он, поочередно называя мне по именам своих соседей, причем каждый из них поднимался и, звякнув шпорами, любезно и радостно пожимал мне руку с словами:

— Очень приятно познакомиться!

Я могу сказать, что если бы бомба разорвалась внезапно под сводом этой мрачной залы и осколки ее посыпались кругом меня, то я меньше был бы поражен, чем этим нежданным для меня приемом.

— Посидите немного вместе с нами! — сказал мне первый из них и затем, обратившись к другому офицеру, прибавил:

— Дай-ка мне свободный стакан, я налью Николаю Александровичу сам.

Внезапная мысль мелькнула у меня в уме.

«Это они хотят, чтобы я как бы присоединился к их компании, потому что раз я буду пить с ними чай, как со знакомыми, то как же я буду потом отказываться отвечать на их вопросы? Ведь я очутюсь совсем в нелепом положении! Пока пил с ними чай, мы смеялись, любезничали, а потом, после чаю, вдруг не желаю ни на что им отвечать! Нет! мне невозможно принять это предложение! Тут западня!»

— Очень благодарен,— ответил я,— но я только что напился воды в Третьем отделении и совершенно не могу пить.

— Ну так посидите с нами, пока мы сами напьемся. Поболтаем так! — продолжал несколько обиженно подполковник, все еще предлагая мне место рядом с собою.

— Благодарю вас! Но я очень устал сидеть в карете. Я лучше уж постою здесь.

И я подошел к ближайшей стене и прислонился к ней спиной. Вся компания почувствовала себя в неловком положении.

Мне тоже было очень неловко, я не хотел их обижать, но очень боялся попасть в какую-то западню, так как поведение их казалось мне совершенно не соответствующим предстоящему мне допросу, и потому я был в высшей степени настороже. Я думаю, что в этот момент я, стоящий молча у стены перед компанией жандармов, пьющих чай, был похож на пойманного волчонка, только что приведенного и выпущенного в большой комнате среди толпы взрослых людей.

Вот он уходит в отдаленный угол, он садится там, как собака, на задние лапки спиной к стене и молча смотрит, сверкая глазами, на сидящую и разговаривающую посреди комнаты толпу охотников.

Его парализует непривычная обстановка замкнутого человеческого жилища, все эти столы, мебель, стены. Все кажется ему подозрительным, нигде нет близких для его сердца деревьев и кустов, за которые он мог бы броситься. Он покорился судьбе, но он горд и потому молча смотрит, не обнаруживая ничем своего внутреннего волнения, на каждое движение своих врагов, готовый и когтями и зубами защищать свою жизнь от всякого подходящего к нему со злым намерением. А с каким иным намерением могли бы подойти они, охотники, к нему, пойманному ими, связанному и унесенному из его родных зарослей?

Так стоял и я в этой сводчатой, мрачной, большой комнате, смотря то на ее стены, то на стол и компанию своих врагов посредине ее. Им явно было конфузно продолжать свой чай, но еще более конфузно было прекратить его. Положение получилось безвыходное и для них и для меня. Некоторые из молодых покраснели.

Подполковник отхлебнул своего чаю и, как старший среди всех, обратился, желая начать какой-нибудь разговор, к сидящему напротив него:

— А что, вчера вы были в цирке?

— Был,— ответил тот.

— Видели что-нибудь интересное?

— Да, приехавшие из Америки атлеты делали там удивительные вещи.

Он собрался было рассказывать, но тотчас раздумал, очевидно почувствовав, что в его рассказе не выйдет увлечения, соответствующего данному случаю, и эффект потеряется.

Наступило молчание. Подполковник допил свой стакан и, встав с места, сказал мне:

— Ну пойдемте!

Мы вышли в небольшую комнату с письменным столом, на котором лежали кучи бумаг. Он сел по одну его сторону, а меня пригласил на стул напротив.

Он взял сбоку стола синюю папку с ярлыком, на котором каллиграфическим крупным почерком было написано: «Дело Морозова».

В папке было уже несколько листов исписанной бумаги. Он порылся в ней и подал мне один небольшой, почтовый.

— Скажите, вы получили в Женеве это письмо?

Я взглянул и с изумлением узнал почерк своего отца.

— Можно прочесть? Иначе я не могу сказать, получил ли.

— Да, конечно.

Я начал читать. Это был ответ отца на мое письмо, посланное ему тотчас после отъезда за границу, в котором я просил его сообщить, какие будут далее наши отношения и как здоровье матери, сестер и всех домашних.

В нем было написано, что моя мать и сестры здоровы и что, если я желаю восстановить с отцом прежние отношения, то должен возвратиться в Россию, явиться в Третье отделение, принести чистосердечное покаяние во всем, что сделал, увлеченный, по неопытности, злонамеренными людьми в их противозаконную деятельность.

«Я обещаю, что твое чистосердечное раскаяние и неопытность будут приняты во внимание и ты получишь возможность снова возвратиться в семью»,— оканчивал отец.

Таково было содержание письма, которое я бегло просмотрел.

— Получили ли вы такое? — спросил меня снова подполковник.

— Нет! — ответил я.

— А мы думали, что вы возвратились потому, что послушались совета вашего отца.

— Но как же я мог получить его письмо, когда оно попало вместо меня к вам?

— Это копия. Ваш отец был у шефа жандармов и спрашивал совета, как ему поступить; он ручался, что вы у него не так воспитаны, чтобы захотели серьезно заниматься противоправительственной деятельностью, и просил отдать вас в случае возвращения ему на поруки. Шеф жандармов обещал ему взглянуть сквозь пальцы на ваше дело из уважения к общественному положению вашего отца и отдать ему вас, прекратив дело, если вы, конечно, принесете чистосердечное раскаяние. Советую вам сделать это, и через две недели или даже менее вы будете свободны, а иначе вам предстоит лишение всех прав состояния и ссылка в каторжные работы.

«Так вот,— пришло мне в голову,— причина, по которой они так любезно пригласили меня пить чай к себе».

Я был глубоко возмущен против отца.

«Значит,— подумал я,— у нас с ним действительно нет никакого понимания друг друга, никаких точек соприкосновения, на которых мы могли бы сойтись! Получив мое письмо, он сейчас же понес его к шефу жандармов и советовался с ним, как со мной поступить! Но ведь это же предательство меня!»

Как и всякий сильно взволнованный человек, я не был способен стать на точку зрения русского обывателя, сформировавшегося в сороковые годы XIX века в крепостнической России, который не видит никакой надежды стать гражданином свободной страны и потому заботится только о своем семейном благе. Возмущенный до глубины души, я не был способен принять во внимание и того, что в уме отца невольно оттиснулся тот чисто клеветнический образ русского революционного деятеля, каким изображала его тогдашняя реакционная печать, между тем как прогрессивная пресса выходила в публику с наглухо заткнутым ртом в этом отношении.

Если б я принял все это во внимание, мягче отнесся бы к отцу. Но мне было тогда только двадцать лет, и как мог я понимать подавленную психологию более зрелого возраста русских обывателей в семидесятые годы? Прочитав это письмо, я почувствовал, как оборвалась в моей груди последняя нить, связывавшая меня с отцом, и я мысленно сказал себе: «Если бы мне пришлось умирать с голоду в нескольких шагах от крыльца моего бывшего дома, то я не лег бы на его ступени и даже не крикнул бы «помогите!» из опасения, что меня услышат и принесут к отцу ранее смерти!»

Я на него нисколько не сердился, я его не возненавидел. О нет! Ничего подобного не было в моей душе, но я почувствовал, что отец стал мне в этот миг чужой человек, с которым у меня нет и не будет ничего общего.

Все это промелькнуло у меня в уме в несколько минут, пока подполковник объяснял мне положение дела и советовал во всем послушаться отца для моей же собственной выгоды.

— Выдайте мне всех ваших сообщников,— сказал он,— и я даю вам честное слово, что вас выпустят через несколько дней без всяких ограничений вашей свободы и даже никто никогда не узнает того, что вы мне здесь сказали наедине!

Он многозначительно взглянул на меня.

Я смотрел в это время прямо в его смуглое лицо, на котором даже не было видно какого-либо особого клейма подлости, за исключением слов, только что вышедших из его рта. Они же

в просторечии звучали так: даю вам честное слово укрывать подлость, которую я предлагаю вам сделать!

Да, это была странная комбинация понятий о честности и подлости!

Она сразу изменила мое первоначальное решение раз навсегда отказаться отвечать на какие бы то ни было вопросы о моей деятельности.

«Это,— подумал я,— было бы уже слишком глупо. Воздавай таким людям то, что им принадлежит по праву. Не стесняйся им лгать, потому что сами они — олицетворенная ложь и отцы лжи. Вот ты откажешься им отвечать, а они будут мучить тебя ежедневными приставаниями, как недавно Смельский, и употреблять против тебя или моральное давление, как он, хотевший поставить перед тобой на колени всю семью Крюгера, или — кто знает? — будут применять к тебе прямые пытки».

— Мне некого выдавать вам, потому что я совершенно не участвовал ни в чем противозаконном,— ответил я.

— Зачем вы это говорите? — сказал он.— Вы отлично знаете, что нам уже многое известно из других источников. Скажите, например, вы знаете Иванчина-Писарева?

— Нет!

Подполковник развел руками.

— Знаете Алексееву?

— Нет!

— Знаете Клеменца?

— Нет!

— Знаете Кравчинского, называющего себя Михайловым?

— Нет!

Подполковник сердито развел руками. Его брови сдвинулись, лицо стало мрачно.

— Если вы выбрали себе эту систему защиты, уже давно изобретенную беглыми каторжниками, то вы далеко с ней пойдете, прямо в Сибирь. Последний раз предлагаю вам послушаться моего совета, говорите правду.

— Да я и сказал правду. Никого из них не знаю.

— Ну, а если их приведут к вам на очную ставку?

— Тогда, я уверен, и они меня не узнают.

— Но ведь вы же с ними составили тайное сообщество, это ваши товарищи!

— Ни в каком тайном сообществе я не состою.

— Хорошо! В таком случае, скажите, где вы были в мае прошлого года?

— Этого я не имею возможности сказать вам!

— По каким причинам?

— По личным. Это касается одного меня.

Подполковник мрачно перелистал какие-то бумаги в папке, относящиеся ко мне.

— Итак,— сказал он,— вы не желаете оказать нам никакой помощи. Не получите вы ее и от нас! Мне жаль огорчить вашего уважаемого отца. Но при вашем поведении ничего для него нельзя сделать. Уж лучше б вы прямо отказались отвечать.

«Да,— подумал я,— тогда вам, очевидно, легче было бы справиться с вашим делом! Он не сознался,— сказали бы вы,— но зато и не отрицает ничего! Да! Хорошо, что я так сделал!»

Подполковник взял лист бумаги и начал писать, произнося вслух часть фраз. «Марта месяца допрашивал арестованного... который показал...» И он начал от моего имени резюмировать все мои отрицания, дополняя их новыми по добавочным вопросам, и затем предложил мне подписать эту свою рукопись, которая целиком состояла из кратких фраз: «такого-то не знаю, такой-то не видал, о таких-то не слыхал, а о том, что сам делал в такие-то периоды, не скажу»...

Я подписал протокол, и таким образом для будущего историка революционного движения семидесятых годов создался от моего имени официальный документ, который на самом деле был составлен самим подполковником.

Прошу же историка не винить меня за его дурной слог и не верить в нем ни одному слову!

7. Унижение

Подполковник встал и повел меня обратно уже без всякого следа того радушия, с которым он меня встретил. Его физиономия выражала теперь полное безразличие. Но по всему было ясно, что в глубине души ему чрезвычайно неприятно: этот мальчишка, каким он считал меня, против собственной воли говорил каждым своим взглядом, каждым движением: если вы взяли на себя роль моих палачей и палачей моих друзей, то зачем же вы так любезничаете со мною?

Если б мальчишка надерзил, то можно было принять величественную позу и наказать его, но он, наоборот, явно пытался все время не обнаруживать своего нелестного мнения, и это было тем обидней. Кроме того, было неприятно и отсутствие каких бы то ни было результатов из допроса. Одно попусту потраченное время!

Когда мы вышли в залу, там на столе еще кипел самовар, и даже пар выходил узкой струйкой из клапана в его крышке,

Вокруг него по-прежнему стояли пустые и недопитые стаканы, но из компании уже никого не было. Мы прошли обратно через сводчатую комнату, где стоял посредине зеленый стол со стульями кругом него, как бы для тайного суда, и вышли в первый зал, где сидел в ожидании меня жандармский офицер. Подполковник передал меня ему, сказав ему несколько слов шёпотом. Потом раскланялся со мною, подал мне руку как-то нерешительно, словно не зная, приму ли я ее, и быстро ушел обратно.

Развозящий офицер вывел меня по темной узкой лесенке в простенок, замкнутый глухими воротами с обеих сторон, и сказал что-то на ухо вознице ждавшей кареты.

Мы сели в нее в прежнем порядке: офицер налево от меня, а два унтера против. Ворота двора снова отворились невидимым привратником и бесшумно замкнулись за нами. Сидевший напротив жандармский унтер задернул занавеску около меня, а второе окно, около офицера, осталось открытым. Мы поехали теперь по Петербургу совсем другим путем, какими-то садами, переехали два или три деревянных моста и выехали на набережную Невы, еще покрытой льдом. Вот показался знакомый мне Николаевский мост, мы переехали через него, направились далее по набережной и повернули в какие-то улицы.

— Куда вы меня везете? — спросил я офицера.

— А вот увидите! — ответил он.

Жандармский офицер теперь был новый, с черными усами, с капитанскими эполетами и с очень неинтеллигентной физиономией, походившей скорее на солдатскую. Он почти все время смотрел в свое окно на улицу и этим давал мне возможность тоже видеть часть города мимо его головы, хотя он и делал это явно без всякого намерения.

Мы выехали на набережную неширокого канала, проехали по ней некоторое время и повернули кругом какого-то кирпичного здания, стоящего отдельно у берега этого канала, перекрещивавшегося здесь с другим. Здание по внешности походило на средневековый замок, и мы остановились у его крыльца, к которому поднимался подъезд, со ступеньками, не прямо идущими, а направо и налево вдоль стены. Мы остановились перед ним и стали подниматься по ступенькам. Бросив взгляд вперед, я увидел перед собой серый каменный мост, как будто с четырьмя башнями на нем, соединенный толстыми висячими цепями. Направо, на продолжении канала, был целый лес корабельных мачт; еще правее, за другим каналом, стояло какое-то коричневое кирпичное здание вроде дока или, скорее, морского арсенала.

«Куда это я попал? — думалось мне.— Неужели в какую-нибудь морскую темницу! Почему в морскую? Не хотят ли они

меня везти морем в Кронштадтскую крепость, чтобы я был дальше от Петербурга и лучше было бы можно выпытывать от меня показания? Значит, благодаря моему отказу рассказать, где я был и что делал перед отъездом за границу, они мне придают теперь большое значение!»

Но не успел я еще закончить этих мыслей, как, высадив из экипажа, меня ввели в комнату типически казенного вида, где стояли и сидели десятка полтора городовых, а оттуда проводили в кабинет с зеленым столом, за которым сидел пожилой полицейский полковник.

Мой жандармский капитан вынул из внутреннего кармана на груди своего пальто бумагу и вручил ее полковнику. Тот прочел, расписался в ней и возвратил, а затем обратился ко мне:

— А где же ваши вещи?

— Не знаю,— ответил я.— Меня арестовали две недели назад на прусской границе. Там отобрали мой чемодан с бельем и деньги, и более я их не видал.

— Кто отбирал?

— Пограничный комиссар Смельский.

— А у вас в Петербурге есть родные?

— Нет! — ответил я, хотя и знал еще за границей от случайных знакомых, что мой отец приобрел, как они выражались, «роскошный дом на Васильевском острове», в котором намерен жить зимой, переезжая лишь на летние месяцы в имение.

— Так надо вам написать на границу, чтобы немедленно выслали и чемодан и деньги, а то вам у меня, может быть, долго придется сидеть, а содержание вам полагается только десять копеек в сутки и никакой одежды и белья.

— А где же я нахожусь?

— В Коломенской полицейской части.

— Где?!

— В Коломенской части,— спокойно повторил он, очевидно, нисколько не разделяя моего изумления и думая, что я не расслышал его первого ответа.

«Так этот романтический темно-коричневый средневековый замок поблизости взморья,— ударило мне в голову,— простая полицейская часть!»

О, какое унижение почувствовал я в первую минуту, какое страшное падение с заоблачных высот своего воображения прямо на прозаическую землю!

Меня, ожидавшего стать мучеником за гражданскую свободу своей родины, раз не удалось сделаться ее национальным героем, новым Вильгельмом Теллем, не захотели обратно везти в темницу Третьего отделения! Меня, готовившегося так искренно и

серьезно к пыткам и каменным мешкам, вдруг сначала приняли за тайного предателя, возвратившегося в Россию по письму своего отца, и пригласили, прежде чем сделать подлость, напиться хорошенько чаю в комнате производящих дознание жандармских офицеров! А затем, не получив желаемого, привезли меня не в сырую мрачную камеру внутри серого бастиона Петропавловской крепости, с глубокой, как пещера, амбразурой окна и видом на широкую волнующуюся Неву, и не в Кронштадтскую крепость, а в обыкновенную часть, в какую ежедневно сажают подобранных на улице пьяниц и всяких мелких воришек! О, кто мог бы придумать для меня более сильную обиду!

Сидя в карете, которая меня сюда везла, готовый после своего допроса ко всем пыткам, я мысленно повторял куплет из стихотворения, написанного кем-то в Петропавловской крепости под музыку ее курантов:

Славься, свобода и честный наш труд!
Пусть нас за правду в темницу запрут,
Пусть нас пытают и мучат огнем —
Мы песню свободы и в пытках споем! [6]

И вот, в результате простая полицейская часть, где разве только побьют кулаками, если я чем-нибудь рассержу пристава! Неужели меня и в самом деле из издевательства посадят прямо к пьяным? Ведь от жандармов всего можно ожидать! Но я и это вынесу, чтобы отомстить потом!

Я еще не знал, что в Петербург к этому времени свезли со всей России не менее двухсот человек, ушедших в народ, и что, по причине недостатка места в крепости, избыток политических размещали теперь по темницам, арендованным Третьим отделением у некоторых окраинных полицейских частей, и что заточение в них было нередко еще строже, чем в крепости.

— Напишите же сейчас заявление,— сказал мне пристав,— что при аресте в Вержболове у вас отобрали чемодан и пятьдесят рублей денег и что вы просите меня истребовать их оттуда и доставить вам!

Он дал мне лист бумаги и продиктовал должный заголовок.

Чтобы не возвращаться еще раз к этому предмету, я сейчас же сообщу и результат своей бумаги. Дней через десять меня неожиданно вызвали в канцелярию части. Я думал, что ведут на допрос, но оказалось совсем не то. Тот же самый пристав подал мне ответ ему Смельского, ответ ясный и категорический: «Никакого чемодана с бельем при аресте Морозова не было,

а денег у него было только пять рублей, которые он сам же и издержал в гостинице».

Я весь покраснел от стыда. Ведь пристав может подумать, что я хотел получить не принадлежащий мне чемодан и деньги! Но он оказался опытнее меня в таких делах.

— Вы, верно, не потребовали у него расписки в получении ваших денег и белья?

— Мне и в голову не приходило!

— Ну, вот видите! Значит, сами виноваты! Даже деньги отдали без расписки! Человек и видит сразу, что имеет дело с очень непрактичным господином. Теперь вы от него уже ничего не получите!

Таков был финал моих личных отношений к пограничному комиссару Смельскому. Потом мне говорили, что на моем аресте он действительно сделал себе карьеру, даже попал впоследствии в «Священную дружину»[7], руководившую провокацией в царствование Александра III. Более я о нем ничего не слыхал.

Но все это было потом, и я здесь очень далеко забежал вперед в моем рассказе.

Возвращусь же поскорее к тому моменту, как меня, к великому моему разочарованию, привезли после допроса в Петропавловской крепости в Коломенскую часть.

Как только здесь были окончены все первоначальные формальности моего приема и мои карманы были обысканы городовыми, пристав сказал вызванному им околоточному:

— Отведите их в отделение для политических!

Такое название несколько уменьшило мое первоначальное огорчение. Значит, здесь все же есть политическое отделение, а не одни общие камеры для пьяных и воров!

Мы с околоточным вышли задним ходом во двор, весь окруженный высокими многоэтажными зданиями, и, пройдя поперек, поднялись по лестнице в самый верхний из этажей. Там была большая комната, из стены которой торчал медный кран и под ним железная раковина для приема воды, а налево от нее полутемный коридор, по которому ходил часовой.

Здесь нас встретил служитель, отставной солдат времен Николая I, с седой короткой щетиной вместо бороды на морщинистом подбородке и щеках.

— Который номер свободен? — спросил его околоточный.

— Первый! — ответил солдат, и, войдя в коридор, отворил в нем дверь в первую комнату налево.

Она была очень небольшая. Кровать с матрацем и подушкой, покрытая серым войлочным одеялом, стояла у ее правой стены. Прямо под окном, находящимся значительно выше, чем

в обыкновенных комнатах, стояли простой деревянный столик и табурет. Окно было с железной решеткой, помещавшейся, как и всюду, снаружи, по ту сторону рам.

— Разденьтесь, пожалуйста! — сказал мне околоточный.— Вас здесь снова должны обыскать.

Я снял с себя все и положил на кровать. Служитель осмотрел карманы и складки моего платья и белья, затем оба удалились, и большой тяжелый тюремный замок вновь загремел за моей дверью.

Я тотчас же встал у самой двери и прислушался. Теперь я более не опасался, что меня начнут пытать.

«В частях только бьют, а не пытают!» — повторил я сам себе несколько раз для того, чтобы окончательно убедиться в своей безопасности в ближайшие недели.

И это подействовало.

Приподнятое, готовое сейчас же на всякую жертву и муку, настроение улеглось. Но разочарование стало тем сильнее. Ни в одном романе я не читал еще, чтобы героя сажали в часть, и, если я убегу отсюда, мне нечем будет гордиться. «Бежал из Коломенской части!» — это звучит совсем уже не так громко, как «бежал из Петропавловской крепости» или «из темницы Третьего отделения», где я сидел до сих пор. Нет! Куда хуже! Но все же надо попытаться и осмотреть местоположение!

Услышав, что за дверью тихо и в просверленное в ней круглое отверстие, закрытое сзади клапаном, никто не смотрит, я подставил табурет к окну и взглянул в него. Оно было без матовых стекол и с большой форточкой. Подо мной на значительной глубине был замкнутый со всех сторон небольшой дворик, и я смотрел в него из своего окна, как в колодезь. Там было пусто, лишь изредка проходили городовые. Вверху расстилалось серое небо, и, кроме неба да дворика, да пустынного канала налево между стенами здания, ничего не было видно.

Я опустился и приложил ухо к стене за кроватью. Там раздавались по каменному, как и в моей камере, полу гулкие быстрые шаги: шесть назад и шесть вперед. Где-то далее перемешивались с ними более слабые шаги, и, наконец, можно было отличить еще совсем мелкие, очевидно женские, по восьми взад и восьми вперед.

«Это товарищи по заточению! — подумал я.— Как бы войти с ними в сношения?»

8. Тук, тук, тук!

Современный читатель, давно уже знающий, что во всех темницах политические заключенные перестукиваются друг с другом, едва ли поверит, что я, полгода действовавший со своими друзьями в Москве и почти полгода живший за границей, ничего и не подозревал об этом. А между тем это было так! Ведь это мы изобрели и ввели в практику перестукивание, хотя, может быть, оно употреблялось и до нас декабристами, петрашевцами и т. д. ...[8] Но они не оставили традиции, и мы должны были все изобретать самостоятельно и вновь.

До нас политические заключенные были так редки, что их можно было рассаживать далеко друг от друга и этим достигать полной изоляции. Никогда ни в России, ни за границей в наших многочисленных вечерних или дневных разговорах о заточенных не упоминалось в моем присутствии о их перестукивании, и никто из моих товарищей в Москве или за границей, по-видимому, и не думал о возможности такого способа сношений. Правда, в Петропавловской крепости стук уже практиковался почти целый год до моего ареста, хотя и своеобразным способом: там стены всех камер были обиты тогда толстым войлоком, чтобы узники в отчаянии не могли разбить себе головы о каменные стены, и стучать в них было невозможно. Но шаги узников были слышны даже через камеры, и заключенные сначала переговаривались там шагами, делая для *а* один шаг, для *б* два и так далее и останавливаясь на более долгий промежуток при переходе к новой букве. Так они в долгие томительные дни узнавали этим медленным путем фамилии соседей, положение следствия или делились с товарищами случайно добытыми новостями. Потом, мало-помалу, они условились друг с другом и об употреблении более удобной азбуки.

Но я, никогда еще не сидевший в крепости и никогда не имевший непосредственных сношений с сидевшими там или с навещавшими их, и не подозревал об этом способе разговора.

«Как бы войти в сношения с соседями?» — ломал я себе голову, стараясь найти в своих стенах какую-нибудь щелку. Но ничего подобного не было.

Я лег на свою постель и закинул руки за голову. Сильный голод мучил меня. Утром я выпил только свои два стакана чаю с маленьким розанчиком в темнице Третьего отделения, затем отказался пить чай на допросе, а к двум часам меня привезли сюда. Никто не приносил мне в этот день ничего есть, — казалось, об этом забыли совсем. Сильный голод так и щемил у меня под ложечкой, и, чем далее, тем мучительнее делались его

приступы. Я старался отвлечь свои мысли, думая о далеких друзьях, старался представить, что они теперь делают, но это помогало мало, голос физической природы становился сильнее всего остального, он заглушал все. Время казалось бесконечно длинным.

Легкое чирикание, как стук древоточца, послышалось где-то в глубине стены. Я сразу насторожился.

«Здесь,— думал я,— в каменном здании не может быть древоточцев, а между тем их постукивание ясно слышно где-то в стенах. Уж не делают ли друзья на воле подземный подкоп под эту темницу? Они пробьют ее стены, войдут в коридор, откроют наши камеры, и я со всеми товарищами снова буду на свободе!»

Сильно ослабевший от голода, я встал и, подойдя по очереди к каждой из четырех стен, прикладывал к ним уши, но никак не мог определить, где работают древоточцы. Казалось где-то глубоко внизу.

Вдруг я услышал, что шаги в соседней камере сразу остановились.

«Дам соседу,— подумал я,— знак своего присутствия и того, что я не унываю».

И я пробарабанил в стену всеми пятью пальцами импровизированную мною веселую арию.

Какая радость! Он меня слышит! В ответ мне послышалась его ария, хотя и не очень музыкальная: в ней не было ритма! Я дал ему окончить и второй раз пробарабанил свою арию, еще более музыкальную, но он перебил меня ранее ее окончания и начал выстукивать какие-то громкие диссонансы. Думая, что это шутка, и я начал стучать громче, и в результате получилась такая музыка по гулкой стене, что хоть беги, заткнув уши!

Смеясь, я решил, наконец, окончить музыку и лег на постель. Стука кузнечиков внизу теперь не было слышно, но вскоре он возобновился.

Я вновь попробовал присоединиться к нему со своей музыкой, но он тотчас же прекратился, и только сосед стал вновь громко барабанить в мою стену.

Я сделал то же, и опять начался одновременный стук с моей и его стороны, которой я прекратил первый, чувствуя новый приступ страшного голода. Мой желудок совсем подвело, и я предпочел перетерпеть, лежа на постели.

Вдруг неожиданная мысль мелькнула у меня в голове:

«А ведь если сосед меня слышит, то я могу переговариваться с ним таким стуком, употребляя, вместо музыки, буквы».

Кругом было тихо, древоточцы молчали, даже шагов не было слышно. Как ни мучил меня голод, но я не хотел откладывать ни на минуту исполнения «своего открытия», которое показалось мне гениальным.

Я сел на кровать и, обернувшись лицом к стене, выстукал по буквам:

— Кто вы?

И вдруг в ответ начался такой же осмысленный стук, как и мой.

— Куку...

«Что это? — пришло мне в голову.— Не сумасшедший ли? Очевидно, он хочет сказать кукуреку!»

Однако стук все еще продолжался:

— Кукушк...

Он хочет сказать «кукушка»,— подумал я.— Ясно, что сумасшедший.

Но стук продолжался далее.

— Кукушкин.

— Кукушкин! — почти вслух воскликнул я.— Это его фамилия! Никогда не слыхал такой!

Вдруг в коридоре раздались быстрые шаги, и замок в моей двери загремел.

«Вот и поймали,— подумал я.— Что теперь они будут делать со мною?»

Но взамен ожидаемого выговора и наказания ко мне принесли деревянную миску со щами и куском черного хлеба.

— На сегодня вам нет пищевой ассигновки,— сказал служитель,— так как приехали после обеда, но пристав велел вам дать щей из солдатского котла. А завтра утром выдаст мне десять копеек на вас. Что на них купить?

Я решительно не знал, что можно приобрести на такую ничтожную сумму.

— А что у вас разрешено достать?

— Все, что хотите,— колбасы, рыбы, чаю, сахару!

— Купите колбасы и черного хлеба!

— Хорошо! — сказал служитель и ушел.

Я с жадностью принялся за щи. Они были пустые, без говядины. Я съел их до последней капли, которую, не имея возможности достать ложкой, вылил себе прямо в рот через край миски.

Сначала голод как будто утолился. Я прошелся несколько раз по комнате и вновь приложил ухо ко всем четырем стенам. Везде было тихо.

«Ужинают! — подумал я,— не буду их тревожить».

Я лег на постель, чтобы прислушиваться к малейшему шуму,

в полной уверенности, что Кукушкин сам вызовет меня, как только окончит свой ужин.

И я не ошибся. Через несколько минут послышалось легкое постукивание с его стороны и на этот раз уже музыкальное. Я ответил короткой арией и принялся слушать. Опять потянулись мерные ряды ударов с перерывом через большее или меньшее число, и я разобрал фразу:

— А вы кто?

— Морозов! — ответил я.

Он, по-видимому, сбился, потому что, сделав несколько беспорядочных ударов, опять переспросил:

— Кто?

Я вновь ответил свою фамилию и после нее получил неожиданный вопрос:

— Московский?

— Да! — ответил я, удивляясь, что он меня знает.

Так началось мое первое знакомство через стену с невидимым товарищем. Кукушкин больше не спросил меня ни о чем, но тотчас же после моего ответа начались в стене долгие стуки древоточцев, и я понял, что это мои товарищи переговариваются друг с другом обо мне посредством какой-то особо условленной азбуки.

«Вероятно, телеграфическая» — подумал я, так как их удары никогда не превышали шести подряд, а большею частью были два или три, или один с перерывом, как на телеграфическом аппарате на железнодорожных станциях.

Теперь я уже им не мешал.

Мне очень хотелось быть посвященным в их таинственную азбуку, но я не решался спрашивать о ней, думая, что тут какая-нибудь тесная компания и передают друг другу свои тайны.

Поэтому я продолжал и в следующие дни разговаривать с Кукушкиным своим первоначальным способом, при котором уходил целый час на то, чтобы обменяться всего лишь несколькими фразами. Но и так я успел рассказать ему о себе в главных чертах почти все существенное.

Сам я из скромности еще не расспрашивал его ни о чем. Наконец, уже через неделю после моего привода сюда, он простучал мне:

— Утомительно так стучать. Разделите азбуку без лишних букв на шесть строк по пяти букв в каждой. Стучите сначала номер строки, а потом букву в ней.

У меня не было ни бумаги, ни карандаша, и потому я нацарапал спичкой на том месте стены, где я обыкновенно стучал:

1) а, б, в, г, д
2) е, ж, з, и, к
3) л, м, н, о, п
4) р, с, т, у, ф
5) х, ц, ч, ш, щ
6) ы, ь, ю, я, й

Затем для практики я начал выстукивать пальцем своей правой руки по ладони левой самое любимое мною из стихотворений Некрасова:

Скучно без счастья и воли!
Жизнь бесконечно длинна.
Буря бы грянула что ли,
Чаша с краями полна.[9]

Когда я кончил это стихотворение, а затем и несколько других, я почти освоился с употреблением азбуки, а, главное, сообразил, что удары лучше всего считать числами только для строк, а буквы в каждой строке надо произносить прямо по их названиям в обычном порядке. Так, например, слово «кто» надо простучать:

Раз два — е, ж, з, и, к.
Раз, два, три, четыре — р, с, т.
Раз, два, три — л, м, н, о.

Весь день практиковался я в этой азбуке на своей ладони, сначала смотря на ее изображение на стене, а затем наизусть, ходя взад и вперед по камере. На следующий день я попробовал применить ее к делу и получил на свой стук ответы, из которых обнаружилось, что мой сосед выбрасывает краткое «й», а также и мягкий знак, и потому последние три буквы у нас не совпадают. Но это было не существенно, и я тотчас же перешел на его сокращенный способ.

После каждого моего слова он делал один удар в знак того, что он его понял и что я могу переходить к другому слову. А иначе он делал несколько ударов, и я повторял ему прежнее слово.

Я был в полном восторге, что все понимаю, но мне хотелось научиться скорее стучать так же быстро, как и они, чтоб выходило вроде чирикания кузнечика.

Однако, раньше чем я мог достигнуть понимания их быстрого разговора, прошла еще новая неделя.

9. Я счастливец между товарищами по неволе

Как мне описать душевное настроение в этот первый месяц лишения свободы? Могу сказать только одно: он был невыразимо мучителен и показался мне за несколько лет. Никто более не требовал меня ни на какие допросы, никто с воли не напоминал мне, что там у меня еще есть друзья, что я не всеми забыт.

В Коломенской темнице не было еще сношений через подкупленных сторожей. Темница была импровизирована недавно, и в нее перевезена была лишь самая юная молодежь, вытесненная из других мест постоянно подвозимыми из провинции более взрослыми и важными пропагандистами в народе. Я попал сюда тоже отчасти потому, что был еще слишком молод сравнительно с другими и не казался достаточно эффектной добычей, на которой можно выдвинуться производящим политическое дознание, а отчасти и потому, что в крепости для меня не оставалось места, а в Третьем отделении держали лишь в исключительных обстоятельствах, когда хотели соблюсти самую строгую тайну и изоляцию заключенного. Однако, благодаря отсутствию нелегальных сношений, здесь, без свиданий с родными, человек был более отрешен от всего мира, чем даже в Петропавловской крепости, да и со свиданиями, как оказалось, было не особенно сладко.

— К вам приходят родные? — спросил меня раз поздним вечером Кукушкин.

— У меня нет родных, которые захотели бы приходить ко мне.

— Почему?

— Отец от меня отказался.

— Почему отказался?

— Из-за убеждений.

— Но у кого же из наших родителей есть убеждение? Они только стыдятся того, что их дети в тюрьме, и стараются не говорить никому об этом, делают вид, что мы уехали куда-то. Они совершенно не понимают, что есть дела, сидеть за которые в тюрьме является честью, а не позором.

Еще раньше, чем он окончил эту фразу, я всей душой присоединился к ней.

«Да! — думал я.— Разве мой отец, который привык для веселого времяпровождения издеваться над «нигилистами» и рисовать для потехи окружающих их воображаемые комические портреты, разве мог он примириться с мыслью, что издевался над своим собственным сыном, который, как он хорошо знал, совсем не походил на рисуемые им портреты? Для отца осталось

теперь лишь одно из двух. Или объявить искренно и во всеуслышание: «господа, я ошибался! Моими портретами людей, которых в действительности я не знал, я рисовал только свой собственный портрет зложелательного человека, инстинктивно стремящегося изображать уродами своих ближних». Или же, наоборот, упрямо поддерживать свое раз укоренившееся мнение о них и объявить: «я знаю моего сына, он не имеет ничего общего с теми скверными, смешными, глупыми, дикими, уродливыми людьми, портреты которых я вам рисовал, но они обманули его юность, он только по неопытности поддался им и оказался их бессознательным помощником, но отвернулся от них с омерзением, как только жандармы раскрыли ему глаза».

И мой отец из мелкого самолюбия выбрал второй способ выхода из нелепого положения, и в этом была наша главная трагедия.

Помолчав немного, Кукушкин продолжал, как бы отвечая на мою мысль:

— Вы счастливец, к вам не ходят ни отец, ни мать! А вот ко мне ходят два раза каждую неделю. Каждый раз все свидание ревут, бросаются передо мной на колени, умоляют меня покаяться во всем чистосердечно, выдать всех, просить помилования. Нет хуже пытки, как эти свидания с родными!

— И у других тоже так? — спросил я.

— Поголовно! У всех, кого я знаю. Говорят, что в крепости у двоих или троих есть понимающие родители, но я не знаю, у кого именно.

«Да, вот она трагедия,— снова подумал я.— Я счастливец между ними! Ко мне, по крайней мере, не ходят, не ревут, не плачут, не умоляют на коленях сделать предательство».

Однако же в этом моем исключительном счастье коренилось и большое неудобство. Моим товарищам по заключению их непонимающие родители носили все то, что они считали главным благом жизни: жареных цыплят, масло, ветчину... Их снабжали деньгами для покупки чаю, сахару, приносили книги для чтения. Они были, по крайней мере, сыты и время их шло не так мучительно медленно за книгой, как у меня безо всего...

Да, я был мучительно голоден здесь и физически и нравственно.

Как можно было жить на десять копеек в день, когда одна булка стоила пять копеек? Конечно, белый хлеб, чай и сахар были для меня недоступны. Я покупал кусок черного хлеба на три копейки, а на остальные семь небольшой кусочек дешевой колбасы или рыбы — трески.

Неспособный весь день лежать на постели, я изредка ходил

из угла в угол, и хорошо, что это делал тихо, потому что иначе совсем бы обессилел и слег.

Я замечал с каждым днем, как худел, как все мои застежки становились свободнее и как убывали мои физические силы. Я был словно на плоту после кораблекрушения в безбрежном море, без весел и без мачты, несомый по воле ветров и течений неизвестно куда, вынужденный делить скудный запас пищи на маленькие кусочки, чтоб его хватило хоть на несколько дней.

Когда в 12 часов дня темничный служитель приносил мне мой хлеб и кусочек колбасы, я чувствовал, как слюна уже выделялась у меня во рту при одном их виде, и мне стоило больших усилий выждать спокойно, пока он положит их на стол и удалится за свежей водой с моей кружкой. Нет! Большею частью я не выдерживал, и едва он поворачивал спину, как я отламывал часть корки от хлеба и, обмакнув ее в соль, жевал и глотал, стараясь незаметно приостановиться только при его новом приходе ко мне с водою.

Затем я съедал каждый раз половину приносимого и выпивал полкружки воды. Но уже через четверть часа мой организм показывал, что ему недостаточно, и щемяще просил меня дать ему еще. Но как мог я ему что-нибудь дать? Я знал, что вечером ему будет еще хуже, и потому сопротивлялся всем отчаянным жалобам и стенаниям своего желудка. Я был, как мать, сопротивляющаяся воплям своего больного ребенка, требующего есть, но принужденного врачом сидеть на диете.

Мое физическое тело этого не понимало. Его голос: «дай мне есть, я медленно умираю!» прорывался сквозь все мои попытки думать о чем-нибудь постороннем, строить какие-либо планы будущего разрабатывать какие бы то ни было научные темы. Его неумолкаемые жалобы разрушали всю мою духовную жизнь. Да, тяжел был для меня этот месяц, без книг, без прогулок, без достаточной физической пищи!

Едва окончив свой скудный обед, я ждал уже с нетерпением времени скудного ужина, когда окончу, за исключением небольшого кусочка хлеба, вторую половину своего дневного запаса; а затем наступали два или три часа дремоты, полных сновидений о вкусных блюдах, и пробуждение во тьме со щемящей болью в желудке и мыслью: скоро ли утро, скоро ли получу возможность съесть этот последний, оставленный на столе и уже засохший кусочек хлеба?

Так прошло дней пятнадцать, я уже лежал большую часть времени на постели. Никто из соседей и не подозревал моего положения, да и передач от одного другому здесь не было: мы официально считались строго изолированными и даже не подо-

зревающими о существовании друг друга. Инструктированные в этом отношении и запуганные начальством часовые и служитель были полны такого сознания.

Приходящие к товарищам родные еще не успели приручить нашего служителя своими подачками и обещаниями. Но мое, так сказать, медленное умирание не осталось незамеченным сторожем, который доложил недели через две о нем по начальству, и некоторое улучшение моего питания произошло следующим оригинальным способом.

Раз утром отворяется дверь, и ко мне входит молодой околоточный глуповатого, самодовольного вида.

Благодаря течению воздуха, возникшего от быстро растворенной двери, свалявшаяся в рыхлый шарик камерная пыль покатилась из угла по полу под мою кровать.

— Что это? У вас тут пауки бегают? — спросил он, смотря на это.

— Это не паук, а пыль из угла,— ответил я.

— Пыль? — сказал он с изумлением.— Вам надо по утрам тщательно выметать комнату. Мне неприятно видеть пыль.

Несмотря на щемивший уже во мне утренний приступ голода, я внутренне не мог не улыбнуться этой начальнической аргументации: надо тщательно вытирать пыль не потому, что она попадает в ваши дыхательные органы, а потому, что ее может увидеть глаз околоточного надзирателя! Но я, конечно, промолчал.

— До господина пристава дошло,— продолжал он,— что десяти казенных копеек вам не хватает на пищу, а своих денег у вас нет. Он спрашивает вас, почему вы не напишете об этом родным?

— Я в ссоре с родными,— ответил я.

— Значит, не можете ниоткуда получать? — спросил он.

— Да!

— В таком случае господин пристав распорядился, чтоб к десяти копейкам вам прибавили порцию щей из солдатского котла.

— Очень благодарен,— ответил я, и околоточный величественно удалился.

С таким добавлением мне стало несколько легче.

Полторы тарелки жидких пустых щей или похлебки, которую стал я получать, показались мне сначала самым изысканным блюдом из всех, какие мне приходилось когда-нибудь есть со дня своего рождения.

Но и при них я жил все-таки полуголодный и по вечерам и утрам не мог ни о чем другом думать, как о еде. Я понял, как вечно недоедающий человек должен, наконец, сделаться

идиотом или, в лучшем случае, совершенно неспособным к умственной деятельности.

Затем, к концу месяца, произошло и новое улучшение. Старый служитель немного приручился и вдруг передал мне ветчины и апельсинов от Кукушкина, которому принесли их в большом количестве его «непонимающие родители», а также некоторый запас чаю и сахару.

Можно себе представить, что за пир был у меня в этот вечер!

В один миг заработало воображение и начало вновь строить свои романы со множеством приключений, заработала и мысль, ставя себе все новые и новые научные вопросы.

Однако это продолжалось всего лишь дня три. На четвертый день служитель пришел в сопровождении городового, предложил мне забрать все свое имущество, пойти в канцелярию.

Я почувствовал, что более не возвращусь сюда. Мне захотелось стремительно броситься к стене и проститься с моим юным соседом, который уже стал мне дорог.

Но я не мог этого сделать в присутствии пришедших за мною. Я только бросил по его направлению прощальный взгляд, как бы предчувствуя, что мы никогда более не увидимся. Действительно, через три года, после целого ряда мытарств по различным темницам, я, встретившись на суде со своими товарищами, спросил у одного из петербургских:

— А где же Кукушкин?

— Умер в тюрьме от чахотки,— ответил он мне.

10. В московской одиночке

Мерно позвякивали цепи вагонов, молча сидели сопровождающие меня три дюжих жандарма, один из которых был унтер, а двое солдаты. Мы занимали то место служебного отделения в вагоне третьего класса, которое находится в уголке между входной дверью и стеной вагона. Я был в самом углу, один солдат рядом со мной, унтер и другой солдат напротив меня, и я был отделен ими, как стеной, от лиц служебного персонала. Как радостно было мне после полуторамесячного заточения в четырех стенах темницы видеть снова, хотя и в окно вагона, широкий вольный мир и в нем простых не стерегущих меня людей!

Природа теперь предстала предо мною уже в своем весеннем наряде. За время моего заключения весна, оставленная мною в долинах далекой Швейцарии, успела понемногу добраться и до моей родной стороны.

Березы вдали уже покрылись первой нежной мелкой листвой, и их рощи стояли еще полупрозрачные, как бы окутанные зеленоватым туманом. Светло-зеленая травка повсюду густо пробивалась сквозь бурый прошлогодний дерн, и даже первые одуванчики кое-где желтели по откосам выемок. Наступал вечер. Весь запад над лесом горел своими красными, оранжевыми и золотистыми оттенками, ярко просвечивающими в промежутках между ветвями деревьев, а в болотистых низинах поблизости расстилалась, плотно прилегая, как покрывало к засыпающей земле, чистая и белая пелена вечернего тумана.

Моя темничная комната во внутреннем дворе Коломенской части казалась мне теперь такой далекой и в то же время такой тусклой, темной, неприветливой. Мне вспоминался мой заботливый сосед Кукушкин. Все там уже знают теперь, что меня увезли, и им чувствуется, верно, еще тоскливее от моего отсутствия. Совсем как в могиле.

Они не сознают, что здесь уже весна, что природа пробуждается и солнце зашло за горизонт так же пышно, как бывало и при них.

Мне вдруг вспомнились стихи Пушкина:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять! [10]

— Вам не надо ли взять кипятку на следующей станции? — спросил меня унтер, сразу рассеяв мои мысли.

— Возьмите! — сказал я, так как у меня осталось еще значительно и чаю и сахару из запаса, переданного мне Кукушкиным.— Заварите и себе из моего запаса.

Жандармы сделались разговорчивее. Двое из них оказались украинцы и один из средней России, все грамотные, но ни один из них ничего интересного не представлял.

Я подождал, пока спустившиеся сумерки позволили мне различить первые звезды — это были Вега и Арктур,— и затем я лег спать, скрючив ноги на моей коротенькой скамеечке. Я хотел выспаться до наступления полуночи, чтоб бодрствовать потом, в надежде, что мои сторожа задремлют и мне можно будет выскочить из вагона на одной из станций. Но мои расчеты не удались: дремали только двое, садясь против меня, а третий по очереди стоял у дверей, прислонившись к ней спиною, чтоб лучше сторожить. Они менялись каждый час, и ни на минуту не заснули все трое вместе. К вечеру следующего дня мы уже подъ-

езжали к Москве, и я начал снова прощаться с природою через окно своего вагона.

На платформе московского вокзала нас встретила толпа предупрежденных местных жандармов, и, усадив в карету, меня повезли, не сказав куда. Но улицы Москвы мне были хорошо известны, и я видел их мимо края занавески.

Я приехал на ту самую Театральную площадь, где когда-то встретил своего друга Саньку Лукашевича под видом мастерового, продающего ворованную фуражку, а между тем наблюдающего за заключенными, привозимыми сюда на допрос. Меня высадили в воротах находившегося тут и теперь давно уничтоженного здания, где было Жандармское управление.

Мельком я оглядел эту площадь, но на ней не было теперь никакого наблюдателя из моих друзей. Мои провожатые, как и прежние, сдали меня, как товар, под расписку дежурному жандармскому офицеру, который, не сказав мне ни слова, велел унтер-офицеру отвести меня в одну из камер. Это были оригинальные камеры. В большой комнате сделана была посредине высокая дощатая перегородка, выбеленная известкой, от одного конца комнаты до другого. В ней были две двери, запирающиеся снаружи на толстые железные задвижки, и вели они в две камеры, внутренние стены которых не доходили до потолка.

Я прислушался. В соседней камере явно никого не было. Я был один во всем этом помещении. Как я ни ослабел от голода в продолжение месяца своего заключения, но я чувствовал, что, подпрыгнув и схватившись руками за край своего забора, я могу перескочить через него в отгороженный коридор, где звеня шпорами, ходил часовой.

«Но он не пустит меня дальше,— думалось мне.— Надо ждать, когда задремлет».

И вот я снова не смыкал глаз всю ночь, и снова совершенно напрасно. Через каждый час сменялись часовые, и звук их шагов не прекращался ни на минуту.

Совершенно утомленного и голодного, так как мне здесь ничего не дали ни пить ни есть, меня повели около полудня на допрос в один из приспособленных для этого кабинетов.

Какой-то высокий и толстый жандармский полковник спросил меня:

— Вы были прошлой весной в имении Иванчина-Писарева?

— Нет, я его совсем не знаю.

— Вы работали в сапожной мастерской, устроенной революционным обществом здесь, в Москве?

— Никогда! — ответил я, верный своей системе, с одной сто-

роны, не раздражать врагов напрасно, а с другой — не говорить им ни слова правды.

— Все равно вас уличат! — сказал мне полковник спокойно.

Он позвонил и сказал вошедшему унтер-офицеру:

— Скажите, чтоб привели сюда финляндца! [11]

«Хотят устроить очную ставку! — пришло мне в голову.— У него даже все подготовлено для этого. Значит, ему сообщили заранее из Петербурга, что я сам ничего не расскажу. Что-то скажет наш славный, честный сапожный мастер?»

Раздалось бряцание шпор, и вот между двумя солдатами с обнаженными саблями появился и он сам, или, скорее, его бледная, шатающаяся тень. Его щеки ввалились, под глазами были синие пятна. Волосы на голове и бороде давно не были стрижены.

— Вот ваш ученик! — сказал ему, вставши при этом, полковник грубым повелительным голосом.— Узнаете?

Бедный мастеровой, с которым, как непривилегированным человеком, без всяких связей, явно не стеснялись, смущенно и вопросительно взглянул на меня, как бы желая узнать, признал ли я его сам.

Кинув на него с равнодушным видом мимолетный взгляд, хотя мое сердце и обливалось кровью, я стал смотреть на стену в сторону от него.

— Смотрите, пожалуйста, прямо! — сказал мне полковник.

— Куда? — спросил я, глядя на самого офицера.

— Вы знаете куда, прямо на него! — заметил он с явной досадой.

Но бедный финляндец уже понял, что я его не хотел узнавать, и со слезящимися глазами ответил:

— Нет, его не было в мастерской.

— А как же другие говорят, что был? — сказал повелительно полковник.

— Я не помню такого,— проговорил финляндец уже решительным тоном.

— А вы знаете его? — обратился вдруг ко мне раздосадованный своей неудачей жандармский полковник.

— В первый раз вижу,— твердо ответил я.

По его кивку жандармы увели обратно финляндца, который печально взглянул на меня, как будто предчувствуя, что мы больше не увидимся. И предчувствие не обмануло его: через год после этого он умер, как Кукушкин, от чахотки в темнице, не дождавшись суда.

Полковник сказал мне после его ухода:

— Все равно ваше участие будет доказано. Сейчас с вас снимут фотографию.

Меня вывели на двор, где уже стоял какой-то фотограф с готовым аппаратом, и он сделал с меня три снимка.

После этого меня вновь ввели в зал для допросов, где полковник задал мне тот же вопрос, который я получил и в Петербурге:

— Где вы были весной и летом минувшего года?

— Этого я не могу сказать.

— Если вы нам не будете отвечать на вопросы, мы не будем давать вам книг для чтения.

— Как хотите!

Он записал в протокол мой отказ отвечать на его вопрос, дал мне подписать его и затем, вызвав жандармского унтер-офицера с солдатом, сказал:

— Отвезите в наше помещение при Тверской части.

Мы любезно раскланялись, и я вновь поехал по знакомым мне так хорошо московским улицам.

11. Каким кажется мир из окна темницы

Заключение в тогдашней темнице Третьего отделения при Тверской части было удобнее во многих отношениях, чем в других, где тоже находились политические. Тверская часть выходила своим фасадом на большую площадь, на противоположной стороне которой находился дворец генерал-губернатора. С левой стороны части, если смотреть на нее с площади, была довольно высокая каменная ограда с воротами, охраняемыми пожарным. Через них входили во внутренний глухой двор, на противоположной стороне которого имелось длинное двухэтажное здание для заключенных. В нижнем его этаже сидели уголовные, а в верхнем все пять одиночных камер были арендованы тогда Третьим отделением для нас.

Там всегда дежурил специальный жандармский караул, ежедневно приходивший из московских жандармских казарм.

Общая полиция не имела к нам, политическим, никакого отношения, кроме того, что съестные припасы или деньги не свыше десяти рублей в месяц можно было прямо передавать приставу, который отдавал их нашему жандармскому караулу, разрешавшему уже окончательную передачу, если не находил препятствий, и докладывавшему затем о ней в Третье отделение. Служитель, поддерживавший сомнительную чистоту полов и приносивший обеды, кипяток для чая и лампы на ночь, был полицейский вольнонаемный, но отпирал ему дверь жандармский

старший, который и следил, чтоб у него не было лишних разговоров с заключенными.

В дверях камеры были большие, почти в лист бумаги, окна, с прочным железным крестом, вделанным посредине, чтоб через них нельзя было выскочить в коридор и убежать. Меня привезли туда около полудня, подвезли во внутреннем дворе к подъезду против ворот, у которого стоял обычный часовой с ружьем, ввели по серой каменной лестнице во второй этаж и там в первую камеру налево. Когда меня, обысканного снова, оставили в ней одного, я прежде всего, конечно, подошел к окну, вид из которого очень обрадовал меня. Зимние внутренние рамы из него были уже вынуты, а внешние летние отворены; оно было не под потолком, а так, как в обыкновенных комнатах, только защищено прочной железной решеткой, а за ней еще проволочной сеткой.

У окна в камере стоял стол, а рядом табурет, сев на который, я мог опереться обоими локтями на подоконник и смотреть на находящийся подо мною двор. Через его каменную ограду и растворенные ворота мне была видна часть площади перед дворцом генерал-губернатора, несколько домов по ближайшей ее стороне и часть самого генерал-губернаторского дворца.

Я живо помню мои первые наблюдения. Помню девочку лет двенадцати и мальчика лет семи, выходивших из ближайшего многоэтажного каменного дома, чтоб побегать на тротуаре перед домом. Тверская часть находилась в глухом углу этой площади, из которого не шло улиц. Он редко посещался прохожими, предпочитавшими идти через площадь по диагонали, не делая сюда заворота, и потому детям здесь было свободно играть. Помню, как перегибалась девочка своей тонкой талией, когда хотела догнать своего младшего брата, но мальчуган всегда легко увертывался от нее, и я удивлялся, как слабы и неловки кажутся девочки сравнительно с мальчиками, когда им приходится делать быстрые движения.

Я часто видел у этого же дома кучера на козлах коляски, запряженной парой лошадей, и самих хозяев — пожилого господина в пальто и шляпе-котелке и расфранченную даму с молодой девушкой, очевидно дочкой, садившейся на переднем месте, спиной к кучеру. Я наблюдал всевозможных проходящих и задавал себе вопросы: о чем думает этот кучер, когда он по получасу и более ждет своих господ на улице? о чем думает вон та женщина, идущая с какой-то тарелкой, завернутой в платок? тот молодой человек, похожий на приказчика? и куда он так спешит? Я решал эти вопросы по внешности проходящих обыкновенно в очень прозаической форме и с грустью приходил к выводу, что между ними, должно быть, очень мало убежденных социалистов

готовых сейчас же пожертвовать своею жизнью за свободу, равенство и братство.

«Как много,— думал я,— нужно времени, чтоб просветить умы и души этой пестрой толпы, сделать их восприимчивыми ко всему идеальному, высокому, даже в политически свободном республиканском строе, а не только в таком, как у нас, когда мы все принуждены говорить шёпотом, с глазу на глаз!»

По временам я видел здесь и дикие сцены жестокости, возмущавшие меня до глубины души. Одной из них не забыть мне до самого конца моей жизни. На второй же день моего водворения здесь городовой привез в извозчичьей пролетке бесчувственного пьяного рабочего, подобранного им, очевидно, на улице, босого, в разорванной рубашке и штанах, из которых виднелись в прорехи голые ляжки. Было ясно, что разрывы эти сделаны самим городовым для издевательства.

Он сидел, важно развалившись на заднем сиденье, а несчастный пьяный лежал у него под ногами, поперек пролетки, брошенный на спину; его руки и голова свисали к подножке с одной стороны пролетки, ноги — с другой, и все это болталось и ударялось о крылья пролетки при каждом ее толчке о камень; но ужаснее всего было то, что городовой своими каблуками все время бил и топтал бесчувственного с таким зверским ожесточением, что, имей я револьвер, я тотчас же выстрелил бы в него из своего окна. Он припрыгивал на своем сиденье, топтался на обнаженной груди бесчувственного, потом отбрасывался вновь назад, как бы помешавшийся в припадке жестокости, и с размаху ударял его изо всей силы каблуками по спустившейся голове, по носу, из которого текли струи крови, по губам; потом тыкал ему в голову ножнами своей шашки, стараясь попасть по зубам, проткнуть ноздри...

Хотя мне и запрещено было разговаривать в окно под страхом его закрытия, но я не утерпел и крикнул:

— Зачем вы его бьете?

— А тебе какое дело? — крикнул городовой.— И тебе тоже всыплю! — и он начал бить еще сильнее.

Услышав голос и не будучи в состоянии определить, откуда он идет, жандарм-часовой побежал смотреть в камеры, но я в это время уже бегал из угла в угол, не в силах более смотреть в окно.

«Что же это такое? — думал я,— где я живу? Что это за новый для меня мир, в котором искалечить ни с того ни с сего первого встречного и незнакомого вам человека считается величайшим наслаждением».

Прошло не менее часа, когда пароксизм отчаяния у меня начал проходить, но и тогда мысль направилась на безотрадные сюжеты.

«Чему же после этого удивляться,— думал я,— если, например, многие заразившиеся сифилисом не стесняются для своего удовольствия продолжать ходить к продающимся женщинам и распространять свою болезнь между ними, а через них и среди мужчин, идущих покупать их, подобно им, и этим сознательно содействовать вырождению человеческого рода? Ведь без такого сознательного злодейства болезнь прекратилась бы сама собою на земле! Что же мы будем делать с подобными нравственными выродками в нашем новом строе, основанном на всеобщей свободе, равенстве, братстве, общности всех наших имуществ?»

В моем воображении воскрес вдруг один из тех временных радикалов, которых мы смеясь называли «негодницею» и «понизовою вольницею», утверждавший, что в будущем обществе должна быть и общность жен и детей.

«Уж не говоря об уничтожении современной идеальной любви между мужчиной и женщиной, возможной только при единобрачии,— думалось мне,— хотя бы и с правом развода при неудачном опыте, ведь при общности жен вся земля стала бы сплошной лечебницей всевозможных венерических болезней, всеобщее распространение которых затрудняется теперь только изоляцией супружеских отношений!»

«Но общность жен,—продолжал я думать,— это только глупые идеи наших временных и несознательных спутников из бесхарактерной части человечества, идущей сегодня с нами, а завтра с нашими врагами, смотря по тому, куда их направит ветер. Ведь мы, настоящие революционеры, никогда не считали их за истинных «своих» и по возможности сторонились от их прилипания, зная, что при первом допросе они струсят, получат новые убеждения и всех нас выдадут для спасения своей драгоценной личности».

Мне теперь было больно подумать не о них, а о моих настоящих товарищах, сознательных и убежденных друзьях всего человеческого рода, действительно жертвующих и готовых далее жертвовать жизнью за свои убеждения. Многие из них искренно думают, что как только мы введем социалистический строй и общность имуществ, так сейчас же окончатся все преступления, и никаких судов и мест заключения не будет. А вот этот городовой переродится ли сейчас же, обратится ли в «богочеловека», как утверждают наши товарищи «маликовцы»?

Маликовцы были предшественниками толстовцев, отделившиеся от нашего революционного движения 70-х годов, так как не признавали насилия. Они говорили, что в каждом человеке скрывается искра божества, которую нужно только раздуть словами братского убеждения, и она тотчас же разгорится в каждом

ярким пламенем бескорыстной любви. Их тогда тоже всех посадили с нами в тюрьмы, причем прокуроры и жандармы страшно оскорблялись, когда эти юноши на допросах начинали доказывать им, что и в них тоже имеется скрытая искра божественной сущности и может разгореться бескорыстной любовью. Рассказы о допросах их представляли из себя нечто трагикомическое, неподражаемое, а судьба всех была — ссылка [12].

Все мое существо говорило мне теперь, что внушить такому человеку, как этот городовой, чувство бескорыстной любви ко всему живущему так же невозможно, как заставить прирожденного идиота с любовью и успехом разрабатывать высшую математику.

«Точно так же и воровство,— думал я в этот памятный мне вечер,— не прекратится сейчас же после введения братского разделения продуктов труда между всеми участвующими в нем: бывают прирожденные клептоманы, как и прирожденные истязатели. И они отравят первые годы нового строя жизни, их придется изолировать от других людей, а следовательно, и причинить им страдание. Но новый строй постепенно будет совершенствовать, перевоспитывать человечество, и в отдаленном будущем прирожденные моральные уроды будут так же редки, как теперь прирожденные физические. Значит, мы, друзья человечества, на самом деле работаем не для настоящего, а для отдаленного будущего. Мы — пришельцы в своем поколении, и мы должны всегда принимать это во внимание, чтобы потом не разочароваться, видя, как никому кругом нет дела до нас, умирающих в темницах. Не только простой рабочий народ, к которому мы шли, но даже собственные наши отцы и матери совершенно не понимают нас!»

Таковы были мысли, навеянные на меня здесь в первые же дни моего заточения.

Человеческий мир на городской площади представлялся мне теперь из окна моей темницы совершенно в новом освещении: это был мир, недоступный для меня, как облака, ходящие над ним, мир, живущий своею собственною жизнью, которому до меня, до моих идей, желаний и страданий явно не было ровно никакого дела.

12. Мир внутри темницы

А доступный для меня мир, внутренний мир моей темницы, был так тесен! Это был прежде всего мир двух жандармских унтер-офицеров, чередовавшихся посуточно своим дежурством. Только они одни могли разговаривать со мною.

Один из них был украинец, а другой — русский из Московской губернии, и оба жили одними животными интересами. Москвич был полуграмотный, с хитрецой, страшно богомольный и суеверный, что и обнаружил при первом же разговоре со мной.

— Нельзя ли дать мне умывальник, чтоб умыться? — сказал я ему утром после моей первой ночевки, не найдя у себя ничего для умывания.

— Нет, этого никак нельзя! — ответил он решительно.

— Почему нельзя?

— Совершенно невозможно!

— Да почему же?

— А потому, что многие из вас уж больно учены. Вот одному из ваших, говорят, дали умывальник, а он вдруг сказал какие-то волшебные слова, наклонился, протянул вперед обе руки, да как прыг в умывальник, в воду... А вынырнул за пять верст оттуда из Москвы-реки!

— И вы верите? — спросил я.

— А как же не верить, когда это правда, и весь наш корпус знает!

— А как же у вас другие умываются?

— Не из кувшина, а из глиняного таза; в него нельзя нырнуть!

— Ну, так дайте мне ваш таз.

Мне подали, и я начал умываться, причем унтер стал прямо за мною с явным намерением схватить меня за ноги, если я вдруг нырну головой в этот таз.

Какие идейные разговоры могли быть с подобными сторожами?

Я мог только заключить, что мы, т. е. новые люди, арестовывать и хранить которых от постороннего глаза заставляли их, служили им неоднократно темой вечерних разговоров в жандармских казармах, а отбираемые от нас брошюры и прокламации считались ими прежде всего за чернокнижие.

Конечно, этот первый туман, происшедший от неожиданности нашего появления в России, должен был рассеяться рано или поздно, как и в привилегированных классах должен был постепенно померкнуть тот карикатурный образ, которым воображение не знающих нас людей, на усладу себе, заменяло наши реальные личности.

Но когда все это произойдет? — вот вопрос первостепенного значения, разрешить который, хотя бы и приблизительно, я тогда еще не мог.

Второй унтер, украинец, был несколько грамотнее, но и он держался того же мнения, что через кувшин возможно нырнуть

в Москву-реку, зная «надлежащий наговор». Оба, кроме того, были страшные сквернословцы и всякую тему разговора сводили на анекдоты порнографического характера.

Я вскоре совершенно разочаровался в своей первоначальной мысли выяснить им наши истинные цели и стремления, тем более что сразу было видно, что они не поверили бы ни одному моему слову.

Больше всего, конечно, интересовали меня мои соседи по заключению. Нас было здесь четверо.

Один сидел в особом коридоре, направо от лестницы, ведущей к нам, и как раз против него помещался в коридоре столик и скамья, где сидел унтер и лежали свободные от дежурства жандармы.

Я слышал, что этот товарищ по целым часам разговаривал с ними через окно своей двери, но сам я не мог войти с ним в сношения при таких условиях. Налево же от меня сидели еще двое, как я тотчас заметил по отпиранию дверей, когда им приносили лампы и обед.

В первый же вечер я попробовал стучать своему соседу, но он не отвечал мне совсем.

«Он, видимо, еще не доверяет,— думал я,— может быть, считает подсаженным соглядатаем».

Желая приручить его, я выждал, пока нам принесли лампы. Когда все успокоилось, я встал перед своими дверями у окошка, которое, как я уже говорил, было величиной в полный лист писчей бумаги и перегорожено железным крестом.

Световое изображение этого окна отчетливо обрисовывалось на противоположной глухой стене полутемного коридора, когда лампа горела на моем столе у противоположной стороны моей комнаты. Такое же изображение в коридоре почти в шести шагах от моего получалось и от камеры соседа. Мне видно было, как мелькала на нем по временам его тень, когда он ходил из угла в угол, а на световой фигуре моего окна, когда я встал между ним и лампой, получилось изображение моей головы. Но вот и тень моего соседа смотрит в коридор. Я сделал ей пальцами рожки и увидел на тени, что такими же ответила мне и она. Я приставил рожки к своему затылку, и на моей тени получилось изображение чёртика. Такое же появилось и на его тени. Я тогда подошел к стене и снова стал ему стучать по первобытному способу, отсчитывая буквы, но он не понимал и отвечал мне простой музыкой, как и я когда-то Кукушкину. Думая, что на следующий день он догадается, я повторил стук, но он все еще не понимал. Хотя я и бился с ним целых три дня, делая однообразные удары, однако ничего не выходило, кроме музыки с его стороны.

«Как бы внушить ему эту простую идею?» — думал я.

На столе у меня появилось к тому времени несколько оберточных бумаг, так как в Москве в это время отпускали на пищу политическим заключенным по двадцати пяти копеек в день и, кроме обеда, который приносили нам из кухмистерской за пятнадцать копеек, можно было покупать что угодно на остальные десять, и все купленное приносили в бумаге.

«Попробую из них сделать буквы А, Б, В,— подумал я,— и покажу ему на тени окна».

Так я и сделал. Показав ему букву А, я тотчас же бросился к стене и стукнул ему раз, он тоже подскочил и начал свою музыку. Не отвечая ему, я опять подошел к окну, дождался, пока ему надоело барабанить и тень его головы снова показалась в световом отверстии. Я тотчас показал ему Б и, бросившись к стене, стукнул два раза... Он опять ответил мне простой музыкой. Так продолжалось и далее без помехи со стороны часового, который в это время рассказывал какой-то порнографической анекдот своим товарищам, громко хохотавшим после каждой его фразы. Я положительно приходил в отчаяние от недогадливости своего соседа, не понимавшего ничего даже и после того, как я раза по три показал ему весь свой набор первых букв азбуки, выстукивая в стену номер каждой буквы.

Так, ничего не добившись, я и лег в эту ночь на свою соломенную постель с такой же подушкой и коротким войлочным одеялом, не закрывавшим всего моего тела. Но вот следующий день принес, наконец, свой результат.

Как только наступил вечер и стало смеркаться, я с радостью услышал, как мой сосед уже равномерно выстукивает мне буквы.

Первой буквы я не разобрал, но из двух остальных вышло: т о.

«Значит,— подумал я,— он спрашивает: кто я?» И, не дожидаясь дальнейшего, я начал выстукивать ему свою фамилию. Он, очевидно, сбился, так как опять повторил свое к т о, но на второй мой стук последовало с его стороны молчание. Тогда я сам спросил его:

— Кто?

— Рабочий Котов,— последовал ответ.

— За что? — спросил я.

— За политику. А вы?

— Тоже.

Этим и ограничились наши разговоры в первый вечер.

В следующие три дня мы сообщили друг другу некоторые подробности о себе; из рассказанного им единственно интерес-

ным было то, что на допросах из опасения подписывать протоколы он объявил себя безграмотным.

Через неделю его увезли, и я остался с этого времени совершенно изолированным.

Единственная вещь, которую я потом услыхал о Котове, была не в его пользу. Мне говорили, что он назвал тех, которые дали ему запрещенную книжку, и потому его быстро выпустили.

И вот начались для меня недели полного и абсолютного одиночества, без соседей, без книг. Воображение сначала вновь стало строить свои романы, но все они были односторонни и сводились к мрачным картинам окружающего насилия и в конце концов к одной и той же навязчивой мысли — к побегу.

Но как было его осуществить?

Целый месяц не мог я ничего придумать, несмотря на все напряжение ума, но в конце мая у меня вдруг стал складываться совершенно определенный план — воздействовать на суеверие моих сторожей.

Я вспомнил, как, будучи в младших классах гимназии, я по временам играл с товарищами в чёртиков. Унеся лампу из комнаты, мы зажигали спички, потом быстро задували их, и, пока еще тлелся обгорелый конец, мы вставляли его себе в рот между зубами, которыми защемляли спичку, как клещами. Затем, открыв широко губы и оскалив зубы, мы начинали быстро вдыхать и выдыхать воздух. Тлеющий конец в глубине рта, за зубами, то вспыхивал, то потухал, вся внутренняя полость рта становилась как бы огненной, и казалось, что из щелей между нашими зубами вырывается красное пламя. Это казалось очень страшно в темноте, и, выскочив неожиданно в сени, когда кто-нибудь туда входил в полутьме, мы пугали даже взрослых.

«Возьму,— думал я,— затушу у себя лампу и скажу, что сама потухла. А когда они отворят дверь, я зажгу спичку, задуну и ту лампу, которую они могут с собой принести, а затем, вложив тлеющую спичку себе в рот, дохну на них пламенем, брошусь в коридор, надену там на голову еще бумажный пакет, углы которого сделаю вроде рогов, и убегу от них, превратившись в чёрта. Наверно, эти люди, воображающие, что я могу нырнуть от них в умывальный кувшин, так перетрусят, что не решатся даже и преследовать меня».

И я это непременно осуществил бы сейчас же,— так мне казался верным мой способ.

Но вот в чем была беда! В мае в Москве совсем не бывает темных ночей, а только сумерки, и мне перестали подавать даже лампу на ночь: сторожам и без того меня было видно. Очевидно, придется подождать темных августовских ночей, т. е. ровно

три месяца. Это мне показалось целой вечностью. Но ничего нельзя было придумать: суеверие у православных разыгрывается главным образом только в те ночи, когда особенно темно.

Я стал ломать голову над придумыванием других способов и, наконец, остановился на том, какой мы с Кравчинским придумали для Волховского. Вместо огня и пламени изо рта придется употребить менее романтический способ: засыпать просто табаком глаза своим сторожам и броситься прямо на улицу. Но как заставить их отпереть мою камеру в полночь или ранним утром, помимо погашения лампы, которой теперь совсем не дают?

Устроить себе искусственную рвоту? Свалиться с криком с постели на пол и там лежать, барахтаясь?

А вдруг они с перепугу не захотят входить ко мне без доктора и вместо того побегут с докладом?

Все равно! Надо раздобыть табаку! Нюхательного они не купят после случая с Волховским, но я могу сильно высушить и растереть в труху обычный курительный.

Хотя и некурящий, я сэкономил себе из своей пищи пять — десять копеек и купил на них табаку и гильз. Мало-помалу табак был высушен мною на солнце, на карнизе окна, выходившего почти на запад, и превращен пальцами в мелкую пыль. Я уже подумывал, что если не буду ранен при побеге и меня не успеют догнать, то скроюсь прежде всего на вокзале Рязанской железной дороги, из которого проникну известными мне путями в свою прежнюю квартиру к Печковскому. Там переоденусь гимназистом в его пальто и фуражку и перейду в другое убежище, по его указанию, так как квартиры моих уцелевших друзей, по всей вероятности, теперь уж все новые, не известные мне.

13. Тайные сношения и попытки к побегу

Через сколько дней после изготовления табаку я решился бы употребить его в дело, я не знаю, так как в это самое время вопрос о моем побеге неожиданно вступил в совершенно новую фазу. Раз, в самом начале июня, полицейский служитель, доставлявший нам обед и ужин, подал мне, с жандармским унтером за своей спиной, жестяную кружку с молоком, которое я брал себе вместо ужина. Просунув в мое дверное окошко свою руку с кружкой, он опустил ее значительно более вниз, чем обыкновенно, а лицом своим, смотря на меня, произвел невероятные гримасы. Перекосив как бы в конвульсиях рот и нос направо, налево, вверх и вниз, он начал вращать колесом свои зрачки

и затем показал мне ими на свою руку, в которой между пальцами, кроме кружки, торчала еще сложенная бумажка. Я понял и, приняв кружку, вынул у него, зажав между своими пальцами, также и записочку и спокойно удалился к своему столу.

Можете себе представить мое волнение! В монотонности одиночного заключения проходят одни за другими медленной вереницей дни и ночи, напоминая собою вращающиеся колеса экипажа. Как колеса не обнаруживают при своих вечных оборотах ничего нового, за исключением тех же спиц и ободьев, так и дни неволи однообразно чередуются в нашей жизни, и потому малейшее, не вошедшее там в обиход событие заставляет сильно биться сердце человека. А ведь в данном случае были все признаки чего-то серьезного, начинающегося теперь со мной!

Воспользовавшись первой удобной минутой, я повернулся спиной к двери и расклеил свернутую в виде короткой папироски записочку.

Она была от Батюшковой и так врезалась мне в память, что я буквально привожу ее здесь:

«Дорогой друг! Наконец-то нам удалось отыскать вас. Мы все так беспокоились, когда вы без вести пропали на прусской границе! Все вас обнимают, все мы надеемся, что скоро вы будете с нами. Но я не могу писать вам теперь всего, вот ключ для будущей шифрованной переписки: 1) Существуют 2) случаи, 3) когда 4) приложения 5) делаются 6) целями... 7) Бездыханны 8) фетиши? 9) Гвельджий! Каждая буква в письме, написанном этим шифром, изображается парой цифр. Первая цифра означает строку, вторая цифра означает место буквы в строке; так, слово «вы» будет 1775 и так далее».

Затем уже самым шифром было написано:

«Сообщите день и час получения этой записки и заклеена ли она, чтоб мы могли быть уверенными, что шифр не скопирован. Приклейте вашу ответную записку ко дну вашей кружки, служитель возьмет ее утром, когда будет мести пол. Сергей уехал за границу, и советует вам все валить на него. Ему теперь все равно! Как вы живете? Здоровы ли, не надобно ли вам чего? В каком положении ваше дело? Ваша Варвара Б.».

Внутри записки был завернут тоненький кусочек карандаша и бумажка для ответа.

Я тотчас понял, что Сергей, так желающий принять на себя все, в чем меня будут обвинять, не кто иной, как мой друг Кравчинский, и принялся отвечать Батюшковой:

«Передайте Сергею, что я крепко обнимаю его и очень прошу его никому и никогда более не давать таких скверных советов, какой он дал сейчас мне. Ужасно рад, что устроились сношения

с вами, дорогой друг. Я здоров. Обвиняют меня в тайном обществе и пропаганде у Писарева. Я отказался отвечать на все вопросы о моей деятельности, а на вопрос, знаком ли с Алексеевой и другими, отвечал, что не знаком ни с кем. Так буду говорить и до конца. Даже если б кто и говорил, что знает меня, буду говорить, что я его не знаю. Ваше письмо дошло до меня заклеенным, без признаков расклейки».

Затем я обозначил день и час, когда я его получил, и прибавил, что если она мне сообщит, что это исключает возможность копирования, то в следующий раз напишу более. Все это было сложено в маленький, как две почтовые, приложенные друг к другу марки, пакетик, заклеено черным хлебом и им же прилеплено к дну моей кружки, которая и была унесена в следующее утро служителем.

Тем временем я уже успел заучить на память присланный мне шифр и уничтожить письмо Батюшковой, разжевав его по частям в бумажное тесто.

Вечером я снова осмотрел дно поданной мне кружки, но на нем ничего не было. Весь следующий день прошел в томительном ожидании ответа, но к вечеру глаза служителя, подававшего мне кружку, опять завращались колесом, и новая записочка оказалась тоже приклеенной черным хлебом к ее дну.

В ней были самые нежные приветствия от Наташи Армфельдт, от ее брата и от барышень Панютиных. Они были всем, что осталось теперь в Москве вместе с Батюшковой от нашей прошлогодней дружеской компании.

«Мы хотим попытаться вас освободить,— писала она мне, между прочим,— и уже поручили это дело одному не знакомому вам молодому человеку, очень преданному, Цвиленеву. Он хочет приискать лошадь, на которой вас можно было бы быстро увезти от ворот. Напишите заявление в Третье отделение, что чувствуете себя нездоровым и просите разрешить вам прогулки по двору».

Разобрав эту шифрованную часть письма, я в волнении начал бегать из угла в угол камеры. Итак, я совсем не забыт друзьями на воле! Они настолько меня любят, что выбрали первым для освобождения, хотя в Москве сидит столько народу, более серьезного и опытного, чем я! Собственно говоря, я должен бы был решительно и окончательно сразу же отказаться на этом основании, но у меня не было сил.

В своем ответе я рассказал им свои прежние планы побега: и план в виде огнедышащего чёрта с бумажным пакетом от сахара вместо рогов на голове и план табачный. Я соглашался, что извозчик, приготовленный на площади, был бы большою

помощью для меня, но все же, скрепя сердце, спрашивал друзей, не находят ли они, что его лучше применить к кому-нибудь более важному, чем я?

С тревогой и замиранием сердца я принял через день ответную записочку, опасаясь, что вдруг друзья согласились с моим мнением, но, расшифровав наполовину, я убедился, что ничего подобного нет и что на специальном совещании было решено освободить прежде всего именно меня, а затем при моем участии и других.

Это было страшно радостно!

Я написал им теперь длинное письмо, где рассказывал свои впечатления за границей и в заточении; потом со следующими почтами настрочил второе, третье. Письма мои все разрастались, и, как оказалось, их читали не только мои друзья, но все новое юное поколение, заменившее нас теперь в революционной деятельности, хотя большинство из нас, заключенных, были еще «юношами».

Да, все свежее, живое в русской общественной жизни создавалось тогда исключительно детьми, потому что их родители, как справедливо выразился когда-то Кукушкин, почти поголовно были «непонимающие».

В нашей среде было мало достигших гражданского совершеннолетия и еще менее переваливших через него хотя бы на четыре года. Да и не могло быть, так как срок нашей активной жизни до ареста редко превышал четыре или пять месяцев. Наши поколения сменялись быстро: тот, кто прожил год, считался уже ветераном. Таким неожиданно для себя оказался и я для новой, выступившей теперь на арену молодежи.

Не прошло и двух недель со времени начала моей переписки, как меня предупредили, чтобы я каждый день сидел на окне у самой решетки между пятью и шестью часами вечера, так как по тротуару площади передо мною будут ходить некоторые из моих знакомых и друзей, чтобы посмотреть на меня в темнице.

И действительно, в назначенный срок в тот же день на тротуаре появились, парочками и по-трое вместе, не менее восемнадцати человек молодежи, три четверти из которых были женского пола. Идя по направлению ко мне, они махали мне белыми платочками, как только отворачивались городовые и пожарные, стоявшие у моих ворот, и разошлись с площади только вечером, в половине шестого.

Понятно, что они обратили на себя внимание служащих в части, но те были еще слишком неопытны, чтобы усмотреть какое-либо соотношение между моим, никому неинтересным с их точки зрения окном и этими непривычными здесь любителя-

ми и любительницами чистого воздуха. Ведь вспыхнувшее позднée пламя тогда еще только что разгоралось. Наши преследователи еще не успели его раздуть своими гонениями во всепожирающий пожар и обратить на него всеобщее внимание желающих и нежелающих, возбуждая в одних стремление нам помочь, а в других — суеверный ужас перед нами.

Так продолжалось и в следующие дни, а по воскресеньям здесь бывало настоящее гулянье.

Я еще издали прекрасно отличал наших барышень от обыкновенных девушек по какой-то одухотворяющей поэзии, как будто окружавшей их фигуры, и в особенности по эластичности их движений.

Обычные барышни казались перед ними совершенно вялыми: они ходили несравненно медленнее наших, какими-то мелкими неровными шажками и оставляли впечатление физической недоразвитости и беспомощности.

«Вот идет наша!» — говорил я, сидя у окна и видя смелую грациозную походку, и в подтверждение моей догадки из ее кармана появлялся белый платочек, которым она с беззаботным видом махала мне взад и вперед несколько раз.

Одновременно с этими развлечениями подвигалось и дело моего освобождения.

Я уже получил разрешение на прогулки, и меня выводили на дворик моей части от трех до половины четвертого днем под наблюдением двух жандармских солдат, становившихся с одной и другой стороны дворика, и солдата-часового, дежурившего с незаряженным ружьем у дверей здания; пожарный же стоял у раскрытых ворот двора, имея, как и всегда, беззаботный вид. «Не мое дело!» — казалось, говорил он, при взгляде на меня, всем своим видом.

Однако все же я имел шансы рассчитывать, что когда я брошусь в ворота, он меня постарается схватить, а потому решил, что и против него надо быть наготове со своим табаком в кармане.

План моего побега теперь состоял в том, что, выйдя на прогулку, я должен ждать, пока на площади шагах в пятидесяти от открытых ворот моего двора появится Цвиленев с белым платком в левой руке, в шарабане, запряженном черным рысаком, а на козлах у него кучер с белым поясом. Тогда я бросаюсь в ворота, засыпаю горстями моего истертого в порошок табаку глаза всех, кто будет меня хватать, и, пока они плачут, вскакиваю в шарабан, сажусь рядом с Цвиленевым, и мы мчимся через площадь мимо генерал-губернаторского дома, не жалея и для следующих возможных противников большого запаса табаку,

которым будут полны карманы Цвиленева. Это должно было быть единственным, но очень действительным орудием нашей защиты.

Владелец намеченного рысака, так называемый извозчик-лихач, высказывал большое сочувствие социалистическим идеям, и Цвиленев надеялся в скором времени настолько приобрести его доверие, что он согласится увезти меня, заменив свой номер сзади экипажа каким-нибудь подставным.

На приобретение этого доверия пошло более трех недель. В продолжение этих недель я положительно исхудал от нетерпения.

Наконец, желанное согласие «лихача-кудрявича», как мы его называли в переписке, было получено.

«Приготовьтесь к побегу послезавтра к обычному времени ваших прогулок, а в знак того, что вы получили это письмо, садитесь у окна сегодня в шесть часов вечера и, когда Батюшкова пойдет по тротуару, возьмите пакет с сахаром и доставайте из него что-нибудь, а послезавтра с полудня в знак того, что вы готовы, поставьте ваш жестяной чайник на левой от вас стороне окна».

Можно себе представить мое возбужденное состояние!

Итак, скоро буду или на свободе среди новых друзей и товарищей, или, в случае неудачи, и я буду, как год тому назад Волховской, переведен в Бутырский замок и посажен там в Пугачевскую башню, или, наконец, буду убит или ранен. По мне будут стрелять, а если поймают, то будут и бить, как того несчастного пьяного, которого привез городовой в первое время моего пребывания здесь...

Необходимо окончить все скорее!

Назначенный час приблизился, все условные сигналы были сделаны мною.

Наступило обычное время прогулки. Еще за четверть часа я начал следить за площадью, но там ничего особенного не было.

Вот Батюшкова прошлась по тротуару, очевидно, наблюдая за окружающим, и исчезла.

«Вдруг опоздают? — подумалось мне.— Вдруг приедут, когда меня уже уведут обратно? Надо немного задержать прогулку».

— Подождите, пожалуйста, минут десять! — сказал я подошедшему к моей двери унтеру.— Я пока еще не готов. Я позову сам.

Тот охотно согласился, так как всегда получал от меня чай и сахар, и ушел.

Прошло полчаса, а за воротами все еще не было никакого извозчика.

Унтер снова подошел ко мне.

— Больше не могу ждать! — сказал он.— Если хотите сегодня гулять, то выходите теперь.

— Хорошо! — сказал я и, медленно надев свой пиджак, вышел.

С сильным внутренним волнением начал я ходить взад и вперед по своему дворику, опустив руки в карманы пальто, наполовину наполненные мелко истертым сухим табаком и табачной пылью, и заглядывая сквозь ворота на площадь. Но там по-прежнему ничего не было.

Наконец, уже перед самым концом прогулки почти у самых ворот части появилась Батюшкова и, глядя на меня, несколько раз отрицательно кивнула головой, обратив на себя внимание моего жандарма. Он заметил ее, подозрительно взглянул затем на меня, но я уже сделал вид, что даже не смотрю в ту сторону.

— Пора кончать прогулку! — сказал он мне раньше обычного срока.

— Пойдемте! — ответил я.— Мне и самому это хочется; все еще продолжает нездоровиться.

На следующий день мне принесли записку от Цвиленева.

«Лихач-кудрявич в решительный момент струсил часового с ружьем, стоящего около входа в вашу часть, и сказал, что не согласен увозить отсюда никого ни за какие деньги. Но он согласен увезти из бань. Напишите сейчас же в Третье отделение просьбу отправить вас в баню. Разрешение дают обыкновенно за день, а возят около двух часов пополудни. Ближайшие к вам бани находятся в безлюдном переулке, и оттуда мой кудрявич обещает непременно вас увезти. Дайте знать утром того же дня, выставив между десятью и одиннадцатью часами столько каких-нибудь вещей на вашем окне, во сколько часов вы поедете».

Я тотчас послал заявление и одновременно просил Цвиленева прислать мне достаточную дозу морфия, чтоб я мог усыпить сопровождающего меня унтера, всыпав ему морфий в кружку пива, когда буду мыться в отдельном номере, а ему предложу тем временем выпить на мой счет бутылку этого напитка.

Морфий был мне прислан со следующим письмом, а разрешения съездить в баню пришлось дожидаться от Третьего отделения около двух недель.

Наконец, и оно было получено моим караулом, начальник которого и объявил мне, что меня повезут на извозчике за мой счет на следующий день.

— Наконец-то! Наконец-то! — с облегчением воскликнул я про себя, бросившись бегать взад и вперед по камере.

Полтора месяца ожидания сделали для меня почти невыносимым дальнейшее продолжение неопределенного состояния. Мне нужно было чем-нибудь его окончить, чтоб не помешаться на идее побега. Я как-то уже упоминал в этих своих рассказах, что был в силах делать все возможное для человека, за исключением только одного: ждать. В состоянии же ожидания я всегда делался неспособным думать о чем-нибудь ином, кроме ожидаемого, и каждая минута физического бездействия казалась мне длиннее целой жизни.

А предстоящее мне завтра не могло не волновать меня своей рискованностью и невозможностью предвидеть окончательный результат.

Унтер-офицер, если я не успею ему засыпать оба глаза, конечно, станет стрелять по мне. Но я не мог не согласиться, что из бань действительно безопаснее умчаться, чем с генерал-губернаторской площади перед моей темницей. Я, собственно говоря, мало верил, что в меня попадут жандармские пули, и не это меня более всего тревожило. Была одна причина, делавшая для меня особенно мучительным осуществление своего личного побега: мне было невыносимо совестно вдруг повернуть спину и броситься бежать от тех самых жандармов, с которыми я мгновение назад добродушно разговаривал и которые постоянно мне говорили:

— Сейчас же отпустили бы вас на все четыре стороны, да ведь нам самим тогда придется сесть на ваше место!

Но все это, конечно, необходимо было превозмочь, и я решил, что превозмогу. Только бы не продолжать долее бесконечных сборов и не сойти от этого с ума!

А пролог к сумасшествию как будто уже начинался: в голове от бездействия и отсутствия чтения все время лежала какая-то свинцовая тяжесть, как будто пудовой гирей давившая мне мозг, а по ночам меня начали мучить кошмары, такие яркие, что я никак не мог их отличить от действительности. Особенно ужасен был один: какой-то седой, худой, морщинистый старик подкрадывался к моей постели почти каждую ночь и бросался меня душить. Сопротивляясь ему, я сам хватал его за горло, и вот мы катались по каменному полу моей камеры, напрягая последние усилия и не будучи в состоянии одолеть один другого, до тех пор, пока, выбившись окончательно из сил, я не просыпался со страшным сердцебиением и, взамен убегающих из глаз очертаний ужасного старика, видел пустые стены моей камеры... Пережитое во сне представлялось мне тогда так ярко, что отожествлялось с самой действительностью, и я спрашивал себя, когда же я сплю: теперь ли в темнице или в борьбе с этим стариком?

Не схожу ли я с ума?

И ужас перед возможностью сумасшествия сделался для меня страшнее смерти.

Вдруг я в сумасшествии разболтаю все, что знаю о товарищах? Вдруг стану причиной их гибели? Холод проходил у меня по спине, и волосы на голове шевелились при одной этой мысли. Нет! бежать, бежать, скорее, во что бы то ни стало! Бежать завтра же из бани, все равно, приедет цвиленевский лихач или нет!

И вот извозчик, нанятый на мой счет солдатом (я получал теперь деньги контрабандой от Батюшковой), въехал во двор под моим окном, и унтер-офицер, уже привыкший теперь ко мне и, по-видимому, не боявшийся, что я нырну в кувшин с водою, отоворил мою камеру. Мы приехали в ближайшие бани, в одном из пустынных переулков Тверской улицы. Для меня там был уже обеспечен отдельный номер с передней и горячей комнатой, с матовыми окнами и с форточкой, выходившей прямо на улицу Я должен был раздеться в прихожей, где спросил у банного служителя две бутылки пива.

Он принес их вместе с двумя кружками, раскупорил, налил в обе кружки и ушел, поставив их на карниз перед зеркалом, под которым был камин. Попросив унтера взять полотенце, нарочно оставленное мною с другой стороны, я всыпал в одну кружку свой морфий и предложил ему. Но, он, очевидно, боялся опьянеть и потому решительно отказался. Я допил свою и пошел голый в жаркую комнату. Он тоже вошел за мной в своей шинели и полном вооружении, но через десять минут ему стало здесь так жарко, что, весь обливаясь потом, он вышел в переднюю комнату, не затворив за собою двери.

— Не думаете же вы, что я голый выскочу из окна и побегу по улице? — сказал я ему, смеясь.— Ведь у меня здесь нет никакой одежды. Закройте дверь, а то из нее дует в этот жар холодом.

Он нерешительно затворил ее, а я тотчас же приотворил форточку и выглянул направо и налево в переулок. Там никого не было, кроме редких прохожих.

Я мгновенно закрыл форточку, чтоб не рисковать ни одним лишним мгновением ее открытого положения, и сделал хорошо. Через две-три секунды дверь немного приотворилась, и мой сторож заглянул в комнату, чтоб убедиться, тут ли я. Я налил себе горячей воды, намылил голову и, подождав минут десять, опять на мгновение открыл форточку, после нового заглядыванья ко мне, и снова убедился, что там никого нет.

Так повторялось около часу. Никаких результатов! Все пусто кругом.

— Верно лихач-кудрявич опять струсил,— подумал я.— Протяну же подольше время.

— Пора кончать, господин,— сказал мне унтер.

— Сейчас! — ответил я.— Еще не вымыл ноги.

Прошло четверть часа. Опять никого нет! Не выскочить ли голым, не убежать ли по улицам куда-нибудь, а потом укрыться в первом попавшемся незнакомом доме, откровенно рассказав хозяевам, кто я, и попросив у них одежду? Вдруг окажутся сочувствующие? Но и этого оказалось невозможно сделать.

— Мне более нельзя ждать! — заявил мой сопровождающий, очевидно сильно встревоженный моим необычно долгим мытьем и уже более не затворяя двери.

Пришлось подчиниться и идти одеваться.

— Да выпейте же! — сказал я, опять подвигая ему кружку.

— Нет, нет! Не хочу,— отвечал он, уже сильно насторожившийся.

Тогда я выпил сам другую бутылку и остатки первой и начал одеваться. Как бы выиграть время?

«Может быть, просто они запоздали по нашему русскому обыкновению? — пришло мне в голову.— Сделаю вид, что я опьянел от пива».

Надев последнюю часть своего платья, я притворился, что хочу встать и не могу. Я придержался рукой за стену.

— Ой, как кружится в голове! — тихо сказал я.— Мне теперь не пройти по улице. Право, не знаю, как быть.

Ему нельзя было привезти меня в темницу пьяного: его оштрафовали бы. Он совсем перепугался, побледнел.

— Надо выпить холодной воды! — сказал он мне и пошел к двери, а я воспользовался этой минутой и вылил приготовленную ему кружку пива с морфием в кадку.

Возвратившись, он подумал, что я ее выпил, и начал попрекать меня, говоря, что я его совсем погублю.

— Уж полежите лучше полчаса на скамье, пока перестанет кружиться! — сказал он и, дав мне холодной воды, облил ею мою голову.

Обрадовавшись, что хитрость удалась, и, не имея более возможности выглянуть на улицу, чтоб убедиться, ждут ли меня там, я через полчаса сказал, что чувствую теперь себя совсем хорошо и могу идти.

Мы вышли.

На улице никого не было. Отчаяние овладело мною. Брошусь бежать в первый двор! В Москве за домами везде сады, разгороженные друг от друга деревянными заборами. Я уже не раз скакал через них, когда был гимназистом, перескочу и те-

перь. Ему меня не догнать там. Выйду оттуда на какую-нибудь параллельную улицу и скроюсь. Все равно! Будь, что будет! Сидеть далее в тюрьме с вечным ожиданием этого старика по ночам значит окончательно сойти с ума. Я этого не хочу!

Я взглянул в первые ворота, мимо которых мы проходили, но в них стоял дворник. Я взглянул вперед по переулку. Перед нами шел длинный забор, и вторые ворота в нем были удобнее.

Мы шли пешком, так как везший нас сюда извозчик был предусмотрительно отпущен мною, а другого в переулке не было видно.

Мы подходили уже к заветным воротам, как вдруг из них навстречу мне вышел молодой человек с дамой под ручку. Я сразу узнал в даме Батюшкову. Она вышла вся взволнованная и, смотря на меня, отрицательно кивала головой.

Мой унтер так и впился в нее глазами. Затем показалась другая пара, мужчина и женщина, и по огромному росту последней я узнал в ней Наташу-великаншу.

— Il faut attendre! (надо ждать!) — сказала она, проходя мимо меня, как будто своему спутнику, и это сразу разрушило мое решение броситься тут же через забор.

«Им лучше знать! — подумал я.— Надо подчиниться!»

На углу ближайшей улицы стоял извозчик. Мы сели в него, и через десять минут я снова вошел в свое одинокое узилище, и железный замок снова загрохотал за моей дверью.

14. Мысли в заключении

Просто удивительно, как ясно припоминаются давнишние грезы, давнишние сновидения, когда вновь попадаешь в прежние условия жизни!

Вот я теперь сижу в новом одиночном заключении в каземате Двинской крепости, пишу за своим маленьким столиком в тетрадке кусочком карандаша эти мои воспоминания о прошлом и чувствую, как одни из них вытягивают другие, менее живые. И многие из них даже не вспоминались мне целые десятки лет моей предыдущей жизни в Шлиссельбурге и на свободе. Тогда у меня были новые, чисто научные мысли и занятия, которым я придавал, да и теперь придаю несравненно более значения. Они же были бы у меня и здесь теперь, если б был удобен доступ научных книг из Петербурга в это отдаленное место, где нет никакой библиотеки, где сидят только трое товарищей по заточению.

Но книги передаются сюда с трудом; они доходят после разных пересмотров, нередко через три-четыре недели после получения в комендантском управлении, и потому мне поневоле пришлось отложить до своего выхода окончание давно, еще в Шлиссельбурге, начатой мною книги «Пророки» и приняться за какую-нибудь более производительную работу.

Но что же может быть производительнее в таких условиях, как не воспоминания о прошлом, материалы для которых целиком находятся в моей собственной голове, из глубины которой никто не в состоянии их унести и запереть на ключ, чтобы я не мог более ими пользоваться?

Правда, время похитило многое, и некоторые записи в постепенно развертываемом моею памятью свитке воспоминаний наполовину стерлись или выцвели от времени. Однако некоторые буквы и в них еще сохранились отчетливо, как в старых, порыжелых и попорченных сыростью бумагах архива, и по ним при некотором усилии я могу восстановить целые фразы в безмолвии своих ночей, когда, принявшись за эту работу, я весь отдался ей и пишу день за днем страницы за страницами целыми месяцами, даже не читая ни одной книги.

И странная вещь! Когда я писал здесь о моей жизни на свободе, мне было легче. Я на время забыл о своем новом заточении.

Но вот я дошел до прежнего заключения, и на душе стало тяжело вдвойне. И вновь зашевелились на голове волосы от давно минувших душевных страданий. Вчера я весь вечер ходил по комнате и думал: была ли моя жизнь на свободе действительностью или бредом давно сумасшедшего галлюцинатора?

Какая мучительная тоска охватывает меня всего! Кто был в моем положении? В этой последней своей тюрьме я описываю первую тюрьму и ее мучительные переживания, бывшие тридцать пять лет назад,— ведь это тюрьма в квадрате! Однако начатое дело надо окончить во что бы то ни стало, как бы это ни было мне тяжело. Вот уже полгода я сижу вновь в одиночном заключении. Вновь горит на столе керосиновая лампа, вновь надо мною каменные своды потолка. Тихо снаружи да и внутри. Только мышь в углу грызет по временам свою корку хлеба.

Дорогое для меня существо далеко теперь от меня. В окно ко мне снаружи глядит только черная осенняя ночь, и в душе моей проходят такие же черные безотрадные мысли. Мне вспоминаются вновь и те давно забытые мною мышки, целое семейство которых навещало меня и в печальной камере в Москве, из которой я так неудачно собирался два раза бежать на сво-

боду. Это были тогда мои единственные гости, привыкшие, наконец, ко мне до того, что лазали даже по ногам на мою постель и, не стесняясь, принимались есть на табурете перед самым моим лицом положенные на него куски хлеба. Они садились по-заячьи на задние лапки, поднимали кусок обеими передними лапками, как дети, к своему рту и грызли, сидя, повернувшись всегда лицом ко мне и глядя на меня своими блестящими, круглыми, черными глазками.

Мне вспоминаются вновь и мои забытые сны первого периода заточения, и некоторые из них, вынырнув неизвестно каким образом из мира долгого забвения, даже снова повторились здесь в эту самую ночь.

Все это были безотрадные сны гонений и преследований. Мне часто снилось, как я бегу от гонящихся за мною и стреляющих в меня жандармских солдат по каким-то бесконечным рядам зал и коридоров. Каждый раз передо мною стоит стена, далее которой нельзя уже бежать, но, подбежав к ней, я, против ожидания, всегда нахожу в ней какую-нибудь ранее незаметную дверь, через которую проникаю в другой такой же коридор. Там опять сплошная стена перегораживает дорогу, но, побегав вдоль нее, я в самый последний момент, когда преследователи уже настигают меня и готовы расстрелять, вновь нахожу какое-нибудь отверстие и попадаю в новую залу, опять с такой же стеной. И каждый раз, несмотря на сотни повторений, сохраняется ощущение, что эта новая стена уже последняя, далее которой невозможно проникнуть.

Порой это ощущение бесконечного бега с постоянно встающими препятствиями, возбужденное, без сомнения, моими постоянными приготовлениями к побегам во время первого заточения, реализовалось и в другой форме. Часто, как и в детстве, я видел, будто усилиями собственной воли я могу поднять себя от земли, но обыкновенно не выше человеческого роста,— подняться выше у меня не хватало сил,— и я летал по воздуху на этой небольшой высоте, а жандармы бежали за мной и старались схватить за мои свисавшие ноги. Вот они уже близко, они догоняют, я не могу лететь скорее, чем они бегут, я поднимаю ноги, но зато сам тотчас же спускаюсь на их уровень.

Однако в решительный момент, когда их руки уже готовы меня схватить, я вдруг получаю силу подняться почти до высоты домов появляющегося передо мной города. Но я не имею сил перелететь через крыши возникающих постоянно на моем пути многоэтажных домов, а должен облетать их кругом; а мои преследователи бегут за мною, и число их непрестанно увеличивается.

К ним присоединяются солдаты, каждую секунду стреляющие в меня на бегу из своих ружей. Их пули, жужжа, пролетают мимо меня.

Вот одна пронизала все мое тело и улетела, вот другая... Я лечу, весь простреленный, как решето, множеством пуль... Кровь течет из меня и капает на землю, оставляя за мной кровавый след, но я все еще могу лететь и, пока есть хоть капля сил, не хочу сдаваться.

Но мучительней всего был этот проклятый седой, морщинистый старик, приходивший почти каждую ночь бороться со мною. При одном виде его, подкрадывающегося ко мне из-за угла, на меня нападал суеверный ужас, как перед какой-то чисто дьявольской сверхъестественной силой.

И он не преминул явиться ко мне в печальную ночь, которая наступила после моего возвращения в тюрьму из бань, после нового надувательства «сочувствующего лихача-извозчика».

— Нет,— говорил я сам себе на следующее утро.— Более не хочу иметь с этим извозчиком никакого дела. Сейчас же напишу об этом Цвиленеву. Буду сильным! Жизнь теперь этого требует от меня, и притом же мне нет никакого выхода. Если я не убегу, я через несколько недель буду окончательно сумасшедшим.

И я послал письмо Цвиленеву с горячей признательностью за его старания, но писал, что, не веря более в его лихача, хочу бежать на днях сам, под видом «чёрта», так как наступил уже август и ночи стали теперь совершенно темные. Я просил только указать мне квартиры в окрестностях, куда я мог бы явиться.

Но раньше чем я отослал это письмо, при возвращении мне моим тайным почтальоном кружки с молоком ее дно принесло мне длинное письмо от Цвиленева, где он, очевидно, страшно сконфуженный неудачей, просил меня не предпринимать ничего отчаянного.

«Извозчик оказался трусом,— писал он.— Несмотря на все мои уговаривания, он в самый решительный момент отказался подъехать к баням. Мы все страшно сконфужены, а я считаю себя прямо ответственным за эти неудачи. Мы сейчас же решили приобрести рысистую лошадь и шарабан. Дайте только мне недели две или хоть дней десять для того, чтобы успеть подучиться ездить. Я сам буду кучером».

Мне было слишком больно огорчить его. Мне казалось, что убежать самому теперь, когда мои друзья так сконфужены, не давши им возможности реабилитироваться — не передо мною, а в своих собственных глазах,— было бы слишком жестоко.

Я разорвал свою записочку и вместо нее написал новую с обещанием ждать еще две недели.

И вновь дни пошли за днями в моем одиночестве.

С каждым днем длиннее становились осенние вечера. Уже давно в моей камере по ночам горела лампа, и записочки прилеплялись уже не к кружке, а на дно лампы.

Я не нуждался теперь ни в чем, кроме книг, которых мои друзья не могли передать мне незаметно для моих сторожей, и жажда чтения стала мучительной, сильнее всякой физической жажды. Прошло уже полгода моего одиночного заключения, и за исключением нескольких дней в петербургском Третьем отделении я все время не читал никаких книг.

Чтобы скоротать время, я повторял без конца все известные мне стихи Некрасова, Лермонтова, Пушкина, Кольцова и других поэтов.

Раз я, лежа вечером, закинув руки за голову, на своем соломенном тюфяке, вспомнил, как и сам когда-то почувствовал вдохновение и составил стихотворение, сидя ночью один у Армфельдта. Мне захотелось писать стихами, но на душе было уныло, и унылое настроение навевало на меня одни меланхолические мотивы, так мало согласовавшиеся с обычным жизнерадостным состоянием моей души.

Я сам не знаю, как у меня сложилось вдруг четверостишие:

Кругом непроглядною черною мглой
Степная равнина одета,
И мрачно и душно в пустыне глухой,
И нет в ней ни жизни, ни света.

Я записал его спичкой на стене камеры, и оно мне понравилось, но продолжать я не мог. От него стало еще хуже на моей душе.

Теперь я жил с вечным ожиданием сумасшествия и с леденящим душу предчувствием приближающейся ночи и обязательного кошмара со стариком, как только засну. Мысль, что я уже сошел с ума, все чаще и чаще стала навязываться мне.

— Ты уже сумасшедший! Ты уже сумасшедший!— постоянно нашептывал мне один из моих внутренних голосов.

Он прорывался сквозь все, о чем бы я ни думал, мешал всяким моим отвлеченным размышлениям или сочиняемым мною в уме фантастическим романам. Ни днем, ни ночью он не давал мне покоя. Это стало моей idée fixe *.

* Навязчивой мыслью.

Я думаю теперь, что у меня и действительно был тогда приступ острого помешательства, которое развилось бы в настоящее, если бы заключение без книг продолжалось еще несколько месяцев. Я помешался бы на том, что я сумасшедший и что в припадке безумия я могу назвать своих товарищей, и что третьеотделенские шпионы услышат и запишут их имена по моему бреду.

«Лучше убей себя,— говорил мне один голос,— только не допусти до этого!»

«Но, может быть, я еще не совсем сумасшедший,— отвечал ему второй голос, который говорил от моего имени.— Может быть, я еще поправлюсь, может быть, меня еще успеют освободить! Я не хочу умирать! Самоубийцы — это жалкие, бессильные люди! Много ли их погибло на каком-нибудь геройском деле? Вот Ромео убил себя на могиле Джульетты, убил бесполезно, не принеся никому никакой пользы. Если бы я был в его положении и не мог жить после смерти любимого мною дорогого существа, то я выбрал бы себе другую, более славную смерть на каком-нибудь великодушном героическом подвиге, сделанном в память дорогой для меня души. Зачем умирать бесполезно на могилах, принося лишь отчаяние всем, кто нас любит? Самоубийца — это моральный и физический трус; он бежит из жизни, как обыкновенный трус бежит с поля сражения. Я не хочу быть беглецом, я хочу бороться до конца и не отдам судьбе без нужды ни одной секунды моей жизни, как бы тяжела она ни была».

«Но если бы твоя гибель была неизбежна, неотвратима, если бы ты убедился, что всякая борьба безнадежна,— зачем продолжать борьбу?»

«Для самой борьбы!— отвечал другой голос.— Потому что ведь вся наша жизнь — это борьба за жизнь. Для всех нас конец и без того неизбежен, мы не боимся же его в неопределенной дали, зачем же будем бояться вблизи? Нет, если бы меня стали даже вешать и петля была бы надета уже палачом на мою шею, то я и тогда счел бы малодушием броситься самому в нее, чтобы ускорить смерть. Хоть одна лишняя секунда жизни, сказал бы я себе,— но я ее не отдам им сам, не поддамся страху предстоящей смерти, потому что жизнь есть первая цель каждого сознательного существа, начиная от его рождения... Жертвовать своей личной жизнью можно только для спасения чьей-нибудь другой или, как теперь я, для торжества общечеловеческой жизни».

«Но,— возражал первый голос,— когда ты уже сошел с ума и боишься в припадке безумного бреда разболтать о своих друзьях, тебе и надо доказать свое великодушие на деле и

покончить с собою раньше, чем ты успеешь совершить предательство».

«Но кто тебе сказал, что я сошел с ума?» — возражал я.

«А этот старик, который является душить тебя каждую ночь, как только ты заснешь? А твой суеверный страх поздними вечерами, когда ты ходишь из угла в угол, с твоей свинцовой тяжестью на темени и жаром в затылке, когда ты боишься взглянуть в темные углы комнаты и ожидаешь увидеть там скрывающихся сверхъестественных зверей и чудовищ, готовых броситься на тебя, хотя умом ты и не веришь в их реальное существование? Разве это не явные признаки уже начавшегося сумасшествия?»

«Но это может еще пройти, я еще могу жить! — возражал первый голос.— Даже и сумасшедший, я буду думать только об одном: чтоб никогда не упоминать имен своих друзей. Я чувствую, что именно это и будет идея моего помешательства, а не какой-нибудь горячечный бред. Вот почему не мешай мне еще жить, не пугай меня возможностью невольного предательства посреди бреда, которого у меня, наверное, не будет».

Но первый голос все же не умолкал и твердил в промежутки между моими мыслями, о чем бы я ни думал, все одну и ту же зловещую фразу, от которой у меня холод проходил по телу:

«Ты уже сумасшедший! Ты уже сумасшедший! У тебя может начаться бред!»

Так прошли еще две или три недели.

Цвиленев мне писал, что он постоянно берет из татерсаля прекрасную лошадь с шарабаном, на котором обучается скорой и ловкой езде по улицам под руководством одного из тамошних конюхов. Он скоро уже совсем напрактикуется и получит достаточно доверия к себе, чтобы, отпустив кучера, поехать «покатать знакомую даму»... А между тем, высадив ее, он увезет меня и сдаст затем коня обратно в татерсаль раньше, чем начнутся повсюду поиски.

15. Странное место

Но вдруг все это сразу рухнуло, еще раз наглядно подтвердив мне ту истину, которую я всегда высказывал своим друзьям в разговорах: в тайных обществах нельзя терять ни одного дня, ни одного часа для исполнения задуманного, потому что каждый день и каждый час приносит с собою новые шансы раскрытия. Медлить — это добровольно давать перевес своему врагу.

В один туманный день, после обеда, явилась на двор карета и остановилась под моим окном. Из нее вышел жандармский офицер и через несколько минут пришел из коридора в мою камеру.

— Надо одеться и взять все ваши вещи,— сказал он.— Получено распоряжение о переводе вас в другое место.

— Куда? — спросил я.

— Это вы сами потом увидите.

— У меня нет ничего, кроме того, что на мне,— сказал я,— да еще вот эти пакеты с сахаром и чаем, да пальто и шляпа.

— Обыщите! — приказал он появившимся вслед за ним новым, не знакомым мне жандармам.

Как ни мало я дорожил их мнением, но мне было совестно открыть перед ними свое белье. Читатель, верно, еще помнит, что пограничный комиссар, арестовавший меня на прусской границе, оставил у себя чемодан с моими вещами и все имевшиеся деньги и на мое заявление в Петербурге ответил официальной бумагой, что при мне не было никакого чемодана и что все я истратил на себя.

С тех пор я получал деньги контрабандой. Передавать же контрабандой белье и книги, прикладывая их в письмах под дно кружки, было, конечно, невозможно. Кроме того, я не хотел, чтоб кто-нибудь из товарищей рисковал собою при официальной передаче мне чего-либо через Третье отделение, так как после моего побега такое лицо было бы тотчас же арестовано.

Вот почему все мое белье давно превратилось в висящие на мне грязные лохмотья... Мои штиблеты, как выражаются, оскалили свои зубы, брюки разорвались давно на две отдельные половины, и я был рад, когда поверх всего этого надел свое заграничное пальто, лежавшее совсем без употребления, и свою заграничную шляпу и, сев в карету, отправился в новый, неведомый для меня путь.

Меня провезли давно знакомыми мне улицами Москвы мимо вокзала Рязанской железной дороги, где я когда-то жил в квартире инженера Печковского вместе с его братом, моим товарищем по гимназии. Я увидел вновь окошко моей собственной комнаты, где происходили тайные заседания нашего общества естествоиспытателей, где обсуждались после заседаний всякие философские и общественные вопросы, где роилось столько бескорыстных, самоотверженных планов в наших юношеских головах...

Затем карета повернула на площадь и остановилась у подъезда Петербургской железной дороги.

— Везут в Петербург! — понял я наконец.— Теперь уже,

наверное, посадят в крепость, и я окончательно сойду с ума, если там тоже не будут давать книг за мой отказ давать показания.

Нас встретил жандармский солдат с билетами в руке и повел на платформу, которая была еще заперта для публики. Но нас тотчас же пропустили.

Вагоны уже стояли там, и меня поместили опять на крайнем месте, в углу между дверью, выдвинутой внутрь вагона, и стеной. Рядом со мной сел один жандармский солдат, а напротив — второй вместе со своим унтером, отгородив меня таким образом от всего окружающего. Вдали раздался первый звонок, и публика хлынула по вагонам.

Почти все смотрели на меня, как мне показалось, с несравнимо большим интересом, чем когда меня везли из Петербурга в Москву полгода тому назад. Некоторые, заняв свои места, перешептывались, поглядывая на меня. Очевидно, часть публики научилась уже понимать, что с жандармами возят политических в крепость, где что-то с ними делают. Однако почти ни у кого я не заметил какого-либо другого выражения, кроме сдержанного любопытства, за исключением одной молодой девушки в черной шляпке-матроске, какие чаще всего носили тогдашние курсистки.

Когда она села на свое место, за две скамьи, как раз против меня, и, уложив свои вещи, бросила беглый взгляд по вагону, чтоб ознакомиться с публикой, она увидела меня между спинами сидящих передо мною жандармов. Ее хорошенькое беленькое личико выразило такое нескрываемое участие, что я был страшно тронут. Она положительно не могла отвести своих глаз от меня.

— Не могу ли я чем-нибудь вам помочь? — говорила без слов вся ее словно зачарованная фигурка.

Но вот наступил вечер, потом зажгли в вагоне фонари, оставившие в тени нас обоих, и мы, так сказать, расстались до утра.

Понятно, что и теперь я не спал всю ночь.

Несмотря на неожиданность моего увоза, я все же успел припрятать у себя мелко сложенную пятирублевую бумажку. Она не мешала мне говорить, лежа во рту за десной. Теперь я ее уже вынул и положил в карман пальто в расчете, что она пригодится в дороге, если успею соскочить с поезда. Но мои сторожа были бдительны и, за исключением одного, курили всю ночь.

Наступило утро, а к вечеру, я знал, мы будем уже в Петербурге.

«Итак, конец моим побегам,— говорил я печально сам себе. Судьба меня поставила в такое положение, когда я должен был

действовать по способу сильных, а я согласился действовать по способу слабых. И вот мне наказанье за это! Я сам виноват в неудаче, и мне некого винить в ней кроме себя».

Я вновь взглянул в окно вагона.

Какую огромную отраду доставила мне возможность снова увидеть леса, луга и реки, хотя по-прежнему такие же недоступные для меня, как облака над ними!

Природа была уже в своем осеннем разноцветном уборе. Я отмечал рябины в лиственных лесах по фиолетово-красной зелени их листьев и по кистям краснеющих ягод; березы — по их золотисто-желтому цвету. Часть ольховых деревьев и осин стояла уже с оголенными ветвями, и вся местная почва была покрыта кучками разноцветных листьев. Серое, тусклое, осеннее небо расстилалось над картиной постепенного увядания природы и навевало на меня меланхолическое настроение. Мне вспоминалось, как в детстве я любил ходить в такое время по березовым рощам нашего парка, как моя нога утопала в шуршавшей желтой листве, разбрасывавшейся без всякого сопротивления при каждом шаге вперед.

Я спешил воспользоваться случаем, чтоб наглядеться на широкий, вольный мир, так как знал, что вечером этого же самого дня я снова буду надолго замкнут в четырех каменных стенах и буду, как маятник, ходить взад и вперед с неизменным припевом ко всем своим мыслям:

«Я уже сошел с ума! Я уже сошел с ума!»

«Придет время,— думал я,— когда от всех моих дум останется один лишь этот припев, и я впаду в мучительнейшую из всех форм сумасшествия: бесповоротно помешаюсь на том, что я сошел с ума, и у меня уже не будет ни малейших светлых промежутков, когда я мог бы забыть об этой ужасной идее. Так надо же воспользоваться случаем, чтоб в последний раз в жизни насмотреться на чуждую для меня теперь природу и человеческую жизнь, идущую своим путем, как корабль в океане, с которого нахлынувшая волна выбросила меня за борт».

Я взглянул в вагон и вдруг увидел участливый взгляд вчерашней миленькой девушки-курсистки, по-видимому, давно остановившийся на мне. Она улыбнулась мне и слегка кивнула головкой. Я вынул свой носовой платок и сделал ей легкое движение. Оба сидевшие против меня жандарма сейчас же оглянулись, и она стала с равнодушным видом смотреть в окно. Мы подъехали к станции Мста, и предупрежденный телеграммой о моем приезде станционный жандарм сейчас же остановился на платформе против моего окна. Телеграфист вместе со своей женой и начальник станции, по-видимому, с сестрой (оба были похожи)

тоже подошли и стали за спиной жандарма, смотря на меня через закрытое окно вагона.

Сидящему передо мной унтеру, по-видимому, было лестно такое внимание, делавшее в его глазах более значительной и самую его миссию доставки в Петербург важного политического преступника. Он меня не отстранял от окна, смотря в него вместе со мною.

Поезд стоял здесь минут пятнадцать, и за железнодорожным жандармом собралась толпа местных станционных жителей, человек в пятнадцать, рассматривавших меня очень сдержанно, не выражая ни одобрения, ни порицания. Но вот к ней подошел седоватый, бритый и усатый господин средних лет, по-видимому, небогатый помещик из отставных военных. Находившееся на нем драповое пальто-халат было значительно поношено.

Он обратился к стоящему телеграфисту, очевидно, с вопросом, на что тут смотрят, и, получив, по-видимому, ответ, что везут политического в крепость, вдруг начал выражать свои монархические чувства, показывая мне кулаки и произнося какие-то ругательства по моему адресу.

В один момент вся остальная толпа отшатнулась от него и стала в стороне. Это, по-видимому, еще более взбесило его. Жестикулируя своими кулаками и продолжая ругаться, он все ближе и ближе подступал к моему окну, а станционный жандарм не знал, что ему делать.

Я смотрел то на него, то на отошедшую от него толпу, ничем не показывая вида, что на дне моей души стало очень горько.

«Даже и единственный день моей жизни,— думалось мне,— когда пришлось увидеть вольный свет, оказывается отравленным слепой ненавистью ограниченного человека, принимающего меня за какой-то дикий призрак его собственного тупого и зложелательного воображения!»

— Отстранитесь от окна! Сядьте в угол, чтоб вас не было видно снаружи!— быстро сказал мне мой унтер-офицер, опасавшийся, что тот в порыве своего верноподданнического усердия разобьет кулаком стекло моего окна.

Спрятавшись в угол, я взглянул между сидевшими против меня жандармами на личико сочувствовавшей мне юной курсистки, желая ей сказать без слов: «вот видите, как ко мне относятся!»

Она стояла совсем бледная. На ее черных глазах были слезы, и я видел, как две или три из них скатились по ее щекам. Под влиянием какого-то внутреннего порыва она вдруг встала, как будто что-то хотела сделать, но, увидев мой успокаивающий взгляд и отрицательное движение головы, села.

Выглянув еще раз в уголок из окна, я увидел, что вся толпа расходилась, а усатый помещик в халате, догнав кого-то из уходящих, пристал к нему и, по-видимому, что-то объяснял ему, все время поворачиваясь на ходу назад и показывая мне свой кулак.

Но вот поезд двинулся и... через несколько часов привез меня в Петербург.

Была уже полная ночь. Меня усадили в карету и повезли куда-то по освещенным фонарями незнакомым мне петербургским улицам. Я уже не спрашивал, куда меня везут, так как знал заранее стереотипный ответ всех жандармов:

— Увидите сами!

Мы ехали по крайней мере полчаса, после чего карета направилась через отворившиеся ворота в темный глухой проход под каким-то огромным домом.

Унтер-офицер вышел из нее и вошел в дверь в правой стене этого прохода, оказавшуюся как раз рядом со мною, а мне предложил ждать в карете с двумя моими жандармскими солдатами. Через четверть часа он вернулся и сказал:

— Теперь можно выйти.

Я вышел и увидел, что моя карета стояла в небольшом, замкнутом со всех сторон темном пространстве. Тоннель под домом был плотно загражден и с той и с другой стороны воротами, задние из которых только что пропустили нас и затем снова замкнулись за нами.

Я вошел в дверь и оказался в небольшом помещении очень странного вида, с какими-то приборами на стенах.

Передо мною открылась новая железная решетчатая дверь. Меня ввели по какой-то темной лестнице, как будто сделанной в толстой каменной стене, в комнату, где меня встретили, к моему удивлению, уже не жандармы, а какие-то чиновники и служители в невиданных мною мундирах с золочеными пуговицами и золочеными же ключами на воротнике.

«Очевидно,— подумал я,— теперь меня привезли в какую-то большую темницу Третьего отделения, где действительно могут пытать, чтоб вырвать у меня показания. Но они даже и не подозревают, что смерть в пытках для меня будет лучше, чем предстоящая мне перспектива сумасшествия».

Мне предложили раздеться и вымыться в ванне в присутствии всех, стоящих в этой комнате. Я повиновался, вошел в ванну и начал полоскаться и мыть себя руками, но это сбило меня с толку. Нигде еще не принуждали меня мыться.

Мое платье и белье было тотчас же вынесено вон служителями в мундирах, которые взамен принесли старые грубые войлочные штаны и такую же черную куртку, жесткую рубашку и

кальсоны, кожаные башмаки, вроде калош, и две тряпки вместо носков.

Когда я оделся во все это, мне показалось, что я стал совсем похож на медведя, так толсты и неуклюжи сделались мои руки и ноги.

— Теперь пойдемте! — сказал мне чиновник с ключами и пошел рядом со мной; в отдалении нам предшествовал один из служащих.

Вдруг мысль, от которой мороз пробежал по всему телу, мелькнула в моем мозгу.

«Да это меня привезли в сумасшедший дом! Они уже узнали из какого-нибудь моего ночного бреда, что я сошел с ума, и теперь на всю жизнь поместят здесь! Как бы мне узнать это? Ведь если я их спрошу прямо, я уже знаю, они мне не ответят правды».

— Скажите, пожалуйста,— спросил я, радуясь своей находчивости и думая, что этот косвенный вопрос их озадачит,— ведь здесь сидят только больные?

«Если он скажет «да!»— подумал я,— то будет и без слов ясно, какова моя болезнь».

— Всякие! — ответил он.— У нас сидят и здоровые и больные.

«Значит, нет! — мелькнуло у меня в голове.— Это не сумасшедший дом! Но в таком случае, что же это такое? Это не крепость! Это не часть! Это не Литовский тюремный замок, который я видел, когда ехал за границу. В темнице Третьего отделения я уже сидел. Нет! ничем другим, кроме сумасшедшего дома, это не может быть. Или это какая-нибудь вторая, более важная темница Третьего отделения? Но в таком случае сколько же у них тайных политических узников? Им нет числа, судя по количеству ниш с запертыми дверями, стоящих вдоль стен, мимо которых меня ведут. Вот они везде, тесно друг от друга, как входы гробниц в катакомбах!»

Действительно, таинственное и, очевидно, никому еще неведомое огромное здание, куда меня привезли, более всего походило на катакомбы новейшего устройства. Меня провели внизу сквозь вторую решетчатую дверь, отворенную стоявшим за нею служителем в мундире, и мы повернули в огромный многоэтажный, слабо освещенный газовыми рожками коридор, с правой стороны которого находились в два ряда, один над другим, огромные матовые окна, а по левой стороне шли какие-то длинные висячие железные балкончики,— целых три, один над другим. Мы взобрались по решетчатым железным лесенкам сначала на один балкончик, потом на другой, потом прошли по третьему

в какой-то темный угол и там словно углубились в стену по узкой лестнице, делавшей в этой стене один оборот. Потом мы вышли в другой этаж с новым коридором, который в темноте казался бесконечным. И вдруг мой провожатый отпер одну из дверных ниш, шедших здесь в два яруса, с какими-то никелированными полушариями около каждой двери. Тяжело загрохотал замок, дверь отворилась, и за ней показалась какая-то темная, непроницаемая для глаз бездна.

— Войдите сюда! — сказал сопровождавший меня чиновник.

«Они хотят, чтоб я бросился в этот черный колодезь! — мелькнуло у меня в голове.— Нет! Пусть толкают сами!»

Но, не желая бороться, не убедившись фактически, в чем дело, я с беззаботным видом встал одной ногой на порог двери, а другую начал опускать в яму. Но моя нога наткнулась на что-то твердое. Это была не яма, а совершенно черный пол, казавшийся в черном мраке ниши, в которую я вступил, при косом свете коридорного газового рожка настоящим провалом.

Я осторожно сделал еще шаг, и там пол не прерывался. Я уже думал, что дверь сейчас же захлопнется за мною и я останусь один, замурованный в каменном мешке Третьего отделения, в вечном, непроглядном мраке, но один из сопровождающих вошел за мною, чиркнул вынутой из кармана спичкой и зажег газовый рожок, ввинченный у стены.

Передо мной осветилась крошечная камера шагов пять в длину и шага три в ширину с низким сводчатым потолком, под которым прямо против двери было окно, начинавшееся лишь на высоте моего роста. За окном зияла черная ночь. Налево сквозь камеру проходила какая-то резная труба, верх которой заворачивался и уходил в коридор. У стены под рожком висела железная, окрашенная в серый цвет плита, а перед ней — другая, поменьше и пониже. На противоположной стороне была привинчена койка из железных полос, склепанных друг с другом в четырехугольные клетки.

Служитель повернул особый крюк у стены, и койка отошла от нее. Он установил ее на двух привинченных стержнях. Откинув от нее железное изголовье, он бросил на него лежавшую тут же тощую подушку. Другой служитель принес наволочку, простыню и полотенце и положил их на серое одеяло, уже лежавшее на койке. Чиновник с ключами на мундире подошел к стене, где было окно, и повернул кран над находящейся под ним белой металлической раковиной. Из крана брызнула вода.

— Вот здесь,— сказал он мне,— вы можете умываться и брать себе воду, когда захотите. Кружка стоит там, на столе. Тут — ватер-клозет,— и он указал на большую серую трубу,

вроде телефонной, выходящую в углу из пола и прикрытую железной крышкой.— А вот там, у двери, пуговка, дающая звонок, если понадобится зачем-либо служитель. В девять часов газ обязательно тушится во всех камерах поворотом крана в коридоре, и потому у вас теперь остается только полчаса, чтоб убрать постель и лечь. Если успеете раньше, затушите сами свой кран посредством этого винта.

И он показал винт.

Затем все удалились. Толстая, сплошь окованная железом дверь тяжело затворилась за ними. Громыхнули замки, и я остался один.

«Где же я нахожусь? Что это за огромная тюрьма в несколько сот или даже несколько тысяч одиночных камер, о которой никогда не слыхал ни я и никто из моих знакомых? Что это за странные мундиры с ключами? Что это за люди?»

На все мысли, толпившиеся у меня в голове, я не мог дать себе никакого ответа. Я поскорее надел наволочку и простыню на постель и умылся с дороги над раковиной, чтобы абсолютная темнота после девяти часов не застала меня врасплох. Затем я стал прислушиваться.

Была полная тишина кругом. Через каждые десять минут по коридору раздавались неспешные шаги, идущие издали.

Клапанчик, закрывавший снаружи маленькое отверстие в моей двери со вставленным в него стеклом, защищенным с моей стороны проволочной сеткой, тихо отодвигался, и там показывался человеческий глаз, наблюдавший за мною с полминуты. Затем круглое окошечко снова закрывалось клапаном, и шаги медленно удалялись.

В коридоре часы пробили девять ударов, и в то же мгновение у меня наступила абсолютная темнота. Я ощупью добрался до своей койки, снял казенное неуклюжее платье и башмаки и лег под одеяло.

«Есть ли у меня здесь поблизости товарищи?— спрашивал я сам себя.— Теперь в темноте меня не видно, послушаю везде».

Я надел ощупью башмаки на босые ноги и приложил ухо к той и другой стене. Ни малейшего шороха! Я приложил ухо к полу. И под ним ничего не слышно! Я постучал пальцем в стену над столом. Нет отклика! Я сел на постель и постучал в другую стену, прижав к ней ухо. Опять ничего!

Я полежал еще с полчаса, но желание войти с кем-нибудь в сношения было так велико, что я не мог удержаться и начал слабо выстукивать ногтем по железному стержню, которым моя койка была крепко приделана к стене:

— Кто вы?

И вдруг, откуда-то из глубины камня послышались едва уловимые ответные звуки-удары, из которых сложилось:

— Щепкин, а вы?

— Морозов.

— Политический?

— Да. А вы?

— Тоже[13].

Вдруг форточка вделанная в мою дверь, быстро отворилась. Луч света от свечи упал в мою темную камеру, и за ним показалась чья-то тень. Я быстро спрятал руку под одеяло и притворился крепко спящим. Тень смотрела некоторое время и затем спряталась.

Я прекратил дальнейший разговор в этот вечер и скоро заснул довольно крепко после своей бессонной ночи в дороге, так что пробудился только на рассвете и без обычных кошмаров.

Около семи часов утра форточка моей двери вдруг отворилась. Мне просунули оттуда краюху черного хлеба и спросили:

— Желаете кипятку?

— Куда же взять?

— Можно в миску.

И мне показали на жестяную миску на полке над железными плитами, прикованными к стене и заменявшими мне стул и стол.

— А есть у вас книги для чтения? — спросил я.

— Есть.

— А какие?

— Можно дать каталог.

— Дайте, пожалуйста.

Через четверть часа принесли новенькую тетрадку со вписанными в нее книгами, большую часть которых я уже читал ранее, и кроме того дали и карандаш с лоскутком бумаги, чтоб я вписал нужные мне заглавия. Я записал недавно переведенные тогда романы Брет-Гарта, которых еще не читал, и мне обещали их выдать, один или два, на следующее утро, если они не взяты кем-нибудь другим.

В двенадцать часов мне дали обед из плохого супа и тарелки каши с маслом, затем часа в два подошли к моей дверной фортке с каким-то ящиком, вроде кружки для сбора пожертвований, и спросили, подставляя его:

— Нет ли каких заявлений прокурору?

— Какому прокурору?

— Окружного суда.

— Но где же я сижу?

Предлагавшие ящик служители замялись.

— Мы спросим господина начальника, — сказали они и удалились.

Через полчаса ко мне пришли снова.

— Вы сидите в Доме предварительного заключения в Петербурге.

— Что это за дом? Я до сих пор не слыхал о его существовании.

— Да он только что окончен постройкой и открыт только несколько дней назад. Вы в нем первый из политических, и потому мы еще не знали, что вам можно говорить и чего нельзя. Нам строго запрещено рассказывать вам о чем-нибудь и велено следить за всем, что вы делаете. В особенности не допускать никакого стука в стены.

Служитель многозначительно взглянул на меня. Я сделал вид, что ничего не понимаю.

Затем в шесть часов вечера мне дали в форточку тарелку супа, того же, что был за обедом, и более форточка не отворялась в этот день.

Чтобы проверить слова надзирателя, я опять постучал ногтем Щепкину и спросил его:

— Вы давно здесь?

— Со вчерашнего вечера.

«Значит, мы с ним действительно первые, обновившие это учреждение», — подумал я.

— Вы знаете, где мы?

— Да, знаю, мне сказали сегодня.

— Это что же за дом?

— Это тюрьма для подследственных, как уголовных, так и политических.

— Значит, это не в ведении Третьего отделения?

— Нет, это в министерстве юстиции.

«Вот тебе и раз! — подумал я. — Я в тюрьме министерства юстиции! А я-то принял ее вчера за большой сумасшедший дом! Ну, слава богу, я еще не совсем-то помешанный».

Но наступившая ночь опять захотела убедить меня в противном. Мне привиделось, что я здесь проснулся на своей койке в полном параличе. Я чувствовал все и, казалось, видел всю свою камеру, всю свою обстановку. Я делал страшные усилия, чтоб повернуться на постели, но не мог, я совершенно забыл, как нужно двинуть ногу или руку. Сколько времени я мучился так, не знаю, но вдруг как бы гальванический удар прошел по всему моему телу, и я вновь приобрел власть над своими членами и тут увидел, что в камере моей было совершенно темно, а не полусвет, как казалось в кошмаре.

К утру вновь появилась неотвязчивая идея о моем сумасшествии, но тут принесли мне роман Брет-Гарта «Золотоискатели».

О, Брет-Гарт, Брет-Гарт! Ты теперь умер уже много лет назад. Ты не узнал и никогда не узнаешь, что твои произведения спасли от начавшегося сумасшествия одного бедного политического узника в далекой для тебя России. А как бы мне хотелось от всей полноты моего сердца выразить тебе мою глубокую признательность! Едва я принялся за чтение твоего романа с жадностью голодного, не имевшего в своем одиночестве более полугода ни одной книги, как я весь отдался твоим увлекательным образам и так художественно описываемым тобою приключениям! И ужасный надоедливый голос, ежеминутно вторгавшийся во все мои собственные мысли и нашептывавший мне, что я уже сошел с ума, не мог вторгнуться в круг картин твоего воображения, сделавшихся по магической силе печатного слова также и моими собственными.

Я совершенно забыл о своей начинающейся психической болезни, и это было лучшее средство для освобождения от нее. Мой мозг креп в это время. Чувствуя, что я кончу оба романа в этот самый день, я уже заблаговременно выписал себе новые, но и в промежутки между чтением мой ум был полон картинами прочитанного. Я жил жизнью твоих героев, Брет-Гарт, или, лучше сказать, повторял твою собственную умственную жизнь, впервые создавшую этот ряд картин.

Какое удивительное счастье быть великим художником слова! Всех своих читателей как бы ассимилируешь себе, делаешь в момент чтения как бы своим двойником! Когда я читаю лирическое стихотворение, я часто думаю, что в моей душе теперь воскресла душа того поэта, потому что моя мысль, хотя и в более слабой степени, в точности повторяет все настроения его мысли, в той же самой последовательности и даже теми же самыми словами. Да, бессмертны одни идеи! Все остальное смертно! Великий Цезарь — ныне прах, и им замазывают щели[14], справедливо сказал Шекспир, но всякий великий писатель жив, пока читаются его произведения.

Так и далекий от меня Брет-Гарт дал мне тогда часть своей души и этим исцелил меня от психической болезни. С каждым днем я чувствовал, как все менее и менее тревожит меня еще повторяющееся по временам нашептывание прежде ужасного голоса, но я теперь даже перестал его бояться. У меня было против него верное оружие!

— Ничего не поделаешь теперь со мной! — отвечал я ему. — Как только ты начнешь надоедать, я сейчас примусь за чтение

романа и прогоню тебя им в такой темный уголок моей души, из которого ты уже не сможешь показаться наружу!

И мой демон-мучитель, казалось, чувствовал теперь свою слабость, он все реже и реже показывался из своего уголка, и все нерешительнее становились его заявления. А взамен него из той же таинственной глубины души все громче и громче, все чаще и чаще раздавался другой ликующий голос:

— Я выздоровел! Я выздоровел! Я выздоровел! Мое помешательство проходит с каждым днем и скоро окончательно пройдет!

И я бегал и вертелся от радости на темном асфальтовом полу своей камеры, принятом сначала, во мраке ночи, за темную бездну, в которую враги хотели меня низринуть.

16. Новые товарищи и новые мысли

К этому времени в моей жизни в Доме предварительного заключения произошло несколько существенных перемен. Прежде всего, в первый же день моего заточения здесь я успел увидеть двор своей тюрьмы. Окно моей камеры было с матовыми стеклами, и, чтоб взглянуть наружу, мне нужно было влезть на него к маленькой форточке, находившейся под самым потолком. Для этого мне пришлось, в промежуток между двумя заглядываниями коридорного, взобраться на раковину умывальника и затем, цепляясь за деревянный переплет глухих двойных рам, вскарабкаться на сильно скошенный вниз подоконник, на котором скользили мои ноги, хотя я их предусмотрительно разул перед этим и полез босой. Ухватившись руками за открытую форточку, я повис на ней, подтянул к ней свою голову и увидел перед собою часть большого, почти квадратного двора, окруженного крошечными окнами вроде моего, напомнившими мне пчелиные соты.

Я был в верхнем этаже в самом углу. А внизу подо мною гуляла по двору, по самой середине, толпа людей, человек в двадцать, тогда как три надзирателя ходили по окружающим его тротуарам.

Долее я не мог держаться и с большими усилиями опустился обратно на раковину, едва не сорвавшись и не упав с высоты на каменный пол.

— Поведут ли гулять меня? — задал я себе вопрос и сам же ответил на него: — Если поведут, то, конечно, одного.

Но меня не вели сначала. По-видимому, начальство не получило еще никаких инструкций на этот счет от Третьего отделе-

ния. Только через неделю или более дверь в мою камеру вдруг отворилась, мне принесли серый войлочный халат и такую же шапку и предложили выйти гулять. Тут я в первый раз увидел днем все эти таинственные проходы и галереи, одну над другой, по-прежнему напомнившие мне катакомбы, но уже не такие внушительные, как тогда ночью, когда я их принял за каменные мешки в какой-то неведомой никому темнице Третьего отделения с приспособлениями для электрических пыток. Теперь я уже не ожидал пыток после этих ежедневных обходов с ящиками для подачи жалоб прокурору окружного суда, но вместе с тем пропала и вся поэзия моего мученичества за убеждения. Внутри я чувствовал себя и теперь мучеником, но внешность была настолько отшлифована, что удачно прикрывала собой мрачное содержание. Пытка одиночеством, безмолвием и тоской была также сильна и здесь. Она вгоняла людей в чахотку, убивала деятельность их мозга, сердца и органов пищеварения, но ведь поврежденных легких, сердец, мозгов и внутренностей не видно снаружи, тогда как поломанные члены при прежних пытках оставались на всю жизнь на виду для всех.

Однако была и некоторая принципиальная разница как будто в пользу новой системы пыток. При прежней пытке мучили более всего сильных духом и телом, а при новой особенно нападали на слабых в том и другом отношении. Слабые здесь сильнее поддавались и гибли. Мне же, уже закаленному прежними худшими условиями, здесь было в первые недели даже очень хорошо, и я сильно поправился, особенно духом.

Этому способствовала, может быть, и полная немыслимость попытки бегства отсюда без посторонней помощи, уничтожившая беспокойную возможность постоянных приготовлений.

Меня вывели гулять на тот самый двор, который я видел из форточки. Способный быстро ориентироваться в пространственном отношении, я легко отыскал среди множества окон и свое собственное, против плотно закрытых ворот в этом дворе, в самом углу его верхнего этажа.

Меня вывели гулять, как я ожидал, в одиночку и одного же увели обратно. Соседей, кроме Щепкина, у меня не было, да и он, как оказалось, сидел через камеру от меня и, кроме того, был отделен еще и углом самого здания так, что по галерее между мною и им находилась и та внутристенная лестница, по которой меня вели.

Когда я сообразил все это после своей первой прогулки, я положительно не мог поверить, чтобы слабый звук моего пальца несся по каменным стенам так далеко. А, однако, факт был налицо!

Недели через две после моего приезда сюда, когда загасили огни, я лег на свою койку и хотел спросить Щепкина о его здоровье. Вдруг я услышал откуда-то несущийся посторонний стук. Откуда он? Я вскочил и приложил ухо к одной стене... Нет, не оттуда! К другой... тоже нет! Я приложил ухо к проходившей через мою камеру железной трубе калорифера и сразу убедился, что оттуда.

— Кто вы? — спросил я по азбуке, данной мне когда-то Кукушкиным.

— Синегуб! — был ответ.

— Синегуб! — почти вслух воскликнул я с бьющимся от радости сердцем.

Ведь я его хорошо знал по слухам... Все говорили, что это был чрезвычайно талантливый молодой поэт, арестованный за год передо мной, и член нашего большого тайного общества пропаганды. Но он ли это? Как бы узнать?

— Вы поэт? — спросил я.

Этот мой вопрос, как я узнал потом от самого Синегуба, очень рассмешил его своей прямотой.

— Пишу стихи! — ответил он. — Меня сегодня привезли из крепости вместе с семнадцатью товарищами. А вы кто?

— Морозов, — ответил я.

— Из-за границы? — спросил он.

— Да! — простучал я, обрадовавшись, что он меня знает.

Так началось мое первое знакомство с этим отзывчивым и симпатичным человеком, которому суждено было погибнуть в Сибири на каторге, не имея никакой возможности довести свой выдающийся поэтический талант до полного расцвета [15].

Он рассказал мне в следующие дни о том, что наше дело скоро будет передано следователю по особо важным делам, о том, что из него готовятся сделать чудовищный процесс в несколько сот человек, и о многом другом, новом для меня, чего я уже не могу теперь припомнить.

Он же сообщил моим товарищам через приходившую к нему два раза в неделю на свидание жену, что я нахожусь здесь и что я разошелся с отцом из-за убеждений.

Все это быстро разнеслось по моим петербургским знакомым и близким к ним посторонним людям, и неведомые мне люди приняли меня под свое особое покровительство. Мне стали присылать деньги, чтоб я мог, вместо казенных, выписывать свои обеды.

Неведомые мне дамы, избравшие меня заочно особенным предметом своей симпатии, так как я был самым юным из всех сидящих, начали заваливать меня присылаемыми чуть ли не

каждый день фруктами, конфетами, букетами цветов. В конце концов они настолько приручили к себе наших надзирателей всовываемыми в руку рублевками, что те стали передавать мне, а вместе со мною и всем другим избранным, не только дозволенные предметы, но и тайные записочки с просьбой сообщить, что нужно доставить в следующий раз. В первое время они передавали только распечатанные листки, в которых не было ничего, относящегося не к личным делам, а потом пошли и далее этого.

Я прежде всего попросил книг по общественным наукам, которыми хотел здесь особенно заняться, как не требующими лаборатории, и одна дама из общества, особенно занимавшаяся нами, Юркевич, тотчас же доставила мне многотомные всемирные истории Шлоссера, Гервинуса, а затем русскую историю Соловьева.

Бросив чтение романов, я с жадностью накинулся на них. Но все эти истории не давали мне удовлетворения. Привыкнув в естествознании иметь дело с фактами только как с частными проявлениями общих законов природы, я старался и здесь найти обработку фактов с общей точки зрения, но не находил даже и попыток к этому. Специальные курсы оказались только расширением, а никак не углублением средних курсов, которые я зубрил еще в гимназии.

Кроме того, вся древняя и средневековая история казалась мне совсем не убедительной.

«В естествознании, — думал я, читая их, — ты сам можешь проверить все, что угодно, в случае сомнения. Там благодаря этому истинное знание, а здесь больше вера, чем знание. Я должен верить тому, что говорит первоисточник, большею частью какой-нибудь очень ограниченный и односторонний автор, имеющийся лишь в рукописях эпохи Возрождения или исключительно в изданиях нашей печатной эры и проверяемый по таким же сомнительным авторам. А кто поручится, что этот первоисточник и его подтвердители написаны не перед самым печатанием? Тысячи имен различных монархов, полководцев и епископов приводятся в истории без всяких характеристик, а что такое собственное имя без характеристики, как не пустой звук? Разве два Ивана всегда больше похожи друг на друга, чем на двух Петров? Да и все вообще характеристики разве не всегда характеризуют больше характеризующего, чем характеризуемого? Разве мизантроп не даст совершенно другого изображения тех же самых лиц, чем добродушный человек? А ведь историк не машина, а тоже человек, да еще вдобавок никогда не знавший лично характеризуемых им лиц! Чего же стоят его характеристики!» [16].

Месяца четыре продолжался у меня период сплошных исторических занятий, но если читатель примет во внимание, что я читал часов по двенадцати в сутки, да и остальное время ни о чем другом не думал, то он не удивится, когда я скажу, что приравниваю это время не менее как к двум годам обычных занятий на свободе, когда человек постоянно отвлекается от своих главных работ и размышлений окружающими людьми или своей посторонней деятельностью.

Всего Шлоссера я прочел от доски до доски, кажется, дней в десять, и затем прочел более внимательно второй раз. На чтение всего Соловьева пошло, кажется, две недели, и он был тоже повторен вновь. Так я читал и каждую другую книгу. Первый раз для общего ознакомления, второй раз для отметки деталей. Начав один предмет, как в данном случае историю, я уже не уклонялся от него ни в какой другой, пока не чувствовал, что осилил все.

Так я поступал и со всякой другой наукой. Взявшись за одну, я уже шел в этом направлении, отмахиваясь от всяких случайных соблазнов, как бы ни были они привлекательны.

Так я пишу и эти самые мои воспоминания. Я не читаю теперь ни одной книги, никаких газет, одним словом, ничего, и буду так делать, пока их не кончу. Я пишу их от четырех до пяти часов в день, насколько позволяют глаза. Исписываю в среднем около двадцати двух страниц в своих тетрадях ежедневно, а в остальное время хожу по своей камере в Двинской крепости и припоминаю прошлое, все то, что мне понадобится писать завтра, и даже ночью я думаю об этом.

Я не могу заниматься сразу двумя предметами и никогда не мог. Мне легче работать самостоятельно, а не под чужим руководством, как это было в учебные годы. Но и тогда, кроме школьных предметов, у меня всегда был какой-нибудь один излюбленный, которому я и посвящал все свободное время.

Итак, сухая политическая история мало удовлетворила меня сначала в моем заточении, не показав мне никаких общих законов, и я сам стал отыскивать их [17].

И вот, по аналогии с современными зоологиями и ботаниками, мне захотелось написать: естественную историю богов и духов, и я составил ее план. Вырабатывалась большая и очень оригинальная книга, иллюстрированная старинными и новейшими рисунками фантастических существ, которые я уже отметил в разных попадавшихся мне изданиях для воспроизведения в ней.

Эскизировав эту свою предполагаемую большую работу в общих чертах (так как письменные принадлежности можно было

беспрепятственно иметь в Доме предварительного заключения) и чувствуя, что ее детальная отделка требует редких материалов, которые можно добыть только в академических библиотеках, я оставил ее в том общем наброске, какой я мог сделать при своих наличных условиях, и принялся пока изучать последнюю отрасль исторических наук — экономическую.

В результате двух-трех месяцев постоянных занятий я составил план и начал писать наброски для новой книги, опять по образцу зоологий, которую я назвал: «Естественная история человеческого труда и его профессий».

Так набрасывал я мало-помалу свои заметки в полутемной камере Дома предварительного заключения, но мне не суждено было их там окончить. Работая по целым дням, я даже и не предполагал, что за стенами моей тюрьмы идут серьезные хлопоты о моем освобождении и что эти хлопоты ведет не кто иной, как мой отец, с которым, как мне казалось, я порвал всякие сношения из-за разницы в убеждениях...

И вот неожиданное свершилось — двери темницы вдруг раскрылись передо мною, и я вышел на свободу не посредством побега, как всегда предполагал, а на «легальных» основаниях, и моя жизнь, казалось, волею судьбы, пошла вдруг совсем по новому направлению, как раз по направлению к благополучному окончанию всех задуманных мною научных проектов.

Как быстро кончилось это «новое направление», я расскажу потом. Теперь же мне время поставить точку над Днями моего испытания. Это было мое первое испытание, и мне предстояло еще много других таких же в будущем. Но оно подготовило меня к остальным и сделало более сознательным перед начавшейся для меня впоследствии новой деятельностью, несравненно более ответственной и опасной, чем все, что происходило до тех пор.

X. На перепутье[18]

1. Я вновь на свободе!

— Пожалуйте на свидание! — сказал тюремный служитель, с грохотом отворяя дверь моей камеры в Доме предварительного заключения.

— На какое свидание! — хотелось мне воскликнуть.

Ведь посторонних ко мне не пускали, а из родных был лишь один отец, который, по моим соображениям, от меня отрекся...

Но я промолчал, думая, что тут какая-нибудь тайна моих товарищей по свободе и потому мне надо идти с таким видом, как будто я давно этого ожидал.

А между тем мое сердце сильно забилось. Прошел уже год со времени моего ареста на прусской границе, и в это время я совершенно отвык от человеческого общества.

Меня повели вниз по давно знакомым мне висячим балкончикам и ажурным железным лесенкам, но не в обычные места свиданий, которые я приблизительно знал по рассказам товарищей, говоривших мне, что эти места близко, за последней дверью нашего нижнего коридора, и представляют ряд шкафчиков, в которые запираются заключенные, а перед ними сидят их родственники.

Нет! Меня повели в какую-то узкую темную подземную галерею, в которую шла спускавшаяся вниз лестница в несколько ступеней, освещенная газовым фонарем, висевшим на ее потолке.

«Не обманывают ли меня? — мелькнула у меня мысль. — Зачем меня уводят отсюда под землю?»

Но вот коридор вывел меня в другие коридоры, идущие зигзагами; по обеим сторонам их находились какие-то камеры.

Дверь в одну из них была отворена, и я увидел, что коридоры снова вышли на земную поверхность, и мой идет по самому грунту. Из него меня повели вверх по лестницам какого-то явно казенного здания. Неизвестно откуда прошли навстречу несколько солдат с ружьями. Затем меня ввели в комнату, вроде

казенной передней, а из нее сопровождающие предложили мне самому войти в другую.

Я вошел.

Два человека в штатском встали при моем появлении из-за большого, покрытого зеленым сукном, стола. Один был мне незнаком, а в другом я вдруг узнал собственного отца...

Он встал несколько смущенно и, направившись ко мне, как-то нерешительно, словно не зная, как я его встречу, сказал:

— Здравствуй, Коля!

И затем поцеловал меня.

— Твоя мать, сестры и брат здоровы, — продолжал он, и по интонации его голоса я чувствовал, что он долго готовился наедине к свиданию со мной и заранее приготовил свою речь. — Все тебя целуют и очень хотели бы снова увидеть тебя в Борке. Как твое здоровье?

— Ничего! — ответил я. — Я чувствую себя совсем хорошо.

Я взглянул на стоявшего рядом с отцом незнакомого человека.

Он еще раз поклонился, протянул мне руку и сказал:

— Позвольте представиться! Следователь по особо важным делам, Крахт. Мне передано теперь ваше дело, так как жандармское дознание уже закончено. Я вас оставляю пока одних! — сказал он отцу. — Через полчаса я снова приду. Садитесь, пожалуйста, у стола. Там вам обоим будет удобнее.

И, поклонившись вновь, он вышел.

— Верно ли, что ты здоров? — спросил, усаживаясь со мною рядом на диване, отец. — Может быть, болен? Скажи теперь откровенно.

— Нет, верно.

— Плохо тебе было?

— В первые месяцы, когда не давали книг, было очень тяжело, а теперь много легче.

— Я несколько раз справлялся и хлопотал о тебе, но сначала ничего нельзя было сделать, так как ты отказался давать какие бы то ни было показания. Теперь твое дело вместе со многими твоими товарищами передано этому Крахту. Он уже ознакомился с ним и не нашел его важным. Он согласен отпустить тебя домой на мои поруки под залог в три тысячи рублей, если ты на это согласен и не будешь держать себя так же дерзко с ним, как держал себя с жандармами.

— Я ни с кем не держал себя дерзко. Я был и буду всегда очень вежлив со всеми, кто со мною вежлив, а с грубыми просто не буду разговаривать. Но я и этому следователю по особо важным делам не скажу, где я был весной позапрошлого года.

— Он тебя не будет и спрашивать.

— А в остальном я повторю то же, что и на дознании, т. е. что виновным себя ни в чем не признаю и никого из указанных мне в качестве обвиняемых людей не знаю.

Отец быстро перевел разговор на домашние дела.

— Уже полтора года назад я приобрел в Петербурге два дома под номером двадцать девятым, по 12-й линии Васильевского острова *. В настоящее время все остальные наши уехали в деревню, и в Петербурге остался лишь я да Марья Александровна. Если что-нибудь будет тебе нужно, пиши по этому адресу.

— А как поживает Марья Александровна? — спросил я.

Это была молоденькая гувернантка моих сестер, в которую я три года назад влюбился тотчас же после ее приезда в наш дом.

— Она очень часто о тебе вспоминает и теперь просила передать тебе тысячу приветов.

Полчаса прошло. Явился Крахт. Я расстался с отцом, обещавшим зайти еще раз дня через четыре, и в большом волнении возвратился в свою камеру. Несмотря на доброе отношение ко мне отца, я все же никак не мог забыть копии его письма, показанной мне жандармами на первом допросе, где он требовал от меня полного покаяния.

«Почему он не объяснил мне этот свой поступок на свидании? Стыдно ли ему о нем вспомнить? Или он надеется, что жандармы мне ничего о нем не говорили? Может быть, они обещали ему это, а потом по обыкновению поступили наоборот? Как мне теперь быть? Сказать ли отцу, что я читал? Но если он стыдится, то зачем же поступать так, чтобы ему было неловко на меня взглянуть? Нет, я не буду в силах первый заговорить с ним о его постыдном письме... А затем, как же мне быть? Ведь, если я пойду к нему на поруки, мне придется жить несколько месяцев, может быть, даже года два, не участвуя ни в каких тайных обществах и заговорах... Ведь за мной тогда будет легко следить, начиная от моего дома, а я не хочу быть предателем своих товарищей. Но, может быть, мои друзья, если я им очень нужен, отдадут отцу его три тысячи рублей, а я скроюсь у них и буду под другим именем и с измененной физиономией работать с ними?»

Я прошелся несколько раз по своей камере, чтобы уменьшить свое волнение, и вновь возвратился к своим мыслям:

---

* После эти дома принадлежали фон-Дервизу, купившему их у моей матери. — *Н. М.*

«Вот было бы хорошо! А в противном случае я могу на свободе весь отдаться уже намеченным научным работам, окончательно обработать свои «Естественную историю богов и духов» и «Естественную историю человеческих профессий»... Или, наконец, я буду продолжать свое образование. Ведь отец, если захочет, добьется отмены министерского запрещения принимать меня в какие бы то ни было учебные заведения в России».

Полный этих новых мыслей, я постучал в трубу своего калорифера сидящему подо мною Синегубу и, рассказав ему всю историю, спросил совета, как мне поступить.

— Соглашаться ли идти на поруки?

— Конечно, соглашайтесь без всяких разговоров! — ответил он. — Кому же охота добровольно сидеть в тюрьме, когда можно выйти и притом без всякого пятна на совести!

Он в тот же день имел свидание со своей женой и передал ей мои сомнения. Она тотчас же рассказала их бывшему тогда в Петербурге Кравчинскому и остальным уцелевшим моим друзьям, и в результате в следующие несколько дней я был засыпан записочками, переданными мне контрабандой и упрашивающими меня не делать явной глупости и ни в каком случае не мешать отцу в его хлопотах. Одна из курсисток, присылавшая постоянно мне всякие лакомства, Эпштейн, та самая, которая устраивала три года назад мой отъезд за границу, даже нарочно познакомилась с моим отцом. Она прямо пришла к нему в дом как моя знакомая и просила его не терять времени, так как Крахт начал выпускать очень многих и этим, как она узнала из верных источников, возбудил против себя Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии.

Она ушла от отца, очарованная его любезностью и пораженная роскошью его жилища, представлявшего, по ее словам, настоящий дворец.

Между тем я был вызван на допрос Крахтом, который, как и предупреждал меня отец, не спрашивал совсем, где я был в подозрительный период, а ограничился моим заявлением, что я не считаю себя виновным в принадлежности к какому бы то ни было тайному обществу и не знаю никого из указанных мне людей.

И вот через две недели дверь в мою камеру вновь внезапно отворилась, и мне объявили, чтобы я забрал с собою все свои вещи и шел на свободу...

— Уйдите на минуточку, — сказал я надзирателю, — и закройте дверь: мне надо остаться одному.

Тот вышел, притворив дверь, а я сейчас же начал стучать Синегубу, теперь единственному своему соседу, так как Щепкина уже выпустили на свободу:

— Прощайте! Меня освобождают! Передайте всем товарищам, что мне горько оставлять их здесь, но я надеюсь, что в России скоро совсем не будет политических заключенных, что будет, как в Соединенных Штатах.

— Прощайте! — послышался ответный стук...

Но надзирателю за дверью надоело ждать, и, внезапно отворив ее и застав меня за стуком, он сказал:

— Пожалуйста, выходите! Вас там ждут! Я думал, вам действительно надо, а вы стучите!

Я быстро надел пальто, за подкладку которого через дырявый карман успел, еще перед прощанием, незаметно сунуть все свои последние тетради. Целую груду других тетрадей с научными работами я послал контрабандой к Эпштейн еще две недели назад, как только отец начал хлопотать обо мне. Я все боялся, что при выпуске отсюда начальство меня обыщет и отберет все мои «ученые труды», а Эпштейн обещала сохранить их в «верных руках» у своих еще ни в чем не замеченных подруг-курсисток.

Надзиратель вывел меня сначала в тот самый темный проход под Домом предварительного заключения, замкнутый глухими воротами с той и другой стороны, в котором полгода назад остановилась карета, привезшая меня сюда из Москвы, полубольного психически от отсутствия всяких умственных занятий. Из этого прохода я был выведен на тротуар улицы и затем сейчас же впущен в подъезд налево, за которым находилась «комната ожиданий» для родных, приходящих на свидание к заключенным. Приведший меня надзиратель, уже «прирученный» посетительницами, спокойно встал у дверей, не ведя меня далее.

Несколько молодых курсисток тотчас же вскочили и запрыгали от радости при моем появлении, и все расцеловали меня.

— Посидите с нами. Только говорите тише! А то услышит ваш отец и сейчас же уведет вас от нас.

— А где же отец?

— Он там, наверху! Он, по-видимому, боялся, что скомпрометирует себя, сидя с нами, и ушел туда, — сказала, смеясь, одна из них, самая симпатичная по внешности.

И она показала мне на винтовую железную лестницу в углу комнаты, ведущую в круглое отверстие в потолке.

— А что там над потолком?

— Там другая такая же комната, в которой сидит начальство.

— Отец ваш предпочел ждать вас с ними, а не с нами. Вот пусть за это и подождет подолее, а мы с вами пока будем говорить без помехи, нам же лучше! — заметила другая лукаво.

Я улыбнулся.

Мне, действительно, много лучше чувствовалось в этой юной, чистой среде, чем с отцом, который все еще продолжал смотреть на меня как на несовершеннолетнего, прежде всего обязанного повиноваться отцу «для своей же пользы».

Сейчас же в руку мне была сунута записочка с адресом, и из нее я узнал, что эта игривая и умненькая курсистка называлась Фанни Личкус.

— Непременно приходите к нам по этому адресу сегодня же вечером. Вас будут у нас ждать Кравчинский и несколько ваших старых друзей. Все сейчас же хотят вас видеть!

— Непременно приду! — обещал я, сам еще не зная, как это исполню, так как был уверен, что дома употребят все меры, чтобы помешать моим сношениям с «опасными людьми».

Отец наверху, по-видимому, заподозрил, что я уже сижу внизу, и начал спускаться по винтовой лестнице.

— Коля! Ты здесь! Иди же наверх! Тебе нужно расписаться на бумаге.

Я поднялся к нему и увидел чиновника, который подал мне бумагу. Там объявлялось мне под мою расписку, что я отпускаюсь на поруки и не имею права уезжать с места моего жительства, не предупредив поручителя, иначе им теряется внесенный за меня залог. Я расписался.

Мы с отцом отправились вниз, где вся молодежь окружила нас и начала прощаться и со мною и с ним. Мы вышли из дверей на тротуар, сопровождаемые целой толпой. Невдалеке стояла собственная карета отца, запряженная парой кровных рысаков нашего рысистого завода.

Мы сели в нее, и лошади быстро помчались по широкому Литейному проспекту по направлению к Невскому.

— Просто удивительно, — сказал отец, — откуда эти курсистки узнали, что тебя освобождают сегодня утром! Они все сюда явились ранее, чем я приехал.

«Отец сильно изменился к лучшему за время моего отсутствия, — с удовольствием отметил я. — Раньше он непременно назвал бы их нигилистками, а теперь это уже курсистки... Значит, гоненья на нас по всей России действительно сильно способствовали просветлению умов в гражданском смысле у наших отцов».

«Интересно, — мелькнула вдруг у меня мысль, — продолжают ли еще родители моего первого товарища по заключению, Кукушкина, реветь на свиданиях с ним, бросаться перед ним в присутствии жандармов на колени и умолять, чтоб выдал всех своих друзей... Наверно, и они уже цивилизовались за этот год!».

Карета наша подкатила к Гостиному двору на Невском, и отец вышел из нее.

— Прежде всего тебе надо купить белья, — сказал он.

Мы вошли, и он приобрел для меня по полудюжине всех нужных принадлежностей.

Мы пошли затем в башмачный магазин и приобрели взамен моих открывших свои пасти, порыжелых штиблет новые шикарные и еще купили затем резиновые калоши. После этого мы опять сели в карету и поехали в самый большой магазин готового платья, где приобрели для меня что-то вроде смокинга и подходящих к нему штанов, примеривать которые над висящими лохмотьями моей старой рубашки и мне и в особенности отцу было очень неловко.

Затем мы еще куда-то поехали, купили серое пальто на вате с каракулевым воротником, черную шляпу-котелок, какой-то интересный цветной галстук и направились к цирюльнику, который обстриг мои длинные, висевшие до плеч вьющиеся кудри, а затем и мою начинающуюся растительность на щеках, оставив мне на подбородке одну французскую эспаньолку. Я с удовольствием согласился на такое преобразование, думая, что теперь трудно будет следить за мной жандармам и шпионам, когда я буду ходить к своим друзьям.

И, действительно, физиономия моя совсем переменилась, и я стал более похож на атташе французского посольства, чем на русского революционера.

А затем мы отправились — куда б вы думали? Домой? Нет! Войти в наш художественно изукрашенный дом в моем прежнем, все еще находившемся на мне костюме было абсолютно невозможно! Сам наш величественный немец-швейцар раскрыл бы широко глаза от изумления при виде моей обтрепанной фигуры, восходящей на нашу парадную лестницу с ее алыми коврами и тропическими цветами в кадках на краях ступеней! Нет, это было немыслимо!

Отец повез меня прежде всего в баню, где мы взяли отдельный номер с двумя мраморными ваннами. Мыло и губки были предусмотрительно положены отцом уже заранее в карету. Туда мы захватили с собой и все наши узелки с покупками. Там мы оба чисто вымылись, и я вышел, так сказать, из пены мыльных вод, совершенно преображенным, одетым во все новое, а мое старое тряпье было завернуто в узелок и увезено, чтобы не смешить банщика, который будет после нас убирать ванну...

Когда я вспоминаю теперь всю процедуру моего преобразования, я не могу не признать, что во всей этой предусмотрительности и заботливости обо мне отца было много трогатель-

ного, а между тем я и теперь не могу не улыбаться, когда описываю ее! А тогда для меня, ценившего лишь сущность и презиравшего все показное, такая забота о моей внешности казалась совершенно комической.

«Отчего бы отцу, — думал я, — просто не привезти меня домой и, показав швейцару, не сказать: вот как царящий у нас произвол и угнетенье обработали моего сына!»

А затем уже можно было бы пойти и купить мне все нужное. Зачем этот ложный стыд перед своей собственной прислугой, когда на деле нечего было стыдиться, а можно было только гордиться, как гордился бы своими лохмотьями человек, возвратившийся из долгого путешествия по диким странам. Все такие предосторожности показывали мне, что отец еще конфузится моего заключения в тюрьму... и это меня заставляло замыкаться перед ним и по-прежнему не давать ему заглянуть в глубину моей души.

Здесь таился корень и всех будущих недоразумений между нами.

Когда я впервые вошел по парадной лестнице в бельэтаж нашего нового петербургского дома, он действительно показался мне, как и говорила Эпштейн, настоящим дворцом по своему художественному убранству.

Отец за эти два года сделался настоящим меценатом искусств.

И прежде, с самой юности, у него была любовь к художественному и очень изящный вкус, а в Петербурге все это развилось еще больше.

Большие окна из цельных зеркальных стекол показались мне открытыми на улицу, несмотря на то, что там еще стояла зима: так они были прозрачны после тусклых мелких решеток в Доме предварительного заключения. Карнизы лепных потолков блестели позолотой, и со средин свешивались художественные люстры из золоченой бронзы, сверкающие своими хрустальными подвесками. Такие же золоченые бра были приделаны в подходящих местах высоких стен, и все эти стены были сплошь увешаны картинами знаменитых художников в великолепных рамах. Тут были и морские виды Айвазовского, и пейзажи Шишкина, жанровые и всякие другие картины, большие и малые, на которые отец затратил в полтора года около полумиллиона своих свободных капиталов, а это было тогда очень много.

Бархатная мягкая мебель в каждой комнате была различного стиля и различных цветов: темно-малиновая — в одной, зеленовато-изумрудная — в другой и т. д. Во всех углах на мраморных пьедесталах стояли мраморные статуи голых и одетых нимф и таких же богов и богинь. Даже письменный прибор на

столе его кабинета состоял из маленьких изваяний Антокольского, представлявших различных чрезвычайно художественно сделанных зверьков.

— Как тебе нравится? — повторял отец, подводя меня то к одной, то к другой своей картине или статуе.

— Очень нравится! — совершенно искренно соглашался я и указывал отцу, почему именно.

Тем временем в столовой нам сервировали завтрак, и прибежала Мария Александровна, вышедшая куда-то из дому перед самым нашим приездом.

Она крепко пожимала обе мои руки и, видимо, была очень обрадована моему возвращению и взволнована им. Она несколько постарела, и черты ее лица как будто слегка расплылись, но и теперь она все еще была очень красива и по-прежнему симпатична.

— Как мы все о вас соскучились! — говорила она мне.— Воображаю, как будет рада Анна Васильевна, когда вас увидит! Она выплакала о вас все свои глаза.

Воспоминанье о матери сразу навеяло на меня грусть.

— Когда я поеду в деревню? — спросил я отца.

— А тебе хочется туда?

— Да, очень. Хочется повидать мать, брата и сестер.

— Поедешь и туда! — ответил он как-то загадочно.

Я понял, что у него насчет моей будущей жизни составлен какой-то план, но не мог угадать, какой именно.

Весь день меня ни на минуту не оставляли одного. До обеда повели осматривать художественную выставку «передвижников», где особенно сильное впечатление произвела на меня только что появившаяся тогда «Украинская ночь» Куинджи.

При виде ее мне вспомнилось мое путешествие в народ по Украине. Такая же ночь и такая же озаренная зеленовато-белым лунным светом хата, на дворе которой я ночевал в яслях, на сене, среди подходивших ко мне коров и лошадей и строил свои воздушные замки. Как живо воскресло все это в моей памяти! Как снова потянуло туда, к природе!

— Да, прекрасная картина! — сказал отец, обошедший тем временем всю выставку.— Лучшая вещь сезона. Но тут есть и другие хорошие картины!

И он начал показывать их мне по очереди, отмечая достоинства и недостатки каждой.

Несколько художников, в том числе и сам показавшийся на несколько минут Куинджи, обративший на себя мое внимание своим крючковатым носом и обликом турка, подошли к отцу и поздоровались с ним с видимым уважением. Некоторые звали

его в свои студии посмотреть на новые, готовящиеся произведения.

Отец знакомил почти всех со мною и обещал зайти, как только будет свободное время.

Мы возвратились домой прямо к обеду и окончили его к семи часам.

«Как бы мне вырваться на этот вечер? — думал я, уже предчувствуя, что отец и Марья Александровна не оставят меня ни на минуту одного.— Ведь там, у Фанни Личкус, мои друзья собрались уже для меня».

— Я пойду прогуляться на часок по улицам,— сказал я, как только мы встали из-за стола.

— И я тоже пойду с вами! — воскликнула Марья Александровна, бросив взгляд на моего отца.

— Но я хотел по дороге зайти еще к своим знакомым! — возразил я.

— К каким знакомым? — спросил спокойным тоном отец.

Боясь, что в случае приглашения его свидетелем он назовет моих друзей, я ему сказал вымышленную фамилию, прибавив, что это одна семейная дама, заботившаяся обо мне во время заключения.

— Я должен тебя предупредить Коля, что я поручился за тебя, дав обещанье, что, пока ты у меня на поруках, ты не будешь иметь сношений с людьми, занимающимися противоправительственной деятельностью, и сам не будешь ею заниматься. Раз ты согласился принять мои поруки, ты этим согласился и на мои условия.

— Но при отдаче на поруки моих товарищей,— ответил я,— ни от кого не требовали ничего, кроме денежного залога, который должен быть конфискован в случае побега взятого на поруки. Я даю слово, что внесенные за меня деньги ни в каком случае не пропадут, но мне невозможно повернуть спину людям, заботившимся обо мне в несчастии, как только я перестал в них нуждаться.

Отец густо покраснел, так как этими своими словами я неумышленно подчеркнул, что он обо мне мало заботился в заключении.

— Заботы,— сказал он, наконец,— не заключаются в одних букетах и коробках конфект. Иногда бывает больше пользы для человека, идущего к собственной гибели, если его оставляют на время без поддержки на его дороге в надежде, что он устанет и вовремя остановится. Но вопрос не в этом. Теперь не ты один отвечаешь за себя, а также и я. Я ставлю первым условием, чтобы подозрительные для правительства товарищи не ходили в

мой дом. Я не хочу, чтобы здесь накрыли противозаконное собрание. Если они будут ходить, то я сам приду к ним и лично попрошу не делать этого. А теперь я должен сказать тебе, что сегодняшний вечер у нас уже занят. Мы с тобой едем во французский театр, где дается, как говорят, очень интересная пьеса «La boulangère» (Булочница). Билеты на кресла в партере для меня, тебя и Марии Александровны уже куплены, так что тебе остается на прогулку (и он взглянул на свои часы) только пятнадцать минут. Если хочешь, пройдись с Марией Александровной, но только не запоздай возвратиться. Карета будет подана через четверть часа.

Можете себе представить мое положение! Я знал характер отца и заранее мог предсказать, что в случае моего отказа ехать с ним в театр он мне ответит следующими словами: «В таком случае возвратись обратно к отпустившему тебя следователю по особо важным делам и заяви ему, что ты не согласен долее оставаться на поруках у своего отца, предлагающего неприемлемые для тебя требования».

«Как теперь мне быть? — думал я, идя с Марией Александровной по набережной Невы.— Очевидно, что без совещания с товарищами я не могу предпринять никакого решения. Может быть, они найдут полезным для нашего дела уплатить отцу три тысячи его залога. Тогда я положу деньги в конверте на письменном столе отца с запиской, что, не считая возможным принять его условия и не желая добровольно возвратиться в тюрьму, я возвращаю ему его залог и исчезаю из дома.

А теперь,— продолжал я думать с отчаяньем,— я даже не имею средств предупредить собравшихся для меня друзей, что не могу прийти к ним!»

На сердце у меня стало страшно тяжело. Неужели я вместо выхода на свободу только променял простую тюрьму на золоченую?

— О чем вы задумались? — спросила меня Мария Александровна.— Вы не должны сердиться на вашего отца. Он вас любит, но только у него особая манера доказывать людям свою заботливость.

— И очень тяжелая для них! — заметил я.

— Но он прав. Теперь вам надо употребить все усилия, чтобы о вас, наконец, забыли в Третьем отделении.

Я понимал, что это было бы верно в том случае, если б я решил круто повернуть обратно в прежнюю научную деятельность. Но я этого не мог. Я не считал себя вправе оставить без активной поддержки своих друзей, погибающих в темницах. Их тени стали бы для меня вечной укоризной.

«Я должен теперь идти с ними по всем темницам до конца нашего общего пути и в промежутки активно продолжать начатое нами дело на свободе!» — говорил я сам себе.

Но я не мог ей этого сказать.

Она была умная и развитая девушка, она явно симпатизировала мне, но у нее не было сил идти со мною в опасную и непосильную борьбу с произволом, и потому она не желала пустить туда и меня.

Я понял теперь, что отец нарочно оставил ее в Петербурге, чтоб лучше удерживать меня при доме. Но такой прием годился бы разве для пятнадцатилетнего мальчика, никогда не уезжавшего из дома, а не для меня, привыкшего уже к самостоятельности! Я по-прежнему мог бы любить эту девушку, как полюбил ее платонически два года назад, когда она явилась к нам в дом как гувернантка моих младших сестер, но только при одном условии: чтобы она не была явно приставлена ко мне, как теперь, в виде сторожа, а пошла бы вместе со мною, как подруга жизни, делить и радости и горе.

Но она неосторожно согласилась быть, хотя и временно, моей собственной гувернанткой, и это невольно отчуждало меня от нее. Притом же ее образ был для меня уже сильно заслонен более яркими фигурами Алексеевой, Гурамовой, Церетели и, наконец, после их всех Верой Фигнер.

Не запоздав ни на одну минуту, мы возвратились к нашему дому, у подъезда которого, сияя своими боковыми фонарями, стояла уже наша карета, и рослые рысаки скребли копытами землю от нетерпения поскорее отвезти нас в театр.

Представление комедии «La boulangère» давалось в этот вечер приехавшей из Парижа труппой и, конечно, по-французски.

Сюжет состоял в следующем. Молодой заговорщик бежит от преследующей его тайной полиции, представленной в виде одного толстого большого сыщика и другого тоненького, маленького. Они выслеживают заговорщика ночью на площади города при ярком лунном свете. Они скашивают на ходу глаза на ту и другую сторону, делают друг другу таинственные жесты... А заговорщик против королевской власти смотрит на них, спрятавшись за колонной, и молодая булочница созерцает все это из второго этажа в окно.

Очень смешно было представлено, как, оглядев всю площадь, шпионы начали обходить колонны, в том числе и ту, за которой спрятался молодой человек. Но он ловко кружился вокруг нее по мере того, как кружился преследовавший его сыщик. Наконец, один из шпионов увидел булочницу и спросил ее:

— Не видали ли вы здесь на площади одного молодого

человека, чрезвычайно опасного злоумышленника против власти его величества?

— Он ушел уже по той улице! — ответила она ему, показывая в даль.

Оба сыщика быстро бросились бежать туда, а молодой человек принялся благодарить свою избавительницу. Она сейчас же пригласила его скрываться у нее под видом хлебопека. Он согласился и был впущен в дом.

Затем вторая сцена.

Булочница разболтала своей приятельнице модистке, какой у нее интересный пекарь. Та пожелала познакомиться и тут же влюбилась. Начались сцены ревности между обеими. Модистка начала переманивать его к себе. Заговорщик не хотел перейти к ней скрываться, и она на него донесла из ревности. Пришли с обыском в булочную, но молодой человек вышел к сыщикам с лицом, до того измазанным в муке, что они только расхохотались и, махнув рукой, велели ему уходить.

Модистка, взволнованная, раскаявшаяся, прибежала тоже на обыск, но, увидев торжествующий взгляд булочницы, впала в истерику и указала жандармам их жертву, которая и была уведена.

Последняя сцена состояла в том, как заговорщика привели в наручниках в тюрьму и посадили в одиночную камеру.

Затем был изображен забавный допрос, производимый глупым следователем, неудачная попытка бежать через трубу и, наконец, освобождение его булочницей, подкупившей сторожей.

Все было так живо представлено, заговорщик был изображен в таком интересном и симпатичном виде, а его преследователи так осмеяны, как будто спектакль давался специально в честь моего освобождения. Я сильно хлопал.

Отец сразу же понял, что сделал промах, выбрав для «отвлечения меня от заговоров» такую пьесу. Он сильно вертелся в своем кресле и несколько раз даже порывался увести меня, но сейчас же чувствовал, что это будет уже слишком наивно с его стороны, и потому сам через силу смеялся и даже хлопал и заговорщику и сыщикам, так как пьеса действительно была прекрасно сыграна и тем и другими...

Когда я описываю этот первый день своего освобождения в том виде, как я это сделал сейчас, я чувствую, что, несмотря на полную точность изображенных мною событий, впечатление у читателя должно получиться все-таки совершенно ложное. В самом деле, выходит, как будто я, едва переступив порог

тюрьмы, кинулся в новую жизнь и сразу же позабыл весь год своего одиночного заключения!

Но ведь это возможно только в плохом романе, а не в действительности!

Все, что описал я здесь, фактически совершенно верно, но это картина еще не дорисованная, картина без фона. А фоном ее служило яркое, живое воспоминание о годе мучений; они были как бы припевом ко всему, что я видел, замечал, соображал. Я смотрел «Украинскую ночь» Куинджи, вспоминая свое хождение в народ, и вдруг мысленно говорил себе: «как это удивительно, что за мной более не ходят сторожа, и никто не готовится ловить меня, хотя я и иду теперь не по указанному мне месту!» Я рукоплескал артистам французской комедии и вдруг вспоминал, что всякий шум и крики строго воспрещаются по инструкции под угрозой карцера! Я смотрел на улицу в зеркальные, сплошные стекла наших окон и вдруг соображал: «а ведь в них нет решеток, и вид сквозь них совсем иной, чем сквозь тюремные окна!»

Таковы были постоянные аккомпанементы ко всему, что я видел и слышал и что я описал на последних страницах этого рассказа. Фоном всего описанного было внутреннее приподнятое настроение. Оно-то и делало меня таким впечатлительным, что если бы я не боялся утомить читателя, то мог бы исписать еще десятки страниц мелкими подробностями этого дня.

Но вот и он кончился, этот день, показавшийся мне к вечеру таким длинным, громадным по своим впечатлениям, хотя я и не заметил, как пролетели его отдельные моменты.

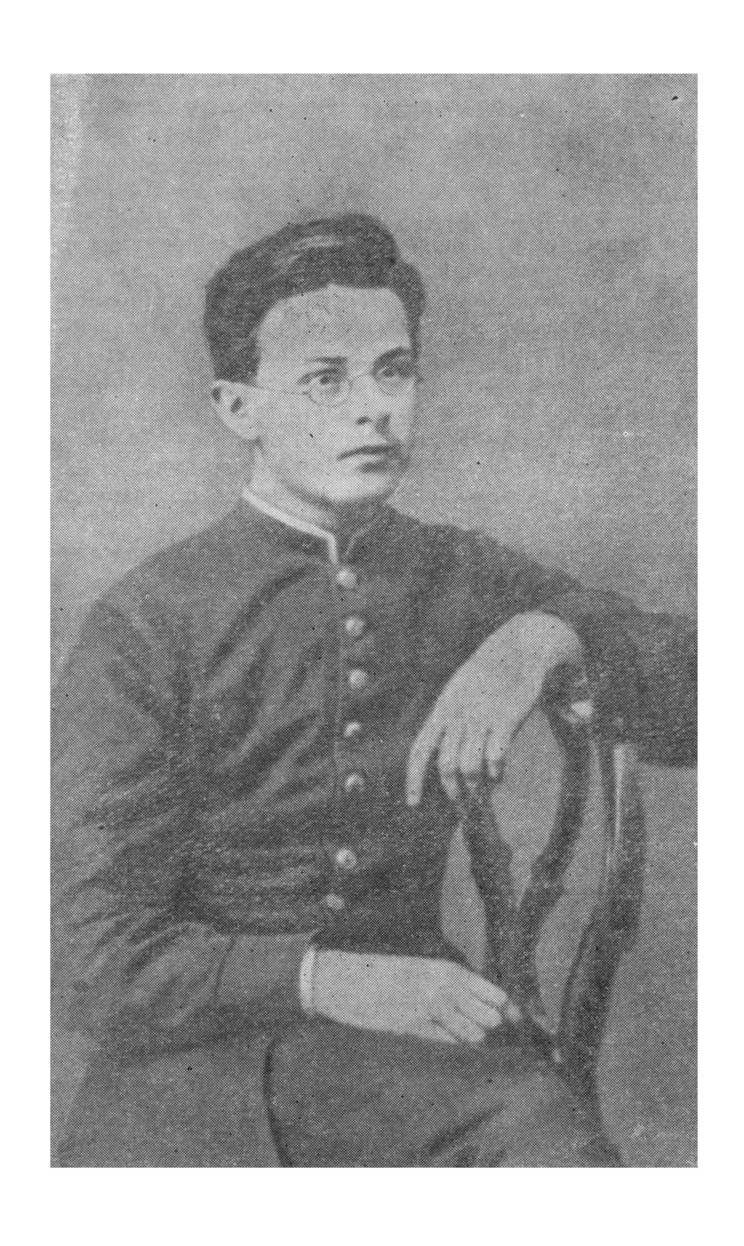
Отец повел меня в большую комнату в мезонине, где стояла моя кровать, мраморный умывальник, шкаф, комод, а по стенам висел ряд таких же, как и внизу, хороших картин.

Я разделся сам, выставил штиблеты и платье за дверь моей комнаты и бросился на пружинную кровать. Как в ней было мягко лежать! Какое теплое одеяло, какой чистый воздух, как легко в ней дышится полною грудью! Я вспомнил о Синегубе и других товарищах, лежащих теперь в их крошечных пыльных каморках, и у меня защемило сердце.

«Как мне быть теперь с моими друзьями на воле, к которым я не мог сегодня прийти, несмотря на то, что они все собрались радоваться моему освобождению? Очевидно, и завтра здесь со мной поступят так же, и что тогда подумают они обо мне?»

Мне стало страшно совестно при одной мысли об этом.

«Нет, так не может продолжаться, лучше опять возвратиться в заключение. Но прежде я все же должен побывать у Фанни



Н. А. Морозов — гимназист

Личкус, чтобы она объяснила друзьям, почему я у них не был. Для этого у меня одно только средство. Я встану очень рано, часов в шесть утра, пока все в доме спят, и уйду. Я разыщу Кравчинского, и мы обсудим, следует ли мне на время исполнить требование отца, прекратить с друзьями на известный срок всякие сношения, или же возвратиться в Дом предварительного заключения, или, наконец, они дадут мне три тысячи для взноса отцу, и я немедленно скроюсь и примусь за исполнение их самых опасных заговорщических поручений».

Решив это, я несколько успокоился и заснул. Но сон мой был не крепок, через каждые полчаса или час я просыпался и, видя вокруг себя совсем новую обстановку, спрашивал себя: Что такое? Ах, да! Ведь я же на свободе! У отца! Или все это я вижу во сне? Ведь сны мои часто бывают так ярки, что их нельзя отличить от действительности! Они отличаются только тем, что скорее забываются потом, чем виденное мною наяву.

Я много раз зажигал спичку и смотрел по своим часам на столике у кровати, как приближается утро.

Вот стало светать. Наступило шесть часов. На лестнице послышался шорох прислуги.

Я быстро вскочил, взял обратно из-за двери свое платье и сапоги, которые еще не успели вычистить, умылся наскоро, оделся, надел внизу свое пальто, калоши и шляпу. Изумленный и еще полуодетый швейцар отпер мне парадную дверь, и я направился к Николаевскому мосту, все время наблюдая потихоньку, не следят ли за мной шпионы.

Но никто за мной не шел. Улицы были еще почти совершенно пусты.

2. *Пир на весь мир*

Как ошибочна, как призрачна наша свобода действий! Вот этому наглядный пример.

Когда я, проснувшись утром, вспоминаю какой-нибудь сложный сон, прерванный моим пробуждением, мне часто кажется, что мысль моя витала сначала без определенной цели и пути. А между тем финал сна ясно показывает, что все предыдущее, по-видимому, бессвязное блуждание воображения подготовляло именно его, этот финал, а сам он обыкновенно бывает какое-нибудь кошмарное событие, вызванное тревожным состоянием сердца.

Так было и в данном случае. Обнаружил ли я свободу действий, уйдя таким образом утром от отца, или я прямо не мог

не уйти, потому что какая-то высшая сила, чем я сам, сила любви и преданности высшим идеалам, непреодолимо влекла меня к людям, которые служат так самоотверженно этим идеалам? Все, что я припоминаю о своем тогдашнем душевном состоянии, наглядно говорит мне, что иначе поступить я не был бы в силах.

Перейдя Николаевский мост, я взял извозчика, так как не знал, где находится указанная мне курсистками улица, а спрашивать прохожих считал неудобным, да их почти и не было так рано. Я ехал очень долго, убедился, оглянувшись при удобных случаях несколько раз, что за мной не едут соглядатаи, и, наконец, увидел на углу название нужной мне улицы. Это была Лиговка. Я сейчас же отпустил извозчика и пошел далее пешком. Еще было слишком рано, чтобы явиться с визитом, и я описал несколько кругов по этому кварталу прежде чем решился позвонить.

Мне отворила комнату сестра Фанни, Роза, тоже присутствовавшая при встрече меня, но она меня теперь совершенно не узнала.

— Что вам угодно? — спросила она, подозрительно осматривая мою новую для нее, элегантную, дендиобразную фигуру.

— Да просто повидать вас! — ответил я, смеясь.

Она так и отпрыгнула, узнав меня по голосу:

— Посмотрите! — звонко закричала она со смехом.— Посмотрите все, что с ним сделали! — И, потащив меня в пальто и котелке на средину следующей большой комнаты, где пили чай ее сестра и еще три-четыре курсистки, собиравшиеся на лекции, она схватила меня за обе руки, поставила носки своих башмаков против моих и со смехом начала кружиться со мною по комнате. Все остальные повскакали и тоже смотрели на меня, разинув свои ротики и не узнавая.

— Да это Морозов! — воскликнула вдруг одна из них, и вся комната наполнилась их серебристым смехом. Некоторые даже сели на стулья, будучи не в силах более держаться на ногах.

Одна сняла с меня котелок и начала рассматривать меня без него, смеясь еще больше. Потом две стащили с меня пальто, и новый взрыв смеха зазвенел при виде моего смокинга.

Я сам смеялся с ними.

— Да вы теперь совсем и на русского не похожи! — воскликнуло несколько девушек.

— Он теперь совершенно француз! — говорила одна.

— Нет, англичанин! — спорила другая.

— Нет, швед!

— Нет, он больше похож на испанца!

— Да садитесь же вы пить чай! — запротестовала, наконец, Фанни,— а то они совсем вас разорвут на клочья. Почему вы вчера не были? Вас ждали, по крайней мере, человек двадцать до самой ночи!

Я рассказал все мои приключения, начиная от переодевания в ванне и кончая посещением французской комедии с заговорщиком. Веселью всех не было конца. Все это казалось им в связи с чудесами, которые рассказала Эпштейн о роскоши моего жилища, настоящей сказкой из «Тысячи и одной ночи». Глаза у всех так и сияли.

— Его не отпустят теперь из дому без гувернантки! — смеясь до слез, юмористически грустно воскликнула Роза, когда я им рассказал, как добрая Мария Александровна, переглянувшись бегло с моим отцом, пошла провожать меня на прогулку перед поездкой в театр.

— Как же теперь повидать мне Кравчинского и его товарищей? — спросил я, наконец, когда первый порыв разговорчивости немного ослабел.

— Мы не знаем! — ответили они.— Они у нас бывают часто, но мы не знаем, где живет кто-нибудь из них.

— Мне необходимо их сегодня же видеть! — воскликнул я.— Вы сами видите, как трудно мне теперь жить. И мне надо обсудить с ними, как поступать далее с наибольшей пользой для нашего дела.

— Я сбегаю к Эпштейн! — сказала Роза.— Но она на другом конце города, и я вернусь не ранее, чем через два часа. Вам надо подождать у нас.

— Да, это верно! — согласился я.— Мне не следует показываться без нужды на улицах, пока не решим, как быть.

— Ну, вот и отлично!

И, быстро одевшись, она убежала.

Прошло полных четыре или пять часов, прежде чем она возвратилась вместе с Эпштейн, которую пришлось разыскивать на курсах, так как ее не оказалось дома.

Эпштейн повела меня прямо к Кравчинскому, но и его не было в квартире.

Лишь часов в семь вечера Кравчинский возвратился и бросился обнимать и целовать меня, как сумасшедший.

— Что же это ты так надул нас всех вчера? — был первый его вопрос.— Очевидно, отец не пустил?

— Да.

И я вновь рассказал ему, как было дело.

— Это удивительно! — воскликнул он.— Что за контрасты! Даже и вообразить трудно! Целый год Третье отделение разы-

скивало тебя по всей России, как одного из опаснейших заговорщиков, ты ходил в народ, был редактором революционного журнала за границей, числишься и теперь членом Интернационала и вдруг тебя, как мальчика, не пускают на улицу без сопровождения гувернантки, специально приставленной к тебе!

И он засмеялся своим добрым, ласковым смехом.

— Но,— прибавил он,— тебе необходимо все это претерпеть и обязательно оставаться у отца.

— Почему же? Неужели у нашего тайного общества нет такого опасного дела, на которое меня ему было бы нужно? Тогда надо только дать мне три тысячи рублей, чтобы я внес отцу его залог за меня и исчез бы из дому. Знаешь, я очень много думал о способах вооруженной борьбы. Все эти народные восстания, баррикады, сражения народа с войсками и отдельных войск друг с другом страшно жестоки. Сколько тысяч человеческих душ гибнут напрасно, сколько разбитых сердец остаются после их гибели! Ведь у каждого есть близкие! Не лучше ли употреблять способ единоборства, как в библейской легенде о Давиде и Голиафе, или как в нашей русской истории в борьбе Пересвета и Осляби с татарским великаном?

— Я тебя не вполне понимаю,— ответил он задумчиво.

— Видишь ли, перед самым отъездом из Женевы сюда я перечитывал шиллеровского Вильгельма Телля и пришел к выводу, что он, или скорее сам Шиллер, в этой поэме дал нам более гуманный способ борьбы за гражданскую свободу... Это, так сказать, новый завет вооруженной борьбы взамен старого жестокого, где напрасно гибли тысячи людей.

— Однако, брат, теперь я и сам не пустил бы тебя на улицу без гувернантки! — сказал, смеясь, Кравчинский.— Но, впрочем,— снова задумавшись, прибавил он,— в таком случае следовало бы приставить гувернантку и ко мне. В этом способе борьбы, о которой ты говоришь, есть только один подводный камень. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. После того, как увенчают Вильгельма Телля, найдутся десятки слабоумных подражателей, способных стрелять по воображаемым врагам человечества, и этим они так втопчут в грязь твой способ, что тебе самому будет за него стыдно.

— Но я не говорю, что я хочу непременно сделаться Вильгельмом Теллем, хотя я и думаю, что суровые гонения на свободу слова и печати неизбежно приведут к этому способу борьбы. Я лично более хотел бы освобождать товарищей из тюрем, из Сибири. И вот если бы общество, к которому мы с тобой принадлежим, возвратило моему отцу его залог за меня, то меня могли бы сейчас же употребить на это дело, и я все исполнил бы хорошо

— Но, дорогой мой, нашего общества теперь уже нет!

— Где же оно? — с изумлением воскликнул я.

— Оно рассеялось.

— Но как же оно могло рассеяться, не погибнув?

— Очень просто. Ты помнишь, как еще при тебе были признаны ликвидированными наши одесское и киевское отделения. Ты отстоял тогда московское отделение, но это не помогло делу. Его фактически не существовало в то время, и ровно через два-три месяца, после собрания, где ты был, пришлось констатировать этот факт. Затем, после твоего ареста, весной прошлого года, это же случилось и с петербургским отделением, в котором оставалось человек десять, но почти все они разъехались из Петербурга на лето, в том числе и Лизогуб. Я был послан за границу, где оставался и Клеменц, а Шишко был арестован, когда пришел к знакомым повидаться со своей матерью, за которой следили. В результате пришлось признать рассеявшимся и сам центральный петербургский кружок и объявить немногим уцелевшим членам полную свободу.

— Значит, и я теперь свободен? — с грустью спросил я.

— И ты, и я, и Клеменц. Мы все теперь свободны от старых обязательств, но мы хотим создать новое общество, и, пока мы это делаем, ты должен жить у своего отца и заниматься снова своими науками. Теперь мы даже не можем возвратить залога за тебя, потому что у нас нет никаких капиталов, а Лизогуб после ликвидации общества дает теперь деньги исключительно на залоги для освобождения арестованных, так как другой деятельности и у него нет.

Все это меня совершенно ошеломило. До самого этого дня я считал себя только временно плененным врагами членом таинственного товарищества, продолжающего обновляться новыми членами взамен выбывших в борьбе, а между тем я уже полгода был простой честный человек! Общество ликвидировало само себя! Почему оно сделало это, если оставалось в нем хоть три-четыре живых человека? Очевидно, не по недостатку в сочувствующих, готовых в него войти по первому кличу, а потому, что старые пути тайной книжной пропаганды социалистических идей в среде рабочих и народа наткнулись на ту же непреодолимую стену сплошной безграмотности, на которую наткнулся и я сам, когда ходил в народ сначала один, потом с Союзовым и жил кузнецом в лесной деревне.

«Они распустили себя не по малодушию,— решил я,— а потому, что очутились, как и я после своего последнего возвращения из народа, на перепутье! Сама жизнь ведет их к какому-то новому пути, и я даже предчувствую, что, когда заговорит

достаточно чувство мести за погубленных в тюрьмах товарищей, наша борьба за гражданскую свободу выльется в той самой новой форме, которой еще нет названия, но которую можно бы назвать теллизмом по имени Вильгельма Телля. Вот мой друг Кравчинский говорит, что и к нему следовало бы теперь приставить гувернантку. Тюрьма, ссылки и гонения на человеческую мысль медленно, но верно делают свое дело».

— Пойдем к Клеменцу! — сказал мне Кравчинский.— Он тоже страшно хотел обнять и расцеловать тебя.

Мы оделись и пошли.

Клеменц был все тот же, как и ранее. Такой же остроумный, сердечный и так же импонирующий всей своей оригинальной фигурой. Он оказался более консервативен, чем Кравчинский, и все еще не видел никаких других средств для освобождения России, кроме слияния интеллигенции с народом путем опрощения.

У него я увидел еще и новую фигуру. Это был высокий, худощавый, лысый человек в очках. Бородка его, подстриженная, как у янки, придавала ему чисто американский вид. Это был Сажин, называвшийся в эмиграции Россом, правая рука Бакунина, приехавший в Россию организовать кружки бакунистов и близко сошедшийся с Кравчинским.

— Как жаль, что во время вашего пребывания за границей вы не побывали в Локарно у Бакунина! — сказал он мне с первого же нашего знакомства.— Вы встретили бы там такой радушный прием, как нигде во всем остальном мире! Если снова попадете за границу, поезжайте прямо туда! Обещаете?

— Обещаю! — ответил я.— Но мне придется пока жить у отца неопределенное время и ни с кем не видаться.

— Я знаю. Вы живете на Васильевском острове. Запишитесь там в библиотеку, которая около вас на набережной Невы. Там я буду оставлять для вас записочки у барышни, выдающей книги, и мы будем уславливаться о свиданиях.

— Отлично! — воскликнул я.— А то я совсем не знал, как мне установить сношения с друзьями. Завтра же запишусь!

Услыхав и от Клеменца то же самое, что говорил мне Кравчинский, т. е. о безусловной необходимости оставаться у отца до лучших дней, я взглянул на часы, чувствуя, что дома обо мне должны страшно беспокоиться.

Был девятый час вечера.

— Мне необходимо сейчас же возвратиться домой! Я думаю, что отец уже потерял голову от беспокойства,— заявил я.

— Ну подожди! Посиди еще с нами! — уговаривали меня друзья.— Отца ты будешь видеть теперь каждый день много

недель, а с нами, может быть, не чаще двух-трех раз в месяц, когда удастся вырваться!

Я чувствовал всем своим существом, что надо бежать домой и прежде всего успокоить отца, но я не имел силы уйти, не выслушав всех их рассказов, их планов относительно организации нового, еще большего тайного общества, и просидел с ними до двенадцати часов ночи.

Наконец, я вырвался от них и на извозчике подъехал к своему дому. Я оглядел его окрестности: все было пусто. В окнах дома также было темно. Подъезд был заперт.

Я позвонил. Внутри послышался шорох. Щелкнул замок в двери, и передо мной появился швейцар в туфлях и накинутом пальто со свечой в руках.

— Все спят? — спросил я.

— Еще с половины двенадцатого все легли.

Я пошел к себе наверх. Он сопровождал меня со свечкой, зажег ею две свечи, стоявшие на письменном столе в моей спальне, и, пожелав покойной ночи, молча удалился.

На лице у него было что-то вроде испуга.

3. *День похмелья*

Я разделся и лег, но долго не мог заснуть. В моей голове перемешивались сотни новых впечатлений.

Мне вспоминались и эти милые девушки, со звонким смехом рассматривавшие меня при первом появлении среди них в моем новом виде, и Кравчинский, и Клеменц, и Сажин, и то, что общество наше ликвидировано, и что мне, как другим, объявлена полная личная свобода... Но над всем доминировало чувство неловкости моего поступка с отцом! На второй же день бежать с утра и не возвратиться до самой ночи! Ведь он, наверно, подумал, что я сбежал и более не вернусь к нему! Как-то мы встретимся завтра утром? Что я ему скажу? Ведь я не могу сказать, где я был и кого видел, потому что, если вдруг придет жандармский офицер и его спросит, он все откровенно ему расскажет и не подумает ни на минуту, что этим он погубит моих друзей. Значит, надо ему сказать, что просто, вырвавшись, наконец, на свободу, я уехал на конке далеко за город и там блуждал по взморью и островам, будучи не в силах наглядеться на окружающий меня простор...

Наконец, я заснул снова тревожным сном, постоянно просыпаясь с ощущением тюремной камеры вокруг себя и с внезапным переходом к новому положению в отеческом доме.

«Что-то будет завтра утром!» — как бурав, сверлила у меня в голове тревожная мысль, тем более тягостная для меня, что я сознавал вполне неловкость моего поступка с отцом.

Наконец, забрезжил рассвет. Я взглянул на часы. Был шестой час утра.

Я вновь попробовал вздремнуть, зная, что отец не встанет ранее десяти. Но это мне удавалось плохо, и я все время ворочался с боку на бок.

С улицы сквозь закрытое окно и стены дома все чаще и чаще доносился усиливающийся шум проезжающих экипажей. Я не мог более терпеть, и в девять часов утра оделся и спустился в нашу столовую, где стояли уже чайные приборы, но самовар еще не был принесен. Я взял лежавшие там новые газеты и принялся их читать.

Из комнат отца раздались шаги, и в дверях столовой появился он сам. Я встал с замиранием сердца и пошел к нему навстречу поздороваться.

Он поцеловал меня, как всегда, но затем как-то нерешительно и молча подошел к столу и сел так, что лицо его осталось в тени. Ясно было, что он что-то приготовлялся мне сказать, но ему было трудно начать.

Это было совсем не то, что я ожидал. Я ожидал взрыва гнева, потока обидных для меня слов и готов был принять их как нечто вполне заслуженное мною за мое исчезновение из дому без всякого предупреждения на целый день и притом при таких исключительных обстоятельствах. А между тем эта неожиданная для меня сдержанность! Она казалась мне зловещее всего остального!

Наконец, отец, по-видимому, решился выговорить приготовленную им заранее фразу, которая, однако, была самая простая.

— Где ты был, Коля?

Я ответил, сильно покраснев, по приготовленному мною рецепту.

— Ты доставил мне и Марье Александровне большое беспокойство. Мы не знали, что придумать.

— Да! — сказала входя сама Мария Александровна.— Мы оба очень беспокоились весь день, особенно к вечеру. Хорошо еще, что швейцар сообщил нам обоим сейчас же ночью о вашем приходе, а то никто из нас не спал бы до утра.

— Да, я сам чувствовал, что скверно поступил с вами, и оттого тоже плохо спал всю ночь. Обещаю, что это не повторится.

— Да, Коля,— сказал отец каким-то не своим голосом,— вышло тем более нехорошо, что полиция справлялась о тебе, и мы не могли сказать, где ты.

— А зачем я ей был нужен? — спросил я.

— Не знаю,— ответил нерешительно отец.

— Тут что-то не ладно! — подсказал мне мой инстинкт.— Отец что-то скрывает и говорит неправду.

Он позвонил швейцару, велел приготовить карету, и мы принялись пить чай. Разговор плохо вязался, хотя Мария Александровна и пыталась поддерживать его, но все выходило как-то насильственно.

— Оденься, Коля, мы поедем вместе,— сказал отец, окончив чай.

Я оделся, мы сели в карету и поехали куда-то по мало знакомым мне тогда петербургским улицам. Отец не сказал, куда меня везет. Он был очень сосредоточен. Я не спрашивал. Мы молча переехали уже знакомый мне Николаевский мост через Неву, повернули налево по набережной, свернули с нее и остановились у ворот какого-то большого здания, где толпилось десятка два полицейских и несколько околоточных.

— Градоначальник у себя в кабинете? — спросил отец, подавая свою карточку.

— Да-с! — ответил околоточный.— Они уже ждут вас.

— Я войду сначала один,— сказал отец.— Коля, ты подожди здесь.

Я принялся смотреть в окно, потом на околоточных и городовых, среди которых очутился, думая о том, что все это значит? Я чувствовал что-то неладное. Наконец, раздался звонок. Один из околоточных вышел и, вернувшись, сказал мне:

— Пожалуйте к градоначальнику!

Я пошел за ним, готовый внутренне на все.

Околоточный провел меня по какому-то темноватому коридору и, отворив дверь, впустил в большую комнату, где у дальнего окна, за маленьким столиком, сидели друг против друга мой отец и какой-то длинный генерал. Больше никого не было. Околоточный, приведший меня сюда, затворил, не входя за мною, дверь и я направился к сидящим вдали.

— Где это вы были вчера весь день? — грозно нахмурясь и подняв на меня голову, повелительно крикнул генерал, едва я с самым вежливым видом подошел к середине комнаты, уже готовясь любезно раскланяться с ним.

В один миг его грозный тон совершенно преобразил меня: по всему моему телу опять прошел как будто гальванический толчок, совершенно такой же, как в первый раз, еще во втором классе гимназии, когда долговязый Андрючик дал мне сзади свой третий щелчок по затылку. Голова моя, уже склонявшаяся к поклону, была откинута им вверх, глаза пристально устави-

лись в лицо и всю фигуру генерала, а язык сам собою ответил четким металлическим звуком, совершенно непривычным мне в обычном настроении:

— А вам какое дело?

Мне комично теперь вспомнить то впечатление, какое произвели мои слова на градоначальника! Вероятно, он совсем отвык во время своей службы в высоких чинах и должностях от таких ответов.

В один миг приятно расправились его сдвинутые брови, и на губах появилась любезная улыбка. Он привстал с поклоном и заявил самым миролюбивым тоном:

— Ну, полноте, полноте, молодой человек! Я совсем не хотел вас обидеть. У меня такая манера. Присаживайтесь-ка с нами!

И он придвинул мне стоявший поблизости стул.

— Ну вот, молодой человек, наделали вы нам вчера хлопот и перепугали вашего уважаемого отца. Из-за вас офицеры Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии и часть общей полиции всю ночь не спали. Везде вас искали. Скажите же нам по правде, где вы пропадали? Вы понимаете сами, что, раз ваше отсутствие было замечено и вызвало такую тревогу и огласку, то невозможно, чтобы вы оставили его без объяснения.

Я повторил ему слово в слово то же самое, что и отцу, т. е. что я от радости весь день бегал по окрестностям Петербурга.

— Ну, вот,— сказал он,— напишите все это на том столе, там посредине лежит и бумага.

Он указал мне на большой канцелярский стол по другую сторону комнаты.

Я пошел, написал сказанное, пока он о чем-то тихо переговаривался с моим отцом, а затем принес и подал ему.

Он внимательно прочел.

— Вы не желаете написать что-нибудь более удовлетворительное, такое, чтобы мы могли проверить справедливость ваших слов?

— К сожалению, не могу ничего прибавить к написанному здесь.

— В таком случае,— сказал он, обратившись к моему отцу,— я не могу его после такой тревоги отпустить домой на свою ответственность. Пусть следователь по особо важным делам, освободивший его, делает с ним, что хочет.

Затем обратившись ко мне:

— Я вас арестую. Вас отвезут сейчас обратно в распоряжение Крахта.

Он позвонил. Явился околоточный.

— Позовите ко мне поручика Хоменко,— сказал ему градоначальник.

Через минуту в дверях появился в полном вооружении жандармский офицер.

Градоначальник тем временем написал бумагу, приложил к ней мое показание, заключил в конверт и, передавая ему, сказал:

— Отвезите этого молодого человека в здание окружного суда и передайте в распоряжение следователя по особо важным делам Крахта вместе с моим пакетом.

Мне было грустно глядеть на отца. Он был явно очень расстроен. Раскланявшись с градоначальником, я подошел к нему проститься.

— Я сам поеду вслед за тобой к Крахту,— проговорил он мне, отвечая на мой прощальный поцелуй.

Я пошел один с жандармским офицером. Отцу предложили ехать особо. Офицер был молодой хохол довольно добродушного вида.

— Ну, и задали же вы нам баню! — сказал он, едва мы с ним уселись в казенную карету и поехали.— Всю ночь вас искали по студенческим квартирам. Я сутки не спал. А теперь говорят, что вы ночевали у своего собственного отца! Да, поторопился ваш отец, следовало бы ему подождать с заявлением хотя бы до утра.

Итак, моя догадка оправдалась! Я уже предчувствовал, что отец перепугался и вечером заявил о моем исчезновении из дому. Мне неловко было спрашивать Хоменко о подробностях отцовского заявления. Это значило бы вводить жандармского офицера в посредники между мною и отцом. Но и сказанного им было совершенно достаточно.

«Отец донес на меня! — сверлила в моей голове ужасная для меня мысль.— Из-за чего же он так поторопился?»

Я хорошо понимал его. Не из-за сохранения своих трех тысяч и не для моей пользы. Он сделал это из боязни перед этим Третьим отделением собственной его императорского величества канцелярии, наводившим такой панический страх на все русское общество. Он чувствовал, что делал нехорошо, но не мог удержаться, потому что страх перед политическим сыском преодолевал у него все! Он сделал совсем так, как делали щедринские герои, верное изображение нашего общества... А ведь во всем остальном он человек умный и смелый, во всяком случае не трус.

«О, когда же, наконец, будет расшатан нами этот панический ужас русского общества перед всякой оппозицией высшему начальству!» — с отчаянием в душе думал я по дороге в новое заключение после двух дней свободы.

«А ведь, отец мой лгал,— пришло мне в голову,— говоря, что обо мне справлялась полиция. Никто не справлялся... А если и так, то без его собственного заявления, будто я сбежал, никто не стал бы поднимать на ноги всех жандармов и полицию, а подождали бы моего возвращения к ночи. Ведь я же не такой ребенок, чтобы не понимать, в чем дело! Никто никогда не справлялся обо мне! Сделав одно трусливое дело, отец сделал для прикрытия его и другое. Он сказал мне неправду!»

Я чувствовал, как пошатнулось мое уважение к отцу, в особенности от этого последнего обстоятельства.

«Конечно,— думал я,— ведь и я говорил неправду на всех допросах. Но у меня совсем другое дело: я говорил там неправду не для того, чтобы скрыть свой постыдный в моих собственных глазах поступок! Нет! Я предпочитаю не делать постыдных поступков; я говорю неправду только там, где правда есть предательство друга врагу, с которым мы боремся вместе. На войне ведь за правдивость перед врагом расстреливают, а не хвалят! Цель моей неправды на допросах всегда была спасти друга от врага или не дать врагу возможности разрушить сделанное мною самим, а не потому, что мне стыдно моих дел! Отец же солгал именно из-за стыда. А между тем в таких случаях одно средство спасти себя,— это откровенно сказать: мне стыдно моего поступка. Это является гарантией, что человек не сделает вновь что-либо подобное. А теперь он от меня скрывает уже второй нехороший поступок. Он думает, что жандармы не показывали мне копии с его письма ко мне за границу с требованием возвращения, и потому тоже ни одним словом не упомянул мне о нем до сих пор, и, я знаю, никогда не упомянет, потому что и то письмо он написал и понес показать в Третье отделение из-за того же панического страха всех наших отцов, воспитанных в атмосфере бесправия и произвола».

С такими горькими мыслями подъехал я к зданию окружного суда, перед подъездом которого увидел с изумлением карету моего отца, очевидно, нарочно обогнавшего меня.

Значит, он уже у Крахта!

Это доказательство его заботливости несколько смягчило меня.

«Он хоть и такой, как все другие наши родители,— пришло мне в голову,— но все же любит меня и старается исправить сделанное им самим».

Поднявшись по лестнице вместе с сопровождавшим меня жандармским офицером, в кабинете Крахта я действительно увидал моего отца, беседующего с ним. Следователь по особо важным делам встретил меня, как всегда, любезно и, распечатав пакет градоначальника, прочел его бумагу и мое заявление.

— Это все явное недоразумение! — сказал он отцу.— Вопрос в том, желаете ли вы и далее быть поручителем за него?

— Желаю! — ответил отец.

— А вы,— обратился он ко мне,— желаете и далее оставаться на поруках?

— Конечно, желаю.

— В таком случае не о чем больше и говорить. Вы свободны! — сказал он мне.

Отец поблагодарил его, и мы отправились домой. По выражению лица было видно, что у отца словно гора свалилась с плеч. Он даже несколько раз сильно вдохнул свежий воздух, перед тем как сесть в карету со мной.

— Ну вот видишь, Коля,— сказал он мне,— сколько неприятностей вышло из-за твоего неосторожного исчезновения! Условимся, что больше не будет таких уходов.

— Хорошо! — ответил я.

А в голове у меня мелькнула мысль: ведь и исчез-то я только потому, что иначе ты сам не дал бы мне возможности осуществить необходимое для меня свидание! Теперь же мне нет нужды в исчезновении. Я буду вести сношения через библиотеку. «Да! — продолжал я думать,— отец, скрывая от меня свои действия, сам дает мне право не быть откровенным с ним в моих делах».

Когда мы приехали домой, Мария Александровна чуть не запрыгала от радости. Она, как оказалось, очень сомневалась в моем благополучном возвращении.

Желая чем-нибудь отвлечь меня от дальнейшего увлечения «социалистическими» идеями и «социалистическими» товарищами, отец, очевидно, решил не давать мне отдыха от ежедневно предлагаемых развлечений.

— Еще осталось часа четыре до обеда,— сказал он, взглянув на часы.— Мы в это время успеем осмотреть Эрмитаж. Ты не устал, Коля?

— Нет, нисколько.

— Так поедем сейчас же. Одевайтесь скорее, Мария Александровна! Я нарочно оставил карету у ворот.

И вот, начав день под арестом в канцелярии градоначальника, я продолжал его осмотром Эрмитажа, а окончил в театре, в первом ряду кресел партера на модной тогдашней оперетке-балете «Прекрасная Елена».

В эту третью ночь я спал уже более спокойно и реже удивлялся, просыпаясь, что надо мною нет уже низкого давящего свода моей камеры в Доме предварительного заключения и не слышно шагов сторожа за дверью.

4. На развалинах старого мира

За зеркальными окнами столовой кружились и гонялись друг за другом, как белые мотыльки, крупные хлопья снега.

Мы с отцом только что кончили наш утренний чай. Отец просматривал газету «Голос», а я «Петербургские ведомости» из кучки трех или четырех газет, всегда приносимых утром швейцаром на наш чайный стол. Но я не столько читал, сколько размышлял.

Прошло уже дней десять моего пребывания на свободе, а жизнь моя шла, как непрерывный фейерверк.

С утра мы выезжали к знакомым отца, или сами эти знакомые прибегали к нам.

Они все, и мужчины, и дамы, и барышни, в присутствии отца встречались со мной так, как будто бы ничего никогда не слыхали о моих приключениях. Днем мы с отцом, а иногда и в компании этих вечно нарядных дам и барышень осматривали музеи, а вечером нам предстоял неизменный театральный партер, после которого мы возвращались домой, совершенно усталые.

Все это, как я видел ясно, делалось главным образом для меня, чтобы дать мне почувствовать, что есть иной мир, кроме того идейного, в котором я до сих пор жил, и что окружающий нас реальный мир ярче и привлекательнее того, к которому я стремился до сих пор всей душой.

Но это удавалось плохо.

Я, конечно, не был по натуре фанатиком, не был односторонним. Но звездное небо ночью было для меня по-прежнему обаятельнее, чем блеск многочисленных хрустальных подвесок на бронзовых люстрах, висящих с потолков богатых зал, хотя звезды и смотрели много скромнее. Художественные картины сильно говорили моей душе, но еще сильнее говорила ей сама природа.

Талантливо и занимательно играли артисты и артистки в театрах; красивы и изящны были две-три знакомые барышни и очень милы со мною. Но еще занимательнее казалась мне жизнь, полная высоких идейных интересов, полная борьбы за счастье всего человечества.

Меня тянуло, как магнитом, к моим прежним друзьям. Все остальные, обычные, люди казались мне душевно мелки перед ними.

К этому времени я уже привык под видимой простым глазом внешностью угадывать невидимую глубину душ. Блестящий женский наряд стал представляться мне лишь более или менее

удачным прикрытием внутренней пустоты его носительницы и наивным проявлением ее детского тщеславия, которого она не в силах ни скрыть, ни преодолеть.

«Всякая из этих дам и барышень согласится,— думал я,— если вы скажете ей, что скромная внешность есть лучшее украшение женщины, но она это сейчас же применит не к себе, а к своим еще более нарядным подругам, на себе же будет считать слишком скромным самый дорогой и роскошный наряд. Она сгорит от стыда перед подругами, если придется появиться среди них в более простом и дешевом платье, чем у всех остальных! Боже, сохрани ее от этого! Еще подумают, что у нее нет денег! Значит, надо показать, что они есть, и не меньше, чем у других, а для этого надо их как можно больше швырять на наряды... А там, в отдаленном будущем, уже обнаружится, где и как и кто их снова раздобудет для нее».

«Таково наказание европейских народов за вековое умственное и гражданское порабощение женщины!» — говорил я сам себе, прохаживаясь в антрактах по фойе театров и рассматривая великолепные женские костюмы.

И наши просто одетые девушки-курсистки казались моей душе настолько же милее всех светских и полусветских дам, насколько звездочки неба были милее блестящих театральных люстр.

А между тем со звездочками-то и трудно мне было видеться в моем доме!

Правда, я успел записаться в библиотеку и обменяться через нее парою записочек, из которых я узнал, что мои друзья все еще живы и здоровы, а заключенные товарищи мне шлют привет и все советуют жить спокойно у отца и заниматься «своими науками», пока не пробьет час, когда я буду нужен.

Но все это было так кратко, так недоставало личного общения...

Отец окончил свою газету и собирался мне что-то сказать... Вдруг дверь отворилась, и к нам вошел без доклада человек средних лет в очках. Он поздоровался с отцом и Марией Александровной. Затем вошедший сам представился мне и назвал себя:

— Доктор Яблоновский!

Отец пригласил его к чаю и сам налил ему стакан, так как Мария Александровна тотчас же ушла в свою комнату. Начался разговор на общие темы, который сначала показался мне совершенно неинтересным.

— Довольны вы квартирой? — спросил его отец.— Следующим летом я переменю в ней обои на лучшие.

— Да, квартира сухая, теплая.

— Вы живете в нашем втором доме? — спросил его я.

— В нем самом! — ответил он.— Буду рад, если вы забежите как-нибудь ко мне. От вашего до моего подъезда только шагов десять.

— С удовольствием,— ответил я равнодушно, так как мне показалось, что доктор не представляет из себя ничего особенного.

— А я хочу вас ограбить,— обратился он к моему отцу.— Позвольте вам представить почетный билет на бал, устраиваемый через неделю г-жей Философовой на ее квартире в пользу нуждающихся курсисток.

— Дайте два билета для меня и Коли,— ответил ему отец.— Сколько за них?

— Сколько пожелаете.

Отец встал и отправился в кабинет за деньгами.

И вдруг, едва лишь он скрылся за дверями, как с доктором случилось что-то вроде припадка помешательства. Глаза его, устремившись на меня, вдруг завертелись колесом, а с руками, внезапно поднявшимися со стола, произошли какие-то конвульсивные жестикуляции. Он привскочил со своего стула и указал направление, по которому только что ушел мой отец. И все это без одного слова...

«Он внезапно онемел!» — подумал я с испугом.

Но тут его рука вдруг быстро опустилась в боковой карман сюртука, вынула оттуда записочку, сунула в мою руку, приложила в знак молчания палец к своим губам. Затем доктор Яблоновский указал пальцем, чтоб я сейчас же сунул записку в карман.

У меня сразу просветлело в голове. Это наш! Но только, как смешно он устроил все это! Неужели он думал, что я не пойму его без такого количества немой жестикуляции!

Я кивнул ему головой, пряча у себя на груди записочку, и затем спросил:

— Давно вы в Петербурге?

— Да, уже лет пять,— ответил он.

Затем внимательно оглянулся назад и сказал тихо:

— Непременно же приходите к Философовой, она очень интересуется вами и ждет вас, и, кроме того, там будет много народу, интересного для вас самих. Если бы отец ваш взял только один билет, я сейчас же предложил бы другой вам.

В это время отец возвратился с двумя десятирублевками, которые и вручил доктору. Я тут же простился с ним и отправился к себе в мезонин прочесть полученную записку.

«Оказывается,— писал мне Кравчинский — что у тебя в доме живет доктор Яблоновский, на квартире которого можно видаться с тобой. Познакомься с ним официально и даже выдумай себе какую-нибудь неважную болезнь, чтобы ходить к нему лечиться. А пока скажу тебе, что все друзья, на свободе и в заключении, крепко обнимают тебя. Только из твоих писем мы поняли причину удивительного поведения жандармов, явившихся ко многим студентам и курсисткам на вторую ночь после твоего освобождения. Все эти курсистки и студенты были изумлены, что производившие обыски не смотрели у них бумаг и писем, а просто, быстро вбежав, заглядывали под кровати, в шкафы и в уборную комнату, затем извинялись и сейчас же уезжали далее. Мы все недоумевали, кого они так усердно ищут, а, оказывается, это тебя!

Прилагаю здесь стихотворение на твое освобождение, которое написал Синегуб, твой бывший сосед в темнице, и еще письмо от одной хорошо знакомой тебе дамы».

Я развернул приложенную бумажку, и там рукой Синегуба было написано с посвящением мне:

Мой добрый друг! Свобода вас встречает,
Бросайтесь же в объятия ее!
Она вам счастья много обещает,
Отдайте ж ей служение свое!
Разлука тяжкая пришла к концу,
Желанная голубка перед вами!
Скорей же ей усыпьте путь цветами,
Родной народ ведите с ней к венцу!
На торжестве веселом новобрачных
Воспоминание о муке прожитой
Гоните прочь! Не надо мыслей мрачных,
Где солнце светлое сияет красотой!
Потом, потом вспомяните и нас!
Теперь же места нет заботе,
Мы будет ликовать и сами в этот час,
Что вы без черных дум живете на свободе!

Чувство бесконечного счастья и любви к моим друзьям так и разлилось по всему моему существу при чтении этого стихотворения. Сам Синегуб написал мне такие строки! Значит, в темнице меня любят! За что? Я этого решительно не понимал. Но, перечитывая десятки раз стихотворение Синегуба, пока не заучил его наизусть, я чувствовал, что это — факт. Потому что иначе зачем он стал бы мне писать? Лучше бы он написал это кому-нибудь другому.

«Вот какое счастье попасть в соседство к поэту! — думал я.— Почему я не могу написать ему в ответ что-нибудь такое же в стихах?»

Но в свертке лежала и другая бумажка, которую я еще не осмотрел. Это оказалось послание от Веры Фигнер, написавшей мне тотчас же, как только она получила известие о моем освобождении. Оно было полно самой нежной дружбы и радости о том, что я снова на белом свете. Она рассказала о своей жизни за истекший год, о своих личных надеждах на будущее, о беспокойстве за меня после моего ареста на границе и о намерении скоро приехать в Россию, а до тех пор просила подробно сообщить о всем пережитом мною. Мне живо представилась вся ее изящная, маленькая фигурка, как она, наклонившись над своим столиком, писала эти строки и думала обо мне.

Вот они, верные друзья на жизнь и смерть, неизменные и в радости и горе! Как ничтожны мне показались перед ними те нарядные светские барышни и дамы, с которыми старался теперь меня знакомить отец, надеясь, что их вид затемнит в моих глазах прежние облики!

За дверью послышались шаги. Я быстро спрятал в карман все эти бумажки и уткнулся в раскрытую передо мною книгу. Дверь отворилась, и вошел отец.

Я поднял голову от книги, и мне почудилось, что он подозрительно взглянул на мой стол.

«Не показался ли ему странным мой уход? Не подозревает ли он доктора? — подумал я.— Мне нельзя теперь дожидаться его вопросов, чтобы не приходилось лгать, а надо начать самому»,— мелькнуло у меня в голове.

— Этот Яблоновский хороший доктор? — спросил я отца еще раньше, чем он подошел ко мне.

— Хороший,— ответил он, садясь.— Только нигилист. Ты будь с ним осторожнее, а то опять попадешься.

Он помолчал немного.

— Сегодня мы обедаем у Селифонтова,— сказал он.— Там будет и твой бывший товарищ, Протасов. Он теперь поступил в Николаевское кавалерийское училище.

— Значит, бросил гимназию из-за древних языков?

— Не думаю. Вероятно, он просто предпочел военную карьеру. Потолкуй с ним. Может быть, захочется и тебе. Эту молодежь ты можешь навещать и приглашать к себе, сколько тебе угодно.

К шести часам вечера мы были уже у Селифонтова, в его огромном и роскошном доме в Измайловском полку. Это был

наш сосед по именью, меценат всяких художеств и самый близкий друг моего отца.

Несмотря на свои миллионы, картинные галереи и роскошные дворцы, один в Москве, а другой в Петербурге, он открыто презирал всякую внешность, считал себя народником по убеждениям, а потому и дома и в гостях ходил не иначе, как в красной рубашке и плисовых штанах, вправленных в голенища смазных сапог, предварив этим Льва Толстого лет на двадцать. Выходя на улицу, в театр, в дворянские и всякие другие собрания, он надевал еще, поверх этого, поношенную синюю поддевку и такую же смушковую шапку.

— Куда ты лезешь, рыло! — кричали ему городовые, когда он вступал в таком виде на парадные лестницы общественных собраний.

А он только ухмылялся с довольным видом и представлял им свою визитную карточку с дворянской короной наверху. Ему часто не верили и, если не было поблизости распорядителя, который выручал его, тащили в полицию, где он торжественно и важно заявлял жалобу на грубое обращение с ним городовых.

Там наводили справки и удостоверялись, что это «известный чудак-миллионер».

Его с тысячами извинений отпускали домой и, наконец, разослали всем городовым его приметы, чтобы более не было таких «недоразумений».

Он очень любил, всегда с громким хохотом, рассказывать о своих приключениях, считал себя либералом и платонически сочувствовал английскому образу правления, точно так же, как и мой отец. Но и он тоже не решился бы из страха перед Третьим отделением шевельнуть для достижения такого строя хоть одним пальцем. Однако он был много экспансивнее моего отца.

— А, здравствуй, Коля! Как ты поживаешь? — воскликнул он, встречая меня наверху лестницы, опять совершенно так же просто, как и все другие знакомые отца, словно мы только вчера расстались, и, как бывало в детстве, поцеловал меня.— От мамаши из деревни были известия?

— Да, писали недавно, что там все здоровы.

— Ну, и отлично!

И он обратился к отцу по поводу какой-то новой картины Айвазовского, которую хотел купить.

На столике перед зеркалом я увидел золоченую каску с высоким фонтаном белых лошадиных волос наверху.

— Это Протасова? — спросил я.

— Да, моя! — ответил мне вышедший в этот момент из комнаты высокий молодой человек в военной форме, поцеловавшийся сначала с моим отцом, а потом и со мной.

Он так вырос после двух лет нашей разлуки, что я едва узнал его. Но он встретил меня так же просто, как и Селифонтов.

— Ну-ка надень! — сказал я ему.— Идет ли к тебе?

Он надел и посмотрел на меня, смеясь.

— А теперь надень ты!

Я тоже надел.

— И к тебе идет! — сказал он.— Но только не соответствует штатскому платью.

Он снял с вешалки свое форменное пальто и расставил передо мною.

— Ну-ка, надевай!

Я сунул руки в рукава, и он помог мне застегнуться.

— Совсем кавалергард! — сказал он, рассматривая меня.

Отец и Селифонтов тоже смеялись и хвалили. Разоблачившись, мы пошли, наконец, в гостиную, всю увешанную картинами в золоченых рамах; вдали виднелась целая анфилада комнат в том же роде. Где-то звенели приборы накрываемого стола. Вышла жена Селифонтова и присоединилась к нашему общему разговору, в котором принимали участие главным образом Селифонтов и отец, а мы, молодежь, скромно слушали.

— Ты еще не видал нашего петербургского дома,— сказал Протасов, официальный наследник всего этого имущества, так как у Селифонтовых не было детей, а он был единственным племянником.— Хочешь, пройдемся, я покажу!

— Да, и в самом деле посмотри-ка,— прибавил Селифонтов.

Я встал и отправился вместе с Протасовым в соседнюю комнату, но он не дал мне тут остановиться и потащил далее, в самую отдаленную.

— Ужасно надо тебя видеть! — сказал он совсем другим, словно облегченным, голосом.— Я уже давно узнал, что тебя освободили, но нас отпускают только по праздникам, и раньше, чем сегодня, было совершенно невозможно встретиться. Ну, слава богу! Наконец-то ты на свободе! Мне так было тебя жалко! Ты не обижайся, что я так равнодушно и попросту встретил тебя сначала. Это дядя велел, потому что твой отец не любит, когда с ним заговаривают о твоем заключении. А я тебе очень сочувствую. Знаешь, у нас в училище еще Курочкин и Кемпе из прежних твоих товарищей. Все просили кланяться тебе. В следующее воскресенье мы хотим собраться и потолковать с тобой о всех этих делах. Лучше соберемся

здесь, дядя Сергей не будет нас тревожить, а у тебя твой отец, наверное, будет все время сидеть с нами.

У меня глаза широко раскрылись от изумления.

«Как! И в этом военном училище, считающемся привилегированным, уже есть сочувствующие! И отец сам советует мне поближе сойтись с ними!»

Мне вдруг стало даже смешно.

Положение мое, оказывается, далеко не такое плачевное, как представлялось с первого взгляда! Оказывается, что если не мы, то напавшие на нас охранители успели за год моего отсутствия сильно встряхнуть общество, и оно все заинтересовано нами.

Но не успел я ответить Протасову, как к нам поспешно вбежал и сам Селифонтов.

— Ну-ка! — сказал он, обнимая меня,— рассказывай! Сильно там тебя мучили в «собственной»-то канцелярии? Там, говорят, секут.— Не секли тебя? Признавайся прямо, ведь не за худое что-нибудь!

— Нет! — ответил я, смеясь.— Честное слово, не секли, да и не слыхал, чтобы высекли кого-нибудь из моих товарищей.

— Ну, а пытки были какие-нибудь? Например, морили голодом?

— Голодом-то, пожалуй, и морили целый месяц вначале, когда давали по десяти копеек в день на все мое продовольствие. Но самая главная пытка, это — одиночество под вечным враждебным наблюдением и вечное безмолвие, особенно когда в Москве мне не давали никаких книг за то, что я отказался давать показания.

— А ты отказался?

— Да.

— Молодец! — воскликнул он, снова обнимая меня.— Ну, да об этом еще потолкуем как-нибудь после, а теперь мне надо бежать к твоему отцу, которого я оставил с женой нарочно, чтобы расспросить тебя.

И он поспешно удалился.

Мы с Протасовым начали теперь по-товарищески рассказывать друг другу обо всем пережитом нами. Он действительно оставил гимназию из-за водворившегося в ней классического мракобесия вместе со многими товарищами, одни из которых пошли в реалисты, другие в военные. Везде, по его словам, особенно в молодежи, только и говорили, что о начавшемся революционном движении и о постоянных арестах среди студентов, и повсюду очень сочувствовали мне и моим товарищам.

— Даже и отцы наши,— прибавил он,— начали понемногу

цивилизоваться. Они все, за исключением твоего, охотно рассказывают о своих сидящих в темницах детях.

— Обед готов! — сказал нам появившийся в дверях лакей. Мы оба отправились в столовую, где Селифонтов посадил меня рядом с собой.

— Ну что, нравятся тебе мои новые картины? — спросил он.

— Да, — ответил я, не будучи в состоянии ничего прибавить, так как не рассмотрел почти ни одной.

Желая как-нибудь отвести разговор от деталей, чтобы не попасться, я прибавил:

— Некоторые перевезены из Москвы, я их там видел.

— Жалко мне того московского дома, — сказал Селифонтов. — Это был дворец одного графа, который я купил лет двенадцать назад, но недавно я его продал. Смешно и накладно содержать целый дворец в Москве, когда живешь в Петербурге и уезжаешь туда лишь на несколько дней в году, да и то специально для того, чтобы посмотреть, цел ли еще этот самый дом. Но такой замечательной анфилады зал, как там, уже нигде не найдешь. Она занимала целый уличный квартал.

Он начал задумчиво вспоминать подробности не то для нас, не то для себя самого.

— Помнишь? Вдоль всего фасада шел внутри темный коридор. По правую сторону его был ряд больших спальных комнат, в которых можно было разместить полсотни гостей, а по другую его сторону была глухая стена. За нею и шли эти залы, из которых только в две крайние можно было войти с концов коридора. Помнишь, как вы гимназистами гонялись друг за другом по всем залам и потом возвращались в них с другого конца по коридору? А мы с твоим отцом сидели в алой гостиной на диване. Нам открывался оттуда чудный вид на всю эту длинную анфиладу комнат, и мы смотрели сквозь огромные растворенные двери, как вы убегали по ним вдаль.

— Да, — сказал отец, — красивый был вид на все эти комнаты, когда сидишь за столиком прямо против них. Дверь видна за дверью без конца, а с боков каждой двери видны мраморные статуи на пьедесталах, видны края картин, а с потолков висят люстры за дверями, все уменьшаясь по мере удаления. Ты помнишь, какие из тех картин перевезены сюда? — обратился он ко мне.

— Да, — ответил я, и, чувствуя необходимость опять чем-нибудь отвлечь отца от разговора о еще не виденных мною здесь картинах, я как-то инстинктивно вспомнил одно из своих приключений.

— Всю эту самую анфиладу комнат,— сказал я Селифонтову, с которым с детства был на «ты»,— мне пришлось однажды пробежать перед твоей двоюродной сестрой и ее дочкой, институткой, да еще в каком виде! В одной ночной рубашке без всего остального!

— Что ты говоришь! — расхохотался он.— Да как же это вышло?

— Очень просто.

И я нарочно стал рассказывать все, как можно подробнее!

— Я был тогда, кажется, в четвертом классе, лет пятнадцати. Отец привез меня после летних каникул в Москву, и с нами же приехал и Андрюша Глебов. Мы отправились к тебе, чтобы пробыть вместе оставшиеся свободными три дня. Но оказалось, что ты уехал в Петербург и взял с собою и повара. Оставался только лакей, который, кроме самовара, ничего не мог приготовить, да еще вдобавок у тебя в доме остановилась твоя двоюродная сестра, которая привезла в институт тоже с летних каникул свою дочку лет шестнадцати. Отец их не знал и потому не решился остановиться у тебя сам, но перед отъездом в гостиницу представился дамам и просил их разрешения поместить нас в одной из жилых комнат вдоль коридора, о которых ты говорил. Он получил их полное согласие, и нам даже предоставлен был в распоряжение весь этот коридор и все комнаты вдоль него, так как дамы устроились в крыле, прилегающем с другой стороны в той же твоей знаменитой анфиладе. Так мы с Андрюшей и поместились в одной из комнат для твоих «пятидесяти гостей» и переночевали в ней на двух ее кроватях. А утром Андрюша, встав с постели первым, отправился в одной ночной рубашке и босым путешествовать по ковру в коридоре, но через десять минут снова возвратился ко мне и сказал:

— Знаешь, дама с барышней сидят на диване против комнат и что-то вышивают.

— Ты как узнал? — спрашиваю.

— Очень просто. Их отлично видно в замочную скважину в двери из нашего коридора.

— И тебе не стыдно было подглядывать?

— Нисколько. Они совсем одеты. Пойдем, посмотри и ты!

— Неловко!

— Говорю тебе, обе одеты, а барышня прехорошенькая. Лакей говорит, что они уедут вечером, и ты ее никогда более не увидишь, если не посмотришь сейчас. Пойдем же! Говорю тебе, барышня просто прелесть!

Он сорвал с меня одеяло и побежал с ним в коридор.

Я погнался за ним тоже в одной рубашке, как был в постели, еще не думая ни о каких барышнях и лишь желая отнять одеяло. Добежав до конца коридора, Андрюша вновь уставился в скважину, а затем шёпотом сказал:

— Смотри скорее, она повернулась прямо сюда!

Любопытство взяло верх над чувством неловкости. Я тоже приставил глаз к скважине, но после минуты созерцанья вдруг получил сильнейший толчок сзади. От удара моей головы двери распахнулись на обе половинки, и я влетел с размаха прямо к столику с дамами, едва удержавшись на ногах, а потом, не давая себе отчета почему, по какому-то инстинктивному побуждению, я не возвратился назад, а бросился поперек, по всей этой анфиладе. Уже я бежал-бежал, бежал-бежал! Мне казалось, что нет конца комнатам! Наконец, я добежал до последней, повернул из нее в переднюю, затем в наш коридор и скрылся в спальню.

— Ха-ха-ха! — громко заливался Селифонтов.— Воображаю, каков был твой вид для дам,— босого, голоногого, бегущего изо всех сил в одной коротенькой ночной рубашке! Ведь ты тогда казался совсем шестнадцатилетним! Ну что же, вздул ты Андрюшу?

— Конечно, бил до тех пор на постели, пока он не запросил прощенья, но толку от этого было мало. Он утверждал, что никогда бы не поступил так, если бы я сам не читал ему перед этим морали. Но тут, пока я глядел, ему неожиданно пришла в голову эта мысль, и он, упершись ногами в противоположную стенку коридора, толкнул меня изо всех сил.

— А каковы же оказались дамы! — смеясь, сказал мой отец.— Я помню, что в этот самый день я им представил вас обоих. Мы вместе пили чай, и ни одна не подала даже виду, что ты уже им представился раньше этого!

— Я сначала совсем не знал, куда смотреть от стыда, но они сами меня о чем-то сейчас же спросили, а затем дочка звала меня непременно заходить к ней в институт в качестве кузена.

— Ты хорошо сделал, что не повернул перед ними назад! — сказал Селифонтов.— Они, наверно, подумали, что вы гонялись друг за другом и ты влетел в комнату, думая, что там никого нет.

Разговор сразу направился на рассказы о подобных же случаях с другими.

«Слава богу! — подумал я.— Теперь меня забудут спрашивать о картинах и не узнают, что мы с Протасовым были заняты вовсе не ими».

Я очень опасался, что отец запретит мне знакомство с ним, если догадается о сочувствии моим идеалам и в Николаевском военном училище. Чтобы не попасться впросак, я осмотрел после обеда все картины.

До поздней ночи мы пробыли у Селифонтова и потому пропустили предначертанный на этот день балет в Большом театре.

5. Мысли дома

В постели

Как быстро привыкает человек к новой обстановке!

Прошло каких-нибудь десять дней моей жизни в отцовском доме, и, просыпаясь, я уже не удивлялся, что нахожусь не в тюремной камере, и не считал более совершившейся со мной перемены за сон! После посещения доктора Яблоновского с письмами Кравчинского, Веры Фигнер и стихотворением Синегуба, после выражения сочувствия ко мне Протасова и его товарищей — мне стало совсем легко.

Проснувшись на рассвете, я вспомнил обо всем и задал себе вопрос: прав ли я, что хитрю с отцом и, живя у него в доме, веду все-таки свою линию, не согласную с его желаниями? Ведь он меня, очевидно, искренно любит, иначе не старался бы так отвлекать от того, что считает для меня опасным. И я сам, несмотря на его чуждость мне по способам действий, все же вижу в нем своего отца.

«Не могу ли я быть с ним искренним?»

И моя совесть ответила мне: нет!

«Почему?»

«Потому что в случае чего неожиданного он опять испугается и за себя и за тебя и, оправдывая свою боязнь тем, будто спасает тебя от худшей беды, пойдет просить помощи тебе против твоей воли у градоначальника и жандармов и расскажет им все, что узнал от тебя, не думая о том, что он губит других. Ведь есть же в нем что-то такое, благодаря чему и Селифонтов и все его лучшие знакомые не говорят при нем о твоем заточении, а, как только его нет, сейчас же с любопытством расспрашивают тебя».

«Но что же мне делать? Мне тяжело становится так жить!» — возражал другой голос в моей душе.

Но я не мог придумать выхода и решил пока отдаться на волю течения, очевидно, куда-то выносящего меня вместе со всей Россией.

Потом, сам не зная как, я вдруг задумался снова об обще-

ственных вопросах. Оттого ли это было, что мои мыслительные способности отдохнули среди разнообразия ежедневных развлечений, устраиваемых мне отцом? Я думаю, что да. Я часто замечал и в последующей своей жизни, как после нескольких дней отдыха я начинал чувствовать уже потребность приняться за какую-нибудь умственную работу. Если я не удовлетворял этой потребности изучением новой для меня науки, то мой ум брал какую-нибудь из уже знакомых мне тем и начинал заново разрабатывать ее. Такая разработка особенно легко происходила ранним утром, когда все еще спали, а я лежал, уже проснувшись, под своим одеялом, и мне не хотелось сейчас же вставать.

Так было и в это утро, когда я лежал в постели еще в полутьме. Моя мысль, руководясь впечатлениями своей новой жизни, направилась опять на вопрос о том, насколько вредна человечеству роскошь частных лиц, вроде, например, той, которая меня окружает теперь в отцовском доме [19].

Прекратив эти размышления, я оглянулся вокруг себя. Солнце уже взошло и залило своими яркими утренними лучами темно-красные крыши домов на противоположной стороне улицы. Они отбрасывали ко мне свой цветной свет и придавали всем окружающим меня предметам алую окраску. Вставать было еще рано. В марте ведь солнце восходит около шести часов утра, а в это время у нас спала даже прислуга.

Я вновь начал думать о земельных вопросах, и, чем дольше думал, тем сложнее и запутаннее представлялись они мне.

«Но что же может,— спрашивал внутри меня голос,— поднять быстро материальное благосостояние человечества?»

«Успехи техники! — отвечал ему другой.— Они неизбежно ведут к уменьшению рабочего времени, немыслимому без них, они увеличивают рабочему время отдыха и обеспечивают его продуктами потребления на все свободное время».

Почему я здесь пишу эти мои давнишние мысли? Только потому, что мне хочется рассказать здесь не об одних своих приключениях, но и о постепенной выработке моего мировоззрения. А мысли эти были естественно навеяны, как видит сам читатель, обстановкой домашней роскоши, в которую я так неожиданно попал прямо из своей темницы.

Кроме того, в описываемый мною день оказался, волею судьбы, неожиданный повод и для дальнейшего продолжения этих размышлений и после того, как я окончательно встал.

Вне постели

Я оделся, умылся и спустился к чаю в столовую, где уже сидели отец и Марья Александровна, читая газеты.

— Что нового в газетах? — спросил я Марью Александровну.

— Ничего особенного,— сказала она, наливая мне чай. Мы напились молча.

По окончании чая отец позвал меня в свой кабинет и, вероятно, с воспитательной целью вынул из своего патентованного несгораемого шкафа кучу процентных бумаг и предложил мне отрезать от них весенние купоны специальными длинными ножницами. Переехав из деревни в Петербург, он вместе с увлечением живописью увлекся также биржевой деятельностью и почти каждый день ездил на час или два на биржу.

Я уже и ранее много читал об акциях в экономических сочинениях, но никогда еще не видал их, так как отец до сих пор не считал меня достаточно взрослым, чтобы знакомить со своими финансовыми операциями. Вот почему теперь, совершая обряд обрезания купонов, я с любопытством осматривал и самые его акции и облигации, как опытное подтверждение своего предыдущего теоретического изучения их. Я уже знал из книг, что купоны акций дают право на соответствующую долю ежегодного чистого дохода с акционерного предприятия, и потому на каждый год имеется при каждой акции только по одному купону, предъявитель которого в управлении получает соответствующую долю дивиденда, который может быть более или менее значительным, в зависимости от принесенных предприятием выгод. Соответственно этому растет и падает цена и самой акции.

Я взял пять акций Рыбинско-Бологовской железной дороги, на которые подписался мой отец еще в то время, когда она только начинала строиться.

— Плохие акции,— сказал он мне, увидев, что я их внимательно рассматриваю.— Дорога не дает даже и четырех процентов дохода с затраченного на нее первоначального капитала. Вот, если устроятся ее продолжение и подъездные пути, доход будет много больше, и акции повысятся в цене. Ты это понимаешь?

— Очень хорошо,— ответил я.

— Лет пятнадцать назад на склоне одной из калифорнийских гор,— продолжал поучать меня отец,— открыли золотоносную жилу, идущую в глубину, и основали акционерную компанию для ее разработки. По мере того как жила расширялась, росла и цена ее акций, а когда жила начала суживаться, падали и акции; раз при неожиданном расширении жилы в десять раз и цена акций прыгнула в десять раз, а когда жила вдруг прекратилась, так обанкротилось и акционерное обще-

ство, и все акции его обратились в ничего не стоящие листы бумаги.

— С железнодорожными акциями этого не может быть,— ответил я.— Да и с этих, рыбинских, пятипроцентный доход, кажется, гарантирован правительством [20].

Отец, все еще не отвыкнувший смотреть на меня как на мальчика, с изумлением взглянул на меня.

— Откуда ты это знаешь? — спросил он.

— Из книг в женевской эмигрантской библиотеке.

Изумление отца, казалось, удесятерилось.

— Однако твои социалисты,— сказал он, наконец,— оказываются много умнее, чем я думал!

Я принялся за обрезание следующей пачки акций. Это были страховые.

— Эти я недавно купил,— сказал отец,— потому что их все ругали. Основатели этого общества не получили и трех процентов на свои взносы и потому продавали их за половину номинальной цены. Я купил и хорошо сделал: доходность начала подниматься после выбора более опытного директора. Никогда не покупай акций, которые все хвалят, это значит, что их цена уже вздута; купишь их за дорогую цену, а через месяц они упадут. Всегда покупай из тех, которые все давно ругают, на которых уже нарезались другие. Если предприятие здоровое, они непременно поднимутся, и ты на этих акциях удвоишь капитал.

Я не мог не улыбнуться в глубине души. Заметив мой чисто теоретический интерес к процентным бумагам, отец уже заключил, что во мне есть склонность к практической биржевой деятельности, и, очевидно, хотел поощрить мои способности в этом новом, приятном ему, направлении. Во мне же говорил только интерес человека науки, желающего сознательно отнестись ко всем явлениям как природы, так и человеческой жизни.

Я видел и по другим процентным бумагам, что отец все свои сбережения, оставшиеся от покупки бездоходных картин и статуй, употреблял главным образом на промышленные предприятия. У него были тут и нефтяные, и горнозаводские, и каменноугольные, и пароходные, и металлургические, и механические, и стекольные, и даже пивоваренные акции.

Я передвинул к отцу на его край стола всю кучку отрезанных мною купонов.

— Все отрезал? — спросил он.— Не отхватил ли за следующий год?

— Нет!

Он пересмотрел купоны, сосчитал листы акций и, убедившись, что числа сходятся, снова запер акции в несгораемый

шкаф с патентованным замком, а купоны положил в свой портфель и приготовился ехать куда-то для их размена на деньги.

Как только я остался один, я поспешил в свою комнату и начал записывать там свои мысли.

Я начал сохранять каждый клочок недописанной бумаги, обрывал чистые четвертушки получаемых мною писем и все клал в особую папку, чтобы делать на них нужные мне временные заметки или вычисления. Я не мог выносить, чтобы где-нибудь горела ненужная свеча или электрическая лампа, и это вовсе не из любви к собственной экономии, а из уважения к руко-трудящемуся человеку, которое создало их на пользу, а не для того, чтобы мы расшвыривали продукты его работы, как свиньи свою похлебку. Я избегал ездить на извозчиках, чтобы своим спросом не вызывать расширения этого мало полезного труда.

«Извозчик нужен,— говорил я сам себе,— когда куда-нибудь спешишь, но лучше поступишь, если не будешь засиживаться в гостях или дома без нужды и пройдешь, куда нужно, пешком. Это будет и этичнее в общественном смысле и полезнее для здоровья, так как не расслабишь себя, да и подышишь свежим воздухом».

Но я никогда не навязывал насильно другим своих принципов. Я думал, что если люди поймут и почувствуют трудовые отношения, как я их понимаю, то они сами начнут так делать, как я, без всяких увещаний, а если не поймут и не почувствуют, то все равно будут, как светские дамы, расшвыривать продукты чужого труда. При случае, когда было к слову, я, конечно, говорил это всем интересующимся моими мнениями, но я настолько был занят более важными делами, что мне и в голову не приходило ораторствовать по поводу своих размышлений.

Окончив запись в своей тетради, я приготовился идти в уже известную читателю библиотеку на берегу Невы. Я хотел передать записочку с приветствием всем своим друзьям, начиная с Кравчинского, а в особенности записочку Синегубу в Дом предварительного заключения с благодарностью за присланное им мне письмо. Я все еще не мог опомниться от радости после получения его стихотворения и, не довольствуясь тем, что выучил его наизусть, почти каждый день перечитывал его в подлиннике.

Я думал, что Мария Александровна, тоже удалившаяся еще ранее меня в свою комнату, не заметит моего ухода. Но она, оказалось, услышала мой спуск с лестницы и, появившись, как всегда, уже готовая к путешествию со мной, в своей шубке и меховой шапочке, сказала:

— Мы с вами опять вышли оба сразу! Я только что решила прогуляться.

— Тогда пойдемте снова вместе!— сказал я, уже привыкнув к мысли, что мне не удастся выйти без нее на улицу, по крайней мере, с месяц раньше, чем отец не придет к убеждению, что я отвык от своих опасных друзей.

Мы вышли и отправились на набережную Невы. Она по обыкновению не вошла в библиотеку, не ожидая в ней найти ничего для меня опасного. Я легко передал свою записочку и получил взамен новую вместе с обмененными мною книгами. Затем мы с Марией Александровной молча пошли домой.

— Вы совсем переменились ко мне! — печально сказала она по пути.— Когда мы жили вместе в деревне два года назад, вы были совсем другой. Вы помните?

— Да, помню!— ответил я.— Тогда было много лучше.

Я вспомнил, как был в нее влюблен, собирал тесемочки от ее башмаков и хранил букетики иммортелей, которые она дарила мне. Раз она, взяв стеариновый огарок, накапала целый слой стеарина на свой мизинец и, сняв с него эту формочку, налила в нее расплавленного стеарина. Потом она разломала оболочку, а получившийся в ней точный отпечаток своего пальчика подарила мне. И я берег его как лучшую драгоценность вплоть до того времени, когда мои вещи вместе с этим пальцем были уничтожены у Мокрицких из страха жандармского обыска.

Как трогательно и мило все это казалось мне и теперь. Но милый когда-то образ этой самой девушки, бывшей гувернанткой моих сестер, совсем изменился в моем представлении через несколько дней после того, как она была приставлена гувернанткой ко мне самому!

Если б я мог думать, что ее стремление выходить всегда со мной обусловливалось единственно ее личной симпатией ко мне, это было бы совсем другое дело. Кто знает, может быть, моя прежняя любовь к этой милой и доброй по природе девушке и воскресла бы, несмотря на то, что ее облик заслонили у меня в последние годы жизни более яркие фигуры моих новых революционных знакомок!

Но... я знал, что она всегда выходит со мной не по одному своему желанию, а и по специальной просьбе моего отца для того, чтобы оберегать меня от встреч с друзьями. И это меня отстраняло от нее более, чем могло бы отстранить что-нибудь другое. В моих мечтах я всегда представлял себя защитником любимого существа, а не вялой особой, покровительствуемой им. Здесь же выходило именно последнее.

И я чувствовал, что мое прежнее обожание совсем прошло,

что теперь ходил со мною по улице не мой прежний идеал женского совершенства, а самая обыкновенная девушка, каких много на белом свете. Еще хуже для моей прошлой любви к ней было то, что между нами оказалось теперь совсем мало общего по духу. Она стала казаться мне просто прозаичной.

Так печально и безрезультатно окончилась моя вторая юношеская любовь. Она началась, когда мне было семнадцать лет, и продолжалась более двух годов. Первая же любовь была у меня к моей тете по отцу на четырнадцатом году и держалась около года.

Наш петербургский дом стал теперь для моей души мало привлекательным жилищем, и все, чего мне хотелось, это — поскорей поехать на лето в деревню, чтобы повидать оставшихся там мать, брата и сестер.

Родное гнездо, в котором я вырос, где был знаком мне каждый уголок, страшно потянуло меня к себе на этом перепутье моей жизни.

«Поскорее уехать в деревню. Освежиться на лоне природы! Решить там, наконец, что же мне далее делать! Оставшиеся товарищи по нашему тайному обществу распустили его сами, и его уже нет. Нового не основано. Нет и трех тысяч рублей, которые они могли бы дать за меня отцу, чтобы я был независим от него, а без них я не могу убежать из дому».

«Мне,— думал я,— остается только вернуться к своей первой любви, к естественным наукам, к которым присоединились благодаря моим занятиям последних лет также и общественные. Мне надо написать ряд научных исследований по тем и другим, внести новый луч света в человеческие головы и облегчить человечеству его трудный путь к будущим свободе и братству».

И, кто знает, не пошел ли бы я по этому пути, если бы сама судьба на следующий же день не разрубила своим неумолимым мечом гордиев узел и не бросила меня снова на прежнюю дорогу борьбы и страданий.

6. Последний вечер и последнее утро моей второй жизни на свободе

Вскоре после счета купонов отец повез меня (с целью отвлечения от опасных идей) в цирк Чинизелли. Я еще никогда не бывал ни в каком цирке, и цирк при этом первом же посещении страшно неприятно подействовал на меня тем, что клоуны безобразничали в нем самым возмутительным образом.

Во всех людях, не одетых в жандармский мундир и не продававшихся в политический сыск, я хотел видеть своих братьев по человеческому роду. И вот тут эти мои братья, с которыми я хотел бы разделить все, что имею, намазав свои лица мелом, звонко хлестали друг друга по щекам, а вслед за тем бежали обниматься и целоваться для того, чтоб, отскочив, опять повторить пощечину. И все зрители, казалось, были спокойны.

«Как трудно будет,— думал я,— научить таких людей вести себя с достоинством в социалистической коммуне!»

Какие-то атлеты из Южной Америки поднимали друг друга на лестницах, поставленных ими в рот на здоровые нижние челюсти. Выехал, стоя на коне, молодой, сильно декольтированный юноша и начал прыгать во время езды через свою собственную голову. Выбежали десять лошадей и начали делать из себя пирамиды. Я тут пожалел, что вместо таких бесполезных упражнений дрессировщики животных до сих пор не догадываются приучить нескольких сильных птиц носить себя в воздухе, хотя бы по этому цирку, чтоб доказать практическую возможность полета на птицах, о котором я мечтал с детства. Затем были спущены с потолка очень высоко над землей две трапеции, и на них начали качаться двое декольтированных юношей, выделывая всякие бесполезно опасные и потому неприятные для меня штуки.

Вот выбежала девушка в трико, влезла вверх по лесенке и бросилась на шею ближайшему юноше, когда он подкачнулся к ней. Она покачалась у него на шее несколько раз, но в тот момент, когда ее качель сошлась в высоте близко с качелью второго юноши, она в воздухе перебросилась к нему на шею и стала качаться с ним. Мне был очень страшен ее прыжок в высоте, но публика сильно аплодировала.

Утром следующего дня, поднявшись раньше всех, я забежал отнести до нашего утреннего чаю книги в библиотеку, где получил новую записочку от Кравчинского.

«Непременно уезжай как можно скорей к себе в деревню на лето,— писал он мне,— и живи там спокойно, занимаясь своими науками. Все такие занятия пригодятся в будущем и тебе и нам всем. А теперь тебе в Петербурге нечего делать. Наступает лето, глухой сезон в столичных городах даже для революции. Не мучь себя напрасными беспокойствами о нас и о сидящих товарищах; все будет хорошо, когда приедешь осенью. Самое важное будет заключаться в том, что о тебе тогда позабудет правительство, успокоится отец, и легче будет видеться с нами».

Я несколько раз перечитывал эту записочку и обдумывал

свое положение. Пока деньги отца лежат в залоге за меня и я не могу их выплатить ему, я связан этим больше, чем тюремными запорами. Но залог ведь не вечно будет лежать. Подготовляется суд, и после него отцу должны будут возвратить деньги, а меня или посадят в тюрьму для отбывания наказания, или сошлют куда-нибудь, или оправдают и выпустят на все четыре стороны. Я чувствовал, что если бы у меня не было любви к науке, то после возвращения отцу залога я сейчас же ушел бы к революционерам.

«Но,— думал я,— не пристращусь ли я снова за лето к науке так, что мне будет страшно тяжело ее оставить для революции, как это было в первый раз, когда я решил идти в Москве в тайную сапожную мастерскую?..».

«Теперь мне будет еще труднее. Теперь я вижу, что ожидаемое моими друзьями огромное облегчение человеческого труда путем равномерного перераспределения земель и капиталистических предприятий между всеми людьми является в огромной мере иллюзией, и что естествознание и основанная на нем власть человека над стихийными силами природы помогут всенародному труду несравненно более. Любовь к науке, которой я отдамся, будет у меня опять бороться с возвращением к активным революционным предприятиям тем более, что свободная наука ведь тоже ведет, как и они, к гражданской свободе и к установлению республиканских идеалов во всех политических, экомических и мыслительных соотношениях между людьми...

И я тем более горячо отдамся науке...

Не буду же обманывать себя и моих друзей и скрывать от себя и от них, что, уезжая на целое лето, я непременно там начну ряд научных работ, которые мне трудно будет бросить осенью. А затем мои первые работы вызовут другие и так далее, без конца, тем более что у меня склонность именно к большим, систематическим исследованиям, и я не могу постоянно перебрасываться от одного дела к другому, забывая о первом. Там, в деревне, среди природы и полной свободы я опять отдамся своей прежней любви и непременно начну подготовлять какие-нибудь большие книги».

Печальный от этих мыслей, я возвратился домой.

— Уже был в своей библиотеке?— спросил меня отец, как только я спустился к чаю.

— Да,— ответил я.— Взял пересмотреть астрономию Араго.

— Астрономия хорошая наука,— заметил отец, с детства приученный к мысли, что обсерватории пользуются уважением императоров, и потому наука о небе должна быть наукой хо-

рошего тона.— А вот у математиков так уж совсем зашел ум за разум. Выдумали бесконечно-малые величины! Ха-ха-ха-ха! Бесконечно-малые! Сидят и целую жизнь делят, положим, пять на два, потом еще на два, потом еще — и так всю жизнь, желая увидеть, что же получится в самом конце! Да, конечно, сколько ни дели, все получится какое-нибудь частное, которое снова можно разделить! Ха-ха-ха!

Отец торжествующе окинул нас взглядом.

— А ты желал бы стать астрономом?— спросил он меня.

— Очень! — ответил я совершенно искренне, так как это была одна из заветных моих надежд с самого начала сознательной жизни.

Насчет его оригинальных представлений об исчислении путем бесконечно-малых величин я ничего тогда не мог ответить, так как и сам, несмотря на интерес к математике, не имел еще времени ознакомиться с этим, поистине, волшебным методом исчисления. Я только инстинктивно чувствовал, что отца кто-то мистифицировал.

Незнание высшего математического анализа было тогда самое слабое место в моем образовании, которое, за исключением гимназических предметов, приобреталось мною совсем самостоятельно и даже в одиночку, без советов с другими. Да это и понятно.

Все науки, за исключением математики, легко усваиваются путем простого внимательного чтения, а для высшей математики не было тогда еще ни одного наглядного курса, а только такие, в которых без объяснения знающего ничего нельзя было понять. Одолеть этот отдел удалось мне лишь впоследствии, уже в Шлиссельбургской крепости.

Отец о чем-то задумался, но в этот раз не обнаружил своих планов относительно моего будущего.

— Сегодня хорошая погода,— медленно произнес он, глядя в окно на голубое небо.— Я думаю, нам надо подышать, наконец, чистым воздухом, а то наглотались этой петербургской копоти!

Действительно, в воздухе уже веяло весной, и человеку, выросшему в деревне, невольно хотелось за город.

Отец велел закладывать своих рысаков в открытую коляску, и мы, плавно покачиваясь на мягких рессорах, поехали на Елагин остров. Там уже было несколько других колясок, медленной рысью катившихся по широким аллеям садов, с еще оголенными от листьев деревьями. У южных сторон почти каждого древесного ствола виднелись в выпавшем ночью белом снегу проталинки бурого дерна, а из-под снега кое-где торчали сухие

стебельки прошлогодних трав, и вокруг каждой травинки образовалась в снегу круглая дырка. Воробьи наперерыв чирикали на солнце, чуя приближающуюся весну, и перелетали стаями с одного дерева на другое. Вот показалось впереди море, еще окованное льдом и покрытое тем же свежим весенним снегом, выпавшим за ночь. Но лед на его поверхности уже местами растаял, и лужицы на нем, сверкая под солнечными лучами, пестрели мелкой рябью от мягкого весеннего ветерка.

Как они напомнили мне мое детство, когда я пускал в такие же весенние лужи лодочки из скорлупок от грецких орехов и воображал, что лужи — моря, а мои колышущиеся на их ряби скорлупки — плывущие по ним корабли!

Как ярко и тепло светило солнце! Как далека казалась мне моя сумрачная келья, с ее матовыми стеклами, глядящими на глухой, как колодезь, двор Дома предварительного заключения.

На несколько минут мне стало жутко думать о товарищах, оставшихся там, и о заключенных в мрачных подвалообразных камерах Петропавловской крепости. Однако свежие и снова новые для меня впечатления готовящейся к обновлению природы постепенно вытеснили из моего ума жуткую картину.

«Скоро, скоро,— и это наверное!— море разобьет свои оковы,— думал я, глядя в ярко блестящую даль,— и оживут и потекут куда-то эти ледяные равнины! Здравствуй, море, душа земли! — мысленно сказал я и сам не понял, что значат последние слова. Мне вдруг захотелось говорить стихами.— Милая, милая природа! Уж скоро я возвращусь к тебе после целого года разлуки! Скоро я буду в деревне смотреть, как в детстве, на твое пробуждение!»

— Сегодня вечером нам надо быть на балу у Философовых!— сказал отец.— А завтра ты должен быть у Селифонтова, куда придет Протасов с его товарищами. Смотри, не забудь, а я не поеду.

Он велел кучеру возвращаться назад, и через полчаса мы вновь стояли у подъезда нашего дома.

— Никого не было?— спросил отец швейцара.

— Никого. Только жандармский капитан ждут Николая Александровича в гостиной!

— Николая Александровича? — переспросил с изумлением отец.

— Да, Николая Александровича.

Отец явно встревожился. На сердце стало тоскливо. От жандармского офицера еще никогда не было мне никакого добра!

Мы разделись внизу и вошли в гостиную.

При нашем входе со стула встал высокий жандармский офи-

цер, обыкновенно дежуривший на свиданьях с родными в Доме предварительного заключения и потому известный лично и отцу и мне.

— Что такое? — спросил отец, здороваясь с ним.

— Следователь по особо важным делам просит к себе Николая Александровича.

— Когда?

— Сейчас же со мной!

— Зачем?

— Не знаю. Вероятно, желает спросить о чем-нибудь.

— Хорошо! — сказал я.— Подождите пять минут, я приготовлюсь.

— Сколько угодно,— любезно ответил мне офицер.

Я быстро пошел в свою комнату.

«По всей очевидности,— думал я,— меня просто хотят спросить о чем-нибудь и отпустят. Но как мне быть со стихотворением Синегуба, посвященным мне, как быть с моими тетрадями, с письмом, которое я начал писать Вере в ответ на ее послание?»

Все это я носил на своей груди в кармане и никогда не оставлял при уходе в комнатах из опасения, что отец без меня может найти. Но я уже ранее заметил в обшивке одного стула прореху внизу, в которую можно было положить небольшую пачку бумаги.

«Надо воспользоваться этим,— решил я.— Нельзя ни в каком случае нести с собой к следователю моего ответа Вере, где много откровенного насчет моих планов».

Я положил письмо и стихи Синегуба в прорез стула, а тетради со своими записками по общественным вопросам запер в стол.

Затем я вновь вошел в гостиную и сказал жандармскому капитану:

— Пойдемте! Я готов.

Я поцеловал отца, пожал руку Марии Александровне и вышел.

— Хотите, подвезу?— спросил я офицера при выходе.

— Нет. Благодарю вас. Лучше пройдемтесь пешком.

Мы пошли, разговаривая о театрах и цирке, перешли через Николаевский мост и направились мимо Ксенинского института.

— Идите по бульвару,— сказал он мне.— Я вас потом догоню.

Он пошел за угол в какую-то будочку, а я отправился в указанном им направлении.

«Что за странность? Я прошел бульвар до конца, а его все нет!».

Я сел на скамеечку и начал ждать. Наконец, появилась вдали его медленно идущая фигура, и мне показалось, что он с неудовольствием увидел меня на скамье.

«Что за история? — подумал я.— Ему как будто хотелось, чтоб я скрылся. Но, ведь, он бы тогда ответил за меня... Он не из таких, он форменный карьерист, все на свиданиях знают это. Или меня действительно ведут по пустякам, или он так действует по инструкции Третьего отделения, в котором служит».

Такое впечатление еще более усилилось, когда он, не желавший до сих пор ехать на извозчике, тут же кликнул одного проезжающего мимо и сказал мне:

— Ну поедемте!

Теперь он был явно озабочен. Подвезя меня к зданию окружного суда, он решительно отклонил мою попытку заплатить извозчику и рассчитал его сам.

Мы поднялись по лестнице в приемную следователя Крахта. Мой путеводитель вошел в нее один, но потом сейчас же возвратился и, раскланявшись со мною, сказал уходя:

— Следователь просит вас к себе.

Он прошел мимо. Я вошел в дверь.

Крахт встал при моем приближении и как-то печально сказал:

— По приказанию его императорского величества я должен вновь арестовать вас и содержать под стражей до суда над вами.

Он молча протянул мне уже готовое постановление о моем аресте приблизительно того же самого содержания и предложил подписать.

Я молча подписал.

— Теперь я ничего не могу для вас сделать,— сказал он.— Залог будет немедленно возвращен вашему отцу.

Он подозвал конвойных и, пожав мне руку, сказал им, чтобы меня отвели коридорами в Дом предварительного заключения.

7. *Вновь в одиночестве*

Я снова пошел пленником по уже знакомым мне извилистым, как будто подземным коридорам, соединяющим внутри двора здание окружного суда с Домом предварительного заключения, и вошел в его мрачную приемную.

— Скоро же возвратились! — сказал принявший меня под расписку помощник управляющего.— Ваша камера еще свободна, и я вас помещу снова в нее.

Меня посадили в ванну и заменили мое платье казенным.

Служитель повел меня вновь по привычным мне висячим галереям; мы вошли в проход в стене, поднялись в нем в верхнее отделение и подошли к моей камере, уже отворенной для меня.

— А вы опять к нам! — сказал мне знакомый коридорный служитель с золотыми ключами на воротнике мундира.— Я так и думал, что вы не долго засидитесь на свободе и потому никого не садил на ваше место.

Это было так просто, как будто я вышел из своей камеры только прогуляться.

Все время, с самого момента объявления Крахта, я делал совершенно равнодушную физиономию, как будто говорившую: «ничего иного я от вас и не ожидал, мне ваши преследования совершенно безразличны!»

При словах служителя я даже счел долгом рассмеяться.

А в глубине души у меня стало мучительно тяжело, особенно когда тяжелая, окованная железом дверь захлопнулась за мною, загрохотал, как прежде, замок, и я остался в полумраке один в своей крохотной каморке. Я взглянул на ее пыльный потолок и стены, на матовое окно, сквозь которое ничего не было видно, и мне казалось, что весь этот фейерверк последних двух недель моей жизни, и Селифонтов, и Протасов, и вчерашний цирк с декольтированной наверху и снизу юной наездницей, скакавшей надо мной, и сегодняшние впечатления яркого весеннего дня, и безбрежность оттаивающего в солнечных лучах моря, и ослепительная мелкая рябь на поверхности его лужиц, среди белого недавнего снега,— был один сон.

Но нет, не сон! Это было хуже.

Мне в одиночном заключении показали на несколько дней свободу и, как будто сказав: «понимаешь теперь разницу?», вновь посадили в прежнюю камеру в полутьму, прибавив при этом: «теперь тебя уже более не выпустят из нее!»

Что значат слова Крахта: «по приказанию его императорского величества»? Неужели слухи обо мне дошли до императора, или это у них обычная форма ареста? Почему мне в первый раз не предлагали для подписи такой бумаги? Почему, наконец, самый этот арест без объяснения причины? А как же теперь будет с бумагами, оставшимися у отца? Как же будет с недописанным письмом к Вере, спрятанным в прорехе в стуле, под подушкой? Будет ли оно лежать до починки стула, а потом его найдут?

У меня мороз прошел по коже от мысли, что его может прочесть отец. Страшно удрученный неослабным надзором за

каждым моим шагом, я хотел кому-нибудь излить свою душу и яркими красками описал мой новый домашний быт, все, что было мне в нем тяжелого. Там было и о копии с письма моего отца, показанной мне на первом допросе, в котором он приказывал мне возвратиться из-за границы и выдать всех, и о его собственном донесении, что я от него сбежал в первый день моего освобождения, и о том, что отец скрывал от меня эти свои поступки, думая, что я их не знаю, и о том, что домашние «шпионят» за каждым моим шагом... Все это была правда, но для отца, если он случайно найдет мое письмо, она, я знал, будет обиднее всякой лжи, в особенности потому, что я сообщал ее не ему, а посторонней особе. Прав ли я был в этом отношении?

И моя собственная совесть сказала мне: нет! Раз ты не высказал этой правды тому, к кому она непосредственно относится, т. е. твоему отцу, и не выслушал его объяснений, ты не имел права высказывать ее и другим!

«Но я не высказал этого отцу,— оправдывал я себя,— не по недостатку чувства искренности, а потому, что мне жалко было его обидеть. Он ведь сознавал в глубине души, что скверно сделал оба раза, и потому скрывал это от меня, желая сохранить мое уважение. Зачем же я стал бы говорить ему: а я все-таки знаю оба твои поступка? Ведь это же походило бы на злорадство, в каком подслащенном виде я ни поднес бы ему пилюлю, так как притворяться одобряющим его не мог!»

«Но вот теперь,— заговорил во мне опять мой прежний внутренний голос,— когда он сделает обыск в твоей комнате и найдет письмо, что ему останется делать?»

«Нет! — воскликнул я, гоня прочь даже идею о возможности такого случая, так как искренне жалел своего отца.— Он не найдет письма, оно слишком хорошо спрятано! Притом же Мария Александровна меня любит, она, как женщина, раньше отца догадается все осмотреть и уничтожить все, чего не надо знать отцу. А я другой раз никогда не буду жаловаться на то, о чем я прежде не сказал тому, на кого жалуюсь, и пока не выслушаю его».

Я насильно успокоил себя насчет этого пункта, огляделся еще раз кругом и вдруг почувствовал в своей душе что-то похожее на отчаянье.

Если б меня так неожиданно посадили в другую обстановку, хотя бы в другую камеру, то мне было бы много легче. Но меня посадили в ту же самую. Все пережитое здесь в прошлом вновь пахнуло на меня, а будущее потеряло для меня то, чем оно отличается от прошлого: свою неизвестность. Здесь оно мне было известно до мелочей, оно было — ежедневное предстоящее повторение прошлых безотрадных дней и мучительных ночей. И на-

дежды на перемену явно не было никакой, вплоть до отдаленного суда, который, может быть, будет через несколько лет. А жизнь уходит и не вернется!

Я начал бегать взад и вперед по камере, пользуясь тем, что никто из товарищей по заключению еще не подозревал о моем новом пребывании здесь, а следовательно, не мешал мне своим удивлением и расспросами. Я хотел сосредоточиться.

И вот вдруг, как будто невидимая внутренняя пружина, поднялось во мне из глубины души чувство борьбы с вероломным врагом и чувство упрямства, не допускающего сдачи и не позволяющего признать себя побежденным ни при каком неожиданном и оглушительном ударе!

«Пока есть во мне хоть искра жизни,— сказал я сам себе,— я не упаду духом, я буду работать, я буду бороться! Подумай, что тебе сказал этот следователь по особо важным делам? При переводе на простой и ясный язык он сказал: по решению верховной власти ты обязан отныне заниматься исключительно революцией! Наука вновь закрыта для тебя! Вот что он тебе сказал! Ну, что же? Пусть будет так! Отныне я буду заниматься только заговорами! И еще посмотрим, какие из этого получатся результаты! А теперь мне надо добросовестно подготовиться к предстоящей великой борьбе и поддерживать товарищей».

Я взял свою прежнюю деревянную ложку и, как всегда, позвал своего нижнего соседа, Синегуба.

— Кто вы? — простучал он на мой зов.

— Как кто? Да, конечно, я сам.

— Кто «я сам»?

— Морозов.

— Не шутите! Морозова освободили.

— Да нет же! Неужели вы меня не узнаете по стуку?

— Узнаю, но, конечно, не верю. Вы ему подражаете.

— Да нет же, я сам и есть!

— Как же вы сюда попали?

И в его стуке послышалось сильное волнение.

— Меня снова посадили.

— За что?

— Сам не знаю.

Я рассказал ему, как за мной приехал жандарм, и передал слова Крахта.

— Это невероятно! — ответил он.— Дайте мне походить и опомниться! Я не могу стучать от волнения.

Он сделал отбой, и, приложив ухо к стене, я услышал его спешные шаги взад и вперед по комнате.

«Начало не дурно! — подумал я.— Эффект от моего

появления на прежнем месте, очевидно, и у других будет немалый! Хоть это утешительно!»

И, действительно, впечатление было огромное. Никто не верил своим ушам. Всех надо было убеждать насильно. По всем камерам поднялись стуки: что же это значит?

Ответ на этот вопрос, да и то не совсем ясный, мы получили только через две недели.

Когда я успел понемногу успокоиться и привыкнуть к идее, что я вновь в темнице, Синегуб, с которым мы уже прекратили наше прежнее обращение на «вы», спешно вызвал меня стуком.

— Один из видных деятелей судебного ведомства,— сказал он мне,— проболтался присяжному поверенному Бардовскому, что Третье отделение и его глава, шеф жандармов, чрезвычайно недовольны Крахтом, который выпускает многих и уменьшает важность поднятого ими государственного дела. Тревога с твоим воображаемым побегом от отца была раздута в твое действительное желание убежать. В таком виде дело было доложено императору, как характеристика либеральных действий Крахта, все-таки не арестовавшего тебя, и император высказал Крахту через шефа жандармов недовольство твоим освобождением. В результате и был твой вторичный арест без объяснения причин и постановление об обязательном содержании тебя под стражей вплоть до решения дела судом. Теперь уж тебя ни за что не выпустят, как бы ни хлопотал твой отец.

— А он хлопочет? — спросил я, так как отец все время не показывался ко мне.

— Да. У него была Эпштейн.

«Слава богу,— подумал я.— Значит, он не нашел моего письма в стуле!»

— А не повредит ли мой вторичный арест выпуску других товарищей? — спросил я с беспокойством.— Может быть, Крахт никого не будет теперь освобождать на поруки?

— Не думаю, чтобы повредило. Я сейчас имел свидание с женой. Она шлет тебе привет, так же как и все другие твои товарищи. На воле тоже были очень взволнованы твоим неожиданным арестом, и сначала никто не хотел верить. Потом, когда убедились, что это правда, все тоже опасались, что Крахт более никого не выпустит, но вчера он снова отдал двоих на поруки. Ведь Третье отделение нахватало не только тех, кто занимался пропагандой, но и всех их знакомых, как сочувствующих. Если суд будет гласный и с присяжными, то, наверное, почти всех оправдают. Даже и сенат при гласном разборе не решится обвинить людей за простое знакомство. Крахт хочет выпустить всех таких, а Третье отделение ведет против него интригу. У меня

все внутри кипит, когда подумаю, что мы упали, как манна небесная с неба, для всех гадов, желающих устроить свою карьеру на счет наших жизней.

— Подавятся они этой манной! — ответил я ему в успокоение.— Они теперь только раздувают начавшийся пожар. Без них наш костер, может быть, и совсем не разгорелся бы, и мы все по окончании лета возвратились бы к своим занятиям или превратились бы в простых народных учителей. Ведь вот и ты сам на что должен был перейти после первого знакомства с рабочими? На преподавание им географии, арифметики, истории! Мы вели только мирную пропаганду, а они теперь под видом охраны общественных основ ведут по всей России отчаянную революционную агитацию, и я уверен, она будет много действительнее нашей.

— Хорошо бы так! — ответил он.— Да уж слишком мы добродушны, вот беда. Я часто хожу здесь и видя, как постепенно хиреют товарищи от этого бесконечного заключения и одиночества, повторяю конец стихотворения Михайлова, мысленно обращаясь к оставшимся на воле:

Что ж молчит в вас, братья, злоба?
Что любовь молчит?
Иль в гоненьи только слезы
Ваш один ответ?
Или силы для угрозы
В вашей злобе нет? [21]

«Итак,— подумал я,— и у него, великодушного поэта всеобщего братства, закипает в душе чувство мести! Значит, я не исключение. Мы все подвергаемся какой-то обработке в горниле. Хрупкие в нем треснут, крепкие закалятся, и их закаленная сила так или иначе проявит свое действие».

Затем моя мысль обратилась к отцу.

Отец, говорит Синегуб, хлопотал обо мне все время вместо того, чтобы ходить на бесполезные свидания. Это на него похоже! Но что же он теперь сделает, когда убедится при новом положении дела в абсолютной бесполезности всех своих градоначальнических и других связей, на которые он так полагался? Что он сделает, когда увидит, что хранители существующего строя ему ничего не преподнесли за его доверие к ним, кроме обмана? Просветят ли, наконец, они его, упорно не желающего видеть в них того, что ясно каждому: полного своекорыстия и готовности продать всю Россию ради своих личных выгод?..

А между тем, может быть, в этот самый момент отец уже просвещался, но только с совершенно другой стороны...

Я никогда не узнаю, кто первый обнаружил через сколько-то дней после моего нового заточения прореху в стуле моей спальни, вынул оттуда мое недописанное послание к Вере Фигнер со всеми моими жалобами на отцовское поведение и передал его отцу, а он, прочитав, узнал, что все его тайные переговоры с жандармами были мне тотчас же передаваемы ими целиком, и что его игра в прятки была просто наивна!

Я никогда не узнаю того подавляющего действия на гордость и на приподнятое самолюбие моего отца, которое должно было произвести это неосторожно прочитанное им письмо. Теперь мой отец давно умер, Мария Александровна умерла через несколько лет после него. А, кроме нее, никто не был свидетелем случившегося. Но даже и самому злейшему врагу я не желал бы быть в таком положении, как отец, и отчасти, как я! До сих пор у меня болит сердце, когда я вспоминаю об этом событии, хотя никогда ничего о нем не слыхал. Но я его живо представляю, потому что хорошо знаю характер своего отца.

Целый месяц я не имел об отце и о домашних никаких известий. Вдруг загремели замки моей камеры, и служитель сказал, отворив дверь:

— Пожалуйте на свидание!

У меня сильно забилось сердце, как бьется оно и у всякого одиночного заключенного, привыкшего к мысли, что каждый новый день ничем не должен отличаться для него от всех предыдущих.

— Куда? В окружной суд? — спросил я, помня, что отцу всегда давали исключительную привилегию видеться со мной не в общих железных клеточках, как виделись остальные заключенные, а в кабинете прокурора, в окружном суде.

— Нет! — ответил служитель,— в обычных помещениях.

«Значит, не отец! — подумал я.— Верно, кто-нибудь из моих друзей под видом родственницы».

Я спустился вниз и был проведен коридорами в полутемную комнату, где стояли плотным рядом десятка полтора шкафиков, напоминающих известные всякому домашние учреждения.

В одном из них дверь была приотворена, и меня пригласили в него войти. Там была деревянная скамеечка, на которую я сел. Дверь захлопнулась за мной и была заперта снаружи на задвижку. Передо мною было четырехугольное отверстие, заделанное железной сеткой. На расстоянии около аршина была вторая сетка, а между ними темное, наглухо заделанное пространство, за которым виднелась вторая половина той же самой комнаты, пересеченной пополам этими загородками.

Смутный гул человеческого говора доносился до меня справа и слева, показывая, что там идут свидания.

Передо мной никого не было. Я провел минуты две в томительном ожидании, и вдруг сердце мое томительно сжалось. Перед отверстием снаружи показалась фигура отца!

— Здесь? — спросил он провожавшего его жандармского офицера.

— Здесь,— ответил незнакомый мне голос.

— Ты здесь, Коля? — спросил отец тихим, сдержанным голосом, заглядывая ко мне в темноту.

— Здесь! — также тихо ответил я.

— Мать и сестры пишут из деревни. Все целуют тебя и очень огорчены твоим новым заключением. Я был везде, хлопотал, но создались такие обстоятельства, благодаря которым до суда нельзя ничего для тебя сделать.

«Он не нашел письма! — пришло мне в голову.— Буду надеяться, что и совсем не найдет или что Мария Александровна нашла и уничтожила его. Он внутренне взволнован, это слышно по голосу, но только от сознания, что сам вызвал мой новый арест своим спешным заявлением градоначальнику о моем исчезновении в первый день».

— Тебе не надо ли чего-нибудь? — также тихо спросил отец.

— Нет, ничего! Только прошу передать мамаше и всем родным мой сердечный привет.

— Ты не имеешь чего-нибудь сказать мне? — спросил он снова после некоторого молчания таким же сдержанным, но несколько изменившимся голосом.

Я сразу насторожился, почувствовав в его словах какое-то особое значение.

Если бы я знал, что он уже нашел и прочел письмо, то я тут же попросил бы у него прощения. Я сказал бы, хотя и писал в нем только то, что мне передали жандармы, и писал это лишь моему лучшему другу, от которого не хочу иметь никаких личных тайн, но я давно понял, что не должен был этого делать, не переговорив сначала с ним откровенно обо всем, и что в письме я не приписывал ему никаких других дурных побуждений, кроме панической трусости всех наших отцов, а не одного его, перед правительством.

Но как я мог говорить ему это, имея больше шансов на то, что письмо не найдено или, если найдено, то уничтожено Марией Александровной?

Ведь даже намекнуть на возможность такой находки значило бы вызвать специальные поиски и, как их результат, открытие того, что я хотел во что бы то ни стало скрыть!

— Ничего! — ответил я ему на его вопрос. Да и что другое мог бы я сказать, боясь прежде всего причинить тяжелое горе ему самому?

— Тогда прощай! — сказал отец.

— Прощайте! — ответил я, так как в нашей семье, по-старомодному, дети говорили родителям «вы».

Отец медленно пошел от моего окна и скрылся из моего поля зрения. Через две минуты сторож пришел за мной и отвел меня обратно в камеру.

«Отец все знает! — назойливо вертелось у меня в голове, когда я остался один.— Не написать ли мне ему? Но как же писать об этом через жандармов? А вдруг ему просто тяжело было видеться со мной, как со зверем в клетке, и он только потому поспешил скорее уйти? Ведь последний его вопрос был самый обыкновенный, и я только потому заподозрил в нем особенный смысл, что отец выговорил его с большим трудом. Что же мне делать?»

Я быстро ходил взад и вперед по комнате, и внутренний голос говорил мне:

«Если ты действительно обрек себя на гибель за свободу, то не восстанавливай сам порвавшуюся нить между тобой и семьей: без нее им будет легче узнать о твоей смерти, когда наступит время! Родные не будут вновь после суда над тобою бессильно оттягивать тебя от той дороги, на которую окончательно хочет направить тебя абсолютизм.

Если же ты отцу напишешь, то после суда вновь начнется тяжелое передергивание тебя туда и сюда, и будет опять для всех только мученье.

Да и что ты сделал? Ты только пожаловался верному другу на поступки с тобой отца, которые ты изобразил, хотя и резко, но правильно. Отец нашел и прочел все без твоего разрешения, и ему стало больно.

Теперь тебе жалко его, но ни в одной своей строке ты не находишь ни преувеличения, ни неправды. Поставь же и эту тяжелую драму в счет твоим врагам, когда им будешь мстить за все».

«Да, я поставлю им в счет и это!» — решил я мысленно, и мне стало легче.

«Если до меня дойдет какое-либо положительное известие, что отец прочел письмо, я тотчас же напишу ему свое огорчение, а пока есть хоть тень надежды, что ничего подобного нет, я не сделаю вслепую ни одного шага!»

А между тем мое инстинктивное чувство не обмануло меня.

Чтобы не возвращаться в будущем к этой особенно тяжелой странице моей жизни, я теперь же закончу все, что еще осталось мне досказать об отце.

Он более ко мне не являлся и не был на моем суде, считая, что я сам разорвал все отношения с семьей, не извинившись перед ним на последнем свидании.

Затем, при моем новом заточении, уже после моей деятельности в «Народной воле», когда меня через пять лет после всего вышесказанного сенат приготовлялся заточить на всю жизнь в Шлиссельбургской крепости, мой защитник, перелистывая документы по моему делу, нашел один, из которого было видно, что меня тогда тайно показывали отцу в Третьем отделении. Отец, наученный прежним горьким опытом, дал показание, что предъявленная ему через дырку в стене особа не похожа на меня. Это меня сильно растрогало и я попросил защитника после произнесения надо мною приговора побывать у отца и попросить у него перед вечной разлукой прощения за невольно причиненное ему огорчение.

Отец сейчас же добился через министра юстиции свидания со мной уже после произнесения надо мною приговора, когда нам никаких свиданий не полагалось, и получил целых два.

И мы с ним примирились на этих свиданиях. Мы оба чувствовали себя виновными друг перед другом.

Министр внутренних дел, кажется Игнатьев, сказал ему, что в настоящее время, когда еще свежо воспоминание о насильственной смерти Александра II, для меня ничего нельзя сделать; что, хотя я и не принимал в событии 1-го марта непосредственного участия, но меня все-таки посадят на полгода в самые тяжелые условия в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.

— Но ты не падай духом,— сказал мне отец.— Через полгода министр обещал мне перевести тебя в Сибирь, где тебе будет устроена довольно свободная жизнь, а затем постепенно возвратят тебя и в Россию.

Отец и тогда, по-видимому, искренно верил еще обещаниям министров или делал вид, что верит. Но прежде чем истекло указанное ему полугодие, министром внутренних дел был назначен известный своей жестокостью граф Дмитрий Толстой, который и заявил отцу, что не считает себя обязанным исполнять обещание своего предшественника и что отец отныне должен считать меня умершим [22].

Что должен был почувствовать после этого отец, не имея даже возможности сообщить мне, что его обманули и что он не лгал, когда обнадеживал меня на последнем свидании и говорил мне с такой абсолютной уверенностью в несомненности своих слов об отправке меня через полгода в Сибирь, как если бы она была уже предоставлена ему самому?

Не от этого ли нового унижения за свое доверие к самодержавной администрации он впал в мрачную меланхолию, пристрастился к неосторожной биржевой игре, в которой потерял все свои капиталы, оставшиеся свободными от бездоходных предметов искусства, наполнявших по-прежнему наш дом, и потом умер медленной и мучительной смертью от паралича спинного мозга?

Все эти свои тайны он унес в могилу, и я о них никогда не узнаю. Но я рад тому, что мы расстались с ним перед вечной разлукой примиренными друг с другом.

XI. Перед грозой[23]

1. Не то, так другое!

— Просись в один из освободившихся номеров в четвертой галерее, где я сижу,— простучал мне Синегуб, мой нижний сосед по пребыванию в Доме предварительного заключения, куда меня на двадцать первом году жизни посадили во второй раз после непродолжительной жизни на поруках у отца.

— Зачем? — с удивлением спросил я его.

— Надзиратель у нас отчасти из сочувствия, а отчасти изза денег начал передавать контрабандой не только мелкие записочки, но и целые рукописи. Тебя настоятельно просят с воли перейти сюда.

— Мне грустно расставаться с тобой,— ответил я.— Нас могут посадить далеко друг от друга.

— Это ничего! — сказал он в утешение.— Мы будем постоянно переписываться через этого же самого надзирателя.

В тот же день я подал заявление управляющему Домом предварительного заключения, что в моем угловом номере холодно, темно и сыро. Это была совершенная правда, и я сидел в нем только потому, что без особенно уважительной причины не желал обращаться к начальству ни с какими просьбами. Но теперь уважительная причина была, и потому я просил перевести меня в указанный Синегубом номер.

Через два дня моя единственная за все время просьба была исполнена, и я тотчас же вступил в непосредственную тайную переписку с моим другом Кравчинским, находившимся на свободе, и с курсистками, носившими мне книги.

Почувствовав возможность передачи своих научных и литературных произведений на свободу и даже за границу для напечатания, я принялся сначала утилизировать время своего вынужденного бездействия, чтобы усердно разрабатывать вопросы экономической и моральной жизни народов, над которыми я много думал ранее.

После своего первого годичного заточения, перед отдачей меня на поруки отцу, я передал курсисткам, приносившим мне с воли книги, целую кучу своих тетрадей. Другую часть набросков, вынесенную из темницы лично, я оставил в доме моего отца.

Теперь я не просил его о возвращении их мне по двум причинам, из которых каждой в отдельности было бы совершенно достаточно.

Первая причина заключалась в том, что я был не без основания взволнован при свидании с отцом, для того чтобы говорить ему о своих научных статьях, а вторая была — сознание, что он их уже сжег, немедленно, после того как нашел в моем письменном столе и увидел, что в них говорится о подозрительных для нашего правительства «социальных» вопросах (все равно, как бы они ни решались)! Ведь никаких подобных «иностранных» тем даже и разрабатывать не полагалось в богоспасаемой русской империи по твердому убеждению всех тогдашних наших администраторов.

И отец, имевший с ними непосредственные сношения, знал это лучше, чем кто-либо другой.

Значит, по его мнению, которое я мысленно читал теперь заочно у него в голове, надо скорее сжечь все рукописи по социальным вопросам, хотя бы в них и доказывалось, что равномерное распределение земель и капиталистических сооружений не может принести материальной выгоды крестьянам и рабочим.

Иначе обязательно попадешь в ссылку!

И вот, ничего не сказав отцу на свидании, я энергично принялся за восстановление уничтоженного им, продолжая то, что было отдано курсисткам на сохранение. С каждым днем я все сильнее и сильнее увлекался этим предметом и по нескольку часов в день даже забывал о своем одиночестве и неволе, обложенный в своей тесной, полутемной камере десятками книг, присланных мне друзьями с воли.

Я уже радовался скорому окончанию начерно своего давно начатого политико-экономического трактата, едва укладывавшегося в два тома, как вдруг получил записочку от Розы (одной из курсисток, носивших мне книги):

«Дорогой друг!

Прежде всего не беспокойтесь! Все обошлось благополучно, насколько было возможно.

У моих подруг, хранивших ваши тетради, вчера был произведен обыск. В самой середине ночи раздался сильный звонок в парадную дверь их общей квартиры.

Одна из них в темноте подбежала босая к двери и, приложив ухо к щелке, услышала там звук шпор. Она сейчас же бросилась в кухню, ясно понимая, что прежде всего надо позаботиться о вас и сжечь ваши тетради, чтобы вам не было из-за них неприятностей. Она все успела сжечь.

Ни одного листка не досталось жандармам, как бешено они ни звонили и ни толкали в двери, крепко запертые на крюк. Их впустили только, когда в печке остался один пепел. Двух ее подруг арестовали, три другие, в том числе и она, остались на свободе и сейчас же прибежали сказать мне, чтобы я вам передала все.

Если до вас дойдут известия помимо меня об этом обыске и аресте, то будьте совершенно спокойны: ничего вашего у них не отобрано. Они скорее умерли бы, чем отдали бы ваши тетради жандармам и этим причинили бы обыск у вас в камере и допросы вас о том, как вы их передали из заключения.

Итак, будьте спокойны на этот счет. Мы все посылаем вам сердечные приветы.

Ваша Роза».

Читатель может себе представить мое отчаяние! Итак, от упорных трудов в несколько месяцев моего первого заточения теперь осталась одна кучка пепла! Зачем же я продолжал их теперь здесь, зачем заканчивал эту большую работу!

Я печально взглянул на новую горку исписанных тетрадок, лежащую на стенной полке. Что они теперь?

«Это концы несуществующих начал! Они ни на что более не годны... Что же мне теперь делать? — думал я, бегая, как зверь в клетке, по своей камере, четыре шага вперед и четыре назад, с крутым поворотом в углу на каблуке.— Неужели опять восстанавливать начало, а эти концы послать другим друзьям для того, чтобы они и их сожгли, если не желают выдать меня Третьему отделению? Как хорошо сказала Роза: «не беспокойтесь»! Да! Верно! Зачем мне беспокоиться? Ведь мои друзья все успеют сжечь в решительную минуту, хотя бы жандармы их схватили за горло! Они все меня очень любят и не дадут в обиду!»

Так я иронизировал не над своими друзьями, никак не над этими самоотверженными, любящими душами! Я сам понимал, что им не оставалось другого выхода. Жандармы прежде всего задались бы вопросом не о том, каково содержание моих рукописей, а о том, как я мог передать их на волю из одиночного заключения?

Вышло бы целое новое дознание о «преступной передаче тетрадей» и ряд новых стеснений и неприятностей для меня и для всех моих товарищей по заточению.

Кроме того, было бы плохо для меня и с другой стороны. Найдя такую кучу моих писаний, «третьеотделенцы» получили бы обо мне высокое мнение, заподозрили бы во мне будущего серьезного деятеля.

Для пресечения этого в зародыше немедленно обеспечили бы для меня каторгу по суду или Восточную Сибирь административным порядком.

«Да! я должен теперь смеяться не над наивным, искренним письмом Розы, так характеризующим нашу современную действительность,— думал я,— а над всей русской жизнью, над всем русским обществом и более всего над теми помещиками и капиталистами, которые поддерживают у нас монархический строй!»

Чувство вражды ко всем, кто не идет против всевластного произвола, все сильнее и сильнее закипало в моей душе.

«Так пусть же,— говорил я, возбужденно бегая, как пойманный зверь, взад и вперед по своей клетке,— загорится зарево пожаров и над помещичьими усадьбами и над зданиями капиталистов!

Ведь они поддерживали моих врагов, врагов свободной науки и гражданской свободы, которая одна может обеспечить всему населению мирную дальнейшую эволюцию, так пусть же и платятся за это! Конечно, они глупы, они долго не поймут, в ком причина их бед, они будут винить в них нас и просить тех же самых своих драгоценных защитников о дальнейшей от нас защите, не видя, что именно они и вызывали все их беды, исказив своими гонениями нормальное и всестороннее развитие человеческой мысли в области общественных знаний, а вместе с тем и нормальное течение самой жизни! Но от глупости им не будет легче! Да, пусть загорится зарево пожаров!»

Так мало-помалу развивалось во мне чувство возмущения против существовавшего тогда самодержавного строя и отвлекало от спокойной и беспристрастной научной разработки общественных вопросов.

Я взглянул на кучку своих новых тетрадок, которые без предыдущих показались мне чем-то вроде крыш от зданий, снесенных неожиданным наводнением.

Фундаменты и стены их были уже разрушены, а крыши тут же выброшены на берег.

«Продолжать в моих условиях такой сизифов труд,— сказал я сам себе,— значит только развинчивать свои нервы постоянными крушениями сделанного мною. Невозможно работать над общественными и вообще научными вопросами в моих условиях. Надо все это оставить! Здесь передо мною толстая стена, которой мне, безоружному, не пробить своим лбом! Но что же мне

в таком случае делать? — Буду просто снова накоплять знания и вырабатывать новые идеи не на бумаге, которую можно сжечь или отобрать от меня при увозе в другое место заточения, а в своей собственной голове, в которой я, невидимо для своих врагов, вынесу все на волю контрабандой через их двери и запоры! Прежде всего пополню свое образование... Отец пренебрегал немецким языком, болтать на котором не принято в русском светском обществе, он не учил меня ему дома и отдал в гимназию с одним французским. А теперь я вижу, что немецкий не менее нужен, чем французский, даже более... А я его едва знаю».

Измученный от хождения, я сел перед своим железным прикованным к стене столиком на такой же железный стул своей камеры.

«Пришлите мне самоучитель немецкого языка,— написал я своим друзьям.— Я пробовал подучиться ему самостоятельно, когда еще был в гимназии, а теперь хочу выучиться серьезно».

И мои тайные корреспонденты тотчас же мне прислали учебник Больца, составленный по методу Робертсона, а я, по обыкновению бросив все остальное, принялся за него. Мне очень понравилась система Робертсона, снабжающая вас лишь самыми краткими грамматическими правилами. Она заставляет вас немедленно читать на изучаемом вами языке какой-нибудь занимательный рассказ, не утомляющий вас бесполезным копаньем в словаре. Робертсон тут же, на каждой странице, дает вам подстрочный перевод читаемого, и вы находите вверху урока все нужные слова с необходимыми объяснениями. А я еще более упростил этот способ, не вытверживая значения слов, а удовлетворяясь пониманием их смысла в самом тексте. Я переходил к чтению следующего урока сейчас же, как только был способен без запинок прочесть текст предыдущего и понимать его содержание, закрыв подстрочный перевод.

Так я проходил по пяти и даже десяти уроков в день, занимаясь часов по двенадцати в сутки. Через неделю учебник был уже закончен, и я сейчас же принялся за чтение на немецком языке сначала романов Шпильгагена, потом сказок Андерсена и романов Ауэрбаха. Словарем я почти не пользовался. Взяв роман, я вполголоса читал его от начала до конца, стараясь понимать лишь смысл прочитанного и догадываясь, по возможности, о значении неизвестных мне слов во фразах, прямо по смыслу уже известных.

Когда я кончил таким образом свой первый немецкий роман «Durch Nacht zum Licht» (Из мрака к свету) [24], который еще гимназистом читал в русском переводе и потом забыл, я только смутно понял его содержание в деталях и сейчас же начал читать

снова. При втором чтении я уже уяснил себе половину фраз, а при третьем — почти все.

Тогда я принялся за новый роман, и уже при втором чтении понял ясно во всех главных деталях. После этого я прочел по два раза еще романов десять. Я без труда узнал из них значение большинства немецких слов, и следующие романы, повести и сказки читал уже только по одному разу.

Так в один месяц упорного немецкого чтения по целым дням и совершенно исключив всякие другие занятия, я научился немецкому языку и в то же время доставил себе развлечение чтением его литературных произведений, интересовавших меня и своим содержанием. И как часто мне было жалко от души нашу молодежь, которую заставляют изучать языки зубристикой слов и целых больших грамматик, а не этим простым, легким и занимательным процессом прямого и чрезвычайно интересного чтения!

Еще легче научился я затем таким же способом английскому языку и даже настолько удовлетворительно усвоил (посредством придуманных мною звуковых аналогий) произношение незнакомых мне чисто английских звуков, указанное у Больца значками, что когда потом попал в Англию, то меня там все хорошо понимали, и мне понадобилось лишь отшлифовать свой говор.

Через две-три недели после того, как я в первый раз увидел английский учебник, я уже читал запоем романы лучших английских писателей на их родном языке и даже осилил затем и Вальтер Скотта и Макдональда с шотландскими выражениями, пестрящими у них, как украинские у Гоголя.

Потом я изучил тоже по Больцу и таким же способом итальянский язык и прочел на нем Сильвио Пелико, Манцони и ряд присылавшихся мне друзьями театральных либретто, так как других итальянских книг нигде тогда в России не оказалось.

Потом я принялся за испанский язык, считая его очень важным на случай путешествия в Центральную или Южную Америку. Но никакого учебника испанского языка на русском языке тогда не было. Мне достали его с большим трудом на французском. Но, выучив его, я прочел по-испански только Дон-Кихота, единственную испанскую книгу, нашедшуюся в России.

По французской пословице: L'appetit vient en mangeant (аппетит увеличивается по мере того, как едят), я захотел выучить также шведский и голландский языки, но сама русская действительность положила предел такому неумеренному продолжению моей лингвистической линии поведения. Мои друзья на воле не

могли раздобыть в России ни одного экземпляра учебников этих языков и ни одной шведской или голландской книги!

И это было к счастью для меня, так как я только даром потерял бы время. Для поддержания знания какого-либо языка, даже своего родного, нужно время от времени иметь практику на нем. Иначе его слова начнут одно за другим забываться вами. Правда, забвение никогда не окажется полным. Отголоски забытых слов навсегда останутся у вас где-то в глубине бессознательного, и, начав вновь систематически читать на забытом языке, вы легко припомните его стушевавшиеся слова, как я много раз замечал на себе самом.

Но все же для неспециалиста в лингвистике совершенно невозможно поддерживать в себе постоянное знание более чем трех иностранных языков, и потому для русского обывателя волей-неволей приходится ограничиваться лишь английским, немецким и французским, как обладающими самой богатой научной и изящной литературой.

Впоследствии мне пришлось совершенно запустить все редкие, когда-то изученные мною в темнице, языки, в том числе и польский, выученный позднее, и сохранить способность к чтению без словаря лишь на упомянутых трех благодаря тому, что я прочел за свою жизнь на каждом из них не менее нескольких сот томов беллетристики, не говоря уже о мелких статьях в научных и литературных журналах, которые приходится читать на них и теперь.

Стремительное увлечение языками продолжалось у меня более полугода. Я ничем другим не занимался в то время. Но так как от вечного сидения и читанья у меня уставала и болела грудь, то я освободил свои вечера для того, чтобы ходить по крайней мере два часа перед сном взад и вперед по камере. Непроизвольно я начал составлять стихотворение. «Поэтическое вдохновение» раз нашло на меня и ранее этого, на свободе, в тот вечер, когда, весь увлеченный высокими общественными идеалами гражданской свободы, гражданского равенства и всеобщего братства людей, я, разыскиваемый полицией, пришел ночевать к своему другу Армфельдту и остался один в своей комнате. Потом и во время моего первого заключения (это было уже второе) я нацарапал два куплета на оштукатуренной стене моей камеры в Москве. Но то были лишь одиночные порывы, и мне, конечно, и в голову не приходило считать себя поэтом.

И вдруг в тихие, безмолвные, темничные вечера, после чтения иностранных романов, а иногда и по утрам, когда, проснувшись рано, я еще валялся на своей жесткой койке, поэтические образы стали слагаться у меня в рифмованные строфы. Я стал

записывать в особой тетрадке получавшиеся куплеты или отрывки, и, когда потом, через день или два, перечитывал их снова, в моей голове слагались их продолжения, и в результате появилось несколько вполне законченных лирических стихов, а из куплетов, написанных на стене московской темницы, выросла целая поэма «Виденья в темнице».

Это было то самое стихотворение, за которое я главным образом сижу теперь в Двинской крепости и пишу эти повести о былой моей жизни.

Создавая тогда свою первую поэму, я даже и не мечтал, что она так отзовется впоследствии на моей судьбе, и, записав ее в тетрадку, оставил лежать до поры до времени. Мне было очень стыдно сказать кому-нибудь из товарищей по заточению или на свободе, что я тоже пишу стихи. Я привык смотреть на поэзию, как на высший род литературы, доступный только избранным душам, на которых находит «вдохновение».

И лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел! [25]

— звучали во мне стихи Пушкина, и вдруг я,— ничем не замечательный человек,— предъявляю претензию на то же самое! Мне это казалось таким самомненьем, с которым ничто сравняться не может.

Я долго таил от всех свои поэтические произведения, но желание узнать, могу ли я действительно писать хорошие стихи, пересилило, наконец, мою застенчивость.

Как раз в это время в нашей внутренней жизни произошла огромная перемена. До сих пор мы были обречены на абсолютное безмолвие и добились только возможности перестукиваться, а теперь мы вдруг заговорили друг с другом своим настоящим голосом, несмотря на все ухищрения властей сделать нас немыми.

Открыл такую возможность не я, а двое моих товарищей по заточению. Без сомнения, им было особенно мучительно бесконечное молчание, потому что их способ нарушить его оказался поистине героическим.

Дело в том, что наши камеры заключали в себе все необходимое для физиологической деятельности человека. Это было устроено здесь не для удобства заточенных, а для того, чтобы, раз заперев их на замок, не нужно было выпускать их более в коридор и даже входить к ним.

С такой целью в углу каждой камеры была вделана в пол труба вроде граммофонной, но шире. Нижний, более узкий, ее конец входил в стену и поднимался там немного для того, чтобы вода, впущенная в него из промывного крана в стене, под окном, после того как в граммофон попали отбросы пищи и все человеческое, застаивалась бы в изгибе и таким образом герметически закрывала бы собою его нижнее отверстие, открывающееся в сточную трубу, идущую в стене здания вертикально через все шесть его этажей.

Очевидно, что к каждой такой стенной трубе прилегали одна над другой по шести камер с правой стороны и по шести с левой, всего двенадцать камер, и что отверстия их оригинальных граммофонов входили в нее.

А трубы, как известно, прекрасно проводят звук. Потому и через наши сточные можно было бы говорить из всех примыкающих к ним камер, если бы не мешали этому самовозобновляющиеся в их изгибах водные затворы.

И вот, как я уже упомянул, двое из находящихся выше меня товарищей, чувствуя, что готовы сойти с ума от дальнейшего безмолвия, сговорились стуком через разделяющую их стену одновременно выплескать руками застаивающуюся в их граммофонах воду и, сделав это, убедились, что могут прекрасно разговаривать через них даже вполголоса.

Немедленно были даны сигналы о таком удивительном открытии всем остальным заточенным, и на другой же день, несмотря на отвращение выплескивать голой рукой воду из таких мерзких труб, почти все начали разговаривать через них. Соседи позвали сейчас же и меня, рассказав мне стуком, что и как надо сделать.

Я тотчас выплескал воду. Отвратительный воздух повеял на меня из граммофона, и в нем послышался шум голосов.

— Слышите? — спрашивало меня оттуда сразу несколько человек.

— Слышу! — крикнул я.— Только дайте мне сначала вымыть руку!

Я бросился к умывальнику и скорее вымыл с мылом руки, закрыв свой прочищенный граммофон его железной крышкой, чтобы помешать дальнейшему распространению в моей камере едкой вони.

Потом я сел на пол и открыл крышку.

— Слышите? — спросил я.

— Слышим,— отвечали мои товарищи.

Их было там пять человек, так как камеры для политических в Доме предварительного заключения чередовались с

камерами для уголовных. Каждый из нас сидел обязательно между двумя уголовными, подобно Христу, распятому когда-то между разбойниками.

Но уголовные не перестукивались, они все сидели робко и смирно, и мы, конечно, не пригласили их в свои «клубы», как после этого стали называться сточные трубы Дома предварительного заключения.

С первого раза мне показался совершенно невозможным подобный способ сношений, наполнявший зловонием наши камеры. Но и на следующий день я опять пошел туда, так как размышление за ночь убедило меня, что это — единственный способ спасти от сумасшествия тех, кто не в силах был, подобно мне, заниматься по целым дням. Ведь многие из нас, как обнаружилось при первом же нашем «заседании», уже потеряли от двухлетнего безмолвия способность связной речи и забывали при разговоре самые обычные слова.

Так пришлось и мне обязательно просиживать перед вонючей трубой около двух часов в день, когда наступало время так называемых «общих собраний клуба». Многие честным образом сидели тут, чтоб избавиться от тоски, по девяти часов и даже читали вслух друг другу книги. Не прошло и двух недель нашей граммофонной практики, как уже обнаружилось ее благодетельное влияние на психику наиболее угнетенных духом. Они перестали путаться в словах и начали даже смеяться нашим шуткам, на которые ранее отвечали лишь угрюмым молчанием.

Встревожившееся начальство, забегавшее по коридорам в первый день нашего всеобщего открытия клубов, грозило карцерами за их продолжение, но ничего не могло сделать, так как нас было тогда более трехсот человек, а карцеров не более тридцати, и потому на нас через два-три дня совсем махнули рукой.

— Говорите,— сказал кому-то помощник управляющего,— сколько угодно, но только не в присутствии властей!

И вот, в этой-то непоэтической трубе и прозвучали впервые мои первые поэтические опыты вслед за лучшими произведениями Лермонтова, Некрасова, Пушкина и других! Печальна твоя участь, русская поэзия! Но что мы могли поделать? Вечно одинокие, без всяких впечатлений извне, мы должны были придумывать всякие темы для поддержания наших разговоров, так как молча сидеть перед сточной стенной трубой, конечно, не было никакого смысла.

— Давайте вспоминать стихотворения,— сказал сверху один из моих товарищей, Лермонтов (умерший потом в заточении), как только после нескольких дней все было пересказано нами о себе и разговор стал часто замирать.

— Давайте! — послышались голоса.— Пусть каждый продекламирует стихотворение, которое ему особенно нравится!

И вот дошла очередь до меня.

— Я вам прочту большое стихотворение Огарева! — сказал я, зная, что русские издания его стихотворений были запрещены и потому мне легко выдать свои собственные стихи за неизвестные в России его произведения.

— Прочти! — послышались голоса из трубы.— Из Огарева мы почти ничего не знаем.

У меня захватило дух. Что-то они скажут? Вдруг при первых же куплетах заявят, что я их обманываю, что такие плохие стихи не могут быть огаревскими? Чувствуя, что собьюсь от волнения, если буду говорить наизусть, я взял свою тетрадку и, набрав побольше затхлого воздуха в легкие, начал читать свои «Виденья в темнице», переделанные потом в «Венецианского узника».

Никто меня не перебил, никто не кашлянул до самого конца. Я кончил, все молчали.

— Дай, пожалуйста, списать! — раздался, наконец, один голос.

— И мне! И мне! — зазвучали другие.— Продиктуй сегодня же. Их надо поскорее выучить наизусть.

Они ответили такими похвалами, что мне теперь стыдно их повторить, но я могу легко объяснить их. Дело в том, что я описал в своих стихах то, что переживал в тех же условиях, как и они, и потому их души были особенно отзывчивы на мои произведения. Да это и понятно. Никто, не бывший в одиночном заключении, несмотря на огромный талант, не может описать его настроений так правдиво, как описал бы их человек, не лишенный литературных способностей, после достаточного времени томления в политической одиночной темнице.

— Но это не Огарева! — решился, наконец, я сказать.— Я вас обманул! Это мои собственные стихи!

— Не может быть! — загудели голоса.

— Мне и в голову не приходило, что ты можешь писать такие! — воскликнул Лермонтов.

— Но ты не шутишь? Действительно твои? — допрашивали меня скептики.

— Честное слово!

— Так продиктуй сейчас же! — сказал Павел Орлов.— Их надо немедленно послать Волховскому! Он собирает сборник стихотворений, написанных заключенными.

И вот я начал диктовать... Копии моих стихов были в тот же день посланы Волховскому и товарищам во все другие клубы, а через два дня переданы даже и на волю.

Появился новый неожиданный поэт! И все так искренно радовались моему успеху, и каждый так спешил сообщить всем эту приятную новость, как будто дело шло о нем самом!

Да, мы так любили тогда друг друга, что успех товарища радовал нас не менее своего собственного, а малодушие кого-либо из нас удручало всех, как свое!

Волховский сейчас же присоединил мои стихи к собранной им коллекции и через несколько недель отослал за границу контрабандой для напечатания. Сборник вскоре вышел в свет в Женеве, в виде хорошенькой книжки под названием «Из-за решетки»[26]. А за мной с тех пор установилась в революционных кругах репутация поэта, доставлявшая мне в те юные годы чрезвычайно много счастья.

Это стихотворение было, кажется, самое большое мое литературное торжество: ведь оно было первое. Раньше я писал только прозой, да и то мало.

2. Как добывались нами льготы и сберегались жизни в темнице

А наше темничное прозябание между тем шло своим чередом и шло, по правде сказать, так нелепо, как могло быть только при режиме полной безгласности.

Я только что рассказал, как, борясь за сохранение своих умственных способностей от убийственного действия долгого молчания и изоляции, мы не только отвоевали себе возможность перестукиваться через стены наших камер и через железные калориферные трубы, проводившие звук через десятки камер, но и устроили везде ежедневные «клубы». Это всем было известно, а Третье отделение все еще желало считать нас абсолютно изолированными друг от друга, и потому наши прогулки были все еще обязательно одиночными. Уголовных выпускали партиями человек в двадцать пять гулять по всему двору, а нас выводили под особой стражей одного за другим минут на десять в то время, когда на дворе никого не было.

Понятно, что с накоплением сотен политических заключенных стало не хватать времени даже и для десятиминутных прогулок каждого. Нас стали водить через день, затем через два, потом через три на те же десять минут. Начались легочные и цинготные заболевания, и старший доктор написал бумагу о необходимости увеличения прогулок.

Кажется, можно было бы выпускать одновременно всех тех, кто и без того каждый день разговаривает друг с другом через

«граммофоны». Но это только по нашей, а не по административной логике тогдашнего самодержавия.

Начальство Дома предварительного заключения, снесясь с Третьим отделением, решило выстроить посреди нашего двора особое приспособление, тотчас же названное нами «колесом». Представьте себе, что на большом внутреннем дворе многоэтажного дома положили огромное колесо со спицами, каждая сажени на две длины, что на этих спицах, воздвигли высокие заборы, а на ободе колеса построили деревянные решетки, как в звериных клетках. Представьте себе, затем, что в середине, над втулкой колеса, сделали круглую башню, на которой ходят два надзирателя, и вы получите представление о поднесенном нам, в ответ на заявление врача, изобретенье.

Каждый из нас, политических, должен был гулять в особой клетке между спицами этого колеса, входя в него через двери в его втулке под башней. Туда вела узкая галерея, и двери клетки тотчас запирались за вошедшим в нее на прочные железные задвижки.

Понятно, что прогулки по такому звериному способу, да еще в колодцеобразном дворе Дома предварительного заключения, замкнутом со всех четырех сторон его высокими стенами, закрывавшими почти всегда солнце, представляли из себя немного привлекательного. На многих из нас эти прогулки производили до того угнетающее впечатление, что иные совсем перестали выходить из своих камер.

Желая поддержать их дух, мы, более здоровые, сговорились не гулять в клетках, а как только нас приведут туда в полном комплекте (кажется, по двенадцати человек), так сейчас же по сигналу кого-либо одного вскарабкаться на решетки наших клеток и, выскочив из них, продолжать прогулку вместе, не в колесе, а вокруг него. Первый опыт пришлось сделать сидевшим в верхней галерее, и они исполнили это очень дружно, как я сам видел из окна моей новой камеры, в которой были уже не матовые, а простые стекла.

— Куда вы! Куда вы! — кричали им сторожившие на вышке жандармы, и один из них бросился вызывать военный караул.

Прибежали солдаты с ружьями на перевес и, перегородив прогулку моим идущим толпою товарищам, оттеснили их обратно в двери тюрьмы, откуда они без сопротивления разошлись по своим камерам.

Я не могу здесь описать, с каким волнением смотрел я сверху из своего окна на эту сцену, опасаясь, что солдаты переколют их штыками! Мы все решили продолжать начатое нами дело, каковы бы ни были результаты первых попыток...

Но единственным результатом было прекращение для нас прогулок на весь этот день.

На следующий день в колесо вывели первыми заключенных из моего коридора, и в том числе меня. Солдаты с ружьями были уже наготове в нижнем коридоре, и нас демонстративно провели мимо них, желая подавляюще подействовать на наши нервы.

Несомненно, что действие было очень сильное, однако чувство товарищества оказалось в нас еще сильнее. Хотя каждый из нас вполне понимал, что в случае суровых инструкций, полученных свыше после экспромта в предыдущий день, нас не затруднятся поднять на штыки, но все же, едва раздались три звонких удара по решетке одного из верхних окон, где сидел наш сигнальщик, мы все, как один человек, вскарабкались вверх на заборы своих клеток.

Это было совсем не легко, особенно в первый раз. Ряд вертикальных, тонких столбов, составлявших ободочные решетки, был очень высок и скреплялся посредине только двумя горизонтальными бревнами. Вскочив ногами на нижнее горизонтальное бревно, я ухватился руками за верхнее и подтянул себя на него руками... Но из него, как колья, высовывались концы вертикальных палок и перелезть через них, не распоров своего живота, было трудно.

Вот почему и я, как все остальные, выбрал для перевала угол клетки, где я мог сесть вверху на сплошной забор, отделявший мою «прогулку» от соседей. Взобравшись, наконец, на нее, я увидел сразу всех своих товарищей, тоже сидящих верхами на заборах, как и я, или еще лезущих на него. Сторожившие нас на центральной башне два жандармских унтер-офицера пронзительно засвистали в приготовленные у них полицейские свистки, и из дверей тюрьмы к нам выбежал взвод солдат с ружьями.

Чтобы не быть застигнутыми на заборах, мы, как можно быстрее, окончили начатое нами, и благодаря своей поспешности почти все получили ссадины на руках и коленях, а мой сосед по клетке даже и совсем упал на землю. Я подбежал его поднять, другие товарищи присоединились к нам, и мы, хромая, пошли кругом нашего колеса к перегородившим нам дорогу солдатам, державшим штыки прямо против нас.

— Нельзя! — крикнул унтер-офицер, весь бледный.— Прикажу колоть! Идите домой!

Мы молча повернулись перед ними и пошли в свои камеры, говоря друг другу придуманные заранее на этот случай шутки и смеясь им заранее приготовленным веселым смехом. И я тоже

шутил всю дорогу до своей камеры, хотя в душе и было очень тревожно.

«Что теперь будет? — думал я.— Поведут ли на прогулку новых? Или и теперь нас оставят без прогулки на весь день, как вчера?»

Я влез на вделанную под окном моей камеры железную раковину умывальника, с которой мне только и можно было видеть через окно, помещенное у самого потолка, почти все колесо нашей прогулки. Вот вывели в его клетки одного из товарищей, вот другого, вот третьего... Колесо вновь было полно, а солдаты вновь были уведены со двора в коридор, чтобы пропустить мимо них и эту партию. Из нашего «клуба», который, понятно, был открыт с самого утра, как и все другие, чтобы сейчас же сообщать всем товарищам, что случилось с каждым из нас, мне крикнули:

— Давай сигнал!

Я протянул руку к решетке через верхнюю часть железной рамы, открывавшейся, как форточка, и дал три условленных удара. В тот же миг в колесе повторилась вся сцена, которую несколько минут проделывали мы сами. Все выскочили из него на двор и пошли кругом. Вызванные свистками солдаты вновь оттеснили их в коридор. Соскочив с окна и приложив ухо к краю своей двери, где была едва заметная щель между нею и косяком, я слышал, как и они, тоже смеясь для соблюдения внешности, расходились по своим камерам.

Прогулки были снова прекращены. Надолго ли? Что-то будет! Мы решили весь день до вечера не закрывать своих граммофонов, чтобы сообщать сейчас же друг другу обо всем, что произойдет.

Прошло два часа, и ничего не было. Потом в коридоре раздались звуки отпираемых дверей.

— Начальство ходит по камерам! — предупредил меня один из товарищей.

С замиранием сердца я ждал своей очереди и приготовился отвечать спокойно и твердо. Я хотел сказать, что двухлетняя полная изолированность и безмолвие уже свели с ума многих моих товарищей по заточению и почти одно спасение для них от окончательной гибели — это возможность говорить по временам, и потому я, хотя и не желаю делать неприятностей начальству, буду скакать через решетки каждый раз, как меня выведут.

Однако, к удивлению, мою дверь обошли. Подходя к ней, начальствующие лица остановились, что-то поговорили обо мне друг с другом и пошли далее, к следующему соседу.

Я подбежал к своему граммофону и сказал в него:

— Сейчас прошли мимо моей двери! Поговорили за нею и не зашли!

— Почему?

— Не знаю!

Начальство тем временем поднялось в верхнюю галерею и зашло к нашему «соклубнику» Грачевскому, который тотчас же при входе прикрыл для приличия крышкой свой граммофон, и мы слышали только гул голосов в его камере, не будучи в состоянии ничего разобрать.

Но вот хлопнула дверь его камеры, загремели ее запоры, и через минуту звякнула крышка его граммофона.

— Все тут? — долетел до нас его нервно прерывающийся голос.

— Все,— ответили мы.

— Ну и была же баня! — сказал он, переводя дыхание от сдерживаемого волнения.

— Что такое?

— Я им сказал так, как мы все сговорились. А они заявили, что с завтрашнего дня им приказано пустить в ход и штыки и карцеры...

— Что же нам делать? — тревожно спросил один.

— Тем, кто стоял за прыганье, надо по-прежнему прыгать,— заявил Орлов.— А тем, которые присоединились только для того, чтоб поддержать товарищей, лучше всего совсем не выходить завтра на прогулку.

И вот, когда на следующий день я и мои товарищи по коридору первыми пошли в колесо, мы тотчас перескочили через него и с волнением пошли кругом, ожидая появления солдат нам навстречу, колотья штыками и карцеров.

Но никто не явился.

Жандармы на вышке не свистали в свои свистки и не бежали в коридор за солдатами. Нам предоставили гулять вместе по двору вне клеток положенное число минут, а затем увели и заперли по камерам, как ни в чем ни бывало, а в клетки ввели новую партию, которая сделала то же самое.

— Победа! — провозгласил Павел Орлов в нашем клубе.

— Но почему же они все-таки запирают в клетках каждую новую партию?

— А для гимнастики! — пошутил Орлов,— чтобы приучить нас хорошо скакать через заборы на случай, если захотим бежать при отправке нас в Сибирь по этапам!

И мы действительно скакали ежедневно недели две или три и в конце концов даже научились прыгать с большим изящест-

вом, устраивая наверху всякие гимнастические фокусы. Однако нашим разводящим это, наконец, надоело, и, выводя каждого из нас по одиночке на двор, они перестали запирать нас в клетки, предоставляя уходить через двери. Гимнастика кончилась. А потом нас стали выпускать и прямо на двор, чтоб не утомлять ноги провожающих нас тюремщиков напрасным хождением.

К нашему удивлению, никого из нас не посадили даже в карцер... Может быть, это было потому, что большинство из нас уже числилось не за охранкой, а «за следователем».

3. *Звездное знамя*

Прошла весна, прошло все лето, и наступила осень, не принеся в нашу жизнь никаких перемен.

Благодаря тому, что мы гуляли всегда теми же самыми партиями, по группам, у нас не вышло всеобщего знакомства, и разговоры скоро стали вялы. Чтобы еще более облегчить наши сношения, был придуман такой способ.

Все одиночные камеры Дома предварительного заключения выходят своими окнами на большой четырехугольный двор, так что из каждого окна видны камеры его противоположной и боковой сторон. Еще в самом начале лета, вскоре после того, как мы добились наших общих прогулок, я и один из товарищей, Куприянов, сидевший так, что наши окна были видны друг другу, сговорились снять с петель железные двойные рамы наших окон. Для этого, как оказалось, нужно было только взлезть гимнастическим способом под потолок на косой подоконник, протянуть через верх рамы в форточку руку и снять там железную цепь, прикреплявшую раму к среднему стержню заоконной наружной решетки. Это было довольно трудно сделать, не упав с высокого окна и не разбив себе головы валящейся на нее отцепляемой железной рамой. Но мы все же сделали опыт успешно и, сняв рамы, начали разговаривать друг с другом поперек двора.

Через полчаса ко мне нагрянуло начальство.

— Невозможно снимать рамы! — сказал мне помощник управляющего.

— Наоборот! — ответил я, делая вид, что не понимаю смысла его слов.— Рамы очень легко снимаются. Стоит только отстегнуть наружную цепь.

Он не выдержал и расхохотался.

— Да вы же понимаете, что я говорю не об этой невозможности!

— А в таком случае, зачем же рамы сделаны так, что их можно снять? Притом же вы сами видите, что в камере душно, и для здоровья необходимо впустить немного свежего воздуха.

— Нет, нет! Закройте! — сказал он и, смеясь, ушел.

Я понял, что дело выиграно. Наше двухлетнее томление в одиночестве за простые убеждения начало трогать не только общество, но через него и самих наших сторожей. Только верхнее правительство, да те, кто делал на наших губимых жизнях свою карьеру, были еще совершенно глухи к происшедшей перемене во взглядах культурных слоев на наши цели и стремления.

Помощник начальника пошел затем и к Куприянову, тоже, как я, одному из самых младших заключенных, умершему потом в Петропавловской крепости, и, предложив ему обратно вставить раму, ушел.

Ни я, ни Куприянов, конечно, не вставили своих рам, а потому через несколько часов, узнав от нас результаты переговоров, начали отцеплять рамы и другие и сделали это довольно благополучно, за исключением одного, который сорвался с окна и получил удар падавшей над ним рамой прямо в голову. Однако, к его счастью, о его темя ударился не ее железный переплет, который пробил бы ему череп, а стекло рамы, которое разбилось на его голове, а сама рама повисла на его шее, как ожерелье.

Мы стали, наконец, дышать более чистым воздухом, и теперь, благодаря общим прогулкам и разговорам через окна, наши вонючие «клубы» стали открываться реже.

Я не могу припомнить за этот год никаких других особых событий в нашей жизни, на которых стоило бы остановить внимание читателя, за исключением одного, которое меня до сих пор очень трогает. Наступала столетняя годовщина возникновения великой заатлантической республики. Там, далеко за океаном, готовились торжественно праздновать первый день начала гражданской свободы Нового Света.

Иллюстрированные американские журналы, которые мы получили контрабандой, были полны приближающимся торжеством, и республиканские партии других стран посылали за океан свои приветствия.

«Неужели в России никто не откликнется на это мировое торжество? — думалось мне и моим друзьям.— Если на воле никто не хочет или не смеет, то откликнемся мы здесь, в заточении!»

И мы откликнулись...

Узнали ли об этом тогда наши американские друзья? Я думаю, что никто не сообщил им о нашем привете в то время, потому что мы не могли телеграфировать о нем сами, а наши

друзья боялись, чтобы не повредить нам. Так сообщу же я о нем теперь, хоть и с запозданием на тридцать с лишком лет!

Да! Так долго идут известия из наших политических тюрем! С луны или на луну было бы много скорее!

Желая чем-нибудь проявить наше сочувствие к американской республике, мы заказали через начальство купить нам двести больших листов синей бумаги, объяснив, что это нужно для выклеиванья коробочек, как камерного ремесла.

Когда нам доставили бумагу, мы разделили ее между собою, вырезали из обыкновенной писчей бумаги белые звезды и, наклеив их на синие листы, сделали себе таким образом по звездному знамени.

И вот, когда наступил день американской свободы, из всех закованных железными решетками окон огромной темницы русских политических узников, из всех их камер, расположенных тесно, как пчелиные соты, заколыхались по ветру звездные республиканские знамена великой федерации Нового Света!

Когда я выглянул в окно, вывесив свое знамя за решетку, мне показалось, что наша тюрьма нарядилась, как на свадьбу,— так это было красиво!

Но торжество наше, понятно, продолжалось недолго. Через полчаса я услышал, как один за другим громыхают замки наших дверей, и в них появляется начальство. Вот загремел и мой замок, и сердце мое невольно забилось.

«Что они сделают?»

— Зачем это вы вывесили? — сказал начальник тюрьмы, вошедший ко мне в сопровождении целой свиты.

— Разве вы еще не знаете? — ответил я.— Сегодня минуло сто лет американской свободы!

— Снимите! — сказал он, обращаясь к служащему.

Тот влез на захваченный им с собой табурет, сорвал с железной решетки американское знамя, отдал его другому тюремщику, уже несшему на руке кучу таких же знамен, отобранных у моих предшественников, и вся свита, вежливо раскланявшись, удалилась.

Итак, мой привет Новому Свету и новой, свободной жизни был сорван администрацией. Выглянув в окно, я увидал, как постепенно срывались с решеток и остальные знамена, и тюремный двор принимал постепенно свой обычный вид...

Но на моей душе было так хорошо!

«Великая заатлантическая республика! — говорил во мне торжествующий голос.— Вот и из нашей России послан тебе привет!»

4. Из психологии одиночества

Самая страшная из всех медленно, но убийственно действующих пыток — это долгое заточение, это беспомощное состояние в руках ваших врагов!

У вас нет более собственной воли. Как лошадь в упряжи, вы каждую минуту исполняете лишь желание посторонних вам людей! В определенный час они подают вам вашу пищу, как конюх вносит лошади сено в ее стойло; в определенный час вас ведут на прогулку, как лошадь на водопой, а по временам вас вдруг отправят на допрос, опять как лошадь в более или менее длинную поездку.

Я не знаю, как чувствует себя лошадь в таком безвольном состоянии. Она по крайней мере инстинктивно понимает, что ею распоряжается несравненно более предусмотрительное, чем она, и расположенное к ней существо. А для политического заключенного, искавшего и ищущего обыкновенно самых высоких общественных и моральных идеалов своего времени, все это совершенно наоборот.

Когда меня судили в последний раз, уже в 1911 году, за стихи, один незнакомый, но благожелательный ко мне генерал, присутствовавший в публике, увидел в числе моих судей известного ему волостного старшину в качестве сословного представителя.

— Как,— воскликнул он вслух с негодованием,— и этот полуграмотный человек, не способный разобрать письмо, написанное беглым почерком, тоже призван судить русскую поэзию, литературу и науку!

Его непроизвольно вырвавшееся восклицание было вполне и даже в бесконечно большей степени приложимо и к нашему тогдашнему положению. В Доме предварительного заключения весь цвет и краса тогдашнего интеллигентного русского юношества, вся надежда России на лучшее будущее были в буквальном смысле отданы в упряжку тогдашним низкопоклонническим подонкам России для того, чтобы вывозить их на своей спине к новым орденам и высшим государственным должностям...

Одиночное заключение, как особый экзотический строй жизни, развивает особую экзотическую психологию, которую я и пытаюсь очертить здесь на своих собственных тогдашних мыслях и настроениях.

Я делаю это на анализе самого себя никак не потому, чтобы считал себя особенно важным или чем-либо исключительным, а наоборот, именно потому, что смотрю на себя как на наглядный образчик психологии всех остальных моих товарищей.

Наше прозябанье в полутьме, без солнечных лучей, без всяких ярких впечатлений было, как я уже сказал, мучительно своим однообразием и своей замкнутостью. Однако до нас долетали и отголоски внешней жизни, и одним из первых ударов отдаленного грома было восстание Боснии и Герцеговины против турецкого гнета. Известие о нем проникло к нам, конечно, контрабандным путем.

У всех нас появилось горячее сочувствие восставшим славянам.

Не будь мы в заточении, не менее половины из нас оказалось бы в их рядах. Я по крайней мере рвался всей душой туда, на Балканские горы, в начавшуюся там «борьбу за гражданскую свободу».

Туда уже поехал мой друг Кравчинский и многие из сочувствовавшей нам учащейся молодежи[27]. Но вот прошло несколько месяцев, и к нам пришло известие, что и наше правительство, под влиянием всеобщего общественного увлечения, официально вступилось за восставших.

Это нас совершенно ошеломило.

— Что такое случилось? — говорили мы друг другу.— Как могут заклятые враги гражданской свободы у себя дома защищать ее в других странах? Те же самые люди, которые мучат нас здесь за одни слова о ней, поддерживают в Турции восставших за нее с оружием в руках, т. е. много худших, по их мнению, чем мы? Весь наш маленький изолированный мирок был страшно взволнован.

5. Неожиданное посещенье

Турецкая война несколько отвлекла мои мысли от изучения математики, за которую я усердно принялся, после того как окончательно одолел иностранные языки и получил возможность читать на них книги без словаря и почти так же скоро, как и по-русски.

Я изучил в то время окончательно элементарную алгебру и геометрию и потом прочел по этим наукам с десяток русских и французских курсов.

На основании французской пословицы «qui n'a pas vu qu'un monument, ne l'a pas vu» (кто видел только одно произведение искусства, тот его не видал) я сделал и дальнейший вывод: кто изучил по какой-либо науке только один учебник, тот этой науки не изучал.

И действительно, только прочитав ряд различных курсов, ознакомившись, так сказать, с основной литературой науки, я получил возможность критически отнестись к достоинствам и недостаткам различных имевшихся у меня специальных книг и выработать свои собственные математические воззрения, иногда не сходящиеся ни с одним из учебников в тех или иных деталях или даже в основных положениях.

Точно так же прошел я затем начертательную и аналитическую геометрию, сферическую и простую тригонометрию; но когда я взялся за курсы дифференциального и интегрального исчислений, то сразу увидел, что тогдашние учебники были совершенно невозможны для их изучения без постоянных пояснений человека, уже предварительно знающего предмет. Вот почему, ознакомившись лишь с основной частью этого великого метода, я должен был совершенно отказаться от изучения его деталей до более благоприятных времен, так как среди тогдашних товарищей не было никого, знакомого с высшим математическим анализом, да и видеться ни с кем иначе как на получасовых прогулках я не мог. Лишь через много лет, уже в Шлиссельбургской крепости, удалось мне вместе с одним товарищем по заточению, Манучаровым, обладавшим поразительной математической виртуозностью, окончательно одолеть этот предмет и даже написать простой и наглядный самоучитель высшего анализа с целью ознакомить с ним остальных моих товарищей по Шлиссельбургу *.

Вполне возможно, что при очень усиленных занятиях и энергичном усилии воли и ума я одолел бы высшую математику и по тогдашним ее возмутительным по своей сухости и бесталанности специальным курсам, но сильная болезнь на несколько недель бросила меня в постель и заставила затем пробыть месяца три в тюремном лазарете.

От вялости и однообразия темничной жизни и недостатка впечатлений почти у всех заключенных развивается через несколько месяцев хроническая вялость пищеварения. Попадая в желудок, тюремный обед так и остается там непереваренным до самого ужина, вытесняющего его механически, а ужин остается почти неприкосновенным до утра.

Развилась эта вялость желудка и у меня, особенно благодаря моим ежедневным занятиям науками, а я все-таки продолжал заниматься, не обращая на нее никакого внимания.

* Функция. Наглядное изложение высшего математического анализа и некоторых приложений его к естествознанию. Изд. «Сотрудника», Киев, 1911.— *Н. М.*

Я получил, наконец, воспаление двенадцатиперстной кишки и желчных протоков, с разными осложнениями, бросившими меня сначала в страшный жар, а потом, через три дня, сделавшими всю мою кожу желтой, как лимон. Приглашенный ко мне старший врач Дома предварительного заключения, доктор Гарфинкель, сейчас же перевел меня в лазарет, состоявший из десятка таких же, как и моя, одиночных камер, отделенных от остальной темницы перегородкой.

Я кое-как дотащился до лазарета, и меня уложили на койку, совершенно обессилевшего.

— Внимательно следите через каждые два часа за его температурой,— сказал Гарфинкель фельдшеру,— и давайте ему мою микстуру, в зависимости от степени жара, по две и по три ложки через час.

Затем все ушли, дверь заперлась за ними, и я снова остался в одиночестве, в сильном жару, почти не способный перевернуться на другой бок от сильных болей во всех внутренностях.

«Неужели мне суждено умереть здесь, одиноким, неведомым, не выполнив ни одного из моих научных и общественных планов?» — Эта мысль сверлила мою голову и наполняла душу отчаяньем. Я старался себе представить, как через несколько дней, может быть, даже часов, я буду лежать мертвым. Придет сторож. Скажет: «Он уже окоченел!» Доктор составит свидетельство о моей смерти, и меня ночью вынесут на носилках и тайно похоронят где-то, в неизвестном месте, как хоронили до меня многих моих товарищей!

Мне было очень жалко себя, умирающего в самом начале жизни, не успевшего ничего сделать для людей.

В ушах звенело, в голове шумело, сердце билось часто, в висках словно стучал молоток. Резкая боль под грудью и в боках не давала мне лечь удобно.

Наступила бесконечно длинная, бессонная ночь. Нет ничего тяжелее, как умирать в одиночестве, без приветливого взгляда близкого человека, без слова участия. Ночь кажется вечной.

Я вспомнил свое детство. Вот встал передо мною образ матери в нашем имении. Когда-то она узнает о моей смерти? И отец тоже должен быть в деревне. Теперь уже середина лета. Он считает, что я отказался от него, презираю его. Не написать ли мне им всем последнее прости? Нет, подожду еще, напишу, когда не останется никакой надежды на выздоровление. Доктор ведь обещал мне сказать, когда надо будет писать родным. А здесь мои товарищи узнают скоро о моей смерти, и от них узнают друзья на воле. Они все будут очень меня жалеть. Мать тоже будет горько плакать. И отец, когда прочтет мое

прощальное письмо, тоже пожалеет, что не пришел ко мне второй раз. Будет горевать и Кравчинский, когда получит от меня последние приветственные строки... Затем пройдет несколько лет, и никто на свете не будет более вспоминать обо мне. Разве только раз или два в год при каком-нибудь напоминающем случае. Но тогда уже будут говорить обо мне как о давно минувшем человеке, без сожаления... как о пролетевшем когда-то облаке,— пришло мне в голову. Потом, после некоторого времени полузабытья в голове стали слагаться рифмы:

Сгинули силы...
Тускло сияние дня...
Холод могилы
Обнял, как саван, меня!
Те же все стены...
Тяжесть тупая в уме...
Нет перемены!
Глухо и душно в тюрьме.

Я не мог записать эти строки, потому что не нашел рядом с собой карандаша и бумаги, но они назойливо повторялись в моем уме, как бесконечный ремень на блоке, и служили почти всю ночь аккомпанементом к звону и шуму в моих ушах, к болезненным пульсациям в груди и мозгу и к беспорядочным, полубредовым мыслям и картинам в воображении.

Так продолжалось дней пять. К предыдущим строкам присоединились еще последние:

Чаша все ближе...
Мало осталось пути...
Благослови же,
Родина-мать, и прости!

Я каждый день спрашивал приходящего врача:

— Доктор, еще не умру сегодня? Не надо ли писать письмо?

— Нет! — говорил он, приветливо улыбаясь.— Когда будет нужно, я скажу. А пока я надеюсь на выздоровление.

Наконец, через неделю, когда я от слабости и долгих мучений не мог почти шевелиться, он сказал:

— Кризис прошел, вы теперь начнете поправляться.

И действительно, очень медленно, едва заметно, начали утихать с каждым днем мои боли. Я стал спокойнее спать, а недели через две мне разрешили даже сидеть в жестких подушках на моей постели и читать романы.

И вот в один из таких дней, когда мне уже было разрешено вставать, вдруг отворилась дверь моей камеры и дежурный тю-

ремщик впустил ко мне трех посетительниц — первых и последних в три года моего тогдашнего заключения.

— Здравствуй, Николай! — сказала одна из них своим приветливым грудным голосом.

Я взглянул и не верил своим глазам: передо мною стояла Вера Фигнер! А вместе с нею были Корнилова и Ивановская. Они все расцеловали меня.

— Как ты попала сюда? — спросил я тихо Веру, когда дежурный тюремщик притворил двери моей камеры, и я услышал его уходящие шаги.— Мне писали, что тебя разыскивает полиция, чтобы посадить в этот самый дом.

— Да! — ответила она, смеясь.— Но на свидание в лазарет по четвергам ходят всегда не менее как человек по десяти, а прокурорские пропуска сюда отбирает в воротах вашего двора сторож. Вся толпа спеша подает их ему через головы друг друга, и среди них я проскользнула незамеченной, без пропуска.

— Но вдруг тебя заметили? Ведь тогда тебя так и не выпустят отсюда?

— Теперь уже поздно замечать, пропуска отобраны, у всех при входе.

— А вдруг увидят, что число их — менее выходящих? Ведь тогда вас всех оставят для проверки.

— Да полно ты! Не беспокойся! Дай лучше разглядеть тебя.

Все три принялись осматривать меня.

Я был еще желт и худ, но, по словам Веры, изменился мало. Она же осталась совершенно такая, какой я ее знал когда-то в Женеве, как будто прошло не два года, а только две недели.

Мы начали вспоминать прошлое и с грустью отметили, что все наши активные друзья в России уже в тюрьмах, а на воле почти все новые.

— Я не могла оставаться более в Берне,— сказала она мне,— после того как мои подруги по университету, уехавшие в Россию, были арестованы в Москве. Я решила продолжать их деятельность и разделить их судьбу.

— Но почему же ты поехала в Москву, ведь там их деятельность была уже окончена, и они все сидели в тюрьмах?

— Мне хотелось повидаться с ними.

— Но тебе, как посторонней, не дали бы с ними свиданий.

— Я знала это и потому прямо пошла на двор тюрьмы, куда выходили окна их камер, и стала с ними говорить со двора в окна.

— И неужели тебя не тронули тюремщики?

— Меня за это арестовали, но тотчас же снова выпустили,

а затем снова начали разыскивать по обвинению в участии вместе с ними в тайном обществе.

Несколько мгновений я молчал в полном восторге от ее смелости и самоотверженности.

— А как теперь дела на воле? — спросил я, наконец.

— Теперь перепутье,— сказала она.— Взамен прежних возникли в молодежи новые кружки, но общепризнанной программы действий еще не выработалось. Одни по-прежнему хотят идти в народ, вести пропаганду. Другие находят более целесообразным побуждать народ прямо к восстанию во имя наличных крестьянских интересов. Так, Стефанович, Дейч и Бохановский почти подготовили восстание посредством отпечатанных золотыми буквами грамот, призывавших крестьян подняться против местных властей и землевладельцев от имени царя. Но их арестовали раньше, чем они успели снабдить оружием всех сочувствующих.

— Мне этот способ совсем не нравится,— возразил я,— как можно республиканцам действовать от имени царя?

— Но они не республиканцы. Они думают, что республика при существующем экономическом строе хуже самодержавия.

— Все равно нельзя обманывать крестьян[28].

— Я тоже думаю, что это не совсем удобный способ,— сказала она.— Я только передаю тебе, что существует и такое течение.

— А еще какие есть?

— Некоторые возлагают большие надежды на сектантов, уже и без того возбужденных против правительства религиозными гонениями и считающих правителей антихристами. Несколько очень выдающихся людей из нового наслоения молодежи пошли к ним начетчиками, но не знаю, что из этого будет. Некоторые же говорят, что очень полезно вызывать общественные демонстрации на городских улицах.

— А нет таких, которые находят, что нужно действовать по способу Вильгельма Телля?

— Почти все пришли к заключению, благодаря множеству погибших товарищей, что необходимо устранять наиболее деятельных и опасных врагов, начиная от шпионов и выше.

«Итак, начинается то, что я предвидел!» — подумалось мне. Но я тогда еще далеко не выздоровел, и мне было как-то лень говорить о теоретических вопросах. Я ничего не сказал ей на принесенные вести, мне только так хорошо было слушать ее живое, близкое моему сердцу, смелое, искреннее слово!

Быстро окончилось свидание, и она ушла вместе со своими спутницами, нежно простившись со мной. Она должна была

идти к воротам по панели под моей стеной. И вот счастье неожиданного свидания с Верой, в которую я был тайно от нее влюблен, помрачилось у меня беспокойством тотчас вслед за ее выходом из моей камеры.

«Удастся ли ей ускользнуть отсюда благополучно? Как бы еще раз посмотреть на нее?»

Собрав последние силы, я с трудом полез на свое высокое окно и убедился, что увидеть через него ближайшую часть двора немыслимо. Однако сильное желание чего-нибудь всегда находчиво. Я спустился быстро вниз, схватил маленькое зеркальце, стоявшее на моем столе, влез на окно снова и, просунув с ним руку за решетку, увидел отраженный в нем тротуар в тот самый момент, как она внизу выходила на него из дверей тюрьмы, несколько правее моего окна. Я легко отличил ее сверху среди других по миниатюрной фигурке, делавшей ее похожей на девочку. Вот она дошла до конца нашего двора, сторож растворил калитку в воротах, выпустил беспрепятственно всю толпу, и она исчезла за ними, как мимолетное виденье. Совсем ослабевший от неожиданных радостных ощущений и от непривычных еще физических усилий, я почувствовал сразу сильную слабость и сердцебиение. У меня потемнело в глазах, и я, почти упав с высокого крутого подоконника, лег на свою койку.

Но все же я был страшно счастлив.

Итак, она, к которой я чувствовал все время заточения такую нежность и любовь, не только вспоминала обо мне, но даже пришла навестить меня, больного, в темнице, с опасностью остаться в ней на много лет в таком же одиночестве, как и я!

Ощущение счастья есть лучшее лекарство от всех физических болезней, и потому, несмотря на временный скачок моей температуры вверх, встревоживший доктора, я, после свидания с Верой, начал особенно быстро поправляться. Я почти все время думал о ней, не подозревая, что над головой моих товарищей по заточению и над моей собственной надвигался совершенно неожиданный удар с такой стороны, с которой мы совсем его и не ожидали.

6. Последняя капля в чаше

Прошло недели две после того, как я в последний раз смотрел на Веру через зеркальце у ворот своего неизменного тюремного двора, как на нем произошло событие совсем другого рода.

Я полулежал на своей жесткой койке в лазарете, подложив под спину такую же жесткую, как она, подушку, и читал какой-то роман на английском языке. И вдруг через мое окно, из которого, как и из других, была вынута рама, донесся до меня какой-то отчаянный вопль, как будто крик сотен человеческих голосов на идущем ко дну корабле. К нему тотчас же присоединился звон бьющихся стекол и оглушительный грохот каких-то ударов железа по железу, как будто произошло землетрясение, и все сотни заключенных старались разбить, чем попало, решетки окон, чтобы спасти свою жизнь.

«Пожар! — мелькнула у меня мысль.— Неужели мы все, запертые на замки, так и задохнемся в дыму?»

Я влез на свою решетку. Из-за воя и криков, несущихся от трехсот камер, выходящих на двор, ни о чем нельзя было спросить. Я только увидел всех своих товарищей, висевшими на решетках своих одиночных окон и старавшихся их вырвать своими руками или выломать ударами чем попало.

Я взглянул на крышу здания, думая, что там идут клубы дыма, но ничего подобного не было.

— Что случилось? — кричал я в окно, но мой голос совсем не был слышен даже самому мне среди окружающего невероятного грохота.

— Что случилось? — еще громче кричал я.

Мне что-то кричали из ближайших видимых мне окон, но я мог это заметить только по движениям губ и напряженному выражению обращенных ко мне лиц. Ни одного слова не было слышно.

Я взглянул вниз на двор. У дверей, через которые мы уходили с прогулок, шеренга солдат штыками вгоняла в тюрьму человек двенадцать гулявших там товарищей моих, а несколько вдали расположилось кучкой все темничное начальство перед каким-то незнакомым генералом, стоявшим в позе полководца, командующего армией на поле сражения.

Я понял, что с моими гонимыми теперь домой товарищами этот самый генерал сделал что-то возмутительное. Я тоже начал бить кулаком по своей решетке, крича кучке людей внизу единственную пришедшую мне в голову фразу:

— Уйдите, негодяи!

Моя камера в лазарете была крайняя и соприкасалась с другой, уже простой, обычной, в которой сидел один из товарищей. Не имея возможности что-либо услышать через окно, я соскочил с него и начал вызывать его стуком, однако и из его ответного стука, хотя и самого громкого, нельзя было ничего разобрать.

Как раз в это время двери из общего коридора в мой лазарет с грохотом отворились. Я подскочил к форточке моей двери, через которую давали мне обед. Она в лазарете всегда держалась открытой для освежения воздуха, и я увидел, как двое тюремщиков и двое солдат с ружьями тащили Волховского через коридор.

— Куда ведут? — крикнул я ему.

Но его уже успели протащить в другую дверь. Затем проволокли Синегуба.

— Куда? — крикнул я уже при самом его появлении в дверях.

— В карцер! — ответил он.

— Молчать! — закричал надзиратель и захлопнул у меня перед носом дверную форточку, механически запиравшуюся снаружи.

Я опять начал стучать соседу.

— Что случилось?

Он начал так громко бить в стену какой-то палкой, что я, наконец, расслышал, несмотря на непрекращающийся шум.

— Градоначальник Трепов,— ответил он мне,— пришел на наш двор со своей свитой во время прогулки. Мы, уже предупрежденные сторожами не разговаривать в это время через окна, все молча смотрели, как он пошел навстречу толпе наших товарищей. Все они, проходя, сделали ему вежливый поклон и прошли мимо кругом всего колеса клеток, где гуляли тогда одиночные уголовные. А он со своей свитой пошел кругом в противоположном направлении и, встретившись вновь с нашими, вдруг дал переднему из них — Боголюбову — пощечину так, что с того слетела шапка, и крикнул на весь двор: «Выпороть его!» Эта неожиданность так нас всех ошеломила, что в первую минуту мы не произнесли ни слова. Но когда по знаку Трепова на двор вбежали солдаты, очевидно, заготовленные для этого, и погнали штыками наших в тюрьму, мы все, как один человек, начали вырывать свои решетки, бить в двери коридора и кричать ему: «Уходи, негодяй!»

Я был поражен здесь не самим событием, казавшимся мне вполне соответствующим моему представлению о всяком правительстве произвола, а тем, что ответным криком моих друзей была та же самая фраза, которая одна пришла мне в голову, хотя я и кричал, еще не зная, в чем дело.

— Но что же с Боголюбовым? — спросил я, страшно взволнованный и возмущенный.

— Его, говорят, тотчас же высекли в коридоре уже заго-

товленными заранее розгами, а тех, кто больше других стучал, тащат в карцеры[29].

Не в силах более стучать, я отошел от стены. Мои пальцы судорожно сжались в кулаки, зубы крепко стиснулись.

«За это надо отомстить,— решил я,— отомстить во что бы то ни стало. Если никто другой не отомстит до тех пор, то отомщу я, когда меня выпустят, и отомщу не как собака, кусающая палку, которой ее бьют. Я отомщу не Трепову!»

Назначающий нашими властелинами таких людей должен отвечать за них!

Я уже достаточно поправился к этому времени для того, чтобы ходить свободно по камере, и метался из угла в угол, как тигр в своей клетке.

Мое воображение начало вновь строить фантастические романы, но это были уже романы кровожадные, полные мести всем деспотам.

Я не могу здесь воспроизвести их деталей, потому что теперь, через много лет, даже не хочу их вспоминать! Да и какая польза вызывать из области забвения придуманные, но не осуществленные жестокости? Я могу только сказать в свое оправдание, что, уничтожая одним ударом воображаемой чудовищной мины всех деспотов земли и их слуг, я никогда даже и в воображении не жертвовал для этого ни одной человеческой душой, которую можно было по ходу данного романа сберечь без вреда для грядущей всеобщей республики, служившей вечным финалом таких фантастических романов, роившихся в моей голове вплоть до самого суда надо мною и до нового моего выброса из темницы на свободу.

Теперь я уже близко подхожу к концу первого периода моей деятельности, приведшему меня после освобождения из темницы естественным путем к деятельному участию в организации «Народной воли», боровшейся против самодержавия с оружием в руках.

Дикий поступок Трепова с Боголюбовым был последней каплей, переполнившей чашу горечи как в моей душе, так и в душе товарищей, и давшей нам ту закалку, которой ранее у нас, мечтавших лишь о счастье всех людей, совершенно не было.

После приезда Трепова я прожил в своей темнице еще около полугода. Меня в это время снова возили в Москву, так как заподозрили, что неизвестный рабочий, ведший пропаганду под Троицей-Сергиевой, был я. Но вызванные для опознания меня крестьяне все единогласно заявили, что к ним приходил другой, хотя по смущенному выражению их лиц и блуждающим глазам, боявшимся встретить мои, было ясно, что они все

меня отлично узнали и только из сочувствия не хотели выдавать.

Это меня очень сильно растрогало, тем более что в большинстве случаев с моими товарищами крестьяне из страха за себя сейчас же выдавали их.

В Москве меня посадили в место политического заключения, временно устроенное при Арбатской части, где я познакомился посредством разговора через двери с одной из симпатичнейших деятельниц того периода — Бардиной, производившей тогда на всех обаятельное впечатление, но потом, через несколько лет, упавшей духом и умершей от тоски и безнадежности в эмиграции.

И на пути в Москву, и на обратном пути через десять дней я не мог думать, как ранее, о побеге, потому что в результате перенесенной болезни у меня осталась сильная атония пищеварительных органов, требовавшая ежедневных лекарств и порошков. Вот почему меня без всяких приключений привезли обратно в Дом предварительного заключения, где вручили под расписку толстый том под названием «Обвинительный акт по делу о преступной пропаганде в Российской империи»[30].

Было привлечено на суд особого присутствия сената сто девяносто семь человек, едва перешагнувших через свое совершеннолетие и уже совсем измученных долгим заключением. В числе их находился и я. Но из нас, во время самого суда, умерло четверо наиболее ослабевших, и потому процесс получил название «Дело ста девяноста трех».

Возмущенные произведенными в предъявленном нам «акте» извращениями, свидетельствовавшими о крайней пошлости его составителей, мы почти все решили отказаться от своих защитников и от всякой защиты вообще. Это представлялось нам тем более последовательным, что мы морально не признавали над собой никакого суда, кроме третейского между нами и правительством, т. е. суда присяжных или иностранного. Суд сенаторов представлялся нам просто комиссией расправы наших врагов над нами, а следовательно, и извращением идеи правосудия.

7. *Перед судом*

Я помню ясно свое приподнятое настроение, когда в декабрьской петербургской мгле в своей тусклой камере я ждал прихода солдат, чтобы отправиться на первое заседание суда. Оно сохранилось в написанном мною тогда же стихотворении:

Приумолкла тюрьма.
Всюду тишь и покой.
И царит над землей
Полусвет-полутьма.
Что-то мрачно глядит
Нынче келья моя,—
Хоть послушаю я,
Громко ль сердце стучит.
Чу! За дверью идут,
Слышен говор людей...
Близок час — поведут
Нас на суд палачей.
Но ни просьб, ни мольбы
И в последний наш час
Наши судьи-рабы
Не услышат от нас!
Пусть уныла тюрьма,
Пусть повсюду покой,
Пусть царит над землей
Полусвет-полутьма,—
Но и в этой глуши,
Где так долги года,
Нашей вольной души
Не сломить никогда!
Чу! В тиши гробовой
Снова слышны шаги.
Приходите ж за мной
Вы скорее, враги!..

Действительно шаги в коридоре раздались, замки загрохотали у моей двери, и в моей камере появились помощник управляющего и двое тюремщиков.

— Пожалуйте на суд!

Я был готов к нему уже два часа назад.

На мне уже не было теперь казенного арестантского платья и башмаков-котов. Еще в семь часов утра мне принесли мою собственную давно заплесневевшую обувь и тот самый «смокинг», который два года назад купил мне отец, чтоб я не срамил наш дом своим засаленным в прежнее годичное заключение костюмом. Но и этот смокинг за два года моего заточения сильно запылился в тюремном цейхгаузе и потерял свой первоначальный франтовской вид.

Еще более демократизировалась моя наружность, когда вместо белой накрахмаленной рубашки я надел желтую с черными красивыми узорами, специально для меня вышитую сестрами Корниловыми и Перовской и присланную мне накануне специально для такого торжественного дня.

Я тотчас же пошел с надзирателями вниз по галереям и при самом повороте в коридор увидел перед собою длинный ряд выстроенных в линию жандармов по два вместе и с промежутками между каждой их парой. Их медные каски, их обнаженные и положенные на плечи сабли внушительно блистали в сумраке коридорной полутьмы. Между ближайшими парами жандармов уже стояло по одному моему товарищу, и я с нарочно сделанным радостным видом улыбался всем и, проходя, протягивал руку, здороваясь с каждым по очереди.

— Нельзя здороваться! — повелительно сказал мне, марши-

руя с воинственным видом, блестящий своим посеребрением жандармский поручик нахального типа.

Но я сделал вид, что не слышу его слов и продолжал, так же весело улыбаясь, пожимать руки оставшимся четырем или пяти человекам, и встал на указанное мне пустое место между двумя следующими жандармскими солдатами, стоявшими, как каменные изваянья, глядя бессмысленно прямо перед собой на стену коридора.

Затем провели еще десятка четыре товарищей, одни из которых шли, так же радостно улыбаясь, как я, и кивая всем из нас, а другие, впрочем немногие, проходили на свое место печально и озабоченно, опустив глаза в землю.

Вот заполнилось и последнее пустое место между солдатами вдали, в конце коридора.

— Налево! Вперед! Марш! — крикнул посеребренный командир, гордо закинув вверх голову.

Вся цепь солдат разом повернулась и двинулась к выходу коридора, увлекая за собою и нас.

Мы пошли между ними по хорошо знакомым мне узким извилистым коридорам, соединяющим внутренние помещения Дома предварительного заключения со зданиями Окружного суда; поднялись по лестнице к какой-то двери, мимо которой пошли далее одни наши жандармы, в то время как нас приглашал войти в нее стоящий перед нею особый жандармский офицер. Так вошел и я.

Передо мной раскрылся зал, вроде концертного. Роскошная люстра висела с потолка. Впереди, за низкой балюстрадой стоял длинный стол, покрытый алым сукном, и за ним находилось девять пустых, тоже алых кресел, за которыми виднелось несколько мягких стульев такого же стиля.

Налево от стола было что-то вроде конторки, направо тоже, а за деревянной решеткой, как на театральном балкончике, находились две скамьи подсудимых, задняя немного повыше передней. Там сидели те из моих товарищей, которых считали самыми отчаянными. Впереди были: Рогачев — артиллерийский офицер, отличавшийся необычайной силой; двое мировых судей — Ковалик и Войнаральский и владелец типографии Мышкин, печатавший в Москве запрещенные книги и арестованный в Сибири при попытке освободить сосланного туда Чернышевского. Десятка полтора других, более взрослых из нас, сидели рядом с ними и за ними. А меня пристав повел мимо и посадил на свободное место, не тут, а, так сказать, в партере этой залы, предназначавшемся при обычных процессах для публики.

Теперь благодаря почти двум сотням обвиняемых и он был превращен в «скамьи подсудимых».

Для родственников наших и «публики» (которую не пустили) был отгорожен лишь уголок залы, человек для двенадцати, пропущенных по специальным билетам. Всем остальным родным было отказано присутствовать по причине недостатка места. Наши товарищи из женщин были усажены сбоку от нас особой группой. Однако, как только весь партер наполнился нами, так, несмотря на увещания стоящих в его проходах жандармов сидеть молча и неподвижно на своих местах, мы сейчас же начали разыскивать своих друзей и быстро обмениваться местами. Мы перепутали этим всю первоначальную рассадку, так что ее уже невозможно было восстановить, тем более что и сами рассадчики спутались.

Понятно, что особенно хотелось нам обменяться приветами с женщинами, которых было человек двадцать.

Ведь они все были заключены в особом «женском» отделении Дома предварительного заключения, и с ними благодаря этому мы не видались и не говорили более трех лет.

И вот из женской группы стали перескакивать то одна, то другая в нашу, мужскую, и из нашей к ним, и оба пола быстро перемешались.

Я очутился в конце концов между двумя молоденькими девушками: Перовской и Ваховской. Какими дивно красивыми показались мне их молодые личики, после того как я два года не видал ни одной женщины! Мы стали весело болтать, вспоминая общих знакомых и строя планы побегов, после того как нас сошлют в Сибирь. Оправдания мы не ожидали от наших судей.

Раздался отчаянный звонок взволнованного судебного пристава:

— Встаньте! — кричал он.— Суд идет! Суд идет! Встаньте!

Но его почти не было слышно из-за гула всех наших голосов.

— Встаньте же! Встаньте все! — закричали другие пристава дикими голосами, бегая с каким-то испугом между нашими рядами и думая, что мы не встанем.

Но мы все, смеясь, встали, и почти в то же самое время из отворившихся дверей вышли один за другим пять сенаторов при своих звездах и четверо сословных представителей. Трое из последних были тоже в блестящих золоченых мундирах, а сзади всех шла скорчившаяся фигура, явно не знающая, что ей делать. Фигура эта оказалась волостным старшиной, в черной поддевке, в воротник которой он вшил, неизвестно почему, тоже узенькую золотую каемку.

По-видимому, он чувствовал себя тут несравненно хуже, чем даже мы, подсудимые. Как я слышал потом, на вопросы о виновности каждого из нас он отвечал подряд единственным словом: «виновен!», и ничего другого от него не могли добиться.

Нас опросили по списку о звании, возрасте и прочем, и секретарь принялся за чтение огромного обвинительного акта, из которого посредине залы, где я находился, нельзя было расслышать ни одного слова благодаря гулу наших частных разговоров, не прекращавшихся, несмотря на все звонки первоприсутствующего.

Суд, по-видимому, уже знал решение большинства из нас отказаться от всякой защиты, как личной, так и через адвокатов, и о нашем готовящемся заявлении, что мы не признаем его по принципу. Да этого и трудно было не знать. Ведь мы, не скрываясь, прямо через окна выработали мотивировку нашего заявления, что всякий суд должен быть третейским, а нас судит не нейтральное в нашей борьбе общество с присяжными заседателями, а одна из борющихся с нами сторон, так как все сенаторы состоят на службе у правительства, против которого мы шли.

Чтобы несколько противодействовать нашему решению или во всяком случае раздробить большой однодневный протест на несколько малых и тем ослабить впечатление в обществе, никого из нас не спросили даже о виновности после чтения обвинительного акта. По окончании последнего был сделан перерыв до следующего дня.

В этот промежуток на особом заседании без нашего присутствия нас разделили на дюжину групп по разным местным делам, и в следующий за тем день, когда я приготовился вновь идти, меня и большинство других не вывели совсем.

— Что это значит? — спрашивал я через окно у оставленных товарищей.

— Ничего не понимаем! — отвечали они.

Только после возвращения десятка уведенных я узнал, в чем дело, и понял тактику сенаторов.

Но она только укрепила наше первоначальное решение, и две трети из нас тут же дали друг другу обещанье не отвечать ни на один вопрос первоприсутствующего иначе, как заявлением о непризнании сенатского суда и о нежелании даже присутствовать на разборе им нашего дела.

Так и было сделано огромным большинством во всех группах.

Защищавшихся и оставшихся на суде было лишь несколько из малодушных или совершенно разочарованных в возможности

продолжения какой-либо борьбы. Были также два-три оправдывавших свой отказ присоединиться к нашему протесту надеждой быть оправданным за внешнюю покорность для того, чтобы, вырвавшись таким образом на свободу, продолжать там свое дело. Но к ним мы, протестанты, отнеслись еще хуже, чем к кому-либо другому: прямо с внутренним презрением, так как чувствовали, что это — простая увертка, желанье сохранить внешность.

И действительно, ни один из них после своего суда и освобождения не принял никакого участия в последующем революционном движении...

Почти месяц сидел я, никем не тревожимый, в своей камере, прежде чем дошла очередь и до моей группы.

Но все на свете кончается. Пришли и за мной. Чтобы избежать «вредного влияния товарищества», нашу группу, человек в восемь,— где были, между прочим, Саблин, Алексеева и доктор Добровольский,— не повели всю разом, а оставили ждать в одной из запасных комнаток на дворе Окружного суда. Нас уводили из нее по одному человеку, которому первоприсутствующий и сенаторы предлагали свои вопросы, а если он отказывался отвечать и требовал увода, то немедленно исполняли это требование и посылали за следующим подсудимым.

Первым увели Добровольского, а я остался с другими.

Я бросился пожимать руки Алексеевой. Я знал, что она была арестована вскоре после меня, но затем выпущена на поруки. Потом умер ее муж, безнадежно помешавшийся за несколько лет перед тем, и она вышла замуж за инженера Лукьяненко.

— Вы счастливы теперь в семейной жизни? — спросил я ее.

— Да! — ответила она.— Мой муж очень хороший. Ему чрезвычайно хочется познакомиться с вами. Он даже хлопотал о свидании, но ему не разрешили.

— А если меня выпустят, и я почему-либо приеду в Тамбов, мне можно будет побывать у вас?

— Да, конечно! — ответила она.

Затем, как-то загадочно улыбнувшись и взглянув на меня, прибавила, улыбаясь:

— Если только не будете опасным[31].

«Что она хочет этим сказать? — пришло мне в голову.— Она,— ответил я сам себе,— очевидно, решила совсем удалиться в частную жизнь и боится, что если я буду продолжать революционную деятельность, то могу своими посещениями принести опасность ее близким. Тогда уж лучше я совсем никогда не приду к ней в дом».

— Я буду опасным! — сказал я ей печально.

Кинув на меня быстрый взгляд, она мне с улыбкой хотела что-то ответить, но в это время пришли за нею.

— Мы уже больше не увидимся! — сказал я ей.— Так лучше простимся теперь же!

Мы поцеловались несколько раз и расстались.

На глазах у обоих были слезы.

Так окончилась моя первая любовь в революционной среде. Это была третья платоническая любовь в моей жизни.

Ко всем когда-то любимым мною я чувствовал всегда страшную нежность, тем бóльшую, вероятно, что никому из них я не признавался в своей любви.

Но вот позвали на суд и меня.

Меня ввели теперь уже не в партер, как прежде, а торжественно поставили на ту эстраду, где когда-то сидели избраннейшие из нас. Меня поставили на ней лицом к моим судьям, одинокого между двумя жандармскими солдатами с обнаженными саблями в руках. Здесь, вблизи, эти судьи показались мне еще более бездушными, чем издали.

«Живые мертвецы! — пришло мне в голову.— Что значит защита перед такими? Они все сделают так, как им намекнут свыше, никого не пожалеют».

— Подсудимый! Признаете ли вы себя виновным? — спросил меня первоприсутствующий.

— Вопрос о моей виновности,— ответил я ему,— предоставляю решить вам самим, без моего участия. Причину этого уже объясняли вам мои товарищи. Прошу вывести меня из залы заседаний.

— Вы настаиваете на этом? — спросил первоприсутствующий.

— Да, настаиваю.

— В таком случае — уведите подсудимого! — приказал он жандармам.

Те брякнули шпорами и пошли, как вошли: один впереди меня, другой — сзади.

И вот я вновь возвратился в свою тусклую камеру. Но на душе у меня было легко.

Я чувствовал, что исполнил долг товарищества и не показал врагам ничем своего внутреннего волнения, неизбежного при первом публичном выступлении, особенно на суде, в ожидании сурового приговора и после трех лет одиночного заточения, прерванного два года тому назад лишь кратковременным выпуском на поруки к отцу.

Я радостно вскочил на железную раковину умывальника под моим окном и крикнул через окно, смеясь, товарищам,

поджидавшим у своих тоже приоткрытых окон каждого нового возвращающегося:

— Вот и я!

— Ура!!! — грянули голоса кругом.

— Ну что, легко отпустили?

— Совсем легко, даже и не уговаривали!

— Значит, и сенаторы приручаются понемногу! — заметил кто-то из первых протестовавших.— А вот мне так пришлось долго спорить, пока отбился!

Мы принялись ждать следующих возвращающихся.

Добровольский был приведен в камеру еще раньше меня; появился в своем окне и Саблин.

Благодаря мягкой погоде, мы долго разговаривали друг с другом в этот день при открытых окнах. Я уже говорил, как давно мы научились сами открывать их и даже вынимать совсем их железные рамы.

8. Тревожное ожидание

Прошло еще недели три.

Наступил день произнесения приговора над нами. Утром вновь загремел замок моей камеры, и помощник управляющего явился с листом бумаги.

— Желаете идти выслушать приговор?

— Нет,— ответил я.

Он отметил мою фамилию на своем листе и, раскланявшись, отправился в следующий номер.

Пошли только те немногие, которые не присоединились к нашему протесту по тем или иным причинам. В глубине души мы не одобряли их образа действий, но считали, что каждый имеет право найти себя уставшим и удалиться в частную жизнь, и потому не прерывали с ними товарищеских отношений.

Понятно, с каким интересом ожидали мы их возвращения, чтобы узнать от них также и свою собственную участь. Через два часа они все возвратились, и, по данному сигналу,— стуком ложкой о решетку, мы вновь взобрались на свои приоткрытые окна.

— Слушайте! — раздался голос одного из них.— Почти половина — оправданы, а из другой половины большинство осуждены на сроки не выше трех лет заключения, со внесением в зачет их предварительного сидения!

— Но мы,— крикнул Орлов,— все сидим уже более трех лет!

— Значит все будете выпущены! — ответил ему наш глашатай, прибывший из суда.

— Когда же?

— Адвокаты говорят, что сегодня же!

Все мы были в полном недоумении...

Наш приговор был бы очень суров по-заграничному, но он казался нам невероятно мягким по сравнению с бесчеловечностью предыдущих политических приговоров.

— Почему такая неожиданная снисходительность? — заметил в окно Павел Орлов.— Они ссылали на каторгу всех.

— Оттого, что мы не признали их суда,— ответил Никифоров.— Мы показали сенаторам свое презрение, и им стало стыдно с непривычки к такому обращению с ними. Они привыкли к тому, что перед ними трепещут и унижаются все, кто от них зависит.

— Нет! — заявил я из своего бокового фасада.— Причина должна быть в том, что русское общество поняло, наконец, как правительство его обманывает, рисуя ему нас беспринципными дикарями и всеразрушителями.

— Нет! — раздался голос Синегуба из противоположного окна.— Это выручил нас предшествовавший дикий приговор над пятнадцатью женевскими студентками, осужденными на десятилетние каторги за то, что уехали из Бернского университета работать на московских фабриках. Такой приговор возмутил все общество, которое и до сих пор находится под впечатлением геройского поведения на суде самих девушек. Помните посвященные им стихи Некрасова:

Смолкли честные доблестно павшие!
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие...[32]

— Погодите со стихами, господа! — крикнул кто-то с моей стороны.— Нам теперь важны не причины, почему произнесен такой приговор. Пусть расскажут лучше присутствовавшие на суде, не помнят ли они, кто из нас, не бывших там, к чему приговорен?

Но каждый из них запомнил только лично себя да двух-трех других, приговор над которыми казался ему почему-нибудь необычным. Почти двести фамилий, произнесенных судом сразу, перемешались у них в головах в одну кашу, из которой они ничего не могли выудить, тем более что были внутренне сильно взволнованы в тот момент, когда решалась их собственная судьба.

Так мы и просидели на своих окнах часов до трех вечера, совершенно ничего не зная о себе.

— Пожалуйте на прогулку! — сказал мне сторож, с грохотом отворяя мою дверь.

Моя партия выходила одной из последних.

Я быстро надел свой казенный полушубок и шапку и вышел на тюремный двор к уже собравшимся там пятнадцати товарищам.

— Когда же мы узнаем? — говорил кто-то.— Они нам нарочно не пришлют никого для объявления приговора за то, что мы отказались прийти к ним на суд.

В это самое время из боковой двери тюрьмы явился к нам присяжный поверенный Бардовский — тогдашняя знаменитость, вроде нынешнего Грузенберга. Перед судом он, по своему желанию, взялся защищать, между прочим, меня и приходил ко мне во время суда несколько раз, хотя и знал, что я откажусь от защиты и от защитника, как только меня поставят пред лицом сенаторов и спросят о виновности.

— Слышали? — сказал он мне.— В самый момент произнесения приговора одна молодая девушка, Вера Засулич, явилась в приемную к градоначальнику Трепову и, вынув из муфты револьвер, выстрелила в него, сказав: «Это за Боголюбова, которого вы велели высечь в Доме предварительного заключения».

— Ей удалось скрыться? — спросил я.

— Нет! — ответил Бардовский.— Она и не пыталась уйти. Как только Трепов, получивший опасную рану в живот, упал, она сама отдала револьвер одному из присутствовавших и осталась ждать.

— Где же она теперь?

— Не знаю. Говорят, что она нарочно это сделала в самый момент произнесения приговора над вами. Она боялась, что если будет стрелять раньше, то приговор над вами будет жестокий, что сенаторы вам отомстят за ее поступок. Теперь же для вас, конечно, все равно [33].

Как могу я описать впечатление, произведенное на меня словами Бардовского.

«Вот оно, приходит то, чего я давно ждал, что неизбежно должно было прийти после этих ужасных трех лет гонений. Вот явилась у нас Шарлотта Корде, скоро появятся и Вильгельмы Телли!» — пришло мне в голову [34].

— А какой же приговор над нами? — спросил Саблин.

— Да разве вы еще не знаете? — воскликнул Бардовский.

— Откуда же нам было узнать?

Бардовский, не говоря ни слова, вынул из кармана лист бумаги и начал читать по сделанной им для себя выписке:

— Алексеева оправдана, Морозов виновен в принадлежности к тайному обществу, называвшемуся кружком Алексеевой, и приговорен на год с четвертью заключения с заменой тремя годами его предварительного сиденья.

Далее я пропустил несколько фамилий мимо ушей, так как был совершенно поражен двумя обстоятельствами: во-первых, по закону меня должны были сегодня же выпустить на свободу и, во-вторых, как же так? Я приговорен к заключению за участие в кружке Алексеевой, а сама Алексеева оправдана?

Когда Бардовский кончил свой список и удовлетворил любопытство всей нашей группы гуляющих, несколько человек тут же начали списывать карандашиками копии с его листа, чтобы по возвращении сообщить остальным.

Бардовский снова подошел ко мне.

— Готовьтесь сейчас же к выпуску на свободу. Вас должны сегодня же выпустить.

— Хорошо! — ответил я.— Но вы обратили внимание на логическое несоответствие в приговоре? Неужели сенаторы могут впадать в такие грубые противоречия? Я, по их словам, виновен в принадлежности к кружку Алексеевой, а сама Алексеева, именем которой назывался кружок, не виновна в нем?

— То ли еще бывает! — смеясь, заметил Бардовский.— Ведь они не мотивируют своих приговоров! Да притом же вы поставлены в приговоре не рядом с нею, и не всякий читающий заметит. Это я начал выписку с вас и с нее, так как особенно интересовался вами, как предполагавшийся ваш защитник.

Нас позвали назад в камеры, и мы возвратились. Все наши «клубы» были теперь открыты. Везде читали приговор по копии с листа Бардовского и обсуждали его.

Мы все прощались друг с другом и особенно с двадцатью долгосрочными, которых вместо освобождения должны были отправить на каторгу.

Сердце болело при мысли о них. Каково-то им чувствовать, что свобода, улыбнувшаяся большинству их товарищей, миновала их! Ведь для них неволя будет теперь вдвое горше, чем она была вместе с нами. Правда, что суд постановил ходатайствовать перед императором о замене им каторги — поселением, но ведь раньше, чем их увезут туда, они, может быть, с полгода будут сидеть еще в своих полутемных каморках...

— А вдруг им будут мстить за Трепова? — спросил я собеседников в своем «клубе».

— Нет! Это было бы совсем недостойное дело! — заметил Саблин.— Ведь они же не принимали участия в выстреле Веры Засулич!

Но какое-то предчувствие говорило мне, что именно так и будет. Мне казалось, что даже мы, оправданные, не гарантированы будем от административной высылки куда-нибудь в тундры. Большой оптимист в остальном, я научился тогда самой жизнью быть пессимистом во всем, что касалось тогдашней нашей самовластной администрации, и не ждал от нее ничего доброго.

В коридоре раздались громкие шаги большого числа ног. Один за другим стали греметь запоры камер, и сквозь щели наших дверей послышались из коридора крики уходящих:

— Прощайте, товарищи! Уводят на свободу!

Каждый уводимый называл затем и свою фамилию.

У меня все было тоже приготовлено к выходу.

Пачка моих тетрадей с научными статьями была связана шнурочками. Больше мне нечего было уносить с собой на свободу, кроме разве одежды, в которой я пришел сюда и которая лежала в цейхгаузе, потому что в Доме предварительного заключения все белье и платье было обязательно казенное. Да и пачка моих тогдашних тетрадок представляла лишь жалкие остатки от всего написанного мною за последние два года заточения после возвращения в тюрьму от отца. Остальное снова погибло.

Еще за месяц или за два до вручения нам обвинительного акта один из тюремных надзирателей предупредил меня, что многих, в том числе и меня, хотят увезти ночью в крепость, и держать там до суда, и чтоб все, что я желаю сохранить, я передал кому-нибудь из остальных на хранение. Я тут же забрал все свои тетради и послал через него же моему недалекому соседу Цвиленеву, тому самому, который когда-то освобождал меня так неудачно из заточения в Москве.

Но к вечеру и он получил такое же предупреждение. Очень взволновавшись этим, он тотчас же порвал все мои тетради и выбросил их в сточную трубу своего «клуба».

Так произошло четвертое полное истребление всех моих научных работ. Первое, как это видно из моего рассказа «В начале жизни», было произведено матерью моего товарища по гимназии, Мокрицкого, в ожидании обыска; второе, сравнительно малое,— моим отцом после моего второго ареста; третье — курсистками, не хотевшими отдать мои тетради нагрянувшим к ним жандармам.

Но и недавним четвертым уничтожением не ограничилось для меня дело истребления моих темничных научных трудов,

так как даже и той пачке, которую я собирался теперь выносить на свободу, назначено было судьбою погибнуть через два месяца в огне у моих друзей в редакции журнала «Знание» в ожидании все той же самой беды — жандармского обыска.

Мудрено ли после этого, что с тех пор и до настоящего времени я не смотрю ни на какую, даже самую научнейшую из своих работ, как на действительно сделанную, пока она не напечатана и не избавилась этим путем от гибели!

Но я не предвидел тогда своего нового несчастья и потому заботливо сберегал свою пачку, как свое единственное имущество, кроме оставшегося в голове, с которым я должен был уйти отсюда...

По взволнованным возгласам уходящих мы выписывали имя каждого и насчитали уже много десятков. Уведены, наконец, были почти все, кому полагалось. Оставался как будто только я.

Но что же это случилось?

К восьми часам вечера хлопанье дверей прекратилось, и начальство ушло из коридоров. Все снова затихло в темнице.

Мой единственный, оставшийся по другому делу, соклубник сильно взволновался за меня. Сильным стуком по решетке он дал сигнал всем оставленным в темнице лезть на свои окна и сообщил о моем исключении из числа уведенных.

И вот в таком же положении оказались еще три человека...

— Почему это? — задавали себе вопрос редкие оставшиеся теперь в Доме предварительного заключения товарищи.

— Может быть, потому, что меня посадили особым порядком, по особому высочайшему повелению, с запрещением отдавать на поруки до приговора? — заметил я.

— Но ведь приговор уже произнесен! — возражали мне.— И, кроме того, почему же еще остались три человека, относительно которых не было особых распоряжений?

Никто не мог на это ответить.

Взволнованный и уже решивший, что меня совсем не выпустят, я долго ходил в эту ночь по своей камере. Горько было оказаться здесь снова, без соседей, к которым успел привыкнуть. Но я все же чувствовал облегчение, что разделяю участь нескольких оставленных для Сибири. Мне трудно было разобраться в своих беспокойных и разноречивых ощущениях, заставлявших сильно биться мое сердце.

Вдруг я вспомнил о неожиданной мстительнице за истязание Боголюбова и от лица всех оставленных благословил эту, никогда не виданную мною, Веру Засулич, представлявшуюся мне в виде юной героини, перед которой хотелось стать на колени.

«Да, вот она новая, давно ожидавшаяся мною эра в нашем движении,— думал я.— Не я ее вызвал! Она пришла сама. Да! Во всех своих переживаниях и настроениях за последние годы я был лишь один из многих, и то, что чувствовал я, чувствовали и все остальные мои товарищи среди этой убийственной бури гонений, поднявшейся вдруг против всей нашей учащейся молодежи, за ее стремление пробудить русский народ к гражданскому сознанию...»

И в первый раз во мне вспыхнул бессознательный порыв композиции... Я вдруг вполголоса стал напевать стихи, написанные здесь же, в Доме предварительного заключения, одним из самых юнейших моих товарищей — Павлом Орловым, составив для них в уме своеобразный музыкальный мотив:

Из тайных жизни родников
Исходит вечное движенье...
Оно сильнее всех оков,
Оно разрушит ослепленье
Людских сердец, людских умов,
Как в грозный час землетрясенье
Основы храмов и дворцов.
Оно пробудит мысль народа,
Как буря спящий океан,
И гневный крик его: «свобода!»
Нежданно грянет, как вулкан.
Хоть буря влагою богата,
Но ей вулкана не залить!
Так жизни вам не подавить
Решеньем дряхлого сената!..
Да! Пламя вспыхнет и сожжет
Все ваши храмы и темницы!
Да! Буря грянет и сорвет
С вас пышный пурпур багряницы!
Святой огонь любви к свободе
Всегда силен, всегда живуч,
Всегда таится он в народе,
Как под землею скрытый ключ!
Пред ним бессильны все гоненья,
Не устоит ничто пред ним:
Как искра вечного движенья.
Он никогда неугасим!

Усталый от движения и волненья, я, наконец, заснул.

9. Призрачное освобождение

На следующий день я встал в обычное время со своей койки. Мне подали чай, и я выпил его. Потом подали обед, и я его съел, как всегда. Стало смеркаться, и в опустевшей темнице по-прежнему все было тихо.

Не уводили ни меня, ни остальных трех товарищей.

Мы и в этот день вышли на прогулку в числе двенадцати человек, как было в прежние дни, но товарищи мои уже все были новые, из осужденных на долгие сроки, и я увидел, как переменились и осунулись за одну ночь их лица, хотя они все и старались показывать беззаботный вид. Мне больно было на них смотреть. Сделав, как и они, веселую физиономию, я стал мечтать с ними, как нас сошлют в Сибирь, и мы тотчас же убежим оттуда, чтоб тайно жить в Петербурге и продолжать дело, начатое теперь Верой Засулич. Но я чувствовал, что слова мои не доходят до глубины их ушей...

Страшно огорченный, я возвратился в камеру и начал читать книгу.

Часы в коридоре пробили шесть ударов, и на дворе была уже темная ночь.

Вдруг за моей дверью раздались шаги, громыхнул замок. Появившийся надзиратель принес мне мою собственную одежду, пальто и шляпу и сказал:

— Одевайтесь и пойдемте. Вас уводят отсюда.

— Куда?

— Не знаю.

Я быстро оделся и, как другие, крикнул в коридоре товарищам:

— Прощайте! Меня уводят!

Я не сказал им «на свободу», так как и сам не знал, куда меня теперь поведут.

В приемной ко мне подошел жандармский офицер и объявил, что должен везти меня в канцелярию петербургского градоначальника.

Меня посадили в карету с ним и двумя жандармами, и мы поехали.

Благодаря ночи, занавески кареты не были опущены, и я видел, как меня провезли по Литейному проспекту, потом по Невскому, завернули за угол Дворцовой площади и остановились у тех же ворот, к которым когда-то привез меня отец. Но комната, куда меня привели, была другая, и в ней я с радостью увидел тех самых троих своих товарищей, которых должны были увезти вчера, но не увезли, как и меня.

— Что с нами хотят сделать? — спросил Орлов.

— А вот посмотрим! — смеясь, ответил я, хотя на душе была тревога.— Во всяком случае не съедят!

Через полчаса нас пригласили в другую комнату.

— Распишитесь на этих бумагах,— сказал нам пожилой, сухой, начисто выбритый чиновник с кислым видом.

Мы взглянули на бумаги. В них с нас брали обязательство, под страхом подпасть под какую-то статью закона, что мы в три дня по прибытии на место избранного нами жительства сообщим в градоначальство свои адреса.

Мы расписались, и нас пригласили выйти на улицу, в сумрак ночи.

— Куда же мы теперь пойдем? — спросил Орлов.

— Поедемте к Перовской! Она теперь в доме Фредерикса, против Николаевского вокзала,— заметил Грачевский.

Мы вышли на Невский и сели внутрь конки. Благодаря тому, что большинство мест было уже занято, мы разместились друг против друга.

— А я уже думал, что нас повезли к градоначальнику только для того, чтоб отправить в административную ссылку,— сказал Грачевский.

— И я тоже! — заметил я.

— А как тяжело, должно быть, теперь оставшимся товарищам, после нашего освобождения! Я сам испытал это чувство, когда половина наших из Дома предварительного заключения исчезла. Так показалось одиноко! — продолжал Грачевский.

— Скажите,— обратился к нам незнакомый человек, лет тридцати, в очках, по виду учитель среднего учебного заведения,— вы, верно, выпущены по окончившемуся вчера большому политическому процессу?

— Да,— ответил Орлов.

Публика в конке сразу обернулась смотреть на нас. Все начали тесниться к нам и расспрашивать:

— Долго вы сидели в ожидании суда? — спросил господин в очках.

— Три года,— отвечал Грачевский.

Его ответ произвел очень сильное впечатление в публике. Все говорили:

— Это ужасно!

— Очень жестоко с вами обращались? — спросила меня соседка-дама.

В ответ я рассказал ей о поступке Трепова с Боголюбовым. Все в вагоне повскакали со своих мест и столпились около меня, заглядывая на меня через головы друг друга. Все они уже знали

из городских разговоров, что Вера Засулич стреляла позавчера в Трепова именно из-за этого самого события, о котором цензура не давала теперь ни слова писать в газетах.

Все возмущались Треповым и выражали нам самое горячее сочувствие. Я в первый раз понял здесь, как живительно действует на общественного деятеля настроение толпы. Когда, доехав до конца Невского, мы начали выходить, все внутри вагона пожали нам руки.

— Как переменилась публика за эти три года! — не мог не заметить я, когда мы вышли на площадь.

— Да, наше образованное общество, наконец, разбужено от своей спячки! — ответил мне Грачевский.— Но, к сожалению, по-видимому, еще нельзя сказать того же о рабочих и крестьянах, на которых мы более всего рассчитывали. Конечно, дойдет дело и до них, но только бы поскорей! Мне очень хотелось бы дожить до этого!

Мы вошли в один из лиговских подъездов огромного дома Фредерикса. Поднявшись по его небольшой лестнице, мы вошли в квартиру второго этажа, состоящую из трех комнат.

Еще раньше, чем отворилась на наш звонок дверь, мы могли по гулу голосов сообразить, что тут большое собрание.

И действительно, здесь присутствовало не менее тридцати человек из моих освобожденных вчера товарищей и несколько других, «со свободы». В числе последних был и мой лучший друг, Кравчинский, с которым разговаривали два незнакомых мне человека. Один из них, могучего роста, с большой огненно-красной бородой и волосами и сильно-басовым голосом, был назван мне Юрием Богдановичем, а второй,— худощавый, с прямолинейными чертами лица и скромным, застенчивым видом,— оказался потом Александром Соловьевым, стрелявшим через год в императора Александра II и затем казненным за это.

Все присутствующие, знакомые и незнакомые, бросились обнимать и целовать нас.

— Почему вас вчера не выпустили? Мы уже думали, что вас хотят сейчас же сослать административно! — воскликнула Перовская при виде нас.

— Не знаем! — отвечал я за всех и рассказал им о взятой с нас подписке.

— Я думаю,— сказал Кравчинский,— что никому из вас не надо посылать завтра заявление о своем местопребывании в Петербурге.

— Ходят слухи,— объяснил его слова Богданович,— что Третье отделение, осекшись с судом, решило расправиться с вами, выпущенными, посредством административной высылки.

Пусть думают, что вы сейчас же уехали к родным, в провинцию,— заметила Перовская,— и еще не успели послать им уведомления.

— А ты знаешь? — сказал мне Кравчинский, отведя меня в сторону.— Теперь, когда выпустили более половины нашего прежнего тайного общества, мы задумали вновь возобновить его, приняв в него также и часть выпущенных с тобою, не принадлежавших прежде к нам.

— Это очень хорошо! — ответил я.— Но только способ действий нам придется сделать теперь несколько более революционным, особенно после Веры Засулич, показавшей нам путь.

— Да,— сказал он,— и об этом у нас уже говорили и решили устроить два отдела: отдел пропаганды и отдел чисто боевой деятельности.

Мы незаметно возвратились к остальной публике и присоединились к общему разговору.

Весь вечер я провел, как в чаду. Кругом меня как будто еще стояли тени окружавших меня тесных тюремных стен, но эти стены были уже не вещественные, и сквозь них, как сквозь легкую дымку, была видна кругом меня кипучая жизнь. Фигуры окружающих меня старых и новых друзей, казалось мне, свободно входили и выходили сквозь эти дематериализированные, прозрачные тюремные стены кругом меня и двигались в них самих.

Смена привычного, окружавшего меня несколько лет, и нового, непривычного, была так необычайна, так странна! Но я крепко держал себя в руках.

При встрече с каждым прежним знакомым я напоминал ему о чем-нибудь таком, что, по моему мнению, должно было принести ему удовольствие, и осведомлялся о его новых планах.

— Решительно нельзя поверить,— говорили мне многие вечером,— что вы только сегодня вышли из трехлетнего заключения. Скорее кажется, что вы только что возвратились из-за границы!

И никому не пришло в голову, что вся окружающая толпа представлялась мне еще сквозь призраки моих привычных стен и что в глубине души, на самом ее дне, у меня лежала еще тюремная полумгла, из которой я только что вышел!

Переночевал я в эту ночь, вместе с двумя другими такими же бездомными выходцами, на одеялах, постланных нам на полу гостиной у Перовской, нанимавшей всю квартиру вместе с одной своей подругой.

На следующий день прибежал Саблин и повел меня к моим знакомым, Гольдсмитам, на Мойку, в редакцию журнала «Зна-

ние», где я уже раза два ночевал три с половиной года тому назад, когда мы с Саблиным уезжали за границу [35].

Там меня встретили, как родного, с объятиями и поцелуями. Редакция «Знания» была и теперь все та же. Все ее стены были по-прежнему установлены естественнонаучными книгами и журналами, влекшими меня к себе, как магниты. Большого труда стоило мне не броситься сейчас же рассматривать их, а поддерживать общий разговор в такой обстановке.

Призраки тюремных стен кругом меня, много раз казавшиеся мне реальностью в это самое утро, когда я неожиданно просыпался, стали как будто бледнее, и я уже с меньшими усилиями мог следить за нитью общего разговора в людных собраниях.

— Что теперь вы будете делать? Возвратитесь пока к отцу? — спросила меня г-жа Гольдсмит, высокая, стройная, красивая блондинка.

— Нет! — ответил я.— К родным я уже не могу возвратиться. Я разошелся с отцом, он два года не приходил ко мне и не был даже на суде.

— Он вас возненавидел за вашу деятельность?

— Нет! Я думаю, что он нарочно сделал так, чтобы поставить меня в безвыходное положение и принудить к полной покорности. Но он меня не понимает.

— Почему бы вам самим не сделать первого шага к примирению?

— Мне нельзя. Хотя в нашем расхождении я и считаю себя не менее виноватым, чем он, но я не могу сделать первый шаг именно потому, что нахожусь в условиях, когда примирение приносит мне большие материальные выгоды.

— Так что же из этого?

— Я могу дать право подумать, что извинился перед отцом с расчетом на них.

— Да, теперь я вас понимаю,— сказала она и пошла отдельно говорить со своим мужем.

— Живите здесь у нас, в редакционном кабинете,— сказал он, тотчас же подходя ко мне.— Кабинет почти все время стоит пустой, и вам удобно будет тут заниматься.

Это было сказано так радушно, что я с радостью согласился.

Редакция «Знания» стала моим временным домом. Я был в ней принят не как посторонний человек, а как давнишний член семьи. Через несколько минут мы все сели завтракать, а затем жена Гольдсмита ушла из дома что-то покупать по хозяйству.

Я поиграл несколько минут с ее дочкой Соней, заставляя ее подпрыгивать на колене, изображавшем верховую лошадь, и, наконец, сказал подошедшему ко мне Гольдсмиту:

— Пойду, посмотрю на «волю»!

— Куда думаете идти? — спросил он меня.

— Хотелось бы на взморье.

Он взял план Петербурга, и мы начали вместе искать по нему, где ближе пробраться к Финскому заливу. Оказалось, что самый кратчайший путь был идти на Подзорный или Лоцманский остров. Мы проследили его по плану, и я решил пройти пешком, обещав возвратиться на извозчике, если устану. Софья Ивановна,— так звали госпожу Гольдсмит,— только что возвратившаяся назад, заботливо положила мне в карман бумажку с их адресом, чтобы я не забыл в дороге.

— Мне самой нельзя уходить так далеко из-за дочери,— объясняла она мне,— а муж должен идти по делам к своему соредактору совсем в другую сторону.

Выйдя из подъезда вместе с Гольдсмитом, я распростился с ним и отправился направо, по набережной Мойки.

Мне очень нравилось идти так, одному. Отчего? От привычки к одиночеству? Нет! Совсем наоборот!

Главная причина заключалась именно в стремлении испытать настоящее физическое одиночество, которого я не знал целые годы в своей отдельной камере!

Тюремное изолирование есть лишь моральное одиночество, а не физическое. Главный ужас такого заточения именно и состоит в том, что физически вы никогда не бываете один! Вы всегда сознаете, что, невидимо для вас, каждый ваш шаг наблюдается чужим недоброжелательным глазом. Что бы вы не делали у себя в камере или на прогулке, изо дня в день, из года в год, вы находитесь всегда под непрерывным наблюдением ваших тюремщиков! Вот вы задумались о предметах, совершенно чуждых вашей темнице, и вдруг слышите, как кто-то подкрадывается в коридоре к двери, приотворяет клапан за стеклышком круглой дырки в ее середине, в ней показывается чей-то глаз, он смотрит на вас некоторое время... Затем клапан в двери снова закрывается, но лишь для того, чтобы открыться через несколько минут, а иногда и секунд, так как наблюдатель всегда хочет увидеть вас врасплох...

И это нескрываемое желание заставляет вас ненавидеть его от глубины души.

А на прогулке еще хуже! Там на срединной башне все время поворачиваются двое жандармов и смотрят на вас, почти не переставая.

Удивительно ли после этого, что хоть здесь, на городской улице, где никто никем не интересуется, мне захотелось, наконец, почувствовать себя совершенно одиноким?

И я шел по набережной все далее и далее, удивляясь, что никто не сопровождает меня сзади и не говорит, мне куда идти. Я свернул с Мойки влево по Английскому проспекту, большинство домов которого в то время были еще деревянные, как в пригородах, дошел до Екатерининского канала и повернул по нему направо, к морю.

И вдруг я остановился, как вкопанный. На помрачавшемся уже сером фоне неба я с невольным замиранием сердца увидел величественное здание из темно-красного некрашенного кирпича, стоявшее отдельно на площади, на берегу канала, и напоминающее своей высокой башней средневековый замок. Оно стояло в углу, между двумя каналами, и через ближайший из них был перекинут живописный каменный мост, с четырьмя башнями, соединенными друг с другом, как гирляндами, железными высокими цепями. Я сразу узнал это здание!

Это была Коломенская часть, в темнице которой, во внутреннем дворе, я провел первый месяц своего одиночного заточения.

Мне вспомнилось мое наивное опасение в первые дни неволи, что меня будут пытать по-старинному, огнем и железом, для того, чтобы добиться от меня выдачи товарищей. Я не знал еще тогда, что самая худшая пытка — это долгое умственное и физическое бездействие, вынужденная немота при имении языка и моральное одиночество под непрерывным наблюдением врага, не спускающего глаза с вашего вынужденного им бездействия.

Мне вспомнилось, как голодно мне было здесь, вспомнился первый товарищ заточения Кукушкин, считавший меня счастливцем среди остальных заключенных за то, что у меня нет родных, приходящих на свидание, бросающихся на колени и умоляющих с потоками жгучих слез выдать всех своих товарищей, чтобы спастись самому!

«Бедный Кукушкин,— подумал я.— Ты уже два года, как умер в этой темнице от тоски и начавшейся чахотки, и твои «непонимавшие» родные остались неутешенными тобою. Поняли ли, наконец, они тебя хоть после твоей смерти? Кто-то сидит теперь здесь на твоем и моем местах? Тоскуют ли и они теперь так же, как когда-то мы с тобой?»

Мне страшно захотелось думать, что этого нет, что более уже никто здесь не сидит из политических заключенных.

Но я потом узнал, что ошибался, что там сидят и до настоящего времени.

Я прошел мимо этого, так памятного мне здания, миновал живописный мост и направился по берегу сливающейся здесь

с Екатерининским каналом Фонтанки. Сотни мачт поднимались сплошным лесом от тесно поставленных здесь на зиму и вмерзших в лед небольших парусных судов.

Я прошел далее, и вот передо мною открылась бесконечная равнина — замерзший Финский залив.

Все небо быстро заволакивалось облаками. По его западной части тянулась низкая, резкая, как будто прищемленная между нависшими тучами и замерзшим морем, кроваво-красная, узкая полоска вечерней зари, придававшей снежной морской равнине аловатый отблеск.

Я спустился по деревянным ступенькам первобытной набережной на лед и с невольным опасением провалиться в какую-нибудь занесенную снегом старую прорубь, пошел вдаль по окованному льдом морю.

Какая разница была между этой пустынной равниной, в которую я все далее и далее уходил по узенькой тропинке, и оставленным сзади меня волнующимся, огромным городом! Вот здесь я был уже совершенно один, совершенно свободен от какого-либо заметного или незаметного для меня полицейского или человеческого надзора. Передо мною и кругом меня была одна стихийная природа!

Мне показалась совершенно невероятной эта противоположность между тем, что находилось впереди меня, и тем, что оставалось сзади!

Сзади, освещенные лучами догорающей подоблачной зари, виднелись в полумгле главы соборов, тесные ряды скучившихся человеческих жилищ, идущих на много верст, а впереди, передо мною, одно царство стихийных сил! Свежий ветерок дул на меня с моря, как когда-то в покрытых снегом равнинах моей родной усадьбы. В пустынной дали передо мною делалось все темнее и темнее, а сзади меня все ярче и ярче разгорались огни городских фонарей.

«Прощай пока, замерзшее море! До свиданья, заря! — мысленно говорил я, готовый повернуть назад.— Теперь я вновь могу видеться с вами!»

Вдали, налево, вырисовывались на фоне неба лишенные листьев заросли кустарников и какого-то лиственного леска. Я простился и с ними и отправился обратно в город.

Вот я вновь на его улицах, как будто в широких оврагах, и мне стало грустно, что люди не придумали еще устраивать городских улиц на плоских крышах домов, приведенных к одному уровню. Там было бы так хорошо ходить и видеть вокруг себя широкий простор, как будто в равнине!

Я взглянул на часы. Было лишь начало шестого.

Случайный прохожий указал мне, как найти здесь недалеко конку по Садовой улице, которая вывезет меня на Невский проспект. Оттуда я решил пойти пешком на «Пески», к юным курсисткам, которые через моего товарища Никифорова звали меня к себе еще вчера, когда я виделся с ним у Перовской. Мне очень хотелось, как когда-то за границей, в эмиграции, освежить свою душу в кругу совсем юной молодежи, для которой все впереди и ничего позади. Часам к шести я уже звонил у дверей в их квартиру.

Я думал, что и теперь, как в те дни, когда я казался еще почти мальчиком, молодые девушки будут сейчас же тормошить меня и наперерыв расспрашивать обо всем, а затем и сами будут говорить друг с другом, а я буду их слушать и отдыхать душой. Но я не предусмотрел — увы! — одного обстоятельства. Теперь у меня уже выросли усы и небольшая бородка, меня только что судил сенат и нашел виновным в политическом заговоре. Я теперь был для них, курсисток первого курса и гимназисток, уже патентованным деятелем, даже героем и, кроме того, к довершению всех бед, еще и признанным «поэтом», так как сборник «Из-за решетки» лежал тут же у них на столе и открыт был как раз на отделе моих стихотворений!

Все эти восемь или десять милых девушек встретили меня с самым стеснительным, с самым почтительным благоговением.

Они сейчас же усадили меня посредине единственного своего дивана, на который никто из них не решился сесть рядом со мной и все явно не знали, что им теперь с собой делать?

«Что такое случилось? — мелькнуло у меня в уме.— Ведь до заточения было много лучше! Теперь они, очевидно, составили обо мне какое-то преувеличенное представление. Они боятся сказать при мне что-нибудь глупое, и все смотрят молча мне в рот, ожидая, что из него будут вылетать слова удивительной премудрости, которые надо запомнить и пересказать завтра подругам!»

Все было совершенно так же, как и со мной в первые недели моего знакомства с Клеменцом и Кравчинским, когда я тоже смотрел им в рот с тем же самым ожиданием великой премудрости и должен был побеждать свое смущение!

«Как же мне,— ломал я себе голову,— проломить эту стену, поднявшуюся между мной и ими?»

Я стал расспрашивать их о курсах и о том, чем они более интересуются, и они мне отвечали на все вопросы... Но было видно, что им хотелось не самим рассказывать, а слушать меня... Спрашивать же они не решались, а я, без специальных вопросов, почти никогда ничего не умел рассказать другим о своем личном

прошлом. Мне всегда это было как-то неловко, словно я хвастаюсь чем-то.

Да! Мне очень не понравилось мое новое положение.

«Бедный я, бедный! — думал я.— Вот они ждут от меня умных речей. А мне в голову ничего не приходит умного, а только одни глупости... Вот мне хотелось бы с радости, что я на свободе, что никто за мной не ходит сзади, схватить поочередно каждую из них за руки, повертеться с ними по комнате, как было при первом моем выходе с такими же юными курсистками, чтобы всем нам было смешно сначала, а потом мы стали бы от этого чувствовать себя друг с другом совсем просто!»

Однако мне надо же чем-нибудь оправдать и их ожидания, а то еще подумают, боже сохрани, что я не считаю их достойными серьезных разговоров! Noblesse oblige! * — говорили старинные французы. Мне необходимо теперь хоть что-нибудь рассказать им.

Я стал ломать себе голову и решил воспользоваться своими мыслями при возвращении сюда. Я им рассказал, как только что ходил на взморье, видел средневековый замок на берегу канала, где я впервые был заключен; рассказал им о бедном Кукушкине, о море, скованном льдом, и о мысли на возвратном пути об устройстве будущих городов.

— Все крыши домов,— закончил я,— надо будет построить в один уровень, и все они будут плоские, как в восточных странах, или лучше сказать, как палубы пароходов, непроницаемые для воды. В каждый дом будет вход со средины его крыши, как в каюты пароходов, и, кроме того, будут из каждого дома выходы снизу на улицы, как теперь. По нижним улицам будут ездить, а на верхних исключительно ходить. С них будет замечательный вид на высокие куполы разных общественных зданий, поднимающихся здесь и там выше остальных домов и построенных на площадях, как теперь соборы. Через перекрестки улиц будут переброшены легкие мостики, чтоб по крышам можно было, не сходя вниз, обойти весь город. Посредине крыши будут сделаны клумбы из наносной земли с цветами и низкими кустарниками, чтобы не заслоняли вида вдаль, а по краям протянутся легкие, красивые перила, как у балконов, чтоб не упасть нечаянно, и тут же будут среди цветов и кустарников расставлены везде скамейки, чтобы можно было отдохнуть, как теперь на бульварах.

— А внизу, на земле, посредине каждого квартала надо будет развести сады из цветущих и фруктовых деревьев и сделать

* Положение обязывает.

выходы сквозь ряды домов со всех четырех сторон в виде высоких арок, так, что, кто желает, может идти по крышам, или ехать по улицам, или, наконец, по садам, внизу, переходя из средины одного квартала в другой сквозь эти арки. Для разнообразия можно будет располагать дома в некоторых городах и не четырехугольниками, а шестиугольниками, как пчелиные соты. Посредине каждого шестиугольника будет сквер с арками на все шесть сторон, против арок в соседних шестиугольниках. Это будет даже удобнее, чем квадраты, так как во всяком косом направлении будет ближе пройти или проехать. Надо будет и самые дома делать огромные, чтоб каждый дом занимал всю сторону своего квартала или шестиугольника, и тогда выходные лестницы сверху и снизу для всех этажей можно будет делать только по углам. И все эти милые девочки слушали мои мечты, как слова пророка, пришедшего возвестить им то, что непреложно должно совершиться, и глаза их сияли, устремленные в даль, в глубину таких прекрасных времен.

«Да,— пришло мне в голову,— молодость, как волна, вечно катится по человеческим поколениям из прошлого в будущее, и эта волна никогда не спадает и не выравнивается, всегда одна и та же, хотя и несется через каждые пять-шесть лет уже по другим жизням! И никакими силами не уничтожить в человечестве этой волны молодости и свежести и не превратить его в стадо скотов, заботящихся лишь о своей пище!»

К нам пришел один из выпущенных со мной товарищей, Орлов, которого они видели вчера и потому менее стеснялись с ним, чем со мною.

Он начал рассказывать что-то смешное. Лед был, наконец, проломан, разговор сделался более общим. Более смелые из курсисток тоже начали кое-что нам рассказывать, и мне было очень заметно, как они заранее взвешивали каждое свое слово и старались непременно выражаться закругленными оборотами с придаточными предложениями в каждой фразе.

— Ты заметил,— сказал я Орлову, уходя от них в двенадцатом часу вечера к Перовской,— что теперь я в новом положении! Юная молодежь не хочет более признавать меня за равного среди них, равных.

— Да и меня тоже! — ответил он.— Мне вчера в первый раз было у них совсем неловко. Да и теперь, ты можешь быть уверен, что все наши слова они уже обсуждают между собою, а нас не пригласят на эти обсуждения. Мы их будем теперь стеснять своим присутствием.

Мне стало жалко прошлого, жалко того времени перед самым моим заточением, когда у меня не было еще ни бороды, ни усов

и никаких печатных произведений, когда никто не смотрел мне в рот при разговорах.

Придя к Перовской, я начал горько жаловаться на свою долю обычному своему поверенному тайн — Сергею Михайловичу Кравчинскому.

— Успокойся,— сказал он мне.— Это только при первом знакомстве. А через несколько дней простого товарищеского отношения молодежь почувствует себя с тобой совершенно свободно и воздаст сторицею за свою сдержанность в первые дни. Все это я знаю по собственному опыту.

В комнату быстро вошел, почти вбежал Юрий Богданович, весь красный от зимнего воздуха и быстрого движения.

— Неприятная новость! — сказал он.— Некоторых из вас, выпущенных судом, уже решено административно выслать на жительство в Архангельскую и Вологодскую губернии. У меня записаны пять первых кандидатов в ссылку. Жандармский офицер, сообщивший это одному моему знакомому, говорит, что через несколько дней к вам присоединят и других, и тогда всех вышлют одновременно. А пока все держат в тайне. Вот те, которых уже решено выслать.

Он прочел пять фамилий по бумажке. Там была и моя. Она меня не удивила.

Известие Богдановича лишь на несколько минут взволновало меня, но я его ждал с самого выпуска по теоретическим соображениям.

Я ни на минуту не поверил в возможность умиротворения душ у нашей администрации после того, как суд выбросил нас на улицу, вырвав из ее рук. Как могут все эти Фамусовы и Молчалины отказаться от своих карьер, которые легче всего устроить на походе против передовой части общества, против рвущейся вперед молодежи.

Во всех отсталых монархиях будущее страны приносилось бюрократией в жертву династиям, от которых они питались; в передовых же странах сами династии приносили Фамусовых и Молчалиных в жертву стране добровольно или насильственно. У нас же в то время, как я инстинктивно чувствовал, был первый период, и никто не собирался приносить в жертву стране ни одного из этих спасителей «существующего строя».

Я возвратился к Гольдсмитам лишь в первом часу ночи, и мы все почти сейчас же разошлись спать по своим комнатам. Мне была приготовлена постель на большом, мягком диване редакционного кабинета под дубовыми полками библиотеки с такими привлекательными для меня естественнонаучными названиями на переплетах книг.

Но, несмотря на первое побуждение, я теперь не прикоснулся к ним.

Я боялся, что они вновь повлекут меня к себе.

Призраки тюремных стен уже совсем побледнели кругом меня.

Я чувствовал, что новая жизнь предъявила на меня свои властные права, не дав мне даже и нескольких дней для отдыха после долгого заточения.

Она уже требовала от меня продолжения той опасной работы, которую я начал юношей, четыре года тому назад; она требовала, чтобы я все далее и далее шел по той же тернистой дороге, на которую был брошен судьбою, шел по ней до тех пор, пока не погибну в пути или не достигну конечной его цели: света и свободы для своей родины!

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

XII. Невозвратно былое[36]

1. Мысли

Зачем я пишу о своем прошлом? Ведь кто оглядывается назад на жизненном пути, тот превращается, как жена Лота в библейской легенде, в каменный столб.

А я не хочу еще окаменевать!

Глядеть вперед — остается по-прежнему моим девизом, и я следовал бы ему и теперь, если б новое заключение в крепость не помешало мне работать для науки, как было последние шесть лет моей «новой жизни». Свою личность, свои приключения, свои маленькие радости и страдания я не счел бы достаточно важными, чтоб останавливать на них внимание читателя. Я предпочел бы предложить им что-нибудь посильнее из великой области науки.

Однако, что же мне теперь делать, когда, снова запертый в крепости, я не могу пользоваться безусловно необходимыми мне научными источниками и материалами. И вот, по совету Ксаны и главным образом для нее, я и решаюсь написать о пережитом мною. И прежде всего я расскажу о том, как в своей прежней жизни я раз оглянулся именно назад, и в результате хотя и не обратился в каменный столб, но пережил ряд тяжелых дней, пока опять не стал глядеть исключительно вперед и вперед.

Все это совершилось уже давно...

Мне трудно было бы вспомнить об этом на свободе среди ежедневных впечатлений жизни. Но здесь, под сводом крепостной камеры, среди тишины и уединенья, где никто, кроме часовых, не мешает моей мысли свободно уноситься в прошлое, трудное становится почти легким.

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток[37].

Не все в этом свитке ясно, многие места почти совсем стушевались, я уже не могу назвать некоторых местностей и фамилий

сотен и даже тысяч виденных мною лиц и не могу припомнить всего того, что говорил и думал за то время, и всего, что слышал от других.

Вот почему я пишу здесь так, как делают новейшие живописцы — «крупными мазками».

А это значит следующее.

У каждого из нас сохраняются на всю жизнь подробности тех случаев, когда мы переживали особенно сильное волнение, особенно сильные опасности, особенно сильные радости. Каждое произнесенное в такие моменты слово и каждая присутствующая фигура выгравировываются ярко и выпукло в нашем мозгу.

У меня было много таких переживаний и потому много осталось и чрезвычайно отчетливых воспоминаний. Они и есть мои «мазки». Только такие моменты я и описываю и описываю их совершенно так, как они представляются теперь в моем уме, оставляя в стороне все промежуточное, не ярко запечатленное, выбрасывая его за борт, как ненужный балласт.

В таком смысле пусть и понимает мой рассказ читатель. Он написан, повторяю, не потому, чтоб я хотел остановить всеобщее внимание на моей личной судьбе, а потому, что мне не дают работать для великих научных идей, посадив меня снова в крепость.

Итак, мой рассказ — не фотография, он не претендует на полноту и детальность, но, насколько я могу судить о нем, он похож на пережитую мною действительность, как портрет, написанный художником новой школы, на свой живой оригинал.

2. Появление Веры

— Итак, едем в Тамбов? — говорила мне Вера, когда мы переходили с ней в марте месяце по занесенному свежим снегом Невскому проспекту из квартиры Перовской на Знаменской площади к Гольдсмитам на Мойку.

— Да, едем! — ответил я, не будучи в силах противостоять ее обаянию, хотя внутренне мне хотелось остаться в Петербурге, так как после выстрела Веры Засулич я инстинктивно чувствовал, что центр революционной деятельности переносится в города и что пропаганда среди крестьян Тамбовской губернии, куда тянула меня за собой Вера, не принесет ожидаемых ею результатов.

Но Вера не была еще в народе, и ей так хотелось испытать то, что испытали ее предшественники. Она вся была под влиянием прежних призывов в деревню, в серый народ. Эти призывы продолжали еще звучать в заграничной литературе, хотя прак-

тически в народе продолжали работать лишь очень немногие, а большинство уже искало новых путей среди более подготовленной к восприятию великодушных идей интеллигентной части населения.

Но я чувствовал к Вере такую любовь и такое обожание, после того, как она с риском для своей собственной свободы явилась год назад в мою темницу, обманув тюремщиков, что, выпущенный только что на свободу после трехлетнего заключения и не успевший еще хорошо ориентироваться в окружающем, я отдал себя сразу в ее распоряжение. Сознание этого подчинения делало меня счастливым.

«Хоть и не на таком деле, какого я желал бы теперь для себя,— думалось мне,— но я буду с нею всегда вместе и, может быть, даже когда-нибудь спасу ее от гибели, пробравшись к ней, захваченной врагами, в место ее заключения».

— В Тамбовской губернии нам будет очень хорошо,— продолжала Вера.— Богданович, Соловьев и Иванчин-Писарев устроятся сельскими писарями, ты народным учителем, я фельдшерицей. Мы все начнем новую крестьянскую организацию, и, благодаря нашей теперешней опытности, она не погибнет, как прежние.

— А кто этот Девель, который обещал устроить нас? — спросил я ее.

— Это влиятельный тамбовский земский деятель. Через него мы получим свои места не позже наступления весны.

Ее щеки разгорелись от мороза и увлечения, глаза блестели. Было явно, что она отдалась теперь так же безраздельно заговорщической деятельности, как перед этим отдавалась медицине, пока арест всех ее подруг не сделал для нее нравственно невозможным довести до конца ее первоначальную задачу — быть врачом.

У Гольдсмитов мы встретили двоих из наших предполагаемых компаньонов — Юрия Богдановича и Соловьева. Они сидели за обеденным столом, к которому присоединились и мы.

— Сегодня вечером,— сказал мне Богданович,— Каблиц читает свою программу народнической деятельности и очень просил тебя прийти и послушать.

— С удовольствием! Но я плохо еще знаю Петербург. Может быть, пойдешь и ты?

— Непременно. И Соловьев тоже, да и Писарев хотел тоже. Мы все там будем.

Меня очень заинтересовала вечеринка у Каблица. Я никогда еще не был на подобных теоретических дебатах и, кроме того, мне очень хотелось послушать программу новой революционной

деятельности, представлявшуюся мне в довольно туманном свете после долгого отсутствия из реальной жизни, так как в мою камеру в Доме предварительного заключения долетали лишь слабые отклики окружающего мира.

«Теперь,— думал я,— познакомлюсь сразу с идейной стороной еще незнакомого мне нового поколения нашей учащейся молодежи».

К десяти часам вечера мы трое вместе с пришедшим к нам потом Иванчиным-Писаревым были уже на квартире у Каблица, лысого, худощавого человека средних лет, с острым носом и в очках.

Все его три комнаты были наполнены полусотней молодых людей обоего пола, носивших явные признаки курсисток и студентов, хотя у студентов в то время и не было еще форменных мундиров. Большинство их сидело на стульях, диванах, сундуках, окнах, комоде и постели Каблица в последней комнате и даже прямо на полу, по углам, а остальные говорили между собой, стоя группами. Гул голосов несся по всем направлениям, и это, вместе с теплой, влажной атмосферой множества дышащих в комнате человеческих легких, напомнило мне пчелиный улей.

Сам Каблиц, весь красный и взволнованный предстоящим чтением своей программы и неизвестностью ожидающего ее приема, переходил от одной группы к другой. Он старался делать вид, что интересуется разговорами, и вставлял в них с этой целью две-три незначительные фразы.

Увидев нас, входящих, он сейчас же бросился к нам, обнял меня и горячо пожал мне руку.

Вся публика на минуту замолкла и тоже оборотилась к нам, с любопытством рассматривая меня и моих товарищей как единственных незнакомцев в их молодой среде и, по-видимому, принимая не только меня, но и остальных, пришедших со мною, за выпущенных из заключения. Потом, как будто порыв ветра среди деревьев, пронесся по всей толпе шёпот, в котором мне не трудно было расслышать мою фамилию, произнесенную несколько раз. Очевидно, кто-то из знавших меня сообщил обо мне своему соседу, и это сведение волной проносилось от одного к другому.

Мне сейчас же пришла мысль, что квартира Каблица была так набита молодежью не ради одного чтения его программы, а и с целью посмотреть на «необычного гостя с того света», о предстоящем посещении которого хозяин, очевидно, предупредил своих «званых».

Это всеобщее внимание очень трогало меня, но также и сильно смущало.

Я еще не привык тогда к публичным выступлениям, но деликатная по природе молодежь, после первого непроизвольного выражения интереса сейчас же сделала вид, что обратилась к своим прерванным разговорам, и только украдкой тот или другой снова поглядывал на нас. Мы были представлены нескольким наиболее выдающимся здесь лицам и затем приглашены к столу с большим самоваром, где приветливо улыбающаяся курсистка налила нам по стакану чаю.

— Господа! — взволнованно и громко сказал, наконец, Каблиц.— Может быть, мы начнем? Программа, предупреждаю, длинная, и надо, кроме того, оставить время для дебатов. А теперь уже позднее время.

— Да! Да! Начинайте! — раздались отовсюду голоса.

Он вынул из шкатулки пару очень толстых тетрадей, разложил их на столе перед лампой с зеленым абажуром, и прерывающимся от волнения голосом, с каплями пота, выступившего на его лысине, начал читать свое произведение.

Его программа исходила из того положения, что социалистическая пропаганда в русском народе излишняя, так как народ и без этого социалист. Поэтому проповедь социалистических идей в нем следует совсем оставить и заменить ее агитацией, т. е. призывом к деревенским восстаниям, к бунтам против ненавистной простому народу мелкой провинциальной администрации.— При подавлении таких восстаний центральной властью возникнет,— утверждал он,— и общее восстание.

Уже через четверть часа после начала его чтения я не мог не отметить в своем уме, что его программа была написана очень «обдуманно», с большой эрудицией и еще бо́льшими цитатами из трудов русских и иностранных ученых. Но она была так пространна, что из-за окружающего гарнира почти совсем не видно было преподносимого нам основного кушанья. Молодежь, сначала слушавшая в гробовом молчании, мало-помалу начала, как и всегда бывает при растянутых и скучных чтениях, различные частные разговоры вполголоса, и вскоре гул, несшийся из отдаленных углов и соседних комнат, сделался непрерывным, несмотря на тсыканье нескольких более внимательных слушателей.

— Тише! Тише! — раздавался время от времени чей-то глубокий бас, но и от него гул замолкал лишь на минуту.

Я с моими спутниками должен был подвинуться ближе и прислонился к печке, где очутился между Богдановичем и Соловьевым.

— Судя по толщине остающейся части тетради,— сказал мне шёпотом Богданович,— у Каблица остается читать не менее

трети всего написанного, а у меня уже подкашиваются колени. Прошло не менее двух часов.

— Так садись на пол, как другие.

— Нет, уж как-нибудь выстою. Но только невозможно преподносить публике такие длинные вещи. Никакое усилие ума не выдержит. У меня давно все спуталось в голове. Мое внимание обратилось, главным образом, на то, скоро ли он перевернет следующую страницу, и не окажется ли на ней вдруг конец, а далее уже чистая бумага.

— Не надейся! — ответил Иванчин-Писарев.— Тетрадь наверно дописана до последней страницы!

Наконец, по общему правилу, что все на свете кончается, часа через три был прочитан и последний лист тетради.

— Господа,— сказал публике Каблиц, снова отерев с лица пот,— сделаем перерыв на четверть часа, а потом начнем дебаты.

Он явно устал, и голос его едва звучал на последних страницах.

Когда через полчаса были приглашены желающие сделать возражения или замечания, наступило гробовое молчание. Казалось, что никто из присутствовавших не составил о новой программе никакого мнения.

— Так, господа, никаких замечаний нет? — спросил автор обиженным голосом и вдруг с отчаянием направил свой взгляд прямо на меня, как бы прося сказать хоть одно слово.

Я готов был провалиться сквозь землю. Выйдя на свободу после трехлетнего одиночества и придя сюда не для дебатов, а специально для ознакомления с вопросами текущей жизни, я не мог броситься сразу в полемику по современным программным предметам, которые были для меня еще совершенно новы.

Конечно, я мог ему сказать, как и тогда думал, что ближайшее будущее должно принадлежать не пропагандистам и не агитаторам в деревенском народе, а Вильгельмам Теллям и Шарлоттам Корде. Но ведь и в этом еще не могло выработаться у меня твердой уверенности, в особенности в последние дни, когда благодаря выпуску большинства моих товарищей на свободу, затихло чувство мести и все кругом мечтали лишь о том, чтоб броситься вновь в крестьянский мир, жить его жизнью, болеть его страданиями, когда и я сам, увлеченный Верой, собирался завтра ехать в Тамбовскую губернию в народные учителя.

Я совершенно растерялся от его неожиданного обращения ко мне.

Я был еще слишком неопытен для того, чтобы оценить свое положение здесь. Я никак не мог сообразить, что в глазах всей этой молодежи я был вовсе не новорожденным младенцем, впер-

вые глядящим на белый свет, каким я сам себя считал в первые дни своей новой свободы в конце семидесятых годов.

Я был для них не пропустивший три учебных года ученик, желающий прежде всего догнать ушедших вперед товарищей, приглядеться к новой для него жизни, чтоб черпать из нее для себя указания, а ветеран недавних героических дней, о которых еще громко звучала молва среди этой новой, юной, любящей и верящей молодежи.

Я не знаю, начал ли бы я с отчаянием в душе откровенно излагать только что выраженные здесь мною мысли и этим сразу уронил бы не только свой престиж, но и всего своего поколения, но вдруг меня выручил Богданович.

Стоя рядом со мной, он умышленно принял взгляд Каблица на свой счет и сказал ему в ответ первые пришедшие ему на ум слова, явно не взвешивая их, а просто стремясь из доброжелательства выручить его.

— У вас говорится,— пробасил он,— что ворота в крестьянских избах отворяются на две створки. У нас в северной России только на одну!

— Но это не важно! — ответил с досадой Каблиц, не понявший его побуждений.— Мне бы хотелось выслушать замечания по существу моей программы.

Он вновь обвел всех взглядом, как бы умоляя высказаться и поспорить с ним и между собой. Опять наступило неловкое молчание, которое было, наконец, прервано из средины толпы чьим-то тоненьким, женским, взволнованным от публичного выступления голоском:

— Я нахожу, что программа очень хорошая!

Этим и закончились дебаты. Все начали прощаться и уходить, очевидно, так и не уяснив себе, как им относиться к прочитанному.

— Почему вы ничего не хотели сказать по этому поводу? — сказал мне вполголоса Каблиц, когда я тоже подошел к нему прощаться.— Вы этим очень обидели молодежь, пришедшую в таком необычайном количестве, главным образом, чтобы выслушать ваше мнение о моей, уже давно известной им программе.

— Но я сам пришел сюда учиться,— также шёпотом ответил ему я.— Ведь я пока совсем новичок в окружившей меня теперь жизни. Мне надо еще ориентироваться в ее течениях, чтобы составить свое мнение о современных вопросах. Я не могу и не хочу спорить с вами, а только пришел принять к сведению все, что вы говорили.

Он с изумлением взглянул на меня. Я видел ясно, что и для него мое чисто изучательное отношение к делу оказалось

совершенно неожиданным. И он, очевидно, тоже думал, как и остальные, что, едва поставив одну ногу за порог моей темницы, я тотчас встану в ораторскую позу и начну греметь на митинговых собраниях о таких предметах, о которых до сих пор ничего не слыхал и ничего не думал.

«Да, положение мое в Петербурге совсем фальшивое,— решил я, уходя с собрания.— От меня здешняя молодежь ждет не то каких-то откровений, не то каких-то демосфеновских упражнений в красноречии, одним словом, чего-то такого, чего я ей никак не могу дать в настоящее время. Хорошо, что я уеду теперь с Верой в деревню. Там мы, наверное, будем обнаружены полицией очень скоро, если будем добросовестно организовывать народ для революции, и тогда убежим обратно сюда. Мой процесс и трехлетнее заключение уйдет тогда уже в область преданий и на меня не будут более смотреть, как на какое-то чудо-юдо. Да и сам я успею ориентироваться в положении дел и окончательно выясню себе, что нужно теперь делать».

3. *По старому пути*

И вот снова помчались вагоны во мраке ночи, как в те дни, когда они везли меня в заключение, и повлекли теперь в Москву всю нашу небольшую компанию. И снова, как три года тому назад, за моим окном неслись тысячи искр, выброшенных локомотивом, и сопровождали поезд роями, как светящиеся насекомые.

Но тогда я ехал из страны свободы, из родины Вильгельма Телля во мрак заточения, и поэтический образ Веры носился предо мною лишь в одном воображении, а теперь, наоборот, темное царство неволи, оставшееся позади, только сопровождало меня, как постепенно бледнеющая тень на фоне моего светлого душевного настроения, а предо мной, на противоположной скамье нашего «третьего класса для некурящих» сидела сама реальная Вера и тоже задумчиво глядела в окно на сверкающие во тьме искорки.

Могучая фигура Богдановича, с его густыми, непослушными светлыми волосами и огненно-красной широкой бородой, находилась рядом с нею. Иванчин-Писарев сидел на одной скамье со мной, а Соловьев, застенчивый и молчаливый, как всегда приютился на противоположной стороне вагона и слушал рассказы Писарева о его заграничной жизни. Соловьев мне особенно нравился своей мягкой вдумчивостью и приветливостью. Его молчаливость явно не была результатом ограниченности. Нет! Когда

его спрашивали о чем-нибудь, он всегда отвечал умно или оригинально, но и он, как я, и даже несравненно больше, любил слушать других, а не говорить им что-нибудь свое.

Мы все теперь считали себя снова вступившими на трудный и тернистый путь пробуждения к жизни простого народа. Мы отправлялись для этого в деревню, на лоно природы, подальше от шумных и кипучих городов. Большинство из нас совсем не предчувствовало, что царящие кругом темные силы произвола уже были готовы выбросить нас вновь из деревни, одного за другим, в те же самые города, откуда мы так стремительно бежали. И если б сама тень Вильгельма Телля поднялась вдруг перед нами в искристой тьме за окном вагона со своим первобытным луком и стрелою и показала нам обратный путь, то мои товарищи еще не поняли бы ее таинственного знака, а я, уже три года призывавший эту тень, не был бы в состоянии их оставить на этом невинном пути.

— Думаешь ли ты,— спросил меня вполголоса Богданович,— что года в три нам удастся вполне организовать для революции те волости, в которые мы на днях поступим?

— Не знаю,— искренно ответил я.

— Ну, конечно! — заметил Иванчин-Писарев.— В первое время, по крайней мере полгода, нам надо будет только наблюдать и высматривать надежных людей среди крестьян, а больше всего избегать всяких, хотя бы самых малейших, соприкосновений с местной радикальной молодежью. Там все сейчас же выболтают, и мы провалимся, как и все пропагандисты, действовавшие среди крестьян до нас.

Богданович оглянулся назад, чтобы посмотреть на публику за своей спиной, и, убедившись, что там едет только дама с тремя детьми и что гул движущихся вагонов совершенно заглушает наши голоса, тоже присоединился к разговору.

— Удобнее всего вести подготовку будет ему,— и он кивнул головой на меня.— Народные учителя соприкасаются с таким отзывчивым элементом, как крестьянские подростки.

— Не вполне с этим согласен,— ответил ему Писарев.— Волостные писаря теперь играют в деревне несравненно более важную роль. В их руках вся крестьянская общественная жизнь. Честный и доброжелательный писарь вызовет к себе несравненно больше уважения крестьян, чем самый лучший учитель. Если б у него,— и он тоже кивнул на меня,— была более подходящая фигура для простого человека, то и ему я посоветовал бы, как тебе, непременно поступить именно в писаря. Но, к сожалению, его внешность подходит только для учителя.

Он улыбнулся каким-то своим мыслям.

— Помнишь, как ты обливался у меня в усадьбе водой и ложился потом на солнце, чтоб огрубела кожа? — шутливо, по обыкновению, спросил он меня.

— Разве он действительно обливался? — спросил Богданович.

— Пустяки,— поспешно ответил я, боясь, что Вера примет шутку за серьезное.— На солнце действительно лежал часто, я это люблю, но обливался разве только своим собственным потом.

Так летели мы по железным рельсам все далее и далее, то строя серьезные планы, то просто в разговорах, пока не доехали через два дня до цели нашего пути — Тамбова, где под вымышленными именами остановились в номерах местной гостиницы. Оставив Богдановича и Соловьева здесь, Иванчин-Писарев, Вера и я отправились сейчас же на квартиру к Девелю, давно обещавшему пристроить писарями и народными учителями несколько человек из наших.

— А, здравствуйте! — воскликнул он приветливо при виде нас.— А я уже думал, что вы совсем не приедете сюда.

— Нет! Мы непременно хотим воспользоваться вашим предложением,— ответил ему Писарев.— Вот вам фельдшерица, вот народный учитель! Сам я — волостной писарь и еще два таких же писаря остались в гостинице.

— Так много? — испуганно заметил Девель.— Уж, право, не знаю, как удастся устроить всех!

Несмотря на свою страшную фамилию,— по-английски обозначающую дьявола, наш хозяин оказался самым добродушным человеком и притом, по моему впечатлению, после получаса разговора, более способным мечтать о великих делах, чем способствовать их практическому осуществлению.

Это вполне и оправдалось потом на деле.

Целых три недели прожили мы в Тамбове и, кроме искренних и добросердечных обещаний, повторяемых каждый день, не получали от него ничего существенного. Строго соблюдая свое инкогнито, мы совершенно устранились от сношений с местной молодежью и интеллигенцией, за исключением самого Девеля, и, перебравшись для дешевизны из гостиницы в отдававшийся в наем частный дом, мы стали жить в нем, как в монастыре.

— Пойдем хоть прогуляемся за город! — сказала, наконец, мне Вера.— А то совсем заплесневеем, ходя только к этому медлительному «Дьяволу» и обратно к нам.

И вот, бросив первоначальную систему никому не показываться до отъезда на место, мы пошли на окраину города и направились далее по прилегающей к нему проселочной дороге.

Был ясный мартовский день. Мне отрадно было идти вдвоем с Верой и видеть пробуждающуюся от своего зимнего оцепенения природу и проталинки земли на южных сторонах зданий. Нам обоим было весело, как детям, и мы несколько раз пробовали бежать. Но когда мы возвратились домой, тоска бездействия и ожидания стала у нас еще сильнее.

— Здесь явно ничего не выйдет! — сказал Богданович, подтверждая пессимистические слова Веры.— Я сегодня был в земской управе, и там ничего даже и не знают о хлопотах Девеля. Все у него в одном воображении. Там говорят, что отдельных два-три места можно заполнить, но они в разных уездах и далеко друг от друга. Мы в таком случае останемся разрозненными и совершенно одинокими. Не хотим же мы попасть в такое положение, что будем видеть друг друга только раз или два в год, по причине отсутствия удобных путей сообщения?

— Надо искать других способов,— сказала Вера.

— Переедем тогда в Саратовскую губернию! — ответил Иванчин-Писарев.— Я напишу туда одному моему знакомому.

— Да, напишите скорее,— заметил молчаливый обычно Соловьев.— Мы здесь только бесполезно теряем время.

Так и было сделано. Дня через три, вечером, получился благоприятный ответ. Все кругом меня просияли. Богданович, обладавший густым могучим басом и таким гармоническим тембром, который мог бы сделать его знаменитостью на сцене, запел от радости известный романс Губера:

Город воли дикой,
Город буйных сил,
Новгород Великий
Тихо опочил.
Порешили дело,
Все кругом молчит,
Только Волхов смело
О былом шумит.
Путник тихо внемлет
Песне ярых волн
И опять задремлет,
Тайной думы полн! [38]

И окна в нашей небольшой квартире зазвенели, как всегда, в ответ на его пение.

На следующее же утро мы начали собираться в свой новый путь. Мне лично было почти нечего укладывать, и я пока пошел бродить по городу. Теперь, когда все планы устроиться в

Тамбовской губернии рухнули, мне более не было нужды не навлекать на себя внимание посторонних. И вот на прощанье мне страшно захотелось увидеть хоть мимоходом Алексееву, с которой связывало меня столько трогательных воспоминаний в прошлом. Я знал, что недалеко от нас, на берегу реки Цны, протекающей через Тамбов, находится ее дом.

Явиться к ней ранее этого дня, значило бы нарушить наше инкогнито в Тамбове. Но даже и теперь, когда инкогнито здесь нам более не было нужно вследствие отъезда, я не решился пойти к ней прямо в дом.

«Разве,— думал я,— не сказала она мне сама, с лукавой улыбкой, на суде, что будет всегда рада меня видеть, если я не буду «опасным»? А теперь я, несомненно, опасен, меня разыскивает полиция».

Однако желание посмотреть на нее было так сильно, что в последний день пребывания я прошел до указанного мне одним прохожим ее изящного белого дома, садик которого, окруженный решеткой между каменными столбами, доходил до обрывистого здесь берега еще покрытой льдом и снегом Цны. Я сел на берегу, на снегу, на обрыве, в ярких лучах солнечного света, смотря вполуоборот через свое плечо и через решетку сада на деревья и пустую террасу ее дома.

Не выйдет ли на эту террасу или на тропинку в снегу по аллее сада ее стройная фигура, закутанная в теплую шубку? Не покажется ли в окне, как когда-то в другом деревенском доме, в усадьбе Иванчина-Писарева, ее милая головка с двумя длинными каштановыми косами, спускающимися через плечи к ней на грудь?

Но никто не появился ни в окне, ни на занесенной снегом террасе. И вот, просидев здесь напрасно часа два, я встал с холодного снега и с грустью пошел домой.

Мне трудно было в этот миг разобраться в своих ощущениях. Несмотря на то, что в глубине души я больше всех любил теперь Веру, мне все же трогательно было вспоминать и об Алексеевой. Я знал, что она во время моего заточения вышла замуж, но ведь и раньше я любил ее не для личного своего счастья. Я любил ее, считая себя обреченным на гибель, и потому без надежды когда-либо иметь ее своей, а потому ее замужество ничуть не меняло моих отношений к ней, как не меняла их и моя последняя, тоже затаенная, любовь к Вере. Я чувствовал всем сердцем, что для спасения Веры от опасности я каждую минуту готов был броситься в пропасть, но и ей, как и Алексеевой, я не объяснялся в любви по той же самой причине.

«Личное счастье,— думал я,— не для меня, отдавшего свою жизнь сознательно на гибель для осуществления великой цели».

Так я возвратился домой к своим друзьям и к нашим упакованным чемоданам.

— Где это ты пропадал? — спросил меня Иванчин-Писарев.

— Так. Шлялся по городу перед отъездом. Прошел и мимо дома Алексеевой, но там ее нигде не было видно.

— Она теперь здесь важная дама,— ответил он.— Ее не трудно было видеть. Девель мне говорил, что она каждый вечер катается со своими детьми в коляске по здешнему Невскому проспекту.

— Почему бы перед отъездом не побывать у нее? — заметил Богданович.

— Конечно, теперь можно бы,— ответил Писарев,— но только нам, пожалуй, уже некогда.

— Да, надо не опоздать к поезду,— заметила Вера.

Так за все наше пребывание мы и не побывали ни у кого и ни с кем не познакомились в Тамбове.

4. *Изумительный револьвер*

На следующее утро мы были уже в Саратове, и поехали не в гостиницу, а прямо на квартиру к одному знакомому Веры и Писарева. Это оказался круглый, как земной шар, господин, по фамилии Гофштеттер, служивший, кажется, в местном отделении государственного банка. Он принял нас, как родных, и сейчас же отвел нам комнаты в своей огромной квартире, казавшейся еще больше от малого количества мебели, оставлявшей у него пустыми целые стены.

— Здравствуйте! Милости просим! Будьте, как дома! — говорил он нам с широкой улыбкой удовольствия на круглом, как луна, бритом лице.

— Мы не стесним вас?

— Нет, нисколько,— заметила подошедшая к нам скромная женщина, его жена.— Скорее вам будет неудобно, так как постели у нас есть, а кроватей нет, и ночевать вам придется на полу.

— Это пустяки! — возразил Богданович.— Мы ведь приехали не для устройства себе тепленьких местечек.

— Да, знаю, знаю!

Сзади нас послышались тихие мягкие шаги.

— А вот и мой старший сын, поэт! — отрекомендовал нам Гофштеттер молодого, с помятыми чертами лица, человека,

с чрезвычайно длинными локонами, спускавшимися ему на плечи.

Поэт с томным видом поздоровался с нами.

— Впрочем, товарищи не признают его за поэта! — шутливо прибавил отец.— Прозвали его вместо Василия — Василисой, но он не обижается и относится к их шуткам так, как и полагается таланту, с полным презрением.

— Ну, чего ты вечно шутишь! — ответил с кислой улыбкой поэт своему веселому отцу.— Никогда не дождешься от тебя серьезного слова!

Сзади нас с другой стороны послышались легкие шаги, на этот раз уже женских каблучков.

— А вот и мои дочки Фанни и Люси! — сказал отец семейства, представляя нам двух подошедших вместе беленьких, стройных девушек, напоминающих диккенсовских мисс,— одну лет шестнадцати, другую лет семнадцати.

Они подали нам свои тоненькие ручки и тотчас же сели рядом друг с другом в стороне, на единственном прорванном диване, наблюдая нас и тихо перешептываясь между собой. Одна была в голубой кофточке, другая в розовой. Их тонкие, гибкие шеи особенно бросились мне в глаза.

На столе появился самовар. Мы с родителями уселись кругом него, а молодежь подходила, сама наливала свои стаканы и уходила, кто на окно, кто в угол. Очевидно, в этом доме была полная свобода и независимость каждой личности.

Через полчаса пришли еще двое молодых людей.

— А! Мой младший сын! — сказал хозяин, с удовольствием глядя на первого из вошедших, красивого белокурого молодого человека.— Доброволец, как его здесь все называют! А это его товарищ по гимназии Поливанов! — добавил он, представляя нам второго юношу, лет шестнадцати, с лицом чисто античной красоты, невольно останавливавшим на себе всякий взгляд,— брюнета, с огромными блестящими, полными внутренней мысли, карими глазами.

Новопришедшие поздоровались с нами и молча присели у свободного края стола.

— А почему вас зовут добровольцем? — спросил Иванчин-Писарев младшего Гофштеттера.

— За участие в сербском восстании,— ответил он.

— Да! — воскликнул с видимым удовольствием отец.— Мы его ни за что не хотели пускать, а он какую штуку с нами выкинул! Вот этот, наш поэт,— и он кивнул головой на длинноволосого сына,— добился от нас того, что мы ему взяли заграничный паспорт. Уже собрался ехать и уложил все свои чемода-

ны, а этот,— и он кивнул на младшего,— похитил у него ночью и паспорт, и деньги, и чемоданы, и уехал под его именем от нас с самым ранним утренним поездом. Мы все проснулись,— смотрим: нет ни чемоданов, ни паспорта, ни денег, ни сына! Бросились на вокзал. Служащие говорят, что видели его, уже уехавшего по направлению к Москве с предыдущим поездом.

— Ну и что же? Вы погнались? — спросил Иванчин-Писарев.

— Где его догонишь! Мы сообразили, что он на какой-нибудь большой станции наверно переменит поезд, чтобы сбить нас с пути. Решили, пусть уж едет, а поэт наш так и остался знаменит лишь тем, что губернатору попался на глаза.

— Но почему же он не должен был попадаться на глаза губернатору? — спросила Вера.

— Губернатор этот не выносит молодых людей с длинными волосами. Сейчас же, как увидит, кличет полицейского и велит отвести в цирюльню и немедленно обстричь.

— И его обстриг?

— Конечно, сейчас же! Смотрим, возвращается домой совсем без волос, окарнали под гребенку, мы даже и не узнали его сначала. Совсем вдруг перестал на поэта походить!

Умные карие глаза Поливанова, сидевшего рядом со мной, засветились юмористическим блеском.

— А как же теперь? Ведь волосы уж отросли. Вдруг и здесь губернатор увидит и острижет? — спросил, насмешливо улыбаясь, Иванчин-Писарев.

— Теперь сын зорко смотрит вперед и назад, когда идет по улицам. Чуть увидит губернатора, скрывается в первый подъезд или ворота.

Мы кончили чай и, встав из-за стола, разделились по группам. Я прежде всего пошел к собравшейся в стороне молодежи.

— Вы в самом деле пишете стихи? — спросил я поэта.

— Да,— скромно ответил он.

— А можно посмотреть? Я тоже пишу.

— Вы печатали уже? — спросил меня Поливанов.

— Да.

— Где?

— Одно было в журнале «Вперед» и несколько в заграничном сборнике «Из-за решетки».

— У меня он есть! — живо ответил Поливанов.— Ваши стихи...

Он вдруг запнулся, явно считая свой готовый сорваться вопрос неделикатным.

— Мои в середине,— ответил я ему,— подписаны М. Н.

— Я их знаю наизусть,— ответил он и начал декламировать первый куплет моих «Видений в темнице».

«Вот что значит печатное слово! — подумалось мне радостно.— Даже и здесь распространились мои стихотворения! Это удивительно — сидеть и ни о чем не думать, а в это время ваши образы, мысли и слова повторяются в чьей-нибудь незнакомой вам голове! Вы ее не знаете, и она вас не знает, но все, что было в вас, в той же последовательности происходит затем в ней».

Взглянув на своих юных собеседников, я увидел, что они смотрели на меня теперь совсем другими глазами, чем прежде. Видно было, что они ловили и запоминали каждое мое слово, а сами стали как-то сдержаннее со мной.

«Вот и отрицательная сторона писательства»,— подумалось мне.

— Так можно посмотреть ваши стихотворения? — снова спросил я поэта, чтоб прервать наступившее молчание.

Но он уже ни за что не хотел давать мне их и обратно сунул в карман свою тетрадку.

— Нет, нет! — говорил он.— Какой же я поэт! Я так только, для себя пишу!

Как я ни бился, никакого результата не получилось в этот день. Потеряв надежду, я начал расспрашивать Поливанова о местной молодежи.

— Есть у вас кружки?

— Есть,— ответил Поливанов.— В старших классах всех наших учебных заведений много сочувствующих вам, но, к сожалению, они не знают, что могли бы предпринять. Тот кружок, к которому я принадлежу, завел знакомство с рабочими, но это нас не удовлетворяет, нам хотелось бы начать вооруженную борьбу. У нас есть уже и револьверы.

— А какой системы?

— Разных. У меня есть маленький бельгийский и, кроме того, отцовский, старинной системы Кольта.

— Знаю,— ответил я.— Его стволы в барабане заряжаются прямо порохом и пулями, а снаружи на них насаживаются обыкновенные пистоны.

— Да! Но беда в том, что у меня он стреляет всеми шестью своими стволами сразу.

— Не может быть! — воскликнул я с изумлением.— Вы, верно, не умеете заряжать!

— Нет, умеем! Но как бы мы его ни заряжали, всегда выходит одно и то же: цельный залп, и все шесть пуль летят из него вместо одной!

Это меня задело за живое. Я с детства был знаком со всеми

системами огнестрельного оружия, так как у моего отца была богатая и разнообразная коллекция. Ружья, пистолеты, револьверы, кинжалы, стилеты, сабли, шпаги, рапиры и даже старинные луки с колчанами стрел обвешивали в нашем деревенском доме все стены специальной комнаты, называвшейся «оружейная». И я стрелял еще мальчиком из револьверов всех систем, в том числе и из кольтов, и никогда ничего подобного не получалось. Кроме того, я инстинктивно понимал, что лучшим средством пробить стену отчуждения, неожиданно возникшую между мной и новой юной молодежью с того момента, как я вышел из трехлетнего заключения, окруженный в ее глазах ореолом мученика и члена большого тайного общества,— это было начать вместе с ними какое-нибудь товарищеское предприятие, на котором они увидели бы, что и я в глубине души остался таким же, как и они.

— Пойдемте, когда вы будете свободны, за город и попробуем! — сказал я Поливанову.

У него глаза так и засветились от удовольствия.

— А можно пойти туда трем или четырем из моих товарищей? — робко спросил он.

— Отчего же нельзя? Пусть идут все, кто захочет!

— А когда?

— Да хоть сегодня же. Зачем откладывать? Времени до вечера еще много.

— Так я сейчас же побегу домой и принесу сюда револьвер, а доски для цели товарищи отнесут прямо на Волгу. Там на льду мы и устроим пробу!

И он мгновенно исчез.

Я временно присоединился к общему разговору «взрослого поколения», сошедшегося в другом углу комнаты и рассуждавшего с Гофштеттером о способах нашего устройства на места. Послышались имена местных деятелей: Праотцева, Борщева и еще каких-то других, способных нас устроить, и с ними решено было начать переговоры с завтрашнего дня. Наконец, возвратился и Поливанов, принеся мне свой большой револьвер.

Я осмотрел его барабан. В нем не было никакого сообщения между стволами, но, вместо пуль, специально отлитых по их размеру, мне принесли обыкновенную картечь, шарики которой были слегка меньше отверстий и потому приходилось их обертывать в бумагу, чтоб не выпадали.

— Не от этого ли происходит всеобщий выстрел? — спросил меня Поливанов.

— Едва ли, если пули, обернутые бумагой, входят плотно.

Я сам зарядил револьвер.

— Вот увидите,— сказал я,— что теперь выстрелит каждый ствол отдельно!

Но Поливанов все еще не утратил своего сомневающегося вида. Мы отправились на берег Волги, недалекий от дома Гофштеттеров. Там нас ждали еще четыре гимназиста, один из которых, Майнов, попал потом на долгое время в ссылку, тогда как самому шедшему со мной Поливанову предназначалось судьбой разделить со мной через несколько лет двадцатипятилетнее заточение в Алексеевском равелине Петропавловской крепости и затем в Шлиссельбурге.

Но мы не предчувствовали ничего подобного, и ни одной тени от грядущего времени не падало на наше «настоящее». Мы всей компанией отправились по занесенному снегом льду великой русской реки и, отойдя на достаточное расстояние от города, воткнули рядом в снег принесенные нами три доски и нарисовали мелом на средней из них кружок. С уверенным видом знатока я отошел на десять шагов и прицелился, говоря:

— Вот увидите, как этот револьвер хорошо выстрелит!

Вся молодежь скромно промолчала, но с нескрываемым опасением за меня и за себя отошла в сторону.

Чтобы показать им, что надо стрелять, не долго целясь, я быстро взмахнул вверх револьвером и в одно мгновение спустил курок.

Мне показалось, словно бомба вдруг разорвалась в моих руках! Револьвер привскочил вверх, вырвался из рук и был переброшен какой-то непреодолимой силой через мою голову.

Я стоял несколько секунд неподвижно, совершенно оглушенный.

— Вот! — сказал Поливанов, подбегая ко мне со всей компанией.— То же самое случалось и у всякого другого, кто хотел стрелять из этого револьвера!

Порядочно сконфуженный, я повернулся назад и вынул строптивое оружие из снега, в который оно упало. Нижняя из шести пуль, бывших в его барабане, оказалась сплющенной о находившуюся перед нею часть револьвера; другая пуля наделась шапочкой на его шомпол сбоку, а остальные четыре, очевидно, улетели в небо. Когда мы подошли к цели, не только в ее кружке, но даже и в самих досках не оказалось ни одной пули!

— Все перенесло через цель! — сказал Поливанов.— Так происходило и всегда!

Остальные мои спутники тоже живо заговорили со мною, рассказывая наперерыв удивительные случаи их стрельбы из невежливого револьвера, издевавшегося над всеми, кто его брал, хотя по виду он и был самый обычный кольтовский, без изъянов.

Это приключение сразу проломило между нами лед, и я возвратился обратно в город в самых лучших отношениях с ними, т. е. не в виде наставника и учеников, а в виде старшего товарища, с которым можно, не стесняясь, смеяться и говорить о чем угодно, не следя за каждым своим словом.

— Самое лучшее,— сказал Поливанов,— продать этот револьвер кому-нибудь из жандармов, и пусть он стреляет из него в нас!

Однако как мы ни шутили, а все же до самого вечера я не мог избавиться от конфузливого чувства, вспоминая о своей самоуверенности и ее результатах. Это совсем не напоминало мне моего идеала — вольного стрелка Вильгельма Телля[39].

5. Тайна волжского берега

В наступившую ночь Писарев, Богданович, Соловьев и я с Верой расположились, как попало, по комнатам квартиры Гофштеттера, а на другой день трое первых пошли искать самостоятельную квартиру.

— Нельзя оставаться даже и несколько дней в таком вертепе! — говорил осторожный Писарев.— Тут, оказывается, сборное место для всей местной радикальной молодежи, соприкосновения с которой мы именно и должны бояться, как огня. Если б я знал, что здесь такая коммуна, то я ни за что не согласился бы переночевать даже и один раз. И кто мог бы ожидать этого? Подумайте сами: хозяин немец с головы до пяток, даже обрит, как пастор, а в доме у него...[40]

— Настоящая анархия по Прудону! — окончила Вера ходячим в то время среди нас юмористическим выражением.

И вот, на дальней окраине города, почти на берегу Волги, был приискан Иванчиным-Писаревым деревянный домик, в котором и поселились: он сам, в качестве зимующего без дела капитана буксирного парохода «Надежда», затем Вера, под видом его жены, и я, под видом брата Веры.

Хозяин дома, отставной армейский капитан, был очарован случаем получить к себе таких жильцов.

— Уж не откажите мне, когда откроется навигация,— говорил он Писареву,— в бесплатном провозе на вашей «Надежде» кой-каких моих товаров.

— С удовольствием! С удовольствием! — деловито говорил ему Писарев.— Все, что нужно, перевезу в своей собственной каюте!

Мы зажили здесь так же, как и ранее в Тамбове, без прислуги. Моя обязанность была и тут каждый день ходить на

рынок, в булочную, купить черного и белого хлеба, говядины, овощей, свежего сливочного масла и ставить по утрам самовар. Вера приготовляла в голландской печке или на керосиновой лампочке наш обед, а Писарев заведывал остальными делами.

Богданович и Соловьев поселились недалеко от нас в каких-то комнатах и приходили проводить с нами каждый вечер. А Гофштеттерам и всей молодежи было сказано, будто мы уехали из Саратова неизвестно куда. Сношения поддерживались только с нотариусом Праотцевым и присяжным поверенным Борщевым, которые хлопотали об устройстве нас в деревнях на места.

И вновь потянулись для нас дни за днями, как для отшельников в неведомом монастыре.

Мне было очень тяжело от такой жизни. Я ведь уехал из городских центров, где закипала уже настоящая борьба за гражданскую свободу, единственно для Веры. Я был здесь только для того, чтобы спасать ее от всевозможных предстоящих ей опасностей.

Считая себя обреченным на гибель, я и о ней не позволял себе мечтать, как о предполагаемой подруге своей личной жизни.

А при осторожности, какую мы здесь на себя напустили, добровольно отрезавшись от сочувствующей нам молодежи, Веру, очевидно, очень долго не придется ни от кого спасать. Где нет борьбы, где нет непосредственных связей с борющимися, там нет и опасности. А жить день за днем без дела, в одном и том же доме с любимой женщиной и ни разу не сказать ей, как ее любишь, было почти не по силам. Кроме того, обнаружились и осложнения. Из случайных слов Богдановича и Соловьева, когда я с кем-нибудь из них оказывался наедине, я мог убедиться, что в таком же состоянии, как я, находятся и они. Оба они были тоже влюблены в Веру. Только относительно Писарева я ничего не мог определить, так как он не был экспансивен, и истинное настроение его было трудно рассмотреть.

«Зачем же мне здесь жить? — приходило в голову.— У нее уже есть верные защитники. Богданович и Соловьев тоже приехали сюда не для одной деятельности в народе, но и для того, чтоб быть около нее, дышать одним воздухом с нею и в случае опасности пожертвовать собой для ее спасения. А они лучше меня, они серьезнее и солиднее, они должны больше нравиться ей!»

Мне вспоминается рассказ в библии о жене Давида, почувствовавшей к нему презрение с того дня, как она увидела его из окна своего дворца пляшущим и скачущим в толпе народа от радости, что к нему в город переносят скинию завета. Ей

показалось, что такой прыгающий человек не может быть серьезным и достойным ее. «Так,— думал я,— вероятно, посмотрела бы на него и Вера, в голове которой идеал героя вырисовывается совсем в другом образе, в виде гордого, красноречивого, могущественного человека, подчиняющего себе всех окружающих, которому и в голову не придет ходить иначе, как шагом».

А я вот, совсем как тот Давид.

Я готов всегда с истинным удовольствием покататься бревном по земле или влезть на дерево, изображая птицу! Никакой солидности, никакого сознания собственного достоинства, как у большинства моих товарищей, у меня нет. И, что всего хуже, я даже нисколько и не желаю приобрести эти качества!

Пусть я обрек себя на гибель за будущее счастье и гражданскую свободу народов, но значит ли из этого, что я должен впасть от того в меланхолию или приобрести важный вид и ходить перед людьми, как тень Гамлетова отца перед его царедворцами? Почему, даже и обреченный, я не могу при случае залезть под стол, изображая перед знакомыми детьми собаку, когда в этом я не вижу ничего дурного?

А однако же в ее присутствии я не выкинул бы ничего такого. Мне кажется, что такое поведение ей очень не понравилось бы, особенно, если бы я сделал это при мало знакомых людях.

Впрочем ведь и ни одна другая женщина не похвалила бы любимого ею человека за подобный недостаток важности!

Все они похожи на ту жену Давида.

Но другим, более кротким женщинам, это меньше не понравится, чем ей, и потому я при ней особенно стараюсь, по возможности, говорить только умное, а не всякую чепуху, какая придет на ум. Или уж просто молчу, если ничто умное не приходит в голову.

И чем дольше я так жил в Саратове, тем тяжелее становилось мне.

Как ни считал я себя обреченным на гибель за свободу, но все же я был человек, и ничто человеческое мне не было чуждо, даже и чувство ревности к другим товарищам, которые казались мне более приспособленными по своим высоким качествам к тому, чтобы вызвать взаимность. Смертельная тоска стала по временам овладевать мною, тем более что способный вынести что угодно, я никогда не был способен выносить ожидания. А теперь я ожидал вместе со своими товарищами земского места в деревне уже более месяца.

Несмотря на все усилия моих сожителей изолироваться, я всем сердцем стремился к местной молодежи, с которой познакомился у Гофштеттеров.

Кроме того, было и еще одно обстоятельство, подавлявшее меня. Мы не выписывали газет, и потому все, что делалось на белом свете, было для нас совершенно чуждо. Мы узнавали о самых важных событиях тогдашней общественной жизни лишь случайно, часто на третий или четвертый день, когда кто-нибудь из нас заходил к Праотцеву справиться, как двигается наше дело, т. е. назначение на места.

Раз Праотцев сообщил нам о большой политической демонстрации при проводах московскими студентами своих ссылаемых в Сибирь товарищей и о мясниках Охотного ряда, натравленных полицией на их процессию, причем мясники избили всех провожавших[41]. Я решился, наконец, сделать своим товарищам представление о невозможности такого нашего полного изолирования.

— Но что же ты хочешь сделать? — спросил меня недовольным тоном Писарев.

— Здесь есть городская читальня, я буду туда каждый день ходить и приносить вам новости.

— Это невозможно! Там толчется та самая бесперая молодежь, от которой мы нашли необходимым скрывать свое пребывание здесь!

— Но молодежь и без того знает, что мы где-то здесь, так как, идя на рынок, я сам встретил недавно Поливанова.

— Я думаю,— сказала Вера,— что ему можно ходить в читальню, но только пусть он не обнаруживает там своего знакомства с кем-либо из местной молодежи, пусть предупредит Поливанова и его товарищей, чтоб не здоровались там с ним.

— Да, конечно,— сказал Богданович.— Действительно, интересно знать, что происходит в столицах.

Соловьев тоже ничего не имел против моего хождения в читальню.

— Только следи за собой, когда будешь возвращаться, чтоб не привести к нам на пятах шпиона,— заметила Вера.

— И скажи своим гимназистам,— прибавил Иванчин-Писарев,— что только ты один в Саратове, а мы уже уехали отсюда.

— Хорошо! Все так и сделаю,— согласился я, воспрянув духом.

И я вновь стал видеться с молодым поколением, еще не помятым жизнью, полным самого искреннего энтузиазма и готовности на самопожертвование во имя великих дел и бескорыстных идеалов. Я побежал в тот же вечер на квартиру Поливанова, где застал полное собрание его кружка.

— Я пробуду в Саратове, может быть, еще с месяц,— сказал я всей компании,— и буду часто заходить к вам, но только

на улице или в общественных местах не будем узнавать друг друга.

— Да, конечно, это самое лучшее,— ответил за всех Майнов.

— А мы как раз хотели повидаться с вами,— добавил Поливанов,— чтоб посоветоваться, что нам теперь делать.

— А вы сами ничего еще не придумали?

— Нам хотелось бы — вы уже знаете — не пропаганды в народе, а вооруженной борьбы.

— Но с кем же здесь?

— Мы думаем, что прежде всего надо устранить пристава нашей полицейской части. Он вреднее даже нашего жандармского офицера, заведывающего допросами.

— Это шпион по призванию,— заметил кто-то.

— И отчаянный взяточник, обобравший всех лавочников,— прибавил другой.— А теперь он решил сделать себе карьеру на выискивании не сочувствующих монархии людей!

— И много выискал?

— Почти все, сосланные до сих пор, дело его рук. Теперь он открыто хвалится «упечь в Сибирь» еще несколько десятков будто бы уже известных ему в Саратове, которых он бережет, чтобы накрыть на каком-нибудь важном деле.

— Мы решили застрелить его раньше, чем он что-либо сделает.

— А есть у вас какой-нибудь план?

— Есть. Пристав неосторожен. Он считает революционеров баранами, не способными к настоящей борьбе. Он совсем не бережется. Каждый вечер сидит в своей полицейской канцелярии в нижнем этаже, как раз против окна, через которое его легко можно застрелить из револьвера.

— А далеко его канцелярия?

— Совсем близко!

— Так пойдемте, я тоже посмотрю.

Мне уже пора было уходить, так как было поздно.

Презрев на этот раз решение не ходить вместе с местной молодежью на улицах, я вышел один лишь из дому, а затем, убедившись, что кругом никого не видно в ночном мраке, подождал Поливанова на углу, и мы пошли затем вместе.

Еще издали он указал мне на угловой дом, из окон которого падал на темную улицу особенно яркий свет.

— За окном увидите столик, и у его левого конца всегда сидит в это время усатый полицейский с низким лбом и жирными губами. Это он и есть.

Мы подошли к окну. Бросив беглый взгляд внутрь комнаты, я действительно увидел описанную мне фигуру с очень нахальной

физиономией. На углу улицы стоял дежурный городовой с револьвером в своей кобуре. Он взглянул на нас, но увидев, что мы лишь на мгновенье замедлили свои шаги у окна, посторонился, чтобы пропустить нас далее.

— Городовой всегда здесь дежурит? — спросил я.

— Всегда. Но при хорошем знании местности легко от него скрыться во тьме. Улицы здесь почти совсем безлюдны.

— Да, надо подумать...— заметил я.— Составьте список всех, кого он погубил, и мы взвесим его дела.

Когда я возвратился, я рассказал своим товарищам обо всем. Иванчин-Писарев страшно заволновался.

— Это невозможно! — воскликнул он.— Я всегда боялся, что зеленая молодежь погубит наше предприятие! Представь себе, что кто-нибудь из них действительно застрелит этого полицейского и еще вдобавок скроется без следа! Все петербургское Третье отделение сейчас же нагрянет сюда! Не только весь город, но и всю губернию они перевернут вверх дном. Всякого не вполне известного в городе человека они заподозрят и обыщут в тот же день, всем пропагандистам придется бежать отсюда. А ведь здесь не мы одни. Здесь еще отделение петербургских «троглодитов», и они уже год успешно действуют, у них в губернии много насиженных пунктов. Все это рухнет разом, а о нас уж нечего и вспоминать!

Я с первых же слов увидел, что он говорит правду. Тихая тайная пропаганда в народе действительно казалась несовместимой с вооруженными выступлениями, по крайней мере, в провинции.

«Но что же у нас выходит? — подумал я.— Пропагандисты социалистических идей при суровом деспотическом режиме оказываются революционерами только на словах, только в очень отдаленном будущем, а в настоящем и в ближайшем будущем они естественные враги революционных выступлений! Неужели мы, вместе с Верой, для того приехали сюда, чтобы сидеть в виде учителей, писарей, фельдшериц и так далее, как наседки на своих гнездах, и всеми силами отговаривать пылкую молодежь от активных выступлений. И это в то время, когда самодержавное правительство разыскивает нас по всей России, чтобы погубить в ссылке».

Мои глаза стали понемногу открываться.

«Да, Иванчин-Писарев прав! — подумал я.— Но только он не хочет дойти до естественного конца своих собственных выводов. А для меня конец таков: если начатый нами путь превращает нас из революционеров в угашателей революционного духа, то его надо сейчас же оставить, как путь ошибочный и

вредный! Надо возвратиться в Петербург на более крупные подвиги!»

— Но как же мы, приветствовавшие Веру Засулич,— спросил я, наконец, желая навести своих товарищей на те же самые мысли,— будем противодействовать ее последователям на новом пути?

— Потому что мы предпринимаем более прочное и серьезное дело! — ответил Иванчин-Писарев.— Ради него здесь должны быть приостановлены всякие поступки, способные привлечь внимание правительства к нашей местности.

— Но действительно ли нам удастся сделать что-либо прочное раньше, чем нас накроют?

— Несомненно! — безапелляционным тоном произнес он.— Все прежние попытки пропаганды среди крестьян проваливались из-за распространения среди них запрещенных книжек, служивших доказательствами. Мы же, когда устроимся, будем избегать всякой нелегальной литературы, как язвы... Ни одной запрещенной книжки! Все на словах и только с крестьянами, в надежности которых мы заранее убедимся.

Богданович поддержал его. Соловьев не сказал ни слова. Я тоже замолчал, чувствуя, что возвратить моих друзей с начатого ими пути одними словами было невозможно. Вывести их на путь Вильгельма Телля могла только та же самая самовластная администрация, поставив им непреодолимые преграды на избранном ими пути.

— Так завтра же скажи своим приятелям,— окончил этот разговор Иванчин-Писарев,— чтоб и не думали предпринимать ничего подобного, иначе они погубят несравненно более важное дело, начатое более серьезными людьми. Объясни им это.

— Хорошо,— ответил я печально.

Мне стало очень грустно.

И вот снова уныло потянулись для меня дни за днями, а душа была полна противоречий. Я все более и более делался молчалив, как и всегда, когда мне становилось слишком тяжело. Замечали ли это мои товарищи? — Мне кажется, что да, хотя, наверно, они не вполне выясняли себе причину. Не мог же я в самом деле признаться им всем, что иду теперь на дело, кажущееся мне безнадежным и даже косвенно вредным для революции, и что единственная причина этого — желанье быть вместе с Верой и надежда когда-нибудь доказать ей мою любовь, пожертвовав жизнью для ее спасения?

Конечно, я не мог им этого сказать, а всякое другое объяснение было бы не истиной, а только полуправдой, которой в товарищеских отношениях следует не менее избегать, чем и прямой лжи.

6. Первая встреча с «троглодитами»

Так прошло несколько новых монотонных дней. Несмотря на все усилия моих товарищей распространить слух о их выезде из Саратова, это не удалось. Им приходилось, как и мне, выходить из своего убежища по той или другой причине, и в результате, хоть раз в неделю, попадаться на глаза кому-нибудь из местной молодежи, уже видевшей нас в первые дни пребывания в Саратове у Гофштеттеров. Этого было, конечно, совершенно достаточно, чтоб они догадались, в чем дело. Вся молодежь знала, что скрываются в Саратове не один я, а и все мои первоначальные спутники. У нее появилось представление, что нами затеяно что-то чрезвычайно важное, прямо грандиозное, чему никак не следует мешать своими выступлениями.

Местный пристав, сидевший так беззаботно каждый вечер перед окном своей канцелярии, каждую минуту готовый посадить нас в тюрьму, и не подозревал, от какой большой опасности он был прикрыт нами, как непроницаемой броней.

Попавшись раза по два на глаза непосвященным, все мои товарищи по самозаключению увидели, наконец, полную бесполезность дальнейшего распускания слухов о своем выезде из Саратова и стали по временам появляться у более солидных местных жителей.

В один прекрасный вечер Иванчин-Писарев принес нам, т. е. Богдановичу, Соловьеву, Вере Фигнер и мне, приглашение на большую вечеринку к местному земскому врачу Сергееву. Цель ее была познакомить нас с работавшими в Саратовской губернии «троглодитами», т. е. «пещерными людьми». Я уже давно знал, что так была окрещена Клеменцем — любителем давать всякие клички,— одна большая группа петербургской революционной молодежи, отличавшаяся от других тем, что никто посторонний не знал мест, где они живут и под какими фамилиями.

Это и послужило поводом к насмешливому утверждению Клеменца, что убежищами им служат тайные пещеры [42]. Несколько человек из них более года жили в народе в Саратовской губернии и до сих пор не попадались, так как избегали всякой нелегальной литературы.

— Очень интересно послушать их впечатления,— говорил мне по дороге Иванчин-Писарев.— У нас много с ними общего по основным приемам революционной деятельности, да и местность мы выбрали ту же самую.

Когда мы пришли к Сергееву, все троглодиты были уже в

сборе в его квартире и, очевидно, с интересом ждали нашего появления. Двое из них, Попов и Харизоменов, ездили по деревням под видом скупщиков яиц, крупы и продавцов всякого деревенского товара. Они были в смазных сапогах и «спенджаках», как называли тогда крестьяне появившиеся впервые у них пиджаки, «при часах и цепочке», в красных рубахах, без галстуков, с волосами, подстриженными в скобку и смазанными постным маслом. В таком виде эти два бывших студента имели типичный вид деревенских «кулаков», и даже умышленно усвоили полуцивилизованные манеры и выражения, говоря: «да-с», «нет-с», «извольте-с» и т. д.

— Расскажите нам ваши впечатления,— обратилась к ним Вера.— Находите ли вы, что положение скупщиков и мелких торговцев удобно для пропаганды в народе?

— Очень удобно! — ответил Харизоменов.— Узнаёшь массу народа. Видишь все взаимные отношения крестьян.

— А пригодных людей много нашлось?

— Да! — ответил он.— Порядочно и таких!

— О чем вы говорите с ними?

— Главным образом, что у них мало земель, а рядом у помещиков много. Тоже и начальство обличаем-с,— прибавил он, подражая говору местных торговцев.

— Какое начальство? — спросила Вера.

— Конечно, местное. Петербургским начальством крестьяне мало интересуются.

— Но ведь крестьяне и без того не любят местное начальство,— заметила ему Вера.— Они знают и сами, что у помещиков много земли.

— А более широких идеалов вам не приходилось им указывать, вроде, например, иностранных республик, как делал я, когда ходил в народ? — добавил я.

— Мы вообще,— ответил за него Попов,— больше занимаемся не разговорами о политике, а наблюдениями, чтобы намечать там более недовольных и обратиться к ним за поддержкой, когда наступит время. Мы завязали очень много интересных знакомств.

Разговор на минуту оборвался.

— Ну, а как ваши молитвы? — обратилась вдруг Вера, улыбаясь, к молодому, белокурому, довольно полному человеку с красивыми голубыми глазами и чрезвычайно милой, дружелюбной улыбкой, почти не сходившей с его лица. Это был Александр Михайлов, которому суждено было в недалеком будущем сделаться одним из замечательнейших организаторов «Народной воли».

— Молюсь неустанно, денно и нощно, за всех вас, братии мои и сестры! — ласково улыбаясь, ответил он певучим голосом, подражая говору староверов и слегка заикаясь, но так, что его заиканье не только не делало его речи тяжелой, а, напротив, придавало ей особую выразительность частым разделением слов на отдельные слоги.— Молюсь за всех вас господу богу, отцу и сыну и святому духу и пресвятой пречистой их матери богородице-деве и всем святым угодникам, Василию великому, Николаю чудотворцу.

— А как же вы им молитесь? — смеясь, спросила его Вера.

— А знамением двуперстным, как отцы наши, не щепотью антихристовой, поганой никонианской!

— Покажите нам! — юмористически упрашивала его Вера.

Александр Михайлов, студент-медик Киевского университета, ушел полгода тому назад в среду староверов Саратовской губернии. Думая найти в них революционные элементы, он хотел использовать их для дела.

Он охотно исполнил ее просьбу, встал лицом к одному из углов комнаты и вынул из кармана длинные четки. Затем он вытащил из-за пазухи маленький расшитый коврик, величиной в носовой платок, положил его на пол перед собой и вдруг сразу, упавши на него обоими коленями, с полного размаху стукнул лбом о пол, и возопил фистулой:

— Пресвятая богородица-троеручица, пятница непорочная, благоутробная, помилуй нас грешных! Пресвятая богородица-троеручица, пятница непорочная, благоутробная, помилуй нас грешных!

После этих двух возгласов он встал с колен и показал нам, что в его руке отделены две бусины от четок.

— Так,— сказал он,— надо говорить, пока не переберу всех зерен, а их здесь сто двадцать штук!

— Но ведь от такой пропаганды,— сказала Вера,— можно умереть с тоски!

— Да, я уже и умер от нее наполовину,— ответил он, совсем просто и серьезно.— Начитавшись журнальных статей, романов и разных наших книг о староверах, я и в самом деле думал, что под внешней приверженностью к старым религиозным формам скрывается у них идея протеста против бюрократической государственности. Но чем далее я живу среди здешних староверов, тем более убеждаюсь, что ничего у них нет, кроме всеобщего перепуга перед воображаемым ими скорым страшным судом. Грамотные у них постоянно читают, а безграмотные слушают чтение евангелий и апокалипсиса и верят каждому слову о том, что Христос где-то идет, как тать в нощи, и, может быть, в эту

самую минуту уже показался за деревней на облаках со всеми святыми вокруг себя и всякими зверями сзади. Духа протеста против современных общественных и государственных форм у них не больше, чем и у равнодушных к религии православных. Да и зачем борьба за земное счастье для искренно верящих в то, что завтра уже не будет окружающего мира, а сотворится все новое?

— Но почему же вы в таком случае продолжаете жить среди них?

— Только чтоб закончить свои наблюдения. Потом уйду. Меня как грамотного они очень ценят, хотя их начетчики и не считают меня готовым для звания попа. По-ихнему, мне нужно еще вызубрить наизусть всю библию и приучиться пересыпать, как они, страшными текстами каждую свою фразу.

— Да, трудновато! — заметил Иванчин-Писарев.

— Конечно! Но я все это сделал бы, если б видел в них действительный материал для организации, а раз этого нет, я не буду тратить даром время.

Он замолк. Опять пролетело несколько секунд всеобщего молчания.

Михайлов мне чрезвычайно понравился своей искренностью.

Мы инстинктивно угадывали, что он лучше, чем кто-либо другой, сумеет удержать тайну, открытие которой может повредить хорошему делу, но играть в пустое секретничанье никогда не будет. Я сразу почувствовал себя с ним легко, и язык мой развязался.

— Значит, вы думаете, что староверие есть результат особенно большой христианской религиозности в среде простого народа? — спросил я, подвинувшись к нему в уголок, когда остальные начали общий разговор.

— Да, это верно. Они глубоко верят в библию и евангелие.

— А мне казалось, что староверие это не религиозность, а простой результат узости ума у патриарха Никона.

— Не понимаю, что вы хотите сказать.

— Хочу сказать, что наше духовенство совсем несправедливо смеется над тем, что, вместо существенных идейных причин своего «отпадения» от православной церкви, староверы выставляют чисто формальные, т. е. свое желание креститься двуперстным знамением и называть Иисуса Исусом.

— Но это же действительно нелепая причина.

— Нет! Не нелепая! При разном произношении имени существенная разница и в его предмете для всякого безграмотного. Если б Никон, вместо переделывания старого двуперстного знамения в «щепоть», как говорят староверы, и переименования

Исуса в Иисуса, исправил заново всю библию и все евангелия, не оставив в них ни одного места цельного, то и тогда наш народ не шевельнул бы ни одним пальцем, так как и по старым и по новым книгам ни один крестьянин все равно не умел тогда читать. Совсем другое дело была переделка общеизвестного тогда Исуса в Иисуса. Представьте, что современный правительствующий синод нашел бы, что бог первоначально назывался Ибогом,— ведь и тут была бы только прибавка одного *и*, не изменяющая смысла слова,— и велел бы по всем церквам возглашать: господи боже, помилуй нас!

— Все мои староверы посошли бы с ума от одного такого восклицания! — сказал он, смеясь.

— Да многие и из вполне грамотных православных, пожалуй, сказали бы, как староверы при переделке Исуса в Иисуса: отцы и деды наши молились богу, не хотим вашего ибога!

Громкий спор среди остальных привлек наше внимание.

— Я точно так же утверждаю, что в местах, где устанавливаются центры пропаганды в народе,— доказывал Иванчин-Писарев,— должно быть тщательно устранено всякое революционное выступление, способное обратить внимание правительства на данную область.

— Но если в ней появится шпион, который успел кое-что высмотреть? — спросил многозначительно один молодой человек в пенснэ, оказавшийся потом Квятковским, будущий деятель «Народной воли».

— Прежде всего надо вести дело так осторожно, чтоб никакой шпион ничего не мог рассмотреть,— отвечал Попов.— Без употребления книжек это вполне возможно. Вот мы с Харизоменовым сколько времени ездим по деревням, и никому даже в голову не приходит, что мы не скупщики яиц и продавцы мелкого товара.

— В таком случае, какая же польза для революции от подобной деятельности? — заметил Александр Михайлов.

— Как какая? Мы узнали массу народа, которую можно собрать в решительное время, когда будет подготовлено большинство губерний!

— А кто же подготовит все эти губернии, если и остальные из нас будут скрываться не только от глаз произвола, но также и от сознательного отношения к нам народа? — заметил я.

Эти слова оказались как бы вязанкой хвороста, подброшенной в вяло горевший костер. Ясно, что тема эта уже не раз дебатировалась и задевала здесь людей за живое место.

— Народ и без того готов! Надо только высматривать в нем активных и влиятельных личностей! — воскликнул Попов.

— Нет! Надо расширять и кругозор крестьян, но только осторожно! — заметил Богданович.

Как часто бывает в русских собеседованиях, несколько человек заговорили сразу, перебивая друг друга. Незаметно для себя они перескакивали то и дело совсем на другие темы, не договорившись относительно предыдущих, и даже не замечая, что спорят уже не о том, о чем начали, и даже не о том, о чем говорили в самую последнюю минуту. Наиболее громкие голоса и особенно быстрые реплики привлекали к себе наибольшее внимание. Присутствующие перебрасывали разговор, как мячик, от предмета к предмету, так что он скорее походил на музыкальный оркестр с участием многих разнообразных инструментов, чем на серьезную разработку интересующего всех предмета. Я несколько раз попробовал вставить и свое слово, чтобы возвратить разговор к первоначальному предмету. Но мне не удавалось произнести ни одной цельной фразы, а только начатки их, вроде:

— Но, господа! Вы же говорили...

— Да возвратимся...

— А как же вы...

Окончания этих начал так и оставались в моем горле не произнесенными, потому что одновременно со мной или вслед за моим первым словом кто-нибудь другой начинал стремительно говорить, боясь пропустить случай высказать и свои, тут же пришедшие ему в голову мысли.

Убедившись, что спор, замкнувшись самопроизвольно среди четырех-пяти наиболее жарких и голосистых голов, пошел, как саврас без узды, по всем случайным направлениям, и что возвратить его к интересующему меня предмету было можно разве только отчаянными криками: тпру! тпру!! да и то с полной очевидностью, что саврас сейчас же опять умчится в сторону, я, по своему обыкновению, совершенно умолк, стал слушать отдельные реплики и мысленно отмечать в них каждый новый перескок, следя уже не за идеями, а за приемами спорщиков, стремившихся сбить с толку оппонента за невозможностью убедить его.

Делали ли вы сами, читатель, когда-нибудь подобные наблюдения?

По-моему, они чрезвычайно интересны для вдумчивого исследователя современной человеческой души!

Коллективно действующая человеческая мысль обыкновенно идет у «любителей спора» в их общих разговорах, как путник, гуляющий в лесу без определенной цели. Вот этому праздному человеку попался на глаза гриб, и он повернул в сторону сорвать его; вот сбоку показалась между деревьями прогалинка,

и он пошел посмотреть, что она из себя представляет, однако, на дороге к ней, ему попался можжевеловый куст, и он начал обходить его. Обратив случайно внимание на его торчащие сучья, он тотчас позабыл о своей прогалинке и пошел по совершенно новому направлению, сам не зная куда.

«Каким образом горячие спорщики почти никогда не помнят, о чем именно они спорят? — часто думалось мне в подобных случаях.— И если они сейчас же забывают все предыдущие фразы своего спора, то какой же импульс заставляет их так горячо относиться к общему разговору, давая реплики еще раньше, чем оппонент окончил свою фразу и вполне ясно выразил свою мысль?»

«Несомненно,— отвечал я сам себе на такие вопросы,— целью большинства таких споров является не стремление к выяснению истины, а простое желание показать окружающим людям свою собственную внутреннюю личность. От взаимного соревнования в этом развивается дух противоречия. И в результате, слушая подобный спор из другой комнаты, выносишь совершенно такое же впечатление, словно весной чирикают на дереве наперерыв друг перед другом несколько десятков воробьев.

Я никогда не мог принимать участия в подобных обсуждениях, но хорошо понимал тех, кто их любит. Они тут только стремятся проявлять свою личность, как и воробьи при чириканье в стае».

Этим размышлением и закончил я тот памятный мне вечер в Саратове при своем возвращении в нашу общую квартиру с Верой и Иванчиным-Писаревым.

7. Сердечная буря

«Надо как-нибудь выяснить отношение ко мне Веры!.. Может ли она ответить взаимностью на мою любовь, или нет?» — начал повторять я сам себе каждый день.

Но решиться что-либо сделать становится тем труднее, чем долее человек остается в состоянии нерешительности по данному предмету. А это бывает почти всегда в сердечных делах, так как чувство любви вспыхивает постепенно. Ведь с легким сердцем задать вопрос: «любишь ты меня или не любишь?» может только тот, кто сам не особенно сильно любит, для которого получить тот или другой ответ не представляется чем-то вроде выпадения жребия, решающего счастье или горе целой его жизни! Для истинно и сильно любящего человека признаться

в своей любви все равно, что бросить жребий — жить или умереть. Так, по крайней мере, кажется почти всегда в наши дни и в нашей европейской интеллигентной среде самому влюбленному.

Многие девушки, по-видимому, совершенно не понимают этого. Недавно, например, я читал, как одна английская мисс, уезжавшая в Новую Зеландию, искренно объясняла своему знакомому причину этого: «Бегу от лондонских молодых людей! Они все трусы: никто не решается сделать предложения, хотя и ясно, что некоторые думают об этом без конца и приводят этим в отчаяние и меня и всех моих подруг. Ждешь, ждешь по целым месяцам, ходишь с ними на прогулки, говоришь и взглядом и звуком голоса: да не трусь же, решайся! Нет, ничто не помогает! Все думают, что мы, девушки, какие-то особенные бестелесные существа, которые изумятся при их словах: «выйдите за меня замуж!» и скажут им: «за кого это вы меня принимаете?» Нет, больше не могу их выносить. Еду в Новую Зеландию, там, говорят, есть еще смелые люди!»

Несомненно, что девушка эта была права со своей точки зрения. Но я не могу объявить трусами и лондонских молодых людей: почем знать, может быть, они только слишком сильно любили, слишком идеализировали ее и искренне считали себя недостойными быть предметом ее любви.

По этой именно причине в большинстве своих ранних влюбленностей и я не решался объясняться никому. Если б я был самодоволен, это было бы много легче. Я заранее был бы уверен в успехе и только изумился бы, если б оказалось, что мне предпочитают кого-либо другого.

Вера была первая в моей жизни, по отношению к которой я, наконец, решился выйти из своего безмолвия. И вот теперь, считая главным достоинством моего рассказа его полную искренность, я передам читателю и об этой пережитой мною когда-то душевной драме.

Наступил апрель. Солнце ярко сияло на небе. В воздухе веяло весной, и лед по Волге готов был каждую минуту двинуться. На низких берегах и отмелях распустились пушистые вербы.

— Как только откроется навигация,— сказала мне Вера,— я поеду на несколько дней в Самару.

— Зачем?

— Там мне надо кой-кого увидать.

— А когда ты возвратишься?

— Дня через четыре, так что вы все продолжайте хлопоты о нашем устройстве в деревнях.

«Вот хороший случай сообщить ей обо всем!» — подумал я. Я пошел в общественную библиотеку, сел там в уголке за столиком и написал Вере на листке почтовой бумаги все, что я чувствовал к ней. Я рассказал ей тут и о двойственности своего положения как человека, которому должно быть чуждо личное счастье, который не имеет права даже думать о нем, но все же не может не думать и не говорить, как и делаю это я теперь. Я написал ей и о том, что все время боролся со своей любовью к ней во имя высших общественных целей, но не мог побороть, и в результате чувствую себя теперь очень несчастным. Не лучше ли мне уехать? — спрашивал я у нее совета в конце своего письма.

Заклеив в небольшую бумажку свое послание, я несколько дней носил его в своем кармане.

Но вот навигация открылась. Огромный низовой пароход величественно остановился у Саратовской пристани, и мы всей компанией вышли провожать Веру в ее путь.

Прощаясь при третьем свистке, я вложил ей в руку мою записочку. Она взглянула на меня вопросительно, но взяла, ничем не показав об этом вида никому из остальных.

— Провожающие, сходите! — закричал матрос.— Сейчас поднимут сходни!

Мы быстро сбежали с парохода. Колеса забурлили в воде, и мы проводили Веру взглядом, пока ее крошечная, изящная фигура не скрылась из наших глаз на мостике уходившего вдаль волжского гиганта. «Теперь,— думал я, идя домой вместе со своей компанией,— она уже читает мое письмо и знает все».

В одно и то же время мне стало и спокойно и тревожно. Я почувствовал, как будто с моей спины вдруг спустилась на землю тяжелая ноша, которую я долго тащил на себе с огромными усилиями. Теперь я донес ее до конца, сложил на место, почувствовал с облегчением ее отсутствие, но в то же время впервые заметил, как сильно бьется и стучит мое сердце после употребленных мною усилий.

Да, неизбежное было сделано, дальнейшее теперь зависит не от меня, а от нее. Это легко было чувствовать, но в то же время и страшно беспокойно, потому что я не знал, как она отнесется к моему признанию.

Четыре дня и четыре ночи продолжалось мое лихорадочное беспокойство. Но вот она возвратилась и, войдя в наш домик на берегу Волги, застала меня в нем вместе со всей компанией. Мы поздоровались с нею, как будто между нами не произошло совершенно ничего особенного. Мои товарищи закидали ее вопросами и рассказали ей все о себе. Я тоже расспрашивал ее,

а она меня, и, проболтав так более получаса, я уже начал приходить к заключению, что она решилась игнорировать мое объяснение. Однако я ошибся.

Когда я пошел, по обыкновению, в кухню ставить самовар, она тоже вышла ко мне на минуту, сунула мне в руку такую же плотно сложенную записочку, как и бывшая моя, и тотчас же возвратилась к остальной компании.

Я тотчас вышел в сени, начал читать ее бисерные строчки и сначала ровно ничего не понял в их содержании. Там не было ни «да», ни «нет» на мои признания, а только в каждой фразе звучали ноты глубоко тоскующей самоотверженной души.

«Итак,— подумал я,— и она сильно и безмолвно страдает от душевного одиночества, но только не обнаруживает этого. Ее тоже истомило наше долгое бездействие и вечное ожидание начала какой-то ускользающей от нас проблематической деятельности в народе. Мое объяснение ей в любви стало представляться мне теперь каким-то преступлением. Она рвется всей душой к великим идеалам, глубоко болеет от их отдаленности, а я еще прибавил ей горечи изложением своих личных чувств».

Я десять раз перечитывал подряд ее записку и все более и более укреплялся в таком мнении.

«Да! Мне надо уехать отсюда при первом поводе, хотя она и не говорит мне ничего об отъезде»,— подумал я.

А между тем повода уехать не представлялось; все шло своим обычным путем, и только мое положение становилось с каждым днем все более и более неясным.

Моя тоска стала заметна, наконец, и всем остальным товарищам.

Я аккуратно ходил в эти дни, как и всегда, в общественную земскую библиотеку, не показывая в ней своего знакомства с приходившей туда же местной молодежью, и приносил своим товарищам по отшельничеству всевозможные газетные известия о том, что делалось в окружающем мире.

А в этом мире начали возникать совсем новые, необычайные дела!

Со времени выстрела Веры Засулич русское общество, казалось, воспрянуло от своего непробудного сна. Отзывчивая, как всегда, учащаяся молодежь заволновалась во всех учебных заведениях.

Почти каждый день приносил мне известия о каких-нибудь революционных выступлениях в больших городах.

Я приносил с собою в нашу тихую обитель отголоски новых чувств, и они резко дисгармонировали с непосредственными задачами нашей группы.

Я чувствовал, что мои товарищи, не исключая, может быть, и Веры, приходят постепенно к заключению, что я пристал к их предприятию по недоразумению и не буду способен вести дело в качестве скромного, никому неведомого сельского учителя, так же сдержанно и осторожно, как задумали они.

«Может быть, им кажется, что я способен своею нетерпеливостью даже повредить их задачам? — думалось мне.— Может быть, они желали бы от меня избавиться, но из деликатности не говорят этого? В таком случае мое пребывание здесь становится в квадрате, в кубе недоразумением. Вот к каким неразрешимым противоречиям приходишь, когда даешь руководить своими поступками не одним требованиям долга и рассудка, а также стремлениям своего сердца!»

Наконец, кризис разрешился.

В один прекрасный день я прочитал в газетах о суде над Верой Засулич и о ее торжественном оправдании судом присяжных, об овации, устроенной ей столпившеюся перед зданием суда публикой, окружившей карету, в которой жандармы повезли ее в градоначальство, и о том, как она была освобождена толпой молодежи на улице и исчезла без следа [43]. Я был в таком волнении, когда прибежал рассказать все это своим друзьям, и в выражении моего лица так сильно проявлялось страстное желание ехать скорее в столицу, чтобы принять непосредственное участие в таких делах, что когда я ушел на время из дому, мои товарищи сделали специальное совещание обо мне. Как только я возвратился, Иванчин-Писарев, отозвав меня в соседнюю пустую комнату, сказал:

— Мы видим, что тебя не удовлетворит теперь наша будничная деятельность в народе и что тебе лучше уехать отсюда обратно в Петербург. Нам это было бы тоже очень удобно. Ты мог бы сделаться там представителем нашей группы и поддерживать связь между нами и столичными, а то мы здесь окажемся совсем отрезанными от всего мира и не будем знать, что там делают и чего хотят. Ты нам обо всем писал бы из Петербурга, а мы тебе писали бы о нас.

— Это все думают? — спросил я, чтобы знать, не осталась ли Вера при особом мнении.

— Да, все! — ответил он с ударением.

У меня в душе словно что-то оборвалось, но я понял, что они были правы.

— Хорошо! — сказал я.— Завтра уеду.

XIII. Проблески[44]

1. Молодое растет, а старое уже состарилось

— Как хорошо, что ты приехал! — приветствовал меня длинный Армфельдт после первых объятий вслед за моим появлением в Москве летом 1878 года.

— А что?

— Здесь такое оживление, какого никогда еще не бывало. После того как мясники избили студентов, провожавших в ссылку своих товарищей, весь город преобразился. Даже средние и высшие «общественные круги» возмутились духом, а рабочие в первый раз коллективно выразили студентам сочувствие.

— Ну а теперь? Оживление не прекратилось?

— Нет! Напротив, увеличилось! Как раз сегодня назначена сходка в Техническом училище для обсуждения вопроса, как поступить завтра.

— А разве завтра будет что-нибудь?

— Как же! Ты не знаешь? Завтра в Сухаревой башне мировой будет судить около двух десятков студентов, избитых мясниками при тех проводах.

— Только избитых студентов будут судить? А избивателей вызовут, конечно, в качестве свидетелей?

— Можешь себе представить — нет! Привлекли к суду и нескольких мясников под влиянием общественного возбуждения, возникшего против жандармов даже в высших кругах.

— Удивительное дело! — воскликнул с изумлением я.— Будут судить и избитых и избивавших вместе друг с другом?

— В том-то и загадка! — ответил он.— Мы думаем, что тут хотят устроить новое побоище. Заметь: суд назначен в зале нижнего этажа Сухаревой башни, а башня, ты знаешь, стоит на большой площади, где можно собрать тысячи народа, да и края площади сплошь заняты мелкими торговцами, очень темным народом. А со стороны полиции идет внушение и теперь, как

тогда мясникам, что студенты — это дети помещиков, и бунтуют, чтобы восстановить крепостное право.

— Неужели не выдохлась еще эта старая песня?

— Еще нет. Полуграмотные и безграмотные мясники ей искренне верили, да и лабазники у Сухаревой башни поверят тоже.

— Значит, ты думаешь, что эта башня выбрана нарочно, чтоб инсценировать новое избиение темным народом интеллигентов?

— Так все думают! Сегодня вечером ты сам услышишь. Ты ведь тоже пойдешь со мной на сходку в Техническое училище?

— Непременно. И под Сухареву башню приду завтра, чтоб участвовать в защите студентов, на случай нового избиения.

Армфельдт побежал распорядиться обедом для меня, и я остался на несколько минут в одиночестве. Итак, с первого же дня своего приезда я окунусь с головой в новую жизнь! Как мог бы я подумать о возможности ее четыре года назад, когда мы ходили в народ!

Когда я и Армфельдт явились вечером в столовую Технического училища, она была полна народом.

— И вы здесь? — послышались обращенные ко мне среди гула нескольких сот молодых людей знакомые мне голоса Михайлова и Квятковского. Я взглянул на них с нескрываемым изумлением.

— А вы-то сами как попали сюда?

— Я уже бросил своих староверов,— сказал Михайлов с присущей ему одному приветливой улыбкой.— Не стало сил более кувыркаться перед иконами без всякого толку!

— Да и я,— прибавил Квятковский, поправляя на носу свое, часто сваливавшееся пенснэ,— стосковался по более живой деятельности.

— Быстро же!

— Деревня не для меня, там нужна чисто учительская работа. Надо объяснять, толковать. А какой же я учитель? Мне хочется борьбы за свободу, а не проповедничества на ухо шёпотом.

— Значит и вы,— сказал, обращаясь ко мне, Михайлов,— тоже отказались от мысли поселиться в деревне среди простых людей и природы?

— Я так и думал,— добавил Квятковский,— что вы долго там не проживете.

— Вы и представить себе не можете,— закончил его слова Михайлов,— каким оторванным от всего мира чувствуешь себя,

живя в глуши под видом простого человека! Не имеешь возможности получать ни газет, ни журналов; нельзя читать книг, кроме народных лубочных, или получать много писем от друзей, или видеться постоянно с товарищами и местной интеллигенцией. После первых дней новизны мало-помалу наступает ощущение твоей полной беспомощности, полного одиночества, тем более, что товарищей в городах каждый месяц одного за другим арестовывают, а новые тебя уже не знают. Чувствуешь, как с каждым днем все более и более остаешься без всяких связей с единомышленниками, как будто бы ты только один и остался существующим на свете, среди остальных, чуждых тебе по духу людей.

— Да, я знаю по собственному опыту в прошлом,— ответил я.— Да и теперь, как только стали доноситься до меня вести об уличных манифестациях в городах и о начале давно ожидаемой мною борьбы за свободу, я уже не мог более терпеть. Товарищи заметили это и отпустили меня.

— А сами они все еще хотят селиться в народе?

— Да! Ведь они еще никогда не жили в народной среде. У них в воображении совсем идиллические представления о тайной деятельности среди крестьян под видом простого человека.

— Они тоже скоро возвратятся! — заметил уверенно Михайлов.

— Они не возвратятся, пока самодержавные власти их не заставят бежать,— возразил я.

Мало-помалу наша небольшая группа в зале Технического училища, выделявшаяся среди сотен студентов своим более великовозрастным видом, стала обращать на себя внимание окружающих студентов. То те, то другие из них поглядывали на нас с особым уважением.

— Вас считают,— сказал подошедший к нам Армфельдт,— за бывших заключенных по Большому процессу, приехавших сюда из Петербурга руководить предстоящим вооруженным столкновением с жандармами под Сухаревой башней. Приготовьтесь к тому, что при дебатах спросят ваше мнение.

В толпе вдруг произошло движение при входе молодого человека не студенческого вида.

— Плевако! Плевако! — раздались голоса.

Это был приглашенный студентами защитник на предстоящем процессе, молодой присяжный поверенный, славившийся своим красноречием.

— Господа! — раздался басистый громкий голос широкоплечего бородатого студента, очевидно, уже выбранного заранее руководить дебатами.— Господа! Начнемте! Наш защитник желает высказать свое мнение.

Плевако, взволнованный непривычной ему обстановкой, и, явно не зная еще настроения всей этой толпы молодежи, начал, откашлявшись:

— Прежде всего надо завтра поставить дело на чисто законную, юридическую почву, без всяких политических демонстраций...

— Какая тут еще законная почва при нашем правительстве!.. — раздался из толпы насмешливый голос с восточным акцентом.

Адвокат покраснел до самых ушей.

— Господа! — воскликнул он.— Если я здесь не нужен, я сейчас же уйду!

И он повернулся к дверям.

— Полноте! Полноте! Зачем уходить? Не обращайте на него внимания! — раздались голоса.

— Он еще недавно из Азии,— раздался громкий бас председателя,— и потому еще не привык сдерживать свои чувства.

— Но вы, может быть, и все так думаете?

— Нет, нет! — раздались с разных концов залы отдельные голоса.— Мы еще ничего не решили!

— Только мы хотели бы знать,— опять раздался прежний азиатский, не без приятности гортанный голос,— что вы прикажете нам делать, если окрестные лавочники и приведенные туда лабазники бросятся нас бить?

— Не бросятся, уверяю вас! Я уже справлялся на этот счет у обер-полицмейстера, и он обещал полное спокойствие!

— Обер-полицмейстер-то? — смеясь, ответил неизвестный азиат.— А кто же здесь ему поверит?

— Но я вас уверяю, что вас не тронут! — возражал Плевако.— И, кроме того, я знаю, что если раздастся с вашей стороны хоть один выстрел, или послышится пение революционных песен, или поднимется красное знамя, на вас бросятся из всех переулков эскадроны жандармов, спрятанные во дворах соседних домов.

— Как вы думаете? — обратился к моей группе один из присутствующих.

Мои товарищи взглянули на меня.

— Я думаю,— ответил я,— что самим ничего не следует начинать и прежде всего надо ждать, каков будет приговор. Ведь судит мировой судья, а среди них много хороших людей. А затем надо поступить, судя по суровости приговора, как нам подскажет совесть, и ни в каком случае не дозволять полиции арестовать хотя бы одного из присутствующих, пока мы все оттуда не разойдемся.

— Уверяю, что никто не будет арестован, каков бы ни был приговор! — возразил Плевако.

Затем, высказав план своей предстоящей защиты, основанный на том, что событие, за которое привлекают теперь к ответственности, не было политической демонстрацией, а простыми товарищескими проводами, и, не получив принципиальных возражений на это от обвиняемых, он быстро раскланялся и ушел.

— Если приговор будет жестокий, мы все же хоть освищем судью, чтобы он знал, что сделал свинство! — послышался из толпы новый голос, как только дверь затворилась за адвокатом.

— И вот тогда-то на нас и бросятся мясники с лавочниками! — заговорил другой.

Все молчали.

— Что же нам тогда делать? Как защищаться? — обратился один из ближайших студентов прямо ко мне.

Очевидно, ни малейшего доверия к русскому правосудию и к обер-полицмейстеру не было во всей этой огромной толпе, несмотря на уверение защитника.

— Конечно, нам не следует стрелять в мясников и лавочников! — ответил я.— Но вот что сделаем, господа! Наберем полные карманы нюхательного или растертого в порошок курительного табаку и будем швырять им в глаза каждому нападающему! Увидите, как они все расплачутся горькими слезами.

Послышался смех.

— А если в защиту плачущих нападут на нас отряды жандармов с оружием? — сказал Квятковский.

— Нельзя же давать даром искрошить себя саблями? — прибавил кто-то из толпы.

Многие заговорили разом. Коллективный разговор по обыкновению начал и тут скакать с предмета на предмет, и разнообразные предложения так запутались, что никакого общего решения не могло быть поставлено на голосование.

Каждому было предоставлено идти завтра под Сухареву башню, как он хочет и с чем хочет, или, если пожелает, остаться спокойно дома.

Все начали расходиться. Ушел и я с Армфельдтом и провел у него эту первую ночь моего нового пребывания в Москве, полный всяких романтических планов на ближайшее будущее. Утром мы оба пошли на место предстоящих событий.

Ясный денек, казалось, хотел нарочно порадовать собою молодую толпу человек в шестьсот, окружившую с десяти часов утра Сухареву башню, когда я и Армфельдт явились перед нею. При мне был мой обычный револьвер Смита и Вессона военного образца, с которым я не расставался с тех пор, как

после своего освобождения узнал, что меня уже разыскивает Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии для бессрочной административной высылки в северные тундры. В обоих карманах моих штанов лежали коробки с полсотней патронов, а за жилетом скрывался еще небольшой кинжал. Оба кармана моего пальто были полны нюхательного табаку на случай защиты от невооруженных нападений толпы, если бы ее подговорили против нас.

Еще подходя к площади, я заметил следы особых приготовлений. Городовые стояли здесь и там группами по всем улицам и переулкам, прилегающим к Сухаревой площади, теперь совершенно пустой.

Предупрежденные полицией насчет возможной перестрелки обыватели попрятались в свои дома, а большинство лавок было закрыто владельцами на замок. Кое-где из ворот и окон выглядывали испуганные мужские фигуры, а женских не видно было ни одной.

Случайные прохожие, замечая необычный, пустынный вид этой всегда людной и торговой площади, обращались при входе на нее к одной из групп городовых за объяснением причины.

— Студенты бунтуют! — отвечали они.

Испуганные такими словами, прохожие поспешно сворачивали назад или, если им было необходимо пройти на противоположную улицу, обращались за советом к тем же группам городовых.

— Еще можно! только спешите! — говорили они, и каждый прохожий сторонкой пробегал через площадь по пустынным тротуарам, все время с опасеньем озираясь на толпу молодежи, совершенно окружившую башню.

Наконец, приехал и сам мировой судья в сопровождении своего письмоводителя и еще двух-трех человек неизвестного нам рода занятий. У него была красивая важная фигура, большая борода и интеллигентное лицо с добродушным выражением. Он был несколько бледен, как и все его спутники, но прошел без всякой стражи через нашу расступившуюся перед ним толпу.

Вслед за ним приехали Плевако и его товарищ по защите, тоже немного побледневшие и встревоженные, но любезно раскланивавшиеся с нами. В говорливой, рокотавшей до тех пор, как морской прибой, толпе сразу наступило гробовое молчание, и это вызывало жуткое ожидание чего-то большого и важного, долженствующего скоро произойти.

Ко мне с Армфельдтом присоединились Михайлов и Квятковский, тоже вооруженные револьверами и табаком, и мы во-

шли одни из первых через открывшиеся перед нами двери в нижнюю залу Сухаревой башни,

Это была мрачная, низкая большая комната, вместившая, кроме двух десятков подсудимых, еще человек пятьдесят из нас. Все остальные продолжали стоять на площади вокруг башни.

Мировой судья, надев свою цепь, начал вызывать одного за другим подсудимых, и они выходили и становились перед ним по очереди.

Обвиняемые студенты стали по одну сторону его стола, а несколько молодых мясников по другую.

Судья стал задавать вопросы.

Никто из студентов не отрицал своего присутствия на проводах товарищей, а один из мясников, к нашему удивлению, даже заявил, что сожалеет о своем вмешательстве в драку, так как не знал, в чем заключается дело.

— Вот как полиция ознакомляет против своей воли население с нашими истинными целями! — шепнул мне Михайлов.

Прошло часа три томительного делопроизводства. Наконец, были окончены все опросы и формальности, и мировой судья приготовился читать свой приговор.

— Что-то будет? — тревожно заметил Квятковский.— Теперь надо быть ко всему готовым!

— Да,— ответил ему я.— Но, чтобы не попасться тут в ловушку, нам надо будет тотчас же выйти на площадь, как только здесь начнут освистывать приговор.

Судья начал важно читать бумагу, и вдруг мы все с изумлением переглянулись. Вместо многих месяцев заключения, которых мы ожидали для своих товарищей, послышались одно за другим слова: о п р а в д а н, и только в редких случаях: виновен в нарушении тишины и спокойствия на улице и подвергается за это двум-трем дням ареста.

Мы так привыкли к драконовым законам и расправам с нами за самые добрые намерения и поступки, что этот по существу незаслуженный обвиненными частичный приговор показался нам чем-то в роде чуда справедливости.

Вздох облегчения пронесся по всей присутствовавшей толпе. Несколько человек бросились к выходу из башни и крикнули:

— Большинство оправданы, а некоторых только на несколько дней ареста!

Радостный гул прокатился за стенами башни.

Все бросились поздравлять вышедших с нами на улицу товарищей как оправданных, так и назначенных под арест.

Кто-то бросился поздравлять и меня.

— С чем? — смеясь, спросил его я.

— Как с чем? — воскликнул он.— Да ведь вас могли бы убить, если б началась перестрелка! Все дворы домов в окрестных переулках полны солдатами, приведенными из всех казарм, пока вы были еще внутри башни.

Толпа бросилась врассыпную во все переулки сообщать товарищам о неожиданно хорошем конце.

И странная вещь! Я сам не понимал возникших во мне новых чувств! Удаляясь вместе с другими и рассуждая логично, я приходил к выводу, что здесь произошла полная наша неудача в революционном смысле. Мягкий приговор мирового судьи разрушил для нас возможность сделать большую политическую демонстрацию, о которой понеслись бы телеграммы во все концы России и за границу. Она, по моим тогдашним представлениям, сильно способствовала бы пробуждению окружающего общества от его гражданской спячки, а для царящего произвола была бы напоминанием о неизбежном конце. А между тем я внутренне весь ликовал. Как будто мы только что одержали большую победу! Как будто бы общество уже пробудилось!

Весь взволнованный и возбужденный, я сначала пришел на Арбат с Армфельдтом и решил ехать в Петербург в тот же вечер. Но прежде чем оставить Москву, мне захотелось повидаться в ней с моим первым знакомым из революционного мира, Григорием Михайловым, тем самым, который прежде всех других вел пропаганду среди московских рабочих и любил некстати вставлять в свой разговор в интеллигентной среде французские и латинские фразы.

— Он теперь получил после смерти своего отца в наследство дом,— ответил мне Армфельдт на мой вопрос о своем старом приятеле,— женился и прекратил знакомство не только со своими рабочими, но даже и со всей радикальной молодежью. Лучше не ходи к нему, право не стоит!

— Может быть, вышли какие-нибудь недоразумения? Может быть, он не сошелся с молодежью в каких-нибудь мелочах убеждений?

— Да нет же! Даже и споров никаких у нас с ним не было. Он просто стал сторониться от молодежи, а ты знаешь, что средняя продолжительность нелегальной деятельности в России не более трех месяцев. Всякий, кто уклоняется от нее хоть одну зиму, теряет все связи с действующими лицами. Его знакомые уже все арестованы, их преемники его не знают. Он не мог бы вновь установить порванных раз сношений, если б даже и хотел, вследствие потери всех адресов. Теперь только я один и знаю о существовании твоего Григория Михайлова на свете, а для молодежи он совершенно неведомая личность.

— Но все же я пойду к нему. Мне жалко думать о нем, как о совершенно отставшем, о малодушном.

— Попробуй! — спокойно заметил Армфельдт и сказал мне тут же новый адрес затерянного мною друга моего детства.

Закусив немного у Армфельдта, я побежал к Михайлову. Я легко нашел его деревянный двухэтажный дом на одной из наиболее тихих московских улиц и прямо влетел к нему в комнату с книжкой «Из-за решетки» в кармане, в которой были и мои стихи. Мне не хотелось, чтобы слышанное мною от Армфельдта хоть немного повлияло на нашу встречу, ведь Армфельдт может и ошибиться.

— Здравствуйте! — воскликнул я, увидев его спину перед письменным столом между двумя окнами.

Он быстро повернулся ко мне.

Одно мгновенье он смотрел на меня, как на незнакомого, и вдруг узнал.

— Здравствуйте, здравствуйте! — воскликнул он со своими обычными театральными манерами, но все же с явным удовольствием.

Он заключил меня в свои объятия.

— Рад, рад видеть вас целым и невредимым после многих лет вашего великого горя и страданий! Да! И я страдал тоже все это время! Да! И я верил в русский народ, но он попрал ногами мою веру! Я сделал все, что можно было сделать человеку, и совесть моя теперь спокойна! Теперь я могу жить для себя, окончательно убедившись, что современный русский человек не готов для гражданской свободы! Он раб и трус. Вы тоже, конечно, помирились уже со своим отцом и живете в вашем имении?

— Нет! — ответил я.— Я теперь более революционер, чем когда бы то ни было раньше!

— Бросьте! Бросьте! Послушайтесь опытности вашего старшего друга и товарища. Ничего не выйдет. Вы, верно, помните лучшего из моих рабочих, которому я объяснял и Герцена и Лассаля?

— Конечно! Что же с ним? Он сослан?

— Сослан? — спросил он, став передо мною с трагической улыбкой на лице.

— А то что же?

— О, если б только он был сослан! Нет! Нет! — воскликнул он со злорадным негодованием.— Выучившись от меня всему, сделавшись интеллигентным человеком, он... он заработал на фабрике своим трудолюбием и искусством, которых я у него не отвергаю, несколько сот рублей, он был искусный ткач... А потом...

он уехал к себе в деревню... и открыл там мелочную лавочку!

Он произнес последние слова таким полным отчаянья голосом, как будто его воспитанник совершил величайшее преступление.

Я внутренне улыбнулся, видя, что он остался все таким же слегка ходульным, но по природе добродушным человеком.

— Значит, вы совсем разочаровались?

— Совсем! Совсем! — воскликнул он.

В комнату вошла и видимая причина его разочарования в опасной деятельности — миловидная молодая дама невысокого роста.

— Маня! Позволь представить тебе того, о котором я тебе так много говорил! — сказал он ей.

— Моя жена! — обратился он ко мне.

Та сразу догадалась, о ком идет такая неопределенная речь, и поздоровалась со мной, назвав меня по имени и отчеству и взглянув на меня с любопытством. Очевидно, они оба действительно не раз говорили между собой обо мне.

— Да! — продолжал ораторствовать он.— Бросьте, как бросил уже я, неблагодарное, безнадежное дело! Направьте ваши молодые силы на что-нибудь лучшее!

Мне захотелось ответить ему, что его совет запоздал, что Третье отделение уже разыскивает меня вновь для отправки в тундры, но я удержался. Мне не хотелось его пугать собою.

— Вы будете обедать с нами? — спросил он.

— Нет! Я еду сегодня вечером в Петербург. Но я не хотел проезжать через Москву, не повидавшись с вами.

— Благодарю, благодарю за память! — торжественно воскликнул он, тряся мою руку.

— Я даже принес для вас книжку стихотворений, где есть и мои. Но боюсь, что теперь вы не захотите ее взять?

— Почему? — возразил он.

— Она — женевское запрещенное издание.

— Я возьму ее,— воскликнул он, взглянув на свою жену таким взглядом, который ясно говорил: видишь, какой я смелый! Если я прекратил занятие с рабочими и сношение с революционерами, то никак не от своей трусости!

— Прошу написать на ней — от автора! — сказал он мне, подавая перо.— Она будет для нас дорогим воспоминанием!

Я взял перо, написал и тотчас же простился.

Меня поразил контраст этого уставшего деятеля прежних лет и его мирного домашнего очага с той кипучей, молодой и свежей жизнью, которая окружила меня утром у Сухаревой башни.

— Да! Старое старится, молодое растет! — грустно говорил я сам себе, отправляясь вечером в дальнейший путь.

В лице этого человека я простился с последним воспоминанием моей ранней юности, и мне было жалко своего воспоминания.

2. *Итоги подведены*

Как полна печалей и тоски, как бесконечно длинна должна быть жизнь для всякого, кто ее проводит без дела! Как подавляюще должны действовать на праздных людей все их личные невзгоды!

Я знаю это по собственному опыту.

Всякий раз, когда я по тем или другим, и всегда по не зависящим от меня, причинам, оставался без «определенных занятий», все мои личные радости и печали казались мне так велики! Но стоило только отдаться осуществлению какой-нибудь определенной цели, и вдруг время начинало казаться слишком коротким, и хотелось, чтобы в сутки вместо двадцати четырех часов было, по крайней мере, сорок! И все мои личные страдания и невзгоды начинали казаться такими ничтожными сравнительно с величием общечеловеческой работы, в которой я принимал участие, лишь как один из многих!

Так было со мной и теперь, когда, подъезжая к Петербургу, я вдруг почувствовал, что еду на что-то новое, великое, уже происходящее в наших больших городах.

Еще работы в жизни много,
Работы честной и святой,
Еще тернистая дорога
Не заросла передо мной! [45]

Я часто повторял это стихотворение Добролюбова на перепутьях своей жизни, повторял его и теперь.

Образ Веры и ее товарищей, оставленных мною в уединенной квартире в Саратове, ожидавших предстоящего им устройства в деревне и словно не предчувствовавших начинавшейся в городах активной борьбы, стал как бы застилаться предо мною вуалью. Но сквозь эту вуаль их лица начали представляться мне даже чище, идеальнее, чем прежде.

Ведь и я так же, как они, хотел бы жить среди природы и простых, бесхитростных людей, внося в их сознание более высокие идеалы, но моя душа была уже переделана на новый лад

пережитыми мною гонениями, и мирная, спокойная работа в простом народе стала для меня невозможной.

Любовь к Вере, после того как я расстался с нею, и расстался, казалось, навсегда, тоже сразу потеряла для меня все то, что в ней было мучительного, и осталось только нежное идеальное чувство преданности. Оно было теперь почти такое же, какое я хранил в душе и к другим предметам своей любви, но только несравненно свежее их...

Моя любовь к Вере и ее предшественницам была лишь прологом без его естественного продолжения. Это были лишь яркие сновидения, грезы человеческой души, инстинктивно стремившейся к осуществлению своей предвечной цели, хотя ей на пути и были поставлены препятствия ненормальными условиями окружающей действительности, требовавшими самоотречения во имя общечеловеческих идеалов. И мои интимные грезы, как и все обычные мечтания, быстро заслонялись реальностями жизни и заменялись через некоторое время другими грезами, а от прежних оставались в воспоминании лишь одни светлые стороны, тогда как теневые детали исчезали почти бесследно.

Почему это было так? Почему почти все сохранившиеся у меня воспоминания того периода только трогательны и хороши, а не мучительны?

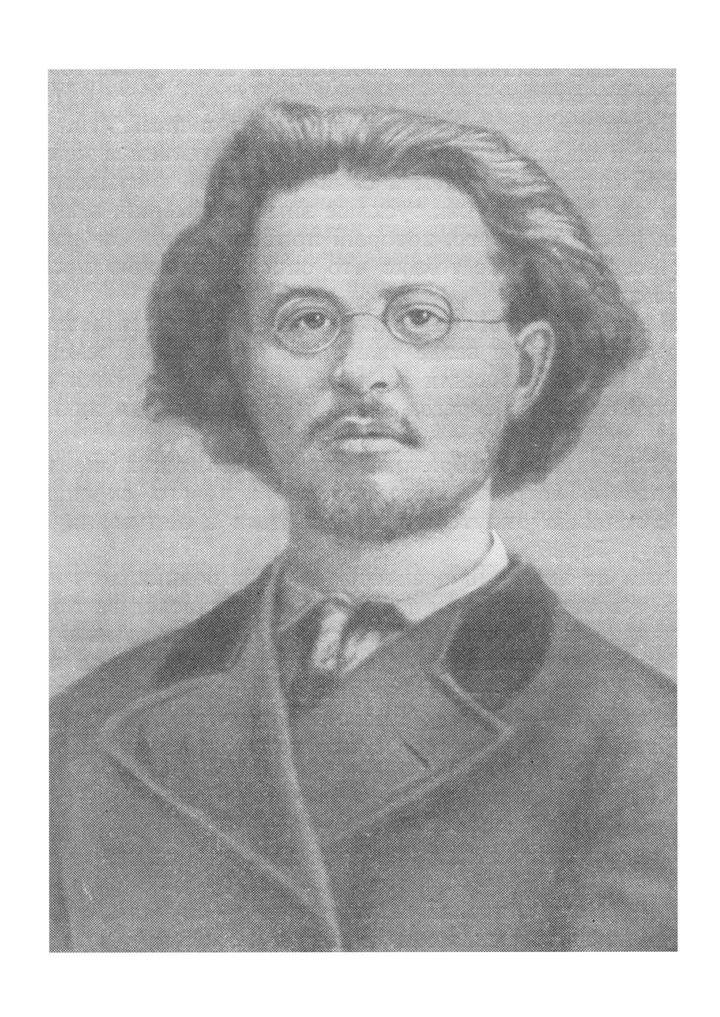
Потому что освободившаяся от неволи душа искала только идеального и запечатлевала в себе лишь его, выбрасывая из себя все остальное, как ненужный хлам!

Совершенно то же самое было и в моем детстве, яркий пример чему я увидел лет шесть тому назад, когда после выхода из Шлиссельбурга приехал в свое родное имение в весеннее время. Как все напоминало мне там весну моей собственной жизни! Всякая проталинка в снегу у солнечной стены дома, каждая березка с распускавшимися сережками казалась давно знакомым дорогим другом! А потом я побывал в этом же имении и зимой на рождественских праздниках. Я приехал туда и вышел из дому в тусклый унылый день, по сугробам снега, под серым облачным небом. Я снова смотрел на привычные мне с детства картины и ждал, что вот пробудятся и от них воспоминания о былом, унылом.

Но что же? Никаких воспоминаний! Как будто я никогда не видал родные места в снежной одежде!

Оказалось, что все тусклые дни моего детства стушевались в моем воспоминании, а яркие и радостные остались!

Зимы проходили для меня, как неинтересные, незанимательные прохожие, а весны, как давно ожидаемые, приветливые друзья! Так должно быть и у всякого, за исключением разве



Н. А. Морозов (начало 70-х годов).

мизантропов, легче запоминающих дурное и проходящих мимо хорошего, не замечая его.

Они да еще меланхолики собирают в своей душе только тусклое. Это несчастные люди.

Не будем же, как они! Будем накоплять в своей душе больше хорошего, и не портить ее свежесть накоплением в ней всякой житейской мерзости! Будем и сами проходить в сознании окружающих нас людей не как тусклые зимние сумерки, а как яркие весенние дни, вроде того, который приветствовал мое возвращение в Петербург после только что описанных мною московских приключений.

Я не мог оторваться от окна моего вагона весь день. Из серой, буроватой земли везде уже пробилась свежая зеленая трава, ивы и вербы раскрыли свои пушистые почки, реки и ручьи выступили из своих берегов,— как и общественная жизнь моей родины!

Вот показались фабричные трубы городских предместий. Как-то теперь встретит Петербург меня, нового, окрепшего, готового с головою ринуться в начавшуюся в нем великую революционную борьбу?

Я этого не знал. По временам в душе возникало тревожное чувство, чувство грядущей неизвестности, но вслед за тем какой-то ликующий голос всплывал из самой глубины души и властно звал меня на городские улицы, полные волнующимся народом.

«Скорей, скорей! — говорил мне этот голос под звук громыхающих вагонов.— Вперед! Вперед! Туда, где кипит уже новая жизнь, где осуществляется наяву великая поэма Шиллера о вольном стрелке Вильгельме Телле!»

3. Удивительная девушка и странная встреча

— Дома Николай Алексеевич? — спросил я высокую скромную и очень симпатичную лицом молодую девушку, отворившую мне дверь квартиры в высоком доме «на Песках» против Николаевского госпиталя.

— Нет, он еще в банке,— ответила она.

— А его жена?

— Тоже ушла.

— Все равно! — сказал я ей.— Я остановлюсь у него!

И, положив свой чемодан, я снял пальто и шляпу и повесил их на вешалку.

— Вы тоже, по-видимому, у него остановились? — спросил я девушку.

— Да.

— Которая комната тут посвободнее?

— Помещайтесь пока в столовой.

И она пошла к себе в комнату, указав мне на дверь, которую я уже знал как столовую по прежним посещениям.

Николай Алексеевич — это был великан с громким басовым голосом, служивший в государственном банке. С ним я когда-то уехал за границу и некоторое время жил в Женеве. Фамилия его была Грибоедов. Не будучи сам писателем, он имел однако в литературных сферах большие знакомства.

Не участвуя ни в хождении в народ, ни в каких-либо заговорах, но сочувствуя всему этому, он охотно давал у себя приют всем, скрывающимся от политических преследований, власти за ним следили, и раза два у него уже были обыски. Но, несмотря на это, мы, разыскиваемые, время от времени собирались и даже ночевали у него, как только он нам заявлял, что подозрительные люди перестали шнырять у его ворот.

«Кто бы такая могла быть незнакомая девушка? — спрашивал я себя, развалясь на диване и заложив себе за голову обе руки».

Мне так приятно было отдохнуть после утомительного путешествия из Москвы в Петербург в «некурящем» вагоне третьего класса, где я уступил свою скамью на ночь одной незнакомой девушке, опоздавшей на поезд и потому оставшейся без удобного места.

В квартире все было тихо. Только стенные часы в высоком футляре чирикали монотонно, а их медный большой, как полная луна, маятник, видимый сквозь стекло резного футляра, качался взад и вперед так медленно, медленно...

«Утомился и он,— подумал я,— своим длинным путешествием по времени, где каждый его взмах похож на шаг; так же как и я, утомился теперь длинной дорогой по пространству».

Мало-помалу я задремал и заснул.

— А, и ты тут! — разбудил меня голос вошедшего Грибоедова, и в его тоне почувствовалось мною как будто разочарование, а не обычная приветливость.

— Что случилось? — спросил я его прямо.

Он оглянулся на дверь и, увидев, что она затворена, подсел к моему дивану и тихо сказал.

— Тебе лучше остановиться у кого-нибудь другого. У меня теперь скрывается Вера Засулич, и ее надо беречь, ты сам понимаешь.

Я так и вскочил с дивана, страшно обеспокоенный своей невольной неосторожностью.

— Эта высокая девушка, отворявшая мне дверь без тебя — она?

— Да.

Мне показалось, как будто я совершил преступление, приехав сюда. Мне захотелось поскорее оправдаться перед ним.

— Я, конечно, никогда и не подумал бы прийти к тебе, если б подозревал что-нибудь подобное. Но уверяю тебя, что за мной никто не следил с вокзала. Я несколько раз оглядывался на перекрестках и решительно никто не ехал за мной, а то я проехал бы далее твоей квартиры к первому попавшемуся дому, сказал бы извозчику, что ошибся адресом и велел бы везти меня к какому-нибудь из известных мне проходных дворов, чтоб скрыться через него, бросив свой чемодан на добычу шпионам.

— Знаю, что ты осторожен. Если хочешь, оставайся здесь, только не выходи из моей квартиры. А если выйдешь, то уж лучше не возвращайся, пока нам не удастся безопасно отправить ее за границу. Это к тому же скоро сделают.

— Неосторожно посадить ее к тебе, уже не раз обысканному! Неужели не нашли ей лучшего помещения?

— Нашли. Вскоре после того, как наши ее отбили на улице у жандармов, ее поместили у доктора Веймара. Он совершенно не заподозрен, владелец огромного дома на Невском и, кроме того, знаком лично с самой русской императрицей.

— Слышал. Она даже подарила ему свой портрет, украшенный бриллиантами, за совместную деятельность в лазаретах в турецкую войну. Почему же Вера Засулич переехала от него к тебе?

— Она очень простых привычек, и говорили, что большие комнаты его дома и роскошь меблировки сильно стесняют ее. Она не в силах была там жить больше двух недель, несмотря на внимание самого Веймара. А у меня она чувствует себя просто.

«Так вот она какая!» — подумал я. И я почувствовал к ней удвоенное благоговение.

— Значит, останешься у меня? — спросил Грибоедов.

— Нет! Я сейчас же уеду!

— Куда?

— К Обуховой! Она тут недалеко.

Обухова была медичка, жившая с тремя курсистками на общей квартире.

— А где Сергей? — уходя, спросил я его о своем друге Кравчинском.

— Он теперь живет на Петербургской стороне. Только ты не ходи туда через мост!

— Почему?

— Сергей, возвращаясь к себе домой, всегда предварительно «очищается водою» и требует того же самого и от других.

Он, загадочно улыбаясь, взглянул на меня.

— Как очищается водою? Не купается же он каждый раз в Неве?

— Нет! — уже совсем расхохотавшись, ответил Грибоедов.— Наискось от его улицы, находящейся на той стороне Невы, есть на нашем берегу пароходная пристань, и около нее всегда бывают лодочники, перевозящие желающих за десять копеек через реку. Ты понимаешь, что если за тобой незаметно следят, и ты сядешь в лодку, то шпиону ничего не останется сделать, как взять другую и ехать сзади. Ты его сейчас же и увидишь. Нева широка, а отставать ему далеко от тебя нельзя. Уйдешь. Вот это Сергей и называет очищением себя водою.

— Как похоже на него! — воскликнул я, смеясь.— Замечательно остроумно! Непременно очищусь и я.

Я взял свой чемоданчик, и, не осмелившись зайти к Вере Засулич, чтоб попрощаться с нею и выразить ей мое благоговение, спустился на улицу и прошел по ней некоторое расстояние. Чемодан был не очень тяжел, а я любил таскать тяжести, чтоб не давать изнеживаться и расслабляться своим мускулам. Кроме того, у меня уже выработалось правило — ни в каком случае не брать извозчиков при самом выходе из какого-либо дома, так как если дом в подозрении, то у его ворот часто ставят извозчиков-шпионов, которые соглашаются везти вас за какую угодно плату, а потом доносят, куда вы ездили.

Все курсистки у Обуховой встретили меня с восторгом. Они были в толпе, освободившей Веру Засулич, и были полны восторженными воспоминаниями.

— Вы не поверите, какое сильное впечатление производят раздающиеся выстрелы в возбужденной толпе на улице! Нам показалось, что началась революция!

— А как же вы освободили Веру Засулич?

— Мы бросились к карете, в которой ее везли, отворили дверцы, высадили Засулич, а жандармов принудили оставаться там. В этот же миг толпа замкнулась перед Засулич. Ее начали передавать все дальше и дальше от одного ряда к другому, и вот она затерялась совсем. Стало даже грустно, когда скопление народа, запружавшее всю улицу, начало вдруг рассеиваться, и улица постепенно опустела. Как жалко, что вас с нами не было!

Да, и мне действительно было жалко! Какой здесь контраст с тишиной, в которой живут теперь в Саратове мои друзья

и сама Вера! Мне очень хотелось крикнуть ей отсюда: вернись, вернись скорее!

К вечеру пришли другие курсистки и студенты. Они не были из очень юных и потому не немели в моем присутствии, как те гимназистки, с которыми я встретился на второй день после своего освобождения. Мне радостно было видеть, что вновь для меня возможны чисто товарищеские отношения в молодой среде. Переночевав на диване в столовой у Обуховых, я оставил у них свой чемодан и маленький карманный револьвер системы «бульдог», который подарил мне Армфельдт при моем отъезде из Москвы. Я вышел на Литейный проспект, отправляясь к Кравчинскому, и дошел через Пантелеймоновскую улицу через тогдашний Цепной мост почти до входа в Летний сад.

Стояла чудная, почти летняя погода. Возвращающееся на север солнце нежно согревало окоченевшую в его отсутствие землю, и земля готовилась радостно ответить на его ласки миллионами зеленых листьев и благоухающих цветов. Я пошел на Неву по главной аллее сада, а в душе у меня словно звучала новая, неведомая музыка.

Сам собой начал слагаться первый куплет еще неопределившегося по содержанию стихотворения.

Солнце зашло
В туче густой,
Черною мглой
Все занесло.

Зная, что скоро буду «очищаться водою», я весь отдался своим внутренним звукам и голосам и не обращал внимания ни на что окружающее. Я шел в фуражке министерства земледелия с кокардой. Ее мне только что дал у Обуховых один молодой землемер в обмен на мою шляпу, говоря, что с чиновничьим головным убором мне будет безопаснее ходить по улицам.

Не глядя ни направо, ни налево, ни перед собой, я почти бежал, опустив голову, и вдруг с размаху ударился ею во что-то мягкое.

Фуражка с кокардой слетела с моей головы на землю. Я быстро поднял ее, стараясь не выронить при наклоне своего большого револьвера, находившегося в открытой кобуре у пояса под пальто, и не показать кинжала, скрытого за жилетом.

Взглянув при этом вверх, я увидел перед собой очень высокого старого генерала с седоватыми усами и бакенбардами, смотрящего сверху вниз прямо на меня каким-то бесчувственно суровым и ничего, кроме суровости, не выражающим взглядом.

— Извините, пожалуйста! — сказал я ему, улыбаясь.

Он так же сурово, как и прежде, продолжал смотреть на меня сверху вниз. Ни одна черта его лица не сложилась в улыбку и не изменилась.

«Верно какой-нибудь очень важный,— пришло мне в голову.— Очевидно, он не считал совместным со своим достоинством своротить для меня в сторону, и потому я ударился прямо головой в его правое плечо. Что если он велит свести меня в полицию, а у меня в карманах найдут кинжал и револьвер?»

— Извините, пожалуйста! — повторил я снова, еще более весело улыбаясь.

Но он и теперь продолжал сурово смотреть на меня, не показывая ни малейшей склонности к разговору.

Что мне было предпринять? Приподняв свою уже надетую фуражку, я сделал ему еще раз приветливый поклон и, не говоря более ни слова и нарочно не спеша, чтоб он не подумал, будто я струсил и бегу, я пошел далее своим путем, обдумывая изо всех сил, что мне делать, если он меня арестует?

Но, раньше чем я успел пройти каких-нибудь шага три, я вдруг увидел как из-за деревьев боковой аллеи, окаймлявшей с левой стороны главную, на которой я столкнулся с генералом, вышел черноусый жандармский офицер на середину дороги и медленно направился наперерез мне.

«Отстреливаться ли мне от него,— пришло мне в голову,— или сдаться и вновь попасть в тюрьму? Нет, лучше смерть, чем это!»

Мне показалось, как будто могила уже разверзается предо мною. Но неопределенное положение длилось лишь одну минуту.

— Ха-ха-ха! — раздался вдруг за мною громкий, суровый хохот генерала, и, вероятно, по сделанному его рукою знаку, которого я, конечно, не видал сзади себя, жандармский офицер, как по команде, повернул налево и ушел обратно в боковую аллею, из которой так неожиданно появился.

Я миновал его, идущего мерной спокойной походкой, не обращая на меня внимания, шагах в полутораста сзади генерала, как бы конвоируя его сбоку. Я дошел до ворот Летнего сада на набережной Невы, повернул по ней в сторону и, сразу увеличив скорость своих шагов до крайней степени, на которую был способен, не придавая своей походке характера бега, перешел через один из горбатых мостиков на впадающих в Неву каналах, и здесь в первый раз оглянулся, как бы следя за проехавшей мимо меня встречной каретой.

Никто не шел за мной сзади.

«Кто же этот старый генерал, которого тайно сопровождает сбоку жандармский офицер? — думал я, несколько успокоив-

шись.— Почему он так сурово смотрел на меня, в то время как все, с кем я сталкивался ранее его таким же образом, замечтавшись на улицах, всегда от души смеялись вместе со мной, даже и тот господин в Москве, которого я гимназистом ударил лбом по лбу так сильно, что из наших носов тут же потекла кровь на тротуар. Уж не сам ли это царь? Он, говорят, прогуливается здесь часто».

Событие это на моем пути к Кравчинскому через Неву причинило мне на несколько минут такую тревогу, что до сих пор осталось в памяти, и с этого момента я дал себе обещание никогда не составлять стихов на улицах, по крайней мере, пока меня разыскивает на них полиция.

Только после того, как я сел в лодочку и доехал до другого берега Невы без всякого постороннего сопровождения, я почувствовал, что, как Сергей, окончательно «очистился водою».

Вбежав в комнату Кравчинского, я бросился к нему в объятия и начал рассказывать о своих тамбовских и саратовских страданиях, о всем, что произошло в Москве и здесь за эти четыре дня после моего отъезда оттуда.

— А ты что делал и что собираешься делать? — спросил, наконец, я его.

— В прошлом делал мало интересного,— ответил он печально.— Не стоит и говорить. А теперь готовлюсь к серьезному делу. Ты ведь знаешь уже, что император отклонил ходатайство суда о замене каторги ссылкой твоим товарищам по процессу?

— Нет! В первый раз слышу!

— Да! — ответил он.— Это страшно поразило нас всех.

— Так что же ты думаешь делать?

— Мы уже выпустили прокламацию. Это министр юстиции граф Пален воспользовался освобождением Веры Засулич, чтобы настоять на применении к осужденным жестоких кар. Против него мы и хотим принять меры, а мои товарищи из здешнего кружка «троглодитов» хотят, кроме того, организовать временную боевую группу для того, чтоб освободить хоть одного из твоих по Большому процессу.

— По дороге в Сибирь?

— Нет! Их повезут в Чугуевскую или Александровскую центральную тюрьму в Харьковской губернии.

— А можно будет и мне принять участие в их освобождении?

— Надо поговорить с другими. Ты знаком с троглодитами?

— Как же! Перед отъездом я познакомился с Ольгой Натансон, с Адрианом Михайловым, с Баранниковым, с Оболешевым, а с Зунделевичем я знаком давно. Это он сплавлял меня

за границу четыре года тому назад. Помнишь, меня еще переодели тогда еврейской девушкой?

— Да, помню!

— А из товарищей, выпущенных вместе со мной из заточения, кто-нибудь будет участвовать в освобождении?

— Все выпущенные с тобой разъехались по разным местам, и ни о ком нет ни слуху, ни духу.

— А как же наше восстановленное «Большое общество пропаганды»?

— Осталось мертворожденным. Если ты хочешь не только мечтать о деле, но и делать что-нибудь, то примкни, как и я, к троглодитам. Это удивительные люди! Они мало говорят, но зато много делают. И Лизогуб теперь у них, и все его средства в их распоряжении. А ты знаешь, что, для того чтоб вести серьезные дела, мало иметь одних людей, но нужны также и средства [46].

— Но я не могу вступить ни в какое тайное общество до тех пор, пока меня не освободит то, к которому я уже присоединился.

— Но кто же тебя освободит, когда все члены рассеялись?

— А вдруг они снова соберутся, отдохнув? Нельзя ли сделать так, чтобы троглодиты приняли меня к участию в делах не как члена своего общества, а как постороннего помощника?

— Постараюсь устроить. Нужно тебе сказать, что я и сам еще не состою у них формально, но я обещал вступить после первого серьезного дела, которое совершу вместе с ними.

— Значит, переговори и обо мне и скажи, что мне теперь более всего хочется участвовать в освобождении кого-нибудь из моих товарищей по заключению.

Наш разговор перешел постепенно на чисто личные и даже философские предметы, о которых я теперь лишь смутно помню.

Я пообедал с ним в кухмистерской. Он нанимал меблированную комнату в одной семье, но обедал не у своих хозяев, так как не имел возможности ежедневно возвращаться домой в определенное время.

Вечером зашли к нему и некоторые из троглодитов, охотно согласившиеся устроить меня в предполагаемой ими освободительной дружине.

Я был в полном восторге. Переночевал я эту ночь у Кравчинского на диване, потому что не был в силах с ним наговориться до самой поздней ночи. Так много всяких замыслов, интересных для обоих, обнаружилось в наших головах!

4. Приготовления

Темно-голубая Нева волновалась под лазурным безоблачным небом. Сильный ветер с моря поднимал на ней большие крутые валы и срывал с их гребней брызги белой пены. Ярко сверкали солнечные блестки на склонах волн, и еще ярче горела золотая игла Петропавловской крепости. Прыгая на волнах в маленькой лодочке, я переезжал от Кравчинского с Петербургской стороны на другой берег недалеко от того места, где находится теперь Троицкий мост. Я «омывался водою» в полном смысле слова, так как брызги волн, ударявшихся о корму моего утлого челна, постоянно кропили меня.

Я долго смотрел на Петропавловский шпиц, на серые бастионы крепости и искал за ними выступа, за которым сидели теперь восемнадцать моих товарищей по процессу, которым император не захотел сделать смягчения, несмотря на ходатайство особого присутствия сената. Мне страшно тяжело было представить в этом море солнечных лучей их полутемные камеры, их тусклое прозябание уже четвертый и пятый год, вдали от жизни и свободы, под ежеминутным не прекращающимся ненавистным надзором врагов.

«Чувствуете ли вы теперь, дорогие друзья,— говорил я им,— что я с моими новыми товарищами, сильными и смелыми, может быть, скоро освобожу одного из вас?»

Я раскрыл дождевой зонтик, данный мне Кравчинским, чтоб носить всегда с собой, употребляя, как палку в ясную погоду, и как свою защиту в дождь, и поставил его в лодке, как парус. Бурный ветер быстро повлек ее, так что гребцу оставалось только править своими веслами. Но это продолжалось недолго. Сильным, свистящим порывом воздуха вывернуло мой зонтик наизнанку и начало трепать и вырывать его из моих рук, так что, лишь выйдя на берег, я смог привести в порядок подарок своего друга.

«Хорошо, что я не верю в предзнаменования! — подумал я.— А то легко было бы подумать, что это ответ на мои мысли и что наши планы также будут вывернуты наизнанку бурей!.. Надо быть осторожнее!»

Я поспешил к Обуховым, и в первый раз употребил при этом придуманный мною конспиративный прием. Номер их квартиры был четырнадцатый, а напротив их в пятнадцатом жил, как я видел на двери вчера, ходатай по частным делам Петров.

— Дома Петров? — спросил я дворника у ворот.

— Кажется, не выходил! — ответил он.

Я побежал вверх по лестнице, но вошел, конечно, не к Петрову, а в квартиру Обуховых.

Я был очень доволен своим способом мистифицировать привратников, а с ними и тех, кто будет у них справляться обо мне, если меня заметят.

«Буду так поступать всегда,— думал я.— На лестницах обыкновенно никого не встречаешь, и потому никто никогда не узнает, что я хожу не туда, куда предполагает дворник. Теперь, если за Обуховыми следят и спросят его обо мне, то он скажет, что я хожу к Петрову».

И моя предосторожность с первого же раза оказалась не напрасной.

На лестнице все было тихо. Подойдя к квартире Обуховых, я приложил ухо к щелке входной двери и начал прислушиваться. Там раздавались только женские голоса.

«Значит, они дома, и нет засады!» — подумал я, нажимая потихоньку ручку двери, чтоб войти тихонько, если дверь не заперта. Но она не поддавалась, я позвонил, и мне отворила сама Обухова.

— Здравствуйте! — воскликнула она, смеясь.— А у нас всю ночь были гости! Посмотрите-ка!

Я вошел в столовую, где ночевал позавчера и должен был ночевать в эту ночь, если бы меня не удержал Кравчинский. Квартира вся была перевернута вверх дном.

Ящики комодов вынуты и стояли на полу как попало. Белье выворочено из них и лежало грудами рядом со стульями. Все столы, шкафы, кровати были выдвинуты на середину комнат.

— Как хорошо, что вы не пришли ночевать сюда вчера вечером! Иначе только бы мы вас и видели!

Я засмеялся, не знаю отчего. Мне вдруг стало очень, очень весело. Миновавшая опасность уже не имеет в себе ничего страшного. Напротив, чувствуешь какой-то душевный подъём, торжество, как будто бы сам себя избавил, а не простой слепой случай. Так было со мной и в этот раз.

Однако обстоятельства сейчас же показали, что я торжествовал слишком рано.

— Вот теперь ваша квартира хорошо очищена,— сказал я.— Второй раз не придут скоро, и потому мне надо поселиться именно у вас.

— А вдруг за нами надзор? — сказала Обухова.

Она с беспокойством взглянула в окно на улицу и вдруг, обернувшись, таинственно подозвала меня к себе пальцем. Я посмотрел из-за ее плеча. С дворником нашего дома говорили,

постоянно оглядываясь, два субъекта очень подозрительного вида. Скоро они отошли от него и встали порознь на противоположной стороне улицы, время от времени посматривая на наши окна и подъезд.

— Вам нельзя теперь от нас выйти. Увяжутся или схватят при выходе! — испуганно сказала Обухова.

Сначала мне тоже стало не по себе, но затем я сообразил, что следят не за мною.

— За мной никто не шел,— сказал я.— А дворник ваш думает, что я хожу к вашему визави, к частному поверенному Петрову. Это хотят следить за теми, кто к вам ходит, а за мной, наверно, никто не увяжется.

— Все равно! Надо сначала выйти двоим из нас и увести их за собою, а затем уже выйдете вы.

— Хорошо! — согласился я.— У вас, очевидно, ничего не нашли, так как никого не арестовали?

— Ничего! — сказала Обухова.— Только отобрали ваш револьвер, который я признала за свой. И чемодан ваш весь перерыли.— Откуда? — спрашивают.— Моего брата,— сказала я,— и они его оставили в покое.

В это время все ее товарки, бросив уборку комнат, с беспокойством смотрели на улицу за подозрительными субъектами, но через несколько минут и они уже начали смеяться и придумывать способы, как бы их мистифицировать и одурачить, выйдя с таинственным видом ранее меня и приведя их затем в колбасную лавку или в какое-нибудь подобное благонамеренное место. Успокоившись таким образом за меня, они расселись где попало и наперерыв начали рассказывать мне о только что происшедшем у них.

— В четыре часа ночи, когда мы все спали, вдруг раздался сильный звонок,— заговорила одна из них.— Мы сейчас же догадались, что это жандармы, и я, вскочив, сожгла на свечке несколько писем, а пепел бросила в ведро умывальника.

— А я,— воскликнула другая,— накинув только одно платье, пошла босая к дверям и спросила:

— Кто там? — Телеграмма! — отвечают.

— Это у них обыкновение! — заметила Обухова.

— Я уже видела, что Саша все сожгла и потому не задерживала их напрасно. Только что я успела отомкнуть замок, как вся их орава так и ворвалась и разбежалась по всем нашим комнатам.

— Прежде всего,— прервала ее смотревшая до сих пор в окно белокурая девушка, маленького роста, совсем как девочка, фамилии которой я не знал,— они полезли в печки, на печки, в дымовые трубы, на шкафы, под шкафы, потом вытащили из комодов

и столов все ящики и смотрели, не спрятано ли чего в глубине за ними.

— Это тоже обычный их прием,— сказала с видом эксперта Обухова, которую обыскивали уже не раз.— Ни в каком случае нельзя прятать ничего в такие места, а также и между листами книг, а надо придумать всегда что-нибудь оригинальное. Тогда они ни за что не найдут.

— А что же оригинальное? — спросила ее маленькая белокурая девушка, лишь в этом году поступившая на курсы.

— Мало ли что! — ответил ей я тоже с опытным видом.— Вот, например, моя знакомая Алексеева раз спрятала целую кучу запрещенных книг в корзину, стоявшую на полу в кухне, прикрыла все грязным бельем и оставила посредине пола. Все было перевернуто вверх дном и единственная вещь, оставленная без внимания, оказалась эта самая корзина!

— В деревнях, я думаю, очень удобно,— воскликнула одна из них, очевидно, только что напав на такую мысль,— зарывать скрываемое в стеклянных банках где-нибудь в поле и прикрывать дерном.

— А в лесу еще лучше! — сказала другая.

— Нет, хуже! — поправил я ее.— В лесу могут видеть из-за деревьев, а где-нибудь сидя на траве на лугу, можно всегда вырыть ямку столовым ножом и спрятать банку. Но только надо хорошо запомнить место, потому что иначе и сам потом не найдешь. Вообще говоря, при обысках находят что-нибудь только потому, что умы у всех людей действуют крайне однообразно. Почти все прячут то, что желают скрыть, непременно в дымовые трубы, за ящики комодов; точно таким же образом поступали тысячи людей до них и потому научили сыщиков смотреть прежде всего именно в такие места!

Мне было очень смешно видеть, с каким вниманием они слушали и запоминали каждое мое слово, как будто я сообщал им удивительную практическую премудрость, а не самые простые и очевидные вещи.

Время от времени мы посматривали на улицу. Наблюдатели за квартирой все еще не уходили. Чтоб утомить их стоячим ожиданием, я принялся помогать моим хозяйкам в восстановлении порядка в их квартире, передвигая на обычные места расстроенную мебель.

Усталые, мы принялись пить чай, а после того две из самых молоденьких девушек побежали отвлекать от дома сыщиков. Глядя из окон, мы видели, как искусно они это сделали. Захватив с собою свертки своих тетрадок, они, оглядывались с хорошо подделанным беспокойством, пошли быстро в разные стороны. Один

субъект тотчас же пошел за одной из них, другой — за другой, и улица оказалась очищенной. Я вышел вслед за ними без всяких приключений и направился к Оболешеву, давшему мне свой адрес у Кравчинского. Я застал у него почти всех троглодитов, в том числе Михайлова и Квятковского, приехавших одновременно со мной из Саратова.

— Мы вас приняли в свое предприятие! — сказал мне, приветливо улыбаясь, Александр Михайлов.— В Харьков поедем я, вы, Адриан, Квятковский, Баранников, Ошанина, Перовская, да еще из Одессы мы пригласим Фроленка и Медведева.

— Зачем же так много? — заметил я.

— Как много? Прежде всего я и Перовская, которая поедет под видом моей жены, устроим конспиративную квартиру. В ней нам можно будет несколько недель скрываться в Харькове. А особенно будет нужна наша квартира тому, кого нам удастся освободить, так как по всей вероятности ему нельзя будет сразу уехать: ведь на всех дорогах будут для него устроены облавы! Затем, нам нужна и другая квартира, в которую мы перейдем, если первая окажется опасной. Ее устроят Баранников с Ошаниной, тоже под видом мужа и жены, так как, конечно, только семейные квартиры будут тогда неподозрительны. Затем нужна будет квартира, на которой можно хранить оружие и все необходимое для освобождения. Из нее же выедут освободители. Это будет ваша квартира.

— Но мне бы хотелось не только содержать квартиру, но и участвовать в самом освобождении!

— Так и будет сделано! Мы решили устроить освобождение так. Двое наших верховых,— Квятковский и Медведев,— вооруженные военными револьверами, уедут вперед и встретят в степи между Харьковом и Чугуевом ту тройку, на которой жандармы повезут арестованного. Они тут же застрелят лошадей выстрелами в их головы. А вы тем временем в тарантасе, запряженном тройкой, поедете из Харькова как случайные спутники сзади жандармов, и таким образом их конвой очутится между двумя огнями и, может быть, сдастся вам без выстрела.

— А кто будет со мною в тарантасе?

— Адриан кучером, Баранников, переодетый армейским капитаном, в виде пассажира, рядом с ним вы, а на козлах, рядом с кучером, Фроленко.

— А куда же мы посадим освобожденного? Тарантас наш ведь будет полон!

— Прямо в кузов к своим ногам!

Способ мне понравился. Ничего лучшего, казалось мне, и придумать нельзя.

— Вам останется только,— продолжал Михайлов,— после перестрелки связать кучера и жандармов и, покинув их в степи, поспешно возвратиться в Харьков. Там вы бросите лошадей и тарантас на произвол судьбы — их все равно не успеете продать — и скроетесь вместе с освобожденным на приготовленных для вас безопасных квартирах.

— В таком случае,— воскликнул я в восторге от предстоящего романтического предприятия,— нам надо немедленно ехать! Я побегу сейчас и куплю в магазине генерального штаба хорошие карты окрестностей Харькова.

— Отлично! — сказал Михайлов.— Кроме того, нам надо запастись хорошим полевым биноклем и огнестрельным оружием. У вас есть револьвер?

— Есть.

Я показал ему.

— Хороший? — спросил он, мимолетно взглянув на моего «Смит и Вессона» и, очевидно, плохо разбираясь в оружии.

— Конечно! Военный боевой револьвер.

— Надо еще приобрести пару, но только необходимо поручить знающему человеку, чтоб не купить дряни.

— Я знаю толк в огнестрельном оружии. Мне с детства приходилось обращаться с ним. У отца полная коллекция всех систем, и мы с ним почти каждый день стреляли в цель.

— Вот и хорошо! — сказал он.— Но мне обещал уже выбрать доктор Веймар. В его доме магазин «Центральное депо оружия», и ему как домовладельцу не дадут оттуда дряни.

— Может быть, вы оба вместе пойдете к Веймару сейчас же? — сказал Квятковский Михайлову.

— Да, надо сейчас же! — согласился тот, посмотрев на свои часы, и мы с ним отправились.

Я еще ни разу не бывал у доктора Веймара. Я только знал, что у него три недели скрывалась Вера Засулич и затем сбежала к Грибоедову «от роскоши и парадности» его дома. Мне было очень интересно посмотреть, так ли это.

Перед нами на Невском показался большой, красивый дом, против нынешней улицы Гоголя, на бельэтаже которого находилась огромная вывеска: «Центральное депо оружия». Миновав вход в этот магазин, мы позвонили выше его, в дверь, на которой было написано: «Ортопедическая лечебница д-ра Веймара». Лакей в ливрее встретил нас и направил в гостиную, которая действительно была меблирована богато, со вкусом и с очень хорошими картинами по стенам.

— Здравствуйте! — неожиданно послышался приятный голос за нашими спинами.

Мягкий ковер совершенно заглушал шаги вошедшего. Быстро повернувшись, я увидел перед собою замечательно красивого и изысканно одетого, стройного человека лет двадцати семи, с белокурыми волосами и интеллигентным выражением лица. Михайлов представил ему меня.

— Я уже знаю вас,— сказал мне Веймар,— по вашему процессу. Мы часто говорили о вас с Грибоедовым, когда вы сидели.

— И я тоже давно знаю вас по его рассказам, когда мы жили за границей. Помните, как вы с ним и Глебом Успенским шли из ресторана по Невскому в виде трех мушкетеров? Вы все были тогда заперты одним усердным городовым в темную комнату при его будке, но разрушили ее стену и ушли, пока он бегал докладывать о вас в участке.

Веймар от души засмеялся. Мне стало даже удивительно, почему Вера Засулич не могла у него долго жить! Он нисколько не важничал, и с ним чувствовалось совсем просто.

— Да,— сказал он.— Мы были тогда не совсем трезвы и по пути издевались над полицией. А вы,— обратился он к Михайлову,— верно, за обещанным вам оружием?

— Именно за ним!

— Сейчас я пошлю лакея в Депо и велю прислать с ним сюда самые новейшие заграничные образцы.

Лакей принес нам целую корзину револьверов. У меня как былого любителя оружия, по воспоминаниям детства, разгорелись глаза при виде такого разнообразия. Один из револьверов — американский — особенно обратил мое внимание огромными стволами своего барабана. В них легко входил мой большой палец.

— Вот,— сказал я Михайлову,— настоящий для лошадей!

— Он не для лошадей, а для медведей! — заметил Веймар, еще не зная, для чего он нам нужен.

— Конечно,— ответил я,— за лошадьми ведь не охотятся. Я хотел только сказать, что от такой пули свалится всякая лошадь, тогда как при обыкновенной пуле она пробежит еще верст десять, хотя бы прострелили ее насквозь.

Я осмотрел внутренние стенки стволов на свет, подведя под них бумажку. Они блестели и были безукоризненны.

— Значит, берем его? — спросил Михайлов.

— Обязательно!

И мы отложили в сторону этот револьвер, которому не раз пришлось участвовать в дальнейших революционных выступлениях того времени и даже в покушении Соловьева на жизнь им-

ператора. Затем мы отобрали еще два поменьше и, уплатив Веймару по присланному нам из магазина счету, ушли, не заходя в него.

Забрав свое оружие и соответственное количество патронов к нему, мы с Михайловым отправились в тир, где я сделал по нескольку выстрелов из каждого купленного револьвера. «Медвежатник» отдавал очень сильно, приходилось метить значительно ниже цели, чтоб попасть в нее, но его пули с такой силой ударялись в чугунную доску, что плавились на ней и, отчасти разбрызгиваясь, падали вниз свинцовыми лепешками, величиной с большие карманные часы.

— Действительно,— сказал Михайлов,— против таких пуль не устоит не только лошадь, но и американский бурый медведь.

Отправившись с оружием домой, он попросил меня, уже одного, зайти в оптический магазин, чтоб купить большой военно-полевой бинокль, и затем приобрести в генеральном штабе карты северо-западных окрестностей Харькова. Я сделал и то и другое на данную мне им сторублевую бумажку и, выходя из генерального штаба, неожиданно встретился с Кравчинским.

— Пойдем,— сказал он мне,— в татерсал! Я там беру уроки верховой езды, так как действовать, по всей вероятности, мне придется на людных улицах и потому верхом.

— Пойдем! — ответил я.

В татерсале уже хорошо знали Кравчинского. Содержатель его, француз, еще издали встретил нас маханьем своей шляпы и потоками французских приветствий. Мы вошли вместе с ним на балюстраду, перед которой на усыпанной свежим песком арене десятка полтора офицеров описывали, как в цирке, красивые вензеля на хорошо обученных лошадях. Вывели лошадь для Кравчинского и из любезности вторую для меня и предложили попробовать. Я сел, и мы тоже начали выделывать восьмерки. Хозяин делал нам всевозможные замечания, указывая, как надо вытягивать свои спины и ноги, и на прощанье убедительно советовал мне подучиться у него правильной посадке хоть в десять уроков.

— Зачем тебе все эти фокусы? — спросил я Кравчинского, когда мы вышли на улицу.— Ведь нам не на парадах ездить!

Он несколько сконфузился.

— Это правда,— ответил он.— Но видишь ли, я рассчитывал, что тут будут учить сразу скорой езде и быстрым неожиданным поворотам, однако в татерсале это оказалось невозможно. А он не хочет давать мне лошадей на выезд за город, пока я не пройду его предварительного курса. Придется окончить его.

Он о чем-то задумался.

— А знаешь,— сказал он, вдруг поворачиваясь ко мне,— в этом самом татерсале содержится на пансионе и наш знаменитый рысак Варвар, на котором Веймар и Левашев освободили из заключения Кропоткина. Как-нибудь на днях мы прокатимся с тобою на нем в шарабане.

— На чье имя он здесь записан?

— Теперь я играю роль его хозяина, а роль моего кучера взял на себя Адриан Михайлов. Он замечательно ловко правит лошадьми.

Но мне не пришлось ни разу прокатиться на знаменитой революционной лошади. Дней через пять я уехал в Харьков вместе с Александром Михайловым. Мы с ним окончательно подружились и успели уже заключить брудершафт.

5. *Попытка освобождения товарища*

В одном из самых глухих переулков г. Харькова, где росли вдоль заборов кусты бурьяна и почти никогда не появлялся ни один прохожий, стоял одинокий домик, принадлежавший офицерской вдове. Его сени вели в переднюю, из которой открывались двери в две различные половины нижнего этажа. В одной из них жила она сама, приветливая женщина лет тридцати, а в кухне — ее кухарка. Другая половина квартиры на зиму сдавалась студентам университета, а летом оставалась совершенно пустая. Весь этот домик как будто нарочно был устроен для таинственных дел.

Прежде всего переулок был тупик, но не настоящий: его передний конец выходил на обыкновенную улицу, а другой опирался прямо в болотистую речку, всю заросшую камышом, через которую можно было вброд перебраться к глухим заборам противоположного берега и, перепрыгнув через один из них, скрыться в находящихся за ними пустынных садах.

Да и при самом домике был небольшой садик, через заборы которого при некоторой ловкости не трудно было перепрыгнуть в соседние огороды, где легко было скрыться от всяких преследований.

В то летнее время, о котором я говорю, в оставленной студентами квартире поселился у офицерской вдовы молодой землемер, лет двадцати трех или четырех, искавший себе службы в харьковском земстве. Он часто уходил неизвестно куда. Вдова видала его главным образом по утрам, когда он пил с нею

вдвоем утренний чай в ее садике среди роз. Она угощала его собственноручно приготовленным вареньем, рассказывала местные новости, заводила разговоры на всякие темы, а особенно на тему о любви, доказывая ему, что «вечно любить невозможно».

Землемер держался другого мнения. Он утверждал, что нельзя любить вечно лишь в том случае, если любовь не привела к супружеским отношениям, а раз привела, то разлюбить друг друга возможно только по крайней сварливости характеров у супругов, но тогда, вместе с окончанием любви, они докажут свою негодность не только для всякой другой супружеской, но и вообще для общественной жизни.

— Им после этого ничего не остается, как навсегда поселиться поодиночке в пещерах! — говорил он с убеждением.

Когда землемер уходил затем к себе в комнату и запирался в ней на задвижку, он часто отпирал ключиком, вынутым из своего кармана, большой сундук, в котором находились очень странные вещи, совсем не подходящие для министерства земледелия и торговли. Там были два седла, две конские уздечки, два полных форменных костюма армейского и жандармского офицера и, наконец, толстенная, тяжелая морская сабля. Было там и несколько других совсем негодных для его занятий вещей.

Вы, конечно, уже догадались, что молодой землемер был не кто иной, как я сам, а все приборы в моем замкнутом сундуке назначались для освобождения товарищей, которых скоро должны провезти жандармы через Харьков в центральную каторжную тюрьму. Эта моя квартира была, так сказать, штаб-квартирой организуемых действий, и выбрал ее я сам после долгих поисков из-за удобств ее положения.

В нее приходили мои товарищи для совещаний, и из нее же мы все должны были выехать в бричке и верхом в решительную минуту, для того чтобы больше сюда не возвращаться. Ведь и хозяйке и ее кухарке после совершившегося события будет совершенно ясно, что на него ехали от их дома.

— Нет еще известий, когда вывезут из Петербурга? — спрашивал я у пришедшего ко мне Михайлова в первый же день после приискания себе этой прекрасной квартиры.

— Нет, но мне писали, что скоро. В тот самый момент, как их вывезут, нам протелеграфируют: «акции поднялись!» А число, насколько поднялись акции, будет означать день и час их выезда из Петербурга.

— А наши не пропустят там их выезда? Ведь повезут тайно и неожиданно!

— Нет! Один из крепостных сторожей сейчас же сообщит

об их увозе от него. Кроме того, наши все время дежурят на вокзале, и двое поедут с тем же самым поездом, чтоб телеграфировать нам и из Москвы и из других городов, где у них могут быть остановки.

— А хороши ли купленные вчера лошади?

— Очень хороши! Небольшие, но сильные и быстрые!

— А бричка крепкая?

— Подержанная, но очень недурна. Вчера Фроленко, Адриан и Медведев, купив все разом, приехали в своем экипаже тройкой на постоялый двор под видом управляющего помещичьим имением, его конторщика и кучера.

И он тихо засмеялся.

— А верховые лошади?

— Тоже куплены! Да вот Фроленко с Адрианом уже едут за седлами к тебе.

Я выглянул в окно на улицу. Действительно, мои товарищи въехали в переулок и остановились у ворот моего дома. Из брички вылез Медведев и, войдя ко мне с рогожным кулем, завязал в него седла, вынутые из моего сундука, и уехал обратно.

— Теперь мы начнем,— сказал мне Михайлов,— пробные разведки обеих дорог. Не известно еще, куда повезут. Надо хорошо узнать обе дороги. Где твои карты?

Я вынул из сундука карты генерального штаба. Дорога в Чугуев и дорога в Змиев расходились между собой уже в самом городе. Мы начали изучать их. Они обе оказались почти прямые, и ошибиться в пути было невозможно.

Удовлетворенные полученными результатами, я и Михайлов пошли на его «конспиративную» квартиру, где должен был скрываться будущий освобожденный, а с ним и некоторые из нас. Она представляла хороший дом-особняк, нанятый Михайловым и меблированный сборной мебелью от его харьковских знакомых — различных общественных деятелей. Хорошенькая горничная, приветливо улыбаясь, отворила нам дверь. Это была на самом деле курсистка Роза, местная жительница, игравшая роль горничной, как настоящая актриса. Хозяйкой была Перовская.

Я подошел по очереди ко всем окнам. Из них были видны три улицы на значительное расстояние. Подойти незаметно к дому было трудно.

— Отправимся сейчас же в Основу! — сказала нам Перовская.— Там уже ждут нас Баранниковы, а также, может быть, придут и остальные. В лесу удобнее сходиться вместе под видом прогуливающихся.

Она накинула свое пальто и шляпу, и мы пошли втроем в знаменитый лес, где Шевченко сочинял свои украинские стихи. На одной из его лужаек сидела с закусками почти вся остальная наша компания. Новостей пока не было никаких, и мы, лежа в траве под деревьями, наблюдали сквозь их ветви проблески голубого неба.

— Расскажите, как вы теперь убежали от жандармов? Я еще не знаю подробностей! — спросил Фроленко Перовскую.

— Да совсем просто! — ответила она.— Жандармы арестовали меня в Крыму в имении брата и заявили, что, по распоряжению из Петербурга, меня должны выслать в Архангельскую губернию. Мне страшно не хотелось, но, конечно, пришлось. Я взяла белья в свой чемодан и денег, но деньги тотчас же отобрали жандармы и повезли их сами. На третью ночь мы приехали на станцию Бологое, где нужно было пересаживаться на рыбинский поезд. Но он отходил только утром. Я легла спать на диване в дамской комнате, а жандармы сели у дверей. Мы были все утомлены дорогой, и они оба уснули. Вдруг слышу, подходит скорый поезд из Москвы в Петербург. Я встала с дивана, вижу, жандармы спят; отворила окно комнаты и вылезла через него на платформу, а затем вошла прямо в вагон третьего класса, где вся публика уже спала. У меня не было ни одной копейки денег, жандармы все отобрали, и потому я сейчас же залезла под скамью и легла в глубине. Никто из спящих не обратил на меня внимания. Я очень трусила, что жандармы проснутся и не выпустят поезд без обыска. С замиранием сердца ждала я третьего звонка, и мне казалось, что мы стоим без конца на этой станции. Но вот поезд поехал, и через восемь часов я благополучно доехала до последней перед Петербургом станции. Там я сошла с поезда, думая, что на петербургском вокзале все жандармы предупреждены телеграммами, и кто-нибудь из знающих меня в лицо ожидает там моего приезда.

— А со станции вы пришли пешком в Петербург?

— Да, и страшно проголодалась! Не ела целый день. А усталости никакой не чувствовала, пока не пришла к знакомым.

— Зачем вы тогда поехали к брату в Крым? — заметил Михайлов.— Ведь вы были предупреждены, что вас, как и его,— и он указал на меня,— после процесса решено было административно выслать в Архангельскую губернию? [47]

— Да, но многие думали, что высылать будут только тех, кто останется в Петербурге, а тех, кто уедет на родину, оставят в покое. Потому, кроме него, никто из выпущенных не скрылся, а разъехались по домам в провинцию.

— И всех их, как вас, сцапали на родине и повезли в тундры! Разве можно было думать, что Третье отделение успокоится оттого, что люди сами уехали? — укоризненно ответил лежавший на траве рядом с Александром Михайловым Адриан Михайлов, которому предназначалось быть кучером при предстоящей попытке освобождения.

Наступило молчание.

Палящий солнечный жар мало-помалу начал уменьшаться. Было совершенно тихо. Длинная полоса пыли потянулась по дороге за проезжающей телегой и, казалось, не хотела с нее сойти. Хорошо нам было сидеть на опушке леса и слушать друг друга.

Прошло несколько дней в ожидании. У нас все было давно готово — и экипаж и верховые. Дорога была обследована, и общий ее характер оказался не совсем благоприятным для наших целей. Широкая ровная степь без кусточка или холмика расстилалась на необозримое пространство. Ни одного значительного оврага, где можно было бы устроить засаду. Но, как бы то ни было, нам оставалось только ждать известия и выезжать. А жизнь кругом нас шла так спокойно, и сами мы, наконец, так привыкли к праздности, что мне начало казаться, будто никого никогда к нам не привезут.

И вдруг, как вспышка яркой зарницы в тихую летнюю ночь, пришла к нам условленная телеграмма.

— Вчера вечером они выехали из Петербурга! — прибежал ко мне рано утром возбужденный Александр Михайлов.

— Значит, сегодня будут уже в Москве, а послезавтра утром у нас! — воскликнул я, мысленно сосчитав время.

— Да! Если не остановят в дороге. Везут четырех в арестантском вагоне. Кто бы это мог быть?

— Конечно, осужденные на долголетнюю каторгу: Ковалик, Войнаральский, Мышкин, Рогачев.

— Да,— прибавил он,— я сам так думаю. Кого-то удастся нам отбить? Повезут их порознь, и всех освободить нам будет невозможно.

Он начал ходить из угла в угол задумавшись.

— А знаешь! — сказал он мне.— Придется употребить в дело только форму армейского офицера, которую сделал себе Баранников. А жандармская так и останется у тебя в сундуке в добычу жандармам, когда они нагрянут в твою квартиру.

— Почему?

— Фроленко ни за что не хочет одеваться в жандармский мундир, говорит: стыдно!

Мы засмеялись.

— А что, твоя офицерская вдова,— спросил вдруг Михай-

лов,— очень болтлива? Конечно, сейчас же все выболтает, как только догадается после огласки дела? Ведь она опишет твои приметы жандармам.

— Не знаю. Она, конечно, страшно испугается. Но я думаю, что и без нее прохожие по улице скажут, что тарантас, похожий на тот, в котором было произведено нападение, выехал именно из их переулка, а в нем не трудно будет найти и ее квартиру. Тут все одни заборы, кроме ее дома. Тогда и она попадет в историю. Мне ее заранее очень жалко.

Он посмотрел на свои часы и ушел. А я пошел пить чай к хозяйке.

«Выдаст или не выдаст?» — задавал я себе мысленно вопрос, смотря на нее, когда она, улыбаясь, наливала мне чай с вареньем и старалась снова завести флиртовый разговор.

Мне не верилось, что она опишет мои приметы. Но кто ее знает? Я с ней ни разу не говорил о политике. Интересы дела не позволяли мне радикальничать здесь.

Длинными показались мне и моим друзьям эти последние два дня. Между нами всеми образовалось как бы беспроволочное телеграфное сообщение. Каждая новая телеграмма в каких-нибудь полчаса делалась известна нам всем, несмотря на разные места нашего жительства.

Наконец, вечером Александр Михайлов влетел бомбой в мою комнату.

— Сегодня в третьем часу ночи,— сказал он мне,— они приедут! Будь одет уже к двум часам утра.

— Буду!

— Надо выехать на дорогу заблаговременно! Не проспи!

— Как ты можешь это подумать! — воскликнул я с обидой.

Михайлов побежал к другим. Я лег в постель, положив перед собою коробку спичек, чтоб смотреть на часы время от времени и отдохнуть перед предстоящей бессонной ночью. Я действительно ненадолго задремал, так как очень устал благодаря сделанному мною в тот день исследованию всех дорог в окрестностях Харькова, причем я и Квятковский совершили большое путешествие верхами. Но уже в первом часу ночи я проснулся от какого-то внутреннего толчка, предупреждавшего меня, что я должен быть наготове к чему-то важному, и с этого момента не мог заснуть вплоть до рассвета, который в июне начинается в Харькове очень рано.

Я поднялся с постели и оделся, как только получил возможность видеть предметы за своим окном, и стал ожидать приезда за мной товарищей. Вскоре под окном показалась высокая, несколько полная фигура Александра Михайлова в летнем светлом

пальто и спортсменской шапочке. Быстро вскочив с подоконника, я бросился к двери и впустил его.

— Ну, что?

— Все готово. Опасаясь, что их (т. е. всех осужденных товарищей) могут высадить не на пассажирской, а на товарной станции, вдали от города, и увезти оттуда, Квятковский и Баранников отправились туда и залегли за насыпью в кустах, вооружившись на всякий случай боевыми револьверами. Пойдем пока ко мне, чтобы сейчас же узнать, что нам делать.

Я быстро накинул пальто, и мы вышли на улицу.

Шел сильный дождь. Грязь была невообразимая. Придя к Михайлову, мы прежде всего увидели там Перовскую и Розу.

— Еще никого нет,— шепнула нам последняя, и мы все вместе провели более получаса в томительном ожидании.

Наконец, после трех часов утра в ставень одного из наших закрытых окон раздались три условных удара. Роза побежала и открыла калитку. К нам вбежал Квятковский и отрывисто сказал:

— Приехали!

— Где они теперь? — спросила его Перовская.

— Мы видели, как поезд с арестантским вагоном, на площадке которого стояли жандармы, прошел мимо товарной станции к вокзалу. Мы бросились туда и видели, как двоих в сопровождении здешнего полицеймейстера и жандармов отправили в тюремный замок, а остальных двоих — в контору вольнонаемных почт, очевидно, для немедленного отправления по назначению. Баранников, дежуривший у вокзала, уже убежал закладывать лошадей.

— Беги и ты к себе! — обратился Квятковский ко мне.— Они будут у тебя через несколько минут! А я сейчас же еду с Медведевым верхами на Змиевскую дорогу.

— А вдруг их повезут по Чугуевской дороге? — заметила Перовская.

— Нет! Чугуевская тюрьма наполнена исключительно уголовными, а в Змиевской есть еще несколько свободных камер для политических,— заметил Михайлов.— Наверно повезут туда.

Мы оба быстро вышли и почти прибежали в мою квартиру. Там никого не было, но не прошло и пяти минут ожидания, как в переулке перед моими окнами показалась бричка, запряженная тройкой лошадей. На ее козлах в кучерском костюме сидел Адриан. Баранников в офицерском костюме находился на заднем месте и рядом с ним сидел Фроленко в виде его денщика.

Я и Михайлов быстро вынесли в бричку чемодан с кинжалами и револьверами большого калибра и толстую морскую

саблю, служащую обыкновенно для рубки канатов на кораблях, а в этом случае предназначавшуюся для быстрой перерезки постромок у пристяжных лошадей.

Я сел на место Фроленка рядом с Баранниковым, а Фроленко как «денщик» перебрался на козлы, и мы быстро помчались на Чугуевскую дорогу, простившись с Михайловым, махавшим нам своим платком, пока мы не исчезли из вида. Светало. Дождь не переставал. Широкая ровная дорога приняла какой-то грязный, бурый вид. Жирная черноземная почва, прилипая огромными комьями к колесам и копытам наших лошадей, страшно затрудняла путешествие. Наши одежды намокли, как губки.

Мы доехали почти до селения Рогани, находящегося в десяти верстах от Харькова, не встретив ничего особенного. Считая неудобным удаляться более от города, мы повернули назад и, свернув с большой дороги, остановились недалеко от нее на пригорке. Отсюда легко было обозревать всю окрестность.

Черной грязной лентой лежала перед нами дорога, исчезая в туманной от мелкого дождя дали. Волы, возы с флегматически идущими возле них хохлами длинными вереницами тянулись по всему ее пространству. Какая-то тройка, вероятно с семейством окрестного помещика, быстро проехала мимо нас, да рота солдат с ружьями на плечах медленно прошла к деревне. Но те, кого мы ждали, все не являлись.

Сильно обеспокоенные, мы послали, наконец, Квятковского обратно на разведки и стали снова ждать. Через час он прискакал назад махая красным платком — условный знак: быть настороже,— и, подъехав ближе, сообщил, что в окне конторы вольнонаемных почт он видел Ковалика с двумя жандармами, ожидающими лошадей, чтобы везти его.

Переменив отсыревшие заряды в револьверах, мы снова выехали на дорогу, но она по-прежнему не представляла ничего особенного. Прошли новых два часа.

Нам оставалось думать одно из двух: или что шеф жандармов, ожидая, как нам было известно, попытки к освобождению осужденных, велел везти их окольными путями, или что их просто повезли в Чугуевскую, а не в Змиевскую тюрьму. Порешив на этом, мы быстро повернули назад и, переодевшись по дороге в свои обыкновенные костюмы, возвратились в Харьков.

Там мы тотчас же узнали от товарищей, наблюдавших за тюремным замком и за конторой вольнонаемных почт, что уже увезли из города Мышкина, Ковалика и Рогачева, каждого с двумя вооруженными жандармами. Наблюдавшие были уверены, что они не миновали встречи с нами и были очень удивлены, что мы приехали одни.

Удостоверившись, что оставшегося в замке Войнаральского уже не повезут в этот день, так как в подобном случае пришлось бы совершить путешествие ночью, мы дождались следующего утра и привели в исполнение новый план действий, при котором жандармам не было никакой возможности проехать мимо нас незамеченными.

Ранним утром мы поставили одного верхового в узеньком закоулке, недалеко от тюремного замка, откуда было видно все, что делается перед его воротами. Другого поместили около конторы вольнонаемных почт, а бричку — на небольшом проселке, на равном расстоянии от Змиевской и Чугуевской дорог, выходящих из Харькова, почти под прямым углом. С этого пункта, смотря по надобности, было легко переехать на ту или другую дорогу, прежде чем жандармы успеют опередить нас.

Первый верховой — Квятковский, определив путь, по которому жандармы выедут из замка, должен был немедленно известить об этом находящихся в бричке. Затем мы вместе, быстро выехав на соответствующую дорогу, должны были ехать по ней впереди жандармов, пока не встретим благоприятного для освобождения места. Но так как бричка при первом путешествии оказалась очень тесной для четырех человек и освобожденному было бы почти некуда сесть, то в последний момент в ней отправились только трое: Баранников, одетый армейским офицером, да Фроленко и Адриан в обыкновенных костюмах, а меня было решено оставить вместе с Михайловым в Харькове, в резерве. Я был страшно огорчен этим решением, но не мог не согласиться, что оно правильно. Впятером в нашей бричке было совершенно невозможно ехать не только бешеным галопом, как предполагалось, но даже и рысью, особенно при необходимости отстреливаться в случае преследования.

Отправив в путь товарищей из моей сборной квартиры, я печально пошел с Михайловым к нему, и там вместе с Перовской и Розой мы стали час за часом ждать известий.

Это было так томительно, что не раз мы порывались вскочить и бежать за город, на дорогу, посмотреть, что на ней делается. Мы напрягли свои глаза по всем трем улицам, лежащим перед нашими окнами, но там были лишь одни обычные прохожие.

Только после полудня мы увидели вдали спешащую к нам высокую и стройную фигуру, которая показалась нам очень знакомой.

— Баранников! — воскликнула Перовская.— И притом один! Неужели опять пропустили?

Но оказалось хуже. Весь взволнованный, Баранников вбежал к нам в комнату.

— Ну что? Ну что? — спрашивали его мы все вместе.

— Ничего не вышло! — ответил он.— Приехав на проселок между двумя дорогами, мы остановились возле белой избушки с двумя столбами, куда должны были явиться наши верховые, и стали ждать. Прошло почти полтора часа. Наконец, прискакал Квятковский, крича еще издали: «на Змиевскую дорогу!» В то же время показалась около города тройка, быстро подвигавшаяся к Змиеву. Адриан сильно ударил по лошадям. Через несколько минут мы уже ехали впереди жандармов, заставляя их следовать за собою на небольшом расстоянии. Мы ожидали нашего второго верхового — Медведева, который был необходим для обеспечения полного успеха, так как перестрелять одним револьвером всех трех лошадей Квятковскому было почти невозможно. Но Медведев не являлся. Наконец, увидев за пригорком белую колокольню приближающегося села и решив, что ехать так дальше невозможно, мы начали осаживать лошадей и остановились, свернув немного с дороги. Я и Фроленко быстро выскочили из брички. Выступив на дорогу, я крикнул: «Стой!» Ямщик осадил лошадей, но они с разбегу пробежали еще некоторое пространство. «Куда едешь?» — спросил я по-военному жандарма, подойдя к кибитке — «В Ново-Борисоглебск!» — ответил мне сидевший напротив Войнаральского унтер, делая под козырек, потому что я был в военной форме. В этот самый миг Фроленко выстрелил, но промахнулся.— «Что тут! Что это!» — крикнул в испуге сидевший по другую сторону от Войнаральского жандарм. Я выстрелил, и он упал на дно повозки, лицом вниз. Испуганные лошади жандармов дернули и помчались... Произошло смятение... Я вскочил вновь в нашу бричку, Адриан хлестнул кнутом по лошадям, и мы помчались в погоню, а Фроленко, не успев вскочить, побежал пешком... Он на бегу сделал еще два выстрела, но тоже безуспешно. Квятковский, находившийся немного впереди, желая убить коренную лошадь жандармов, повернул назад, но его собственная лошадь, испугавшись выстрелов, заартачилась. Стрелять в упор при проезде мимо него жандармов ему не было никакой возможности. Справившись, наконец, с лошадью и догнав жандармов, он на всем скаку выпустил в их лошадей все шесть выстрелов своего револьвера. Большая часть их, судя по брызгам крови и судорожным движениям лошадей, попала. Но израненные лошади помчались еще быстрее мимо бежавших в сторону прохожих, мимо хохлов-косарей, оставивших работу и, опершись на косы, с удивлением смотревших на происходившее,— мимо какого-то солдата с ружьем на плече, который бросился в соседнюю рожь, где и исчез без следа вместе со своим ружьем. Расстояние между нами и жандармами все

увеличивалось... Адриан напрягал последние усилия, чтобы догнать их, но его не особенно хорошие лошади, видимо, уступали в быстроте почтовым лошадям жандармов... Ожидая, что Войнаральский выскочит из кибитки, мы гнались почти до самого селения. Наконец, жандармы въехали на его улицу, и мы, убедившись в бесполезности дальнейшей погони, решили возвратиться в Харьков на постоялый двор. Сейчас оттуда придут и остальные.

И они действительно пришли, совершенно удрученные неудачей. Особенно печален и сконфужен был Медведев, явившийся последним из всех.

— Почему вы не попали на место? — спросил его Александр Михайлов, едва он явился.

— Я поскакал,— ответил он,— на условленный пункт, который был показан мне на карте окрестностей Харькова. Но я попал, по-видимому, на другой проселок, находящийся несколько далее от города, и остановился у белой избушки с двумя столбами, приметы которой совершенно подходили к условленной. Тут я ждал более часа. Наконец, не видя около нее никого и думая, что опоздал, я отправился далее. Проехав таким образом до самого селения, я внезапно услыхал позади себя выстрелы. Догадавшись, что опередил товарищей, я повернул лошадь и во весь опор поскакал назад. Проехав некоторое пространство, я увидел скакавшую мне навстречу тройку, в которой один жандарм целился в меня из револьвера, а другой лежал в кузове экипажа, у ног Войнаральского. Я не напал на них, так как наша бричка, на которую мог бы пересесть Войнаральский, была уже далеко и быстро возвращалась в Харьков. Мне оставалось только пришпорить лошадь и ехать вслед за ними [48].

6. Тревожный отъезд

Александр Михайлов стал быстро ходить взад и вперед по комнате, что-то соображая.

Я грустно сидел за столом. «Какая неудача! Ничего не вышло, кроме раненых лошадей да раненого жандарма!» — думал я.

На душе было страшно больно и за Войнаральского, за которым теперь будут во все глаза смотреть его тюремщики, и за себя, и за раненного даром человека.

— Знаешь! — перебил мои размышления круто повернувшийся ко мне и, очевидно, что-то решивший Михайлов.— Жандармы с Войнаральским не возвратятся в Харьков, пока не отвезут его,

но они дадут телеграмму о случившемся с ближайшей станции, до которой донесут их лошади.

— Конечно, но они не могут в телеграмме описать приметы нападавших,— ответил я.

— Так. Но здешнее жандармское управление может сейчас же навести справки по всем постоялым дворам, откуда могла бы выехать утром тройка с бричкой и двое верховых.

— И конечно,— согласился я,— легко найдут и расставят служителей этого постоялого двора на вокзале и при главных выездах из города, и никому из участвовавших нельзя будет выехать.

— Да, но жандармы, наверно, не успеют разыскать постоялый двор до ближайшего отходящего отсюда поезда. До него осталось только два часа. Надо пользоваться этим временем и немедленно уехать всем участникам, в том числе и тебе. Ведь с твоей квартиры ехали на освобождение.

— А как быть с сундуком? В нем еще жандармский мундир и морская сабля, которой мы думали перерубить постромки у пристяжных. Как жаль, что товарищи не взяли ее! Тогда жандармы не могли бы ускакать!

— Ну, что говорить об этом! — ответил он.— Брось все на квартире на произвол судьбы. Багаж весь наверно обыщут в поезде после тревоги, и арестуют тебя при его получении, если ты возьмешь с собой сундук. Бери на этот раз билет второго класса. Есть деньги?

— Только семь рублей. И мне надо расплатиться с хозяйкой.

Александр Михайлов, бывший нашим казначеем, вынул мне семьдесят рублей.

— Довольно?

— Конечно. Половина этих денег доедет до Петербурга целой. Можно и меньше.

— Мало ли что может случиться! — ответил он и тут же начал выселять из города и других товарищей.

Я обнялся и расцеловался со всеми и пошел к своей хозяйке, которая еще издали улыбалась мне. Она сидела в своем саду и что-то вышивала.

— Это для вас! — сказала она, быстро пряча материю.

— Что такое?

— Не покажу. Потом, когда будет готово!

— А я, знаете, должен сегодня же вечером на несколько дней уехать в Одессу.

Я нарочно показал ей противоположный путь.

Ее живое личико вытянулось.

— Но не совсем, надеюсь? Наверно, возвратитесь?

— Наверно. Даже свой сундук оставлю у вас.

— Это хорошо.

Она опять оживилась.

— Только вы не будете там искать места? Устраивайтесь у нас в Харькове. Разве дурно здесь вам жить у меня?

Она лукаво посмотрела на меня искоса.

— Нет,— ответил я.— Напротив, очень хорошо, и я возвращусь. Но только все-таки перед отъездом я рассчитаюсь с вами.

И я положил ей на стол плату за месяц.

— Не хочу денег! — воскликнула она, отталкивая бумажку.— Возьмите назад.

Но я не взял и отправился укладывать свои вещи.

Когда я пришел прощаться с нею, она сидела очень опечаленная. Да это и понятно. Мы оба успели привыкнуть друг к другу, проводя все утра и вечера вдвоем целых три недели. Мне тоже стало жалко с ней расставаться, зная, что мы более никогда не увидимся. Как-то она отнесется ко мне, когда узнает, что я вовсе не землемер. Мне стало даже неловко думать об этом моменте. Поймет ли она, что я никак не мог поступить иначе?

Я взял с собой только ручной сак и пошел пешком. Она накинула шаль и пошла провожать меня до вокзала. Однако опасаясь, что ее могут арестовать вместе со мной, я сказал ей что по дороге должен зайти к товарищу, который очень боится женщин. Я уговорил ее возвратиться с полдороги, остановясь перед входом в найденный Александром Михайловым в первые же дни нашего пребывания в Харькове проходной двор и уверив ее, что тут в доме именно и живет мой нелюдимый друг.

Мы расстались, крепко пожав друг другу руки. Она печально пошла обратно, а я, быстро пройдя через вторые ворота на противоположную улицу, спешно направился к вокзалу.

Квятковский и Адриан Михайлов опередили меня на извозчике. Мы сделали вид, что не замечаем друг друга, хотя и тут, на вокзале, не оказалось ничего подозрительного. До отхода оставалось четверть часа, и поезд был уже у платформы.

Взяв билет не до Москвы, а до первой большой станции, я тотчас же отправился в вагон, соседний с тем, в который вошли мои товарищи. Я сел прямо против кругленького веселого и очень разговорчивого господина с сыном-гимназистом.

— Вы служите у нас в Харькове? — спросил он меня, едва я расположился против него на диване, и он успел разглядеть землемерскую фуражку.

— Нет! — ответил я.— Я приезжал сюда искать работу в земстве, но, к сожалению, оказалось, что никакой нет.

— Как нет! — воскликнул он.— Кто это вам сказал! Я сам

в земстве, и у нас масса, масса работы! Кто говорил вам такую небылицу?

— Какой-то высокий черный господин, не помню его фамилии,— сымпровизировал я, захваченный врасплох.

— А, это Хрулев! Знаю его, знаю! Только что же, с ума он что ли сошел? Или, может быть, вы сказали ему что-нибудь, очень либеральное или неприятное?

— Не помню, кажется, ничего не сказал особенного.

— Наверно, что-нибудь сказали! Иначе быть не может! Оттого он и не захотел. А у нас работы масса, масса!

Он назвал мне свою фамилию и охарактеризовал главнейших деятелей своего земства,— либеральных с большим сочувствием, а реакционных с нескрываемым презрением, потом вдруг вынул свои часы и с изумлением посмотрел на них.

— Кондуктор! — обратился он к проходящему железнодорожному служителю.— Почему мы до сих пор не едем?

— Не знаю. Задержало жандармское управление. Кого-то разыскивают по вагонам.

— Кого же? — привскочив, спросил он.

— Не знаю! Не знаю! — ответил кондуктор и спешно ушел далее.

Не могу сказать, чтоб у меня замерло сердце,— оно у меня еще ни разу не замирало в буквальном смысле,— но мне стало очень тревожно при этих словах.

Через минуту в наш вагон вошел жандармский офицер в сопровождении четырех солдат и, остановившись у дверей, начал рассматривать пассажиров.

Вся публика, слышавшая ответ кондуктора земцу, с любопытством смотрела на них, ожидая, что они сделают. Мне ничего не оставалось, как подражать остальным и направить на них тоже вопросительный взгляд.

Офицеру, по-видимому, не понравилось такое всеобщее внимание, и он быстро прошел через наш вагон в следующий вместе со своей свитой.

У меня на душе стало весело и легко. Мой сосед полувстал, но опять сел и сказал мне:

— Очень хотел я спросить у него, кого ищут! Мы часто видим друг друга, хотя и не знакомы. Да только подумал, что он еще будет потом раскланиваться со мной на улицах, воздержался. А то что-то очень интересное случилось. Никогда еще не осматривали так поездов.

Раздался свисток локомотива, и мы, наконец, двинулись в путь. Мой спутник высунулся в окно и, оглядев платформу, сказал мне снова, обернувшись через плечо:

— Никого не нашли, стоят все пятеро с пустыми руками!

Главный контролер, прошедший вскоре, объяснил ему, что произведено нападение на жандармский конвой, везший важного политического преступника.

7. Возвращение

Доехав до Белгорода, первой большой станции, до которой я взял билет в Харькове, я купил на ней билет до Москвы, сел с ним в другой вагон, и новый контролер сделал на нем отметку. Как я и ожидал, никто не обратил внимания, что я еду далее уже не с тем билетом, с которым выехал, и у меня даже не отобрали прежнего, когда ему кончился срок. Я выбросил его в окно.

Только теперь я счел себя в полной безопасности, так как в случае подозрения обратят внимание исключительно на имеющих харьковские билеты. Но и этого не вышло. Правда, на всех больших остановках было явное возбуждение среди жандармов, и они проходили сквозь все вагоны, а в Москве нас встретила даже целая их толпа, но никто из приезжающих не был остановлен для обыска, и я с отрадою в душе сел там на извозчика и увидел, как то же самое сделали невдалеке Квятковский и Адриан.

«Теперь наш след окончательно простыл! — подумал я.— Что-то с остальными?»

Кроме Армфельдта мне очень хотелось повидать в этот раз и всех других московских друзей. В мой прежний проезд через Москву, когда я собирался защищать студентов-демонстрантов под Сухаревой башней во время суда над ними, я успел познакомиться со многими из местной радикальной молодежи, и мне хотелось навестить их.

Москва была, можно сказать, мой родной город. Я провел в ней свои гимназические годы, и каждая ее улица вызывала во мне какие-нибудь юношеские воспоминания.

Как раз и теперь я ехал по одной улице, на которой я жил когда-то в семействе моего гимназического товарища Груздина [49]. Начитавшись романов Фенимора Купера, мы с ним собирались бежать в Америку к краснокожим и учились с этой целью стрелять из индейских «сарбаканов», т. е. длинных трубок, которые мы делали из толстой рисовальной бумаги. Вложив в них бутон георгинов, росших во множестве в нашем саду, мы сильно дули ртом в один конец своих «сарбаканов» так, что бутон вылетал из другого конца, как пуля.

Вот и длинный забор большого сада, в глубине которого стоял наш флигель, вот и большая липа за забором, где находилась в саду скамья, встав на которую, нам можно было смотреть на улицу через забор. Вот и большой белый каменный дом на противоположной стороне переулка, где был женский пансион.

Мне вспоминалось, как учащиеся девочки, высыпав на этот балкон, с любопытством смотрели с него осенью в наш сад, где мы, два гимназиста, перестреливались друг с другом георгинными бутонами; вспоминалось, как мы потом стали стрелять через улицу и в них. Всякий раз, как наш георгин попадал к ним, девочки с визгом толпой бросались его ловить и ухватившая сейчас же заглядывала внутрь, разрывая лепестки. Я долго не мог понять, зачем они это делают, но мой более догадливый товарищ тотчас сообразил, что они ищут там записочки.

Где-то он теперь, этот товарищ моего детства? Мне очень захотелось повидать и его. Он должен быть теперь еще студентом. Я вспомнил, что его отец, московский архитектор, выстроил себе дачу под Москвой, в Петровках. Прежняя дружба заговорила во мне на пути к Армфельдту и, посидев у него немного, я решил побывать у моего гимназического товарища.

— Только тебе в таком случае придется и переночевать у него на даче,— сказал мне Армфельдт.— Видишь, собирается гроза!

— А я думал переночевать у Ивановских.

Ивановские — это были славные, стройные, высокие барышни — три сестры, жившие тоже в Петровках, но только на значительном расстоянии от Груздиных. Младшая из них вышла потом замуж за Короленка, когда он был в ссылке.

— У Ивановских никак нельзя! — возразил он.— За их дачей в последние дни очень сильно следят шпионы, и они каждую ночь ждут обыска. А тебе теперь нельзя неосторожничать!

— Да я и не буду. Груздин мой товарищ детства и наверно оставит меня ночевать.

К наступлению вечера я был уже в Петровках. Я вошел в мезонин дачи моих гимназических хозяев и радостно приветствовал своего прежнего товарища, с которым не видался с лишком четыре года. Он сильно вырос, возмужал, но все черты его лица остались прежние. Он живо начал расспрашивать меня обо всем пережитом, спрашивал, знаю ли я Веру Засулич и как отношусь к ее поступку.

Потом он потащил меня вниз, к своей матери, сидевшей с какой-то страшно разговорчивой дамой, их дачной соседкой. Там были и его брат, поступивший два года назад в юнкерское

училище и приведший с собою другого юнкера, и сестра Груздина, сделавшаяся уже из девочки взрослой барышней.

Вся говорливая компания набросилась на меня, как на добычу, и беспорядочно начала расспрашивать обо всем. Я отвечал часа два довольно охотно, но, чем более я рассказывал, тем более убеждался из их смешливого отношения к самым серьезным и нередко трагическим предметам, о которых я им говорил, что у них нет к ним ни малейшего сердечного участия, а только праздное любопытство. Об этом же свидетельствовало и их постоянное перескакивание к посторонним предметам. Так, в самой середине рассказа о моем сиденье без книг в Тверской части, когда я едва не сошел с ума, старший брат — юнкер — воскликнул:

— Погодите немного! Я боюсь забыть об одном предмете, о котором надо сегодня же сказать маме. Мама! Начальник нашего училища говорил, что мне для более обеспеченной карьеры в офицерах хорошо бы было переменить в своей фамилии твердый знак на «о», то есть вместо Груздина называться Груздино. Как ты думаешь? Я думаю, надо и в самом деле переменить. Как-то лучше звучит?

Хотя я и не видел в такой перемене ничего дурного, но мне почему-то стало стыдно, что такие вещи считаются важными для военной карьеры, да и мать как будто немного сконфузилась при мне.

— Делай как хочешь! — покраснев, сказала она и с еще большей стремительностью напала на меня с новыми вопросами.

Так меня продержали почти до двенадцатого часа ночи, когда действительно — как и предсказывал мне Армфельдт — разразилась страшная гроза. Проливной дождь в один миг превратил все дороги в бурные мутные потоки. Соседка, которой принесли с ее дачи калоши, макинтош и зонтик, убежала домой. Оба юнкера ушли еще задолго до начала грозы, и мы остались только вчетвером на даче.

В Москву, за семь верст отсюда теперь мне стало невозможно возвращаться в моем легком летнем пальто и в башмаках без калош. У меня не было зонтика. Я думал, что меня сейчас же пригласят переночевать, как бывало раньше, когда я был гимназистом и еще не жил у них, но и мать и дети продолжали разговор, как будто ничего не замечая. Почувствовав через полчаса неловкость и желая выяснить свое положение, я подошел к окну, и глядя на вспышки молнии, сказал:

— Какая досада! Гроза все еще не перестает.

В ответ ни слова. Меня спросили, чтоб прервать тяжелое молчание, о каком-то неважном предмете, я ответил, и разговор

вяло, с паузами, потянулся далее. Видно было, что всем им хотелось спать, и они сидят теперь исключительно для того, чтобы избежать необходимости пригласить на ночевку меня. А дождь и гроза продолжались с новым бешенством и явно не желали успокаиваться.

Еще два раза подошел я к окну, чтоб показать, что не ухожу только из-за грозы, но, наконец, моя душа переполнилась горечью на бывшего товарища и на все это семейство, у которого я прожил несколько лет. Пока я доставлял им доход, думалось мне, как сын богатого помещика, они объявляли меня «членом своего семейства», а теперь явно хотят отделаться от меня, как от человека опасного, удовлетворив свое праздное любопытство. Нет! Лучше переночевать в дождевой луже, чем так сидеть всю ночь! Я начал прощаться, и никто не удерживал меня.

Я вышел от них в непроглядный ночной мрак под льющиеся с неба дождевые потоки и решил провести ночь где-нибудь в Петровском парке, хотя в нем легко было попасть под подозрение и быть препровожденным в участок в качестве бездомного.

В одну минуту мои плечи были насквозь промочены. Вода потекла мне за шиворот, спустилась ниже до пояса, потом по ногам в башмаки, которые еще при самом выходе из дома попали в лужу и были полны водой. Рукава летнего пиджака прилипли к моим рукам, штаны пристали к ногам. Мне несравненно удобнее и приятнее было бы идти совсем голым.

Я вошел в ближайший лес и сел в стороне от дороги под деревом прямо на залитый водою мох, который ни в каком случае не был мокрее меня самого. Я начал обдумывать свое положение, и оно показалось мне совсем не блестящим. Извозчика ночью и даже ранним утром мне нельзя было найти в этих местах. До Москвы было семь верст, и дорога, представлявшая сплошной грязный поток, шла все время лесом, в котором ничего нельзя было видеть.

«Не пойти ли все-таки к сестрам Ивановским? — пришло мне в голову.— Армфельдт говорит, что они со дня на день ждут обыска. Но едва ли жандармские офицеры решатся портить свои мундиры в такую ночь!»

Пронесся новый, еще более сильный порыв бури. Яркая вспышка молнии осветила на мгновение все кругом меня и показала, как на живой картине, почти пригнутые книзу вершины окружающих деревьев. Несколько отломанных и подброшенных в воздух сучьев показались мне как бы повисшими неподвижно в свободном промежутке между их вершинами. Страшный резкий удар грома, почти тотчас же последовавший за молнией,

пронесся по лесу многократным эхом, и я вдруг почувствовал, как поднимаются и опускаются в земле подо мною толстые сучья огромной сосны, под которой я сидел, словно живые существа, желающие вырваться наружу. Мне показалось, что буря должна через несколько минут совершенно раскачать эту сосну и вырвать с корнем. Я никогда до сих пор не предполагал, что в сильные бури корни больших деревьев так сильно шевелятся в земле. Сидеть на мокрой земле и чувствовать в ней такую непривычную жизнь и движение было для меня совершенно ново и даже внушало жуткое ощущение какой-то опасности.

«Нет! — решил я.— Пойду на дачу к Ивановским. Наши враги не приедут к ним в такую ночь. Кроме того, никого больше я не знаю в этих краях».

Я выбрался на дорогу и, руководясь в своем пути исключительно вспышками молний, на мгновение освещавших мне дорогу, я пошел сначала по лесу, а затем по полю в деревню, на краю которой находилась дача, занятая Ивановскими. До нее оставалось не более часа пути, и я явился туда как раз в тот ранний момент летнего рассвета — часа в три утра, когда стало возможно различать во мраке контуры ближайших домов.

Буря и дождь еще бушевали, но молнии сверкали уже несравненно реже. Я подошел к одному из окон и начал потихоньку стучать. Никакого ответа. Я постучал громче.

— Кто там? — послышался встревоженный женский голос.

— Не бойтесь! Это не жандармы, а я.

— Кто вы?

Я назвал себя.

Здесь даже не спросили меня, как и почему я так неожиданно явился, в то время, когда меня считали отсутствующим из Москвы.

— Сейчас! Сейчас отворим! — воскликнула младшая из сестер, Паша Ивановская.— Дайте мне только накинуть платье! Вы, должно быть, совсем промокли под такой грозой. Мы всю ночь почти не могли заснуть! Идите же к двери!

Все в избе к этому времени тоже вскочили со своих постелей и, накинув что попало на плечи, окружили меня. Я рассказал им, как меня выпроводили мои старинные друзья, и они возмущались этим до глубины души.

— Мы,— сказала вторая из сестер,— действительно ждем обыска. Но будем надеяться, что он случится не в это утро!

— Надо ему сейчас же снять с себя мокрое платье, вытереться досуха и лечь в постель! Но что же ему надеть? Вы можете спать в женской рубашке?

— Конечно, могу, если она достаточно просторна!

Мне принесли тюфяк, одеяло, полотенце, большую женскую рубашку, подушку и простыни и, устроив постель на полу в пустой кухне, пожелали мне хорошей ночи и ушли.

Я развесил все свое вымокшее одеянье над печкой, вытерся досуха и лег спать в женской рубашке. Оказалось, что это совсем уж не так плохо, как может показаться с первого взгляда, и, главное, я тотчас согрелся под одеялом. Но я долго еще не мог заснуть.

«Какая разница,— думал я,— между теми, обычными людьми, и нашими, отряхнувшими прах старого мира со своих ног! Там полны праздного пустословия и глубокого эгоизма, здесь полны самоотвержения и искренней симпатии к ближнему! Здесь готовы, с риском для своей судьбы, оказать помощь всякому нуждающемуся, а там обсуждают желательность перемены твердого знака на «о» в своей фамилии для того, чтобы фамилия сделалась более звонкой в ушах начальства и этим была бы обеспечена более быстрая военная карьера!»

«И вот мы,— думал я,— плывем, как одинокие путники, на утлых лодочках в море тех обычных людей; мы гибнем, желая им добра, а они, всегда готовые принять это добро, боятся дать нам даже убежище на одну ночь в бурю, чтобы как-нибудь не попасть в неприятности, хотя никакого риска в данном случае и не было. Но... ведь политический сыск кажется им всевидящим, и ухо предателя способным слышать даже и через стены».

И в первый раз горькое чувство нашего отщепенства, нашей изолированности от остального русского общества наглядно стало передо мной.

«Но что же делать? Пусть будет так! — думал я.— Мы и без «общества» сделаем свое дело!»

8. Итоги и последствия

И вот я снова приехал в Петербург. Я разыскал оставшихся там друзей. Я не пошел более жить к Грибоедову, хотя Вера Засулич и была уже благополучно отправлена от него за границу контрабандным путем. Я решил жить без определенного места, ходя ночевать поочередно то к одному, то к другому из многих сочувствующих мне людей.

Самыми интересными из них были, несомненно, две молодые барышни — художница Малиновская, с роскошным ореолом белокурых волос на своей живописной головке, и акушерка Колен-

кина, обладавшая менее живописной внешностью, но такая же добрая и приветливая, как и ее подруга.

Они нанимали квартиру в четыре комнаты с кухней. Ночуя вдвоем в своей спальне, они предоставляли мне диван в гостиной, когда я слишком долго засиживался у них. А засиживаться там были важные причины. Их квартира служила как бы клубом для всех моих новых друзей — «троглодитов» собиравшихся сюда по вечерам пить чай и видеться с сочувствующими лицами, не принадлежащими к их тайному обществу.

Здесь виделся с ними и я, хотя бывал у некоторых из них и на их собственных квартирах.

После нашей общей попытки освобождения Войнаральского они начали считать меня своим постоянным товарищем, хотя я и не соглашался еще формально присоединиться к ним, считая себя связанным с кружком Веры.

Все газеты писали в это время о нашей «дерзкой попытке» освободить Войнаральского, и я знал из них еще несколько дней назад, что один из участников нашей экспедиции арестован на Харьковском вокзале. Но кто это был, я так и не мог догадаться, потому что арестованный не назвал своей фамилии.

Только через неделю дошли до меня, наконец, подробности всего случившегося в Харькове после моего отъезда.

Я пришел раз к Малиновской и увидел у нее Перовскую, вскочившую с обычной ей живостью при моем приходе и стремительно бросившуюся ко мне здороваться в передней.

— Вот и я приехала! — воскликнула она, смеясь.

— А кто арестован на вокзале?

Ее радостное лицо сразу омрачилось.

— Медведев!

— Как же он попался?

— Благодаря своей медлительности! Мы все говорили ему, что нужно уезжать в тот же самый день. Но он не решился и остался у нас. А на следующий день, когда весь Харьков был поставлен чуть не на военное положение, он вдруг почувствовал опасность в нем долее жить и решил уехать.

— Кто же его узнал!? Ведь он не успел попасть на перестрелку, заблудившись на дороге. Жандармы его не видели.

— Но его знали на постоялом дворе! Как мы и ожидали, полиция немедленно побежала везде справляться, откуда в то утро выезжала бричка тройкой? К вечеру было уже все определено. Содержатель постоялого двора, оказавшийся большим монархистом, был тотчас же отправлен на вокзал осматривать из темного угла всех входящих туда, и, конечно, сейчас же уз-

нал Медведева. С тем же самым поездом благополучно уехал Баранников вместе с Ошаниной, так как его на постоялом дворе никогда не видали, а жандармы, везшие Войнаральского и видевшие его, не успели возвратиться в Харьков. И Баранников и Ошанина видели, как Медведева, подошедшего к кассе, вдруг схватили сзади за руки четверо переодевшихся в штатское платье жандармов и потащили в правление. Баранников чуть не бросился с револьвером освобождать товарища, но Ошанина не пустила его, так как все боковые помещения вокзала были полны вооруженными солдатами. Спасти Медведева при таких условиях не было ни малейшей возможности.

— А Александр Михайлов здесь?

— Здесь. Мы оба выехали вместе и после всех. Мы считали себя в безопасности, потому что не были лично ни на перестрелке, ни на постоялом дворе. С нашим отъездом все дело можно считать ликвидированным и не только без всяких положительных результатов, но с серьезными лишениями для нас.

Она грустно опустила свою голову и на глазах ее блеснули слезы.

Во всем этом разговоре меня особенно поразило употребленное ею выражение «дело ликвидировано».

Мы часто говорили так о других предприятиях, и выражение это не казалось мне каким-то диссонансом. А здесь оно так резко вошло в мой ум, что звучит в нем даже и теперь, когда произнесшей его Перовской уже давно нет на свете.

Я думаю, это случилось оттого, что попытка отбить Войнаральского нисколько не была тогда окончательно ликвидированной для меня.

Прежде всего на ней я впервые почувствовал, что для меня начинается настоящая революционная деятельность, а не призрачная, какая была раньше до моего заключения. Раньше была у нас только пропаганда словом и притом на ухо. Раньше, по выражению Волховского,

Мы погибали незаметно,
Как погибает муравей,
Ногой досужею бесследно
Раздавленный среди полей...

Раньше никому до нас не было дела, кроме наших собственных товарищей, да близких родных, да жандармов, составлявших на нас свои карьеры. Потом, после этого предварительного

периода, пошло более громкое распространение наших идей. А теперь мы начали сами сильно и громко возвещать необходимость гражданской свободы самим делом, предоставляя врагам говорить о нас все, что они хотят, в полной уверенности, что наших истинных побуждений никому из них не удастся исказить надолго или навсегда.

А что же случилось с моей квартирой? Что случилось с сундуком, где была сабля, жандармский мундир и все признаки моего участия в деле?

Они пропали без следа.

Моя «офицерская вдова», о которой я не имел с тех пор никаких известий, очевидно, все припрятала, чтоб не выдавать меня моим врагам.

XIV. За свет и свободу[50]

1. Нерешительность моего друга

В искренности великая сила. Если напускной глубокомысленный вид и уменье драпироваться в величественную тогу и производит на большинство людей с первого взгляда несравненно более сильное впечатление, чем внутренние душевные качества, то при ближайшем знакомстве это поверхностное впечатление быстро ослабевает, как звук пустого бочонка. А при искренности и доброжелательности человека, чем долее вы знакомы с ним, тем более научаетесь его любить и поддаваться его обаянию, если, конечно, он обладает, кроме того, энергией, умом и талантом.

И все эти лучшие качества были соединены в моем друге Кравчинском, и самое основное из них — искренность звучала в его голосе и в улыбке, появлявшейся на его губах при виде каждого товарища.

Когда я приехал из Харькова в Петербург, я снова пошел прежде всего к нему на Петербургскую сторону.

«Очистившись водою», т. е. переплыв Неву в наемной лодочке, чтоб убедиться, что сзади нет никакого подозрительного субъекта, я по-прежнему высадился на другом берегу, вошел во двор его дома и через него в небольшую его квартирку в две комнаты.

Кравчинский, сидя перед окном, показывал Михайлову четырехгранный стилет, очевидно, специально сделанный для него каким-нибудь сочувствующим оружейником.

— Это для кого? — спросил я его.

— Для начальника Третьего отделения Мезенцова[51], — ответил он, и темные глаза его вспыхнули моментальным огнем.

— Почему именно для него?

— Он беспощаден, как может быть только человек, думающий, что всякую жестокость можно искупить постом и молит-

вой перед иконами. Он молится, отправляясь в Третье отделение, для того чтобы заточать и ссылать людей, и молится, возвращаясь от тамошних дел. В своей семье он добр, но далее семьи не идет его кругозор. Это кругозор тигра, бросающегося из джунглей на свою жертву и несущего ее детям.

— Но ты же перед моим отъездом в Харьков хотел мстить графу Палену?

— Пален спасся тем, что вышел в отставку[52]. И это хорошо. Мезенцов много вреднее его.

— Значит, ты окончательно решился на это?

— Да. Мы с Михайловым уже составили и план и начали его осуществление. Михайлов неделю тому назад поставил незаметных наблюдателей за квартирой Мезенцова. Они уже определили время, когда он выходит каждое утро со своим помощником, каким-то полковником, молиться в часовне, за несколько улиц от его жилища. Вот там-то на дороге к замаливанию грехов он и будет за них наказан.

— Значит, ты думаешь встретить его прямо на улице?

— Да.

— Но тебя сейчас же схватят!

— Может быть, и нет! Меня там будет поджидать Варвар (так назывался знаменитый в революционном движении 70-х годов рысак, на котором были совершены освобождение Кропоткина и ряд других революционных дел). Править будет Адриан, а Баранников будет сидеть в шарабане, и, если меня кто схватит, он его уложит выстрелом из револьвера. Ударив Мезенцова этим стилетом, я постараюсь вскочить в шарабан, и мы умчимся, если нужно, отстреливаясь. Ты знаешь, Варвара никто не догонит, а шарабан у нас очень легкий и прочный.

— Но все же... днем... на людных улицах... в самом центре Петербурга... Ведь все будут против тебя, никто не поймет твоих побуждений...

— Я знаю, что мне больше шансов погибнуть, чем спастись, но это и дает мне решимость. Пока есть опасность, это — борьба, а не простая карательная экспедиция, на которую я не способен.

Я взглянул на его лицо. Его глаза были устремлены куда-то не то в отдаленное будущее, не то в глубину его собственной души. Мне не верилось, что у него достанет решимости совершить задуманное. Его душа была слишком мягка. Он был ранее артиллерийским штабс-капитаном, но вышел в отставку по гуманитарным соображениям.

Я сообразил, что после двух неудачных выходов ему хочется остаться одному, чтобы поговорить со своею собственной со-

вестью, и, простившись с ним особенно нежно, без дальних разговоров отправился по его указанию.

«Ему будет страшно трудно в решительную минуту,— думал я,— и он пройдет мимо своего врага не в силах нанести ему смертоносного удара, как это и было с Паленом, которого, как я уже знал, он не раз встречал в мое отсутствие, но не был в состоянии сделать ему вреда».

И я не ошибся в этом. На следующий же день, когда он вместе с Баранниковым выехал навстречу Мезенцову, идущему молиться в свою часовню, он прошел мимо него, ничего ему не сделав. Он выехал на следующий день, и повторилось то же самое.

— Оставь это дело, Сергей! — сказал я ему, придя после его второго выступления.— Ты только измучишь себя и никогда не будешь в состоянии вонзить в кого бы то ни было свой стилет.

— Нет! — меланхолически ответил он мне.— Я пересилю свое мягкосердечие, губительное для революционера, хотя бы пришлось умереть после этого. А вот тебе,— прибавил он явно, чтоб перевести разговор на другую тему,— опять предлагаю ехать на освобождение товарища по твоему процессу.

— Кого?

— Иди к Малиновской и тебе там все расскажут,— сказал он мне с таинственной улыбкой.

2. *Рекогносцировка*

Это было осенью 1878 года.

Когда я пришел в квартиру Малиновской в Измайловском полку, она бросилась мне навстречу с каким-то особенно радостным видом.

— Мы вас ждем уже второй день! — воскликнула она.— Почему вы не были у нас вчера?

— Все время просидел у Александра (Михайлова) и у него же остался ночевать.

— А нам вы совершенно необходимы!

— Что такое?

— Мы хотим просить вас освободить Брешко-Брешковскую.

Это была одна молодая и чрезвычайно симпатичная женщина, осужденная на четыре года каторжных работ за участие в пропаганде среди крестьян. Я уже знал, что ее собирались скоро везти в Сибирь[52a].

— Успею ли подготовить освобождение? Ведь ее повезут если не сегодня, то завтра.

— Уже увезли вчера! Но вы попытайтесь. Мы собрали для этого триста рублей денег. Она объявит себя в Нижнем больной и откажется ехать далее. Она рассчитывает задержаться по болезни на неделю.

Я стал соображать, что тут можно сделать.

— До Нижнего Новгорода,— ответил я, наконец,— ничего нельзя предпринять, потому что ее повезли по железной дороге, и я не догоню. А за Нижним возят в Сибирь на тройках, в сопровождении двух жандармов. Там можно ее отбить, если я найду себе еще троих товарищей.

— А как это сделать?

— Я не люблю сложных и дорогостоящих планов. Смелые и простые способы всегда осуществимее. Мы, например, выйдем пешком на дорогу, как простые гуляющие, и сядем где-нибудь у мостика через ручей. Перед тем как жандармы подъедут, можно будет вынуть из мостика два или три бревна и крикнуть их ямщику, чтоб ехал осторожнее, так как мост прогнил и продавился. А когда ямщик призадержит лошадей, тогда я и еще один из товарищей воткнем по колу в спицы их задних колес. Колеса не будут вертеться, и им нельзя будет умчаться, а мы, прицелившись в жандармов и в ямщика из револьвера, прикажем всем немедленно выйти из телеги. Затем мы их свяжем и, оставив на дороге, ускачем на их же собственных лошадях в Нижний, где Брешковской нужно иметь верное убежище на месяц, до тех пор пока не прекратятся облавы на нее.

— А вы сами останетесь в Нижнем?

— Мы освободим ее загримированными, и нас никто не будет в состоянии узнать, тем более что теперь начинается нижегородская ярмарка, и весь Нижний будет полон приезжими из разных городов.

— Вот будет кавардак,— сказала Малиновская,— когда жандармы начнут обыскивать и задерживать целые тысячи приехавших купцов!

Она звонко рассмеялась, представляя в своем воображении всеобщий переполох коммерсантов, приехавших туда исключительно для торговых сделок.

— Но только как же я узнаю, что она приехала в Нижний?— спросил я.

— Там есть у нас знакомый, известный губернский деятель Фрейлих, он всех знает в Нижнем и настолько сочувствует нам, что сейчас же разведает, в тюрьме она или в больнице и когда ее увезут.

— А еще есть там кто-нибудь из сочувствующих?

— Есть один студент. Поддубенский, и один городской врач.

— Тогда давайте мне все эти адреса и рекомендации, и я завтра же уезжаю. Ни минуты нельзя терять!

На другой день я отправился в Нижний Новгород в восторге от такого симпатичного мне поручения. Мне было тогда двадцать четыре года, я недавно был выпущен из темницы после трехлетнего одиночного заключения за «хождение в народ», и мне страстно хотелось совершать самые героические подвиги, особенно же спасать своих друзей от гибели и опасностей.

В случае нужды я хотел попытаться отнять Брешковскую даже единолично, неожиданным появлением в ближайшем удобном месте, варьируя свой план, судя по условиям местности, которую я решил предварительно исследовать.

«Там,— думал я,— на дороге в Сибирь ясно будет видно, что надо делать. Только бы приехать вовремя!»

И я приехал.

— Куда прикажете? — спросил меня извозчик у крыльца Нижегородского вокзала.

— В какую-нибудь гостиницу!

Экипаж въехал в глубокий овраг, по обе стороны которого на высотах, разделенных новыми такими же оврагами, были рассыпаны дома, домики и церкви с золочеными и просто крашеными главами.

Извозчик привез меня в гостиницу, где мне дали во втором этаже небольшой чистенький номер с двумя окнами. Оставшись один, я тотчас выглянул в одно из них и увидел перед собою скверик, на который выходил фасад моей гостиницы, а посреди скверика блестел, как зеркало, пруд в зеленых берегах. Это было очень красиво, и я невольно залюбовался на несколько минут открывшейся передо мною и мало привычной в больших городах картиной.

— Позвольте ваш паспорт! — заявил возвратившийся служитель.

Я вынул из кармана сфабрикованный для меня «троглодитами» вид почетного потомственного гражданина Нижегородцева и, вручив ему, сказал:

— Только поскорее возвратите паспорт! Мне нужно получать деньги!

— Слушаю-с! — и он исчез.

Переодевшись и умывшись, я немедленно отправился к Фрейлиху со своей рекомендацией.

Кругленький бритый господин с фигурой немецкого булочника принял меня в своем кабинете в красивом деревянном домике. Окно кабинета выходило в сад, сплошь усаженный цветами. Цветы и цветы, куда ни поверни глаза!

— Я и моя жена очень любим цветоводство, и все насадили сами,— заявил он мне, заметив мой долгий взгляд в окно и еще не прочитав рекомендации.

Затем, проглядев бумажку, он справился о здоровье своих петербургских друзей и озабоченно произнес:

— Конечно, я могу всегда узнать, кого из политических привезут в тюрьму, но могут посадить и в арестантское отделение городской больницы, и это всего скорее, а я там не имею верного человека.

— Так пожалуйста, последите за тюрьмой, а относительно больницы я и сам как-нибудь постараюсь. Кто из докторов здесь получше?

Он мне назвал фамилию, которую я теперь забыл.

— Он по каким болезням?

— По внутренним.

— Вот и отлично. А в какие часы в больнице прием приходящих?

Он взглянул на часы.

— Кажется, через час.

— А далеко больница?

— Четверть часа ходьбы.

— Так я сейчас же побегу туда же жаловаться на сильную боль в желудке, а вы уже как-нибудь сегодня же узнайте в тюрьме.

— Да останьтесь же хоть напиться с нами чаю и познакомьтесь с моей женой! Какой вы, право, прыткий!

— Напьюсь с удовольствием по возвращении из больницы, а теперь дело не терпит. Каждая минута дорога! Вы уж меня простите!

Я побежал в городскую больницу. Сейчас же за ее парадными дверьми была большая комната, где вешали платье и там же дожидались посетители. Отдав швейцару свое пальто, я спросил его о нужном мне докторе, но он в тот день как раз был заменен другим. Это было большое разочарование. Однако, не желая уходить, я согласился и на второго доктора и стал прохаживаться взад и вперед, осматривая помещение. Направо от входа был небольшой коридор, дверь которого оказалась отворенной, и в нем ходил взад и вперед солдат с ружьем.

— Что это такое? — спросил я швейцара.

— Арестантское отделение.

— А доктора туда ходят?

— Ходят.

Какая-то только что вошедшая в больницу и явно очень многоречивая женщина подошла к швейцару и начала что-то бес-

толково говорить ему. Воспользовавшись тем, что его внимание отвлечено, я быстро пошел в арестантский коридор с таким деловым видом, как будто совершаю это уже в десятый или сотый раз. Глядя озабоченно в пространство, я близко прошел мимо вопросительно взглянувшего на меня и явно не знавшего, что ему делать, часового, как будто совсем его не замечая. Я взглянул в окошечко первой левой двери, потом второй, третьей, которая, насколько помню, была и последней, повернул на правую сторону, внимательно заглянул и здесь в окошечки, затем спокойно прошел назад мимо часового, как человек, убедившийся, что здесь все в порядке, и снова вышел в швейцарскую.

— Дайте-ка мое пальто обратно,— сказал я служителю.— Я лучше приду завтра, когда будет нужный мне первый доктор,— и, дав ему пятиалтынный, ушел совершенно удовлетворенный: во всех арестантских камерах были только мужчины.

Ее здесь нет!

— Видите, как все просто делается! — сказал я Фрейлиху о результатах своей импровизированной ревизии, едва явившись к нему.

Тот расхохотался добродушным смехом.

— Это был неопытный солдат, другой вас не пустил бы.

— Ну и что же? Тогда я сказал бы ему, что не знал о запрещении туда ходить и пошел бы обратно. Завтра или послезавтра я опять так сделаю.

И я действительно начал ходить в больницу через день и в тот момент, когда швейцар, неумышленного вмешательства которого я очень опасался, уходил с докладом, я с важным видом осматривал все арестантские камеры и ни разу не был остановлен часовыми, очевидно принимавшими меня за какого-то местного ревизора.

Итак, здесь не было Брешковской! Не было ее и в тюремном замке, как я узнал от Фрейлиха. Где же она теперь находится?

— Очевидно, ее задержали в Москве и привезут позднее,— говорил Фрейлих.

Я продолжал свои приготовления к ее освобождению, стараясь привлечь к делу местную молодежь, с которой сейчас же и начал знакомиться.

Прежде всего, и даже в первый же день по приезде, я пошел, конечно, к рекомендованному мне студенту Поддубенскому, жившему на летних каникулах в доме своей матери. Вся их семья состояла только из трех человек: его, единственного сына, и затем матери и тетки, которые обе не могли налюбоваться на него.

Меня встретили там с таким радушием, с каким принимают людей только в провинции. Тотчас же поставив самовар, они начали угощать меня всевозможными домашними вареньями, одно из которых было приготовлено из молодых розовых лепестков и обладало удивительным ароматом и вкусом.

— Никогда я не воображал, что можно делать варенье из цветов,— сказал я обеим дамам.— А много их уйдет на большую банку?

— Почти целый домашний сад,— простодушно ответила мне тетя,— конечно, если он не весь будет засажен розами.

Это сразу отбило охоту рекомендовать кому-нибудь приготовление подобного варенья, хотя оно и было удивительно хорошо.

Уйдя, наконец, с Поддубенским в его комнату в мезонине, я откровенно рассказал ему о причине моего приезда.

— Вы можете участвовать? — спросил я его.

— Непременно буду.

— А кого бы еще пригласить?

— Из местной молодежи нет таких, которых я решился бы рекомендовать. Тут нужна выносливость, сила, смелость.

— А разве здесь есть еще и не местная молодежь?

— Есть.

— Какая же?

— Здесь живет Якимова, ваш товарищ по Большому процессу.

— Но женщины неудобны для нападения.

— Я говорю не о ней, а о ее товарищах. Видите ли,— прибавил он,— Якимова приехала сюда вместе со своим хорошим знакомым, студентом Ширяевым, вести пропаганду среди фабричных рабочих. Они оба поступили на фабрику и там нашли замечательного рабочего Халтурина, сильного, смелого, много читающего и всей душой отдавшегося новым общественным идеалам[53].

— Так вы думаете, что Ширяев и Халтурин будут годны?

— Безусловно! Лучше их и найти нельзя.

— Итак, значит нас четверо! — воскликнул я с радостью.— А больше нам и не надо! Когда же можно будет мне познакомиться и сговориться с ними?

— Завтра вечером я приглашу их к себе.

— А нельзя ли лучше ко мне в гостиницу? Так будет меньше следов, когда мы отобьем Брешковскую и начнутся по всему городу розыски.

— Это верно,— заметил он.— Мои родные не выдержат, если их арестуют, и все расскажут. Но я думал, что вы будете

скрывать от всех свой адрес, как делали другие приезжавшие к нам из Петербурга.

— От вас нет!

И я сказал ему фамилию, под которой я поселился, и название гостиницы.

— Знаю,— сказал он,— я там бывал прошлым летом раза два в соседнем с вами номере. Поэтому я приведу их к вам прямо, не спрашивая швейцара.

3. Ночной кошмар

Я возвратился к себе совершенно удовлетворенный собранной мною компанией. Я отворил свое окно, во втором этаже, и стал в него смотреть.

Теплая летняя ночь опустила уже над землей свои темносиние крылья. Полная луна смотрела с безоблачного неба прямо в мое лицо, отбрасывая на пол комнаты косые изображения двух окон. Круглый ее диск отражался в спокойной воде пруда, темневшего в середине садика передо мною, так ясно и отчетливо, что я сразу мог увидеть там все подробности его пятнистой поверхности, начиная от овального темного Моря кризисов вверху ее правой стороны и кончая неопределенными очертаниями нижних лунных континентов. Освещенные бледным светом деревья по берегам пруда приняли фантастический, сказочный вид каких-то великанов, закутанных в темные плащи. Ряд городских домов на противоположной стороне площади, над которыми висела в небе властительница ночи, такие обычные при дневном свете, стали казаться теперь волшебными, таинственными замками.

Я сошел с окна, на котором сидел, запер на ключ дверь своей комнаты и, не зажигая огня, отпер чемодан и стал осматривать свои запасные револьверы и кинжалы, выложив их на подоконник. Синим блеском сверкнула вороненая сталь револьверов при лунном свете, придав оружию такой же сказочный вид, как и всему окружающему. Убедившись, что оно в порядке, я положил все обратно в чемодан и, заперев его, лег спать.

Звонкое звяканье шпор в коридоре вдруг разбудило меня.

Вот прошли отдельные брящающие шаги мимо моей двери и, возвратившись, остановились прямо у моего номера. К ним присоединились вторые, третьи, четвертые, все такие же брящающие. Там в коридоре набралась целая толпа военных и начала что-то потихоньку обсуждать.

«Меня узнали! — пришло мне в голову.— Это жандармы, пришедшие арестовать меня! Моего паспорта мне еще не возвратили из полиции. Верно узнали, что он не настоящий, или выследили меня от Поддубенского!»

От мысли вновь попасть в одиночное заключение у меня мороз пробежал по спине.

Опять подвергаться вечному враждебному наблюдению через окошечко тюремной двери, опять попасть на невыносимые тягучие допросы, опять считать сказанную на них ложь доблестью и бояться слова правды, как преступления! — Это была для меня такая ужасная перспектива, одна мысль о которой леденила всю мою внутренность!

«Нет! Я не пущу их! — говорил я в отчаянье сам себе.— Я буду защищаться. У меня много оружия и патронов. Пусть они лучше убьют меня, но не возьмут живого!»

Я встал с постели и неслышно пошел босыми ногами к своему чемодану. Я тихо отпер его и выложил свои заряженные револьверы и коробки с патронами на круглый столик перед диваном комнаты. Как раз на него падали теперь лучи луны, сильно переместившейся за время моего сна. Был первый час ночи, обычное время обысков. Я вновь чутко прислушался. Вот пришли новые жандармы, осторожно бряцая шпорами. Не трудно было сообразить, что весь коридор наполнился ими.

«Мне невозможно броситься бежать с выстрелами через коридор,— подумал я.— Пришлось бы все время проталкиваться между ними! Схватят сзади».

Я тихо подошел к окну и выглянул на улицу. Там вдали стояли направо и налево от подъезда моей гостиницы оседланные верховые лошади и не менее пятидесяти человек сошедших с них солдат. В садике перед прудом тоже повсюду ходили и сидели солдаты.

«Почему такая облава? — пришло мне в голову.— Неужели они считают меня таким отчаянным? Или приняли за когонибудь другого?»

Мое окно было прямо над подъездом гостиницы. Я мог вылезть из него на крышу крыльца и с нее спуститься по одному из столбиков, а затем мог броситься бежать, отстреливаясь каждый раз, когда чья-нибудь рука будет готова схватить меня, и попытаться скрыться в темных, безлюдных переулках.

«Но если облава не на меня, а на кого-нибудь другого? — подумал я.— Ведь это возможно, хотя и мало вероятно. Тогда я сам себя выдам. Нет! Я должен ждать их нападения и ни в каком случае не начинать его самому».

Ко мне никто не стучался. Я подошел к двери и взглянул в

замочную скважину, потихоньку вынув ключ. Но через нее были видны только отдельные части людей. Дверь противоположного номера была открыта, и в ней был свет, как освещен был и весь коридор.

Лучи лампы в коридоре, проникая в щель под мою дверь, освещали мой пол перед нею на значительном расстоянии, показывая, что щель внизу была широкая. Нагнувшись, я попробовал пальцем в самом ярком месте и увидел, что палец почти входит в щель. Я лег вдоль двери и, прижав нос и правую щеку к полу, попробовал заглянуть через просвет в коридор. Я мог там видеть только ноги людей, но и этого было достаточно. В номере напротив сидело пять человек, все в сапогах со шпорами. По коридору то и дело проходили такие же сапоги. Явно, что и коридор и все свободные номера, прилегающие к нему, были переполнены военными.

«Здесь целый эскадрон жандармов! — сказал я сам себе.— Но почему же они не ломятся ко мне? Очевидно, они как-нибудь узнали, что я буду защищаться. Они ждут, когда я проснусь и отворю дверь, чтоб позвать коридорного для умыванья! — догадался я.— Тогда они, выскочив с обеих сторон, схватят меня за руки. Да, план очень ловкий! Но я этого не сделаю. Я буду ждать, пока им надоест. Я буду притворяться спящим всю ночь, а до дня они сами не будут ждать. Они — ночные птицы, не любят света».

И вот, положив четыре револьвера на ночной столик перед кроватью, я тихо надел свое платье и обувь, положил перед собой носимую тогда мною «для конспирации» землемерскую фуражку, чтобы быть готовым сейчас же надеть ее на случай бегства, и лег на свою постель, прислушиваясь к малейшим доносящимся до меня извне звукам.

Так час проходил за часом в ожидании почти неминуемой гибели. Но вот восток начал бледнеть, вот он заалел от занимавшейся утренней зари, и лучи взошедшего солнца брызнули, наконец, по крышам противоположных домов, а облава все оставалась в прежнем виде.

Часам к шести в коридоре началось опять какое-то движение, снова усиленно заходили шаги взад и вперед, потом все затихло. Я подошел к окну и выглянул на улицу. Там более не было ни лошадей, ни всадников.

Как могли они уехать до такой степени неслышно?

Привыкнув к мощеным петербургским и московским улицам, я не принял во внимание, что здесь была мягкая земля, и поэтому копыт лошадей, если они шли шагом, мне, при нарочно затворенных мною рамах, почти было не слышно.

«Что такое? — подумал я.— Может быть, все это исчезновение устроено только для моего успокоения? Ночь прекратилась, нет опасности, что я скроюсь во тьме, и потому незачем держать на улице все войско. Или они скрыли его во дворах соседних домов, как делали в Москве, когда я был на судилище под Сухаревой башней?»

Возвратившись в постель, я прождал на ней до семи часов. В коридоре было по-прежнему тихо. Снова встав, я потихоньку повернул ключ в замке моей двери как раз настолько, чтоб она могла приотвориться ранее чем замок щелкнет, и, нажав осторожно ручку, сразу отодвинул дверь внутрь коридора, готовый ее захлопнуть, если покажется посторонняя рука. За дверью никого не было. В коридоре тоже все было пусто направо и налево, до самого конца. Я снова незаметно запер дверь, взял свои револьверы и кинжалы со столика перед кроватью и положил их обратно в чемодан, оставив у себя в кармане только обычный маленький револьвер. Подойдя затем к двери, я вновь приотворил ее, как прежде, и, смотря в коридор, нажал кнопку звонка к служителю. Мне нужно было видеть, пойдет ли он ко мне один или в сопровождении жандармов. Прошло томительных две минуты и вдали показался, позевывая, коридорный без всякой свиты.

— Что это у вас за возня была ночью? — спросил я его еще раньше, чем он подошел к двери.

— Проезжие уланы нагрянули! — досадливо сказал он.— Всю ночь не дали спать. Только в шесть часов утра уехали.

Как вдруг легко и хорошо стало у меня в душе!

— Принесите мне воды умыться! — сказал я ему, чтоб объяснить свой звонок.— А зачем же они нагрянули?

— Целый полк проехал. Куда тут поместиться, когда везде спят? Вот и остановились на площади, а офицеры всю ночь пили чай во всех свободных номерах.

Оставшись, наконец, один, я, вместо того чтобы умываться, снова разделся и, с наслаждением бросившись в постель, спал в ней крепким сном до двенадцати часов дня!

«Как необходимо хладнокровие в деятельности заговорщика,— думал я, проснувшись.— Представить себе только, что вышло бы, если бы благодаря возникшей у меня среди ночи полной уверенности, что это облава на меня, я решил бы воспользоваться для своего спасения, как пришло мне в первую минуту в голову, ночной темнотой и, не ожидая утра, выскочил бы на улицу с револьвером и бросился бы бежать через целый уланский полк, который, конечно, инстинктивно погнался бы за мною! Если б даже я и пробился и спасся, то дело, для кото-

рого я был сюда послан, было бы разрушено мною самим, и мне пришлось бы тогда умереть со стыда».

У меня замерло сердце от одной мысли о подобной перспективе. В эту кошмарную ночь я пережил вовсе не комическое приключение, как может показаться с первого взгляда, а действительную и притом самую смертельную опасность во всей моей жизни! И до сих пор я не могу вспомнить о ней иначе, как об огромной опасности. Это была бы моя моральная смерть.

4. Находка

Вечером ко мне собрались мои званые гости. Сидя за столом, на котором кипел самовар и были разложены сыр, колбаса, сливочное масло и булки, я прежде всего рассказал им, сильно сгладив трагический внутренний элемент и налегая главным образом на комическую сторону, все мои тревоги.

Но они не смеялись моему рассказу.

Они сразу почувствовали под его комической внешностью минувшую возможность гибели. А я в глубине души ясно сознавал, что был тогда, действительно, очень недалеким от попытки к побегу, и это сознание отравляло мне удовольствие счастливого окончания.

В обыкновенных случаях, когда я собственными силами преодолевал встречавшую меня в жизни опасность, вся душа моя сейчас же ликовала... Здесь этого не было, и стыд за то, что я желал сделать, был так велик, как если б я действительно сделал все задуманное мною.

Но это мое смущение было незаметно собеседникам. Они начали рассказывать и свои тревоги.

Ширяев оказался чрезвычайно симпатичным молодым человеком. Особенно сближало меня с ним то, что он был физиком по своей специальности. Прошлую зиму он усердно работал в Париже у Яблочкова[54] при его первых попытках приложить электричество к освещению и прекрасно знал электротехнику. Теперь он, бросив на время науку, приехал в Россию с той же целью ее гражданского освобождения, ради которой должен был оставить науку и я. Ширяев был блондин с очень бледным цветом кожи и тонкими, интеллигентными чертами лица.

Халтурин был более крепок по телосложению и мало разговорчив, но было видно, как внимательно он слушал и воспринимал всей душою наши разговоры. Якимова же, с которой я познакомился еще на суде по процессу 193-х, была высокая, сильная блондинка в русском стиле, с огромной косой и с большими

серыми ясными глазами, в которых отражалось каждое движение ее души.

Она была очень огорчена тем, что ей нет места в нашем предприятии, и с восторгом рассматривала при лунном свете мое оружие, которое я вынул снова из чемодана, чтоб показать его будущим товарищам. Чтоб сделать обзор оружия более романтическим, я нарочно, как и в прошлый вечер, погасил в комнате свет. Потом, так и оставшись при лунном свете, мы перешли к разговорам о современной революционной деятельности.

— Я очень рад,— сказал мне Ширяев,— что вы приехали и предложили нам более живую деятельность. Тайные занятия с рабочими, разговоры о свободе, равенстве и братстве украдкой, с опасностями, как-то мало удовлетворяют душу.

— Да,— согласилась Якимова,— очень хочется сделать что-нибудь решительное. Слова надоели, и очень волнует то, что происходит теперь в столицах. Там люди вышли уже на площади, не скрываются, как мы, по углам.

— Все газеты полны известиями об арестуемых товарищах. Это ужас. Вы читали о вооруженном сопротивлении в Киеве, когда арестовали Наташу Армфельдт и были убиты братья Ивичевичи? [55]

— Да. Вот и Осинский тоже сопротивлялся при аресте,— ответил я.

— А в Одессе Ковальский с товарищами,— прибавил Ширяев.— Враги наши возмущаются, требуют, чтоб мы давали себя замучивать без сопротивления, иначе грозят смертными казнями.

— Не одни только кинжалы бывают о двух лезвиях,— сказал он.

Я уже не раз слышал после своего освобождения в 1878 году такие энергичные выражения. «Как изменились,— думал я,— от трехлетних гонений чувства нового поколения, сравнительно со старым, безропотно шедшим в темницы за свои гражданские убеждения, как древние христиане на костры! Новое поколение молодежи явно переживает великую душевную бурю, которая неминуемо разразится ураганом в ближайшие годы, если правительство современными радикальными реформами не освободит накопившегося душевного напряжения молодежи и всех прогрессивных элементов населения, которое им невозможно более сдержать никакими усилиями собственной воли!»

Халтурин молчал, задумавшись о чем-то. Взглянув на него, никому и в голову не пришло бы, что через полтора года ему суждено быть героем трагедии в Зимнем дворце, телеграммы о которой разнесутся по всему миру, да и Ширяеву и Якимовой

предстояло играть немаловажные роли в не менее трагических событиях русской революционной истории 80-х годов.

Я, на которого все они явно смотрели теперь, как на первого среди них в этом маленьком кружке, собравшемся за кипящим самоваром, был на деле самым последним! Так превратны бывают часто индивидуальные представления о людях, и так часто судьба делает первых последними и последних первыми, особенно на опасном пути заговорщика.

— Вы нам оставьте адрес,— сказала Якимова,— по которому мы всегда могли бы разыскать вас в Петербурге на случай, если шпионы нас откроют, и придется бежать отсюда.

— Да, это очень важно для нас,— прибавил Ширяев.— Так, ни с того, ни с сего мы не бросим наших рабочих. Здесь же образовался порядочный кружок, но в случае крушения теперешнего нашего дела я уже не пойду более на пропаганду, а обращусь к активной деятельности.

5. Удар бичом и его отголосок

Мы поздно разошлись в эту ночь. На следующее утро я с Поддубенским, хорошо знавшим окрестности Нижнего Новгорода, отправился сделать рекогносцировку по «дороге ссыльных», по которой отправляли этапами партии осужденных и административных. Никакого этапа «политических» мы не встретили на ней. Мы присмотрели в нескольких верстах удобное место, где и решили произвести освобождение Брешковской по моему первоначальному плану. Таким образом, все было готово с нашей стороны. Только почему же все нет той, которую мы хотели освободить! И Фрейлих и доктор больницы, с которым я уже познакомился и потому перестал лично ревизовать арестантское отделение, сообщали мне каждый день, что Брешковской еще нет в Нижнем и никогда не было раньше.

— Больше как в Москве ей негде быть! — сказал мне доктор.

— Но почему же ее так долго там держат?

— Может быть, она действительно заболела? — полувопросительно заметил он.

— Это было бы отчаянно скверно!

У меня стало очень беспокойно на душе. Чтоб немного развлечься, я от нечего делать ходил в нижний город, за реку, где ярмарка шла уже в полном разгаре.

Мы тискались между разношерстными посетителями, главным образом мужчинами, валом валившими взад и вперед по тесным улицам, между магазинами и импровизированными лав-

ками, пили чай в нескольких из многочисленных трактиров, где совершались торговые сделки под визгливые голоса артисток, выступавших и группами и соло на своих эстрадах и певших большей частью двусмысленные романсы.

Картина знаменитой ярмарки со всеми ее деталями стала отчетливо вырисовываться в моем уме во всей ее необычной громадности, но дело освобождения, для которого я приехал, не подвигалось ни на шаг, за отсутствием освобождаемой.

И вдруг, в одном из таких кафешантанов, в который я пошел с Ширяевым пить чай и наблюдать нравы, я взял газету и прочел в ней ужасное известие, как каленым железом вонзившееся мгновенно в мое сердце. Оно было очень коротенькое:

«Ковальский и его товарищи, студенты Одесского университета, оказавшие вооруженное сопротивление жандармам, пришедшим их арестовать, и приговоренные военным судом к смертной казни, вчера повешены, и войска с музыкой прошли по их могилам» [56].

Я не могу здесь описать того переворота, который в один миг произошел в глубине моей души. Это была первая казнь моих товарищей по убеждениям, и действие ее было как неожиданный удар бича по моему лицу. Все мое обычное благодушие было выметено из меня, как пыль из давно замкнутой комнаты, в которой сильным порывом урагана были вышиблены сразу все окна и все двери.

Мои губы и пальцы сжались, во всех мускулах почувствовалось такое напряжение, что, мне казалось, я мог, как тигр, одним прыжком перескочить через всю комнату.

— Что такое с вами? — воскликнул Ширяев, отшатнувшись от меня, потому что ему показалось, что из моих глаз вдруг посыпались настоящие искры, как он потом объяснял мне свой испуг.

Я молча протянул ему газету и показал пальцем строки. Он побледнел, как полотно, губы его сжались, серые красивые глаза словно вспыхнули огнем.

— Пойдемте отсюда! — сказал он мне.

Мы быстро вышли и молча возвратились в верхний город.

— Что вы думаете теперь делать? — спросил меня по дороге Ширяев.

— Если б я мог, я сейчас же поехал бы в Петербург, сделал бы там что-нибудь такое, что напоминало бы Вильгельма Телля.

— Да! Этого нельзя так оставить,— угрюмо сказал он.

— Нельзя! — ответил я.— Иначе нам лучше всего признать себя неспособными к активной борьбе, собрать свои пожитки и ехать в «свободную» Америку. Зачем только я согласился отпра-

виться сюда, на это освобождение! Теперь оно совершенно связывает меня.

Мы оба шли дальше и дальше, не говоря ни слова.

Ширяев простился со мною и побежал передать ужасное известие Халтурину и Якимовой. Я быстро пошел к Фрейлиху.

— Что, нет еще Брешковской? — спросил я его.

— Сегодня утром не было нигде,— ответил он.— А вы читали о казнях в Одессе? — прибавил он с сильным волнением в голосе.

— Да,— ответил я.— Но я не могу сейчас говорить об этом. Я пойду ходить один по улицам.

Он понял мое состояние и не удерживал.

О, с какой никогда еще не испытанной ненавистью я глядел теперь на всякого проходящего городового! Все мои идеи, что весь общественный строй виноват за поступки отдельных личностей, а не они сами, вылетели из моего сознания, как стая птиц, испуганная раздавшимся ружейным выстрелом!

«Ведь личности,— повторял я сам себе,— составляют общественный строй, нельзя бороться с ним, не борясь с личностями. Но я не хочу бросаться, как собака на палку, на эти низшие орудия,— и я с презрением взглянул на ничего не подозревавшего городового.— Нет! Я не собака, я разумное существо, способное отличить слепое орудие от направляющих его на нас».

Идя все быстрее и быстрее, все вперед и вперед, не зная куда, я вышел, наконец, из пределов города и пошел по нагорному берегу Волги.

Чудная картина природы и могучей реки, несущейся в безбрежную даль внизу подо мною, более не действовала на меня чарующим, умиротворяющим душу образом. Я вдруг почувствовал себя совершенно безразличным к этой стихийной красоте и, круто повернувшись, пошел обратно в город. Теперь я чувствовал себя уже совершенно и безвозвратно обреченным.

«Я не могу более жить,— думал я,— не отомстив за казненных товарищей. Пусть поведут и меня на казнь, как их, когда я совершу свое дело».

Я старался представить себе ощущения Ковальского и его товарищей, как их вели на казнь, как одевали живыми в саваны, как надевали им на шею веревки и как палач выбил ударом ноги из-под них скамьи, и они, качаясь, повисли, удушаемые, в воздухе. Что они чувствовали в последний момент?

«Все это почувствую и я, когда отомщу за них!»

Я возвратился в свой номер и бросился, закинув руки за голову, на постель. Я в этот день не ел и не пил и ночью

заснул, не раздеваясь. Через день утром вбежал ко мне Ширяев с новой газетой в руках.

— Смотрите! — взволнованно воскликнул он, показывая мне строки.

«Начальник Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии,— прочел я,— убит кинжалом на одной из людных петербургских улиц. Убивший скрылся на подъехавшем рысаке».

Словно луч яркого летнего солнца, пробившийся среди непроглядных грозовых туч, осветил вдруг всю мою душу.

«Сергей! Милый, дорогой друг! Это ты сделал!» — промелькнуло у меня в уме.

Мне вспомнилось, как Кравчинский перед моим отъездом сюда пропустил уже мимо себя три раза Мезенцова.

«Да! — повторял я,— он никогда не решился бы поднять на него свою руку без телеграммы об этой самой казни, которая готова была превратить в Вильгельма Телля даже меня!»

Как легко стало у меня на душе!

«Мой лучший друг,— думал я,— взял на себя непосильную обязанность, которая лежала на мне. Теперь я снова могу жить, могу снова принимать и красоту стихийной природы и красоту внутреннего мира людей! Теперь и мне не надо умирать!»

И вдруг страшное беспокойство овладело мною. Действительно ли он скрылся? Действительно ли его не схватили уже? Долго ли я здесь буду еще ждать и не полечу к нему, чтобы обнять его, расцеловать, охранять от всякой опасности? [57]

Я вновь побежал и к доктору и к Фрейлиху, и вновь узнал, что Брешковской здесь нет и не было.

Наступил следующий день, потом еще один с тем же результатом. С самого утра я набрасывался, как никогда ранее, на газеты, и узнал новые подробности события.

«На углу Михайловской площади и Итальянской улицы начальник Третьего отделения шел в часовню молиться вместе со своим другом полковником Макаровым. Неизвестный высокий брюнет (явно Кравчинский!), подойдя к нему, поразил его кинжалом в грудь. Когда полковник бросился схватить его, другой, тоже высокий, но более молодой брюнет (в котором я тотчас узнал Баранникова) выстрелил в полковника из револьвера, и, когда тот отскочил, оба сели в шарабан, запряженный серым в яблоках рысаком, и быстро уехали от преследующих».

Так рисовалась, по газетам, фактическая сторона дела, а моральный его двигатель восстановил я сам по тому, что чувствовал, прочитав телеграмму о казнях в Одессе.

О, с каким нетерпением хотелось мне скорее получить изве-

стие о приезде Брешковской, освободить ее и тотчас же умчаться в Петербург.

И вдруг я получил это известие, но только не оттуда, откуда ждал, и не в таком виде!

Утром коридорный принес мне письмо из Петербурга. Я открыл его со страшным нетерпением и прочел строки, написанные почерком Малиновской:

«Возвращайтесь назад, ее провезли в Сибирь еще раньше, чем вы приехали в Нижний. Она требовала остановки, заявляла, что очень больна, но жандармы не обратили на ее заявления ни малейшего внимания и провезли далее, даже не останавливаясь в Нижнем».

Итак, все мои приготовления рассыпались, как карточный домик! Эта развязка была так неожиданна, что мне даже не верилось.

«Бедная Брешковская! Кто же теперь освободит ее?» — думалось мне.

Но горесть этого разочарования смягчилась радостью от возможности немедленного возвращения в Петербург к моим друзьям, которые могут теперь, думал я, очень во мне нуждаться.

Собрав все свои вещи в чемодан, я наскоро побежал проститься со здешними товарищами, объяснил им неудачу дела и с первым же поездом помчался в Петербург.

6. Сон наяву

— Здравствуй! — воскликнул я, бросаясь в объятия Кравчинского, которого застал у Малиновской в самый момент моего возвращения.

Он крепко обнял меня. Как он преобразился! Он словно вырос, его черные глаза сверкали теперь совсем новым огнем.

Я смотрел на него с восторгом.

— А знаешь,— сказал я ему, не дожидаясь его ответа,— ведь без казни Ковальского с товарищами ты никогда бы этого не сделал.

Он утвердительно кивнул головой.

— Пойдем,— сказал он мне,— на мою новую квартиру. Ты знаешь, я теперь женат.

— На Фанни? А я думал, что у вас расстроится дело, ты ведь давно за ней ухаживал, а она не соглашалась.

Он улыбнулся.

— Да! До того случая! А после него, ты понимаешь, она уже не могла более сопротивляться.

— Я очень рад,— сказал я,— это чудная девушка.

Мы вышли на Измайловский проспект.

— Как ты не боишься ходить по петербургским улицам? Ведь это неосторожно.

— Я сам так думал,— отвечал он,— но потом убедился, что опасности не больше, чем и прежде. Все произошло так быстро, что даже полковник Макаров, шедший с Мезенцовым и хотевший схватить меня, едва ли хорошо успел запомнить мое лицо.

— Но оно у тебя такое заметное, совсем непохожее на другие.

— Это только, когда я без шапки. А тогда я был покрыт шляпой с широкими полями. А на носу были золотые очки, конечно с простыми стеклами.

Мы пришли в его новую квартиру на Загородном проспекте, где нас радостно встретила Фанни.

Она, очевидно, очень беспокоилась, когда он уходил, но не могла все время удерживать его дома.

— Ты нам очень нужен,— сказал Кравчинский.— Я и Клеменц, который тоже сюда приехал, с большим нетерпением ждали тебя и даже хотели тебе телеграфировать, чтобы поскорее возвращался.

— Зачем?

— «Троглодиты» хотят дать средства на издание здесь, в Петербурге, свободного журнала. Редакторами будем — ты, Клеменц и я. Это уже решено. А назвать журнал хотим «Земля и воля».

— Почему «Земля и воля»? Лучше бы назвать «За свет и свободу».

— Нет. Надо сохранить прежние традиции. Так называлось общество, в котором действовали Чернышевский и поэт Михайлов, сосланные в Сибирь. Мы будем их продолжателями.

— Но они действовали еще при крепостном праве. Тогда это название было вполне понятно, оно означало освобождение с землей [58].

— Этот девиз будет понятнее крестьянам, чем «Свет и свобода».

Я не хотел спорить из-за названия и только спросил:

— А где будем печатать?

— В типографии, которую «троглодиты» уже устраивают. Это будет та самая типография, в которой до сих пор печаталась газета «Начало» [59]. Ты ее читал?

— Как же? Читал. Уже три номера вышли.

— Да! Но у них совсем нет литературных сил. В результате вышла непериодическая газетка с простыми фактическими сообщениями и без всякого определенного направления.

— Да, я видел! Случайный подбор заметок и статей.

— А мы,— продолжал он,— будем издавать журнал вроде еженедельных, но только тоже не периодический, по мере накопления материала. Впрочем, нет! Материала и статей у нас будет больше, чем сколько успеют набирать четыре наборщика, которые будут жить в тайной типографии, когда она перейдет в наши руки. Так что частота выхода нашего журнала будет зависеть только от их работоспособности.

— Это очень хорошо! — заметил я.— Надо только поскорее устраивать типографию.

— Да! «Троглодиты» уже принялись за это.

Он вдруг словно что-то вспомнил, улыбнулся и вынул из ящика стола золотые очки.

— Вот это те самые,— сказал он,— в которых я выходил против Мезенцова. Кто знает, что с нами будет? Каждый день грозит нам вечной разлукой. Возьми их и носи на память обо мне.

Я взял у него очки, отнес в оптический магазин, где попросил вставить в золотую оправу подходящие для моих глаз стекла. Потом я носил их все время моей заговорщической деятельности и даже в Шлиссельбургской крепости, когда Сергея уже не было в живых. Там они сломались в конце моего заточения, и теперь у меня в футляре остались лишь их обломки да на книжной полке несколько томиков последующих литературных произведений Сергея, напоминающих мне о нем.

Такова была моя первая встреча с Кравчинским после события на Михайловской площади, взволновавшего тогда всю читающую Россию.

На следующий день, когда я пошел по обыкновению провести вечер у Малиновской, меня ждала еще одна встреча, имевшая для моей тогдашней жизни очень важные последствия.

У Малиновской среди остальных ее обычных гостей сидела незнакомая мне молодая девушка с огромной черной, как вороново крыло, косой, красивыми серыми глазами и немного смуглым цветом лица.

Как водилось в нашей среде, я поздоровался и с нею за руку, как со знакомой, и сел к столу, подвинув себе стул, почти против нее.

— А знаешь, кто это? — улыбаясь, сказала мне Малиновская, показывая на нее.

— Нет.

— Это Ольга Любатович. Она убежала из Сибири с поселения по московскому процессу.

— Как же вы убежали? — спросил я девушку.

— Очень легко! — сказала она живо. — Исправник очень нас притеснял там. Он требовал, чтоб мы являлись в полицию каждый день расписываться в книге, задерживал письма, не передавал посылки. Я этим и воспользовалась. Я нарочно несколько раз угрожала ему, что он заставит меня своими преследованиями утопиться с отчаяния. А когда наступило время, я взяла с собой лишнее пальто, башмаки, шляпу и платье и, положив все это на берегу реки, уехала из города на приготовленном экипаже, распространив через оставшихся товарищей слух, что я утопилась.

— А местное начальство, — прибавила Малиновская, — бросившись ее разыскивать, нашло прежде всего ее шляпу и одежду на берегу и принялось выуживать ее тело баграми вместо того, чтобы ловить.

Мы все от души расхохотались.

— И что же, вы так и доехали до Петербурга без всяких приключений?

— Почти без всяких. На одной из первых станций я встретилась с седеньким старичком, тоже ехавшим в Россию. Узнав, что я еду одна, он начал уговаривать меня взять его своим попутчиком, так как молодой девушке опасно ехать одной по нынешним временам, да и дешевле ехать пополам. Я с радостью согласилась, и с тех пор все на пути принимали меня за его дочь, и я, конечно, не отвергала этого.

Она принялась оживленно рассказывать все остальные мелкие подробности своего побега.

Глаза Ольги Любатович сверкали при этом рассказе. Она была удивительно хороша в этот момент, настоящая героиня романа, искренняя, скромная в оценке своих необыкновенных поступков и в то же время совершенно непохожая на тех девушек и женщин, которых я раньше знал.

Да, в ней было что-то особенное, героическое и вместе женственное, и это с первого же часа нашего знакомства сильно подействовало на меня. Образы отсутствующих обладательниц моего сердца стали быстро тускнеть, и, когда прошел этот вечер и я отправился ночевать к одному из моих друзей, присяжному поверенному Ольхину, в моем воображении оставался только один ее образ, и я чувствовал, как он завладевал всей моей душой, в которой слишком велика стала потребность не безмолвной, как прежде, а разделенной любви.

Каждый вечер я бегал теперь к Малиновской, чтоб поскорее увидеть Ольгу, успокоиться, что она не арестована, обменяться с нею мечтами о будущем. Мне стало скучно там, где ее не было. Мы быстро сближались своими душами, и я с необычным

чувством счастья видел, что и она всегда старается быть там, где, по разговорам предыдущего дня, мне нужно было появиться в определенное время.

Не прошло и десяти дней после нашей встречи, как я уже не мог молчать перед нею. Во что бы то ни стало мне захотелось сейчас же узнать свою судьбу.

Встретившись с нею снова у Малиновской и немного посидев вместе с хозяевами, я, наконец, позвал Ольгу в другую, неосвещенную комнату, где никого не было. Мы сели рядом на диване и, держа ее руку в своей, я сказал ей:

— Знаете, мне кажется, я вас люблю.

Она молчала, не вынимая своей руки из моей. В полутьме комнаты, освещаемой лишь через открытую дверь из соседней, где раздавались звонкие голоса разговаривающей компании, я не мог разобрать выражения ее лица и глаз.

— Может быть, мне нужно уехать? — сказал я ей тихо и покорно.

— Нет! — ответила мне она и вдруг положила голову на мое плечо.

И вот мы вышли из этой комнаты, как жених и невеста. И если была в ее душе хоть десятая доля того счастья, которое наполняло тогда мою, то она должна была чувствовать себя очень счастливой в этот вечер! Мы явились перед остальной компанией совсем другими, чем вышли за час перед тем. Мы старались всеми силами никому не показывать вида о совершившейся в нас перемене, но она, по-видимому, глядела из каждой черты наших лиц. Вся остальная компания инстинктивно раздвинулась и предоставила нам место сидеть рядом, чего раньше никогда не делалось.

Потом я проводил Ольгу в комнату, которую она нанимала в одном сочувствующем семействе, и там мы и просидели вдвоем половину ночи.

— Давно ты полюбила меня? — спрашивал я ее.

— С первого нашего разговора.

— И я тоже.

— Если тебя арестуют, я сама прибегу и скажу, чтоб и меня арестовали,— сказала она.— Береги себя.

— Я буду беречься. А если тебя арестуют, то я тебя освобожу или погибну сам.

И мы знали оба, что каждое сказанное нами слово — была правда.

Как странна, как непохожа на любовь других была наша любовь! Меня разыскивало правительство, чтоб сослать куда-то далеко в Сибирь. Ее оно разыскивало для того же, и мы оба

знали, что нас ни за что не пошлют в случае ареста в одно и то же место и, кроме того, продержат в новом заточении врозь не один год. Мы полюбили друг друга среди грозы и бури взволновавшейся русской общественной жизни, и каждый новый удар ее грозил сразить одного из нас, а то и обоих вместе. И все же нам казалось тогда, в эти первые дни, что будущее наше светло и прочно, как будто сама наша любовь должна была заслонить нас своим невидимым щитом от всех окружающих опасностей.

Подчиняясь требованиям суровой действительности, не дававшей нам права заводить свою семью, мы решили оставаться пока на положении бессрочных жениха и невесты. Условия нашей жизни были действительно слишком грозны, и уже недели через две после нашего объяснения в любви нам пришлось пережить большую опасность.

7. На краю гибели

Предвестники ее были замечены мною почти тотчас же после моего первого знакомства с Ольгой.

Всегда особенно склонный к роли оберегателя моих товарищей от поджидающих их повсюду опасностей, я старался при каждом случае потихоньку исследовать окрестности их жилищ, чтобы убедиться, не наблюдают ли за нами шпионы.

Особенно заботясь о квартире Малиновской, куда часто ходила Ольга, я никогда не входил в нее, как другие, прямо с Измайловского проспекта, а проходил параллельной улицей на берег находящейся за нею речки Лиговки и, повернув назад, шел к ее дому с обратной стороны, убедившись на пустынном тогда берегу, что никто за мной не следит. А вход в дом был с переулка, т. е. с одной из так называемых «рот» Измайловского полка. Заходя таким способом с обратной стороны, я мог с ближайшего ко мне угла улицы видеть прямо перед собой, на противоположной стороне, ворота дома Малиновской, но там никогда не было ничего подозрительного, за исключением всегда сидящего у них дворника.

Вдруг после нескольких таких обходов я увидал как раз на том месте, откуда я сам считал особенно удобным незаметно наблюдать за домом, чрезвычайно странного субъекта, тоже явно занятого этим самым наблюдением.

Он был очень маленького роста, его волосы были длинны и опущены до самых плеч; на носу, похожем на картошку, надеты очки, на голове кожаная фуражка, на плечах серое пальто,

а штаны вправлены в голенища высоких охотничьих сапог. Это была настоящая карикатура на «нигилиста», как его рисовали в тогдашних юмористических журналах. Он, вздрогнув при моем внезапном приближении, быстро взглянул мне в лицо и начал смотреть в обратную сторону.

Чувствуя, что малейшая нерешительность возбудит его подозрения, я прямо пошел к воротам нужного мне дома, вошел на внутренний двор и явился в квартиру Малиновской.

Там были уже Ольга, Адриан Михайлов, Сабуров, Кравчинский и несколько других моих друзей.

— За вашей квартирой следит шпион! — сказал я Малиновской.— Нам надо прекратить здесь собрания, а вам скрыться и перейти на нелегальное положение.

— Не может быть! — сказала она.— Я всегда осматриваю окрестности, когда выхожу, но ничего никогда не видела подозрительного.

— Хорошо! — ответил я.— Я посмотрю еще раз. За себя я не боюсь. Еще в первый раз, как я пришел к вам, я нарочно спросил у дворника не номер вашей квартиры, а предыдущий по числу, рассчитывая, что он будет по той же лестнице. Оказалось, что он против вас, и там, по карточке на двери, живут какие-то Мухтаровы. Я и теперь, входя сюда перед шпионом, спросил у дворника, дома ли Мухтаровы, и он ответил, что, кажется, не выходили. Он теперь скажет шпиону на его вопрос, что я хожу к Мухтаровым, и за мной не будут следить.

Все засмеялись моей предосторожности, не подозревая, что комический нигилист был самый настоящий политический шпион.

Чтоб обеспечить и Ольгу от преследований, я, как и в прежние вечера, вышел с ней под руку, говоря ей при проходе мимо дворника какую-то шутку насчет Мухтаровых, упомянув эту фамилию достаточно громко, чтоб дворник слышал. Шпиона я уже не видел на противоположном углу.

На следующий день я встретил опять его же на Николаевском мосту через Неву, когда я шел к Адриану. Он быстро шагал мне навстречу и внимательно оглянул меня в моей землемерской фуражке, как уже известное ему лицо, и затем прошел, не оглядываясь, далее.

— И за вами следит тот же длинноволосый шпион,— сказал я Адриану, придя к нему.

— Странное совпадение,— ответил он, видимо обеспокоенный.— Но, может быть, это простая случайность.

Когда я шел обратно и проходил против квартиры Оболешева, я опять увидал того же самого маленького субъекта с рыжими усами. Но он теперь ехал уже на некрытых дрожках с

другим толстым, огромного роста шпионом, с бритой, как у актера, физиономией и в мягкой ширококрылой, как летучая мышь, шляпе. Соединение обеих этих фигур в одних дрожках представляло из себя нечто необыкновенно комическое, но самое скверное было то, что оба, повернувшись, оглядели внимательно окна квартиры Оболешева и вход в нее.

Я предупредил и его и настоятельно просил сейчас же бросить квартиру и переменить свою внешность. То же самое сказал я вечером и Малиновской, против дома которой снова увидел этого наблюдателя на углу, и уговаривал присутствовавших прекратить здесь собрания. Но большинство только смеялось над моим рассказом о комической шпионской паре в шарабане.

Не придала ему большого значения, по-видимому, и Ольга, которую я снова отвел под руку в ее комнату в ближайшей «роте Измайловского полка», а сам отправился ночевать по-прежнему к Ольхину, жившему далеко, почти на другом конце Петербурга и предложившему мне пользоваться особой комнатой в его квартире во всякое время дня и ночи.

Я был знаком всего лишь три месяца с этим рыжеволосым великаном с огромной бородой, напоминавшей бога Тора, но успел уже очень полюбить его за простоту и отзывчивость. Я никак не ожидал, то он относится ко мне еще лучше. И вдруг это наглядно обнаружилось.

Ольхин еще не спал, когда я вошел к нему.

— Что вы так поздно сегодня засиделись? — спросил я его.

— Писал стихотворение. Отгадайте, кому оно посвящено?

— Не знаю.

— Вам!

— Не верю!

— А вот возьмите!

Он подал мне мою собственную фотографию, которую я подарил ему три дня назад. На обратной ее стороне было написано:

«Мыслью отзывчивой, чуткой душою
Мир озаряй!
Волей могучею, твердой рукою
Зло покарай!
Если тебя за святою работою
Люди убьют,
Верные братья окончат с заботою
Начатый труд!»

Я был сильно растроган и даже прямо осчастливлен его стихотворением! Такие пожелания делали меня как будто лучше в моих собственных глазах! А теперь как раз я особенно желал

быть очень хорошим ради Ольги. Мне очень захотелось показать ей это стихотворение в надежде, что из-за него она будет более любить меня.

«Ведь все женщины,— думал я,— очень обращают внимание на то, как относятся другие к предмету их любви, и оценивают его в сильной зависимости от мнения других, а не по одним своим впечатлениям».

— Можно мне списать его? — спросил я.

— Я сейчас сам напишу вам!

И, взяв листок бумаги, он снял копию со стихотворения и отдал мне.

Мы легли спать очень поздно, заговорившись. Но я все-таки долго не мог заснуть от охватившего меня восторга.

«Неужели я становлюсь очень тщеславен? — думал я.— Это стихотворение так сильно подействовало на меня, как никогда не действовали другие посвящавшиеся мне ранее. Или это все из-за Ольги? Да, все из-за нее, потому что прежде всего мне хочется показать стихи ей. Мысль об этом учетверяет мою радость. Разделенная радость — это радость в квадрате».

С такой мыслью я и заснул. Думаю, что я проспал бы до двенадцати часов следующего дня, если б резкий звонок не раздался ранним утром и ко мне в комнату не влетел весь взволнованный, известный тогдашний писатель и общественный деятель Анненский, знавший, что я часто ночую у Ольхина.

— Малиновская арестована сегодня ночью вместе с Коленкиной! Было вооруженное сопротивление,— проговорил он, задыхаясь от быстрого входа.

Я вскочил, как ужаленный.

— Откуда вы узнали?

— Ее кухарка — приятельница моей кухарки и прибежала к ней рассказать. Обеих увезли в крепость. В квартире устроили засаду. Там сидят четыре жандармских унтер-офицера в полном вооружении. Я боялся, что вы туда пойдете и прискакал на извозчике предупредить.

— А как же засада выпустила кухарку?

— Купить провизии в лавочке. Ее не тронули. Она ведь совсем безграмотная и так перепугалась при выстрелах, что спряталась, вся дрожа, под стол. Оттуда ее и вытащили.

— Мне надо бежать предупредить других,— сказал я, одеваясь, как попало.

Накинув пальто и свою землемерскую фуражку, я быстро выбежал из дому.

«Вдруг Ольга пойдет сейчас же к Малиновской,— думалось мне,— и будет арестована там. Или может быть она уже высле-

жена тем шпионом с длинными волосами и арестована в эту самую ночь?»

Осторожность, обратившаяся в инстинкт, не позволяла мне и здесь взять извозчика, стоявшего недалеко от квартиры Ольхина, но, выбежав на Литейный проспект, я бросился на первого попавшегося.

— В Измайловский полк! Сколько возьмете?

— Пятьдесят копеек!

— Я дам рубль, только гоните во всю мочь! Там умирает моя сестра.

Извозчик начал стегать изо всех сил лошадь, она бежала даже вскачь, но мне казалось, что мы совсем не подвигаемся вперед. В сердце была мучительная боль, в голове была только одна единственная мысль: каждая лишняя минута, каждая секунда может принести с собой ее гибель, если только она еще цела.

— Скорее! Скорее! Скорее! — понукал я без конца своего возницу.

Вот мы проехали Загородный проспект, вот въехали на Измайловский, вот в переулке ее дом, и на ее окне направо выставлен знак безопасности — подсвечник, снимавшийся на ночь.

Но я все еще не верил. Сунув извозчику обещанные деньги, я побежал вверх по лестнице и, бросив на этот раз всякие предосторожности, дернул за ручку звонка.

И вот дверь отворила она сама, вся бледная.

— Ты знаешь? — спросила она меня.

— Знаю! А ты откуда узнала?

— Анненские бегают и предупреждают всех через своих знакомых.

Только теперь, видя ее перед собою живую и невредимую, я начал верить, что грозная опасность миновала ее, и на душе на одно мгновение стало совсем легко. Но это было только на мгновение.

— Я побегу скорее предупредить Кравчинского,— сказал я.

— И я с тобой! — ответила она.— Будем в эти дни всегда вместе.

— Да, будем всегда вместе. Врозь теперь невозможно жить.

Она быстро надела пальто и шляпу. Отойдя на некоторое расстояние от дома, мы взяли извозчика и поехали на Загородный проспект к Кравчинскому. Он тоже оказался уже предупрежденным и, кроме того, знал еще многое, чего не знали мы.

— В эту самую ночь,— сказал он мне,— арестованы Адриан, Оболешев и Ольга Натансон, одним словом, все центральное бюро «троглодитов». На их окнах нет более знаков.

— Кто тебе сказал?

— Александр Михайлов, который теперь побежал как раз предупреждать вас через разных лиц, потому что квартиры Ольхина он не знает, а ты ночуешь каждую ночь в особом месте.

— Это все тот длинноволосый шпион, которого я видел,— заметил я.

— Несомненно. Но как он не проследил Ольги? Она жила ведь ближе всех к Малиновской и ходила к ней каждый вечер.

— Нас считали ходящими в соседнюю квартиру!

И я сообщил ему свою обычную предосторожность с дворниками.

Мы начали думать, кого еще надо предупредить. Почти все, постоянно ходившие к Малиновской, кроме Буха, жившего с товарищем неизвестно где, были арестованы. Как бы узнать адрес Буха? Мы долго сидели у Кравчинского и ждали. Вновь пришел Михайлов и чрезвычайно обрадовался, увидев нас целыми.

— Теперь,— сказал он мне,— надо предупредить Трощанского и Буха. Я побегу к Трощанскому, а ты зайди к Буху, но только смотри на сигнал! У него горшок цветов на правой стороне окна. Если он на левой — не входи. Он живет в нижнем этаже тоже в Измайловском полку.

Александр назвал мне роту и номер дома.

Дом был совсем близко от квартиры Ольги.

— Пойдем к тебе,— сказал я ей.— Ты останешься у себя, а я пойду, предупрежу.

— Я хочу с тобой,— взволнованно, но решительно заговорила она, когда мы выходили на улицу.— Я не могу пустить тебя туда одного. Там,— я знаю! — уже все арестованы, и тебя ждет засада.

— Потому-то и нельзя с тобой. Без тебя я могу убежать, отстреливаясь, в пустынные переулки, находящиеся за их квартирой. Ведь там глухая окраина, одни заборы, без прохожих. Я перепрыгну через какой-нибудь и скроюсь, если пойду один, а с тобой этого нельзя. Не хочешь же ты бесполезно погубить и меня и себя!

С большим трудом удалось мне уговорить ее остаться.

— Если через час ты не возвратишься,— сказала она, когда мы вошли в ее комнату,— то, знай, я пойду туда же.

— Хорошо, возвращусь.

Она сидела и молча плакала, наклонив голову над столом. У меня сердце разрывалось от жалости к ней, но что я мог сделать? Долг требовал, не медля ни минуты, бежать с предупреждением, и я быстро вышел, простившись с нею как будто навсегда.

Через пять минут я был уже в виду дома своих товарищей.

При повороте в переулок я заметил группу трех городовых, и это отметилось в моей памяти как обстоятельство подозрительное, так как городовые стоят обыкновенно поодиночке на таких малолюдных окраинных улицах.

У входа в описанный мною подъезд сидел дюжий дворник. Я должен был пройти мимо подъезда, так как окна квартиры Буха в нижнем этаже были за ним, и я не мог заметить положения горшка с цветами. Дворник поднял голову, глядя на меня, а я прошел мимо него, как бы задумавшись, далее. Бросив взгляд на первое из окон, я увидел цветочный горшок как раз в надлежащем месте. Окна были закрыты занавесками, и внутренности комнат не было видно.

«По-видимому, у Буха все целы»,— подумал я и, внезапно остановившись, взглянул вверх и назад, как человек, вдруг опомнившийся от раздумья, а затем круто повернул обратно и вошел в глубину подъезда.

Мне уже сказали, что не надо было идти тут вверх по лестнице, а пройти мимо нее в глубину подъезда, до самого его темного конца, и там дернуть звонок у двери налево. Были ранние осенние сумерки на улицах, а в подъезде даже полная тьма, так что я должен был идти ощупью, ведя рукой по левой стене, для того чтобы нащупать дверь.

Я нажал по обыкновению на ручку двери, она оказалась запертой. Я дернул звонок, и колокольчик сильно задребезжал внутри квартиры. В то же самое мгновение я взглянул назад на открытую дверь подъезда, казавшуюся отсюда слабым серосветлым пятном на фоне улицы, и увидел, как на этом пятне показался темный силуэт дворника, заглянувшего в глубину и быстро исчезнувшего обратно.

Снова почувствовав что-то неладное, я быстро и неслышно пробежал в своих резиновых калошах до входа. Дворник бежал, не оглядываясь к концу переулка, где стояли городовые. Я тоже побежал, но к обратному концу до перекрестного переулочка почти на том же расстоянии от дома и заметил как из моего подъезда вышла какая-то мужская фигура и стала смотреть направо и налево, как будто ища кого-то, а с другого конца бежала небольшая группа, человек в пять. Но кто это были, городовые или просто рабочие, нельзя было узнать в спустившемся сумраке.

Не ожидая далее, я побежал по боковому переулку и окружным путем возвратился к Ольге.

— Что-то странное,— сказал я ей и передал свои впечатления.

— Они арестованы,— решительно сказала она,— а в квартире их и на улице засада.

— Но знак стоит на месте.

— Их квартира была в нижнем этаже и легка для наблюдений снаружи. Шпионы заметили, как на ночь горшок всегда переставляется, и поставили его утром после ареста на обычное место.

— Но я не могу ограничиться этим. А вдруг Бух и живущие с ним там пойдут теперь к Малиновской из-за того, что я убежал после звонка, не дождавшись их выхода? Может быть, из подъезда выходил кто-нибудь из них? Каково нам будет жить, если это случится? Если их арестуют?

— Да,— сказала она,— надо снова идти, но теперь уже вместе. Я умру с отчаяния, оставшись здесь второй раз одна.

— Тогда пойдем. Но мне надо переменить свою внешность. Дворник меня уже видел в моей землемерской фуражке.

В комнате у Ольги хранилась часть запасной одежды моих товарищей. Я взял оттуда более теплое пальто, шляпу-цилиндр и дождевой зонтик. Она надела свое прежнее пальто, и я с нею вышел под ручку на улицу в виде чиновника, идущего в гости со своей женой.

Было уже совсем темно, и, к нашему удовольствию, начал моросить мелкий октябрьский дождик, позволивший нам раскинуть зонтик и этим скрыть свои лица.

На перекрестке теперь не было ни одного городового, но когда мы подошли поближе к подъезду, на лавочке у него сидел уже не один дворник, а еще двое вооруженных городовых, и вся эта компания поднялась со скамьи при нашем подходе.

— Экая грязища,— сказал я Ольге достаточно громко, чтобы они слышали,— идти нам осталось чуть не полверсты. Хоть бы градоначальник обратил внимание на тротуары.

— Да,— ответила она,— хоть бы добраться только!

С этими словами мы прошли мимо поджидавшей нас засады, пропустившей нас, вероятно, только потому, что она не решалась остановить на улице чиновника с супругой из-за того одного, что им нужно было идти по пустынной окраине мимо дома, где произведен политический арест.

Было бы лицемерием с моей стороны и сильной неправдоподобностью сказать, что мне не было жутко в момент прохождения перед шестью дюжими лапами, уже протянувшимися к нам, да и рука Ольги, продетая в мою, сильно прижалась ко мне в этот критический момент.

— Видел? — сказала она, когда мы уже достаточно ушли и, повертывая в боковой переулок, увидели, что нас никто не преследует.— А квартира за занавесками освещена!

— Видел. А ты видела, что горшок с цветами стоит на своем надлежащем месте?

— Да.

— Надо переменить систему сигналов, эти более не годны.

Когда мы вновь пришли к Кравчинскому, туда вбежал, весь возбужденный, Александр Михайлов.

— Как дела у Буха? — спросил он меня прежде всего.

— Арестованы.

Я быстро рассказал ему о сигнале и о своем двукратном путешествии.

— Вы оба счастливо отделались,— проговорил он.— А у меня-то что вышло!

Он махнул рукой.

— Что такое?

— Подхожу я к квартире Трощанского по противоположной стороне улицы. Там горит лампа, как обыкновенно, и знак безопасности переставлен после ночи на надлежащее место. Вхожу я и звоню. Дверь отворяет жандармский унтер. Здесь, говорю, живет модистка? — Здесь, здесь, пожалуйте! — отвечает он. Что мне было делать? Я знаю, что никакая модистка тут не живет, что она этажом выше.— Нет,— говорю,— я ошибся квартирой, она непохожа на ту, куда я хожу. Это, очевидно, выше! — А тут еще выскочили два других городовых.— Пожалуйте, говорят, господин, мы вас должны отвести в участок, там разберут! — Зачем в участок? — спрашиваю.— Нечего, говорят, разговаривать. Поведем его, Василий, а Федор и Павлов пусть сторожат еще! Вот, двое из них повели меня по лестнице. Выходим на улицу. Тут как выхватил я свой никелированный наручник, да как блеснул им у них перед самыми глазами! Оба заорали в страхе и отскочили в сторону. А я бросился бежать по переулку! — Держи его, лови!..— закричали они, пустившись за мной.— Стой, стрелять будем! — А я увидел перед собой забор дровяного двора, припрыгнул, схватился обеими руками за его верх, и — откуда только сила взялась — в один миг перескочил на другую сторону! Слышу, они кричат за забором, тоже хотят перепрыгнуть, но обрываются, а я бегу дальше к противоположному концу большого двора, сплошь уложенного рядами дров, бревен и тесу. Злющая собака напала на меня, а я, отмахиваясь от нее своим кастетом, добежал до противоположной стороны, там снова перескочил на заднюю улицу, в которой не было ни души. По ней я вышел уже на людные улицы, сел на извозчика и поехал сюда.

Мы все слушали его рассказ, как сказку.

«Да,— думал я,— вот началась она, настоящая деятельность, с борьбою, с опасностями, с приключениями! Кто победит те-

перь? Гражданская свобода или политический абсолютизм? Свет свободной науки или принудительная тьма старинного неведения? Нам нанесли тяжелый удар, выхватив из нашей среды половину товарищей. Сомкнем же за ними ряды!»

— Знаешь? — сказал мне Кравчинский, как бы угадывая мои мысли и отведя Ольгу и меня в другую комнату.— Я теперь уже давно формально член их тайного общества.

И он указал на комнату, в которой оставил Александра Михайлова.

— «Троглодитов»? — воскликнул я, повторяя непроизвольно кличку, данную Клеменцем этому кружку по причине неизвестности квартир его членов никому постороннему.

— Да. В программу его входят: деятельность в народе путем пропаганды, агитации и деятельность по способу Вильгельма Телля, на равных правах с народническим способом пропаганды. Хочешь войти и ты?

— Да! — ответил я решительно.— Ведь кружок, основанный нами после освобождения из заключения, теперь рассеялся, и я свободен, а троглодиты мне всегда очень нравились.

— А вы хотите? — обратился он к Ольге.

— Тоже.

— И Перовская согласна! — дополнил Кравчинский.— Значит, ряды пополнены!

Мы все трое возвратились обратно.

— Они присоединяются к нам! — громко сказал Кравчинский оставшемуся в комнате Александру Михайлову.

Тот подошел к нам, крепко пожал обоим руки и поцеловал меня.

— Теперь,— сказал он, улыбаясь,— вам нужно только прочесть наш устав и дать слово подчиняться ему. Вас обоих мы уже давно голосовали без вашего ведома и единогласно решили принять, как только вы выразите согласие. Но я вас предупреждаю, что устав требует от всякого входящего отдать в распоряжение общества всю свою жизнь и все свое имущество.

— Это и хорошо! — ответил я за нас обоих.

— Итак,— сказал Кравчинский,— отныне нет более «троглодитов»! Мы в память Чернышевского и его погибших в Сибири товарищей будем называться, как и наш журнал: «Земля и воля»!

XV. «Земля и воля»[60]

1. В редакторском звании

— Ну, что же? — спешно спросил меня Александр Михайлов, которого после Кравчинского любил я более всех среди моих товарищей за его беспредельную самоотверженность.— Скоро вы окончите редактирование первого номера?

Вопрос шел о задуманном нами свободном журнале «Земля и воля». Он должен был печататься в нашей тайной типографии, в устройстве которой Михайлов принимал деятельное участие.

— Уже все готово! — ответил я ему.— Кравчинский написал чрезвычайно поэтическую статью, начинающуюся словами...

Впрочем нет, я лучше прочту тебе конец ее целиком.

Я вынул статью из своего портфеля и начал ему читать:

«Оставьте катехизисы и учебники! Погрузитесь в великое море народное, раскройте ваши очи, разверзайте уши! Прислушайтесь к рокоту волн народной жизни, уловите ту струю, которая прямо брызжет из сердца народного, и тогда смело беритесь за руль вашей лодочки и сильным ударом бросайте ее туда, в самую середину ее! Радостно подхватит она вас и высоко, высоко подбросит на своих могучих волнах! Труден ваш путь. Много утесов и подводных скал коварно сторожат вас на пути. Не мало водоворотов в глубине этого неизведанного моря. Не легко отличить действительные жизненные стремления массы от уродливых болезненных продуктов ее ненормальных условий.

Но разве трудность пугает борца? Разве не в них черпает он новые силы для их преодоления? Веруйте в свой народ, веруйте в себя!»[61].

— Да, очень поэтически написано,— прервал меня Александр.— Но только ведь это все устарело. Мы все уже погружались в народное море и разверзали свои уши. Но что же нового для себя мы там услышали? Ряд матерных выражений, пересыпающих каждую фразу даже в приятельском разговоре?

Ведь и сам ты говорил не раз, что мы, интеллигенция, должны поднимать полуграмотную часть населения, хотя бы она и была в тысячу раз многочисленнее нас, до своего умственного и морального уровня, а не опускаться до нее самим? А тут выходит как будто обратное.

Я несколько смутился. Статья Кравчинского действительно противоречила многому из того, что я уже не раз высказывал всем своим друзьям в частных разговорах. Но когда Кравчинский прочел ее на первом же редакционном собрании мне и Клеменцу — редакция тогда состояла из нас троих — и Клеменц, потирая от удовольствия свои руки, сказал с многозначительным кивком головы: «вот как надо писать!», у меня не хватило духу возражать.

— Ты уже знаешь,— ответил я Александру Михайлову,— что я не против хождения в народ. Оно необходимо именно для того, чтобы всякий, кто туда пойдет в убеждении, что многому научится, увидел бы свою ошибку и, возвратившись в свою среду, стал бы сознательно бороться с нашим правительственным произволом, мешающим русской интеллигенции поднимать невежественные массы населения до своего уровня. Притом же переход от народническо-социалистических программ наших заграничных изданий к чисто радикальной интеллигентской программе едва ли возможен при наличии такого неслыханного во всем мире правительственного гнета над человеческой мыслью, как у нас. При нем интеллигенция всегда будет малочисленна и слаба качественно, за единичными исключениями, которые могут действовать лишь по способу Вильгельма Телля, как и сам автор этой статьи, только что поразивший шефа жандармов во имя чисто гражданских идеалов. Я думаю, что коррективом к его статье будет стихотворение Ольхина, которое я получил от него на днях и принес для помещения...

И, найдя в том же своем портфеле новый листок, я начал ему читать [62].

— Вот это,— воскликнул Александр,— настоящее стихотворение! Какое сильное!

— Да! — воскликнул тоже и я, обрадовавшись, что могу отклонить разговор от щекотливой для меня темы, на которую он перебросился благодаря так неудачно цитированной мною статье Кравчинского, зазывавшей интеллигентную молодежь снова купаться в простонародном море в то время, когда мы все, учителя, уже бежали из него и совсем не собирались в него возвращаться.— Да! Это лучшее из всех стихотворений, которые мне приходилось читать в нашей литературе, и знаменательно, что оно написано л и б е р а л о м, человеком, никогда не прини-

мавшим активного участия в нашей народнической деятельности. Все это показывает, до какой степени я был прав, утверждая, что истинное понимание наших целей и даже сущности западноевропейского социализма мы можем найти только в высокоинтеллигентной среде.

Александр, задумавшись, несколько раз прошелся из угла в угол своей комнаты.

— Мы,— сказал он, наконец,— оказались теперь отогнанными самой судьбой от социалистической и народнической деятельности на арену политической борьбы за чисто радикальные идеалы культурных слоев русского населения, совершенно еще чуждые нашим крестьянам и рабочим, взятым в массе. Но мы не хотим в этом сознаться открыто и потому попали в какое-то двойственное положение. Мы делаем одно, а проповедуем совсем другое по какой-то инерции. Восстаем против старых «катехизисов и учебников», а пишем выводы именно по ним, или даже хуже — по старым прописям... Будет ли от этого польза?

— Конечно, только вред,— ответил я ему.— Но поправить дело можно лишь постепенно. Все эти трафаретные фразы нашей народнической идеологии есть неизбежный результат небывалых в истории гонений на человеческую мысль и человеческое слово в России; они — продукт экзотической эмигрантской среды с ее растоптанными нервами и разбитыми сердцами. Я там жил и вполне понимаю все это. Благодаря пережитым в России личным неудачам и вынужденному бегству на чужбину с целью самосохранения там пропадает вера в возможность успешной деятельности интеллигентного общества, как своего круга, вырабатывается презрение, даже ненависть к нему и к культурным слоям вообще и как противовес — идеализация полуграмотных и безграмотных масс. А так как по цензурным условиям русской жизни только вольные заграничные люди могут печатать свои мнения, то эти же мнения воспринимаются нашей учащейся и, понятно, неопытной еще молодежью. Ведь вот и самое название нашего общества и нашего журнала «Земля и воля» разве не злостная насмешка над нами? Оно обозначает призыв идти в деревни бороться за землю и волю, а между тем именно теперь идет поголовное бегство из деревень последних народнических деятелей, которые там еще оставались, и ясно, что к весне, несмотря на все поэтические призывы Кравчинского, никто там не останется. А однако, когда я сказал моим товарищам по редакции, что лучше бы назвать наш журнал «Свет и свобода», то никто и слушать не хотел, говорят: будет непонятно ни для крестьян, ни для учащейся молодежи. Да и самую начинающуюся теперь борьбу по способу Вильгельма Телля они стараются объ-

яснить не нашим желанием достигнуть гражданской свободы, а только местью за погубленных товарищей.

— Но непосредственный стимул,— возразил Александр,— именно и есть месть. Кстати, вот тебе по этому поводу стихотворение, полученное мною недавно для напечатания где-нибудь. Оно написано после казни Ковальского[63].

— Непременно поместим,— ответил я,— в следующем номере.

Из вкоренившейся уже привычки никогда не спрашивать фамилий, я не сделал этого и теперь, и потому до сих пор не знаю автора. Я уже не помню, чем кончился этот мой разговор с Александром Михайловым, врезавшийся в моей памяти вероятно потому, что положение редактора тайного журнала, издаваемого в самой России, было для меня еще ново, и потому все, связанное с ним, как и всегда бывает в исключительных, непривычных условиях, запечатлелось особенно ярко.

Я помню только, что стихотворение Ольхина по поводу гибели Мезенцова, где давалось такое яркое освещение нашей тогдашней заговорщической деятельности в смысле борьбы не за экономические идеалы, а за гражданскую свободу всех, упало на мою душу, как манна небесная, и я, перечитав его своим друзьям еще до напечатания десятки раз, запомнил его, наконец, наизусть. Оно же сделалось в моих глазах оправданием моего пребывания в редакции «Земли и воли», где часть руководящих статей казалась мне и тогда чем-то вроде церковных проповедей, в которых выработанный предшественниками обязательный стиль и шаблон исключают всякое оригинальное творчество или оригинальное освещение происходящего, как вредную ересь. Я чувствовал, что был в это время в окружающей среде почти одинок в идеологическом отношении и что единственное средство достигнуть чего-нибудь в будущем было — не отделяться от остальных, не препятствовать им говорить, что хотят, но при всяком удобном случае рисовать самому или давать рисовать своим единомышленникам и другие перспективы, чтобы читатель сам мог выбирать между ними.

Так я делал без насилия и ссор, но последовательно, и если читатель проследит изменения в идейном характере «Земли и воли» от номера к номеру, то он увидит сам, как учащались там статьи чисто гражданского характера вплоть до того времени, когда «Земля и воля» распалась на аграрно-социалистический «Черный передел» и на радикально-революционную «Народную волю», редактором которой я был выбран с самого ее начала как один из непосредственных участников ее создания. В первом же номере «Земли и воли» мне не удалось провести почти ни одной своей статьи.

Я написал для него рассказ «Попытка освобождения Войнаральского» почти в том же виде, в каком он напечатан в одной из предыдущих «Повестей моей жизни», надеясь, что он самим своим содержанием будет способствовать отвлечению молодых сил на новую дорогу деятельности. Но Клеменц настоял, чтобы я его отложил до следующего номера ввиду того, что место очень нужно для его публицистической статьи — «Письма благоденствующего россиянина» [64].

Когда я сказал об этой неудаче Александру Михайлову, кажется, вслед за прочтением ему приведенного выше стихотворения Ольхина, он сделал недовольный жест. Он сам участвовал вместе со мной в организации освобождения и смотрел уже на непосредственные гражданские задачи нашей деятельности почти так же, как и я. Но он не был писателем и не верил в свои способности в этом отношении, а потому очень рассчитывал на меня как на своего ближайшего единомышленника.

— Значит, там не будет ни одной твоей статьи? — спросил он меня с неудовольствием.

— Только маленькая заметка о революционных событиях последних дней.

— Почему маленькая? У нас теперь так много событий, что можно бы написать и большую. Притом же ты мог бы изложить их в желательном для нас с тобой освещении и с соответствующими выводами.

— Но как же я мог спорить с Клеменцем о том, чтоб он взял свою статью обратно и очистил в номере место для меня? Это же неделикатно. Вышло бы, как будто я ценю свои статьи выше его статей.

— Но тогда тебе никогда не удастся поместить чего-нибудь своего. Статей всегда будет больше, чем места.

— Увидим. А теперь скажи всем, что мне поручен портфель редакции и ко мне должны стекаться все статьи посторонних авторов. Все, заслуживающие внимания, я буду прочитывать Кравчинскому и Клеменцу на наших редакционных собраниях и, конечно, усиленно буду хлопотать о помещении тех, которые будут соответствовать твоим и моим взглядам. Мне будет легче и удобнее защищать чужое, чем свое, в случае недостатка места.

2. *Все времена перемешались*

Я уже не помню всех параграфов устава и правил революционной организации «Земля и воля», явившейся теперь издательницей одноименного с ней нашего свободного журнала. Пом-

нию, что там, кроме основного пункта: «отдать обществу всю свою жизнь, имущество и все свои силы», были многие другие параграфы. Так, было правило о приеме новых членов. Они предлагались тремя старыми членами и утверждались большинством голосов. Было также правило и о выходе из общества не иначе, как с согласия остальных товарищей и с обещанием навсегда держать в безусловной тайне все, что пришлось видеть или слышать во время общей деятельности.

Все члены пользовались полным товарищеским равноправием на общих собраниях и осведомлялись на них об общем ходе деятельности общества и о его ближайших целях. Это считалось необходимым потому, что «действующий во тьме не может относиться с полным энтузиазмом и энергией к тому, чего он не знает и в необходимости чего не убежден».

Однако, если какой-нибудь группе лиц поручалось определенное дело, то она должна была вести его сама, не сообщая подробностей посторонним товарищам. В таком положении была, например, новоустроенная типография. Она была поручена Крыловой, Грязновой, Буху и «Абрамке»[65], очень симпатичному юноше, фамилии которого не знал никто. При устройстве ее они получили запрещение сообщать ее адрес кому бы то ни было. Даже сообщаться с редакцией они должны были, приходя к нам на квартиры, а не приглашая нас к себе.

Так типография и держалась в величайшем секрете.

Аналогичным образом и каждая другая группа, которой поручалось вести какое-либо ответственное дело, сейчас же должна была замыкаться в себе и давать товарищам лишь общие объяснения о ходе своего предприятия, сохраняя внутри себя все детали, особенно где, кем и как исполняется порученное.

Зато по окончании возложенной задачи сообщались общему собранию все подробности дела.

Общество «Земля и воля», которое, как я уже сказал, с этого времени перестало называться в публике «троглодитами» и приняло окончательно имя своего печатного органа, было немногочисленно, как и подобает быть всякому серьезному тайному обществу, основанному на строгом подборе членов. К нему принадлежали, кроме меня, Александра Михайлова, Адриана Михайлова, Кравчинского, Квятковского, Зунделевича и других, еще Плеханов, Попов и Лизогуб, который после ликвидации «Большого общества пропаганды» был одним из основателей этой новой группы и отдал в ее распоряжение все свое имущество, достигавшее нескольких сот тысяч рублей.

Я живо вспоминаю, как очень скоро попал в хранители всех интимных документов этого общества.

Однажды, в один из тех осенних туманных вечеров, когда почти не видно уличных фонарей и головы извозчичьих лошадей появляются при переходе улицы прямо у вашего носа, ко мне пришел Александр Михайлов.

— Здравствуй! — сказал он.— Ты должен немедленно подыскать место для хранения нашего архива.

— Почему ты обращаешься именно ко мне? — спросил я.

— У тебя много знакомых среди либералов и солидных общественных деятелей. А устав и документы надо хранить в безопасном месте.

Я подумал несколько минут.

— Может быть,— сказал я,— можно обратиться к...

— Нет, нет! — перебил Михайлов,— ты не должен говорить никому о месте хранения за исключением одного человека, способного заместить тебя в случае твоего ареста.

— А вдруг арестуют обоих сразу?

— Это мало вероятно. Впрочем, на такой случай ты дай указания и своему хранителю, чтоб он обратился к тому или другому из либералов, ближе знающих нашу группу. А сам хранитель должен стоять совершенно в стороне от всего подозрительного для наших врагов.

Озабоченный таким важным поручением, я пошел прежде всего к своему другу, присяжному поверенному Ольхину.

— Не укажете ли вы мне такое лицо, которому можно бы поручить хранение очень важных тайных документов?

— Поручите мне.

— Нельзя. Вы слишком близко соприкасаетесь с нами. Надо такого человека, которого, кроме меня и вас, не знал бы никто из действующих лиц.

Он думал несколько минут. Потом вдруг воскликнул, ударив по столу своей тяжелой ладонью:

— Зотов.

— Кто этот Зотов?

— Старик семидесяти лет, секретарь газеты «Голос». Он верный человек и стоит в стороне от всякой революционной деятельности.

— Так можно сейчас же пойти к нему?

Ольхин взглянул на часы.

— Самое время! Он теперь дома. Это на углу Литейного и Бассейной, в доме Краевского, совсем близко отсюда.

Мы быстро вышли на улицу и, придя на Бассейную, вошли в подъезд углового дома, швейцар которого поклонился Ольхину, как привычному посетителю.

Молоденькая горничная в белом фартучке приветливо отво-

рила дверь вслед за нашим звонком и впустила нас в огромную переднюю, в углу которой стояло чучело бурого медведя на задних лапах. Все стены ее были уставлены от пола до потолка полками с тысячами книг в старинных переплетах. Лишь ближайшая к двери часть стены была уделена под вешалки для платья посетителей.

— Дома Владимир Рафаилович?

— Дома, в кабинете,— ответила горничная.

— Без посетителей?

— Да.

— Так я сначала один пройду к нему,— сказал мне Ольхин, когда горничная повесила наши пальто и шапки,— а вы пока подождите в гостиной.

Он указал мне дверь в большую комнату со старинной мебелью и хорошими картинами в золотых рамах по стенам.

Пожилая дама вышла из внутренних комнат почти тотчас же после моего входа туда и, любезно ответив на мой поклон, прошла к выходу.

— «Верно, его жена»,— подумал я, и не ошибся.

Через несколько минут возвратился Ольхин.

— Зотов согласен,— сказал он мне.— Но вы об этом поговорите с ним наедине, когда я временно уйду.

Ольхин провел меня по полутемному коридору, тоже сплошь уставленному книгами, в самую отдаленную комнату большой квартиры, где находился в своем рабочем кабинете сам хозяин.

Это был высокий, худой старик, весь в морщинах, без зубов, со ввалившимися в рот губами, что особенно ясно обнаруживалось благодаря его крошечным, едва заметным усам и редкой бородке из нескольких десятков волосков. Только живые голубовато-серые, умные, хотя уже немного выцветшие глаза показывали, что в этом старческом теле живет деятельный, неподдающийся времени дух.

— Здравствуйте, здравствуйте! — сказал он мне шепелявым голосом, встав при моем приближении и крепко пожимая мою руку.— Рад познакомиться с представителем современных революционных деятелей. Часто теперь читаешь в газетах про ваши дела. Удивляешься. Со времени декабристов еще не было у нас ничего подобного.

Он, что-то вспоминая, улыбнулся старческой, но живой и ясной улыбкой.

— Мог ли подумать Александр Сергеевич, что на том самом месте, где он говорил мне, что революция в России начнется разве через двести лет, будет сидеть ее представитель всего лишь через сорок лет после его смерти.

— Какой Александр Сергеевич? — спросил я.

— Да Пушкин! — совершенно просто ответил он.

— Вы знали Пушкина? — с изумлением спросил я.

— А как же не знать? Очень хорошо! И Лермонтова знал, и Гоголя, и Кольцова, и Никитина, и многих других. Они часто забегали провести вечерок у моего отца, а потом некоторые и у меня, за чаем и за всякими разговорами.

Мои глаза и рот раскрылись от изумления. Мне показалось, как будто невидимая нить протянулась от них ко мне из глубины прошлого и связала меня с ними. Это было просто удивительно! Пушкин, Лермонтов, Гоголь и я имеем общего знакомого!

И он тоже, уйдя весь в прошлое, где остались его самые яркие воспоминания, говорил мне о них всех, как о живых, как о присутствовавших только вчера в этой самой комнате, совершенно забыв, что они все умерли задолго до того, как я появился на белый свет!

— А с Герценом вы тоже были знакомы? — спросил я, подходя к более поздним временам.

— Конечно! — воскликнул он.— Вы не читали сборников «Русская запрещенная поэзия», изданных в его лондонской типографии?

— Читал за границей. Там находятся запрещенные стихи Пушкина, Лермонтова и многих других поэтов.

— Да, да! — воскликнул он.— Почти все это было собрано мною в России и мною же отвезено Герцену для напечатания [66].

Ольхин, улыбаясь, слушал наш разговор. Его взгляд как бы говорил мне:

«Видите, какого хранителя я вам подыскал!»

Затем он простился и окончательно ушел, прося Зотова не провожать его.

Оставшись со мной наедине, Зотов перешел к делу.

— Ольхин рассказал мне все о вас. Трудно было вам сидеть три года в одиночном заключении?

— Сначала очень, но затем, когда у меня появилась возможность читать и заниматься, стало лучше.

— А какая цель у ваших современных товарищей?

— Вы говорите о их взглядах? Чего кто надеется непосредственно достигнуть?

— Да, именно.

— Об этом трудно сказать что-нибудь общее, это зависит больше от пылкости каждого. Одни надеются на немедленный переворот всех современных междучеловеческих отношений, на замену их новыми, лучшими, основанными на всеобщем труде, на всеобщей братской любви и взаимной помощи; другие думают,

что осуществление таких идеалов может быть только постепенным, и что революционная деятельность может и должна только ниспровергать преграды на длинном пути человеческого рода ко всеобщему счастью.

— А вы каких взглядов придерживаетесь?

— Последних.

— А что же вы считаете осуществимым прежде всего теперь?

— То, что осуществлено уже в наиболее ушедших вперед странах.

— Что же именно?

— Республику.

— И вы думаете, что народ к ней готов? Вы горько ошибаетесь! На что годны безграмотные республиканцы?

— А много ли было грамотных в Северной Америке сто лет тому назад, когда американцы основали свои Соединенные Штаты?

— Побольше, чем у нас теперь. По моему мнению, у нас пока возможна только конституционная монархия, хотя по убеждению я сам тоже республиканец и демократ. Главная помеха переходу к республиканскому строю в наше время — это социализм, который пугает многих, да и действительно может привести к крушению всей современной цивилизации.

Он вдруг переменил разговор и перешел ближе к делу.

— Ольхин говорит, что вы поэт и что вам принадлежат некоторые стихотворения в сборнике «Из-за решетки»?

— Да,— скромно ответил я.

— Я прочел весь сборник, там много истинной поэзии.

Он вдруг встал и снял со своей полки изящно переплетенную книжку.

— Вот,— сказал он мне.

Это был, действительно, наш сборник.

— А вон там,— прибавил он, показывая на верхние полки,— полная коллекция всех нелегальных изданий.

— Но ведь вас за них по нынешним законам пошлют на каторгу, если найдут!

— Нисколько! У меня есть разрешение от цензуры. Я библиофил, коллектор книг и историк. Мне без них нельзя работать. Пожалуйста, сейчас же доставляйте мне все, что у вас выйдет, а я в благодарность буду хранить ваши тайные документы. Когда вы их принесете?

— Можно завтра?

— Когда угодно приходите ко мне, лучше всего в это время.

Так было устроено тайное хранилище уставов «Земли и воли», а затем и «Народной воли». Никто о нем не знал, кроме

меня да Ольхина, а потом Александра Михайлова. Я один приносил и относил отсюда документы и все остальное, тщательно следя за собою при уходе и приходе. Здесь в двух кожаных портфелях хранились, кроме уставов, нужные письма и печать исполнительного комитета, прикладывавшаяся к посылаемым предупреждениям, печати разных петербургских полицейских учреждений для заготовления русских и заграничных паспортов, а затем, когда нам удалось устроить нашего товарища Клеточникова секретарем Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, сюда же приносились мною и списки имен всех шпионов с характеристикой деятельности каждого.

Потом, когда через два года «Народная воля» погибла, доступ к этому хранилищу прекратился. Зотов умер, когда я был заключен в Шлиссельбургской крепости, его имущество перешло к наследникам, не обнаружившим там никаких тайных документов. Куда все это спрятал Зотов, так и осталось до сих пор никому неизвестным. Перед моим последним арестом он мне говорил, что в случае опасности увезет портфели к себе на дачу и там зароет их под беседкой в садике. Но где его беседка? Где его садик? Лежат ли там еще мои портфели со всеми документами «Народной воли», или давно сгнили,— об этом никто не может рассказать в настоящее время *.

3. Куда привела улетевшая в высоту калоша

Кончался ноябрь месяц. На петербургских улицах стоял мглистый туман, мостовые были покрыты грязью, в которой по временам завязали калоши. Особенно испытал я это на себе, когда шел вместе с Кравчинским к Клеменцу на редакционное собрание для выпуска в свет второго номера «Земли и воли». Из осторожности мы путешествовали не рядом. По временам он шел впереди на несколько десятков шагов, чтобы я мог видеть, не следят ли за ним, а по временам я сам обгонял его, и он делал относительно меня свои наблюдения. Таким образом, как два коня на шахматной доске, мы взаимно защищали друг друга от всех опасных фигур.

Но, защищенные друг другом от шпионов, мы все же не были защищены от простых случайностей.

* После революции 1917 года оказалось, что вдова Зотова нашла их часть, передала ее на хранение А. С. Суворину, и после его смерти портфель с ними перешел в наследство его сыновьям, передавшим это В. Л. Бурцеву. Но там не оказалось самых важных документов.— *Н. М.*[67]

Прежде всего, переходя опасный перекресток Невского и Садовой, где, как я знал, находится постоянный пост тайных уличных агентов Третьего отделения, я, сосредоточив все свое внимание на людях, едва не попал под копыта рысака, испугавшегося чего-то и наскочившего прямо на меня, как раз в то время, когда я перебирался по мостовой через прослойки жидкой грязи.

Услышав сбоку дикий человеческий крик и еще более дикое ржание лошади, я в трех шагах направо от себя увидел мчавшегося прямо на меня огромного черного коня. Еще секунда, и я был бы в грязи под ним и под экипажем. Инстинктивно я прыгнул, как кошка, вперед. Одна моя калоша осталась под лошадью в грязи, другая, сорвавшись с моей быстро взброшенной ноги, сначала полетела почти вверх на необыкновенную высоту, мне показалось не ниже крыши противоположного дома! Перелетев таким образом через всю улицу, она упала на шляпку проходившей по тротуару дамы. Дама завизжала, а я почувствовал мягкий удар упруго выгнутой оглобли в свою спину, который только придал еще более скорости моему прыжку. В одно мгновение пустой шарабан мелькнул мимо меня, рысак повернул вкось, сбил извозчичью пролетку, а потом врезался грудью в угол Гостиного двора, где несколько извозчиков подхватили его под уздцы и остановили, дрожащего всеми членами.

— Ловко отделались! — сказал мне любезно высокий толстый субъект с актерской физиономией.— А я думал вас непременно раздавит.

Я взглянул. Передо мною стоял тот самый толстый шпион, которого я видел перед арестом Малиновской едущим в шарабане вместе с маленьким, длинноволосым, выследившим всех ее гостей, кроме меня.

— Да,— ответил я с веселым видом.— А где же мои калоши?

— А вот первая! — указал он мне пальцем на один экземпляр моей обуви, завязший, как лодочка, в грязи.— А другая,— прибавил он,— только что свалилась с головы вон той дамы, которая оттирает теперь платком грязь со своей шляпки.

— Вижу! — сказал я.

Осторожно ступая по грязи, я добрался сначала до своей увязшей калоши, которая, к моему удивлению, проскользнула между колесами экипажа и осталась чистою внутри, а затем пошел к даме и, извиняясь, начал надевать свою вторую калошу, лежащую у ее ног.

— Едва не попал под лошадь! — сказал я ей в свое оправдание.

Но она все еще не могла успокоиться и сказала мне кисло:

— Можно было бы поплотнее носить калоши, чтобы не летали по улицам на головы людей. Теперь моя шляпа совсем испорчена.

Кравчинский, услыхавший сзади крик и шум и увидавший, как я выскочил из-под лошади, бросился ко мне.

— Что тебя не расшибло оглоблей?

— Нет! Нисколько! Лишь толкнуло в спину.

Толстый шпион снова подошел к нам и старался ввязаться в разговор.

— Возмутительно! Мчатся во весь дух на рысаках! Чёрт бы побрал всех этих капиталистов. Пьют кровь из простого трудящегося народа. Пора разделаться с ними. Довольно!

Экспансивный по натуре Кравчинский уже готов был с ним разговориться и дать ему идти за нами как будто попутчику, но в это время взгляд шпиона упал на какого-то молодого человека студенческого вида, прошедшего мимо нас, и он отвернулся, всматриваясь в него. Я предупредительно дернул Кравчинского за рукав, бросив красноречивый взгляд на спину субъекта.

— Пойдем, нам надо спешить,— сказал я, таща его.— Шпион! — шепнул я ему тихо.— Он, верно, видел нас близ дома Малиновской.

Мы быстро пошли на Михайловскую площадь. Оглянувшись как бы на прошедшую мимо нас даму, я увидел, что и он также быстро идет за нами в некотором отдалении. Мы прошли мимо Инженерного замка на набережную, перешли у цирка через Симеоновский мост, а субъект все шагал за несколько десятков шагов. Получив снова предлог оглянуться у самого подхода к Литейному, я вновь его увидел на том же расстоянии.

— Не отстал! — говорю Кравчинскому.

— Далеко?

— Шагов за сто!

— Вот идет конка,— сказал Кравчинский,— как только мы зайдем за угол, побежим и сядем.

— Хорошо!

Свернув обычным шагом за угол, мы погнались за конкой. Густая толпа прохожих не давала нам бежать по тротуару, и мы выскочили на мостовую. Тут Кравчинский поскользнулся на грязи, и, в то время как он делал сальто-мортале, чтобы удержаться на ногах, его большой стилет-кинжал выскочил под его легким пальто из своих ножен и со звоном покатился по камням мостовой.

Кравчинский быстро схватил кинжал, спрятал себе за пазуху под удивленными взглядами толпы и сделал вид, как будто все

это так и должно было произойти. Но конка тем временем уехала далеко, и гнаться за ней было бесполезно.

— Пойдем в Саперный переулок,— сказал он мне,— это близко. В нем есть дом, у которого через подъезд можно выйти на задний двор, а из него уйти на следующую улицу, прямо на городской рынок. Там арки, и под ними всегда толпы народа. Шпион там затеряет нас.

Так мы и сделали. Шпион, не отстававший от нас до самого подъезда, вероятно, остался ждать нашего обратного выхода или пошел справляться о нас у дворников, а мы тем временем ехали уже далеко от него на извозчике к Клеменцу.

— Всегда запоминай проходные дворы и подъезды! — сказал мне Кравчинский.

— Михайлов уже показал мне несколько в различных частях города,— ответил я.— Через них очищаешься лучше, чем, помнишь, невской водой перед приходом к тебе.

Он засмеялся, вспомнив свою старую квартиру.

— Не рассказывай о нашем приключении Фанни,— предупредил он меня,— а то она будет приходить в отчаяние каждый раз, как я выйду без нее на улицу.

— А ты не рассказывай Ольге.

Клеменца мы застали в несколько возбужденном, но нормальном состоянии.

— Ну и развелось же этих шпионов на улицах в последние дни,— сказал он при виде нас.

— А что такое?

— Вчера один увязался за мною в первом часу ночи, когда я выходил от Гольдсмитов, и даже насчет моего отъезда на извозчике он принял меры. Идет за мной, а извозчик едет тихо за ним в нескольких шагах. Не ходите больше к Гольдсмитам — они под наблюдением.

— Как же ты отвязался от него ночью? — спросил Кравчинский.

— А очень просто. Вышел по Мойке на Невский, там все магазины заперты, зайти некуда, иду дальше. Вдруг вижу, один табачный магазин еще открыт. Я туда: — Дайте, говорю, пачку папирос. Купил, поговорил, нарочно подолее о погоде. Выхожу, а он тут, ждет на тротуаре и курит папироску.— Позвольте закурить? — говорю я ему, вынимая одну папиросу из пачки.— Извольте-с! — говорит, но вместо того, чтобы подставить свою папироску, быстро вынимает коробку спичек из кармана, чиркает одну и подставляет мне, чтоб разглядеть мое лицо при свете.— Ах, ты подлец, думаю, и иду далее. А он все за мной, и извозчик по-прежнему за ним. Как, думаю, отвязаться ночью?

Все дома заперты. Если бы за ним не ехал готовый извозчик, я взял бы какого-нибудь, стоящего одиноко, и уехал бы, раньше, чем он добежал до другого. А тут у него уже есть свой. Вдруг вижу идет ночная дама.— Позвольте, говорю, вас проводить! и подставляю ей колесом руку.— Извольте! — говорит. Только что я это сделал, слышу треск извозчичьих колес сзади, оглядываюсь, а он уже сел в свою пролетку и едет на ней назад, верно, опять торчать у подъезда Гольдсмитов или просто домой. Сразу убедился при виде такого поступка в моей политической и моральной благонамеренности. Через минуту и след простыл!

— Но как же ты расстался с ночной дамой? — спросил я.

— А очень просто! Проводил ее по Невскому до Литейного. Ко мне, говорит она, направо! — А ко мне, отвечаю я, налево! Значит, до свидания! и, поклонившись самым вежливым образом, пошел от нее.

— А она что же?

— Раскричалась на меня на всю улицу: «Нахал! Негодяй!» А потом начала меня отчитывать такими непечатными словечками, что даже городовой на противоположном углу проснулся и закричал: Что тут за скандал? — Обиделась, говорю ему, что я не хотел провожать ее дальше Литейного. И я сейчас же уехал домой на извозчике.

— И за нами сейчас увязался один с угла Невского и Садовой,— сказал Кравчинский, позабыв наш уговор молчать.

— Это все нашу типографию ищут. Вся тайная полиция поднята на ноги. Говорят, свыше велено во что бы то ни стало разыскать хоть типографию. Нельзя, говорилось в одном «высоком» месте, поверить, что в столице, где содержится столько тайной и явной полиции, издаются, неизвестно где и кем, и повсюду распространяются не только прокламации, но даже целые периодические журналы. Новый шеф жандармов отвечал, что не успокоится, пока не разыщет.

— Надо теперь держаться очень осторожно, а тебе,— обратился он к Кравчинскому,— лучше всего временно уехать за границу. То же и Ольге,— обратился он ко мне.

— Я не поеду,— решительно ответил Кравчинский.

— Но это необходимо на некоторое время. При современных тревожных обстоятельствах ты мало здесь полезен.

— А журнал?

— Ты будешь в нем сотрудничать и за границей, а подбор посторонних статей можешь доверить нам. Ты видишь сам, какое огромное впечатление произвело твое выступление против Мезенцова на площади, именно благодаря тому, что тебя до сих пор не могут найти. Если тебя арестуют, три четверти зна-

чения твоего дела пропадет! Вот почему я уже несколько дней обдумывал все и пришел к решительному выводу, что тебя надо на время удалить за границу.

— Но если меня здесь и арестуют, то не узнают, что это сделал я.

— Ты думаешь? Ну, нет!

— Ни прохожие, ни полковник, шедший с начальником Третьего отделения, меня не узнают в лицо.

— А содержатель татерсала, где находится Варвар? Ведь у Трощанского при аресте нашли счет за его содержание в татерсале и, явившись туда, жандармы убедились, что это та самая лошадь, на которой ты уехал.

Кравчинский задумался.

— Да, тебе надо уезжать! — присоединился и я к мнению Клеменца.

И вот затем на общем собрании наличных членов «Земли и воли» было решено отправить Кравчинского и Ольгу за границу. Оба не хотели ехать, но мы, остальные, потребовали этого от них как первого доказательства повиновения уставу, тем более что каждую ночь производились массовые обыски у учащейся молодежи и у всех более или менее подозрительных для правительства людей. Волей-неволей обоим пришлось подчиниться. Кравчинский был отправлен на следующий день, Ольга — дня через три. Она горько плакала, прощаясь со мною, а у меня на душе была такая тупая боль, как будто меня снова посадили в одиночное заключение.

Вместе с двумя хорошенькими, беленькими, тоненькими курсистками Трубниковыми, почти девочками, я проводил ее на вокзал Варшавской железной дороги и долго смотрел, как паровоз, пыхтя и извергая снопы искр, увез ее куда-то во мрак непроглядной осенней ночи, казалось, спустившейся и на мою душу. Но я знал, что так было лучше. Я больше всех уговаривал ее уехать, обещая, что эта разлука будет недолгой, что мы тотчас же выпишем ее обратно, как только немного утихнут разбушевавшиеся аресты, и правительство привыкнет к существованию в Петербурге недосягаемой для него тайной типографии.

4. Былые думы

По всему человеческому роду с самого его возникновения на нашей планете, от поколения к поколению, из года в год катится волна юности, волна свежести, с ее бескорыстной любовью и самопожертвованием во имя высоких идеалов всеоб-

щего счастья, и никакие усилия ветхих деньми деятелей не задержат ее торжествующего победоносного хода по хронологии всеобщей истории народов. И она невидимо смывает с каждым годом в глубину могил все дряхлые общественные идеалы вместе с отживающими свой век их носителями, всеми затхлыми старцами духа, становящимися на ее пути. Она везде и всегда одна и та же, хотя, как и обыкновенная волна ожесточенного прилива океанов, лишь едва заметно подымается над общим средним уровнем, идя по глубокому руслу, но на отмелях общественной жизни производит разрушительные прибои.

Эта волна юности и свежести идет по каждому народу и теперь и она будет всегда идти, одна и та же по своей психической сущности, но принимая разные внешние очертания в зависимости от окружающих ее житейских условий. В те годы, которые я здесь описываю, она ударилась о многовековый недвижимый риф самодержавного произвола и, разбившись о него, смыла его вершину брызгами своей пены.

Мне хотелось бы правдиво описать здесь не один ее внешний облик, не одни наружные черты составлявших ее дорогих мне людей, из которых большинство погибло на эшафотах и в одиночных темницах, не одни их поступки, составляющие их скелет и тело, а их внутренние душевные движения и побуждения, вызвавшие у них необходимость поступать именно так, а не иначе.

Но кто же может давать действительно беспристрастные характеристики других людей? Кто может глядеть в их души, указывать их побуждения, если они сами их не описали? Я, по крайней мере, не претендую на такую проницательность, и я знаю невозможность этого по самому себе. Всякий раз, когда посторонний и мало родственный мне по духу человек характеризовал меня, он характеризовал лишь призрак своего воображения. Но близкие мне по духу люди всегда угадывали и понимали меня, потому что судили обо мне по себе. Так и я в этих своих мемуарах хочу на собственной своей характеристике дать характеристику и родственных мне по духу товарищей моей жизни и деятельности, такой исключительной по своей сущности.

Конечно, даже здесь я могу ошибаться, рисовать себя не вполне таким, каким я был, а каким мне хотелось бы быть, когда я являлся одной из струек той могучей волны, которая смыла вершину высокого, неподвижного утеса самодержавия, но даже и в этом случае мои мемуары окажутся правдивыми. Ведь то, что воображает автор о себе, есть уже часть его души, а следовательно и он сам!

А раз я не был исключением в своей среде, раз я был одним из многих, то, характеризуя свою душу, я характеризую этим и души всех родственных мне по стремлениям и идеалам людей, разделявших со мною и радости, и горе, и все мои поступки. Я никогда не устану повторять этого читателю для того, чтоб он отнесся к моей книге так, как она того заслуживает, и не упрекал меня, что я лишь мельком упоминаю о том или ином деятеле, игравшем в событиях описываемого периода выдающуюся роль.

Я вовсе не хочу описывать те события, в которых я не принимал участия, потому что при описании их я, как и всякий посторонний, могу дать лишь внешний их облик без души. А я хочу здесь дать движение семидесятых годов или некоторое понятие о нем на основании того, что переживала тогда моя собственная душа. А она была в описываемый момент в страшном личном горе, почти в отчаянии.

Проводив своего лучшего друга, а потом и любимую девушку за границу, я ни на минуту не сомневался, что расстался с ними надолго, если не навсегда. Особенно тяжела была разлука с Ольгой. Мне показалось, что что-то оторвалось от моего сердца. Когда умчался из моих глаз унесший ее поезд во мрак и мглу непроглядной ночи, я пошел обратно одинокий и бездомный, еще не зная, где я проведу эту ночь. Мне не хотелось даже и думать об этом, хотелось бродить всю ночь до утра, хотелось, чтобы никогда не окончилась эта ночь, потому что следующий день, я знал, принесет с собою свои заботы и заставит меня насильно расстаться на время с моим горем, которое казалось мне теперь дороже всякой радости.

«Да,— думал я,— эта моя любовь не похожа на мои прошлые потому, что она не моя только, она теперь уже наша любовь. Какая огромная разница между ней и прежними! В прежних мои чувства скрывались мною от их предмета, и сам предмет еще не ответил мне признанием о взаимности. Благодаря этому я тогда инстинктивно чувствовал, как будто я был еще властелином своей любви, мог при случае направить ее и на другую особу. А здесь ответное признание навеки связывает мою любовь. Я чувствую и сознаю, что уже не могу теперь полюбить другую, не разбив веру в человеческое постоянство у той, ради счастья которой я готов пожертвовать своей жизнью. Забыть Ольгу, ответившую мне взаимным признанием в любви, это такая величайшая подлость, после которой мне ничего не осталось бы сделать, как умереть от гадливого презрения к самому себе».

И я шел все дальше и дальше от Варшавского вокзала, не

зная сам куда, но какое-то бессознательное чувство направило меня именно по Измайловскому проспекту к дому, где жила Малиновская и где мы впервые встретились и признались в своей взаимной любви.

Вот и самый этот дом, где всегда нас ждал радушный привет Малиновской и Коленкиной. У ворот его по-прежнему дремлет на скамейке знакомый мне дворник в своей серой шубе, подвязанной цветным кушаком, в валяных сапогах и меховой шапке. Но милая квартира наверху теперь пуста или отдана уже другим, чужим жильцам. Теперь мне нечего бояться, что за ней кто-нибудь следит.

Несколько минут я мысленно смотрел за эти ворота, представляя прежнюю красивую обстановку квартиры и ее хозяйку, молодую художницу, за своим мольбертом с кистью или с рейсфедером в руках. Она была теперь в полумраке одиночной камеры по ту сторону Невы, в Петропавловской крепости, вместе со своей подругой, и ни малейшей надежды вновь выйти на свободу не представлялось для нее, так как подруга ее выстрелила при аресте из револьвера.

И вот, только что похоронив свое личное счастье, я всею душою отдался любви к товарищам, которые, так же, как и я, похоронили все, что было им дорого в личной жизни, и гибли теперь в политических темницах или стремились продолжать свое дело на свободе. Порыв единичной любви не угас, а только вдруг превратился во мне в порыв страстной любви ко всему человечеству и в потребность сейчас же пожертвовать собою для него.

Было ли это естественным переходом? Мне кажется, что да.

5. *Мирский*[68]

Небольшой мороз наступил внезапно в Петербурге после долгой оттепели. Он украсил серебристыми иглами деревья Летнего сада, превратив все их ветки в пушистые белые лапки.

Я шел среди этого серебристого тумана в главной аллее по направлению от заиндевевшей Невской набережной к Инженерному замку, где трагически погиб когда-то император Павел I.

Надо мною было слегка мглистое, кой-где голубоватое, кой-где белесоватое зимнее северное небо, с южной стороны которого смотрел на меня большой красный глаз, низко висевший над горизонтом и окруженный на некотором расстоянии большой светлой дугой с ореолом на ее внешней стороне. Он освещал своим розоватым светом волшебную картину всеобщего обледе-

нения. А я, тоже покрытый белым пухом на приподнятом воротнике своего пальто, старался представить, что живу на какой-то новой планете, где деревья растут с серебристыми иглами вместо наших зеленых листьев, а чуждое нам солнце вечно-розовое. Но вскоре возвратился к мыслям о своей реальной жизни, где тоже было так необычно и непохоже на жизнь остальных людей.

Фантазия, как всегда, стала рисовать мне один за другим всевозможные головокружительные подвиги на том пути, по которому мне только и можно было идти в начале моей жизни, потому что все иные пути, кроме этого революционного, были тщательно заперты тогда для меня и моих товарищей в России как министерством народного просвещения, во главе которого стоял жестокий и узкоголовый граф Дмитрий Толстой, так и всеми другими тогдашними русскими властями.

Инстинктивно я направился к Александру Михайлову, как к товарищу, которого я более всех любил и ценил после Кравчинского. Я знал, что у него всегда сходились нити всех намечающихся практических предприятий.

«Если можно теперь сделать что-нибудь особенное,— мечтал я,— то вместе с ним я легче всего придумаю».

А мне очень хотелось совершить нечто героическое. Мне хотелось быть достойным предмета своей любви, которого я недавно проводил в далекий путь — за границу, чтобы спасти от гибели в политической темнице.

Я думал, что в этот час дня я легче всего застану Михайлова в Измайловском полку, у студентов, но его там не оказалось. Вместо него я нашел несколько других товарищей, сильно возбужденных произведенными в ту же самую ночь многочисленными арестами в радикальных студенческих кружках. Все говорили, что этого нельзя более оставлять безнаказанным и необходимо тотчас же отомстить новому начальнику Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, заведывавшего тогда политическими дознаниями и арестами.

Взволнованный всем слышанным и напрасно прождав здесь прихода Михайлова до позднего вечера, я решил, наконец, сам идти к нему на квартиру.

Я вышел в туманную черную мглу, сменившую волшебную картину окончившегося дня, незаметно наблюдая по привычке, не идет ли за мной какая-нибудь подозрительная личность. Но никого не было сзади.

Я сел на вершину конки у Технологического института, поехал на ней по Загородному, а затем и по Литейному

проспектам, вплоть до Кирочной улицы, где Михайлов занимал в одном знакомом семействе большую меблированную комнату.

Было одиннадцать часов вечера,— совсем еще не поздно по петербургским нравам, и потому я нисколько не удивился, когда, войдя к Михайлову, застал у него стройного и красивого молодого человека с изящными аристократическими манерами, вставшего при моем приходе.

— Мирский,— сказал мне Михайлов, рекомендуя эту новую для меня личность.

Мы поздоровались за руку и сели.

— Я только что выпущен из заключения,— сказал мне Мирский, как только Михайлов сообщил ему, что при мне можно продолжать начатый им разговор.— Меня возили вчера к Дрентельну, новому начальнику Третьего отделения, и я вынес заключение, что он еще вреднее прежнего — убитого Мезенцова. Все бесчисленные обыски и аресты последних дней руководились непосредственно им. Вы сами понимаете, что нельзя ничем не реагировать на гибель стольких товарищей.

— Да,— согласился я.

— Мирский отлично ездит верхом и хочет стрелять в него на улице,— сказал мне Михайлов.— Надо будет выследить, когда Дрентельн выезжает с докладами.

— А где же вы найдете хорошую верховую лошадь? — спросил, я нисколько не удивленный его словами, так обычными в разгаре нашей тогдашней борьбы с абсолютизмом.

— В татерсале. Мирский возьмет сначала для проформы несколько уроков, а потом будет выезжать ежедневно на прогулки по городу на лучших татерсальских скакунах, оставив залог, чтобы не давали сопровождающего мальчика. А затем, в удобный час, в удобном месте он и встретит Дрентельна.

— Так будет всего лучше, — согласился Мирский и, взглянув на часы, начал прощаться с нами.

— Чрезвычайно смелый и решительный человек,— сказал мне Михайлов, как только он ушел.— У него здесь невеста, Вивиен де-Шатобрен, с которой тебе необходимо познакомиться. Она из аристократического круга и может доставлять нам очень ценные сведения.

— Она молодая?

— Да, лет девятнадцати и очень хорошенькая. Но это завтра, а теперь давай-ка лучше спать.

Но мне плохо спалось в эту ночь. Перед моими глазами то стояла черная, сырая, непроглядная мгла с расплывавшимися в ней огоньками отдаленных фонарей, в которой скрылся несколь-

ко дней назад поезд, увлекший от меня Ольгу и разлучивший нас, казалось, навсегда, то рисовались бледные лица товарищей, заточенных в политических темницах, то возникали картины всевозможных подвигов в начавшейся неравной борьбе за гражданскую свободу.

На следующий день, как только стало смеркаться, я и Михайлов пошли с визитом к Вивиен де-Шатобрен.

Нас провели сначала в большую залу, увешанную бронзовыми люстрами и картинами в золоченых рамах, потом в одну из гостиных, затем в другую и, наконец, в голубой будуар, где на кушетке с вытянутыми на ней ножками, в изящном костюме, полулежала молодая девушка с тонкой талией и с французским романом в руке.

Не поднимаясь, она лениво протянула свою ручку Михайлову, который затем представил ей меня. Мы оба осторожно пожали ее ручку, не прикладываясь к ней, хотя выдержанный здесь стиль французского двора конца XVIII века и требовал того, а затем, подвинув к ее кушетке два низеньких пуфа, обитые голубой материей, сели перед ней, положив локти рук на свои колени, как два доктора перед постелью больной, и начали разговор прямо с сути дела.

— Значит, вы нам сочувствуете? — спросил Михайлов.

— Да, очень! — ответила она.

Мы помолчали, как бы обдумывая важность сказанного. Наконец, Михайлов многозначительно посмотрел на меня, говоря своим красноречивым взглядом: да поддержи же разговор!

Я начал речь о том, какое хорошее впечатление произвел на меня Мирский и как я неожиданно познакомился с ним вчера. Разговор с отвлеченных идей перешел на более легкую тему о лицах: кто, где, когда и почему видел впервые того или другого, и как потом продолжалось их знакомство.

Нам подали кофе в хорошеньких крошечных фарфоровых чашечках, и мы через полчаса распрощались.

— Разве может такая изнеженная барышня,— спросил я Михайлова, как только мы очутились с ним на улице,— быть серьезной заговорщицей?

— Конечно, нет,— ответил он.— Но она может быть очень нам полезна своими связями в придворных сферах.

— Не думаю. Для всякой деятельности нужен внутренний огонь и сила. А здесь специально выработанная воспитанием слабость. У меня нет на нее никакой надежды. Вот если бы она вскочила при виде нас со своей кушетки и протанцовала вальс, я бы сразу переменил о ней мнение на самое лучшее.

— Ты слишком строг,— сказал он, смеясь.

Но по его физиономии я видел, что и он не ожидал от нее ничего, кроме пассивного сочувствия.

— А между тем Мирский боготворит ее,— сказал он мне,— и кто знает, не ее ли чисто романтический восторг перед Кравчинским внушил ему идею сделать то же самое. Удивительно и своеобразно иногда сказывается женское влияние на нашем брате. Немало героических дел совершалось для прекрасных глаз, хотя бы они украшали и таких изнеженных телом и духом особ, как ты представляешь себе эту.

Мне показалось, что в данном случае Михайлов мог быть прав, хотя бы и отчасти. Мирский произвел на меня впечатление рыцаря турниров при первой моей с ним встрече.

«И здесь,— подумал я, шагая с Михайловым по улице,— как будто подтверждается моя идея, что влечение одного пола к другому является одним из могучих стимулов великодушных и героических дел и родоначальником всякой другой любви и альтруизма».

Мы подошли к Цепному мосту, где находилось уничтоженное теперь Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии.

— Вот первое место моего заточения в Петербурге,— сказал я Михайлову, показывая на здание.— Тогда я был еще очень наивен и думал, что здесь мне будут вытягивать жилы и рвать из пальцев ногти.

— И, верно, ты тогда не представлял себе,— прибавил он со своей приветливой улыбкой,— что через четыре года будешь ходить около него тайным часовым. Мы ведь с Мирским сегодня утром решили просить и тебя понаблюдать за временами выездов Дрентельна, и ты, конечно, не откажешь. Так все меняется на свете. Будут, наверно, и более крупные изменения в русской жизни, только нами ли они будут сделаны или на наших костях?

— На наших костях! — ответил я без колебаний, хотя еще и не подозревал, что через три года эшафот унесет большинство моих теперешних друзей.

— Все равно,— ответил мне Михайлов,— нами или на наших костях произойдут перемены к лучшему. Ты начинай теперь их подготовлять!

Мы в это время перешли через Цепной мост к Инженерному замку.

Там было мало газовых фонарей, и потому на набережной Фонтанки, отделявшей нас от входа в дом, возвышавшийся на противоположном берегу и бывший домом Третьего отделения, где жил Дрентельн, стоял почти полный мрак. Сзади за ним высилась на некотором расстоянии темная мрачная громада

Инженерного замка, в котором почти восемьдесят лет тому назад был задушен император Павел I. Перед нами поднимался ряд жиденьких, лишенных листьев деревьев, окаймлявших набережную, на которой мы стояли. Прямо передо мной была черная во мраке ночи вода оттаявшей Фонтанки, в которой смутно отражались огни фонарей и освещенных окон у домов противоположного берега. И над всем этим с темного, слегка красноватого от зарева фонарей неба густо и медленно падали большие мокрые хлопья снега, прикрывавшие белыми шапками наши цилиндры, в которых мы тогда ходили по улицам, чтоб нас принимали за чиновников.

Впечатление картины получалось таинственное и зловещее, словно сейчас из романа. А между тем это была действительность.

— Видишь напротив нас на той стороне Фонтанки подъезд, с боков которого горят два фонаря?

— Вижу.

— Это его подъезд. Ходи тут и наблюдай за ним. Все интересное для нас записывай по часам и минутам. Особенно, если подадут его карету. Сейчас же отметь время, куда поедет и, если нужно, возьми извозчика и вели ему ехать за ним, сказав, что ты из сыскного отделения.

— Хорошо.

— Через два часа я тебя сменю,— окончил Михайлов и, пожав мне руку, скрылся во тьме.

Я начал неспешно ходить взад и вперед вдоль набережной Фонтанки, начиная от Цепного моста и уходя настолько далеко мимо Инженерного замка, насколько было можно для того, чтобы не терять из виду подъезда, на который я взглядывал время от времени через реку.

Я чувствовал себя чем-то вроде часового на часах грядущей свободы.

Мне не было жалко руководителя политических гонений. Тени казненных товарищей вставали перед моими глазами в этой полузимней тусклой мгле между белыми мокрыми хлопьями падающего снега и, казалось, взывали ко мне об отмщении.

«Владеющий мечом от меча и погибнет!»,— припомнилось старинное евангельское изречение.— Это роковой закон возмездия. Конечно, мое теперешнее выслеживание возмутит его и ему подобных. То, что они считают правильным и законным для себя против других, они считают возмутительным и преступным, когда это делают другие против них, хотя бы и в ответ на их собственные, уже совершенные действия. Он будет говорить о нас, как говорил один французский путешественник, очерчивая

нравы австралийских кенгуру: «Эти кенгуру чрезвычайно свирепы: они защищаются, когда на них нападают». Но что нам за дело до того, какого мнения будут о нас наши враги? Пусть лучше считают нас свирепыми крокодилами, чем кроткими тюленями, с изумлением смотрящими, по словам полярных путешественников, как их избивают.

Мой взгляд вдруг упал на карету, подъехавшую к подъезду, за которым я наблюдал. Были видны в полутьме только силуэты ее лошадей и кучер на козлах, да ярко светились два фонаря.

«Уезжает куда-то!» — подумал я и посмотрел на свои часы. Было четверть седьмого.

«Велел приготовить к половине седьмого,— догадался я.— Можно еще проходить минут десять».

И я прошелся еще раз вдоль всей моей дистанции.

На возвратном пути я увидел еще новое изменение на противоположной стороне. На некотором расстоянии от кареты, почти у входа в соседний дом, остановился шарабан, запряженный высокой, явно рысистой лошадью. Из него вышел господин в шубе, но, вместо того, чтоб войти в дом, начал прохаживаться взад и вперед по тротуару, не отходя далеко от своего экипажа.

«Что это значит?» — с любопытством приглядывался я, еще не отдавая себе отчета.

Парадная дверь третьеотделенского дома открылась, и выбежавший швейцар усадил кого-то в карету.

Она двинулась к Цепному мосту, у которого я остановился недалеко от дежурившего городового. Я увидел, как вслед за посадкой в карету начальника Третьего отделения сел в свой шарабан и замеченный мною господин, и его кучер безо всяких разговоров поехал вслед за каретой на расстоянии около сотни шагов.

Мне стало сразу все ясно!

«За ним следят и помимо меня»,— подумал я и потому, вместо того чтобы нанимать стоящего поблизости извозчика и ехать третьим в этой свите, я пошел пешком по направлению к Михайловской площади. Отметив, что карета отправилась именно туда, я возвратился обратно ожидать Михайлова, который явился почти тотчас вслед за моим возвращением к Цепному мосту.

— Ну что? — спросил он, подходя ко мне.

— Уехал куда-то через Михайловскую площадь в половине седьмого.

— Во дворец,— догадался Михайлов.— Больше некуда по этому направлению. У него, должно быть, в этот день еженe-

дельный доклад в восемь часов вечера. Надо проверить через неделю. А почему ты не поехал за ним?

— Потому что за ним уже и без меня ехали!

— Кто?

— Его собственный шпион, больше некому!

И я, смеясь, рассказал ему о господине в шарабане.

— Это усложняет дело! — заметил он серьезно.

— Почему? Рысак в шарабане никогда не догонит хорошую скаковую лошадь.

— Но у этого господина может быть в кармане огнестрельное оружие. Впрочем, надо еще убедиться, действительно ли за ним всегда ездят.

Несмотря на конец моей вахты и на сырую снежную погоду, я не хотел сейчас же уходить от Михайлова, не обменявшись с ним своими мыслями...

Подул порывистый ветер и закрутил в воздухе летящие хлопья.

— Прощай,— сказал я Михайлову, не дождавшись обратного возвращения кареты.

— Прощай. Покойной ночи,— ответил он.

И я пошел домой, а он остался во тьме, под крупными хлопьями сырого крутящегося снега, новый часовой на страже грядущей свободы.

6. Выстрелы на улице

Мой дом в это время был недалеко оттуда. На углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской улицы возвышалось огромное шестиэтажное здание, где, в большом флигеле внутреннего двора, жил известный публицист того времени, бывший редактор газеты «Северный вестник» присяжный поверенный Корш вместе со своей женой, ее сестрой и тремя маленькими детьми.

Он уже давно приглашал меня всегда приходить к нему ночевать или даже тайно поселиться в его большой квартире под видом его помощника, живущего особо, но часто принужденного обилием дел оставаться у него на ночь. Я так и сделал.

Все это оказалось чрезвычайно легко и просто. Возвращаясь домой после начала моих ночевок, Корш несколько раз спросил у швейцара: «пришел ли мой помощник?» Швейцар назвал меня так дворникам, и потому никого не удивляло, что каждый день я приходил и уходил из этого дома. Никому не приходило даже и в голову наблюдать, ночую я здесь или ухожу к себе домой,

тем более что черная лестница квартиры Корша выводила на другой двор этого огромного здания, и я всегда мог выйти на Литейный проспект, а не на Пантелеймоновскую улицу, куда вел парадный вход.

Красивый молодой блондин с очень интеллигентными чертами лица, Корш был всегда трогательно приветлив со мною. И все его семейство, узнав, что меня разыскивает полиция и что я принимаю близкое участие в начавшихся тогда вооруженных действиях заговорщиков, отнеслось ко мне как к герою таинственного романа, невидимо происходящего перед ними.

На ночь мне приготовляли постель на мягком диване в столовой, а для того чтобы я мог писать статьи или редактировать чужие произведения для нашего печатавшегося в тайной типографии журнала «Земля и воля», мне предоставлен был рабочий кабинет Корша, за исключением трех часов, когда он принимал в нем своих клиентов. В этом кабинете происходили время от времени и совещания всех, следивших за выездами Дрентельна, медленно устанавливавших, в какие дни и часы он обязательно выезжает в те или другие постоянные места.

Мирский тем временем практиковался в верховой езде в татерсале и, как искусный наездник, вскоре получил там для прогулок по городу самую быструю из скаковых лошадей.

Один раз, проходя по Морской улице, в те часы, когда там толпится фешенебельное общество, я видел его проезжавшим под видом молодого денди на стройной, нервной английской кобыле. Он был очень эффектен в таком виде, и все светские и полусветские дамы, медленно проезжавшие в эти часы в своих открытых колясках, заглядывались на него в свои лорнеты.

Однако редакционные дела, секретарские и казначейские обязанности, которые были тогда возложены на меня, мешали мне принимать более активное участие в предпринимаемом деле. Моя прирожденная общительность и способность чувствовать себя одинаково легко как в роскошных салонах, так и в студенческой комнатке, как с расфранченными дамами, так и со скромными курсистками, привела к тому, что мои товарищи, большинство которых выросли в скромной обстановке и чувствовали стеснение в пышных залах, начали направлять меня к «либералам», т. е. к пассивно сочувствовавшим нам «людям с положением», всякий раз, когда приходилось иметь с ними дело, и таким образом незаметно специализировали меня в этой области.

— Он действует среди либералов,— говорили обо мне, как говорили, что мой товарищ Плеханов «действует среди рабочих».

Либералы же нам были по временам очень нужны. Так, у известного историка литературы Зотова я держал на сохранении устав «Земли и воли» и все необходимые документы. На имя своего теперешнего хозяина — Корша я устроил текущий счет в банке для наших расходов. Другие «либералы» доставляли нам ценные сведения о действиях высшей администрации, на адрес третьих получались наши письма, у четвертых происходили различные конспиративные собрания. Все они сочувствовали исключительно *политической* (а не социальной) части нашей деятельности и были готовы помогать нам лишь постольку. поскольку мы способствовали расшатыванию абсолютизма в России.

А так как борьба с произволом была и моей главной задачей, то мы очень хорошо ладили друг с другом, а главное, «либералы» мне почему-то особенно доверяли. Они были убеждены, что я не подведу их под суд какою-нибудь неосторожностью и не выболтаю никому о наших тайных сношениях.

Михайлов часто заходил ко мне на квартиру Корша и сообщал о ходе предприятия Мирского. Тот уже раза два выезжал навстречу Дрентельну, вооруженный тем самым револьвером-медвежатником, который был приобретен во время моего первого визита к доктору Веймару для освобождения Войнаральского, а потом фигурировал и в других делах. Но каждый раз условия встречи казались Мирскому неподходящими, и он проезжал мимо кареты.

В тот день, о котором я хочу рассказать, я писал в кабинете Корша какой-то рассказ для «Земли и воли», как вдруг ко мне почти вбежал Михайлов.

— Все кончено! — сказал он, слегка задыхаясь. — Полчаса назад Мирский стрелял в Дрентельна!

— Он спасся?

— Кто?

— Конечно, Мирский!

— Да. Он ускакал, но спасся также и Дрентельн. Мирский не попал в него.

— Наверное?

— Я сам был на месте встречи. Ходил по тротуару поблизости. Мирский дал его карете проехать мимо себя, потом догнал ее и выстрелил в окно через стекло. Его лошадь, непривычная к стрельбе, встала на дыбы и готова была понести, но он ловко повернул ее назад и поскакал к Литейному проспекту. Городовые и часть прохожих погнались было за ним, но, конечно, сейчас же остались далеко позади.

— А сам Дрентельн?

— И у него лошади сначала понесли, но кучер быстро их сдержал. Дрентельн сначала отворил дверку кареты, как бы готовясь выскочить, но, увидев, что лошади успокоились и что Мирский ускакал из виду по Пантелеймоновской улице, велел повернуть карету и погнался за ним.

— А где же был его шпион на рысаке?

— Я не видел. Он, кажется, умчался прочь с испуга. Сев на первого свободного извозчика, я велел ему гнаться за каретой Дрентельна между бежавшими городовыми и дворниками, кричавшими: «Лови! Держи!» Я все время не отставал от него. Наконец, вижу городового, который стоит, держа под уздцы лошадь Мирского. И я и Дрентельн почти одновременно подъехали к нему.— Где же всадник? — спрашивает он.— Не извольте беспокоиться, ваше высокопревосходительство,— прорапортовал молодецки городовой.— Они совсем не ушиблись. Когда лошадь поскользнулась при повороте и упала, они очень ловко соскочили на землю.— Ну и что же потом? — спросил Дрентельн.— Потом отдали мне уздцы и говорят: «подержи, братец, я пойду поправиться», и ушли вот туда за угол.

— Дурак! — сердито крикнул ему Дрентельн.— Этот человек в меня стрелял, это Мирский, я его хорошо знаю в лицо, его надо было сейчас же арестовать! Куда он пошел?

Тут они оба бросились в переулок: Дрентельн в растворенной карете, городовой с лошадью, а я за ними на извозчике между всей собравшейся толпой. Видим, в переулке никого нет. Генерал разнес еще раз сконфуженного городового, велел ему вести лошадь Мирского в Третье отделение, а сам повернул назад, строго сказав: «Расходитесь, расходитесь, господа!»

— А где же теперь Мирский? — спросил я.

— Сидит у меня целехонек! Завернув за угол, он сначала не знал, что делать, и, войдя в первый попавшийся табачный магазин, спросил пачку папирос. Затем, сообразив, что тут его сейчас же найдут, он вышел, сел на первого извозчика и велел ему ехать через Литейный мост. Потом отпустил извозчика и пришел ко мне.

— Его надо как можно скорее отправить из Петербурга,— сказал я, сильно встревоженный.— Ему опасно здесь оставаться, раз Дрентельн его узнал.

— Да! — заметил он.— Я и сам так думаю. Ему теперь нельзя более показываться днем на петербургских улицах.

— Пусть пока сидит у тебя, а затем я дам тебе адрес какого-нибудь из моих либералов, у которого безопасно будет посидеть, пока пройдут первые поиски во всех отходящих из Петербурга поездах.

— Хорошо,— ответил он,— а пока пиши скорее прокламацию об этом событии. Надо отпечатать ночью и завтра утром уже рассылать.

— Через час будет готова,— поспешно ответил я. Это была тогда моя специальность.— Принесу тебе показать.

— Мирский,— сказал он, собираясь уходить от меня,— прежде всего хотел повидаться со своей невестой, Вивиен де-Шатобрен. Я думаю, что это теперь небезопасно, но надо устроить. Я немедленно отправляюсь к ней.

Через три часа с готовой прокламацией я вошел в квартиру Михайлова. Там на диване полулежал Мирский все еще в своем спортсменском костюме и поигрывал своим хлыстиком.

Он замечательно хорошо владел собою. Никому и в голову не пришло бы, глядя на его беззаботный вид, что он только что стрелял в главу грозного политического сыска и едва не сломал себе шею при падении лошади.

При уходе от него я узнал и еще одну новость. Михайлов, вышедший вместе со мной, чтоб отнести прокламацию в нашу тайную типографию для печати, сказал мне:

— Можешь себе вообразить, Вивиен де-Шатобрен, для прекрасных глаз которой, по твоему прежнему мнению, пошел на такую смертельную опасность Мирский, до того перепугалась, узнав о его настоящем положении, что с ней сделался припадок истерики, и родные уложили ее в постель. Нечего было и думать теперь об устройстве их свидания. Она, вероятно, никогда на него не решится. Тревоги действительной жизни не так-то легко переносятся, как тревоги читаемых на кушетке романов.

— Да, конечно, она останется при них,— согласился я.— Это было видно с первого взгляда. Странно, что Мирский не заметил, что тут была с ее стороны одна мечтательность. Впрочем, я не думаю теперь, что он это сделал только для того, чтоб показаться героем в ее глазах. Если эти побуждения и были, то как один из многих поводов. Несомненно, он человек идейный и героический по натуре. Ну, а как он отнесся сам к ее неспособности распространять рыцарские романы на действительную жизнь?

— Ты видел сам,— ответил он.— Когда я ему сказал о происшедшем с нею, он только проговорил вполголоса: «очень жаль», и переменил разговор.

Расставшись с Михайловым на полдороге в типографию, я пошел обратно к Коршу, и меланхолические мысли зашевелились в моем уме.

«Да,— думал я, продолжая нить своих первоначальных размышлений, приведших меня к косвенному участию в этом деле,— любовь одного пола к другому несомненно была в биологическом развитии всего живого мира первоисточником всех альтруистических чувств. Но она была только первоначальный росток, из которого выросло в душах наиболее развитых представителей современного человечества большое, пышно цветущее дерево. И если б Мирский духовно остановился на этом первичном ростке, то что оставалось бы теперь ему делать после обнаружившейся слабости предмета своей любви? Ничего, кроме полного отчаяния! И как я был прав в своем первом впечатлении, что такая изнеженная воспитанием девушка способна восторгаться героизмом и самопожертвованием только в воображении после чтения романов, но с ужасом и слезами убежит от них в действительной жизни!»

И мне вспомнились наши сильные девушки, героини действительности — Фанни, Ольга и ряд других одухотворенных женских фигур, великие скрытые силы которых всего ярче обнаруживались под покровом женственной слабости именно в те минуты, когда предметы их любви находились на краю гибели.

И на моей душе стало легче.

7. *Их же оружием*

Тем временем происходили и другие важные события, в которых мне прямо или косвенно приходилось принимать участие. Одно из них особенно памятно мне своей исключительной оригинальностью. Нет ни малейшего сомнения, что то, о чем я буду теперь рассказывать, не произошло бы никогда, если б борьба с абсолютизмом по способу Вильгельма Телля и Шарлотты Кордэ, которая началась с тех пор «с легкой руки Кравчинского и Веры Засулич», не оказалась нечаянно естественным исходом того страшного душевного напряжения, которое переживала тогда русская интеллигенция вследствие жестоких гонений Третьего отделения, обрушившихся на первых народников-идеалистов в предыдущие три года. Кравчинский и Вера Засулич сделались идолами молодежи того времени и героями в глазах прогрессивной части общества, не видевшей никакого другого средства борьбы с подавляющим ее традиционным абсолютизмом.

Но всякий героизм вызывает новый порыв такого же самоотверженного чувства. Вот почему и я тогда рвался всей душой сделать что-нибудь в таком же роде, товарищи почти силой не

пускали меня, говоря, что я нужен на более важное дело ведения органа партии. И не один я, а целые сотни пылких сердец стремились тогда сделать что-либо героическое или, по крайней мере, хоть приблизиться в качестве помощников к невидимым деятелям таинственного общества «Земля и воля», от которого каждую неделю исходили, словно удары молнии, и летели в публику отпечатанные неведомой рукой номера единственного в тогдашней России свободного, бесцензурного журнала, смело говорящего то, о чем не смели шептать на ухо друг другу в обывательской публике.

Среди десятков молодых лиц, рисовавшихся в моем воображении и предлагавших себя на героические подвиги, мне особенно вспоминается теперь одно скромное, смуглое, худощавое, с черными волосами и такой же бородкой. Это был Клеточников, служивший на юге в земстве, но бросивший все и приехавший в Петербург предложить себя в полное распоряжеие тех невидимых деятелей, дела которых загремели вдруг на всю Россию.

Он приехал к своим знакомым курсисткам, жившим в том же доме в Песках, где жил и мой друг Грибоедов, но только вход к ним был с другого подъезда. Курсистки эти, не помню уже через кого, послали за Михайловым или мною, говоря, что нас желает видеть один из их знакомых, очень серьезный и верный человек.

Мы пришли вместе и после четверти часа общего разговора были оставлены девушками наедине с приезжим.

— Я хотел бы принять участие в каком-нибудь опасном предприятии,— сказал нам Клеточников совсем просто.

Михайлов задумался.

— Пока мы ничего такого не можем вам предложить,— сказал он.— Надо немного выждать. А вот не согласились бы вы оказать нам очень ценную услугу. Здесь есть одна подозрительная дама. Она содержит меблированные комнаты и не сдает их никому, кроме учащейся молодежи, говоря, что любит молодежь и ее идеалы, а между тем редко кто доживает у нее до конца зимы, не будучи арестован или сослан. Все это очень подозрительно. Как раз на днях там были арестованы две курсистки, и они пишут нам контрабандой из тюрьмы, что, судя по вопросам, никто другой не мог их выдать, кроме слащавой хозяйки. Не можете ли вы на время поселиться у нее и понаблюдать за нею?

— Очень охотно! — ответил Клеточников, и, взяв адрес Кутузовой, как называлась подозрительная дама, он на следующий же день как будто случайно поселился у нее в освободившейся благодаря аресту комнате.

Так просто и малообещающе началось одно из важнейших дел «Земли и воли». Целых две или три недели, казалось, не было никаких результатов от усилий Клеточникова приобрести откровенность хозяйки, но ее симпатию получил он очень скоро и притом таким незамысловатым способом, что нам потом было смешно даже вспомнить.

Кутузова была страстная любительница поиграть в карты, непременно на деньги, и вдобавок жадна до малейших выигрышей.

Заметив ее слабость, Клеточников каждый вечер резался с ней в карты, несмотря на страшную тоску от такого глупого занятия, и проигрывал ей рубля по два, притворяясь волнующимся и удивляющимся ее счастью и ловкости.

Скоро вечер, проведенный без ее вечного партнера, стал ей казаться нестерпимым, а заметивший это Клеточников все больше и больше стал выражать сожаление, что даром приехал в Петербург, так как обещанного места в здешнем земстве, по-видимому, совсем не удастся получить.

— Еду обратно в провинцию,— начал заявлять он ей каждый вечер.— Здесь и дух-то у вас всех какой-то либеральный, не по мне. Даже вот и вы, серьезная и умная женщина, а все же сочувствуете этим разбойникам!

Она же всегда защищала нас.

Наконец, проиграв ей как-то сразу десять рублей, он сказал:

— Нет! Кончено! Прощайте! Завтра же еду в Новочеркасск. Рассчитаемся! Сколько я вам должен за квартиру?

— А что если бы я вас устроила? — таинственно заметила Кутузова, будучи не в силах перенести мысли, что из ее рук вырвется такой жилец.

— Но где же вы можете? — спросил он.— Ведь у вас нет знакомых, кроме этих стриженых курсисток, с которыми мне противно даже встречаться.

— А может быть, и есть?

— Где же?

— Вот вы так не любите курсисток, а у меня племянник служит начальником всего тайного политического сыска при Третьем отделении. Хотите, я отрекомендую вас ему? — проговорила она, оставив свой прежний либерализм.

— Надо подумать,— ответил он, как бы не решаясь.

Так была достигнута Клеточниковым цель, для которой он, собственно, и поселился у Кутузовой: разоблачение ее связи с тайной политической полицией.

С торжеством пришел он на следующий день к своим друзьям-курсисткам, жившим в Песках, где уже поджидали его Михайлов и я, передал нам весь этот разговор [69].

8. *Он оказался неспособным быть политическим сыщиком, но из него вышел прекрасный секретарь начальника политического сыска*

— Что же теперь мне делать? — спросил он нас.— Теперь я исполнил поручение. Она выдала себя.

— Вам надо не упускать случая познакомиться и с ее племянником,— сказал решительно Михайлов.

— Но он пригласит меня шпионить? Не могу же я для приобретения его доверия донести на кого-нибудь!

— Об этом, конечно, не может быть и речи. А вот нельзя ли будет кому-нибудь из наших играть роль поднадзорного, чтобы он сам писал на себя доносы и передавал через вас?

— Следите за нами! — смеясь, сказала одна из трех курсисток-хозяек, возвратившихся к тому времени поить нас чаем.

Они все были посвящены в его исследования шпионского мира.

— Да! — прибавила другая.— Мы будем выдумывать вам на себя самые интересные доносы. Но только все же не такие, чтобы нас арестовывали и высылали!

— Нельзя! — сказал Клеточников.— Вам опасно принимать на себя роль в подобном деле. А вот у меня есть товарищ по гимназии, Ребиков, у которого был недавно обыск и который каждый день ждет, что его вышлют. Ему, пожалуй, было бы даже удобно, чтобы, вместо немедленной высылки, за ним следили до весны, когда он выдержит в университете последние экзамены и сам уедет.

И вот произошло нечто поразительное, возможное только при тех мрачных общественных условиях, при которых мы тогда действовали.

Когда мы через неделю пришли снова на свидание с Клеточниковым, он заявил нам:

— Все улажено. Можете себе представить: мое предположение следить за Ребиковым упало на него, как манна небесная! Он очень просил меня следить за ним и обещал сам диктовать мне по способу Шехеразады в «Тысяче и одной ночи» самые интригующие доносы на себя, вплоть до окончания своих выпускных экзаменов. Я прямо от него возвратился к Кутузовой и

сказал ей, что хотя предложенное мне дело и слишком для меня беспокойно, но положение мое такое безвыходное, что приходится согласиться.

— А она что?

— Вы не можете даже и представить, какое хищное выражение появилось вдруг в лице у этой слащавой ведьмы! Казалось, что на пальцах у нее вдруг выросли когти, и она говорила всеми своими чертами: «попался, теперь держу тебя!»

— Даже заочно страшно! — сказал полушутливо Михайлов.

— На другой день,— продолжал, тоже улыбаясь, Клеточников,— она пригласила к себе на карты своего племянника, лысого, бритого, усатого чиновника и познакомила меня с ним, называя его Гусевым. Гусев подозрительно взглянул на меня, стараясь скрыть свое недоверие под любезной улыбкой.

— Это тот самый, о котором я тебе так много говорила,— пояснила ему Кутузова.

Тот ничего не ответил. Напился чаю, поиграл часа два с нами в карты, все время наблюдая потихоньку за мною, а перед ужином сказал:

— У вас есть знакомые с противоправительственными взглядами?

— Только один Ребиков,— ответил я.

— Да, знаю, мы за ним уже давно следим сами. А еще есть?

— Решительно никого. У меня нет других знакомых в Петербурге.

— Жалко. Но все же я вам положу на первый раз рублей тридцать жалованья в месяц. Тетка уж очень упрашивает меня. Можете вы поселиться вместе с Ребиковым, чтобы нам избавиться от необходимости держать для слежки за ним двух агентов?

Я очень обрадовался такому предложению, так как жить долее в квартире этой старухи мне стало невыносимо противно. Но она так и вцепилась в меня, доказывая, что мне нет никакой нужды переезжать. Племянник с ней спорил, но видно было, что она имеет на него какое-то неведомое мне влияние. Верно, он ожидает от нее наследства, и потому я постарался примирить их, говоря, что вечера все равно буду проводить у нее для игры в карты.

Так у нас с Гусевым и было условлено. Теперь я и Ребиков уже поселились вместе. Я под видом сыщика, а он под видом подозрительного субъекта, за которым я слежу. Все доносы на себя Ребиков будет сочинять, конечно, сам и обещал мне предоставлять самые занимательные небылицы.

Гусев прежде всего поручил мне узнать всех знакомых моего сожителя, и Ребиков выбрал для удовлетворения его любопытства несколько человек из своих родных, совершенно не интересующихся политическими делами. За ними уже начали следить, но, конечно, только спутались с пути, тратя свое время на наблюдение за самыми верноподданными людьми.

Так началась поразительная деятельность Клеточникова в Третьем отделении.

Чтоб придать некоторую правдоподобность действительности выслеживанья, он условился со своим товарищем, что каждый раз, как выходит какая-нибудь наша прокламация или появляется номер «Земли и воли», он будет относить по экземпляру Гусеву на его тайную квартиру, куда приходят шпионы со своими доносами, и говорить, что получил их от своего сожителя. На вопросы Гусева, кто их дал Ребикову, Клеточников отвечал, что его товарищи в университете, имен которых он пока не мог добиться, но надеется узнать при удобном случае. Несколько раз Клеточникову предлагали наблюдать, не бывает ли у его приятеля кто-либо из нас и показывали наши фотографии, но он сообщал, что никого похожего не встречал.

— Гусев очень разочарован мною,— сказал он нам однажды, уже через месяц после своего знакомства с ним.— У вас, говорит, к сожалению, не обнаруживается, знаете, такого настоящего нюха. Из вас едва ли выйдет хороший агент.— Боюсь, что скоро он предложит мне искать более подходящее для меня место, потому что и к Кутузовой я уже не в состоянии приходить играть в карты более двух раз в неделю. Страшно противна. Вам надо поскорее пропечатать ее, чтобы она не ловила более в свои сети юной молодежи.

— Это было бы пока бесполезно,— ответил ему Александр Михайлов.— Она стала бы сдавать комнаты под другой фамилией. Лучше знать ее современную квартиру и предупреждать всех попадающих на нее, кроме не интересующихся политикой, как мы теперь и делаем.

— А вам не удалось познакомиться на тайной шпионской квартире Гусева со шпионами? — спросил я.

— Нет, там у каждого свой час. Избегают давать возможность разным шпионам встречаться друг с другом, чтоб не сговорились в ложных доносах.

— Надо установить слежку за входом в эту квартиру,— сказал Михайлов.— Тогда мы узнаем, бывает ли там кто-нибудь из встречающихся с нами.

— Да, это будет полезно,— сказал Клеточников.— Моя карьера у Гусева, кажется, заканчивается, и через месяц он

окончательно признает меня неспособным к такому занятию. Мой сожитель принимает все меры, чтоб интересовать собою Гусева еще месяца два, но, кажется, и его удочка перестала действовать. Как бы его не выслали до окончания экзаменов.

Так мы и расстались с Клеточниковым, думая, что начатое нами предприятие само собой ликвидируется, как вдруг произошло нечто неожиданное и для нас и для него самого.

Как иногда маловажные на первый взгляд обстоятельства приводят к самым важным последствиям!

У Клеточникова был замечательный каллиграфический почерк. При чтении чего-либо, написанного им, казалось, что каждая его буква была жемчужинкой. Ровно, ясно, отчетливо вырисовывалось всякое слово его письма, как будто печатный курсив, и я невольно любовался им, когда читал его сообщения. Вот это-то обстоятельство и повернуло вдруг судьбу Клеточникова совершенно в новом направлении.

Гусев тоже обратил внимание на необыкновенную отчетливость и красоту его почерка и нашел, что Клеточников самый подходящий человек, чтобы составлять резюме всех шпионских доносов для ежедневного представления начальнику Третьего отделения, тем более что думал сделать этим приятное и Кутузовой, наследником которой он был.

— Вы,— сказал он в один прекрасный день Клеточникову,— совершенно неспособны к слежке. Я вам дам лучше должность младшего секретаря в моей тайной канцелярии. Бросьте агентуру и приходите завтра с десяти часов на вашу новую должность. Я пока оставлю в покое и этого вашего сожителя, чтобы не возбудить против вас подозрений.

Можно себе представить, с каким душевным облегчением рассказывал Михайлову Клеточников о своей новой должности!

— Теперь от меня не потребуется никаких доносов,— говорил он,— а только резюмирование чужих, причем я буду писать два экземпляра каждого резюме: первый для вас, а второй для шефа жандармов.

Так все и вышло благодаря его умышленным проигрышам Кутузовой в карты и его жемчужному почерку. Старший секретарь — лентяй, как и все чиновники Третьего отделения,— сейчас же взвалил на Клеточникова целиком свою работу, а сам совершенно перестал что-либо делать, бегая по кафешантанам и ресторанам.

Необыкновенное усердие, хороший слог бумаг и исключительная аккуратность Клеточникова сразу сделали его необходимым лицом в центральной канцелярии политического сыска.

Ни один донос не миновал его рук. С первых же дней Михайлов, которому мы предоставили одному сноситься с Клеточниковым, чтобы как-нибудь не погубить его случайною неосторожностью, начал приносить мне почти ежедневно листки со шпионскими доносами. Я или Михайлов отдавали их прежде всего Софии Ивановой переписывать, оригиналы тотчас уничтожали, чтобы не подвести Клеточникова, и затем я нес копии в свой тайный архив у Зотова.

9. Мы попадаем в безвыходное положение

В несколько недель накопилось у меня с десяток тетрадей самых тайных политических доносов, и я читал в них такие перлы нелепостей, что только разводил руками от изумления невежеству и легковерию наших политических врагов. Но время от времени там вдруг появлялись сообщения, которые тотчас заставляли нас бить тревогу и спешно принимать предупредительные меры. Особенно щекотливо оказалось наше положение, когда Клеточников принес Михайлову в первый раз список двадцати лиц, представленный Гусевым шефу жандармов для производства у них обыска и ареста, если на их квартирах окажется что-нибудь нелегальное.

— Как тут быть? — спрашивал Михайлов, собрав у меня на квартире несколько посвященных в дело товарищей.— Все указанные лица нам совершенно незнакомы. Это студенты и курсистки разных учебных заведений. Насколько можно положиться на их скромность?

— Но их все же необходимо предупредить,— сказал Квятковский.— Не можем же мы, зная за три дня, что им грозит большая опасность, смотреть равнодушно?

— Конечно,— сказал Михайлов.— Но как предупредить их? Послать по почте письма нельзя, перехватят. Отнести лично предупреждение на бумажках тоже нельзя, кто-нибудь из них, вместо того чтоб уничтожить сейчас же нашу бумажку, побежит показывать ее товарищам, как любопытный таинственный документ, и она скоро попадется.

— Нельзя ли мне обойти их всех лично, по адресам? — предложил я.— Я скажу им на словах: не держите у себя ничего нелегального, на днях у вас будет обыск! А затем сейчас же уйду, не давая никаких дальнейших объяснений.

— Нельзя! — сказал Михайлов.— Тебя многие знают в лицо по процессу ста девяноста трех, а вот мне, Квятковскому и Баранникову это будет удобно.

Они распределили между собою адреса и тотчас же разошлись, а через три дня Клеточников сообщил нам о результатах их предупреждения.

— Относительно обысков все благополучно,— сказал он.— Ничего не нашли ни у кого из заподозренных, и потому никого не арестовали, но все-таки в одной квартире обитательницы (и он назвал трех курсисток) сделали очень неприятную браваду. Жандармский офицер сегодня донес шефу жандармов, что при его входе молодежь встретила его смехом и словами: «милости просим, мы вас ждем уже вторую ночь!» У них, конечно, потребовали объяснения, откуда они узнали об этом обыске, грозя немедленным арестом, и те, испугавшись, сказали, что их предупредило неизвестное лицо. Теперь у нас большая суматоха: шеф прислал своего адъютанта к Гусеву для негласного дознания, кто мог бы это сделать. Гусев очень встревожен и сказал мне, что знали об этом, кроме его самого и шефа, только я да курсистка, предложившая ему по бедности свои услуги и донесшая, что у ее товарок хранится нелегальная литература. Я сделал вид полного недоумения и сказал ему, что, видно, это сделала сама донесшая, раскаявшись и испугавшись последствий своего дела.

— Да,— сказал он,— так иногда бывает. Все же тут что-то странное, непонятное для меня. Кто бы это мог быть? — И он ушел, разводя руками от изумления и повторяя: «Странно, очень странно!» Боюсь, что мое секретарство теперь окончено.

— Да! — сказал Михайлов.— Плохо кончилась наша первая попытка предупреждения!

Мы разошлись в этот вечер в большом унынии. Как всегда в подобных случаях, я отправился бродить по улицам, потому что ни в каком другом месте я не мог размышлять без помехи: у меня не было своей квартиры!

Неужели погибло в самом начале наше предприятие, обещавшее принести такую огромную пользу, погибло из-за простой бравады девочки, которую мы предупредили об опасности? Каким образом она не могла удержать своего языка? Конечно, она и не подозревала всей важности дела, которое она разрушает. Она, очевидно, думала, что это случайное предупреждение, относящееся только лично к ней, что какой-нибудь жандармский офицер, которому было поручено за ней следить, был так очарован ее прекрасными глазами, что не мог перенести мысли о ее аресте. Кто знает, какой фантастический роман мог сложиться в головах этих девочек после ухода их таинственного посетителя, и какая болтовня идет теперь среди всех два-

дцати предупрежденных, когда оправдались таинственные предсказания. И вот благодаря человеческому легкомыслию и болтливости мы теряем неоценимую точку опоры, и сколько из нас бесполезно погибнет на эшафотах из-за того, что захотели быть охранителями всех и каждого!

Я вышел на набережную Невы, прошелся по льду между воткнутыми рядами елок на другую сторону и потом возвратился на свою квартиру у Корша в еще большем огорчении, чем когда пошел на прогулку.

Целую неделю мы ждали результатов дознания об обнаружившейся течи в Третьем отделении собственной его императорского величества канцелярии. Клеточников в эти дни не являлся к нам совсем.

Наконец, он пришел торжествующий и веселый, насколько позволяла его всегдашняя сдержанность.

— Все окончилось благополучно! — сказал он.— К счастью моему, шпионка, донесшая на тех болтливых курсисток, оказалась всего месяц на службе, и это был ее первый донос. Сегодня утром она явилась снова, и Гусев вышел к ней вместе со мной. Он был страшно зол и потому набросился на нее с первого же взгляда, как собака.

— Что это вы издеваться вздумали над нами? — закричал он на нее, топая ногами.

Та совершенно растерялась и даже вдруг села на стул, словно в чем-то виноватая. Вид у нее был страшно жалкий. Это совершенно убедило Гусева в ее вине.

— Вон отсюда, вон! И чтоб нога ваша не была более у меня!.. Пойдемте! — сказал он мне.— Не стоит более разговаривать с этой фальшивой женщиной. Выведите ее! — приказал он служителю.

И мы ушли, не сказав с ней более ни слова.

Я убежден, что Гусев повел меня к ней, чтобы сделать очную ставку, но убедился в ее ненужности. А до тех пор я был фактически отстранен от составления тайных отчетов. Всю неделю старший секретарь мне поручал подводить разные канцелярские счета, не имеющие никакого интереса. А теперь я уже снова получил доверие переписывать политические доносы и между ними доклад самого Гусева шефу жандармов, что произведенное им исследование вполне выяснило дело: «сама доносчица предупредила курсисток и за то уволена им от дальнейшей службы».

Мы вздохнули свободно, услышав это, и принялись обсуждать новое положение.

— Наша система таинственных предупреждений незнакомых нам людей по маловажным поводам,— сказал Михайлов,—

показала свою несостоятельность. Надо предупреждать теперь только лиц, нам известных, а остальных лишь в тех случаях, когда по содержанию доноса у них могут найти что-нибудь важное, грозящее для них судом и каторгой или явной, по крайней мере, административной ссылкой.

Как мне ни грустно было это ограниченье, но волей-неволей приходилось согласиться с ним. Невозможность всеобщего охранения сочувствующих нам лиц, рисовавшегося сначала в самых увлекательных красках в моем воображении, стала очевидной и для меня.

Вновь к Михайлову, а затем и ко мне в архив почти ежедневно стали стекаться листочки с изложением всего, что делалось в центральной тайной канцелярии политического сыска. Мы видели из этих листков, как десятки шпионов рыскали, так сказать, вокруг нас, в примыкающих к нам сферах, но никак не могли до нас добраться, как будто окруженных непроницаемым для них волшебным кругом. Странно было читать, как эти шпионы, проникая на разные собрания учащейся молодежи, слышали там разговоры, среди которых то и дело попадались наши собственные фамилии. И чего только о нас ни говорили в среде тогдашней молодежи, каких только удивительных подвигов, знаний и приключений ни приписывала нам юная фантазия окружавших! И трогательно было, а по временам смешно и жалко, что самые пылкие выражения сочувствия получались нами через прорвавшуюся воронку Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, которое нас ловило!

Но вскоре начали мы получать еще и другие интересные сведения.

Необычное усердие Клеточникова привело к тому, что Гусев предоставил ему вести и тайные счетные книги, в которых выдавалось жалованье шпионам, а следовательно их полные имена и фамилии, с какого времени они служат, какое жалованье получают и какие им были выданы наградные деньги за особые услуги вместе с кратким изложением последних! Политических шпионов оказалось в Петербурге около трехсот человек, шпионивших большею частью среди рабочих, затем среди молодежи, а несколько, получавших особенно большое жалованье и имевших титул «советников», вращались в либеральном обществе, и между ними был редактор одной петербургской бульварной газеты.

Все это составило несколько толстых тетрадей, из которых в каждый номер «Земли и воли» выбирались для опубликования два-три лица, становившиеся слишком вредными для нас или либерального общества.

— Хорошо бы напечатать,— сказал я раз на собрании пе-

тербургских товарищей,— весь список целиком, чтобы вымести хоть на время из Петербурга эту нечисть!

— Невозможно,— ответил Михайлов.— Тогда ликвидируют сейчас же Гусева, а с ним и весь состав его канцелярии и заведут новых шпионов. А у нас теперь начались такие важные дела, что иметь глаз в самом центре своих врагов нам очень важно. Будем каждый месяц публиковать двух-трех, и тогда мало-помалу справимся и с остальными.

Как это ни было грустно, но пришлось и мне согласиться с его мнением, тем более что в то время не было никаких деятельных заговорщиков в России, кроме нас.

А между тем работа нашего немногочисленного, но деятельного тайного общества развертывалась все шире и шире.

10. Новые люди

— Приезжайте к нам в Кронштадт на недельку,— сказал мне однажды молодой артиллерийский штабс-капитан Васильев, человек очень интеллигентного вида, с которым я только что познакомился.— У нас есть там несколько товарищей из артиллеристов и моряков, которые всегда читают с интересом ваш журнал.

— С удовольствием, как только выпустим следующий номер,— ответил я.— Только скажите, куда мне приехать?

Он дал мне адрес квартиры, где жил вместе с двумя другими офицерами.

Этот разговор происходил на Выборгской стороне, в квартире доктора Варгунина, у которого был устроен к тому времени «Землей и волей» тайный осведомительный клуб. Цель его была, как показывает и самое его название, ознакомлять наше общество со всем, что совершается в разных сферах русской жизни. Члены клуба не были ограничены числом, а только своими качествами. Здесь были представители военно-морских сфер в лице трех-четырех офицеров, представители медицинского мира в лице самого доктора, представители адвокатуры, литературы, учащейся молодежи.

Цель этого клуба состояла в том, чтоб следить за общественным мнением в разных сферах и обмениваться своими впечатлениями. Мне очень нравилась такая идея, и я не пропускал ни одного собрания, засиживаясь иногда часов до двух ночи, так как после собеседований там устраивался еще и ужин.

Полученное мною предложение очень заинтересовало меня и остальных моих товарищей, просивших меня непременно съездить и перезнакомиться со всеми тамошними выдающимися

офицерами. Тотчас же после выхода в свет третьего номера «Земли и воли» я и отправился с вечерним поездом в Ораниенбаум, а оттуда по льду Финского залива в Кронштадт.

Радостно было мчаться на санках во тьме безлунной ночи между рядами воткнутых елок и в первый раз за всю зиму без помехи наблюдать в полной красоте созвездия зимнего неба. Широкая полоса Млечного пути тянулась в глубине бездонного пространства почти прямо над моей головой с миллиардами своих миров, едва заметных для глаза вследствие своей страшной отдаленности. Я оглянулся назад в своих легких санках и увидел за собой голубоватого Сириуса, уже довольно высоко поднявшегося над горизонтом, а правее его и выше знаменитую звездную трапецию Ориона с ее тремя звездами-сестрами в средине. Словно потекшее по небу расплавленное золото, светилось под ними скопление мелких звездочек, в середине которого чувствовалось присутствие величайшей из всех междузвездных туманностей.

Я взглянул вперед, и прямо передо мною над заревом кронштадтских огней и на горизонте приветливо сияла моя любимица — яркая Вега. Как хорошо, как приветно светят звезды на просторе полей после долгой разлуки с ними, после многомесячного пребывания в городских оврагах, называемых улицами, где свет фонарей позволяет видеть лишь несколько самых ярких и высоких звезд! Мне хотелось ехать целую ночь и только утром на заре приехать в место моего назначения.

Но поездка была непродолжительна, да и окружавшая меня темнота почти вскоре была досадно нарушена. Не проехал я и половины дороги, как длинная яркая полоса голубоватого света от Крондштадтского маяка протянулась в пространстве в нескольких верстах в стороне от меня, и я увидел в ее свете несколько санок, тоже спешивших в Кронштадт.

— Почему мы едем не по той освещенной дороге? — спросил я извозчика.

— Здесь ближе в ту часть города, куда вы едете,— ответил он.

Я был рад мчаться в одиночку во тьме и, отвернувшись от этого полосатого признака цивилизации, видеть над собою лишь вечные звезды и чувствовать внизу под скорлупой занесенного снегом льда уснувшую на время морскую бездну.

Я приехал в Кронштадт без всяких приключений. Все три офицера приветливо встретили меня, их денщик быстро поставил самовар для моего отогревания после поездки на сильном морозе, и мы принялись рассказывать друг другу новости. Кроме офицеров, сюда пришло еще и несколько вольноопределяющихся,

один из которых, Люстих, очень понравился мне, а другой, Дегаев, почти все время молчавший, обратил тогда мое внимание на себя лишь гнилыми, редкими, неровными зубами и тем, что у него скверно пахло изо рта, когда он сидел близко.

Однако вскоре я увидел, что около этого человека есть магнит, который заставлял остальных офицеров поневоле группироваться поблизости от него. Когда я прощался с ними, уезжая, Дегаев мне сказал:

— Зайдите в Петербурге, в субботу вечером к моей матери. Мы все соберемся там, и, кроме того, моя сестра очень желает с вами познакомиться.

— Непременно! — ответил я и в назначенный вечер действительно явился по данному мне адресу.

Я застал там несколько человек из тех же самых офицеров в гостиной, меблированной с «претензией на вкус», за длинным чайным столом вместе с хозяйкой дома, очень симпатичной пожилой дамой, и с ее молоденькой дочкой, похожей на гимназистку старших классов.

Хозяйка усадила меня рядом с собой, налила чаю, и разговор завязался самый обыкновенный о разных газетных новостях. Никто, прислушавшись к нам, даже и не подумал бы, что здесь совершается что-нибудь необычное, имеющее серьезные дальнейшие последствия. Но вскоре все совершенно изменилось.

— Пойдемте к моей сестре! — сказал выходивший перед тем на несколько минут в глубинные комнаты Дегаев.

— Но ваша сестра здесь! — сказал я ему, указывая на гимназистку.

— Это не та! — ответил он, с пренебрежением взглянув на молоденькую девушку.— Я говорю о моей замужней сестре.

«Но почему же она не вышла сюда?» — захотелось мне спросить, однако же я сразу удержался, поняв, что если той сестры нет, то этому должна быть какая-нибудь уважительная причина, о которой неудобно говорить при публике. И, действительно, все так и оказалось. Дегаев провел меня через промежуточную комнату в изящно устроенный дамский будуар. Там на маленькой кушетке, перед которой стоял столик с лампой, прикрытой малиновым абажуром, полулежала в живописной позе, протянув свои ножки, молоденькая, изящная дама с раскрытой книжкой стихов на своих коленях, со взглядом, устремленным вдаль и с замечательным выражением своего кругленького чисто херувимского личика. Она, казалось, так замечталась, что даже и не заметила нашего входа. Только когда мы подошли к самой кушетке, девушка вдруг взглянула на нас, улыбнулась и сказала, протягивая мне свою крошечную пухленькую ручку:

— Ах, здравствуйте! Я так много о вас слыхала от брата! Я очень, очень хотела с вами познакомиться!

Я сел перед нею на изящном мягком стуле, как несколько недель назад на табуретке перед Вивиен де-Шатобрен, и сразу подумал:

«Это она нарочно не вышла в гостиную, чтоб моя первая встреча с нею произошла в такой необычной обстановке для нашей радикальной среды. Она хотела, чтобы я сразу был ослеплен ею или, по крайней мере, выдвинул ее на исключительное место. Большая, должно быть, кокетка! Наверное уже вскружила головы всем этим молодым офицерам и сделала себя и брата их центром. Придется очень считаться с нею».

Я оглянулся, чтоб посмотреть, почему ее брат не сидит рядом со мною, но, к удивлению своему, увидел, что его совсем нет. Проводив меня к сестре, он тотчас же незаметно исчез по мягкому ковру. Я с трудом сдержал улыбку. Это было подготовлено уж слишком наивно: ему было сказано привести меня и уйти, но именно потому это мне и понравилось. Наивность ведь признак свежести, а свежесть симпатична, в какой форме ни проявилась бы.

— Вы поэт? — спросила она меня с томным взглядом своих карих красивых глаз, поднявшихся прямо в мои глаза.

— Кое-что пишу и стихами.

— Я только что читала ваши стихи. Они всегда производили на меня очень сильное впечатление.

И она указала на книжку на своих коленях.

Это был женевский сборник «Из-за решетки». Мне невольно вспомнилось, как точно так же положила его на столик, чтоб я его мог видеть, и юная компания курсисток и гимназисток, пригласивших меня к себе тотчас же после моего освобождения из заточения.

«Как одинаковы у всех приемы! — невольно подумалось мне.— Сущность всех душ одна и та же, и разнятся только мелкие детали. Но мне это нравится, показывает общность сознания всего человеческого рода».

— Я тоже пишу стихи! — сказала мне она.

— Можно послушать хоть одно?

— Да. Я вам сейчас прочту одно, которое я считаю лучшим. В нем описывается политический заключенный, гибнущий в темнице за идею.

И, устремив свои широко открытые карие глаза как будто в глубину небес, открывшуюся для нее сквозь стены комнаты, она приняла на кушетке сидячее положение с вытянутыми вперед миниатюрными ножками в изящных туфельках и чулочках,

едва высунутых из-под художественных складок ее красиво положенного платья, и начала декламировать свое стихотворение. Оно было во многих местах очень хорошо. Чувствовались тут и там музыкальность и поэзия. Теперь я помню только две строки из их середины, в которых говорится о политическом заключенном:

Пред смертью его загорается взгляд,
И глядит он вперед, озираясь назад...

И еще две строчки из самого конца:

Оттого-то нередко любовью своей
Обращают те люди своих палачей.

Но она декламировала их так театрально-патетически, что испортила первое впечатление. Я взял у нее их копию, чтобы поместить в «Земле и воле», но недостаточная обработка некоторых строф помешала мне исполнить это намерение.

— Знаете,— сказала она,— я хочу сделаться актрисой и притом именно для того, чтобы помогать вам в вашей героической деятельности.

Слово «героической» было произнесено ею с таким глубоким убеждением, что мне неловко было даже и запротестовать. В результате пришлось сделать вид, как будто я не расслышал или получил от нее нечто вполне заслуженное.

— Да,— сказал я скромно,— быть актрисой, конечно, хорошо. Актрисы вращаются в любом кругу и могут много знать.

Но вдруг я спохватился: зачем я говорю неправду! Ведь я чувствую, что ее в актрисы не примут, у нее, очевидно, нет артистического таланта. Она сама себя слушает при декламации. Сразу видно, что она играет роль. При этом у нее не получается иллюзии действительности, как должно быть у настоящей актрисы.

Мне стало очень жалко предчувствовать ее будущее разочарование. И предвиденье неведомого еще для нее, но ясного для меня и уже ждущего ее горя сближало меня с нею. Ведь ей искренно хотелось быть хорошей, быть талантливой, и она имела к этому явные задатки, но ее избаловали с детства похвалами благодаря ее ангельскому личику и поставили на ходули. И я чувствовал здесь свою беспомощность. Я понимал, в чем состоит драматический талант, хотя и не был сам артистом. Научить ее я не мог, тем более что молодые офицеры там, в гостиной, очевидно, были в полном восторге от каждого ее слова, от каждого ее взгляда, от каждого ее поступка.

И я убедился в этом, когда часа через два нашего tête-à-tête они получили приглашение явиться к нам.

Поздней ночью я ушел вместе со всей их компанией. У меня в голове был полный кавардак разношерстных впечатлений относительно героини найденного мною здесь общества. В Дегаевой была смесь искреннего и напускного, прирожденный талант и искаженность от последующего воспитания. Но прежде всего и после всего было ясно, что со своим ангельским личиком и «симпатизирующим вам» обращением она была силой среди окружавшей ее военной молодежи.

«Надо продолжать с ней знакомство: она стоит этого»,— резюмировал я, наконец, свои мысли, когда вернулся домой, в квартиру Корша, и старался поскорее заснуть, чтобы завтра утром быть на редактировании четвертого номера «Земли и воли».

Я даже и не предчувствовал тогда, что этот кружок был зародышем будущей «Военной организации Народной воли» и что Дегаеву, который показался мне таким незначительным, было суждено в дальнейшей его судьбе играть роковую роль.

11. Тайное редакционное собрание

После отъезда Кравчинского в Женеву, из нашей первоначальной редакции остались только Клеменц и я. Клеменц предложил обществу, вместо Кравчинского, вызвать Тихомирова, жившего на Кавказе у своего отца, и это предложение было принято. Но до его приезда кто-то предложил нам, редакторам, временно заменить Кравчинского Плехановым. Мы тотчас согласились, хотя Плеханов был известен нам больше как оратор, а не как писатель. Никто и не заподозрил бы в нем тогда будущего идейного вождя социал-демократической партии, так как он был крайним «народником». С бледным, матовым цветом кожи и крупными чертами лица, он производил впечатление человека очень самоуверенного, но сдержанного, не дававшего никому проникнуть глубоко в свою душу. Такое же впечатление (конечно, только в последнем отношении) производил и приехавший потом Тихомиров, хотя по наружности и был полною противоположностью Плеханову: старообразный, худой, с желтоватой кожей, тихим голосом и тихими движениями.

Да! Как странно теперь припомнить мне все это! За исключением Кравчинского, умершего в Лондоне, мы, бывшие редакторы «Земли и воли», еще живы. Я снова сижу в крепости за те самые стихотворения, которые были написаны мною еще

тогда. Дмитрий Клеменц обрабатывает свои этнографические труды, составленные во время его ссылки в Сибирь *. Тихомиров опровергает в «Московских ведомостях» все, что защищал когда-то в «Земле и воле», а тогдашний народник Плеханов, который был оставлен в редакции и после приезда Тихомирова, полемизирует теперь с народниками во имя своих новых, социал-демократических воззрений.

Один я, хотя и бросившийся во вторую половину своей жизни в науку, остался почти на прежней точке зрения по общественным вопросам. За свет и свободу боролся я в то время, их же призываю и теперь.

Благодаря тому, что узкопартийные, чисто фракционные вопросы ставились и тогда «вожаками» на главное место, а я старался смотреть более широко и объединять их всех, я в первое время ограничивался в «Земле и воле» ведением хроники революционного движения, предоставляя руководящие статьи моим товарищам. На мне же лежала и вся редакционная работа в смысле рассмотрения статей, присылаемых посторонними лицами, для чего я носил всегда с собою портфель, где находился материал для будущих номеров, за исключением рукописей моих товарищей по редакции, которые представляли их прямо на редакционные совещания, где решалась окончательно судьба и всех посторонних произведений.

В то редакционное собрание, о котором я теперь пишу, я как раз представил для «Земли и воли» свою первую статью, не относившуюся к моему отделу. Это был рассказ о нашей попытке освобождения Войнаральского почти в том самом виде, в каком он изложен у меня в этих воспоминаниях. Я, волнуясь, прочел свое произведение товарищам, но им оно не показалось достаточно важным.

— У меня есть более нужная статья: отповедь либералам на их конституционные пожелания,— сказал Клеменц.

— И у меня тоже очень важная: по основным вопросам социализма и народничества,— прибавил Плеханов.

— И я,— заметил Тихомиров,— готовлю важную статью. Я хочу показать пользу вооруженных крестьянских выступлений против сельских властей и таким образом объединить народническую программу с нашей современной тактикой партизанской вооруженной борьбы.

— Почему бы не поместить всего разом? — заметил нерешительно я.

---

* Через несколько месяцев после того, как это было написано в Двинской крепости, Клеменц умер.— *Н. М.*

— Не хватит места,— заявил Клеменц.

С этим спорить было нельзя, да и без того я никогда в жизни не был способен настаивать на предпочтении своей статьи чужим, так как это мне казалось очень неделикатным.

— В таком случае я охотно уступаю вам свое место,— сказал я,— тем более что мой давнишний женевский знакомый Ткачев просил у меня чего-нибудь для редактируемого им за границей «Набата». Можно отослать туда.

Я никогда не забуду впечатления, какое произвели мои слова на товарищей по редакции, особенно на Клеменца. Он весь покраснел, как будто ему нанесли личное оскорбление, и, вскочив со стула, начал бегать из угла в угол по комнате, нервно потирая руки.

— Как!— воскликнул он.— Ты будешь сотрудничать в якобинском журнале! В журнале, проповедующем революционный захват власти!

— Но ведь я же не хочу писать в «Набате» по принципиальным вопросам. Я только хотел бы рассказать публике, как произошла попытка освобождения Войнаральского. Я думаю, что если такой рассказ уже написан, то лучше его скорее отпечатать где-нибудь, чем держать запертым в шкафу. А для следующего номера «Земли и воли» я приготовлю что-нибудь другое.

— Это немыслимо! — воскликнул он.— Твое имя будет стоять рядом с именем Ткачева!

— Но что же из этого?

— То, что «Набат» напрасно называет себя органом русских революционеров! В России нет ни одного революционера, находящего целесообразным захват центральной правительственной власти в свои руки путем заговора!

— А, может быть, такие и есть или просто окажутся с легкой руки того же самого «Набата»! — возразил я.

— Тогда они будут нашими врагами! В основе всего должно лежать крестьянство и его общинные инстинкты! Капитализм в России прививается правительством насильно и не имеет никакого будущего, буржуазная республика нам не нужна! Она для нас хуже самодержавия, потому что умнее!

Он долго говорил на эту тему и, успокоив себя несколько горячими потоками своих мыслей и слов, вдруг сказал:

— Нет, нет! Давай твою статью сюда! Мы лучше прибавим к номеру лишний лист, но не допустим, чтоб ты оказался сотрудником «Набата».

Напрасно я говорил, что я не тороплюсь, что мой рассказ можно напечатать и в следующем номере! Статья была немед-

ленно взята Клеменцем у меня и тут же отправлена в типографию, а тихомировская появилась лишь в следующем номере «Земли и воли».

Когда мы вместе с Клеменцем выши на улицу с редакционного заседания, у нас вновь возобновился, уже в более спокойном тоне, тот же самый разговор.

— Мне всегда очень тяжело,— сказал я. ему,— читать полемику между людьми, идущими к одной и той же цели, но разными дорогами. Перебранки и взаимные попреки наших ораторов и публицистов кажутся мне не только вредными для общей цели, но прямо ужасными, как если б, например, древние христиане разных фракций, сжигаемые вместе за свои верования, не нашли ничего лучшего, как показывать кулаки друг другу в пламени своих костров и продолжать переругиваться, как делали перед этим со своих церковных кафедр. Евангельский разбойник, ругавший распятого вместе с ним Христа, производит отвратительное впечатление именно тем, что ругался в таком положении. А мы разве в лучшем!

— Это совсем не то! — возразил он мне.— Как можешь ты считать парижских болтунов «страдальцами на кресте»! Пусть они приедут сюда, пусть покажут, что готовы не только призывать других на смерть за идеи, но и сами, как мы, идти с ними, тогда я ничего тебе не скажу. Сотрудничай и у них, если захочешь!

— Но ведь полезны же и заграничные журналы. Я признаю, что практические руководители опасной борьбы не должны сидеть в безопасности за границей, а идти в первых рядах вместе с теми, кого ведут, однако обсуждение теоретических вопросов можно вести спокойно и за границей.

— В таком случае пусть и не называют свой журнал органом р у с с к и х революционеров, так как посторонние люди могут подумать, что это их партия производит все то, что мы теперь делаем.

У меня сразу просветлело в голове.

«Так вот в чем основная причина недоброжелательства моих литературных товарищей к Ткачеву! — думал я.— Но не все ли равно, кому припишут наши дела, раз они сделаны нами анонимно? Ведь при тайне, которой они обставлены, каждый может сказать, что любое из них сделал он».

И вдруг я содрогнулся от ужасной мысли: а что, если подобное присвоение сделает не Ткачев, не свои люди, а какие-нибудь негодяи с целью обмана сочувствующих нам лиц или вымогательства у них денег для своих кутежей? Нет! — решил я,— лучше даже и не думать об этом! Едва ли кто решится на

подобное присвоение из боязни того же самого правительства, и едва ли найдется такая неопытная молодежь, которая инстинктивно не сообразит, что тут что-то неладно!

Но я все же долго не мог успокоиться от своей мысли и чувствовал в этот миг, что если б подобный негодяй попался мне под руку, я тут же пристрелил бы его, несмотря ни на какие последствия для себя из-за такого поступка!

Я не думал тогда еще о возможности политических провокаторов. Но думаю, что и тогда она показалась бы мне чем-то вроде самоубийства той власти, которая их употребляет!

12. Новая западня

Мы пришли с Клеменцем к Грибоедову, у которого я давно не был, так как квартира его считалась заподозренною властями. У него мы встретили знакомого нам молодого студента Исаева, распространявшего «Землю и волю» среди учащейся молодежи.

— С вами очень желает познакомиться только что приехавший из Москвы рабочий Рейнштейн,— сказал он нам обоим.— У него есть приятель, машинист на Московской железной дороге, согласный перевозить в Москву какое угодно количество «Земли и воли» и притом во всякое время.

— Это очень хорошо! — сказал Клеменц, потирая от удовольствия руки.

— Но только Рейнштейн желает непременно видеть кого-нибудь из редакторов.

Клеменц сразу насторожился.

— Зачем ему надо непременно редактора?

— Говорит, что очень нужно.

— Так назовитесь ему сами редактором, и делу конец! — сказал Клеменц.— А потом расскажите нам, чего он от нас хочет.

— Я лучше попрошу об этом одного моего приятеля, Остафьева,— ответил Исаев и, получив согласие, сейчас же ушел.

Затем и мы разошлись, смеясь, и ни у кого из нас не появилось даже и предчувствия, что перед нами здесь разверзлась бездна.

Разыгравший роль редактора студент Остафьев получил от Рейнштейна незначительную рукопись и передал ее нам, сказав, что Рейнштейн не сообщил ему ничего важного, кроме адреса кочегара на одном из товарных паровозов, ходящих между Петербургом и Москвою.

Прошли недели две полного покоя, в продолжение которых я продолжал жить в качестве помощника присяжного поверенного Корша в большом доме на углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской улицы, повидавшись в это время несколько раз с сестрой Дегаева и кронштадтскими офицерами, которые все, кроме ее брата, мне очень понравились.

Вдруг раз, в четвертом часу ночи, раздался сильный звонок у парадной двери моей квартиры. Корш в одном белье выбежал со свечой в руке из своей спальни в столовую, где на мягком диване была устроена мне постель.

— Слышите? — с испугом сказал он мне.

— Слышу. Должно быть, обыск.

Я схватил мой портфель и привязал к нему длинный шнурок.

— Затушите свечку! — быстро воскликнул я.

Он задул ее, и мы остались в ночной тьме.

Я побежал босой к одному из окон, открыл форточку и спустил портфель во мрак за окно, зацепив второй конец шнурка за верхний шарнир форточки. Портфель мой сразу очутился висящим за окном. Снаружи его не было видно во тьме, а изнутри трудно было заметить конец шнурка. Таким способом я уже успел раз спасти свои бумаги, хранившиеся у курсисток Обуховых, научив и их делать это, если придут жандармы.

Тем временем звонки из-за двери повторялись все громче и чаще, и прислуга выбежала отворять дверь.

— Я буду говорить, что вы мой помощник, оставшийся ночевать,— сказал мне Корш.

— Здесь Полозов? — раздался голос из передней, как только прислуга отворила дверь.

— Здесь! — ответила горничная.

Полозов — это была фамилия, под которой я вращался тогда в обществе.

— Мне нужно его сейчас же видеть,— сказал пришедший, в котором я с облегчением узнал по голосу своего приятеля Луцкого, отставного морского офицера.

— Я здесь! Идите сюда! — крикнул я ему с постели.

Он вбежал, сильно встревоженный.

— Ваша тайная типография арестована сегодня в двенадцать часов ночи. Найдены типографские станки, много номеров «Земли и воли». Все обитатели квартиры под сильным конвоем препровождены в Петропавловскую крепость, а в типографии устроена засада. Очень просят сейчас же предупредить редакцию, чтобы не ходили туда. Очень просят предупредить всех редакторов немедленно.

— Кто просит?

— Сообщивший известие.

— Кто же он?

— Полицейский чиновник, недавно поселившийся в меблированных комнатах рядом с Остафьевым или где-то в другом месте, я хорошо не помню. Он, возвратившись в час ночи, рассказал все это, прибавил, что засада ждет редакцию, которая, по полицейским сведениям, соберется там сегодня в семь часов утра. Вот почему Остафьев, не зная ваших адресов, побежал, не теряя времени, к помощнику присяжного поверенного Буху, думая, что тот знает, но Бух приехал ко мне, а я сейчас же к вам, более я никого не знаю. Предупредите скорее сами! Вы, верно, знаете все адреса. Но только надо сейчас же, чтобы никто не пришел в типографию на собрание утром. Осталось всего три часа до семи.

— Но у нас никогда не бывает редакционных собраний в типографии,— ответил я.

— Может быть, сегодня экстренное, о котором вас не успели предупредить.

— Ни в каком случае не собрались бы мы в типографии, в которую избегаем даже ходить. Плеханов и Тихомиров даже не знают ее адреса. Бывает там по временам только Клеменц, а обыкновенно за рукописями являются ко мне сами из типографии.

— Так надо предупредить Клеменца! — воскликнул он.— Может быть, он хотел быть там в семь часов утра.

— Клеменц-то? — с изумлением спросил я.— Да он никогда не встает раньше двенадцати часов дня! В одиннадцать утра он еще в постели, потому что ложится не раньше трех часов ночи.

— Ну, как хотите! — сказал Луцкий.— Теперь я исполнил поручение, а вам лучше знать.

— А на какой улице арестована типография?

— Чиновник не сказал.

И, простившись с нами, Луцкий тотчас же ушел домой.

— Что-то странное! — сказал я Коршу.

— Да,— ответил он.— Вы пойдете сейчас же предупреждать Клеменца?

— Это было бы величайшей неосторожностью,— ответил я.— Пришлось бы будить швейцара и показать ему, что у Клеменца происходит что-то необычное, тревожное. А главное, незачем теперь идти. Я знаю, что Клеменц никогда не уйдет с квартиры раньше полудня. Если я приду к нему даже в десять часов утра, и тогда мне придется расталкивать его в постели.

— Как жаль типографию! — сказал Корш.

— Да, это большое горе.

Он ушел к себе в спальню, а я, не будучи в состоянии заснуть, валялся без сна до утра, постоянно поглядывая при свете зажигаемой спички, скоро ли наступит утро, и мало-помалу исчиркал всю коробку.

Наконец наступило и желаемое утро, тусклое, серое, петербургское, зимнее. Уже в семь часов я был на ногах и сидел совсем готовый, чтобы выйти в половине девятого, так как до Клеменца, жившего на Троицкой улице, было полчаса ходу, а извозчика я не хотел брать, чтоб лучше следить за своим тылом в такой опасный момент. Я вышел с Пантелеймоновской улицы на пустынную набережную Фонтанки и пошел по ней, не заметив сзади никакой свиты. Вот я и у дома земского деятеля Александрова, у которого жил Клеменц. Знака безопасности около своей квартиры Клеменц не выставлял, так как в квартире, где хозяином был человек с положением и не рискующий быть арестованным, о засаде после обыска, казалось, не могло быть и речи.

Я вошел в подъезд, швейцара там не было. Я поднялся во второй этаж к двери Александрова и, как всегда, прислушался. Все было тихо. Я нажал ручку двери и увидел, что она поддалась. Дверь не была заперта, как случалось иногда и прежде, потому что здесь были ранние приемные часы по делам в кабинете одного присяжного поверенного, занимавшего вторую половину большой квартиры Александрова.

Я тихо пошел далее и, заглянув в соседнюю комнату, неожиданно увидел в ней на стульях несколько офицерских пальто, сабель и синих жандармских фуражек. В то же мгновение из ближайшей двери вышел неожиданно лакей Александрова, малосимпатичный человек, и, увидев меня, вместо того чтобы снять мое пальто, быстро повернул назад и побежал в комнату, занимаемую Клеменцем.

«Клеменц арестован,— сообразил я,— здесь засада».

Повернув в одно мгновение назад, я решил было сначала выдернуть ключ из замка и запереть в ней всю компанию. Но, обратив внимание, что вторая половинка двери закреплялась не внутренними задвижками, а на крюк, который легко было снять и затем вышибить двери, несмотря на то, что они замкнуты на замок, я не сделал этого, чтоб не терять даром времени. Тихо притворив дверь, я в несколько прыжков спустился с лестницы и был на улице. Если бы она была людная, в ней легко было бы затеряться, но во всей улице было пусто. К счастью, дом был второй от угла, и за углом был не

длинный переулок, соединяющий Троицкую улицу с широким Владимирским проспектом. Повернув скорым шагом за угол, чтобы не обратить внимания каких-либо невидимых мне наблюдателей, я быстро побежал по переулку, где не было видно ни одной души.

Едва я перебежал на его дальнейшую половину, как сзади меня из-за угла Троицкой улицы показалась толпа полуодетых жандармских солдат и офицеров с громкими криками:

— Лови! Держи!

Но в переулке некому было меня держать. А когда я выбежал на Владимирский проспект, там только что прошла конка, и я получил полную возможность, не обращая ничьего внимания, погнаться за ней, сколько хватало ног, и вскочить на ходу.

Почти в ту же минуту моя погоня высыпала из переулка и остановилась в недоумении, где меня искать, так как в обе стороны шло много народу. Я видел, стоя на задней площадке вагона, как жандармы расспрашивали случайных прохожих, ловя то одного, то другого. Но из них видевшие, как я бежал, отошли уже далеко от угла, остальные, очевидно, ничего не могли или не хотели им сказать.

Так я и уехал благополучно, но для большей осторожности вскоре вновь сошел с конки и в ближайшем переулке велел извозчику везти меня в направлении казавшемся мне наиболее безопасным.

Итак, Клеменц арестован сегодня ночью.

«Что же это значит?» — спрашивал я себя.

Отпустив извозчика, я побежал к Михайлову сообщить ему обо всем и с полным изумлением увидел у него хозяйку нашей тайной типографии Крылову, высокую, сухую, очень несимпатичную по внешности, но осторожную и трудолюбивую женщину лет сорока.

— Как вы успели спастись? — спросил я ее.

— От чего? — с изумлением ответила она.

— От ареста!

— От какого?

— Да разве типография ваша не арестована сегодня ночью?

— Ничего подобного! Я только сейчас оттуда вышла и хочу идти к Клеменцу за рукописью.

— Не ходите! Клеменц арестован!

И я рассказал им все, что произошло со мною, а также и о предупреждении меня Луцким.

— Здесь что-то неладно! — сказал Михайлов, повторив, сам не зная того, слова Корша по этому самому поводу.

— Да! — ответил я.

Почти в то же время прибежал один из наших товарищей по обществу, Попов.

— Сегодня ранним утром у Луцкого был обыск! — сказал он.— Ничего не нашли и оставили в покое.

— Значит, его обыскали сейчас же после возвращения от меня ночью! — воскликнул я.— А меня они не тронули!

С каждой минутой дело становилось все загадочнее для нас.

— Наверно, и еще были обыски ночью! — заметил Михайлов.— Надо нам сидеть всем смирно дома, пока не выяснится дело.

— Подождите меня и никуда не ходите с час,— сказал он.— У меня как раз назначено свидание с Клеточниковым.

И он, быстро одевшись, вышел. Через полчаса к нам прибежала Перовская.

— Бух и Остафьев арестованы сегодня ночью,— сказала она, запыхавшись и раскрасневшись от быстрого движения.

— Значит, взяты все наши предупредители,— воскликнул я.— А из предупрежденных Клеменц! Да, здесь дело нечисто!

Затем возвратился и Михайлов.

— Вот так история! — сказал он.— Клеточников уже получил из Третьего отделения известия об аресте Клеменца, а вместе с тем узнал и все обстоятельства дела. Помните, как к вам приезжал рабочий Рейнштейн из Москвы?

— Как же не помнить! — ответил я.— Мы еще не захотели с ним видеться.

— И хорошо сделали! Он, оказывается, московский шпион, который вошел в кружки тамошних народников-пропагандистов и разными успешными услугами сделал себя чрезвычайно популярным среди них. Он доставлял им «Землю и волю», устраивал склады оружия, и все, что он ни начинал, оканчивалось полным успехом. Клеточников говорит, что недавно он предложил московскому жандармскому управлению выследить в Петербурге за тысячу рублей всю редакцию «Земли и воли», а не то и самую типографию. Начальник тамошних шпионов, желая отличиться в Петербурге, обещал ему эти деньги и написал о проекте Рейнштейна прямо шефу жандармов, старательно обойдя тайную канцелярию, в которой состоит секретарем Клеточников, чтоб там не перехватили дела себе. Рейнштейн же, добыв корреспонденцию от одного из московских революционеров и несколько рекомендаций, поехал в Петербург и стал добиваться свидания с кем-либо из наших редакторов. Но они,— и он указал присутствовавшим товарищам на меня,— выдали ему за редактора Остафьева, который и виделся с ним где-то. А у ворот уже стояли особые сыщики, выследившие

потом Остафьева до его квартиры. Так, по плану Рейнштейна, и была проделана вся комедия ночного предупреждения. Подосланный к Остафьеву полицейский чиновник нарочно сделал тревогу в час ночи, когда движение по улицам прекращается и становится легко следить за редкими прохожими. Кроме того, пешие и переодетые извозчиками жандармы и полицейские стояли на всех углах. Рейнштейн думал, что Остафьев тотчас же побежит предупреждать других редакторов, а те поедут смотреть дом, где скрывается типография, на подкупленных шпионами извозчиках, и таким образом все будет прослежено, узнано и арестовано в одну ночь.

Мы некоторое время молчали, чувствуя, что борьба теперь разгорается не на жизнь, а на смерть.

— Надо, чтоб тысяча рублей этого негодяя обошлась ему дорого! — воскликнул взволнованный Попов.— Я сам поеду в Москву отомстить ему!

— Да, нельзя так оставить дела! — согласился Михайлов,— Но слушайте далее. Шеф жандармов уверен, что в лице Клеменца и Буха арестована вся редакция «Земли и воли», а в причастность к ней Остафьева он не верит. Особенно интересует весь политический сыск, по словам Клеточникова, узнать, кого предупреждал Луцкий? Если б ты,— обратился он ко мне,— тоже забарахтался после его предупреждения и побежал из дому ночью, то и тебя бы не было теперь на свете. У твоего дома и на ближайших углах до утра стояли сыщики и разошлись только к восьми часам, когда на улице началось обычное движение, а из дома твоего уже ушло несколько человек и нельзя было разобрать, кто был предупрежден Луцким.

— А разве нашего швейцара не спрашивали?

— Спрашивали, но он сказал, что, должно быть, Луцкий шел в меблированные комнаты в верхнем этаже. Туда уже отправлены шпионы под видом жильцов. Ты не ходи пока к Коршу.

— Я буду жить теперь у Анненского,— сказал я.— Он меня давно звал к себе.

— Третье отделение,— продолжал Михайлов,— очень обижено, что его обошли и захватили без его участия такую крупную рыбу, как Клеменц, разыскиваемую безуспешно четыре года. Начальник тайной канцелярии Гусев ругается, а Клеточников в страшном отчаянии.— Теперь, говорил он мне, я никогда не могу быть уверенным, что того или другого из вас не арестуют по каким-нибудь посторонним для меня указаниям. Цель моего пребывания в этой отвратительной среде потерялась.— Я,— прибавил Михайлов,— насилу уговорил его остаться еще на время

секретарем Гусева ввиду важности дел, которые предстоят нам в будущем, но он усиленно предупреждает всех быть осторожными, так как аресты, происходящие по распоряжению градоначальника или по болтовне кого-либо из заключенных, обыкновенно идут к исполнению помимо составляемых им конспектов. Он о них ничего не может знать заранее, как было и в сегодняшнем случае.

Мы все начали печально расходиться. Крылова побежала сообщить в типографию о случившемся, Михайлов и Попов — предупреждать остальных друзей, а я направился к известному тогдашнему писателю и общественному деятелю Анненскому, всегда встречавшему меня с необыкновенным радушием.

Я вошел в его гостиную и увидел в ней и во всей квартире уже хорошо знакомую мне картину полного разгрома после только что произведенного обыска. Шкафы и комоды сдвинуты на середину комнаты, ящики из столов вынуты, все содержимое валяется в смеси в разных местах на полу. Сам Анненский, жена и его маленькая девочка ходят между всем своим добром, как на развалинах после землетрясения.

— И вас предупреждали сегодня ночью об аресте типографии? — спросил я, сразу догадавшись, в чем дело.

— Да,— отвечал Анненский.— А вы откуда знаете?

Я рассказал ему истинную подкладку дела.

— А почему вы до сих пор не успели прибрать комнат? Разве обыск был днем? — спросил я наконец.

— Нет! Ушли в восемь часов утра. Но мы все так были утомлены бессонной ночью, что сейчас же легли спать и проснулись как раз теперь, к обеденному времени.

Живший у них ученик технического училища Емельянов вышел из задних комнат и поздоровался со мною, крепко пожав мне руку.

Я мало обратил тогда на него внимания, он казался мне очень способным и скромным, но еще почти мальчиком, и я очень удивился потом, когда узнал о крупной роли, которую предоставили ему мои товарищи в событиях первого марта 1881 года. Я не принял тогда во внимание, что в этом переходном возрасте каждый год прибавляет человеку очень многое.

— Теперь,— сказал мне Анненский,— вам самое удобное время пожить немного у меня. Квартира наша очищена для вас самим Третьим отделением: второй раз жандармы не нагрянут с обыском ранее как через месяц или два.

— Да я и пришел к вам именно для этого!

— Вот и отлично! А теперь давайте общими силами устанавливать шкафы, столы и комоды на прежние места!

Мы живо принялись за дело, и жилище Анненских пришло в первоначальный вид...

К вечеру явился к нам и Михайлов.

— Тебе скоро придется,— сказал он мне,— писать новую прокламацию от имени Исполнительного комитета «Земли и воли».

— О чем?

— О Рейнштейне. Попов вместе с Немцем (так назывался один молодой студент немецкого происхождения) уже уехали в Москву представить ему счет на тысячу рублей [70].

И действительно, через десять дней мне пришлось в моей новой квартире писать летучий листок, извещавший русское общество о гибели агента тайной полиции Рейнштейна, пораженного неизвестными людьми кинжалом в сердце в одной из московских гостиниц.

Мне не было его жалко. Мое сердце было до того ожесточено повсюду происходившими казнями моих друзей, что я уже не мог в то время видеть человека ни в палаче, ни в предателе, ни в тех, кто пользуется их услугами, и только повторял в своем уме при каждом случае их преждевременной смерти последние строки известного стихотворения Добролюбова:

Ликуй же, смерть, в стране унылой,
Все в ней отжившее рази,
И знамя жизни над могилой
На грудах трупов водрузи! [71]

XVI. Эпилог. Возникновение «Народной воли»[72]

1. Редакторам журнала «Былое»

Дорогие друзья! Вы взяли с меня слово написать вам исторический очерк событий, предшествовавших возникновению «Народной воли» и особенно Липецкого съезда, имевшего такое первостепенное значение в истории освободительного движения конца 70-х и начала 80-х годов. Чем более я думаю о возложенной вами на меня задаче, тем более убеждаюсь в ее чрезвычайной трудности для меня. Для того чтобы дать действительно исторический этюд какого-нибудь общественного события, нужно быть строго объективным, нужно смотреть на него со стороны, а не как один из активных участников, каковым был я.

В таких случаях невольно будешь или преувеличивать свою собственную роль и роль своих сторонников, или, желая поставить при ней, как выражаются физики, поправочный коэффициент, невольно впадешь в обратную ошибку.

Точно так же трудно изложить объективно и роль своих тогдашних противников, выразить ясно и правильно внутренние мотивы их действий, нигде не становясь к ним несправедливым.

Все это было бы много удобнее сделать в виде рассказов о своей личной жизни, в которых заботишься только о том, чтобы искренно описать все, что видел, слышал или чувствовал, не гоняясь за строгой объективностью и хорошо зная, что каждый воспринимает окружающие явления не всесторонне, а только (как и фотограф) лишь с той точки зрения, на которой стоит.

Но, к сожалению, все, чему я был свидетелем с весны 1879 года, носит такой противомонархический характер, что напечатать объективное повествование о борьбе не на жизнь, а на смерть, завязавшейся у нас в то время с правительственным произволом, беспощадно гасившим под предлогом защиты монархии малейшие проблески русской мысли, было бы совершенно немыслимо даже и теперь, в 1907 году, когда дышать стало много

легче в России и когда она, хотя и поздно, стала немного походить на европейскую страну.

Вот почему, несмотря на данное мною вам прошлой весной обещание, я все не решался взяться за перо. Но обещанное всегда надо исполнять, и вот я принимаюсь теперь за эскиз истории Липецкого и Воронежского съездов, в надежде, что если в моем рассказе окажутся какие-либо недостатки, то кто-либо из оставшихся в живых товарищей сделает к ним надлежащие поправки и дополнения *.

Я хорошо понимаю, что мой эскиз не даст самого важного — яркой картины пережитого и передуманного нами в то время. Я знаю, что это будет скелет без тела, или, вернее, тело без оживляющих его человеческих чувств, как и всякий другой исторический очерк. Но он все же будет в смысле исторического документа лучше, чем враждебные нам материалы жандармских дознаний, где истинные наши побуждения умышленно искажались в угоду политическим страстям наших противников, и все же наглядно покажет, как много могут сделать даже несколько человек, если они полны самоотвержения.

2. События в кружке «Земля и воля», предшествовавшие Липецкому съезду

Основные причины, вызвавшие Липецкий съезд в той самой необычной форме, в какой он был осуществлен частью членов «Земли и воли», заключались, насколько я могу ориентироваться во внутренней жизни этого тайного кружка заговорщиков, в теоретических разногласиях между двумя его частями. К одной из них, которая часто называла себя по инициативе нашего киевского товарища Осинского исполнительным комитетом, принадлежал между прочим я сам с Александром Михайловым, а к другой, называвшей себя народниками,— мой товарищ по редактированью органа «Земли и воли» Плеханов и его бывший сторонник Михаил Попов.

Теоретические разногласия неизбежно должны возникать в истории всякой революционной организации. Тайное общество, стремящееся к осуществлению каких-либо политических или об-

---

* Некоторые несущественные дополнения и были сделаны потом моими товарищами Фроленко и Поповым в № 12 журн. «Былое» за 1906 год. Но они ничего не изменяют в изложенном здесь и отличаются в некоторых деталях лишь точкой зрения на события, что неизбежно при всяком рассказе различных участников.— *Позднейшее примечание. Н. М.*

щественных идеалов, подчиняется в своем развитии, насколько я мог заметить из опыта всей моей жизни и деятельности, совершенно определенным законам.

Их сущность мне ясно представляется, когда я обобщаю себе историю трех революционных организаций, в которых мне пришлось участвовать: «Большого общества пропаганды» 1873—1874 годов, «Земли и воли» 1878—1879 годов и «Народной воли» 1879—1881 годов.

Не все революционные общества и кружки оканчивают полный цикл своего развития, подобно тому как не всякий человек умирает естественной смертью, но каждое стремится воспроизвести этот цикл по внутренним психологическим мотивам своих участников.

Первый период развития тайного общества есть тот, который непосредственно следует за его возникновением. Это период его молодости. Если общество не явилось на свет мертворожденным, в нем в это время почти не бывают руководителями никакие «знаменитости» из прежних движений. Оно обыкновенно возникает в деспотических странах среди учащейся молодежи, вся жизнь которой еще впереди. Прежние выдающиеся деятели большею частью не присоединяются к нему в этот период, так как еще не уверены, что новое общество представляет из себя нечто серьезное и оправдывает риск вступления. Часто они вовсе не знают об его существовании, потому что я говорю здесь исключительно о т а й н ы х обществах, возникающих в тяжелые периоды абсолютизма и политических гонений. Точно так же остаются в стороне и все честолюбивые люди, ищущие в своей деятельности не осуществления великодушных идеалов, а своего собственного возвеличения.

Благодаря такому исключительному подбору членов, полных молодости, энергии, энтузиазма и самоотверженности, первый период развития здесь характеризуется наиболее кипучей деятельностью, но эта деятельность не всегда бывает практична по причине неопытности молодых членов.

Второй период начинается в то время, когда спасшиеся от арестов, бежавшие из ссылок и освобожденные из тюрем товарищи приобретают известный запас опытности. В этот момент, характеризующийся присутствием в обществе скрывающихся от правительства членов, начинается наиболее серьезная эпоха деятельности, а вместе с тем возникают и теоретические разногласия относительно того — держаться ли старого пути или идти по новому, более целесообразному.

Если к этому времени организация успела совершить серьезные дела, то к ней теперь начинают присоединяться отдельные

личности и из прежних выдающихся деятелей и вносят в нее приобретенную опытом серьезность и деловитость. Затем в нее начинают стремиться и честолюбцы, и если проникают, то их партийность начинает вредно отзываться на дальнейшей деятельности общества.

Вместо борьбы с первоначальным внешним врагом, начинается борьба между собою отдельных фракций и их вождей, и эта борьба поглощает, наконец, собою большую часть энергии и сил первоначальных и новых членов.

Распадение общества на две части является в это время большим благом, так как все честолюбивые руководители остаются при старой, «уже испытанной и приобретшей популярность», программе, а за новую оказываются, главным образом, искренние и бескорыстные энтузиасты, не заботящиеся о том, популярно или нет то, что они считают справедливым или нужным для осуществления своего идеала. Но эти энтузиасты бывают в то же время уже и опытными деятелями, и, таким образом, новое общество, возникшее от деления старого, имеет все шансы на совершение очень серьезных дел в освободительном движении деспотически управляемой страны, а сторонники старой программы быстро сходят со сцены.

Все эти соображения относительно законов, управляющих развитием тайных обществ в период политических гонений, не раз приходили мне в голову еще в то время, когда и я как член общества «Земли и воли» невольно участвовал в их осуществлении.

После трехлетнего заточения я вышел на свободу в январе 1878 года, на следующий день после того, как раздался выстрел Веры Засулич [73]. Большое общество пропаганды, к которому я принадлежал с 1874 года, уже погибло в непосильной борьбе с абсолютизмом, не встретив в народных массах активного содействия своим целям. Попытка оставшихся членов возобновить его при помощи выпущенных вместе со мною товарищей по заточению оказалась бесплодной. Большинство их или устало, или разочаровалось в своей прежней программе, или затерялось где-то в глубине России. Я же присоединился через несколько месяцев к одному небольшому кружку молодежи, находившемуся еще в первом периоде своего развития и потому не имевшему в публике даже официального названия. Часто давали ему шутливое имя «кружка троглодитов», т. е. пещерных людей, так как местожительство его членов не знал почти никто из посторонней публики.

Эти «троглодиты» и превратились затем в общество «Земля и воля», так как немедленно после моего вступления они предоставили свою типографию для журнала «Земля и воля», редакторами которого были вначале Кравчинский, я и мой старый товарищ по Большому обществу пропагандистов, Клеменц, хотя он и не состоял в то время членом кружка «троглодитов».

Но Кравчинский этой осенью поразил кинжалом шефа жандармов после того, как тот настоял на исполнении смертного приговора над Ковальским. Ему нельзя было жить в Петербурге, и он был отправлен нами за границу, сейчас же по выходе № 1 «Земли и воли». Через четыре месяца был арестован Клеменц, и к февралю 1879 года из первоначальных редакторов «Земли и воли» остался один я. В соредакторы мне были последовательно назначены обществом Плеханов и Тихомиров, но все мы оказались в то время имеющими очень мало общего между собою и по теоретическим воззрениям, и по вопросу о средствах, какие мы считали пригодными для освобождения своей родины.

Я всей душой стремился к борьбе с самодержавием и монархизмом вообще и наилучшим средством для этого считал способ Вильгельма Телля и Шарлотты Кордэ. Я только хотел обобщить этот способ в своеобразную систему «неопартизанства», имеющего исключительною целью обеспечить всем свободу слова, печати и общественных партий. Всякое другое средство борьбы представлялось мне безнадежным среди окружавшего нас произвола и насилия и всякая другая цель нецелесообразной, так как уже в то время я пришел к убеждению в психической неподготовленности полуграмотных масс современного мне поколения к социалистическому строю, требующему от населения высшей психики, чем существующая теперь, и надеялся только на интеллигентскую, а не на демократическую республику. В этом отношении я более всего сходился тогда с представителем киевской группы «Земли и воли» Валерианом Осинским. Плеханов, наоборот, видел в то время все спасение в проповеди социалистических идей и в тайной агитации среди крестьянского населения и рабочих. Тихомиров же стоял посередине между нами, говоря, что и то и другое одинаково важно, и, наконец, написал статью в защиту крестьянского террора, т. е. избиения крестьянами мелких властей, чего не признавали полезным ни я, ни Плеханов.

Все это вызывало ряд постоянных столкновений в редакции «Земли и воли». Чтобы несколько уладить дело, мне было предоставлено обществом, по настояниям самого энергичного из его деятелей, Александра Михайлова, издавать свой собственный орган под названием «Листок Земли и воли». В нем я мог

свободно излагать свои взгляды, а в «Земле и воле», редактором которой я по-прежнему оставался, я должен был писать лишь статьи, не имеющие отношения к новому способу борьбы. Но это, конечно, нисколько не помогло уладить дело, а только ставило меня в привилегированное положение среди остальных соредакторов.

Разногласия у нас были неизбежны.

Сама жизнь фатально вела наш кружок к переходу на новую дорогу, проповедником которой в печати оказался в то время я. Тайная пропаганда новых общественных идеалов в широких размерах в периоды жестоких политических гонений, какие совершались в конце 70-х годов, была сама по себе абсурдом. Всякий пропагандист для своей проповеди естественно должен искать еще не початых, т. е. несогласных с ним, или мало развитых в общественном смысле людей, иначе его пропаганда будет простой фикцией. Но, разыскивая таких людей, он неизбежно очень скоро натолкнется на человека, который не будет держать в секрете того, что ему говорили и кто ему говорил, и таким образом предаст его.

Все попытки активной пропаганды у членов кружка «Земля и воля» скоро кончились их гибелью, а из спасшихся значительная часть убедилась в необходимости бороться с оружием в руках с деспотизмом, погубившим их товарищей за проповедь идей, которые они считали справедливыми. В результате произошло то, что несколько членов петербургской группы «Земли и воли» стали, как я тогда выражался, неопартизанами, т. е. превратились в боевую группу, боровшуюся с оружием в руках за политическую свободу для всех. Мы (по инициативе Осинского) выпускали свои предупреждения и заявления от имени совершенно фиктивного Исполнительного комитета русской социально-революционной партии, печать которого, вырезанную кем-то из грифельной доски, я хранил у одного из старейших литераторов того времени, Владимира Рафаиловича Зотова. Этим названием мы невольно вводили в заблуждение и публику и правительство, так как никакая социально-революционная партия нас не выбирала и ничьих решений, кроме наших собственных, мы не «исполняли». Нас было не более пятнадцати человек на всю Россию, и подбирали мы себя, совсем не спрашивая, каких кто убеждений, а исключительно по нравственным качествам и по готовности жертвовать собою в борьбе против деспотизма. За все время существования «Земли и воли» и «Народной воли» я не помню даже ни одного разговора в нашей среде о социализме, за исключением случайного спора между мной и Тихомировым, где дело шло притом же не о сущности, а о том,

полезно ли употреблять социализм как агитационное средство и вводить его (как он сделал в написанной им программе) profession de foi *.

Названия наши (нигилисты, террористы, социалисты, анархисты), как, к сожалению, всегда бывало в русской заговорщической деятельности, почти никогда не соответствовали сущности и брались из слепого подражания заграничным партиям, без точного усвоения смысла. Вот почему мне и теперь хочется предостеречь читателя от составления представлений о наших «убеждениях» по приводимым теперь мною ярлыкам.

Не всякая Вера верит, не всякая Надежда надеется, не всякая Любовь любит, не всякий Лев — герой и не всякий, у кого в паспорте написано православный, верит в чудотворность святых мощей. Тем более это можно сказать об общественных группах. Всякая общественная группа есть только форма, в которой постоянно меняется содержание по мере замены старых членов новыми, а ярлык на ней остается прежним.

Меня часто спрашивали после моего выхода из Шлиссельбургской крепости: какие из современных партий являются истинными продолжательницами деятельности «Народной воли».

Если судить по грифельной печати и по тому, что в подзаголовке нашего журнала стояли слова «социально-революционное обозрение», то несомненно — социал-революционная партия. Если же судить по тому, что в «Программе партии Народной воли», написанной Тихомировым однажды вечером, осенью 1879 года, первая фраза начиналась словами: «мы, социалисты», а вторая фраза: «мы, демократы», то наследницей нашей служит несомненно социал-демократическая партия. А вот если взять еще «Письмо партии Народной воли к императору Александру III», напечатанное для всех и посланное ему тотчас после гибели Александра II, где ему предлагалось царствовать спокойно на парламентарных началах, то продолжателями являются как будто бы октябристы, хотя они и не признают цареубийств.

Какое же из этих трех решений задачи верно? Да никакое! Надпись на печати была сделана Осинским лишь потому, что так ему казалось грознее для наших противников, и потому он выцарапал на ней шилом еще топор и револьвер, так что мы всегда смеялись, прикладывая ее к нашим предупреждениям. А подзаголовок нашего органа: «Социально-революционное обозрение» был простой перевод с французского и обозначал, что журнал наш обозревает общественную революцию, т. е. совершающийся

* Исповедание веры, убеждения.

переворот в области науки, религии, гражданских и имущественных отношений. Ни одна из современных программ классового социализма и не мерещилась нам в то время, и социализм понимался всеми исключительно в смысле идеалистическом, по Фурье и Роберту Оуэну, а то и просто никак не понимался. Перечитав недавно писания моих бывших товарищей об этом предмете, я получил такое впечатление, как будто это были дети, еще учащиеся писать и потому заботливо копирующие каждую фразу из данных им прописей. Сам же я не написал ни одной строки о социализме, так как и тогда мне многое казалось сомнительным, особенно его материальная выгодность, хотя я и обожал Роберта Оуэна.

Социал-демократическое вступление к программе «Народной воли», написанное по собственному почину Тихомировым, как и вся его программа, было напечатано в нашем журнале при моей сильной оппозиции, причем меня поддерживало все литературно образованное меньшинство наших товарищей, да и сам Тихомиров был так мало тверд в этой программе, что через пять лет сделался сторонником самодержавия и правительственным редактором реакционных «Московских ведомостей».

Что же касается до письма к Александру III, то оно так шло вразрез с только что совершенным цареубийством, что даже сам Александр III ему не поверил.

Какой же отсюда вывод? Тот, что в наших тогдашних понятиях о сущности экономического строя и о возможности в нем тех или иных преобразований царил почти такой же сумбур, как и теперь. Ничего определенного не было, кроме мечтаний, да и для них не было свободы. Не этим сумбуром и не кротким идеалистическим социализмом Фурье и Оуэна направлялось революционное движение того времени, а реальной невыносимостью жизни под царившим тогда произволом, так как под всеми кличками и именами мы боролись только с ним.

Но возвращусь к предмету моего рассказа, т. е. к весне 1879 года.

Те же из товарищей, которые все еще не решались выговорить страшный для них, но выдвигаемый самой жизнью девиз: борьба за политическую свободу, говорили, что мы должны призывать всех по-прежнему идти в народ, в деревни, особенно настаивая на том, что в случаях вооруженной борьбы личность царя и членов царской семьи должна быть неприкосновенна. Действия против царя, говорили они, вызвали бы взрыв фанатизма против пропагандистов новых общественных идей в крестьянстве и дали бы повод правительству прибегнуть к таким мерам, которые сделали бы совершенно невозможной

жизнь в народе. Гораздо лучше было бы поднять народ не от имени социалистов или революционеров, неведомых ему, а от имени самого царя, как пытались сделать в Чигиринском уезде Дейч и Стефанович. Представительный же образ правления привел бы только к развитию буржуазии в России, как это случилось во всех иностранных монархиях и республиках. Рабочему народу, говорили они, он принес бы только вред.

С этим мы как распубликанцы в душе не могли согласиться, и потому в нашей петербургской группе начался такой же раскол, какой уже был у нас в редакции «Земли и воли». Во главе теоретических противников нового пути стал Плеханов, впоследствии выработавший самостоятельным трудом за границей совершенно иное мировоззрение и сделавшийся идеологом русского марксизма, а во главе практических противников — самый страстный из тогдашних «землевольцев» — мой будущий товарищ по Шлиссельбургской крепости Михаил Попов.

Когда в Петербург явился Соловьев и заявил кружку «Земли и воли» через Александра Михайлова о своем намерении сделать покушение на жизнь Александра II, раздор между нашими партиями достиг крайней степени. Александр Михайлов, доложив на собрании о готовившемся покушении, просил предоставить в распоряжение Соловьева (фамилию которого он не счел возможным сообщить на общем собрании) лошадь для бегства после покушения и кого-нибудь из членов общества, чтобы исполнить обязанности кучера.

Произошла бурная сцена, при которой народники, как называли теперь себя будущие члены группы «Черный передел», с криками требовали, чтобы не только не было оказано никакого содействия «приехавшему на цареубийство», но чтобы сам он был схвачен, связан и вывезен вон из Петербурга, как сумасшедший.

Однако большинство оказалось другого мнения и объявило, что хотя и не будет помогать Соловьеву от имени всего общества ввиду обнаружившихся разногласий, но ни в каком случае не запретит отдельным членам оказать ему посильную помощь. Народники объявили, что они сами в таком случае помешают исполнению проекта, а Попов даже воскликнул среди общего шума и смятения:

— Я сам убью губителя народнического дела, если ничего другого с ним нельзя сделать! [74]

Плеханов держался более сдержанно, чем остальные сторонники старой программы, на этом бурном заседании, на котором неизбежность распадения «Земли и воли» сделалась очевидной почти для каждого из нас. Он требовал только, чтобы Михай-

лов сообщил обществу фамилию этого приехавшего, но последний объявил, что после того, что он здесь слышал, сообщить ее стало совершенно невозможно.

— Я знаю его фамилию,— воскликнул один из присутствовавших, кажется Игнатов.— Это Гольденберг!

Гольденберг действительно приехал из Киева за несколько дней до Соловьева с той же самой целью, но никто из посторонних еще не знал, что мы его отговорили, опасаясь, что он как еврей может вызвать таким поступком ряд еврейских погромов со стороны тех элементов народа, которые теперь называются хулиганами.

Не решив ничего, собрание разошлось. Кто-то из нас почти тотчас же побежал предупредить Гольденберга, что ему грозит в Петербурге большая опасность и что он должен немедленно уехать на некоторое время в провинцию.

Это Гольденберг тотчас же и сделал.

Когда на следующий день мы, сторонники борьбы с абсолютизмом, сошлись между собою, мы долго и серьезно обсуждали положение дел. Я стоял за то, что если разрыв, как это выяснилось вчера, стал неизбежен, то самое лучшее окончить его как можно скорее, для того чтобы и у другой фракции развязались руки для практической деятельности.

Квятковский и Михайлов тоже присоединились ко мне, хотя и выставляли на вид практические затруднения, которые должны будут возникнуть при разделе общих фондов нашего кружка, образовавшегося из пожертвований богатых членов той и другой группы. Эти фонды накоплялись с самого времени возникновения «Земли и воли» и достигали теперь нескольких сот тысяч рублей, отчасти в земельных имуществах, отчасти в капиталах. При их тратах на текущие дела не производилось у нас никаких форменных счетов, а потому и осуществление раздела представлялось затруднительным. Все ценное считалось безвозвратно отданным в организацию вместе с жизнью самих членов. Но так как сделать передачу юридическим актом было немыслимо, то капиталы «временно» оставались в распоряжении того, кто владел ими ранее. Когда были нужны средства на какое-либо предприятие, мы говорили кому-либо, чтобы он превратил в наличные деньги определенную сумму, и она поступала затем ко мне в кассу на текущие дела.

Наконец мы решили, что лучше всего будет предоставить каждому взять в свою группу то, что у него осталось к данному времени, не принимая в расчет, чьи средства больше тратились до сих пор на дело организации.

Мы все соглашались, что помогать Соловьеву, предоставив

самовольно в его распоряжение лошадь и кого-либо из нас в виде кучера для бегства с Дворцовой площади, мы не имели права после выраженных протестов. Но помогать ему в качестве частных лиц сейчас же взялись Александр Михайлов, Квятковский и Зунделевич.

В один из следующих дней у них состоялось специальное совещание с Соловьевым, где он объявил, что решил действовать в одиночку, пожертвовав своей жизнью. Все, что было ему дано нашей группой, это большой сильный револьвер особой системы, купленный мною несколько месяцев назад для освобождения Войнаральского, через доктора Веймара, в доме которого помещалось Центральное депо оружия, да еще несколько граммов сильного яда, для того чтобы не отдаваться живым в руки врагов.

1 апреля 1879 года он простился со всеми своими знакомыми в квартире Александра Михайлова. Все, что случилось на следующий день, уже известно из его процесса. Император остался жив, Соловьев схвачен и казнен.

После этого покушения, взволновавшего всю Россию, борьба между двумя фракциями «Земли и воли» снова обострилась, опять поднялся старый вопрос о неизбежности распадения. Но мое предложение ускорить раздел, которое я и сам делал с тяжелым чувством в душе, опять встретило сильные возражения. Дело в том, что чувство товарищества было среди нас слишком сильно, несмотря на существовавшие принципиальные разногласия. Мысль, что после раздела мы будем почти чужими друг для друга, подавляла нас. Ведь нас было не более пятнадцати человек, и мы привыкли друг к другу. Вот почему, хотя мы все и были давно убеждены в неизбежности близкого распадения «Земли и воли», однако ни у кого из нас не хватало силы взять на себя инициативу.

— Пусть сторонники старой программы сами предложат нам условия раздела,— решили мы, «политики», и стали продолжать совместную деятельность, как и прежде, хотя на душе у нас всех было страшно тяжело, а руки для практической деятельности были наполовину связаны.

Но дальнейшие события скоро сами решили дело.

В одном из «Листков Земли и воли», составление которых, как я уже говорил, принадлежало мне единолично, я в первый раз попробовал дать в печати теоретические основы уже практиковавшегося в России нового рода революционной борьбы по способу Вильгельма Телля и Шарлотты Кордэ. Это было в передовой статье, озаглавленной: «По поводу политических убийств», и напечатанной, насколько помню, в соединенном втором и

третьем номере моего маленького журнала *. Там я называл этот способ «осуществлением революции в настоящем», «одним из самых целесообразных средств борьбы с произволом в период политических гонений». Слово «терроризм», уже практиковавшееся в публике, я нарочно исключил в этой статье, так как оно мне чрезвычайно не нравилось, да и действительно не подходило к делу. Владычество путем террора, по моему убеждению, целиком принадлежало правительству, и мы только боролись с ним с оружием в руках. Но это название, к моему сожалению, быстро распространилось в публике, так что впоследствии я и сам употребил его в заглавии моей брошюры «Террористическая борьба» вместо первоначально данного ей названия «Неопартизанская борьба», да еще на суде, где я объявил себя террористом по убеждениям.

Моя статья в «Листке Земли и воли» произвела сильное волнение среди сторонников старой программы. Плеханов, стоявший тогда во главе этой фракции, заявил, как мне передавали, в публике:

— Этот «Листок Земли и воли» — подделка. Я, как один из редакторов «Земли и воли», ничего не знаю о его выходе и никогда не допустил бы ничего подобного. Главная цель «Земли и воли» есть не политическая борьба с правительством, а пропаганда социалистических идей и агитация среди крестьян и рабочих.

Когда я встретился с ним потом и заговорил об этом «Листке», которого я, действительно, не успел ему предварительно показать (так как два раза не застал его дома), Плеханов мне сказал, что для улаживания недоразумений между нами существует только одно средство: собрать съезд всех членов «Земли и воли», и пусть они решат, кому из нас быть выразителем ее программы. Я тотчас согласился с этим. Я его любил и очень уважал, несмотря на все наши тогдашние теоретические разногласия. Плеханов и Попов, который был тогда деятельным помощником Плеханова, сейчас уже уехали в провинцию, чтобы изложить местным товарищам положение дел в петербургской группе.

Но изложение спорного вопроса одной из заинтересованных сторон всегда и неизбежно бывает односторонне. Плеханов же и Попов по самой своей природе были агитаторами, и потому понятно, что после их отъезда все провинциальные члены, которых было человек пятнадцать, восстали на меня и на тех, кто

* «Листка Земли и воли», под датой «Петербург, 15 марта 1879 г.» Эта статья перепечатана в сборнике В. Базилевского «Революционная журналистика 70-х годов».— *Позднейшее примечание. Н. М.*[75]

поддерживал новую программу деятельности. Весной 1879 года мы получили, не помню от кого из них, грозное послание, где говорилось, что все работающие в народе требуют созыва общего съезда нашего кружка в каком-либо из городов центральной России для того, чтобы нас судить и исключить из своей среды, как людей неподходящих по духу.

Я живо помню, как мы все были взволнованы этим письмом. То, что мы считали неизбежным, но боялись осуществить, теперь совершалось помимо нашей воли.

Никому из нас не приходило в голову даже и мысли, что мы можем склонить на свою сторону кого-либо из деятелей в народе, так резко и решительно приводились в письме их мнения.

— Что нам теперь делать? — задавали мы себе вопрос.— Большинство будет на стороне старой программы, и нас шестерых или семерых просто исключат. Сорганизуемся же поскорее, и даже ранее съезда, так чтобы тотчас после исключения из «Земли и воли» мы сразу выступили как готовая группа и тотчас же начали бы деятельность в новом духе.

Каждый лишний день нам казался лишней отсрочкой, и мы тотчас же написали приглашения нескольким известным нам деятелям в новом духе, как принадлежащим, так и не принадлежащим к «Земле и воле». Мы звали их на частное совещание в Липецке, который представлялся нам удобным как по причине находящегося в нем курорта, так и потому, что из него легко было переехать в Воронеж, уже назначенный провинциальными товарищами как место для общего съезда кружка «Земля и воля» и для суда над нами.

Нам так хотелось собрать побольше сторонников со всей России, что мы пригласили туда также и Гольденберга, застрелившего незадолго перед этим харьковского губернатора князя Кропоткина за жестокое обращение с политическими заключенными в харьковской центральной тюрьме.

Относительно его приглашения было несколько возражений, так как Михайлов находил его не совсем самостоятельным. Но некоторые очень настаивали на нем, не подозревая, что впоследствии, уже после его ареста, с ним случится что-то вроде временного помешательства и он нас выдаст всех очень странным способом, расхваливая жандармам, как героев, а затем покончит жизнь самоубийством.

Читая потом его показания, я не мог отогнать от себя мысли, что они были сделаны не в полном сознании, а под влиянием какого-нибудь введенного к нему в темницу опытного гипнотизера [76].

3. Липецкий съезд

В начале июня 1879 года все подходящие лица были нами уведомлены, и съезд был назначен на семнадцатое число.

Я не буду здесь описывать романтической обстановки Липецкого съезда, нашего появления в городе в виде больных, приехавших лечиться, заседания на пнях и стволах свалившихся деревьев в окружающих лесах, куда мы брали для виду несколько бутылок с пивом и газетных свертков с закусками, для того чтобы придать нашим собраниям вид простых пикников. Цель настоящего очерка — изложить лишь идейное значение Липецкого съезда.

К 17 июня собралось нас в Липецке около четырнадцати человек. Это были почти все наличные силы нашей боевой группы, наводившей столько страха на современное нам самодержавное правительство стомиллионной России. Из нашего петербургского кружка «Земли и воли» приехали, кроме меня, Александр Михайлов, Мария Ошанина, Баранников, Квятковский, Тихомиров.

Из посторонних лиц явились Ширяев, как наиболее выдающийся член незадолго перед тем основанного нами в Петербурге самостоятельного кружка «Свобода или смерть», а из провинции Колодкевич, Желябов, Фроленко и Гольденберг, вызванный из Киева.

На первом заседании Квятковский и Михайлов приступили к чтению уже заранее составленной нами начерно программы и устава нового общества. Сущность этого документа я помню довольно хорошо, так как переписывал его раза два, и потому уверен, что если окончательно принятый устав и программа Липецкого съезда когда-нибудь найдутся в затерявшемся архиве Исполнительного комитета «Народной воли» (который я хранил все время у покойного ныне литератора Зотова), то они будут мало чем отличаться от моего современного изложения.

Вся программа состояла лишь из нескольких строк приблизительно такого содержания:

ПРОГРАММА

Наблюдая современную общественную жизнь в России, мы видим, что никакая деятельность, направленная к благу народа, в ней невозможна вследствие царящего в ней правительственного произвола и насилия. Ни свободного слова, ни свободной печати для действия путем убеждения в ней нет. Поэтому всякому передовому общественному деятелю необходимо прежде всего покончить с существующим у нас образом правления, но бороться с ним невозможно

иначе как с оружием в руках. Поэтому мы будем бороться по способу Вильгельма Телля до тех пор, пока не достигнем таких свободных порядков, при которых можно будет беспрепятственно обсуждать в печати и на общественных собраниях все политические и социальные вопросы и решать их посредством свободных народных представителей.

До тех же пор, пока этого нет, мы будем считать за своих друзей всех тех, кто будет сочувствовать нам и помогать в этой борьбе, а за врагов всех тех, кто будет помогать против нас правительству.

Ввиду того, что правительство в своей борьбе с нами не только ссылает, заключает в тюрьмы и убивает нас, но также конфискует принадлежащее нам имущество, мы считаем себя вправе платить ему тем же и конфисковать в пользу революции принадлежащие ему средства. Имущество же частных лиц или обществ, не принимающих участия в борьбе правительства с нами, будет для нас неприкосновенным.

Эта программа была нарочно составлена такой коротенькой, так как я из опыта всей своей прежней деятельности убедился, что чем больше деталей заключается в программе, тем более дает она пунктов для возражения посторонним критикам. На Липецком съезде она была принята единогласно, и было постановлено напечатать ее в первом же номере будущего органа преобразованного Исполнительного комитета. Но это потом не было исполнено благодаря противодействию Тихомирова, написавшего через два-три месяца, уже в Петербурге, свою собственную программу, казавшуюся ему более удовлетворявшей современным требованиям. Он добился в последующем декабре согласия у большинства петербургской группы «Народной воли» на ее напечатание в третьем номере «Народной воли» вместо первоначальной Липецкой программы. Приведенная же мною коротенькая декларация Липецкого съезда, несмотря на усиленную мою защиту, так и осталась в архиве Зотова, где я хранил все документы. Теперь после смерти его во время моего заточения в Шлиссельбургской крепости она находится не знаю где *. В том же собрании Липецкого съезда началось обсуждение устава преобразованного Исполнительного комитета. Теперь я помню из него только следующие параграфы, за нумерацию которых не ручаюсь.

* Недавно обнаружилось, что архив В. Р. Зотова был передан после его смерти его вдовой на сохранение А. С. Суворину. Когда и он умер, архив попал в руки его сыновей, был после революции 1917 г. передан ими Бурцеву, где я его рассматривал, но, к сожалению, не нашел в нем ни этой программы, ни других программных бумаг «Народной воли». *Позднейшее примечание 1918 г. — Н. М.*[77]

УСТАВ

§ 1. В Исполнительный комитет может поступать только тот, кто согласится отдать в его распоряжение всю свою жизнь и все свое имущество безвозвратно, а потому и об условиях выхода из него не может быть и речи.

§ 2. Всякий новый член Исполнительного комитета предлагается под ручательством трех его членов. В случае возражений, на каждый отрицательный голос должно быть не менее трех положительных.

§ 3. Каждому вступающему читается этот устав по параграфам. Если он не согласится на какой-нибудь параграф, дальнейшее чтение должно быть тотчас же прекращено, и баллотирующийся может быть отпущен только после того, как даст слово хранить в тайне все, что ему сделалось известно во время чтения, до конца своей жизни. При этом ему объявляется, что с нарушившим слово должно быть поступлено, как с предателем.

§ 4. Члену Исполнительного комитета может быть дан отпуск срочный или на неопределенное время по решению большинства, но с обязательством хранить в тайне все, что ему известно. В противном случае он должен считаться за изменника.

§ 5. Всякий член Исполнительного комитета, против которого существуют у правительства неопровержимые улики, обязан отказаться в случае ареста от всяких показаний и ни в каком случае не может назвать себя членом Комитета. Комитет должен быть невидим и недосягаем. Если же неопровержимых улик не существует, то арестованный член может и даже должен отрицать всякую свою связь с Комитетом и постараться выпутаться из дела, чтоб и далее служить целям общества.

§ 6. Член Комитета имеет право с ведома организации поступать в члены посторонних тайных обществ, чтоб по возможности направлять их деятельность в духе Комитета или привлекать их к нему в вассальные отношения. При этом он имеет право хранить в тайне их дела, пока они не вредят целям Комитета, а в противном случае немедленно должен выйти из такого общества.

§ 7. Никто не имеет права назвать себя членом Исполнительного комитета вне его самого. В присутствии посторонних он должен называть себя лишь его агентом.

§ 8. Для заведывания органом Исполнительного комитета выбирается на общем съезде редакция, число членов которой определяется называть раз особо.

§ 9. Для заведывания текущими практическими делами выбирается распорядительная комиссия из трех человек и двух кандидатов в нее на случай ареста какого-либо из трех до нового общего съезда. Комиссия должна лишь строго исполнять постановление съездов, не отступая от программы и устава.

§ 10. Для хранения документов, денежных сумм и т. д. назначается секретарь, который должен держать в тайне место, где они хранятся.

§ 11. Член Исполнительного комитета может привлекать посторонних сочувствующих лиц к себе в агенты с согласия распорядительной комиссии. Агенты эти могут быть первой степени — с меньшим доверием, и второй — с бóльшим, а сам член Исполнительного комитета называет себя перед ними агентом третьей степени.

Пункт об агентах первой и второй степени был составлен не при моем участии, а прибавлен, если не ошибаюсь, Тихомировым. Затем были внесены Михайловым, Квятковским и Желябовым еще параграфы, содержания которых я не помню.

На мое замечание на съезде, почему агенты первой степени должны быть с самым малым доверием, тогда как с первого взгляда это кажется наоборот, Тихомиров мне ответил:

— Для того, чтоб никакой агент не мог знать, сколько степеней еще остается ему пройти для того, чтобы достигнуть самому Комитета.

Эта первая попытка централистического устройства еще тогда мне очень не понравилась, так как основой крепости всякого тайного общества я считал его малочисленность, строгий подбор по моральным качествами товарищеский дух, а не иерархическое устройство.

Но большинство членов съезда согласилось на это дополнение, которое, впрочем, не имело в будущем никакого серьезного значения.

«Исполнительный комитет» стал впоследствии боевой группой партии «Народной воли». К партии этой мог причислять себя всякий сочувствующий, но в ее боевую и руководящую группу он мог быть зачислен только по выбору ее самой. Параграф об агентах двух степеней настолько мало применялся, что за все время моего пребывания я знал только одного — Клеточникова. Он оставался все время агентом ввиду своего звания секретаря тайной полиции, не позволявшего ему принимать участия в собраниях Комитета или познакомиться со всеми его членами во избежание риска для себя.

Устав исполнялся всегда довольно строго, за исключением пункта, определявшего поведение членов на допросах. Этот параграф почти всегда нарушался после ареста, так как плохо соответствовал героическому настроению большинства членов нового общества. Отказываться от принадлежности к своей организации, «выпутываться», попав в тюрьму, хотя бы и с целью «дальнейшего служения целям общества» оказалось для

многих совершенно невозможным. Мысль, что их могут принять за испугавшихся или малодушных, казалась им до того невыносимой, что они забывали в эту минуту обо всяких руководящих правилах. Большинство объявляли себя по уставу агентами третьей степени, но затем излагали целиком всю свою революционную деятельность, не касаясь лишь деятельности товарищей.

Чтение таких героических признаний, хранящихся в архивах государственной полиции, произвело на меня потом, во время следствия над нами, очень трогательное впечатление. Я же сам не делал ничего подобного, так как ни на миг не забывал, что какие бы то ни было признания непоследовательны с точки зрения заговорщика, обязавшегося держать в тайне все дела своей организации.

На втором заседании Липецкого съезда устав был окончательно принят и единогласно утвержден. Редакторами будущего органа выбрали меня и Тихомирова. Затем приступили к выборам трех лиц в распорядительную комиссию.

Тут в первый раз сказалось очень сильно неудобство организовать тайное общество на централистических началах. Если б собрание состояло только из нашей петербургской группы, то, понятно, не было бы никаких недоразумений и мы выбрали бы в распорядительную комиссию наиболее осторожных, трудоспособных и практических товарищей.

Но теперь оказалось не совсем так.

Из вновь поступивших иногородних лиц почти никто не знал, кто чем занимался в нашей петербургской группе, и потому состав распорядительной комиссии вышел не совсем тот, какого мы ожидали. Мы, петербургские, сговорились выбрать одного из южан, Фроленко, не раз уже принимавшего участие в различных практических предприятиях «Земли и воли», и он был выбран всеми нашими голосами. Остальные же два баллотировались нами лишь по предварительному совещанию с южанами, чтобы удовлетворить общему настроению. Благодаря этому в комиссию попал, кроме Александра Михайлова, которого все мы очень желали, также и Тихомиров, которого многие из нас считали вялым и непрактичным, хотя и не предполагали, что через несколько лет он переменит все свои убеждения и перейдет на сторону самодержавия.

Но он был со всеми знаком, обладал старообразной внушительной внешностью, и потому за него особенно стояли южане, а под их влиянием подали голоса и мы.

На третьем и последнем заседании Липецкого съезда, посвященного обсуждению будущих предприятий общества, Алек-

сандр Михайлов произнес длинный обвинительный акт против императора Александра II.

Это была одна из самых сильных речей, какие мне приходилось слышать в своей жизни, хотя Михайлов по природе и не был оратором.

В ней он припомнил и ярко очертил сначала хорошие стороны деятельности императора — его сочувствие к крестьянской и судебной реформам, а затем приступил к изложению его реакционных преобразований, к которым прежде всего относил замену живой науки мертвыми языками в средних учебных заведениях и ряд других мероприятий назначенных им министров. Император уничтожил во второй половине царствования, говорил Михайлов, почти все то добро, которое он позволил сделать передовым деятелям шестидесятых годов под впечатлением севастопольского погрома.

Яркий очерк политических гонений последних лет заканчивал эту замечательную речь, в которой перед нашим воображением проходили длинные вереницы молодежи, гонимой в сибирские тундры за любовь к своей родине, исхудалые лица заключенных в тюрьмах и неведомые могилы борцов за освобождение.

— Должно ли ему простить за два хорошие дела в начале его жизни все то зло, которое он сделал затем и еще сделает в будущем? — спросил Михайлов в заключение, и все присутствующие единогласно ответили:

— Нет!

С этого момента вся последующая деятельность большинства съехавшихся в Липецк четырнадцати человек определилась в том самом смысле, в каком она стала теперь достоянием истории: ряд покушений на жизнь императора Александра II и их финал 1 марта 1881 года.

Липецкий съезд был объявлен закрытым. На другой день мы отправились в Воронеж, группами по два или три человека, подобно тому как явились неделю назад на Липецкий съезд[78].

4. Воронежский съезд

В Воронеже мы застали всех представителей народничества из провинции. Главнейшая их часть были пропагандисты из Саратовской губернии, вместе с которыми приехали и мои давнишние друзья, Вера Фигнер и Софья Перовская, занимавшие тогда нейтральное положение между двумя фракциями «Земли и воли».

Собрания общества были назначены на лесистых островах реки Воронеж, вниз по ее течению, и в прилегающих к ее бере-

гам лесах. На них мы появлялись, точно так же как и в Липецке, под видом гуляющих горожан, в лодках или пешком по берегу.

С тяжелым чувством пришла наша группа на первое из заседаний этого съезда, где мы ожидали себе исключения. Особенно тяжело чувствовал себя я как главный обвиняемый. Но в то же время внутреннее чувство говорило мне, что, как бы ни отнеслись ко мне товарищи по «Земле и воле», я не мог ни писать, ни поступать иначе. Я чувствовал, что поступал во всех наших столкновениях не так, как было выгодно лично для меня, а так, как находил полезным для успеха освободительного движения, и говорил в своих статьях все, что думал, не заботясь о том, окажется ли это ортодоксальным с точки зрения окружающих меня, или подвергнется их осуждению. Притом же я знал, что если буду исключен, то со мною удалятся и наиболее близкие для меня товарищи, и мы сейчас же начнем свою новую деятельность.

На Воронежский съезд нас собралось человек двадцать пять. Здесь были почти все члены «Земли и воли». Остальные три или четыре прислали свои мнения письменно.

Как только мы поздоровались друг с другом и расположились в кружок на раскинутых пальто и на стволе лежащего дерева, поднялся Александр Михайлов и заявил, что здесь, в Воронеже, есть несколько человек, уже давно работавших вместе с «Землей и волей», хотя и не принадлежащих к ее составу.

— Было бы очень желательно знать и их мнение в наших спорных вопросах,— закончил он.— Это Фроленко, Колодкевич и Желябов, только что приехавшие в Воронеж. Я предлагаю принять их в члены «Земли и воли».

Вся наша группа поддержала его предложение, так как нам хотелось иметь для себя побольше сторонников. Именно потому мы и привезли с собою этих трех человек, которых знали почти все в «Земле и воле». Отправляясь на заседание, мы их оставили ждать в отдалении.

Народническая группа тотчас же предложила принять троих и с их стороны. Оказалось, что те тоже ждали по другую сторону леса.

Мы едва удержались, чтобы не рассмеяться при виде такого соответствия, и тотчас согласились на их кандидатов, а они на наших. И те и другие были немедленно приведены на заседание.

Тогда Плеханов, поднявшись со своего места и прислонившись к стволу большого дерева, сказал:

— Я прежде всего прошу Морозова прочесть свою статью в «Листке Земли и воли» по поводу политических убийств.

Уже давно готовый к этому, я вынул из кармана соответствующий номер «Листка» и твердым по внешности голосом прочел свою статью, хотя и очень волновался внутренне.

— Вы слышали, господа,— сказал Плеханов.— Это ли наша программа?

Наступило тяжелое молчание, продолжавшееся с полминуты. Но вдруг оно было прервано одобрительным возгласом Фроленко, что именно так и нужно писать передовые статьи в революционных органах.

Плеханов побледнел, как полотно, и сказал взволнованным голосом:

— Неужели, господа, вы все так думаете?

Не нашлось ни одного голоса, который осудил бы мою статью. До такой степени мысли, выраженные мною в ней, были подготовлены жестокими гонениями того времени на всякую попытку деятельности в народе.

Только Попов спросил меня:

— Признаете ли вы это общим методом?

Я ему ответил, что считаю такой способ допустимым только в периоды политических гонений, когда всякие другие средства борьбы с произволом являются практически невозможными.

— Как только будет обеспечена свобода слова и низвергнут абсолютизм, сейчас же нужно будет действовать исключительно убеждением.

Кто-то из саратовцев, которых мы считали крайними врагами нового пути, сказал:

— В нашей старой программе «Земли и воли» допускаются на равных правах как политическая деятельность в городах, так и пропаганда социалистических идей в народе.

Все, за исключением четырех человек, согласились, что так и должно быть и что в моих статьях нет никаких противоречий со старой программой общества.

Мы, липецкие, с изумлением переглянулись между собою. Приехав в Воронеж, мы ожидали совсем не этого. Наше положение как уже сорганизованной группы стало делаться затруднительным: мы оказались тайным обществом в тайном обществе!

Плеханов некоторое время стоял молча. Отношение деревенских членов «Земли и воли» к новому направлению было для него, очевидно, совершенно неожиданно.

— В таком случае, господа,— сказал он, наконец, глухим, печальным, не своим голосом,— здесь мне больше нечего делать. Прощайте!

Он медленно повернулся и начал удаляться в глубину леса. Мне показалось, что он с усилием держится на ногах.

Разрыв с привычным товарищем по деятельности был страшно тяжел, несмотря на все теоретические и практические разногласия. У меня в горле сделались спазмы и к глазам подступили слезы.

«Вот он идет,— мелькнуло у меня в голове,— куда-то в глубину неведомого леса, одинокий, без сторонников. Что с ним будет, что он будет делать?» [79].

Мы, ожидавшие изгнания, вдруг оказались победителями, а он, считавший себя все время победителем, оказался неожиданно побежденным.

— Господа! Нужно его возвратить,— воскликнула Вера Фигнер [80].

— Нет,— ответил Александр Михайлов взволнованным голосом,— как это ни тяжело, но мы не должны возвращать его.

Четверо из петербургских сторонников Плеханова, особенно резко возражавшие против покушения Соловьева, вскочили со своих мест, чтоб идти за ним, но потом снова сели, тихо переговариваясь между собою. Ни один из них не удалился с собрания вслед за Плехановым.

Кто-то предложил решить голосованием, считать ли теперь Плеханова принадлежащим к организации. Значительное большинство высказалось за то, что его нужно считать добровольно выбывшим из «Земли и воли». Если он вновь пожелает возвратиться, то нужно будет отнестись к нему, как ко всякому другому поступающему, т. е. потребовать у него согласия на программу и устав и подвергнуть баллотировке по общим правилам. Так печально закончилось первое заседание Воронежского съезда «Земли и воли».

Очутившись неожиданно в большинстве, мы назначили новое собрание только через день. Отсрочка эта была для нас совершенно необходима для того, чтобы обсудить свое положение. Постановления Липецкого съезда предполагали, что мы будем после Воронежского съезда совершенно самостоятельной группой, а этого не вышло.

Собравшись на следующий день особо в лесу, мы решили не уходить из «Земли и воли», но просить о том, чтоб Исполнительный комитет во всех своих практических делах пользовался полной автономией и имел свой особый печатный орган.

Все это и было нами получено на следующем заседании Воронежского съезда.

Нам дали не только полную автономию, но и право принимать на свой риск в Исполнительный комитет новых членов, не принадлежащих к «Земле и воле».

Единственным условием по отношению к этим лицам было

не сообщать им интимных подробностей о деятельности «Земли и воли», пока они не будут приняты в ее члены. Таким образом, все, что мы постановили на Липецком съезде, было нежданно легализировано в «Земле и воле», хотя все остальные члены Воронежского съезда даже и не подозревали о наших совещаниях в Липецке.

Воронежский съезд был закрыт двадцать четвертого июня, после третьего заседания, где были приняты в «Землю и волю», по моему предложению, Вера Засулич и несколько других членов, рекомендованных различными лицами; из них Стефанович, тотчас же присоединившийся к группе народников, сильно способствовал потом окончательному распадению «Земли и воли». Он был тогда очень властолюбив.

На этом же последнем заседании были разрешены и некоторые второстепенные вопросы: пересмотрен устав «Земли и воли» и выбрана распорядительная комиссия из трех лиц для заведывания практическими делами. Я по-прежнему был оставлен хранителем печати и всех документов общества, а также и его денежных сумм. Редактирование журнала «Земля и воля» было снова поручено мне и Тихомирову.

5. Распадение «Земли и воли» на «Черный передел» и «Народную волю»

Когда мы вернулись в Петербург, некоторым из нас казалось, что все недоразумения улажены и что распадение общества ограничилось выходом из него одного Плеханова. Но это было не так. Не прошло и двух недель, как оказалось, что наши прежние оппоненты в петербургской группе держатся от нас обособленной компанией. К ним присоединились под влиянием Стефановича также и Дейч и Вера Засулич. Переход Засулич к народнической группе был нам особенно тяжел. Мы провели ее на Липецком съезде в полной уверенности, что она будет сторонницей нового способа борьбы, в котором мы тогда видели все спасение России от губившего ее абсолютизма. Но она была чрезвычайно дружна со Стефановичем и Дейчем и, перейдя вместе с ними к нашим противникам, вдруг окружила их особенным ореолом в глазах благоговевшей перед ней учащейся молодежи.

Стефанович начал вербовать себе сторонников среди лиц, имевших темные сношения с «Землей и волей», и завербовал в том числе хозяйку нашей типографии Крылову. В один прекрасный день она заявила, что, пока она находится в типографии, она не позволит печатать ни одной статьи в новом направ-

лении, так как гражданская свобода будет способствовать развитию буржуазии и таким образом пойдет во вред рабочему народу.

— В ваших статьях,— твердила укоризненно она мне,— даже не упоминается о простом народе, не говоря уже о социализме. Нельзя же все писать только о политической борьбе, не упоминая о социальной.

Все мои усилия переубедить ее оказались тщетными, так как она не была самостоятельной мыслительницей, а отстаивала лишь то, что ей внушали люди, под влияние которых она попадала. Не чувствуя себя в силах серьезно возражать на мои доводы о необходимости гражданской свободы даже и для самой социалистической деятельности в народе, она впадала в истерику. В конце всех переговоров с нею мне приходилось бегать за холодной водой, чтобы успокоить ее хоть немного.

Мой соредактор Тихомиров и сам Александр Михайлов тоже пробовали говорить с нею, но бросили все попытки еще задолго до меня ввиду их бесполезности.

Благодаря такому положению дел в типографии издание «Земли и воли» оказывалось фактически неосуществимым, несмотря на то, что все остальные наборщики стояли за новое направление.

Целых два месяца после Воронежского съезда вся деятельность нашего тайного кружка уходила на улаживание ежедневно возникавших внутри его недоразумений между двумя фракциями, собиравшимися отдельно в окрестностях Петербурга. Всякая идейная и практическая деятельность совершенно прекратилась. Несмотря на все усилия соединить несоединимое, у нас ничего не выходило. Все связующие нити между двумя группами рвались, как паутина, при первой попытке начать какое-либо серьезное дело. У большинства товарищей все более и более терялась ровность характера. Стали возникать несправедливые нарекания одних лиц на других и интриги одной фракции против другой.

К октябрю 1879 года взаимные недоразумения дошли до такой степени, что не оставалось ничего другого, как назначить уполномоченных для осуществления раздела. Обе фракции были объявлены независимыми обществами, действующими вполне самостоятельно, без права называть себя «Землей и волей». Устав «Земли и воли», все ее печати и документы остались в нашем распоряжении как у большинства, а капиталы общества было решено разделить поровну.

Фактически все они (за исключением средств Лизогуба, погибших для организации после его казни) отошли к фракции Стефановича и Плеханова, так как у них оказались почти все

состоятельные члены общества, которые и передавали туда то, что им принадлежало. Их группа назвала себя «Черным переделом» в знак того, что ее главная цель — передел всех земель России начерно между общинниками-крестьянами.

Мы же назвали себя партией «Народной воли» в знак того, что непосредственная наша цель есть замена существовавшего самодержавного режима представительным, основанным на проявлении воли сознательного населения страны. Эта воля должна была решить потом все политические и социальные вопросы при свободном представительном правлении.

Пользуясь уже готовым липецким уставом, мы сейчас же начали свою деловую и литературную деятельность в этом духе.

Не прошло и двух недель, как из вновь устроенной тайной типографии в Саперном переулке был выпущен первый номер «Народной воли».

При разделе «Земли и воли» нам не досталось ни копейки из ее материальных средств, но мы были полны энергии и энтузиазма. К нам сейчас же присоединилось несколько человек из молодежи, принесших вместе с собою и небольшие средства на практические дела.

Мы вдруг, казалось, ожили.

Нас по-прежнему было лишь несколько человек на всю многомиллионную Россию, но мы были теперь дружны, наши личные отношения стали безоблачны, наши руки не были связаны, а ничего другого нам и не было нужно в то время.

У моих товарищей не хватало дней для осуществления всего задумываемого, которое казалось им так важно и так нужно. А я... Я тоже жил, как и они, со страшной жаждой сделать как можно более в области свободной журналистики до того неизбежного момента, когда судьба снова ввергнет меня в темницу и, как я думал, закончит на эшафоте мою жизнь.

И я часто повторял в то время запавшее мне в душу, несмотря на бушевавшую вокруг общественную бурю, стихотворение неизвестного автора, вычитанное мною, кажется, в каком-то из номеров журнала «Дело» за шестидесятые годы:

Догорает свеча, догорает,
А другого светильника нет.
Пусть мой труд остановки не знает,
Пока длится мерцающий свет.
Пусть от дремы, усталости, скуки
Ни на миг не потухнет мой взгляд.
Пусть мой ум, мое сердце и руки
Сделать все, что возможно, спешат.

Чтоб во сне меня мысль утешала,
Что последняя вспышка огня,
Угасая во мраке, застала
За работой полезной меня.
Чтоб, уйдя поневоле к покою,
Мог сказать я в тот горестный час,
Что умножил хоть каплей одною
Добрых дел моих скудный запас[81].



КНИГА ПЯТАЯ

XVII. В тюрьмах и крепостях

Проходит все, и нет к нему возврата...

Тени минувшего[82]

(Опыт психологической характеристики Шлиссельбургской крепости)

Пятьдесят лет прошло со времени возникновения «Народной воли», и скоро минет двадцать пять лет со времени освобождения из Шлиссельбургской крепости тех из ее деятелей, которые остались к тому времени в живых.

Отошла в вечность целая полоса русской революционной действительности.

Новые условия общественной жизни вызвали и новый подбор деятелей и новые приемы деятельности, а прежние деятели и прежние приемы борьбы ушли теперь в область истории.

Мне часто говорили с разных сторон:

— Заканчивайте свои мемуары! Вы обязаны это сделать, потому что, кроме вас да еще двух-трех человек, уже никого не осталось от того времени. Особенно же дайте психологический очерк вашего одиночного заточения в Шлиссельбургской крепости.

Но для того, чтобы предаться воспоминаниям и написать хорошие мемуары, нужна тихая обстановка, без всяких отвлечений и помех, а мне не удавалось никогда создать себе такую обстановку иначе, как тоже в одиночном заточении. В условиях свободной жизни мне хотелось всегда работать над такими предметами, которые имеют общее значение, смотреть вперед, а не назад.

В этом же и заключалась одна из причин того, что, находясь на свободе, я не написал почти ни единого листа своих воспоминаний.

Но, кроме того, была и еще одна существенная причина. Чтоб сделать правильную характеристику наших переживаний, особенно в заточении, необходимо было быть вполне правдивым и откровенным и, очерчивая светлые стороны нашей прошлой жизни, не затушевывать и теневых. Только тогда рассказ и при-

нимает характер яркой реальности и производит сильное впечатление. Но в период самодержавия, когда главный этап нашей борьбы — ниспровержение абсолютизма — не был еще достигнут, о полной откровенности перед живым еще врагом нечего было и думать, и потому я наотрез отказывался от всех предложений издателей дать им повествование о нашей жизни в шлиссельбургском заточении.

Да и вообще трудно это сделать.

Нужен талант Достоевского для яркого описания нашей тогдашней жизни, где общий психологический фон давало насильственное заточение вместе со здоровыми или полуздоровыми людьми нескольких безнадежно помешанных или со страшно расстроенными нервами товарищей.

Такого таланта я не чувствовал в себе.

Я читал воспоминания Фроленка о том, как он устраивал огородничество, как он с великими усилиями добывал семена и вырастил даже несколько яблонь; я читал воспоминания Новорусского, как он, добыв несколько свежих яиц, тайно вывел из них цыплят, и какое это произвело впечатление не только на товарищей, но и на жандармов, когда, отворив его камеру, чтобы вести его на прогулку, они вдруг увидели, что за ним бегут несколько новорожденных цыплят.

Все это было так. Все это было совершенно верно, и я сам мог бы рассказать, как сначала вместе с Лукашевичем, а потом и один, получив под видом гистологических занятий вместе с микроскопом некоторое количество серной кислоты, селитры и других веществ, необходимых для обработки препаратов, устроил посредством их в камере для занятий с микроскопом целую химическую лабораторийку, где обучал Новорусского, Панкратова, Василия Иванова и нескольких других товарищей общей, аналитической и органической химии вплоть до приготовления,— конечно, в гомеопатических дозах,— даже динамита, тогда как администрация все время думала, что я обучаю товарищей чистой гистологии и микроскопической технике.

Но разве это был бы действительный очерк нашей жизни? Разве мой читатель не получил бы из него о ней самое извращенное представление?

Разве не показалось бы ему после таких описаний наше пребывание в Шлиссельбургской крепости тихой работой в каком-то культурном уголке в царствование Александра III и первых лет Николая II, тогда как на деле мы находились в самой глубине самодержавного пекла?

Читая такого рода утешительные воспоминания, как у Новорусского и Фроленка, мне часто страстно хотелось сделать к ним

корректив, который ярко показал бы, что все это была лишь серебряная парча на ряде гробов, в которых заживо погребались, как в катакомбах, предварительно подвергнутые страшным моральным и даже физическим пыткам и специально избранные из многих, три-четыре десятка очень хороших по натуре людей.

Дело в том, что наши враги, уничтожив бо́льшую часть из нас, первых народовольцев, медленной голодной смертью, со всеми сопровождающими ее страданиями — мучительным голодом и цингой, от которой ноги постепенно пухли, как бревна, и мы умирали один за другим, когда опухоль переходила на живот,— применили к уцелевшим другое средство — убивать и искалечивать вместо тела их душу, и в нескольких случаях достигли этого. Посадить навсегда живым и одиноким в гробницу человека, у которого все жизненные интересы лишь были в общественной и революционной деятельности, то же самое, как не давать ему ни пить, ни есть, и он естественно увянет. Его мысль обращается, прежде всего, на воспоминания о прошлом или к мечтам о побеге и вертится, как в заколдованном кругу, пока через несколько лет все перемешается в его голове, и он впадет в тихое или в буйное помешательство. Спасаются в таких случаях только те, у кого, как у Новорусского, Лукашевича, Яновича, Веры Фигнер, Панкратова и большинства других моих товарищей по Шлиссельбургу, были, кроме революционных, научные интересы и значительный запас предварительных разносторонних, лучше всего естественнонаучных, знаний, которые можно обрабатывать даже без книг, улетая мыслью из стен своей гробницы в далекие мировые пространства, или в тайники стихийной и органической природы, или в глубину веков, а когда, наконец, дали книги, хотя бы даже только религиозного содержания, предаваясь их осмысленному изучению. Так поступал и я сам, когда мне в Алексеевском равелине дали для чтения Библию. Увидев, что тут много интересного материала для естествоиспытателя, я согласился даже на прием тюремного священника в качестве колеблющегося мыслителя, чтобы получать через его посредство и другие религиозно-мистические книги, которые и послужили первым материалом для моего «Откровения в грозе и буре», написанного в самом Шлиссельбурге, и материалом для выходящего только теперь моего историко-астрономического исследования «Христос».

Правда, что сначала мне очень не хотелось выставлять себя перед священником хотя бы даже и агностиком. Еще в мое первое пребывание по Большому процессу в Доме предварительного заключения, когда мне был только 21 год и мне предложили пойти в находящуюся там домашнюю церковь, я с гордостью

отказался. Но когда пошедший туда сосед сказал мне, что в этой церкви запирают одиночек в крошечных чуланчиках с маленькими окошечками перед лицом, чтобы смотреть во внутренность церкви, и что через эти окошечки можно видеть наших товарищей-женщин и даже можно перестукиваться с ними, если они попадут в соседний чуланчик, я тотчас отбросил свою юношескую щепетильность.

Припомнив, как я когда-то восхищался Пальгревом, когда он проник в запретную для всех немусульман Мекку, разыгрывая роль мусульманина-богомольца, и прикладывался там к «черному камню, брошенному архангелом Гавриилом с неба», для того, чтобы потом все это описать, я заключил, что и с нашей стороны не более греха приложиться ко кресту и даже устраивать мимикрию исповеданья и причащенья, хотя бы только для того, чтобы повидаться с товарищем по заточению, раз мы преследуемся не за антирелигиозную деятельность и не сектанты, воображающие, что в чаше с причастием сидит чёрт.

Обдумав дело ближе, я пришел даже к заключению, что всякое лукавство допустимо и даже обязательно для революционера-заговорщика, за исключением одного: просить себе у врага помилования.

Так и я вел себя с тех пор при первом и при втором моем пребывании в Доме предварительного заключения по Большому процессу.

Потом, при третьем заточении, уже на всю жизнь, когда меня вместе с несколькими товарищами по «Народной воле» посадили в абсолютное одиночество, как в могилы, в ужасный Алексеевский равелин Петропавловской крепости, мы тоже согласились на прием священника, как только нам это предложили, но тут уже была другая причина. При романтическом настроении наших голов, как и всегда бывает у революционеров-заговорщиков, нам представлялось, что под видом священника к нам может проникнуть наш товарищ со свободы с целью освободить нас. Ведь если Фроленко, сидевший тут же с нами, проник под видом тюремщика в киевскую тюрьму с целью освободить своих товарищей Дейча, Бохановского и Стефановича и успешно выполнил это, то почему бы не явиться кому-нибудь и к нам под видом исповедника и, оставшись наедине, не выведать подробностей нашей жизни и не предупредить, что́ мы должны делать при попытке нашего освобождения?

Разве не приходила ко мне на свидание в Дом предварительного заключения Вера Фигнер под видом моей сестры, в то время, как ее самое жандармы могли посадить в этот самый дом? Разве и с другими не было таких же романтических случаев?

Отказаться от разговора наедине с посторонним человеком при полной нашей изоляции от внешнего мира казалось прямо нелепым. Правда, священник оказался самым обычным клерикалом, и — кто его знает,— может быть, подосланным шпионом, но для меня лично открылась тут новая перспектива. Мне ничего не оставалось, как изобразить себя перед ним человеком, бывшим в детстве очень религиозным (это была совершенная правда), но потом, благодаря несогласию священного писания с естествознанием, впавшим в скептицизм, может быть, от недостаточного знакомства с историей религий, так что я был бы очень благодарен, если бы мне позволили читать хоть религиозные книги, тогда как нам не дают абсолютно никаких, кроме недавно выданной Библии, в которой я нашел много нового и интересного для себя.

И вот нам всем стали давать и «Жития святых», и «Творенья святых отцов», и другие историко-религиозные книги, и я получил возможность накопить за неимением ничего лучшего запас историко-религиозных знаний.

Потом, когда (уже после перевода в Шлиссельбург, да и то не сразу) получилась возможность заниматься естественными и математическими науками и религиозные книги стали более не нужны, я перестал приглашать и священника, подобно тому как и Пальгрев снял свое платье мусульманского паломника после ухода из Мекки.

Отсюда видно, что если я не сошел с ума во время своего долгого одиночного заточения, то причиной этого были мои разносторонние научные интересы, благодаря которым я часто говорил про себя своим мучителям: если вы не даете мне возможности заниматься тем, чем я хочу, то я буду заниматься тем, чем вы даете мне возможность, и если от этого вам будет только вред, то и вините лишь самих себя.

В аналогичном положении было в Шлиссельбургской крепости и большинство других товарищей, имевших, кроме революционных, научные интересы, и я уже указывал специально на Лукашевича, Яновича, Веру Фигнер, Новорусского. Но вы представьте себе положение тех, у кого не было в жизни никаких других целей, кроме революционных. Попав в одиночное заточение, они догорали тут, как зажженные свечи, как умерли Юрий Богданович, Варынский, Буцевич; другие кончали жизнь самоубийством, как Тихонович, Софья Гинсбург или Грачевский, сжегший себя живым, облив свою койку керосином из лампы и бросившись на нее после того, как зажег этот костер фитилем. Третьи предпочли быть расстрелянными, как Мышкин, бросивший в смотрителя тарелку, потому что не имел возможности подойти к нему для удара, и как больной и уже полупомешанный

Минаков, ударивший доктора (который подошел к нему для выслушивания легких) исключительно для того, чтобы его расстреляли. И оба были тотчас же казнены.

А из тех, которые не умерли таким образом, многие сошли с ума, впадали в буйное помешательство, кричали дикими голосами, били кулаками в свои железные двери, выходившие в один и тот же широкий тюремный коридор, с каждой стороны по 20 камер в два этажа, причем верхний этаж был отделен от нижнего только узким балкончиком.

Всякий их крик и вой разносился гулом по всем 40 камерам, каждый их удар кулаком в железную дверь вызывал резонанс во всех остальных и отзывался невыносимой болью в сердцах остальных заключенных.

И вот, если б какая-нибудь девушка-энтузиастка, представлявшая Шлиссельбургскую крепость только по некоторым вышедшим описаниям, попала тогда в нее, то с ней случилось бы следующее. Пройдя сзади тюрьмы мимо тех висячих садов Семирамиды, которые устроил под бастионом и так хорошо представил ей мой дорогой товарищ Фроленко, она вышла бы в наш гулкий коридор и в нем прошла бы мимо тех волшебных мастерских, которые так привлекательно изобразил другой мой дорогой, но теперь уже умерший, товарищ Новорусский в своей книге «Тюремные Робинзоны». Затем она прошла бы и мимо камеры с лабораторией, где под видом изучения гистологии я тайно обучал моих товарищей химии, после того как в мастерских-камерах нам разрешили работать вдвоем. Конечно, ее привели бы к нам уже не в качестве зрительницы (таких у нас не было вплоть до посещения нас митрополитом Антонием и княжной Дондуковой-Корсаковой незадолго до упразднения старой Шлиссельбургской крепости, куда сажали и откуда выпускали не иначе, как за личной подписью самого императора), а в качестве новой заточенной, и тут ее ожидали бы такие первые приветствия.

Около 9—10 часов утра она с ужасом услышала бы очередной жутко безумный рев сошедшего с ума Щедрина, воображавшего себя то медведем, то другим диким зверем, кричавшего всевозможными звериными голосами (хотя в перерывы он считал себя императором всероссийским), что продолжалось нередко с полчаса и иногда сопровождалось битьем кулаками в гулкую дверь. Затем наступила бы гробовая тишина, после которой через несколько часов она услышала бы очередное жутко безумное пенье сошедшего с ума Конашевича-Сагайдачного, начинающееся словами:

Красавица, доверься мне,
Я научу тебя свободной быть!

А после этого обязательного вступления последовали бы еще два-три куплета эротического содержания, и песня эта, собственного сочинения безумного певца, повторялась бы все снова и снова таким гулким, убеждающим кого-то голосом, что чувствовалось, как будто эта красавица стоит лично перед ним и отвечает на его пенье. Мороз пробегал по коже и волосы шевелились на голове от этого пенья даже и у того из нас, кто слышал его каждый день в продолжение многих лет.

И она тоже стала бы слышать эти звериные крики и пенье каждый день с прибавкой по временам буйных ударов в дверь и криков изнервничавшегося Попова, а одно время еще и третьего, сошедшего окончательно с ума, но более спокойного, чем Щедрин и Конашевич,— Похитонова.

И такую девушку-энтузиастку к нам действительно привели. Это была Софья Гинсбург. Правда, ее посадили с обычной целью выдержать первые месяцы в абсолютном одиночестве не в нашу, а в маленькую, так называемую старую тюрьму, служившую карцером, но туда же временно увели слишком разбушевавшегося у нас Щедрина, и он, по обычаю, ревел там медведем и другими звериными голосами. Его безумные крики и битье кулаками в гулкие двери так невыносимо подействовали на вновь привезенную девушку, что через несколько дней она попросила себе ножницы как бы для стрижки ногтей на ногах, а когда ей принесли их в камеру и на время ушли, она (как мы узнали уже через несколько лет) перерезала ими себе артерии и умерла.

Такова была моральная обстановка, при которой приходилось остальным, не обезумевшим, разводить свои цветники, делать художественные шкатулки, собирать гербарии, изучать астрономию, математику и другие науки и преподавать их друг другу.

И нам приходилось быть не только страдающими свидетелями, но иногда и спутниками своих умалишенных товарищей, иногда даже с риском для себя, особенно мне, как человеку, которого наше начальство (хотя и напрасно) считало более крепким нервами и потому нередко просило успокоить то того, то другого.

Так, когда были разрешены прогулки вдвоем, мне поочередно пришлось гулять со всеми нашими сумасшедшими, но это большей частью кончалось тем, что они меня прогоняли через две или три недели.

Когда меня в первый раз привели к Щедрину в его прогулочную загородку, я с болью в сердце увидел перед собою, прежде всего, такую картину. На нем накинуто в виде плаща арестантское одеяло, в серую шапку воткнуто куриное перо, а сбоку бол-

тается какая-то тряпка в виде кортика. Он встретил меня сначала с величественным видом и, не подавая мне руки, сказал:

— Известно ли вам, кто я такой?

— Да,— ответил я почтительно, но неопределенно.

Тогда он милостиво протянул мне два пальца и затем начал говорить непередаваемую бессмыслицу, из которой, однако, можно было понять, что он не терпит заговорщиков, но предполагает, что я не принадлежу к их числу. В продолжение двух или трех десятков прогулок я старался развлекать его разными посторонними рассказами и даже с некоторым переменным успехом, потом хотел заинтересовать его чтением, но безуспешно: его внимание тотчас же прекращалось. Положение мое было мучительное, но я не считал себя вправе отказаться от прогулок с ним, хотя и доходил уже до истощения своих нервных сил. И вдруг он сам ликвидировал мое невыносимое положение. Когда я раз сказал ему после десятка его требований, что и теперь никак не могу получить ему ответа, кажется, от английской королевы, он с презрением взглянул на меня и повелительно сказал:

— Пошел вон, и больше не смей показываться мне на глаза. Ты такой же негодяй, как и все твои товарищи.

В таком же роде кончилось и мое назначение гулять вдвоем с другим сумасшедшим — Конашевичем-Сагайдачным, чтобы успокаивать его. Он тоже навесил на себя какое-то тряпье и объявил мне с самого начала, что он украинский гетман, сменивший русского императора вследствие присоединения России к Украине, и назначил меня своим премьер-министром.

Сначала он интимно рассказывал мне каждый день почти теми же словами, что к нему приходит его возлюбленная, поразительная красавица, с которой он поет дуэты. Потом он тоже поручил мне переписку с иностранными дворами. Повторилось почти буквально то, что и со Щедриным. Когда недели через две я тоже не смог ему доставить ответа от какого-то иностранного двора, он подошел ко мне вплотную и сказал шипящим голосом:

— Если ты, обманщик, сейчас же не уберешься к чёрту, то я тебя немедленно задушу! — и он приготовил для этого свои руки.

Понятно, что мне ничего не оставалось, как поскорее ретироваться.

Не лучшей была моя прогулка и с третьим сумасшедшим — Похитоновым, хотя он и не считал себя русским императором. Это было уже не по распределению начальства, а по просьбе товарищей, которые заметили, что он заговаривается.

Сначала дело шло довольно хорошо, мне удавалось развлекать его. Но раз он сел на скамейку, посадил меня с собою рядом, засучил рукава и сказал:

— Гипнотизируй меня!

— Каким образом?

— Вот так: три мою руку выше локтя своей рукой!

Я начал по приказанию, но через несколько минут с ним сделалась истерика, его увели в камеру и больше к нему меня не приводили.

Конашевич и Щедрин умерли потом в психиатрической лечебнице, а Похитонов еще раньше их в Николаевском военном госпитале.

Опаснее был случай с Поливановым, который по временам впадал в мрачную меланхолию, несколько раз неудачно покушался на самоубийство и потом уже после освобождения из Шлиссельбургской крепости по коронационному манифесту Николая II действительно покончил самоубийством во Франции, куда он бежал из ссылки.

Однажды летом, когда я на прогулке удалился в свою одиночную загородку, чтобы заниматься, ко мне неожиданно впустили Василия Иванова, как это делали жандармы в последнее десятилетие нашего заточения, если кто-нибудь просил об этом и в загородке был только один человек. Он подошел ко мне встревоженный и сказал тихим голосом:

— С Поливановым что-то случилось. После прогулки со Стародворским он вошел ко мне в переплетную мастерскую с совершенно безумными глазами. «Теперь я знаю как вы все ко мне относитесь, товарищи,— сказал он,— и я покажу вам себя». Он взял финский нож (служивший для резки картона по железной линейке), спрятал его под курткой и стал стучать в дверь, чтобы жандармы увели его в камеру. «Зачем вам этот нож?» — спросил я его.— «Уморю себя голодом, а если кто из вас войдет с увещаниями ко мне в камеру, убью его этим ножом». Как тут быть? Он действительно способен исполнить свое слово.

Очень обеспокоенный, я возвратился в свою камеру, приготовившись обедать, но вдруг вошел ко мне смотритель.

— Номер девятый (под каким был Поливанов) в очень нервном состоянии. Пойдите и успокойте его.

Я хорошо знал, как опасен Поливанов, когда находят на него острые припадки безумия, и он ничего тогда не помнит, но отказаться было невозможно. Я попросил смотрителя оставить меня на минутку одного, взял несколько самых толстых из своих тетрадей, обернул ими под рубашкой и курткой всю свою грудь и живот, подвязал все это, чтобы не съезжало, полотенцем, думая, что нож не пробьет такого слоя бумаги, и пошел к Поливанову.

Когда мне отворили дверь, он, насторожившись, стоял в противоположном углу. Жандарм захлопнул нас на замок и ушел,

а я очутился один на запоре с товарищем в припадке мрачного сумасшествия и с финским ножом, кончик которого я тотчас же увидел спрятанным под книгой на столике.

Поливанов медленно подходил ко мне, брови были сдвинуты, глаза дико обращались то на меня, то на то место, где был спрятан нож. Впечатление было такое, как если бы это был человек загипнотизированный, действующий автоматически, как простой механизм.

— Ты зачем ко мне пришел? И ты таков же, как все остальные? Я покажу, как со мною шутить.

Я инстинктивно чувствовал, что малейшее выражение беспокойства с моей стороны кончится для меня трагически. С беззаботным видом я сел на его кровать, умышленно не глядя на место, где виднелся кончик ножа, и ответил спокойным голосом:

— Пришел, чтобы попросить тебя прочесть мое новое стихотворение и указать на недостатки.

Я подал ему нарочно захваченную тетрадку со своими стихами (он тоже писал по временам стихи и давал мне на просмотр).

— Неправда,— ответил он,— ты пришел успокаивать меня. Но ты знаешь, что я должен за это сделать?

— Ничего не слыхал.

Видя, что он не берет стихов, я сам начал читать их.

Он забегал из угла в угол, мимо стола, все время поглядывая то на меня, то на место, где лежал нож. И вот через некоторое время я увидел, что дыхание его стало глубже и ровнее, брови понемногу раздвинулись и мрачные черные глаза потеряли бессмысленный вид.

Увидев, что припадок проходит, я спросил его, наконец:

— Что с тобою?

— Если буду когда-нибудь на свободе,— ответил он мне загадочно,— прежде всего вызову Стародворского на дуэль.

И он больше никогда не здоровался с ним.

В форточку нашей двери жандармы протянули руку с обедом, я взял и для себя и для него и с большим трудом уговорил его есть. Тут я пришел невольно еще к одной психической особенности нашей шлиссельбургской жизни, имеющей в основе романтическую подкладку.

Каждый сидевший в одиночном заключении, у которого была соседка, поймет меня без слов. После первых же дней перестукиванья с нею он начинает воображать ее чудом женской красоты и совершенства и влюбляется в нее заочно. Но само собой понятно, что тот образ, который рисуется в его воображении, совсем не похож на реальный, и потому не раз случалось, что при пер-

вом же свидании с нею он совсем становился в тупик: не может быть, что это та самая, с которой он перестукивался ежедневно несколько месяцев.

С Верой и Людмилой не случилось этого.

К тому первому периоду, к которому относится рассказанный мною случай с Поливановым, их удавалось уже видеть на прогулке из форточек окна. Но тем не менее каждый был влюблен то в ту, то в другую, хотел сидеть в камере около нее, ревновал других, которые были ближе, и особенно если кто посылал той или другой посвященные ей стихи.

При общем нервном состоянии, причиной которого были пожизненность заключения и только что очерченные мною психопатические постоянные выходки помешанных, сидевших между нами, это приводило нередко к сумасбродным предложениям, которым я всегда противодействовал. Так, раз Попов при каком-то из своих сердечных припадков по поводу Веры или Людмилы поднял агитацию за то, чтобы мы все, вместо того чтобы умирать здесь и сходить с ума безмолвно и поодиночке, умерли бы все разом с эффектом, который может отразиться на самих наших врагах.

— Разобьем все разом окна в наших камерах и будем кричать. «Караул! Нас живыми замуровали в гробы!» Будем кричать и бить кулаками в двери до тех пор, пока часовые нас всех не расстреляют или не придушит начальство.

Поливанову эта идея тоже очень понравилась, и я почувствовал, что если все из нас и не согласятся, то часть действительно способна на такое сумасбродство. Попов начал обвинять несогласных в трусости, а мне захотелось как-нибудь снять с себя и их этот неприятный попрек, и я простучал ему на другой день в стену (мы сидели иногда через камеру) стихотворение, будто бы найденное мною в книге, но на самом деле написанное в тот же вечер.

С ЧЕРКЕССКОГО*

Храбрый воин бьется смело,
Битва с ним — плохое дело!
Он в борьбе суров и лих,
Но в плену он прост и тих.
Жалок трус в пылу сраженья,
В бегстве ищет он спасенья.
Но в плену, спаси Аллах,
Забывает всякий страх!

* Стихотворение это было впервые напечатано в книжке «Из стен неволи» в 1906 году, но, конечно, без объяснения причин его возникновения.— *Н. М.*[83]

Попов не поверил, что это было найдено мною в книге, и долго сердился на меня, но все же обидная постановка вопроса была снята, все уладилось, и мое стихотворение осталось единственным памятником его предложения.

Вторая наша тревога на романтической подкладке была с Лопатиным.

Очень талантливый как рассказчик и полемист, он также мог писать и недурные стихи и, пользуясь этим, чуть не каждый день посылал через промежуточных товарищей стуком мадригалы и Вере и Людмиле, сидевшим далеко от него, что стало вызывать у передатчиков ревность и понятное расстройство нервов. А он не обращал на это никакого внимания. Наконец, Вере стало неловко, и она попросила его больше не присылать ей стихов. Обиженный, он перестал совсем писать стихи, и нас всех это рассмешило.

Я написал и послал ему тогда такое стихотворение.

Г. А. ЛОПАТИНУ

Давно ль под говор струн и музы сладкогласной,
Товарищ дорогой, ты пел, как соловей?
Скажи же, для чего умолк напев прекрасный?
Что сделалось с тобой и с музою твоей?

Лежит ли на душе тяжелая обуза,
И стал тебе не мил приветный белый свет?
Забыл ли музу ты? Иль вертихвостка-муза
Не хочет воспевать заветный свой предмет?

Иль говорливых струн немолчное бряцанье
Нашло себе врага среди твоих друзей,
И леденит его холодное дыханье
Прелестные цветы поэзии твоей?

Увы! Не знаем мы. Но, сумрачны и сиры,
Безмолвно целый день сидим мы по углам.
Твой громкий голос смолк, твоей не слышно лиры,
И горькая тоска запала в души к нам! *

Лопатин не рассердился на мою шутку и ответил такими же шутливыми стихами, но на него очень подействовало, когда Юрковский и Лаговский, обрадовавшись его неудаче, стали издеваться над ним очень зло. Он не оставался в долгу, и в конце концов влетело и мне за попытку прекратить их ссору.

---

* Тоже было напечатано в книжке «Из стен неволи» в 1906 году без объяснения причин возникновенья.— *Н. М.*[84]

Таковы были несколько случаев потери душевного равновесия, которые имели в нашей шлиссельбургской жизни своим первоисточником романтическую подкладку. Они не менее интересны психологически, чем все остальное, и не мало содействовали унылому настроению тех, кто не был к этому склонен по природе. И романтической же стороне, хотя бы и отчасти, приписываю я некоторые другие события, которые не могли содействовать сохранению общего душевного равновесия.

Из всех явлений нашей жизни за последние пятнадцать лет особенно интриговало меня в Шлиссельбурге то обстоятельство, что все, что говорили мы на прогулках, каким-то непонятным, таинственным способом делалось известным коменданту. Я приписывал это тому, что у большинства моих товарищей утратилась способность всестороннего внимания, и потому, начав во время прогулок вдвоем какой-нибудь разговор, они уже совершенно забывают, что за стеной у них стоят дежурные унтерофицеры. Поэтому во всех тех случаях, когда мне приходилось узнавать какую-нибудь новость, я из предосторожности взял за правило не сообщать решительно никому, каким путем я ее получил, и только потом убедился, что моя осторожность была совершенно необходимой.

Однажды доктор прописал мне на ужин пару яиц, и мне подавали их завернутыми в обыкновенную рыжую бумагу. Вдруг в один прекрасный вечер подают мне их завернутыми в клочок газеты. Я тотчас посмотрел его содержание. Там было написано об убийстве Балмашевым министра внутренних дел Сипягина. Для нас, сидевших много лет без новостей и считавших уже, что всякая революционная деятельность заглохла, это было целым откровением. Я понял, что такой клочок был передан мне нарочно каким-то доброжелателем. Не показать его товарищам было невозможно, и я на следующий день дал его своему соседу по прогулкам, чтоб он передал его далее в щелки смежных прогулочных клеток для прочтения с непременным условием возвратить мне бумажку для уничтожения собственными руками, и тут же объяснил, будто я нашел ее накануне на грядке в седьмом огороде, «должно быть часовой обронил ее случайно».

Клочок газеты возвратился ко мне в ту же прогулку, и я его уничтожил, но тут случилось одно обстоятельство, которое заставило меня еще более насторожиться. На следующий же день ко мне на прогулку приходит Стародворский и после некоторого разговора о самом событии начинает тщательно расспрашивать меня, в каком именно месте седьмого огорода я нашел клочок. Затем, спросив жандарма, свободен ли седьмой огород и получив утвердительный ответ, он попросил его отвести нас туда.

— Где же именно лежала бумажка? — спросил он меня.

— Вот как раз между этими двумя репами,— ответил я ему, совершенно недоумевая, зачем ему нужна такая точность.

И моя тревога еще более усилилась, когда на следующий же день часовой, ходивший вдоль по бастиону над нашими огородами, оказался переведенным на соседний угол, с которого ничего нельзя было к нам бросить. Да и яйца мне стали давать без всякой бумажки. Для меня было ясно, что часовой был сдвинут недаром, а за мной было приказано специально следить.

«Неужели Стародворский? — подумал я, но в то же время сам устыдился такой мысли.— Не может быть, чтобы человек, сидевший столько времени, вдруг сделался изменником! Наверно проболтался на прогулке кто-нибудь».

Но тем не менее я почувствовал инстинктивное недоверие к Стародворскому за его любопытство и стал с ним очень осторожен в своих разговорах. Потом, когда началась японская война, я снова первый узнал об этом. Я выхлопотал себе перед этим позволение на зарабатываемые переплетами деньги выписывать себе английский журнал «Knowledge» * и, получив раз очередной номер, вдруг увидел там объявление о том, что можно покупать в таком-то лондонском магазине стереотипные снимки сцен войны между Россией и Японией, в числе которых упоминались бомбардировка японцами Порт-Артура, выход русского флота в Желтое море и так далее. Я сразу понял, что самодержавие в России рухнет в этом испытании и что наша комендатура, не зная по-английски, может пропустить и другие заметки в этом роде. Записав все это по-русски на бумажке, я тотчас же сорвал обложку с журнала и уничтожил, а товарищам сказал, что подслушал в щелку своих дверей и записал все то, что об этих событиях говорили жандармы в коридоре. Так же сделал я и потом, когда еще получил таким же путем два-три сведения о войне.

Товарищи сначала не поверили мне, но вскоре убедились, что жандармы действительно о чем-то с волнением часто говорят друг с другом в стороне от нас, и поняли, что мое сообщение верно.

А Стародворский по-прежнему старался выведать от меня подробности получаемых мною сведений, и я в конце концов так насторожился относительно него, что, когда недели за две до нашего вывоза из Шлиссельбурга он, придя ко мне на прогулку, спросил:

---

* «Знание».

— А что бы вы стали делать, если б в случае вашего освобождения к вам пришли бывшие товарищи и предложили вам снова приняться за революционную деятельность?

Ни мало не колеблясь, я ему ответил моментально:

— Отказался бы наотрез! Я сказал бы, что мне надо, прежде всего, закончить ряд серьезных научных работ, которые я начал здесь, но не мог вполне обработать вследствие неимения хорошей лаборатории и литературы[85].

А в глубине души я думал: «Это еще посмотрим! Ведь наука и гражданская свобода не только не противоречат друг другу, но и невозможны одна без другой».

И вот я думаю теперь: не была ли эта моя осторожность причиной того, что мне в конце концов, хотя и не без сильного противодействия охранного отделения, все же удалось обосноваться в Петербурге, хотя тут у меня не раз производили обыски и даже через шесть лет меня вновь посадили на год в крепость, но только уже не в Шлиссельбургскую, а в Двинскую?

Такова была моральная атмосфера, в которой мы жили: вой и песни сумасшедших товарищей, из которых только Арончик умирал молча, общее ощущение какого-то тайного предательства или чьей-то крайней неосторожности и время от времени истерические припадки то того, то другого из трех, особенно нервно настроенных людей — Михаила Попова и Сергея и Василия Ивановых, на которых несколько раз с топотом и криками надевали сумасшедшие рубашки, а мы, запертые за железными дверьми, не могли ни вступиться, ни помочь.

В 1896 году последовала, наконец, половинчатая амнистия, кажется, по случаю коронации императора Николая II. Увезли Людмилу, Яновича и некоторых других менее замешанных товарищей по заточению. Увезли и буйных сумасшедших Конашевича с Щедриным, и кошмарные их крики и песни перестали долетать через железные двери наших камер из коридора. Наступила для нас, здоровых, некоторая передышка, но не надолго. В 1901 году привезли к нам Карповича и посадили в камере между нами, прежними заточенными, но совершенно изолировав, без права пользоваться прогулками вдвоем с товарищами и ходить в мастерские. Всякая попытка перестукиваться с нами встречала помеху жандармов, начинавших тоже стучать в коридоре. Сначала мы думали, что это на первое время, как говорили и жандармы, но недели проходили за неделями, а положение его не изменялось. Это ставило нас всех в самое неловкое, если не сказать более, положение. Стыдно было пользоваться льготами, которых лишен один из сидящих между нами, особенно после того, как его соседям все-таки удалось завести с ним сношения стуком.

Ему самому стало невыносимо обособленное положение. Он объявил, что уморит себя голодом, и действительно отказался от пищи.

Около так называемого большого огорода, в верхней части заборов которого, как и в других огородах, были сделаны решетки, позволявшие разговоры с соседними огородами и передачи тетрадей, поднялся в моем присутствии вопрос о необходимости так или иначе выручить Карповича, голодовка которого, если ему все-таки не дадут прогулки с нами, должна была окончиться смертью.

Мне предложили написать об этом просьбу директору департамента полиции, что очень меня сначала затруднило. С самого первого дня заточения я поставил себе правилом не заявлять никому никаких жалоб на свое положение, и до тех пор строго держался этого. Но дело шло теперь о жизни человека, который шел по тем же стопам, по каким и я пришел сюда. Имею ли я моральное право безучастно смотреть на его гибель, если есть надежда ему помочь? И голос совести ответил мне, что ни в каком случае. В каком же виде сделать свое заявление? Только в виде просьбы, так как требование привело бы к обратным результатам. Значит, если делать что-нибудь, то надо делать в такой форме, которая принята официально.

Мы совместно составили обращение, которое приложено мною далее. Я его показал четырем соседям по огороду, которым принадлежала инициатива спасения Карповича, и послал через смотрителя коменданту для передачи в департамент полиции.

Узнав об этом, Карпович прекратил голодовку, но ответа от департамента не последовало, и положение его не изменилось, по крайней мере в продолжение нескольких месяцев. А вслед за тем, весной 1902 года, мне самому уже без всякого совещания с товарищами пришлось писать в департамент еще новое послание.

Совершенно неожиданно для нас все наши камеры обошел с мрачным видом смотритель и объявил, что вследствие постоянных нарушений нами тюремной инструкции нас не будут более пускать друг к другу в камеры (что мы делали для преподавания иностранных языков тем из товарищей, которые их не знали, и для ухода за больными), а также сделают ряд и других стеснений. Особенно волновала всех кажущаяся полная беспричинность такого распоряжения. Удушливость тюремной атмосферы дошла в следующие дни до крайности благодаря всяким мрачным предположениям, неизбежным в нашей изолированной от всего мира обстановке. Потом, дня через два, когда уже наступила гробовая тишина ночи и смотритель, заглянув в глазки наших дверей, ушел к себе, вдруг снова загремели запоры наружной двери,

раздался топот нескольких жандармских ног на противоположной половине тюрьмы, загремели запоры какой-то камеры, послышалась там громкая перебранка, затем чьи-то дикие крики, как будто человека, которого душат. Часть заключенных начала бить кулаками в двери, пронесся крик моей соседки Веры:

— Что вы с ними делаете?

Никакого ответа.

Новая беготня жандармов, новое битье кулаками в железные двери взволнованных товарищей, все то, что описано в приложенном мною далее заявлении, настоящая сцена из сумасшедшего дома. Понятно, что ни один из нас не мог заснуть всю эту ночь, не понимая, что произошло, и нервы у всех готовы были порваться. Только утром мы узнали, что вязали Сергея Иванова за нервный припадок.

Но еще хуже вышло на следующий день. Неожиданно я услышал, как в комнату Веры в сопровождении жандармов вошел смотритель, начался какой-то резкий разговор, потом вдруг и смотритель и жандармы выбежали из ее камеры, захлопнув с грохотом ее двери, побежали по коридору, выбежали из тюрьмы, а затем раздался на весь коридор стук Веры ложкой в ее железную дверь:

— Я сорвала погоны со смотрителя.

Наступило гробовое молчание. Мы все ясно сознавали весь ужас нашего положения. Это значило — быстрый полевой суд и расстрел Веры. Так было у нас с Мышкиным, так было с Минаковым.

[...] Особенно болезненно отразилось это на мне. Я и Вера были друзья с самой нашей юности. Я встретился с ней впервые в Женеве, где я был самым молодым из всех политических эмигрантов, а она студенткой Бернского университета. Я тотчас в нее влюбился, но скрывал это от всех и в особенности от нее. Я считал себя, прежде всего, недостойным ее и, кроме того, уже обреченным на эшафот или вечное заточение, так как непременно хотел возвратиться в Россию и продолжать с новыми силами и с новыми знаниями начатую борьбу с самодержавным произволом, беспощадно душившим свободную мысль. Потом мы встретились с ней оба на нелегальном положении в России и работали вместе в «Земле и воле» и в «Народной воле» и, наконец, очутились рядом в Шлиссельбургской тюрьме. Ее жизнь была для меня дороже своей и ее предстоящая казнь казалась мне и моей моральной казнью, если я не использую всех возможных средств, чтобы ее спасти[86].

Я быстро и неслышно ходил в эту ночь почти до утра из угла в угол своей камеры (башмаки свои я давно подклеил вой-

локом, чтобы мои шаги не беспокоили Веру) и обдумывал, что я мог бы сделать. Мне было ясно, что единственное средство ее спасти — не допустить дело до военного суда, хотя бы против ее воли и даже помимо ее ведома.

«Если Вера без нашего согласия хотела отдать свою жизнь для спасения нас,— думал я,— то и каждый из нас имеет право не допустить ее до этого, не спрашивая ее согласия, хотя бы способ спасения был и не в ее вкусе. Если существует случай, когда можно сказать, что цель оправдывает средства, то такой теперь предстал передо мной, и я не должен ни минуты колебаться».

У меня было большое преимущество перед большинством товарищей: благодаря моему самообладанию у меня никогда не было столкновений с тюремщиками. «Используя же,— думал я,— эту свою особенность, представлю поступок Веры как результат происшедших перед этим тяжелых сцен. Надо дать яркую картину предшествовавших событий, но, дойдя до их результата — срыва погон,— сразу остановиться, потому что это им и без того известно и напоминать не надо. И пусть будущий историк, найдя после моей смерти в архиве департамента полиции этот документ, подумает, не сопоставив даты с предшествовавшими событиями, что и у меня вырвался раз в неволе непроизвольный крик измученной души,— мне это все равно! Не для него я жил и делал свое дело. Была бы лишь спокойна моя собственная совесть, а этого не будет более никогда, если я не приму немедленно всех возможных для меня мер к спасению Веры».

Если мое послание в департамент не подействует и ее все-таки будут судить, то я попрошу, чтоб меня вызвали на суд свидетелем, а если откажут, разобью стекла в окнах своей камеры и буду кричать через них о том же.

На суде я все представлю в гораздо более мрачных красках, чем в моем предварительном изложении; ведь для того чтобы меня решились вызвать на суд, надо быть вдвойне осторожным в своем послании.

Надо выставить себя более доброжелательным, чем есть на самом деле, и я начну, прежде всего, со своих постоянных научных занятий, о которых знало все начальство.

Я взял в руки карандаш и начал писать черновик следующего послания, нарочно по общепринятой форме тогдашних официальных бумаг (привожу его здесь дословно, снабдив лишь пояснительными вставками в скобках, чтоб читатель, не знающий деталей тогдашней нашей жизни, ясно видел, в чем было дело).

«6 марта 1902 г.

Его Превосходительству г-ну директору департамента полиции *.

Уже более 21 года я нахожусь в заключении, занимаясь по целым дням физико-математическими науками, насколько позволяют условия моей жизни и здоровье. Никогда у меня не было никаких столкновений ни с начальством, ни с товарищами по заключению, хотя здоровье и нервы мои расшатались за это время никак не меньше, чем у других. При всех недоразумениях я старался успокаивать взволнованных товарищей в полном сознании, что чем более они будут давать волю своим нервам, тем скорее они их сведут в могилы. Не раз бывали случаи, когда сами представители местной администрации, особенно бывший начальник управления г. Гангардт, приходили ко мне с просьбой успокоить того или другого из товарищей, находящегося в нервозном состоянии, и я всегда охотно, а часто и с успехом исполнял это поручение (*т. е. ходил на прогулки с Щедриным, Конашевичем и другими помешанными, успокаивал Поливанова и т. д.*), не скрывая, конечно, от товарищей по заключению, что меня об этом просило начальство.

С прошлой весны, когда между нами появился в полном одиночном заключении новый товарищ, все круто изменилось (*дело идет о Карповиче, привезенном к нам, кажется, весной 1901 года, которого я ввел в это заявление тоже исключительно как подготовку к изложению главного предмета своего заявления*). Несоответствие режима, на котором его держат, с нашим режимом, неизбежное во всяком изолированном мирке желание узнать, кто новый его житель и что случилось за стенами, отделяющими нас от окружающего мира, и затруднения, которые ставило все время местное начальство при попытках того или другого из товарищей по заключению вступить с ним в сношения, сильно возбудили у всех уже давно расшатанные нервы.

Сам новый товарищ оказался тоже чрезвычайно нервозным человеком, в состоянии постоянного возбуждения, особенно при первых безуспешных попытках узнать от нас о частностях нашей жизни. Мы каждую минуту ждали, что он, не успев ориентироваться в окружающей обстановке, сделает какой-нибудь поступок вроде самоубийства или криков и битья окон, который перевер-

* Теперь это заявление находится в архиве департамента полиции под заголовком: Дело № 860, ч. 10, 1884 г., Д. П., 5-е делопроизводство. О лицах, обвиняемых в принадлежности к террористической фракции социально-революционной партии. О Николае Александрове Морозове.— *Н. М.*

нет вверх дном всю нашу обычную, сложившуюся десятками лет обстановку. И действительно, не прошло и полугода, как случилась катастрофа: 20 августа (или около этого времени) он объявил всем, что решил уморить себя голодом, так как, по его впечатлениям, его держат в изолированном состоянии местные власти по собственному усердию, а не предписанию из Петербурга.

Уговорить его не делать этого не было никакой возможности ввиду самого изолирования. Поэтому, когда он начал действительно голодать, мы все были этим страшно взволнованы и удручены, тем более что и сношения с ним по общетюремному способу телеграфирования пальцем в стену скоро прекратились по причине его слабости, и никто более не знал, что с ним происходит. Из желания хоть чем-нибудь помочь делу, я на третий же день написал следующую просьбу в департамент полиции (*как я уже говорил, это была не моя инициатива, а соседей Карповича, гулявших рядом со мной. Воспроизвожу ее по воспоминаниям*).

«Его Превосходительству г-ну директору департамента полиции.

Позвольте обратиться к вашему превосходительству с просьбой облегчить чем-нибудь то тяжелое положение, в котором мы находимся в настоящее время. Между нами появился новый товарищ по заключению, камера которого находится между нашими камерами, прогулка между нашими прогулками, но который живет в других, более тяжелых условиях. Все, что мне удалось узнать от его ближайших соседей, заставляет меня прийти к заключению, что он принадлежит к числу тех внутренне неуравновешенных людей, которые сходят с ума или сгорают внутренним огнем в первые же несколько лет заключения при самых лучших условиях. Кроме того, как мне говорили, его очень волнует то обстоятельство, что его старуха-мать умрет с горя, не получая от него никаких известий. Вот почему его присутствие между нами страшно нас всех волнует и угнетает, и теперь, когда мы оказались безмолвными свидетелями его самоистязаний, у нас пропала всякая охота что-нибудь делать, и каждый, почти одновременно и без всякого соглашения с другими, замкнулся у себя в камере, причем я и большинство остальных товарищей специально просили местное начальство не считать это за демонстрацию с нашей стороны, а только за результат унылого настроения. Я очень прошу ваше превосходительство смягчить как-нибудь это тяжелое положение или, если это зависит не от вас, ходатайствовать об этом перед его высокопревосходительством министром внутренних дел.

Н. Морозов».

Это заявление, которое я восстанавливаю почти буквально по памяти, было передано мною г-ну начальнику управления через его старшего помощника, который и сообщил мне на другой день, что оно передано им по назначению. Однако я опасаюсь, что это заявление не было послано в департамент, так как новый товарищ, узнав, что его поступок сильно отразился на нашей жизни, решил (или это дало ему повод) прекратить свой голод, и через несколько дней благодаря умелому обращению и уговорам присланного к нам из Петербурга врача все было приведено в обычный вид.

Однако, несмотря на это, вся последняя зима была проведена нами в страшном нервном возбуждении: каждый по-прежнему чувствовал, что весь установившийся годами строй нашей жизни может рухнуть каждую минуту, а прежнего, который был в 80-х годах прошлого столетия, уже почти никто не будет в состоянии выдержать, так как здоровье у большинства сильно расшаталось, и притом все стали уже стариками.

И действительно, то, чего мы боялись, почти произошло.

В продолжение всей зимы у нас было все мирно. Никто, насколько мне известно, не получал никаких предостережений от начальства. Как вдруг 2 марта, в 5 часов вечера, всех нас обошел г. старший помощник начальника управления и притом в такой обстановке, какой не было уже в продолжение более чем 15 лет: под защитой унтер-офицера (а у некоторых, говорят, даже двух унтер-офицеров по обе стороны), и объявил:

— Г. начальник управления нашел, что инструкция здесь постоянно нарушается заключенными, а потому решил немедленно принять строгие меры к тому, чтобы она отныне исполнялась.

На мой вопрос, в чем же нарушение и какие будут перемены, я узнал следующее:

1) Что в камеру к другому товарищу (где он живет) никого более пускать не будут. (И таким образом всякий заболевший и неспособный выйти в мастерскую или на прогулку оказывается лишенным тех льгот, которые он имел здоровым).

2) Водить на прогулку будут не так, как прежде, т. е. отомкнув дверь сразу нескольким человекам, так, чтобы каждый из них успел, не торопясь, одеться, отворил сам свою дверь и затем прошел в свой дворик мимо цепи из нескольких унтер-офицеров, передающих его взглядом следующему, а за каждым будут приходить отдельно (так что время выхода последнего должно сильно затягиваться).

3) В мастерских двери будут всегда заперты. Таким образом, выход в коридор к пилильной машине и точилу, которые по громоздкости и ценности не могут быть устроены в наших мастер-

ских-камерах, а также в камеру, служащую кухней, где время от времени приходится подогревать клей, оказывается сильно затрудненным, и раз начатая работа по необходимости должна постоянно прерываться. А это при желании скорее окончить начатое дело неизбежно должно вызывать раздражительное состояние и еще более портить давно расстроившиеся нервы. *(Как оказалось потом, это распоряжение было вызвано тем, что Попов попытался переслать тайно письмо к своим родным через жандарма, убиравшего наши комнаты, а тот представил его по начальству*. Попов это от нас скрыл, и мы все находились, понятно, в полном недоумении и потому в чрезвычайном возбуждении и волнении.)*

Когда товарищи по заключению узнали, что нас будут лишать тех льгот, которыми все (за исключением женщин) пользовались без вреда для тюремного спокойствия более 10 лет, это их страшно поразило и вызвало целый ряд предположений: одни думали, что, вероятно, произошло покушение на жизнь государя и теперь нам всем будет плохо, другие предполагали, что, верно, начальник управления поссорился со своим старшим помощником и один из них хочет столкнуть другого, вызвав у нас какой-нибудь скандал. Были и другие предположения, самого невероятного характера, так что почти все пришли в чрезвычайно нервозное состояние.

К довершению всего, в 9 часов вечера при обычной проверке нас старшим помощником, заглядывающим в это время к каждому из нас в дверной глазок, вдруг раздались по коридору какие-то дикие, полузадушенные не то крики, не то стоны, затем все сразу оборвалось отчаянным визгом, и наступила мертвая тишина.

Несколько товарищей стали тихонько стучать пальцем в двери и спрашивать, что случилось.

Никакого ответа.

Два-три стали стучать громче и уже кричать полуистерически:

— Да скажите же, наконец, что случилось?

Гробовое молчание.

Кто-то стал бить кулаком в дверь своей камеры и кричать:

— Доктора!

Кто-то закричал:

— Караул!

К ним присоединились еще несколько, и вышло нечто невообразимое, напоминающее сумасшедший дом, каким и есть на са-

* Нам потом говорили, что представил письмо не он, а его товарищ, которому он его показал, но я этому не верю.— *Н. М.*

мом деле наша тюрьма уже в продолжение многих лет, с тех пор как у всех расшатались от долгого заключения и нервы и физическое здоровье. Все это повторялось раза три, и снова сменялось гробовой тишиной в продолжение получаса или немного более. Затем в коридоре раздался голос:

— Ничего особенного не случилось, с одним из товарищей сделался припадок. Сейчас придет доктор.

Тогда шум и крики сейчас же прекратились.

Только в следующие два дня я успел узнать, в чем дело, и понял, почему не отвечали на вопросы. Оказалось, что один из нас, № 28 (*Сергей Иванов; мы не имели права называть себя по фамилиям*), человек с особенно сильно расстроенными нервами и находившийся до суда на излечении у известного психиатра Чечотта, был в этот вечер уже наполовину в нервном припадке (*как раз из-за перемен в инструкции*). А унтер-офицеры, видя общее нервное возбуждение, усиленно заглядывали к нам в дверные глазки, что производит слабый стук, от которого вздрагиваю иногда и я. Это так его раздражало, что он завесил свой дверной глазок листом бумажки и на требование снять не только не исполнил этого, но обещал снова надеть, если его снимут.

Вместо того чтобы применить к нему ряд более мягких мер, которые указаны в § 7 нашей инструкции за неповиновение, к нему сразу применили меру, которая показана только за буйство, т. е. надели насильно смирительную рубашку, отчего произошел с ним эпилептический припадок.

Между тем никакого буйства здесь не было, потому что сопротивление нервного человека при надевании на него рубашки есть уже не причина наказания, а его последствие. А до надевания все было так тихо, что мы ничего не подозревали, хотя, живя более 15 лет в тех же самых стенах и камерах, выходящих в общий коридор, мы не только успели узнать каждый уголок своего жилища и окружающих его дворов, но до того привыкли ко всему, что в нем совершается, что сразу понимали значение каждого шума. Если кто-нибудь чихнет или кашлянет, каждый из нас сразу скажет, кто это и где он находится. И если звук или кашель незнаком, то можно быть уверенным, что три четверти из нас уже с удивлением прислушиваются к нему. Поэтому нет ничего удивительного, что большинство из нас сейчас же заметило, что доктор был позван и пришел лишь за несколько минут до того, как часы на колокольне пробили десять, т. е. более чем через полчаса после припадка с № 28 (*Сергеем Ивановым*), когда местное начальство убедилось, что не может привести его в сознание собственными средствами от случившегося с ним эпилептического припадка.

После этого мы все уже находились в самом нервозном состоянии, тем более тяжелом, что мы его сдерживали и старались казаться совершенно спокойными. Только моя соседка № 11 *(т. е. Вера Фигнер)*, которая как женщина была взволнована еще больше, чем все остальные, не могла совершенно совладать с собой *(только с этого момента я и счел возможным перейти к главной цели моего письма — спасти Веру от военного суда, выставив ее поступок как нервный припадок, хотя он в действительности был совсем не таким)*. Перед этим она только что начала писать свой обычный полугодовой ответ на письмо своей матери, но не была в состоянии его окончить, порвала несколько начал и, наконец, написала просто, что не может ей ответить о своей жизни подробно, как в прежних письмах, потому что случилось одно событие, которое перевернуло вверх дном весь ее душевный строй, но так как, по ее убеждению, оно зависело исключительно от местного начальства, то мать ее может справиться о нем в департаменте. Только послав это письмо, она мне протелеграфировала пальцем в стену, что если департамент возвратит ей это письмо, как неудобное, то она (если успокоится к тому времени) напишет другое в обычном роде, но она непременно хочет, чтобы решало это *(дело)* петербургское, а не здешнее начальство. Но на следующий день, 5 марта, старший помощник пришел к ней и сообщил, что это письмо, как неудобное, не будет послано в департамент, и на ее заявление, что пусть это решит сам департамент, показал ей то место в инструкции, по которому за неповиновение заключенный может быть лишен переписки с родными.

На ее вопрос:

— Значит меня лишают переписки?

Ответ был:

— Да...

(Тут я нарочно поставил многоточие, подойдя к тому единственному предмету, для которого и было написано мною все это заявление: Вера схватила смотрителя за погоны и сорвала их с него. Я понимал, что она не будет расстреляна лишь в том случае, если ее поступок будет признан за нервный припадок и департамент полиции не предаст ее военному суду, а для этого не надо было его подчеркивать. Они и сами знали, что́ тут произошло.)

Мне слишком тяжело продолжать далее эту печальную хронику нашей жизни. Прошу высшее начальство поверить моей искренности и потому, что у меня нет никаких причин желать зла нашей местной администрации. За все время моего заключения у меня не было с нею ни одного столкновения. Вся беда, мне

кажется, в том, что современное наше местное начальство не хочет признать, что большинство здесь — люди душевнобольные.

Я чувствую, что не знаю всех внешних веяний, под влиянием которых слагаются и изменяются условия нашей жизни, а потому очень боюсь, как бы и это мое изложение, вместо общей пользы, которую я имел в виду, не привело к совершенно обратным результатам. При различных обстоятельствах нашей долгой жизни в заключении нам не раз намекали, что мы находимся в полном распоряжении местной администрации, что нам никогда не придется узнать, что о нас пишут в докладах, никто не будет проверять их справками у нас, а потому могут написать, что угодно. Притом же есть всегда общий термин: «не признает инструкции и никакого начальства» или «остается при прежних своих воззрениях». За что можно уцепиться при таких общих отзывах?

Лет семь тому назад, почти тотчас же после восшествия на престол нового государя, один из офицеров во время какого-то увещания проговорился одному из нас (а потом и сам испугался сорвавшихся сгоряча слов), что в существовании этой тюрьмы и ее штате заинтересованы не мы одни, но и те, кто нас окружает, и потому нам нет причин рассчитывать на особенную снисходительность в здешних отзывах...

Мне очень тяжело это писать. Но что же мне делать? Окружающая жизнь начала слагаться в последние дни так тяжело, что заниматься, как прежде, науками стало теперь положительно невозможно. От всей души желаю, чтобы все это окончилось благополучно. *Николай Морозов.*

Дополнение *(сделанное для того, чтобы еще более подчеркнуть психическое состояние Веры и ее товарищей по заточению накануне события).*

В дополнение к предыдущему прибавлю еще несколько строк. Нервные системы здесь до того расшатаны, что у большинства товарищей делаются конвульсии в лице и в руках при всяком раздражительном споре, даже между собою. Новый товарищ *(т. е. Карпович)* в этом отношении, кажется, тоже ни на что не годен. У меня самого, несмотря на то, что я менее волнуюсь вследствие постоянных научных интересов, и притом исключительно по физико-математическим наукам, часто начинает что-то прыгать в руке, и я принужден бываю бросить начатую работу. Что же касается моей соседки № 11 *(т. е. Веры Фигнер, для которой все и подгонялось в этом письме, т. е. и Сергей Иванов, и я)*, которая, как единственная женщина, не пользовалась даже и теми льготами, которые имели мы, то почти все время своего заключения (в продолжение почти двадцати лет) она вздрагивает

и вскрикивает при каждом неожиданном стуке, так что я, ее сосед, все время обертывал и обертываю свои башмаки и ножки своего табурета сукном, потому что в ответ на каждое резкое движение стулом, или при неожиданном ударе подошвой по полу, за стеной тотчас же слышится возглас «Ай!», как ни слаб бывает тот звук, который доходит по полу до ее камеры. (Впрочем, нужно заметить, что слух у нас всех развился до необыкновенной тонкости.) В молодости она была светской женщиной (я знаю ее почти с детства) и могла весело болтать в гостиной, когда на душе скребли кошки, а тотчас же после ухода последнего из гостей бросалась на постель с потоками слез. Так и теперь она способна очень хорошо подобрать себя во время экстренных случаев, например приезда высшего начальства, но зато тем хуже ей бывает, когда после этого она на долгое время остается одна.

Н. Морозов.

7 марта 1902 г.

Приписка после ухода следователя. Только сейчас мы узнали о письме Попова и поняли, в чем дело. Это ужасно! *(т. е. то, что из-за провокации жандарма-уборщика произошла такая трагедия). Н. Морозов».*

Так я старался подгонять в этой записке все к своей основной цели, о которой уже говорил вначале: спасти во что бы то ни стало Веру, не довести дело до суда и формального следствия, а если суд все-таки будет, то не отрезать себе возможности попасть на него свидетелем, что было возможно лишь в том случае, если департамент полиции не будет предполагать, что я там выступлю с обвинением его в жестокости, хотя на самом деле я и собирался это сделать.

Я хорошо понимал, что Вера ни за что не допустила бы меня подать такое заявление, потому что она только желала ценою своей гибели облегчить наше общее положение, обратив внимание на невыносимое в психическом отношении состояние нашей темницы.

Не считал этот поступок нервным и я, но я ни за что не хотел допустить ее гибели и только потому и придал ему такой характер.

Мне очень хотелось предварительно показать этот документ некоторым товарищам, кроме Веры, чтобы посоветоваться с ними, но я чувствовал, что при том нервном состоянии, в котором все мы находились, каждый стал бы требовать своей редакции, так что ничего не вышло бы, кроме нового сумбура. И я

решил взять все исключительно на свою личную ответственность, не припутывая к ней никого другого.

Я переписал свой черновик в том виде, в каком он хранится теперь в архиве департамента полиции, и стал ждать приезда из Петербурга следователя по особо важным делам, чтобы подать ему немедленно, ранее, чем он зайдет к Вере или к кому-нибудь из других товарищей.

Мое душевное состояние было в эти дни невыносимо как по причине ожидаемой казни Веры, так и потому, что мне всегда органически было противно делать какое бы то ни было обращение к начальству.

«Но на что годна была бы,— думал я,— человеческая дружба, если бы человек ничем никогда не жертвовал бы для нее?»

Я держал заявление наготове. Один из товарищей, окно которого выходило на комендантский двор, все время следил за приходящими туда, но на этот раз я не получил вовремя сведений, вероятно потому, что был с утра в своей химической лаборатории или просто на прогулке. Возвратившись в камеру, кажется перед разноской ужина, я вдруг узнал, что следователь приехал и уже зашел к Попову и что лишение нас прежних льгот произошло из-за попытки Попова тайно переписываться с внешним миром. Я спешно приписал к своему заявлению последние строки: «только сейчас мы узнали о письме Попова и поняли, в чем дело», и, как только открыли форточку моей двери, чтобы подать мне очередную пищу, я просунул туда руку со своим заявлением и сказал стоявшему в стороне смотрителю:

— Прошу немедленно передать эту бумагу приехавшему из Петербурга следователю.

Тот очень неохотно взял и отступил за косяк двери. И вот, хотя с тех пор прошло уже около 28 лет и я неясно помню точную последовательность событий, но благодаря сильному нервному напряжению каждый отдельный факт этой драмы, который непосредственно касался меня, сохранился в моей памяти очень ярко. А то, что было с другими товарищами, уже потускнело. Я не могу уже сказать, к кому заходил тогда следователь, кроме Попова, и было ли это раньше или позже подачи мною заявления. Мне напоминают, что он потом был еще у Фроленка и у самой Веры и что, к удивлению всех, говорил с ними очень мягко.

Все находились в полном недоумении несколько дней: ни карцера, ни допросов, ни суда.

— Что значит все это? — говорили товарищи.

Но вот через неделю или около того, когда нам раздавали ужин, ко мне вдруг входит комендант крепости и, к моему удив-

лению, без сопровождавших его «архангелов», как мы называли жандармских унтер-офицеров, становившихся по правую и левую сторону от нас, с готовностью схватить за обе наши руки при первом резком движении. Комендант притворил даже за собою дверь и сказал мне приблизительно так:

— Я только что возвратился из Петербурга. Вы хорошо сделали, что написали свое заявление. Я и доктор горячо поддержали вас, чего не могли бы сделать иначе, и потому следователь, уже собиравшийся послать за унтер-офицерами для выслушания их свидетельских показаний, поехал обратно, не допросив никого. Он передал ваше заявление товарищу министра и тот постановил считать случившееся здесь несуществовавшим.

— Значит,— спросил я его, еще не веря своим ушам,— мою соседку не будут судить?

— Не только не будут, но даже и в карцер не посадят.

— Вы скажете ей это?

— Я не могу ей ничего сказать, раз самый факт признан несуществовавшим — ответил он.— Но вы можете.

Он поклонился и вышел, а я остался в таком состоянии, какого нельзя передать никакими человеческими словами. Радость за Веру сменялась полным недоумением: как мне теперь быть? Ведь рассказать, что я ее поступок самовольно выставил перед департаментом не как сознательное решение пожертвовать своей жизнью для облегчения нашей судьбы, а как результат расстроенных предшествовавшими бурными сценами нервов, значило ее обидеть.

Нет, ей ни в каком случае нельзя говорить о том, что я писал, а потому и о приходе ко мне коменданта. Нельзя ли предупредить ее каким-нибудь другим способом?

Всю эту ночь я тоже почти совсем не спал, а на другой день вдруг приходит ко мне доктор. Он повторил мне почти то же, что сказал комендант, и прибавил:

— Мне специально поручено наблюдать за ее здоровьем и делать ежемесячно специальные доклады о ней для товарища министра. Как вы думаете, она ничего не сделает со мной, если я к ней зайду?

— Можете быть уверены,— ответил я и спросил его совета относительно того, как мне лучше сообщить Вере, что ей ничего не будет.— Ведь мне неловко сказать, что я объяснил ее поступок нервным настроением, тогда как она на деле желала пожертвовать своей жизнью для облегчения нашей участи.

— Самое лучшее,— ответил он,— не говорите ей ничего. Нервы здесь у многих расстроены, и самое лучшее для предотвраще-

ния эксцессов — это ожидание большой опасности. Я сам постепенно подготовлю ее к этому.

Подумав немного, и я пришел к тому же мнению. Пусть лучше будет все моей личной тайной, решил я.

Я рассказал потом лишь двум или трем из самых близких мне товарищей, что подал заявление о тяжелом моральном состоянии нашей тюрьмы в то время, а о подробностях меня никто не спрашивал. Черновик заявления был на всякий случай в моих тетрадях.

Порой мне приходило в голову:

«Может быть, что я сделал, было совсем напрасно? Может быть, Веру не казнили бы и помимо моего вмешательства?»

«Но все это хорошо говорить,— отвечал я сам себе,— когда опасность уже миновала. А когда она была еще впереди, надо было действовать и действовать не конвульсивно, а обдуманно и целесообразно, как сделал я. Другого способа не было» [87].

Через восемь месяцев, в начале января 1903 года, Вере было вдруг объявлено, что ее пожизненное заточение сокращено до 20 лет. Ей оставалось жить с нами еще год и восемь месяцев, до 20 сентября 1904 года. Наступил, наконец, и этот день. Грустно и радостно было расставаться с нею. Мое прощальное стихотворение ей было уже напечатано в моих «Звездных песнях», но как образчик нашего тогдашнего настроения я приведу его и здесь.

Пусть, мой друг дорогой, будет счастлив твой путь,
И судьба твоя будет светлей!
Пусть удастся с души поскорее стряхнуть
Злые чары неволи твоей!
Скоро, милый мой друг, вновь увидит твой взор
Лица близких, родных и друзей,
Окружит тебя вновь беспредельный простор
И раздолье лугов и полей!
Ночью встретят тебя и развеют твой сон
Миллионами звезд небеса,
И увидишь ты вновь голубой небосклон,
И холмы, и ручьи, и леса!
Все, чего столько лет ты была лишена,
Что в мечтах обаянья полно,
Вдруг воскреснет опять, и нахлынет волна
Прежних чувств, позабытых давно!
Пусть же, милый мой друг, будет счастлив твой путь,
Скоро будешь ты снова вольна,
И успеешь усталой душой отдохнуть
От тяжелого долгого сна! [88]

И вот Вера уехала, и мы снова остались одни, и обстановка наша стала еще тусклее.

Шлиссельбург того времени, в который никого не заключали без именного приказа императора и никого не выпускали без его личного распоряжения, не раз сравнивали с крепостью, которую враги осаждали более двадцати лет и не могли взять. Все это правда, но и в ней, как во всех осажденных и бомбардированных крепостях, были и убитые, и раненые, и искалеченные защитники. А основное ядро их держалось твердо и стойко до конца. Все это и пытался я изложить в настоящем очерке. И если мой читатель примет во внимание, что при таких, поистине невыносимых условиях жизни вырастали под нашими бастионами Фроленкины висячие сады Семирамиды, созидали свои научные коллекции «Тюремные Робинзоны» Новорусского, читались научные лекции Лукашевичем и Яновичем и философские — Ашенбреннером и вырос даже целый исследовательский институт, в котором разрабатывались естественные и математические науки, то, может быть, все это покажется ему не так уже просто, как может подумать человек, не переживавший ничего подобного.

В Алексеевском равелине[89]

Наступила полночь между страстной пятницей и страстной субботой на 26 марта 1882 года, и куранты на колокольне Петропавловской крепости заиграли свой обычный гимн[90].

Как и всегда, я в своей одиночной камере Трубецкого бастиона повторил вместо него сложенный одним моим товарищем под эту же музыку гимн:

Славься, свобода и честный наш труд,
Пусть нас за правду в темницу запрут,
Пусть нас пытают и ночью и днем,—
Мы песню свободе и в тюрьмах споем!

Потом я снял свою куртку, лег на койку и заснул. Это было через несколько дней после того, как нас, двадцать «народовольцев», осудили за заговор против царя отчасти на смертную казнь, отчасти на вечное заточение, и мы, сидя в полной изоляции, еще не знали, что с нами сделают, но чувствовали, что теперь нам будут мстить жестоко[91].

Вдруг я проснулся от страшного грохота тяжелых железных запоров моей камеры. Дверь настежь раскрылась, и в нее с топотом ворвалась толпа жандармов со смотрителем сзади. Они окружили мою койку, прикованную к полу посредине комнаты, смотритель отрывочно приказал:

— Встаньте и разденьтесь!

Меня тщательно обыскали, гладя руками по голому телу, и приказали одеться во вновь принесенное платье. Едва я исполнил это, как унтер-офицеры, стоявшие несколько поодаль, разом бросились ко мне.

Подхватив под руки, они быстро провели меня по длинному коридору, которого я еще не знал. Это не был путь к выходу из крепости, а спускался по нескольким ступенькам как будто под землю.

«В подвал,— подумал я.— Наверно, хотят пытать». И я приготовился ко всему.

Вдруг отворилась маленькая боковая дверка в коридоре. Мои спутники вытолкнули меня за нее и захлопнули за собой дверь, оставшись по другую сторону. Я очутился один, ночью, под открытым небом, в какой-то узкой загородке. Была вьюга, и поры-

вистый ветер, крутясь в этом маленьком дворике, осыпал мои волосы снегом.

Не успел я еще прийти в себя от изумления, как вдруг из-за угла выскочила в темноте какая-то другая толпа жандармов. Двое из них схватили меня под руки и, почти подняв на воздух, поволокли по каким-то узким застенкам между зданиями крепости.

Одни толпой бежали передо мной, другие вместе с офицером бежали сзади. Мои ноги волочились, едва касаясь земли. Ворота, преграждавшие нам путь в нескольких местах, как бы по волшебству отворялись перед самым нашим приближением и затем снова захлопывались сзади. Вьюга шумела и обсыпала снегом мою голую грудь, потому что куртка расстегнулась, а на рубашке под нею не было пуговиц. Вот перед нами отворились последние ворота, и меня потащили по узенькому мостику через канал, за которым мелькнуло в темноте невысокое каменное здание. Мы прошли через двери, тоже как бы самопроизвольно отворившиеся перед нами, и вошли в узкий длинный коридор, тускло освещенный двумя маленькими лампочками в начале и в конце. Справа одна за другой мелькали в полумраке двери. Жандармский офицер, бежавший впереди, открыл одну из них. Меня втолкнули туда, и все отступили в разные стороны.

Посреди комнаты стоял небольшой деревянный столик и рядом — деревянная кровать с подушкой и байковым одеялом, на котором лежало новое тюремное одеяние.

— Разденьтесь,— сказал мне жандармский офицер.

Я снял что было на мне, и один из жандармов тотчас же унес все это в коридор. Меня снова тщательно обыскали, огладили руками все тело от ног до головы, перешевелили мокрые от снега волосы. Они даже заглянули с лампой мне в рот, но все-таки не открыли там спрятанных между верхней десной и щекой пяти рублей, сложенных в узкую пластинку, которые я пронес через все прежние тюрьмы и обыски на случай побега и даже вывез потом в Шлиссельбургскую крепость, где они скрывались у меня то под подушкой, то за щекой еще несколько лет, пока не пришли в полную негодность.

Потом офицер сказал мне, еще голому:

— Мне приказано говорить всем заключенным здесь на «ты», и я это исполню. Здесь такое место, о котором никто не должен знать, кроме государя, коменданта да меня. За всякий шум и перестукиванье будет строгое наказание. За попытку говорить через щели в дверь — то же.

Он повернулся и ушел, замок защелкнулся за дверью. Я сразу понял, почему прежние сторожа меня вытолкнули

из Трубецкого бастиона одного во дворик, а сами остались за дверью. Они не должны были знать, кто и куда уведет меня оттуда.

Я прозяб на пути, и в комнате было холодно. Поспешивши надеть все, что было на постели, я с головой спрятался под одеяло. Я слышал, как через каждые полчаса пробегали с топотом за моей дверью те же жандармы и щелкали замки соседних камер, и понял, что это волокли, так же как и меня, остальных осужденных со мной народовольцев.

Едва дрожь от холода стала прекращаться, как я воспользовался минуткой, когда часовой прошел мимо моей двери, и, подойдя с правой стороны, спросил сквозь стену нашим обычным способом — стуком первого сустава пальца по штукатурке:

— Кто вы?

— Тригони,— послышался тихий ответ.

— А я Морозов. Это, вероятно, Алексеевский равелин?

— Да,— ответил он.

Выждав несколько минут, когда часовой прошел снова мимо моей двери, я постучал в другую стену.

— Кто вы?

— Фроленко,— раздался оттуда стук другого моего товарища по процессу.

Больше я не спрашивал в этот вечер, но на следующий день узнал, что за Тригони сидел Клеточников, потом Ланганс, потом Исаев, а далее никто не отвечал.

На следующий день была страстная суббота. Утром нам дали по два стакана чаю внакладку и с французской булкой, на обед суп, жареного рябчика и пирожное, на ужин суп и чай с новой булкой.

— Неужели нас здесь будут так кормить? — простучал мне Тригони.— Я не мог доесть всего. Что же дадут нам завтра, на пасху?

Но вот прошла ночь и наступило утро «светлого христова праздника», и, вместо чаю с булкой, нам принесли железную кружку с кипятком и кусок черного хлеба. На обед дали, вместо супа, еще тарелку кипятку, в котором плавало несколько капустных листиков, и немного разваренной гречневой крупы вместо каши. В нее при нас же положили полчайной ложки масла, а вечером на ужин принесли еще тарелку кипятку с несколькими капустными листиками.

— Как жалко,— простучал мне на ночь Тригони,— что я не доел вчера всего принесенного. Я страшно голоден. Неужели и далее так будет? На этой пище жить нельзя.

Но так было и в следующий день и во все следующие за ним. Разница была лишь в том, что, вместо гречневой разваренной крупы, по воскресеньям нам давали пшенную, а по средам и пятницам, вместо полчайной ложки скоромного, клали в нее столько же постного масла.

Через несколько дней у нас обнаружились обычные результаты голода. Каждую ночь снились самые вкусные яства и пиры, и с каждой неделей худело тело. Месяца через два мои ноги стали, как у петуха, толще всего в коленях. Ребра все показались наружу. У других товарищей было то же.

— Но ведь это пытка! — простучал мне раз Тригони.— Очевидно, они хотят, чтобы мы запросили у них помилованья и выдали все, что можем.

И это было несомненно так. Все время нас не выпускали из камер, никаких прогулок не полагалось. Мы были заперты, как в гробницах. На вопрос одного из нас о книгах смотритель ответил, что здесь не полагается никакого чтения.

Еще через несколько недель у меня на ногах показались мелкие красные пятна, и левая ступня стала пухнуть. У других товарищей тоже появились опухоли на ногах. Это была цинга. Когда опухоль дойдет до живота, мы должны умереть. С самого первого дня своего привода, или, скорее, переноса сюда, я не разговаривал со смотрителем, сопровождавшим жандармов при каждом их входе к нам, лично отпиравшим и запиравшим наши двери, унося ключ с собою. Я не хотел слушать от него «ты».

Но когда нога достаточно распухла и опухоль, поднимаясь с каждой новой неделей, дошла до колена, я сделал вид, что рассматриваю ее, когда он отворил дверь. Он подошел и взглянул.

— Пухнет? — спросил он.

— Да,— ответил я.

Он отвернулся и ушел.

Я уже знал, что у других был доктор и прописал им какое-то лекарство, и потому не удивился, когда на следующее утро ко мне вошел тот же смотритель в сопровождении старого генерал-лейтенанта, который, как я потом узнал, был доктором Вильмсом, единственным врачом, пользовавшимся доверием для входа к нам. А смотритель, о котором я здесь говорю, был знаменитый по своей старательности и жестокости жандармский капитан из кантонистов Соколов, который на заявление одного из нас о недостаточности пищи ответил:

— Я тут не при чем. Когда мне велели дать вам рябчиков и пирожное, я их вам дал, а если прикажут ничего не давать, то я и это исполню [92].

Доктор осмотрел мою ногу и ушел ничего не сказав. На следующее утро к обеду мне дали ложку сладкой жидкости желтого цвета с железистым вкусом. Это было противоцинготное средство. Но оно не помогло, нога продолжала краснеть и пухнуть и, наконец, стала однородно толстой от таза до ступни, совсем как бревно, представляя страшный контраст с другой ногой, еще тонкой, как у петуха. Доктор вновь пришел, и мне стали приносить кружку молока, показавшегося мне самым вкусным напитком, который я когда-нибудь брал в рот.

Опухоль стала падать и месяца через два почти прошла. Явился вновь тот же доктор, осмотрел, и на следующий день мне не дали ни молока, ни раствора железа.

Через неделю на моих ногах вновь появились пятна, опять началась опухоль ног и стала подниматься все выше и выше. Я снова как бы ненарочно показал ее смотрителю, но он спокойно пробормотал:

— Еще рано.

И лишь месяца через три, когда нога опять стала походить на бревно, он вызвал доктора, и мне снова прописали железо и молоко. Я опять стал медленно поправляться, и месяца через три или четыре (я давно потерял счет месяцев) снова все отняли. То же было и с другими. Началась у всех цинга в третий раз уже на третий год заточения, а у меня к ней прибавилось еще и постоянное кровохарканье.

Клеточников решил пожертвовать собою за нас и отказался от пищи, чтобы умереть. Мы отговаривали его, но он остался тверд.

В первый день Соколов сказал ему:

— Твое дело есть или не есть.

Однако через неделю голоданья, вероятно получив инструкцию свыше, он явился к нему, как всегда в сопровождении жандармов, и накормил его насильно теми же щами и кашей, как и нас. Результат получился тот, какого и можно было ожидать: через три дня Клеточников умер от воспаления кишок [93].

Но он достиг своей цели. Через три дня к нам явился новый генерал-лейтенант и обошел всех. Я принял его за доктора и разговаривал, как с таковым, но он оказался товарищем министра внутренних дел Оржевским. На следующий день нашу более чем двухлетнюю пытку прекратили и стали давать, кроме лекарств, мясной суп и кашу с достаточным количеством масла и чай с двумя кусками сахару, и тех, кто мог ходить, хотя и волоча ноги, стали выводить, и всегда по ночам до рассвета, на прогулку во внутренний двор здания, а для чтения дали по Библии и «Жития святых». Но было уже поздно. Мои товарищи один за дру-

гим умирали, и через месяц из числа двенадцати, перешедших со мной в равелин, осталось в живых только четверо: я, Тригони и Фроленко да еще безнадежно помешанный Арончик [94].

Что я чувствовал в то время? То, что должен чувствовать каждый в такие моменты, когда гибнут один за другим в заточении и в страшных долгих мучениях его товарищи, делившие с ним и радость и горе. Если б в это время освободила меня революционная волна, то я несомненно повторил бы всю карьеру Сен-Жюста, но умер бы не на гильотине, как он, а еще до своей казни от разрыва сердца. Я с нетерпением ждал этой волны, а так как она не приходила, то я без конца ходил из угла в угол своей одиночной камеры с железной решеткой и с матовыми стеклами, сквозь которые не было ничего видно из внешнего мира, то разрешая мысленно мировые научные вопросы, то пылая жаждой мести, и над всем господствовала только одна мысль: выжить во что бы то ни стало, на зло своим врагам! И несмотря на страшную боль в ногах и ежеминутные обмороки от слабости, даже в самые критические моменты болезни я каждый день по нескольку раз вставал с постели, пытался ходить сколько мог по камере и три раза в день аккуратно занимался гимнастикой.

Цингу я инстинктивно лечил хождением, хотя целыми месяцами казалось, что ступаю не по полу, а по остриям торчащих из него гвоздей, и через несколько десятков шагов у меня темнело в глазах так, что я должен был прилечь. А начавшийся туберкулез я лечил тоже своим собственным способом: несмотря на самые нестерпимые спазмы горла, я не давал себе кашлять, чтобы не разрывать язвочек в легких, а если уж было невтерпеж, то кашлял в подушку, чтоб не дать воздуху резко вырываться.

Так и прошли эти почти три года в ежедневной борьбе за жизнь, и если в бодрствующем состоянии они казались невообразимо мучительными, то во сне мне почему-то почти каждую ночь слышалась такая чудная музыка, какой я никогда не слыхал и даже вообразить не мог наяву; когда я просыпался, мне вспоминались лишь одни ее отголоски.

Щеголев в архиве равелина нашел доклады нашего доктора Вильмса царю о состоянии нашего здоровья. В одном из них обо мне было сказано: «Морозову осталось жить несколько дней», а через месяц он писал: «Морозов обманул смерть и медицинскую науку и начал выздоравливать» [95]. Оказалось потом, что туберкулез легких у меня совсем зарубцевался, и теперь доктора, осматривая меня, с удивлением находят один огромный рубец в правом легком, от плеча до поясницы, и несколько меньших в левом легком, и это вместе с рядом научных идей — мое единственное наследство от Алексеевского равелина. Почти

через три года нас, оставшихся в живых, перевезли, заковав по рукам и по ногам, в только что отстроенную для нас Шлиссельбургскую крепость, где стали, наконец, давать и научные книги. А через 25 лет, когда нас освободили оттуда в ноябре 1905 года, я получил возможность разрабатывать то, о чем только мечтал в заточении.

Привыкнув с юности глядеть только на будущее, я редко вспоминаю о своей прошлой жизни в темницах. Лишь изредка на меня веет минувшим, и вновь звучит в моих ушах стихотворение, которое я чуть не каждый день повторял в Алексеевском равелине, стихотворение, написанное одним из первых моих товарищей в Доме предварительного заключения — Павлом Орловым, убитым с целью грабежа в сибирской тайге одним уголовным, с которым он бежал из тюрьмы:

Из тайных жизни родников
Исходит вечное движенье.
Оно сильнее всех оков,
Оно разрушит ослепленье
Людских сердец, людских умов,
Как в грозный час землетрясенья
Основы храмов и дворцов.
Оно пробудит мысль народа,
Как буря спящий океан,
И слово грозное: «свобода!» —
Нежданно грянет, как вулкан.
Хоть буря влагою богата,
Но ей вулкана не залить,—
Так жизни вам не подавить
Решеньем дряхлого сената.
Да, пламя вспыхнет и сожжет
Дворцы и храмы и темницы!
Да, буря грянет и сорвет
С вас пышный пурпур багряницы!
Святой огонь любви к свободе
Всегда силен, всегда живуч.
Всегда таится он в народе,
Как под землею скрытый ключ.
Пред ним бессильны все гоненья,
Не устоит ничто пред ним,
Как искра вечного движенья,
Он никогда не угасим.

И вот, десять лет тому назад грянула эта буря. Она порвала старые оковы, и мы теперь стоим на перевале к новой, лучшей жизни.

Пролог[96]

История этой книги длинная, очень длинная.

Эти стихотворения, рассказы и воспоминания были написаны уже много лет назад среди других рассказов, стихотворений и воспоминаний. Это как бы остатки великого кораблекрушения. Большая часть груза погибла навсегда. Волны выбросили на берег лишь немногое.

Была когда-то крепость на необитаемом острове огромного Ладожского озера, этого внутреннего моря Европы. Она существует и теперь, все та же по своему внешнему виду. Но это уже не та прежняя неприступная крепость, окутанная покровом государственной тайны, куда никогда не должна была проникнуть нога постороннего человека, где всякий, входивший под своды одной из ее келий, терял самое свое имя и становился нумером.

Тот старый Шлиссельбург разрушен навсегда могучим напором общественного движения 1905 года.

В продолжение двадцати лет там жили тени бесследно исчезнувших людей — нумера. Отрезанные навсегда от внешнего мира, они, как спиритические духи, долго сообщались друг с другом только стуком пальцев по стенам своей каменной гробницы и один за другим безмолвно переходили в вечность. И этот переход узнавался другими тенями лишь по прекращению их тихого стука.

Стук, постоянно слышавшийся по вечерам в каменных стенах этой непроницаемой крепости, когда прикладывали к ним ухо, передавал многое. Порой сквозь толщу извести и кирпича переходили вопросы и ответы, порой передавалось целое сообщение и записывалось соседней тенью на грифельной доске или впоследствии в особой тетрадке. На каждой такой тетрадке стоял нумер тени, которой она принадлежала и сама тетрадка, попав в келью, становилась тоже тенью, так как никто посторонний уже не мог ее более видеть.

Таким именно путем когда-то прошли сквозь толстые стены от одного узника к другому и все приведенные здесь стихотворения. Огромное большинство остальных погибло навсегда вместе с их авторами-тенями, тихо перешедшими из мира заживо погребенных в мир действительного вечного покоя, «где нет ни

печали, ни болезней, ни воздыханий». Кельи, где они слагали в уме или на грифельной доске свои стихотворения и рассказы, стали для них, как и было им объявлено при входе, только временными могилами, из которых была одна дорога — в вечные.

От многих узников теперь не сохранилось ничего, кроме косвенного ряда едва заметных углублений в каменном полу их келий, выбитых их долго ходившими взад и вперед ногами, да еще одного большого, хотя и не глубокого углубления в почве за бастионами крепости, там, где вечно плещут волны и где лежат их вечные могилы. Там на берегу их зарывали по ночам при свете фонарей и, выбросив избыток земли в глубину озера, прикрывали их могилы свежим дерном, чтоб утром не было заметно никаких следов погребения даже и на этой, недоступной ни для кого чужого, полосе берега под бастионами. Но эти расчеты не удались. Изрытая почва осела, и теперь над каждой могилой образовалось по легкому углублению.

* * *

Прозаические произведения этой книги принадлежат более позднему периоду заключения. Большинство первоначальных узников Алексеевского равелина Петропавловской крепости и, как его продолжения, Шлиссельбурга были уже в своих могилах. Остальные быстрыми шагами шли вслед за ними. Некоторые потеряли рассудок, и через несколько лет все кельи должны были опустеть, а стук в стенах темницы мог навсегда прекратиться.

И вот, условия жизни в этом крошечном мирке заживо погребенных были улучшены.

Зачем?

Может быть, для того, чтобы не опустела темница и тюремщики не потеряли своих мест?

Но как бы то ни было, бывшие тени вдруг увидели друг друга. Они все еще оставались безыменными нумерами, но их стали водить на прогулку по два вместе. Это была для них неожиданная радость, и смерть перестала косить одну бледную тень за другой. В их кельях появились чернила и бумага без нумерованных страниц, и тотчас же возникла целая литература повестей, рассказов и воспоминаний, писавшихся для развлечения друг друга. Появились даже товарищеские сборники, перебрасывавшиеся из одной «прогулочной клетки» в другую, когда заключенных выводили гулять в глубокий промежуток между стеною их темницы и высоким бастионом крепости.

* * *

С тех пор прошло много лет. Неведомые никому постороннему сборники давно уничтожены, так как большинство узников потеряло всякую надежду выйти из своих стен или вынести за их пределы свою литературу, которой они сверх того и не придавали никакого значения. Закрытие Шлиссельбургской крепости в 1906 году уничтожило последние экземпляры этих сборников, так как вывоз их представлялся большинству заключенных невозможным вследствие неумолимой цензуры местного начальства, отбиравшего до тех пор у вывозимых нередко каждый клочок бумаги. Однако среди всеобщей растерянности местных властей во время крушения этой, казавшейся им такой прочной темницы некоторым удалось увезти кое-что не только из научных, но и из беллетристических произведений.

Мало, очень мало сохранилось от написанного там в былые годы. Но когда мне удалось получить маленький тюк наших странных произведений от увезенного последним Гершуни, то от этих давно знакомых полуистлевших тетрадок и листков так и повеяло на меня воспоминанием прошлого, сделавшегося теперь более похожим на сон, чем на действительность, того прошлого, когда я и сам был тенью, простым № 4 [97], и ожидал, что, так же как и другие, буду зарыт при свете фонарей на берегу озера в одну темную осеннюю ночь...

Многое в этих тетрадках и листках было лишь в черновых набросках почти неразборчиво, многое — без конца. Но как ни мало выбросили волны на берег, все же и этих материалов вместе с сохранившимися у меня оказалось достаточно для составления этого сборника.

Освобождение из Шлиссельбургской крепости и первые годы жизни на свободе [98]

Осеннее солнце тускло сияло на небе, освещая своими косыми лучами высокие белые бастионы Шлиссельбургской крепости. У подножья их, приютившись, как в овраге, или, скорее, как в узкой улице старинного города, находился ряд деревянных загородок вроде комнат недостроенной длинной гостиницы, оставшейся еще без крыши, полов и потолков. Это были места прогулок для заключенных, куда в то время нас водили по двое. Утром этого дня меня вывели на нашу тюремную прогулку вместе с Новорусским, который брал у меня уроки теоретической химии. Дежурные жандармы ходили по длинному деревянному балкончику, протянувшемуся вроде железнодорожной платформы вдоль наших загородок, в каждую из которых вела из-под него особая дверка, и следили сверху за тем, что мы делаем в наших клетках, где были и грядки с овощами.

Вдруг мы услышали, как хлопнула дверь соседней клетки, и гулявших в ней куда-то пригласили. Через минуту открылась и наша дверь, и один из двух показавшихся там унтер-офицеров сказал, что нас зовут в «первый огород». Так называлась большая загородка в углу между двумя поперечно идущими друг к другу бастионами, где кроме грядок были устроены нами также и парники.

— Зачем? — спросил жандарма Новорусский.

— Не знаю,— по обыкновению лаконически ответил жандарм, но потом в виде исключения прибавил, что там ждет нас комендант.

— Что бы это значило? — спросил меня при входе Новорусский.

— Наверное, чтоб объявить нам освобождение,— полушутливо ответил я, так как дошедшие до нас окольным путем сведения о войне с Японией уже наводили меня на мысль, что самодержавие должно скоро пасть, а вместе с тем и Шлиссельбургская крепость как место политического заточения особой важности, так как в нее сажали людей только по именному приказу царя, а потому и выпускать не могли без такого же царского приказа.

Я даже собрал все свои особенно нужные тетради на всякий случай и советовал сделать то же и товарищам, хотя все они смеялись над моим «оптимизмом».

— Ну, ты всегда — одно и то же,— ответил мне и теперь Новорусский с полудосадой, очевидно, скорее ожидая каких-нибудь новых неприятностей.

В первом огороде, когда мы в него вошли, оказались собранными уже все наши товарищи, около двенадцати человек, и комендант стоял перед нами.

— Все пришли? — спросил он жандармов.

— Все! — отрапортовал старший из них.

Комендант повернулся к нам.

— Поздравляю вас с приятной новостью,— сказал он,— государь император, приняв во внимание ваше долгое заключение, всемилостивейше повелел тех из вас, которые провели здесь более десяти лет, освободить с правом жить в России, а тех, которые пробыли менее десяти лет, отправить в Сибирь на поселение.

— А что я говорил тебе? — шепнул я стоявшему рядом со мной Новорусскому, толкнув его рукою в бок.

Как ни неожиданно это было для большинства из нас, но все мои товарищи сохранили полное внешнее спокойствие, хотя сердце даже и у меня сильно забилось.

— Когда же нас выпустят? — спросил кто-то, кажется Попов, прервав несколько мгновений тягостного общего молчания.

— Зная, что многие из вас занимались все время науками и, может быть, пожелают взять с собою что-нибудь, я исходатайствовал у директора департамента, чтобы вам дали здесь пробыть еще три дня и я мог бы просмотреть все, что вы пожелаете взять из тетрадей.

Первый внутренний порыв радости мгновенно сменился тревогой.

«Зачем нас оставляют еще на три дня? — подумалось мне.— И точно ли выхлопотал это сам комендант? Какое дело кому бы то ни было из наших тюремщиков до наших тетрадей? Ведь они же только исполнители? Не потому ли нас оставляют, что хотят в эти три дня проследить за нашими разговорами и узнать, что мы намерены делать, выйдя на свободу? Наверно, теперь будут усиленно подслушивать все наши разговоры и перестукивания в стену. Надо быть чрезвычайно осторожными».

Возвратившись в свою тусклую камеру с решетчатым окном под потолком, я начал усердно запаковывать в ящик свои переплетенные 26 томов научных тетрадей.

«Отдать ли их теперь же на просмотр коменданту? — думал я.— Ведь он же ничего не поймет в моих астрономических вы-

численияx и химических формулах. Он пошлет все в департамент полиции, где тоже ничего не поймут, а только подумают, что тут у меня зашифровано что-то недозволенное, и все мои труды пойдут в подвалы охранного отделения».

И вот, несмотря на частые напоминания жандармов сдать мои тетради поскорее, я медлил первые два дня. Наступил третий, назначенный для нашего отъезда, день. Комендант, не получив от меня ничего, сам зашел ко мне и, увидев мои 26 томов рукописей, уложенных уже в шкафчик, сделанный для меня Новорусским, сказал, что ввиду моего опоздания не берет их на свою ответственность.

— Я запечатаю его и пошлю в таком виде коменданту Петропавловской крепости, пусть разбирают там. Вас всех приказано перевести туда, и тех, которые сидели более десяти лет, по-видимому, будут отдавать родным на поруки.

Через полчаса нам позволили проститься с Карповичем, Гершуни и Мельниковым, единственными нашими товарищами, которые сидели менее десяти лет и потому были назначены на следующий вывоз, и повели нас из крепости на берег окружающего ее Ладожского озера. Там нас посадили на два маленьких пароходика, по восьми человек на каждый.

Я взглянул на открывшуюся передо мною безбрежную водную даль и поразился.

— Что такое? Неужели вода в природе стала серее, чем была двадцать пять лет назад? Неужели она так переменилась за это время? Но это невозможно! Очевидно, мое воспоминание сохранило давно не виданную мною воду в природе лишь в самом лучшем наряде, в каком она бывает только во время яркого солнечного дня, и я совсем забыл, какой она бывает в облачную погоду.

Я взглянул на лес на противоположном берегу озера.

— Что такое? Почему он представляется мне как бы театральной декорацией, нарисованной на стене, и я никак не могу вообразить, что видимые мною деревья не конец всего мира, а только передний фон множества других, растущих за ними деревьев, и что если б меня пустили, то я имел бы возможность уйти в глубину этого леса далеко-далеко, как двадцать пять лет назад?

Мне казалось, как будто вся вселенная кончается теперь этим видимым мною рядом деревьев и дальше их уже ничего нет, или ничего такого нельзя себе представить! Я понял, конечно, сразу, что такое впечатление производит на меня теперь природа исключительно потому, что она была для меня двадцать пять лет недосягаема и из-за решетки своего тюремного окошечка,

под потолком, я, повиснув на раме, имел возможность смотреть лишь на бастион своей крепости, а ландшафты природы мог видеть только на рисунках в книгах, так что и этот реальный ландшафт казался мне простым отдаленным рисунком.

Но вот пароходик начал отчаливать. Я взглянул последний раз на ворота в бастионе своей темницы, над которыми виднелась крупная выпуклая надпись: государева, и мы поплыли вниз по Неве.

Только теперь я начал чувствовать, что в моей жизни происходит действительно крупная и резкая перемена, а прежде все казалось, что, несмотря на все мои теоретические соображения относительно близкого падения самодержавия, манифест о нашем освобождении не будет исполнен, и мы по-прежнему останемся в вечном заточении. Я не мог уже себя представить вне привычной тюремной ограды. Теперь это стало фактом.

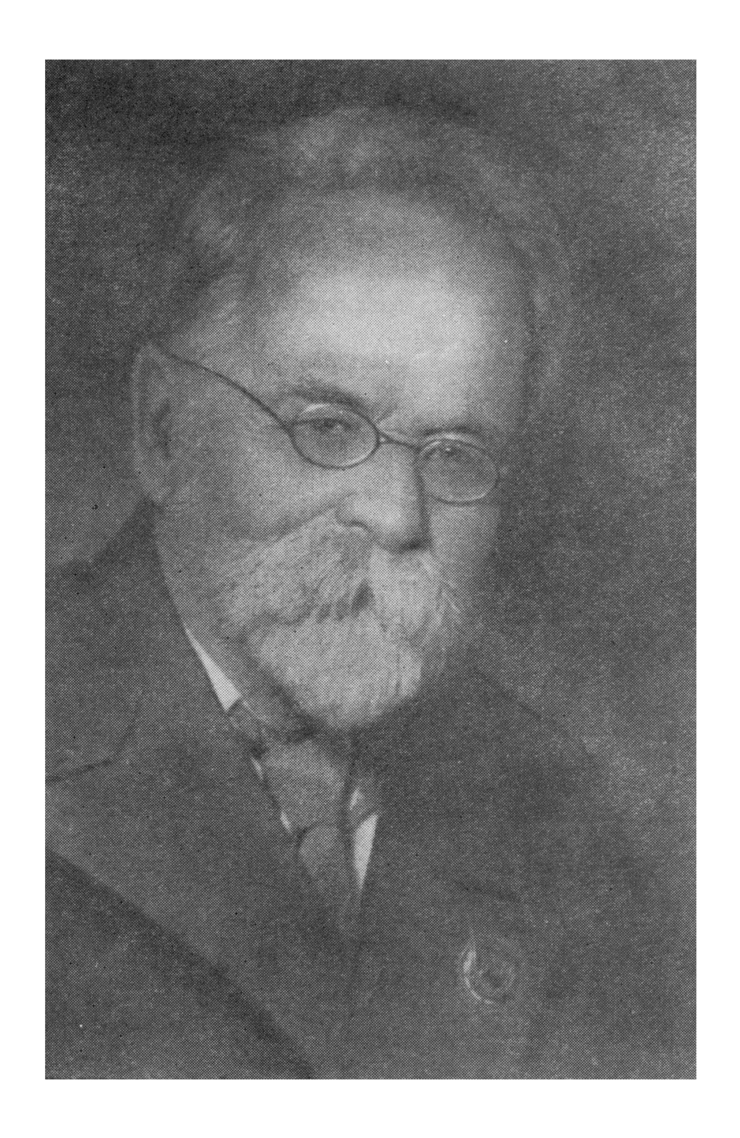
Что-то мне предстоит далее в этом совершенно новом открывшемся для меня мире? Все, кого я знал, рассеялись давно в разные стороны, отца нет в живых, мать, которую я знал молодой женщиной, стала старушкой, сестры, которые мне вспоминаются лишь девочками, теперь сами имеют своих девочек. Все товарищи и знакомые, кроме немногих вышедших со мною, рассеялись или умерли. Все, что окружало меня, ушло в прошлое, и новая жизнь должна начаться в новом мире сначала.

Что-то ждет меня впереди?

Мне вспоминались трое оставшихся в крепости товарищей, и сердце сжалось при мысли о том, как стало им, должно быть, тоскливо и горько после нашего отъезда. Я отошел на самую корму и не мог оторвать глаз от удаляющихся стен своего прежнего жилища, представляя их в своих тусклых камерах. Я не знаю, долго ли я так стоял, может быть полчаса и даже более, но вот мы доехали до места, где берег на повороте Невы стал быстро заслонять Шлиссельбургские бастионы, и, наконец, они исчезли из поля моего зрения, казалось, навсегда.

Я не принимал участия в разговорах ехавших со мною товарищей между собою и с подошедшим капитаном парохода. Мысли о прошлом сменялись мыслями о будущем, и доминировала только одна неотвязная мысль: успеть напечатать сделанные мною в крепости научные работы, прежде чем многолетняя атония желудка и беспорядочность сердечной деятельности сведут меня в могилу.

Я думал, что предстоящая мне резкая перемена в жизненном режиме подействует на меня губительно, тем более что уже около 20 лет я не мог обходиться без ежедневного приема ландышевых капель и строфанта от болезни сердца и белладонны



Н. А. Морозов

с ревенем от атонии органов пищеварения. Но я рассчитывал, что на три-четыре года меня еще хватит, и надо их усиленно использовать.

Вечером нас подвезли к бастионам Петропавловской крепости, провели через ворота, выходящие на Неву, и водворили в том же Трубецком бастионе, где меня держали и в предварительном заточении. Сводчатые, как подвалы, камеры остались те же самые, но только, вместо керосиновой лампы, я нашел в своем новом и на этот раз временном заточении электрическое освещение. Оно имело вид прожектора, выходящего из боковой стены над приделанной к ней, вместо стола, железною плитою, и освещало пучком лучей главным образом противоположную часть стены, напоминая этим волшебный фонарь. Освещение, как бы нарочно приспособленное для порчи глаз во время чтения.

На следующее утро меня вызвали в кабинет коменданта. Там я увидел молодую, стройную женщину, которая бросилась меня обнимать и целовать. Она назвала себя моей сестрой Верочкой. Я видел ее в последний раз около 31 года назад *, когда она была еще не выше стула, и признал теперь за свою сестру лишь по фотографической карточке, которую она прислала в крепость, как только после пятнадцати или более лет абсолютной изоляции от всего мира нам позволили два раза в год получать письма и фотографии от родных.

Комендант пригласил нас сесть рядом друг с другом у его стола, а сам присел напротив, делая вид, что читает газету. Когда мы переговорили о домашних делах, я ему сказал, что комендант Шлиссельбургской крепости прислал в качестве моего багажа небольшой шкафчик с моими научными работами, и так как я еще не знаю, выпустят ли меня совсем или куда-нибудь пошлют, то очень просил бы его передать мои рукописи на сохранение сестре.

Комендант нажал кнопку находящегося рядом с ним электрического звонка. Моментально вошел унтер-офицер.

— Позови дежурного, у которого вещи привезенных вчера из Шлиссельбурга,— сказал он.

Через минуту вошел другой унтер-офицер.

— В каком состоянии шкафчик Морозова?

— В том виде, как привезен.

— Его не раскрывали?

— Нет. Он запечатан печатью коменданта Шлиссельбургской крепости.

---

* Дело в том, что я покинул отеческий кров еще 19 лет от роду, за 7 лет до заточения в Шлиссельбург.— *Н. М.*

— Так выдайте его этой даме, когда она будет выходить. Раз комендант Шлиссельбургской крепости выпустил его вон,— обратился он к нам,— то ясно, что ничего недозволенного в нем нет.

Так, благодаря доверию двух комендантов друг к другу, все мои шлиссельбургские тетради прошли через запоры двух самых изолированных крепостей в мире, и я получил потом возможность быстро напечатать четыре из моих больших работ, законченных еще в Шлиссельбурге *.

Будущее стало для меня проясняться. Родные мои меня любят, средства на издание моих книг у них найдутся. Я стал ждать, что́ со мной будет далее. Дни проходили за днями. Нас всех, привезенных из Шлиссельбурга, выводили вместе на прогулки, и с каждым днем число наше уменьшалось. Из крепости нас выпускали по два и по три «на поруки к родным», приехавшим из провинции. Не оказалось ни одного, родные которого жили бы в Петербурге. Моя сестра Верочка имела дом в Мологе, Ярославской губернии, и только родственница наша Ангелина Михайловна Грушецкая с племянницей Ниночкой находились в Петербуге, на Николаевской улице, и к ней моя сестра тотчас же отвезла мои тетради.

Прошло дней десять, и я, наконец, оказался на прогулке одиноким: всех отдали на поруки. Лишь с одним мною вышло затруднение, о котором успела шепнуть мне Верочка на свидании.

— Всех, кого берут на поруки,— сказала она мне,— выпускают к родным с проходным свидетельством. Но с этим свидетельством можно жить только там, куда человек приехал. Для того чтобы получить настоящий паспорт, необходимо приписаться к мещанам, а чтоб это сделать немедленно, тебе здесь надо получить от полиции не проходное свидетельство, а временный вид на жительство, с которым ты и поедешь. Так сказал мне адвокат. А потом вышло разногласие. Директор департамента полиции Дурново говорил мне, чтоб я скорее брала тебя на поруки и увезла в Мологский уезд с его проходным свидетельством, а министр юстиции Щегловитов, наоборот, говорил, чтобы ни в коем случае не брала, потому что тебя должны выпустить и без проходного свидетельства. Я говорю Дурново, что не хочу быть твоим новым тюремщиком, каким стала бы, взяв тебя на поруки, а он настаивает, утверждая, что иначе нельзя, а когда я снова пришла к Щегловитову, он снова мне сказал

* «Откровение в грозе и буре», «Периодические системы строения вещества», «Основы качественного физико-математического анализа», «Векториальная алгебра» и затем еще «Законы сопротивления упругой среды движущимся в ней телам».— *Н. М.*

«не берите». Очевидно, между ними из-за тебя какая-то драка, но я более полагаюсь на Щегловитова и пока упираюсь брать тебя на поруки, чтобы не повредить тебе.

Прошло уже пять дней, как выпустили всех моих товарищей по Шлиссельбургу, а меня все еще держали. Но вот 7 ноября вечером тяжелые запоры моей камеры загрохотали, дежурные принесли мне уже давно купленное для меня сестрою штатское платье, в которое предложили мне переодеться. А в чемоданчик, где оно было, вложили мою шлиссельбургскую арестантскую куртку и остальное, в чем я к ним приехал, повели к выходу из крепости и сдали жандарму, приехавшему за мною в карете.

Меня отвезли на Гороховую улицу в охранное отделение, выдали мне там «однодневный вид на жительство», сказав, что если я и завтра хочу оставаться в Петербурге, то должен обменить его на новый, и, раскланявшись, отпустили на все четыре стороны.

Я вышел в темноту, неся в руке свой чемоданчик, и, сев на первого извозчика, предложил ему везти меня на Николаевскую улицу в дом, где, по словам Верочки, жила Ангелина Михайловна Грушецкая.

У меня не было в кармане ни копейки денег, потому что в крепости принимали только съестное, но я рассчитывал уплатить извозчику уже из квартиры.

Так и вышло.

Увидев на лестнице нужный мне номер квартиры, я нажал кнопку у двери и был впущен, при громком лае собачки, худощавой пожилой женщиной, за которой стояла высокая молодая девушка.

— Это вы, Николай Александрович? — вскричали они обе почти разом.

— Я.

— Но как же вы приехали к нам?

— Да очень просто: на извозчике, только ему нужно заплатить полтинник.

— Сейчас, сейчас! А мы все страшно беспокоились о вас. Дело в том, что крепостной унтер-офицер, через которого Верочка передавала вам посылки, несколько минут тому назад прибежал и предупредил, что вас собрались увозить из крепости. Верочка сейчас же накинула шубку и поскакала вас разыскивать.

Так первый же мой выход на свободу начался тревогой за меня.

Мне приготовили чай и закуски и в ожидании возвращения Верочки начали расспрашивать с величайшим любопытством о

моей жизни в крепости. На меня смотрели, как на «выходца с того света».

Через четверть часа спешно возвратилась Верочка и страшно обрадовалась, увидев меня. Это было для нее совершенно неожиданно. Она забыла, что я в первый же день свидания спросил у нее их адрес, и думала, что за двадцать пять лет я совершенно забыл Петербург.

— Я поскакала прежде всего к коменданту крепости, и он сказал, что тебя увезли в охранное отделение, а там сказали, что ты взял чемодан и ушел. А на вопрос, куда, ответили: «ищи ветра в поле!» Я поскакала сюда посоветоваться, и вот ты здесь. Как я рада! — говорила она, целуя меня.

Она была очень удивлена, узнав условия, на которых я выпущен: я должен был ежедневно утром являться в охранное отделение и получать там новое письменное удостоверение на право прожить следующий день. Но это было для меня лучше, чем сейчас же уехать в глушь, в деревню, откуда, как я думал, мне уже долго не дали бы разрешения на поездку в Петербург при моем «проходном свидетельстве», и все мои мечты напечатать мои работы пропали бы даром.

На следующий же день сестра повела меня на осмотр к известному тогда врачу по внутренним болезням Брауну. Узнав из рассказа сестры и от меня, что я двадцать пять лет пробыл в Шлиссельбургской крепости, он прежде всего с величайшим интересом стал расспрашивать меня о нашей жизни и лишь через час принялся меня выслушивать и выстукивать.

— Удивительно,— воскликнул он.— У вас под правой лопаткой и ниже ее огромный рубец прошедшего туберкулеза, под левой тоже несколько более слабых рубцов. Совершенно не понимаю, как такая болезнь могла пройти при ужасных условиях вашего существования.

Я ему объяснил, что у меня в первые двенадцать лет заточения были ежедневные порывы удушливого кашля с кровохарканием, но я, думая, что кашель должен разрывать язвочки в дыхательных путях, всеми силами старался удержаться от него, а когда был уже не в силах, то кашлял в подушку или просто прижав ладонью рот, чтоб воздух выходил не резко. И, кроме того, три раза в день я занимался легкой гимнастикой по своей собственной системе, делая по десяти разнообразных взмахов и круговых движений руками, ногами, туловищем и головой.

— Эта гимнастика и ваши систематические умственные занятия, очевидно, и спасли вас,— ответил Браун.

Но в результате он страшно огорчил меня.

— Вам нельзя много ходить или таскать что-нибудь тяже-

лое,— сказал он.— Надо поддерживать строгую диету, не есть мясного, не подниматься в высокие квартиры, а если уж необходимо, то обязательно отдыхать по нескольку минут на каждой площадке. Не пить ни чаю, ни кофе, не говоря уже о вине. Необходимо ложиться спать не позднее десяти или одиннадцати часов, спать не менее десяти часов.

Он прописал мне те же лекарства от атонии кишечного канала, какие я принимал в Шлиссельбурге, прибавил к ним еще пару своих собственных рецептов и, наконец, отпустил, решительно отказавшись взять предложенную плату.

Я вышел, растроганный его сочувственным отношением, но с полным отчаянием в душе.

Стоит ли жить, чтоб вести такой режим? Нет, не стоит! Употреблю остаток своих дней на то, чтобы издать хотя бы то, что сделано мною в Шлиссельбурге.

Когда я возвратился в квартиру, там была уже целая толпа знакомых Ангелины Михайловны и знакомых ее знакомых, сбежавшихся посмотреть на меня, как на восьмое диво мира. Все меня расспрашивали, все звали к себе, одни — обедать, другие — ужинать.

Я был единственный из шлиссельбуржцев, оставшихся в Петербурге, и потому все внимание интеллигентного общества обрушилось на меня. Целый месяц или более я ни разу не обедал и не ужинал дома, а всегда у новопоявившихся друзей, и каждый обед или ужин оказывался «званым», т. е. на него приглашалось человек до двадцати знакомых хозяина и хозяйки, которые в свою очередь зазывали меня к себе, на такие же фестивали. Это были большею частью известные адвокаты, писатели, художники, доктора, профессора разных специальностей, артисты и артистки.

Все комнаты их квартир казались мне, привыкшему к тесноте своей камеры, громадными и роскошными по обстановке, все молодые женщины казались с непривычки восхитительными красавицами.

Интересуясь, прежде всего, своим делом, я познакомился тотчас же с академиком-химиком Бекетовым, который обещал мне просмотреть мои работы по химии, но только не сейчас, и я оставил у него свою рукопись «Периодические системы строения вещества».

Я познакомился затем с Менделеевым, которому изложил свой вывод, что открытый недавно аргон есть член ряда нейтральных самостоятельных газов, укладывающихся в восьмой группе его системы, что атомы металлов и металлоидов должны быть сложны и построены по образцу гомологических рядов орга-

нической химии, показывал ему свои теоретические формулы их образования из протогелия, протоводорода, небулия и электронов. Они были потом напечатаны в моих последующих работах по химии, но Менделеев, относившийся ко мне с не меньшим вниманием, как и все остальные люди, все же огорчил меня, уверяя, что если моя теория и объясняет химические свойства атомов, «то все же нет в природе такой силы, которая могла бы их разложить».

Я позабыл в этой феерии все предписания доктора Брауна, бегал высоко по лестницам, пил и ел все, что мне давали на ежедневных фестивалях, в том числе и чай, и кофе, и вино. По вечерам я принимал предписанные мне лекарства, но как-то раз, недели через две, ночуя не дома, не мог этого исполнить и вдруг увидел, что желудок мой действует и без белладонны с ревенем, а сердце бьется и без строфана. Сильное возбуждение и свобода подействовали на меня, как лучшие лекарства, и я перестал что-либо принимать из аптеки.

Все это время я каждое утро должен был бегать в градоначальство обменивать свой однодневный вид на жительство на новый такой же, и это сильно меня стесняло, хотя мне и выдавали его тотчас же без возражений. Когда узнал об этом тогдашний знаменитый адвокат Оскар Осипович Грузенберг, тоже звавший меня к себе обедать или ужинать чуть не каждый день, он тотчас же дал мне подписать составленную им бумагу, в которой я уполномочивал его «вести все мои дела». Запасшись этим документом, он побежал в сенат, вытребовал на просмотр все дело о шлиссельбуржцах и, в частности, мое и, убедившись, что система однодневных видов на жительство ничем не оправдывается, вручил мне в конце декабря документ, подписанный частным приставом моего участка, в котором значилось: «Предъявитель сего Николай Александрович Морозов имеет право проживать в пределах Российской империи три месяца, в продолжение которых обязан приписаться к какому-либо сословию и исходатайствовать себе постоянный вид на жительство».

Я горячо поблагодарил Оскара Осиповича и поехал немедленно вместе с Верочкой сначала в Ярославскую губернию, в Бoрóк, повидать свою мать и брата, а потом в Мологу повидать сестер. Меня немедленно познакомили с мещанским старостой этого города, который тоже вместе со своими «именитыми мологскими гражданами» прибежал на меня посмотреть. Когда я показал ему документ частного пристава, обязывающий меня в продолжение трех месяцев приписаться к какому-нибудь сословию, он почти вырвал его из моих рук, говоря, что на следующем

же собрании он его представит в мещанском обществе и уверен, что все будут считать за честь принять меня в свою среду.

Так все и вышло. Не прошло и недели, как он с торжеством принес мне бессрочный мещанский паспорт на проживание по всей империи.

Так я сразу стал мещанином города Мологи. Имущественные права мне были возвращены, но я был лишен избирательных прав [99] и оставался без них вплоть до Октябрьской революции, которая сделала меня полноправным гражданином.

Прожив около месяца в деревне, я спешно возвратился в Петербург, где начал печатать свои книги, стихотворения и статьи. Редакторы тогдашних либеральных и радикальных журналов и газет наперерыв приглашали меня сотрудничать у себя, устроители публичных лекций и литературных вечеров спешили заручиться моим согласием прочесть у них что-нибудь.

Я встретился с молодой девушкой Ксаной Бориславской, талантливой пианисткой с поэтической наружностью и душой и литературными способностями, и влюбился в нее с первого взгляда. Она уже окончила педагогические курсы Екатерининского института и Петербургскую консерваторию и готовилась поступить в женский Медицинский институт. Я вызвался давать ей уроки физики для предстоящих экзаменов, но, раньше чем успел ее подготовить, не мог не признаться ей в своей любви, увез к себе в Боро́к, и там мы повенчались. Это был самый счастливый день в моей жизни, не только сам по себе, но и для всех последующих лет моего существования. Без нее я никогда не смог бы сделать бо́льшую часть того, что мне удалось в моей послешлиссельбургской жизни.

Дело о «Звездных песнях»[100]

(По документам)

Прошло пять лет нашей совместной жизни с Ксаной, в продолжение которых, кроме разных статей в научных и литературных журналах, у меня вышли отдельными книгами: «Откровение в грозе и буре», «Периодические системы строения вещества», «Менделеев и значение его периодической системы для химии будущего», «В начале жизни», «Из стен неволи», «Основы качественного физико-математического анализа», «Законы сопротивления упругой среды движущимся в ней телам», «Начала векториальной алгебры в их генезисе из чистой математики», «В поисках философского камня», «На границе неведомого», «Письма из Шлиссельбургской крепости» и перевод «Откровения в грозе и буре» на польский язык.

Я был уже профессором химии в Вольной высшей школе Лесгафта, почетным или пожизненным членом многих ученых и литературных обществ и деятельным членом тогдашнего аэроклуба, принимая непосредственное участие в полетах на аэропланах и аэростатах, нередко с научными целями.

В одну из поездок в Москву в 1910 году я встретился с Поляковым, возглавлявшим издательство «Скорпион», и он спросил, не найдется ли у меня чего-нибудь литературного для его издательства. Я предложил ему книжку своих стихотворений под названием «Звездные песни», часть которых была написана еще в Шлиссельбурге, а другие уже на свободе, и он с удовольствием согласился напечатать их. Я предложил ему только посмотреть, все ли они подходят под цензурные условия, так как ни мне, ни ему нет никакого интереса, чтобы книжка была уничтожена.

Через месяц или два он написал мне, что не находит в моих стихотворениях ничего рискованного и уже приступил к их печатанию[101]. Ранней весной 1910 года книжка вышла и с большим успехом поступила в продажу. Казалось, что все шло хорошо, как вдруг, месяца через два, в июне, когда я писал свою новую книгу в своем родном имении Борке́, Ярославской губернии, я прочитал в пришедших ко мне газетах, что мои «Звездные песни» конфискованы Комитетом по делам печати и издатель их Поляков привлекается к судебной ответственности.

— Как мне быть теперь? — говорил я Ксане.— Ведь сам же я просил его проверить предварительно в цензуре и исключить рискованные стихотворения. Он в сущности взял все дело на свою личную ответственность. Но ведь стихотворения все же написаны мной, и получается такое впечатление, как будто за меня может пострадать другой. Тут колебаться нельзя, необходимо немедленно написать в Комитет по делам печати, что, вместо издателя, я предлагаю привлечь к ответственности меня как автора.

Ксана не возражала, и я с первой же почтой послал свое заявление по назначению и стал ждать ответа [102].

Прошел месяц, другой, прошло около полугода, нет никакого отклика. Мы начали уже думать, что дело прекращено, как вдруг, в половине января 1911 года, ранним утром к нам явился полицейский чин и вручил мне под расписку первую после моего освобождения из Шлиссельбурга повестку судебного следователя [103].

Этой повесткой судебный следователь г. С.-Петербурга на основании статьи устава уголовного судопроизводства приглашал мещанина Николая Александровича Морозова на 18 января 1911 г., к 2 часам дня «в качестве обвиняемого по производимому им следствию о брошюре». В повестке сообщалось, что «неявившиеся в назначенное следователем время без уважительных к тому причин обвиняемые подвергаются по уставу уголовного судопроизводства приводу».

Прочитав этот документ, я сразу понял, что мое письмо в Московский комитет печати произвело свое действие. Обвинение снято с издателя и перенесено на меня. Что-то теперь будет?

Мне больно было смотреть на испуганное личико Ксаны. Вся наша так хорошо наладившаяся жизнь готова рухнуть, все мои планы предстоящих научных работ грозят оказаться разбитыми, но поступить иначе, чем поступил я, предложив перенести обвинения с издателя на себя, я не мог, не почувствовав себя трусом.

— Не может быть, чтобы тебя еще раз стали судить и притом так несправедливо,— говорила Ксана.

Я не знал, чем ее успокоить.

— Посмотрим сначала, что скажет следователь. Да, кроме того, ведь привлечение меня к суду зависит не от него, а от прокурора. Это только предварительный опрос, и я буду говорить, что не считаю себя ни в чем виновным.

Когда я пришел к судебному следователю 28-го участка, он принял меня чрезвычайно любезно, записал мое краткое показание, наговорил мне комплиментов и простился, уверяя, что от-

правит все со своим благоприятным заключением прокурору Московской судебной палаты, от которого будет зависеть прекратить дело, удовольствовавшись моими объяснениями, или дать ему дальнейший ход. Но он вполне надеется, что дело будет прекращено.

Возвратившись, я передал Ксане успокоительные слова следователя, и хотя наш друг, присяжный поверенный Грузенберг, так удачно раздобывший мне вид на жительство, и говорил, что любезность следователя дешево стоит, так как бюрократическая машина имеет свой бюрократический ход, не зависящий от личностей, мы с Ксаной стали успокаиваться.

С 18 января 1911 года, когда я давал показание следователю, прошло три месяца. Мы, как всегда, уехали на лето к себе в Борóк и возвратились в конце сентября в Петербург. Я начал обычные занятия в Научном институте Лесгафта, как вдруг в самом начале октября, уже через девять месяцев после опроса, я получил через полицейского под расписку новый пакет с тремя бумагами.

Одна бумага — повестка от 27 сентября 1911 г., которою Московская судебная палата по уголовному департаменту приглашала мологского мещанина Н. А. Морозова, на основании 581 ст. устава уголовного судопроизводства, явиться к 10 часам утра 24 ноября в судебное заседание палаты по обвинению по 128 и 1 и 2 пп. 129 ст. Уголовного уложения. «В случае же неявки Вашей без законных причин,— говорилось в повестке,— Вы подвергаетесь приводу в суд и платежу всех судебных издержек, причиненных отсрочкою заседания, согласно 592 ст. устава угол. судопр.». Повестка имела еще надпись: «Срочное. Подлежит возвращению».

Другая бумага — список судей, лиц прокурорского надзора и сословных представителей, из которых имеет быть составлено особое присутствие Московской судебной палаты, суду коего я подлежал.

Третья бумага — «Обвинительный акт о Николае Александровиче Морозове», где заявлялось: «18 июня 1910 года Московский комитет по делам печати, наложив арест на книгу книгоиздательства «Скорпион» под заглавием «Николай Морозов, Звездные песни», заключающую стихотворения преступного содержания, возбудил уголовное преследование против лиц, виновных в составлении и распространении означенного сочинения (л. д. 2).

На возникшем по этому поводу предварительном следствии осмотром книги «Звездные песни» установлено, что таковая представляет собою сборник стихотворений, в числе коих ока-

зался ряд стихотворений, возбуждающих к учению бунтовщического деяния и ниспровержению существующего в России государственного общественного строя и заключающих выражения дерзостного неуважения к верховной власти.

Так, в стихотворении «Проклятие» (стр. 19), между прочим, говорится:

«Проклятие! Пиши стихи в тюрьме,
Когда на воле ждет не слово — дело!
Да, жить одной мечтою надоело...
Бесплодно бьется мысль в моем уме,
Когда к борьбе с неправдой злой
Стремится все живое,
Когда повсюду гнет тупой
Да рабство вековое,
Тогда нет сил весь день сидеть
И песни о неволе петь!
Тогда, поэт, бросай перо скорей
И меч бери, чтоб биться за свободу.
Стесненному неволею народу
Ты не поможешь песнею своей!..» *

В стихотворении «Памяти 1873—75 годов» (стр. 33) говорится **:

Вспоминается ярко пора,
Как по нивам родимого края
Раздалось, серый люд пробуждая,
Слово братства, свободы, добра...

* Здесь прокурором выпущен конец, показывающий, что это стихотворение написано еще в тюрьме:

Но не могу бороться я,
Я должен здесь забыться,
Хоть каждый день душа моя
На вольный свет стремится...
Нет! Муза мне на ум нейдет,
Лишь жажда воли сердце рвет.— *Н. М.*

** Здесь выпущено начало, показывающее, что стихотворение это писано тоже еще в заточении:

Я в темнице навек погребен,
Но живу все еще год от году.
В дни тяжелой борьбы за свободу
Было время моих похорон.
За тяжелой тюремной решеткой,
За сырой и холодной стеной,
Ярким светом горят предо мной
Эти дни моей жизни короткой.— *Н. М.*

Как в смятенье подняли тревогу
Слуги мрака, оков и цепей
И покровом терновых ветвей
Застилали к народу дорогу...
Как в борьбе с их несметной толпой
Молодая могучая сила,
Погибая, страну пробудила
На последний, решительный бой.
Вы, друзья, что в борьбе уцелели,
Тоже здесь вспоминаетесь мне...
Лучше ль вам на родной стороне*,
Ближе ль, братья, стоите вы к цели?
Трудно жить, чтоб порой не дрожала,
На врага подымаясь, рука,
Чтобы сил не сгубила тоска,
Если счастье в борьбе изменяло.
Чтобы в том, кто восстал за любовь
В этом мире скорбей и печали,
Только гнев и вражда не смолкали
И кипела бы мщением кровь!

Далее, в стихотворении «Видения в темнице» (стр. 37) высказывается возмущение гнетом церкви, правительства и капитализма, и, между прочим, говорится **:

«Я вижу: царь гнета во мраке густом
Поднялся, губя, что ни встретит,
И светом багровым на небе ночном
Кровавое зарево светит...
Кругом него трупы убитых лежат,
Летают гранаты, как змеи,
Орудия пыток у трона лежат
И пушек гремят батареи.

---

* Тут опять выпущен не подходящий для обвинения куплет и взято лишь продолжение.

Тяжкий крест привелось вам принять,
Легкий жребий мне выпал на долю,
Трудно жить и бороться за волю,
Но легко за нее умирать.— Н. М.

** Тут надерганы беспорядочно лишь отдельные куплеты и строки из длинной поэмы в несколько страниц, отчего и выходит бессвязно. Точками обозначены перерывы.— *Н. М.*

Пред грозным царем, над дрожащей землей
Под грудами ядер разбитых,
Толпится народ...

. . . .

И просит пощады за то, что искал
От грозной неправды спасенья,
И тщетно усталые руки поднял,
Чтоб свергнуть ярмо угнетенья...
И путь мой прервался во мраке и мгле

. . . .

На склоне долины глубокой...

. . . .

Я видел теченье могучих веков
И долю народа родного...

. . . .

Мертва и спокойна была предо мною
Страна векового застоя...

. . . .

Там здание рабства на грудах костей
Стояло темно и громадно
И много безумных, жестоких царей
Терзало людей беспощадно.
Но вот в этой темной стране поднялось
Таинственной жизни волненье
И дивное пенье вдали пронеслось

. . . .

Встань, бедный народ! Поднимитесь, рабы!
И в битву идите вы снова!
Довольно вы гнулись под игом судьбы,
Разбейте же смело оковы!
И только лишь гордый призыв прозвучал,
Как тюрьмы и храмы упали,
Порыв урагана завыл, засвистал,
И в страхе*... задрожали,
Порвалися звенья оков и цепей...
Пропала в стране
Неволи губящая сила!

. . . .

Рассеялись тучи с туманом густым,
Свалились оковы с народа.

---

* Пропущено слово «цари».— *Н. М.*

В стихотворении «Древняя легенда» (стр. 63) описывается, как «страдающие за правду», замурованные в крепостных стенах, выходили на суд угнетающих и говорили *:

Не помогут вам казни бесчисленные,
И падет угнетенья престол...
. . . .
Вечной жизни струи обновляющие
Не пресечь вам рукой палача!
И погибли они обезглавленные
В беспощадных темницы стенах,
Но их души, в наследье оставленные,
Возродились в грядущих борцах,
И как грозы гремят и всколыхивают
Атмосферу глубоких ночей,
Их идеи могучие вспыхивают,
Озаряя сознанье людей.
И не могут с тех пор угнетающие
Кончить казней кровавых своих:
Все за счастье людей погибающие
Возрождаются снова на них.

В стихотворении «Цепи» (стр. 90) говорится:

Варварство и троны,
Рабство и мечи,
Цепи и короны,
Тьма и палачи,
Горе и невзгоды,
Деспоты и гнет!
О, когда ж свобода
Вашу цепь порвет!

В стихотворении «Встреча» (стр. 106), по-видимому, отчасти автобиографического содержания, описывается, как автор, встретив какого-то «Ваню» и подружившись с ним, пошел с ним «в народ», причем приводится следующая песня «Вани»:

«Твердые волей в годины суровые,
Новой работы работники новые,
Бедная родина, бедный народ
В бой вас за волю зовет!

* Тоже взяты лишь бессвязаные выдержки.— *Н. М.*

Мрак гробовой
Густ и суров
Лег над страной
Вечных рабов.
Горе и гнет
В каждом селе, гибнет народ
В рабской земле.
Выйдем же, братья, на мщенье великое.
Варварство злобное, варварство дикое
Всюду над нашей страною царит,
Все в ней живое мертвит.
Пусть нас в цепях
Годы томят,
Пусть в рудниках
Нас уморят,
Тех, кто с врагом
В битве падет,
Вспомнит добром
Русский народ...
Время придет — пред работой упорною
Рухнет насилия зданье позорное,
И засияет над русской землей
Солнце свободы святой!»

Далее приводится другая песня того же «Вани» о «четырех братьях», в коей встречаются следующие строки:

Где ни посмотришь — нужда безысходная,
Счастья и правды нигде!
Жадные власти, как стая голодная,
Рыщут и грабят везде.
Тронуло братьев народа терпение,
Горе его, и с тех пор
Всюду они проповедуют мщение,
Грозный готовят отпор.
Быстро их дело растет, расширяется,
Рушится древний покой,
Гнев на народных врагов накопляется
И разразится грозой.

Наконец, в стихотворении «Пророк» (стр. 133) указывается на приближение времени «грозных революций» и «бурных потрясений» и говорится:

Царство злобы, угнетенья в буйном вихре сгинет,
И престолы всех тиранов буря опрокинет.

Первым рушится кровавый, окруженный мглою
Трон старинного насилья, рабства и застоя,
И под небом, освещенным заревом пожаров,
Власть меча погибнет в треске громовых ударов.
А затем, шатаясь, рухнут вечной тьмы престолы *.

Осмотром книги заказов типографии «Товарищества А. Н. Мамонтов», где описанное издание было напечатано, и показанием состоявшего ответственным лицом этой типографии Михаила Мамонтова установлено, что книга «Звездные песни» была напечатана в количестве 1450 экземпляров, которые и были выданы книгоиздательству «Скорпион» в ноябре 1910 года и получили распространение (л. д. 14, 17).

28 июня 1910 года в Московский комитет по делам печати поступило заявление от Н. А. Морозова, в коем последний, упомянув о полученных им сведениях о наложении ареста на книгу «Звездные песни», извещал Комитет о том, что автором названной книги является именно он и что, продавая издание ее названному выше книгоиздательству, он убедил владельца последнего в том, что в помещенных в этой книге стихотворениях не содержится ничего преступного ** (л. д. 7, 13).

Привлеченный к следствию в качестве обвиняемого в составлении описанных выше преступных стихотворений, получивших распространение, Николай Морозов не признал себя в этом виновным и объяснил, что в означенных стихотворениях, по его мнению, не содержится дерзостного неуважения к верховной власти и возбуждения к учинению бунтовщического деяния или ниспровержению существующего в России государственного и общественного строя, так как все эти стихотворения были написаны в семидесятых годах; о России в них ничего не говорится и носят они, по преимуществу, общий характер, «вне пространства и времени», или представляют собой аллегорическое изображение» борьбы между гнетом и свободой во всемирной истории (л. д. 37, 40).

На основании изложенного,— продолжает обвинительное заключение,— Н. А. Морозов, 56 лет, обвиняется в том, что в начале 1910 г. составил сборник стихотворений под заглавием «Звездные песни», который тогда же с его ведома и согласия

* Причем выпущено заключение:

«И исчезнет бог гонений, гневный бог Лойолы».— *Н. М.*

** На самом деле это издатель Поляков убедил меня, что книга не встретит цензурных препятствий, но я не мог перенести мысли, что за мои стихи могут осудить не меня, а другого человека, и потому послал свое заявление.— *Н. М.*

был издан и распространен в Москве книгоиздательством «Скорпион», причем включил в означенный сборник составленные им же стихотворения «Проклятие», «Памяти 1873—75 гг.», «Видения в темнице», «Древняя легенда», «Цепь», «Встреча» и «Пророк», заведомо для него, обвиняемого, возбуждающие к учинению бунтовщического деяния и ниспровержению существующего в России государственного и общественного строя и заключающие выражения дерзостного неуважения к верховной власти, так как в этих стихотворениях указывается, что «когда к борьбе с неправдой злой стремится все живое», поэт должен бросить перо и взять меч, чтобы биться за свободу, так как «стесненному неволею народу» он «не поможет песнею своей»; что «трудно жить, чтоб порой не дрожала, на врага подымаясь, рука»; чтобы в том, «кто восстал за любовь, гнев и вражда не смолкали, и кипела бы мщением кровь»; затем говорится, что «царь гнета во мраке густом поднялся, губя, что ни встретит»; что «орудия пыток у трона лежат». Далее автор, описывая «долю народа родного», высказывает, что в «темной стране векового застоя», где «много безумных, жестоких царей терзало людей беспощадно», пронеслось дивное пенье: «Встань, бедный народ! Поднимитесь, рабы, и в битву идите вы снова! Довольно вы гнулись по воле судьбы, разбейте же смело оковы». Кроме того, высказывается, что «угнетающим» не помогут казни бесчисленные и «падет угнетенья престол»; выражается пожелание, чтобы свобода порвала цепь «варварства и тронов, рабства и мечей, цепей, корон, палачей, деспотов и гнета», а также приводятся песни некоего «Вани», друга автора, будто бы певшиеся им во время их совместного «хождения в народ»: «Твердые волей, в годины суровые, новой работы работники новые, бедная родина, бедный народ в бой вас за волю зовет... Выйдем же, братья, на мщенье великое... Время придет: пред работой упорною рухнет насилия зданье позорное и засияет над русской землей солнце свободы святой... Тронуло братьев народа терпение, горе его, и с тех пор всюду они проповедуют мщение, грозный готовят отпор. Быстро их дело растет, расширяется, рушится древний покой, гнев на народных врагов накопляется и разразится грозой». Наконец, указывается на приближение времени «грозных революций и бурных потрясений» и выражается надежда на то, что «царство злобы, угнетенья в буйном вихре сгинет, и престолы всех тиранов буря опрокинет», что «первым рушится кровавый, окруженный мглою трон старинного насилья, рабства и застоя», что «под небом, освещенным заревом пожаров, власть меча погибнет в треске громовых ударов», и что «шатаясь, рухнут вечной тьмы престолы».

Означенное преступление предусмотрено 128 и 1 и 2 пп. 129 ст. Угол. улож.

Вследствие сего и на основании 2 ч. 1032 ст. Уст. уг. суд. названный Морозов подлежит суду Московской судебной палаты с участием сословных представителей.

Составлен 27 марта 1911 г. в Москве».

Получение этого обвинительного акта было в высшей степени неожиданно для всех моих друзей и знакомых и даже для посторонней публики, знавшей меня лишь как публичного лектора и шлиссельбуржца. Всем казалось в высшей степени странным, что человека, двадцать восемь лет просидевшего в заточении, хотят еще засадить за второе издание стихотворений, среди которых все инкриминированные были уже напечатаны в 1906 году, т. е. пять лет назад, и не были даже конфискованы.

Заволновались все интеллигентные слои общества. К этому времени я уже был известен и как ученый и как лектор. Меня вызывали почти во все губернские города читать публичные лекции по воздухоплаванию и по юной еще тогда авиации, в которой я принимал непосредственное участие, и по чисто научным вопросам. Доходы с этих лекций наполовину шли в пользу недостаточных студентов или, потихоньку, в пользу политических ссыльных и даже непосредственно на революционные предприятия, и через шесть лет после моего выхода из Шлиссельбургской крепости у меня оказались тысячи знакомых, так что нельзя было поехать куда-нибудь без того, чтобы в вагоне поезда меня сейчас же кто-нибудь не узнал. Появились даже рисунки в иллюстрированных журналах, изображавшие меня в ожидании нового заточения, как, например, в «Голосе земли», редактировавшемся Г. П. Сазоновым, от 22 февраля 1912 года.

Никто не хотел верить, что меня действительно осудят, и совершенно не понимали, зачем же меня привлекают, тем более что во всех других случаях за книги судили издателей, хотя в данном случае прекрасно знали имя автора уже по одному тому, что оно было напечатано на заголовке книги.

Да и сам я инстинктивно чувствовал, что истинная причина моего привлечения по указанной статье, грозившей в случае полного применения многими годами лишения свободы, должна быть не в этих произвольно надерганных усердным прокурором строках, а в чем-то другом, не упоминаемом в обвинении и даже неясном для меня самого.

Вряд ли меня пощадят, вернее, засадят на несколько лет или сошлют в какую-нибудь восточносибирскую глушь. Кроме того, мое внимание привлек тут еще один странный пункт.

Обвинительный акт помечен 27 марта 1911 года, а повестка о вручении его мне датирована 27 сентября 1911 года. Почему же он лежал без действия целых полгода? Очевидно, ждали возвращения кого-то, уезжавшего на все лето. Но почему же его ждали? Очевидно, это была особа, которая могла и отменить начатое судопроизводство. Не сам ли это царь?

Но, не имея возможности на что-либо опереться при этих своих соображениях и не желая тревожить и без того растревоженную Ксану, я никому не высказывал своих мрачных мыслей, а наоборот, делал вид, будто уверен в оправдании.

Во всяком случае обвинение было нешуточное, а приговор по нему мог быть суровым. Все зависело от того, какие директивы будут получены судьями сверху. Пессимистически настроенная часть друзей, опасаясь заключения от 3 до 5 лет, советовала нам уехать за границу, чтобы жить и работать там, не подвергаясь риску преследования и не чувствуя над своей головой грозной руки русского самодержавия. Однако эти, хотя и вызванные дружеской заботой советы казались мне еще более неприемлемыми, чем всякий возможный по своим последствиям приговор.

Накануне суда, 2 ноября 1911 года, мы были уже в Москве и остановились, как всегда, у старого друга всех шлиссельбуржцев и всеми ими горячо любимой — Веры Дмитриевны Лебедевой. Она, конечно, очень близко принимала к сердцу наши дела и была единственной, получившей вместе с Ксаной разрешение присутствовать на суде благодаря связям своего сына, одного из выдающихся представителей московской адвокатуры. Повестка приглашала нас к десяти часам утра в здание судебной палаты. День был серый, унылый, подстать моему настроению. Надо было на пути к палате с осторожностью переходить улицы, чтобы не попадать в расстилавшиеся справа и слева лужи.

Вера Дмитриевна была молчалива, часто и грустно вздыхала. Она была уже умудрена годами и опытом и не верила в благоприятный исход дела.

Мы пришли вовремя, но оказалось, что нам придется еще довольно долго ждать. В зал заседаний еще не пускали, и мы принялись втроем разгуливать по широким вымощенным каменными плитами коридорам с облупленными серыми стенами мимо ряда выходящих во двор окон. Вдоль этих окон стояли скамейки, и мы на них иногда присаживались, но испытываемое мною волнение снова заставляло меня ходить.

Наконец, судебное заседание началось, но дело наше оказалось вторым.

Мы отправились присутствовать на первом заседании. Подсудимым оказался пожилой крестьянин, бывший деревенский староста. Он обвинялся в том, что в течение нескольких лет присваивал себе деньги своих односельчан, вскрывая получавшиеся для них письма с денежными вложениями.

По-видимому, деревня, где все они жили, находилась в глухом углу, далеко от почтового отделения, и у него была доверенность на получение писем и денежных пакетов. Его систематическое обкрадывание получателей было не скоро обнаружено деревней. Сначала копились и росли подозрения, затем мало-помалу они перешли в полную уверенность, и вот вся деревня оказалась налицо перед судом. Все односельчане единодушно пришли на суд подтвердить вину своего старосты, хотя каждый, долго живший в деревне, хорошо знает нелюбовь русского крестьянина к гласному обвинению.

Сила может оказаться на стороне врага, и жалобщик пропал. Однако они стояли здесь в заплатанных зипунах, с котомками за спиной, в которых принесли свое пропитание, чтобы не истратить драгоценного пятака на городские харчи. И все они, как один, говорили то же самое. Ими были посылаемы деньги, но они не доходили по назначению. Также не доходили и те, которые присылались на их имя. Но они не обвиняли, а просто устанавливали факт, и тем ярче выступала неприглядная физиономия старосты.

Перед такой подавляющей очевидностью улик ему не оставалось ничего другого, как просить суд о снисхождении. Ничего другого не оставалось говорить и защитнику, и даже речь прокурора была вялой, без громов и молний.

Присяжные совещались минимально короткое время. И, к моему величайшему изумлению, оказалось, что этот мошенник, обкрадывавший несколько лет доверившихся ему односельчан, приговаривается только к шестимесячному заключению. Трудно было ожидать более мягкого приговора. Снисходительность судей была очевидна, и это показалось мне хорошим предзнаменованием.

Был объявлен перерыв, и началось мое дело.

Ксана с Верой Дмитриевной — единственно допущенная публика — уселись на одной из задних скамеек. Впереди виднелись только чиновничьи воротники и блестящие пуговицы мундиров.

Поднялся председатель суда и звучным, красивым голосом начал читать обвинительный акт, приводя один за другим отрывки из инкриминируемых стихотворений. Он читал хорошо, как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой, совсем как чтец на каком-нибудь литературном вечере.

Когда к борьбе с неправдой злой
Стремится все живое,
Когда повсюду гнет тупой
Да рабство вековое,
Тогда нет сил весь день сидеть
И песни о неволе петь!
Тогда, поэт, бросай перо скорей
И меч бери, чтоб биться за свободу.
Стесненному неволею народу
Ты не поможешь песнею своей!..

Последнее четверостишие приводилось и толковалось им как призыв к вооруженному восстанию. Но этот призыв, говорила потом Ксана, так красиво прочитанный, казался нисколько не грозным и, собственно говоря, относился только к самому поэту.

Затем так же выразительно и красиво был прочитан отрывок из другого стихотворения, посвященный памяти 1873—1875 гг. Из него было видно, что поэт, находившийся в тюрьме, обращается к своим друзьям, оставшимся на воле, говоря им, что трудно жить одним чувством гнева и вражды к врагам и что даже борца «за любовь» охватывают чувства тоски и печали.

Вы, друзья, что в борьбе уцелели,
Тоже здесь вспоминаетесь мне...
Лучше ль вам на родной стороне,
Ближе ль, братья, стоите вы к цели?
Трудно жить, чтоб порой не дрожала,
На врага подымаясь, рука,
Чтобы сил не сгубила тоска,
Если счастье в борьбе изменяло.
Чтобы в том, кто восстал за любовь
В этом мире скорбей и печали,
Только гнев и вражда не смолкали
И кипела бы мщением кровь!

— Это стихотворение казалось мне,— говорила потом Ксана,— еще более невинным. Чувство гнева и мщения не принимали в нем никакого определенного образа. Больше чувствовались тоска и любовь к оставшимся на воле друзьям-братьям.

— «Что же тут предосудительного?» — думала она.

На душе у нее становилось все спокойнее. Это не суд, а художественно-литературное утро, да и только! Неужели за одни гуманные слова можно заключить человека в тюремные стены, исковеркать ему жизнь? Нет, немыслимо, невероятно! Настроение Ксаны поднималось.

Чтение моих стихов продолжалось все дальше и дальше.

— Где же тут состав преступлений? — говорила она мне с жаром.— Все красивые, хорошо прочитанные стихи, к тому же изданные первым изданием пять лет назад и все эти годы невозбранно находящиеся в продаже. Ведь это уже второе издание.

Память не переставала напоминать ей об этом. Только в одном из шести инкриминируемых стихотворений — «Пророк» — говорилось о том, что

Близко время пробужденья городов, селений,
Время грозных революций, бурных потрясений.
Царство злобы, угнетенья в буйном вихре сгинет,
И престолы всех тиранов буря опрокинет.
Первым рушится кровавый, окруженный мглою
Трон старинного насилья, рабства и застоя.

Но и при чтении этого наиболее «преступного» из стихотворений память упорно твердила мне, что со времени первого издания его прошло уже целых пять лет.

Оглашение обвинительного акта, наконец, закончилось.

Мой защитник, известный адвокат В. А. Маклаков, настойчиво упирал на не подлежащую никаким судебным преследованиям давность всех инкриминируемых стихотворений, в особенности как вторично изданных.

— Написаны они тридцать пять лет тому назад, еще до шлиссельбургского заточения,— говорил Маклаков,— и пять последних лет невозражаемо продавались. Автор в своем длительном заключении понес наказание уже и за них, а ни один закон не карает дважды за одно и то же преступление.

Все доводы разума, логики и справедливости, очевидно, были на стороне защитника. Казалось, что даже и суд слушал их благосклонно. Но вот присяжные удалились во второй раз. Снова раздалось волнующее: «Суд идет».

Мы встали. Сердца у нас с Ксаной были полны надежды.

И вдруг, как гром из ясного неба, заключительные слова приговора:

«Подсудимый Морозов приговаривается к году тюремного заключения. Решение подлежит обжалованию в двухнедельный срок».

Этот приговор произвел на Ксану ошеломляющее впечатление. Литературное утро, чтение художественных стихов, и вдруг — год тюрьмы! И рядом бьющее в глаза своим контра-

стом предшествовавшее дело о воровстве. Половина того же наказания за воровство! Это называется правосудием!

Ксана не пролила ни одной слезы, так как не верила в возможность осуществления приговора.

В тот же вечер мы уехали в Петербург, а кассация защитника разбиралась уже почему-то весной, кажется, в марте 1912 года.

До тех пор мы жили, как и до приговора, у себя на квартире на полной свободе, как будто правительство говорило: «Да избавь же ты нас от себя, убеги за границу. Тогда, несмотря на твое признанное тобою авторство, мы снова перенесем обвинение на издателя, а вместе и приговор на него, поставив тебя этим в фальшивое положение».

А вдобавок через полгода жизни у себя на квартире, причем я мог летать и ездить без разрешения по всей империи, куда хочу, мне еще разрешили поехать с Ксаной в Крым для поправления здоровья.

И мы с Ксаной уехали на полной свободе!

Мытарства осужденного[194]

Словно во сне вспоминается мне последний день моей второй шестилетней жизни на свободе. Вот Артек... Вот аллея пирамидальных кипарисов, вот милые, приветливые лица наших хозяев Метальниковых... Ксана и я дружески беседуем с ними, проходя по аллее, обливаемой жгучими лучами южного солнца. А направо от нас синеет беспокойное Черное море, бьет своей неумолкающей зыбью в груды прибрежных серых валунов и в подножья выступающих из него, подобно двум гигантским зубам земли, огромных обрывистых скал — Адаларов. Полосы белой пены лежат внизу и извиваются вдоль по всему горному побережью Аю-Дага, заслоняющего море налево и Суук-Су у Адаларов направо, хотя в воздухе совершенно тихо.

Тихо идет и наша жизнь. Почти целый месяц живем мы на южном берегу Крыма. Ксана уже начала каждый день играть на рояле, я принялся понемногу изучать библейских пророков для своей будущей историко-астрономической книги. Но лень все еще берет свое. Почти каждое утро бегу я вместе с соседом купаться в море. Вот мы раздеты, греемся, лежа на своих простынях, на солнце и затем кидаемся в выбрасывающийся с грохотом на камни береговой вал и, переплыв через него, качаясь, уплываем вдаль. Тяжелая морская вода легко держит тело на своей поверхности: лежишь на ней почти без усилий и, поплавав вволю, возвращаешься к берегу, к тому месту, где качаются в воде вереницы круглых, прозрачных медуз, похожих на толстые, стеклянные чайные блюдца под самой поверхностью прозрачной синеватой воды.

Мы пробираемся к тому месту, где, поднявшись высоко, береговой вал переворачивается, рассыпается на брызги белой пены, затем выбрасывается на берег и струями сливается вниз по береговым голышам навстречу новому, уже поднимающемуся и пенящемуся, береговому валу. Как мощно ударяет по нашему телу его вершина! Она перебрасывается через нашу голову, стараясь повернуть нас боком и бросить на камни, но мы напрягаем последние усилия, снова поворачиваем к морю свои ноги, и новый вал, поднявшись, как призрак, у берега, подбрасывает нас вверх. И мы уже лежим, зарывшись руками в голыши, стараясь удержаться на береговом откосе, чтоб нас не смыло с него обратно сливающейся водой и не унесло снова в море.

— Снимите нас в пене! — кричим мы Борису Владимировичу, сидящему еще на берегу. Он улыбается, нацеливается на нас. Кодак хлопает, и мы с А. В. запечатлены, как два тюленя, выглядывающие из морской пены.

Невдалеке смуглые и тонкие татарские мальчики прыгают, подняв руки вверх, в прибой, как бесенята, подскакивая над каждой новой волной. А там далеко за ними видно, как наиболее смелые из наших дам стараются подражать им, и их визг слабо доносится до нас сквозь мощный, ни на миг не умолкающий гул морских валов.

Да, хороши были эти наши морские купанья по утрам! А как прекрасны были темные, южные ночи, как ярко горел над безбрежным морем на голубом небе Юпитер, этот древний небесный «Белый конь». Как сияла вверху Вега, а внизу, у самого Юпитера, глядел на нас красный Антарес среди красивой вереницы «Скорпионовых звездочек».

— Какая это звезда? — спрашивает кто-то, показывая в небо перед собой.

— Арктур! — отвечает осведомленная еще в прежние годы Ксана.

Каждому и каждой хочется воспользоваться случаем узнать от нас названия звезд, которые, как справедливо жалуются они, очень трудно разыскивать неопытному человеку по картам.

А из чащи деревьев кругом несутся то издали, то вблизи скрипучие звуки древесных лягушек и сливаются в одну сплошную своеобразную музыку.

Тихо и тепло. Вот, после вечернего чая, мы идем среди зарослей кустарника в глубоком мраке по тропинке над крутыми обрывами горного склона. Впереди всех Ася*, знающая с детства каждый камень на этой дорожке, а мы за нею, держась друг за друга и ничего не видя во мраке безлунной ночи. На каждом шагу мы ощупываем ногами почву, прежде чем решаемся опереться на нее, иногда тянем друг друга за пояс, иногда подталкиваем в спину более робких.

— Здесь направо обрыв! — предупреждает Ася.

— Здесь камень под ногами! — говорит споткнувшийся.

— Здесь протекает поперек дороги ручеек! — предостерегает попавший в него ногою.

— Здесь спуск!

— Здесь крутой подъем!

---

* Дочка проф. Метальникова.— *Н. М.*

Так раздаются предупреждающие голоса передних. Но каждый ночной путь от моря домой проходит для всех благополучно, разве только кто-нибудь погружается ногой в маленькую оросительную канавку, идущую некоторое время рядом с нашей тропинкой, между нею и поднимающейся налево кручей.

Живо проносятся теперь в моем уме эти приветливые картины в тихом уединении моего нового крепостного заключения. В ушах звучит еще ежедневная музыка Ксаны, видится ее оживленное, приветливое личико, вспоминаются ее светлые мечты о нашей дальнейшей жизни, о новых путешествиях.

Осуществятся ли они когда-нибудь в будущем после моего нового выхода на свободу из этого нового заточения или суровая действительность и тогда подсечет им крылья, как подсекла уже многим другим мечтам? Новый год испытания показывает, как не обеспечена ничем жизнь современного человека в России, если он не погрузился окончательно в моральную и умственную спячку.

Но вот мысли снова возвращаются к последним дням моей жизни на свободе. Вдали из-за Адаларов показывается лодка со студентом и двумя мальчиками, одетыми в матросские костюмы. Они — сильные, загорелые, решительные, приученные с раннего детства к морю и к ветру, к зною и к дождю, дети, каких хотелось бы пожелать и всем остальным родителям. Их лодка колышется по зыби и останавливается, качаясь, у самых береговых бурунов. Пристать к берегу невозможно: захлестнет лодку тотчас же волной и выбросит ее на берег.

— Кидайте к нам ваше платье! — кричат мне дети.— А затем плывите и садитесь в лодку. В ней и оденетесь!

Все это было выполнено без затруднений, хотя меня и окатило несколько раз соленой водой, когда, пользуясь моментами ухода волны, я подбежал поближе к лодке, чтобы бросить в нее по частям свою одежду.

И вот мы закачались на волнах и отправились дальше, за устье ручья. Там прибой был слабее; мы пробовали сначала выброситься с лодкой на гребне волны на берег, чтобы доставить Ксане возможность вскочить в лодку между двумя валами, и затем снова столкнуть лодку в море. Но в тот самый момент, когда она вскочила, нахлынула уже другая волна и наполовину повернула лодку боком к морю. Следующая непременно захлестнула и перевернула бы ее, и вот, чтобы избегнуть всеобщего купанья в одежде, студент, я и старший мальчик выскочили из лодки в море. Мальчик по пояс в воде направил корму снова вперед. Я и студент уперлись изо всех сил ногами в камни и сдвинули с береговых голышей носовую часть. Старший мальчик, весь мок-

рый, успел обратно вскочить в лодку, младший налег на весла. Лодка вновь закачалась в безопасности за береговым прибоем, а я, едва отскочив от новой волны, которая облила бы меня с головой и принудила бы идти домой переодеваться, убежал на берег, поплатившись только нижней частью своего костюма, который был притом же засучен выше колен.

Подъехать в этом месте во второй раз к берегу лодке не было никакой возможности, без того чтобы не окатить водой Ксану в ее летнем платье и шляпке.

— Поезжайте к Суук-Су! Там тише! — крикнул студент.

Лодка поплыла вдали параллельно берегу, а мы пошли пешком по слоям раскаленных солнцем валунов голышей, которые жгли мне ноги и больно давили на их голые подошвы, так как мои штиблеты с носками остались в лодке.

Но, чем дальше мы шли, тем больше убеждались, что относительная тишина там, вдали, была лишь оптическим обманом. Мы прошли этим мучительным для ног путем не менее полутора верст, почти до самого Суук-Су, не встретив ни разу места, где можно было бы пристать лодке. Наконец, у нескольких огромных камней, свалившихся в доисторические времена с берега в море, на которых, как львиная шерсть, густо росли бурые водоросли, а из прозрачных и глубоких водных промежутков между камнями смотрели на нас несколько широких крабов, мы смогли с трудом взобраться на нос лодки и тотчас же отъехать за полосу прибоя. Качаясь, поплыли далее на веслах и, проплыв у выбитых волнами живописных гротов мыса Суук-Су между берегом и ближайшим из морских Адаларов, очутились вблизи живописного поселка Гурзуф.

Высадившись здесь, направились по извилистым тропинкам на вершину известкового холма, в имение наших соседей, мимо огромного отвесного утеса Скалы смерти, с которого в старинные времена, по преданию, сбрасывали присужденных к смертной казни.

— Когда глядишь снизу вверх,— сказала Ксана,— этот обрыв совсем не так страшен, чем когда мы смотрели с него вниз в прошлое посещение. Но я не могу уже им любоваться, после того как мне рассказали об этих казнях. Мне все представляются те, которых сталкивали с него.

А у меня уже шевелились в голове и другие мысли.

Все, что я здесь видел, показывало мне, что не более нескольких тысяч лет назад, может быть даже в начале нашей исторической эпохи, здесь было страшное землетрясение, от которого эти горы внезапно подпрыгнули на своих основаниях и их южные слои разлетелись, как стекло, на груды мелких, круглых, а ино-

гда даже и огромных, как гигантские пирамиды, осколков, скатившихся затем со страшным грохотом в море и, вероятно, образовавших эти живописные береговые скалы, вроде Адаларов у Гурзуфа, вроде Дивы и Монаха близ Симеиза или бесконечный лабиринт скал близ Алушты. Свежесть разломов у этих камней и отсутствие заметных следов выветривания на их поверхности, казалось мне, достаточно обнаруживали, что катастрофа произошла совсем не так давно, считая в геологическом масштабе. А повсеместность распространения этих свежих обломков, виденных мною по всему южному берегу Крыма, и очевидная одновременность их образования показали мне, что это не были случайные обвалы отдельных гор от размывания их оснований просачивающейся сверху водою, как многие думают в настоящее время. Тогда осколки принадлежали бы к разным эпохам. Я поднял с дороги несколько голышей из местных глинистых сланцев. Они явно были разбиты вдребезги, когда еще лежали глубоко под землею, потому что ряды мелких трещин, пересекавших их повсюду, были крепко и плотно сцементированы прослойкой кристаллической извести, просачивавшейся в них в водном растворе под землей.

Как страшен должен был быть удар, вдребезги разбивший почти до основания эти громадные горы! Ничто живое не могло уцелеть в тот миг на южном берегу Крыма. В один миг первобытная, цветущая и, может быть, густо населенная доисторическим народом страна превратилась в пустыню, а затем была смыта нахлынувшим морем! Никого не осталось, чтобы рассказать о том, что произошло, и даже жители отдаленных окрестностей в ужасе разбежались кто куда мог, крича, что боги разгневались за грехи прибрежного населения Крыма и уничтожили его.

Мне припомнилась картина такого же и даже несравненно большего опустошения, виденного мною в горах Апшеронского полуострова, в полутораста верстах от Баку, когда я проезжал туда из Тифлиса. С правой стороны от меня была песчаная степь, почти без всякого признака растительности, за которой уходило в серую туманную даль Каспийское море, а налево поднималась за сотни верст от меня часть Кавказского хребта, весь верхний слой которого был, казалось, только что сброшен могучим подземным ударом и рассыпался у своего подножья в груды гигантских угловатых камней.

«Не были ли эти оба страшных землетрясения, о которых некому было пересказать потомкам, одновременными?» — думалось мне, когда я шел под Скалою смерти, отстав от спутников, предаваясь своим обычным для последних лет научным мечтам

и нисколько не предчувствуя той катастрофы, которая уже была заготовлена для меня самого и уже гналась за мной по пятам на этой самой дороге. Я догнал своих спутников, перегнал их, мы отдохнули на скамеечке недалеко от дома, куда шли. Вдали, в беседке, был уже сервирован обед, но хозяйки еще не было дома. Она спешила сюда, как мне сказали, из Суук-Су, куда ее вызвала в это утро заболевшая знакомая. В ожидании ее возвращения виночерпий выставил нам для утоления жажды бутылки красного и белого вина собственного изготовления, и, сидя под навесом около дома, мы утоляли ими свою жажду, подливая в них холодной воды из горного родника.

Вдруг прислуга вызвала студента-гувернера, и через минуту он возвратился совершенно встревоженный.

— Пришел урядник,— говорит он мне,— с какой-то бумагой, которую должен вручить вам. Что ему сказать?

Я сразу почувствовал недоброе. Никогда еще не приходило ко мне начальство с чем-либо хорошим! Ксана побледнела. Дети тревожно смотрели по направлению ко входу в усадьбу. Мне ничего не оставалось делать, как с видимым спокойствием пойти навстречу предстоящей опасности, хотя я с несравненно большей охотой встретился бы с медведем в лесу, чем со служителем современной нашей всемогущей бюрократии, вооруженным бумагой! И предчувствие не обмануло меня.

— Я тот, кого вам нужно! — сказал я и принял бумагу.

Она была от прокурора Симферопольского окружного суда в Ялтинское полицейское управление и содержала приказ о моем немедленном аресте и заключении в тюрьму на год, по приговору Московской судебной палаты, осудившей меня за семь стихотворений в моей книжке «Звездные песни» *.

В один миг разлетелись все мои ближайшие научные планы: осмотреть вершины Чатыр-Дага и Ай-Петри с геологической точки зрения и возвратиться на вторую половину лета к себе в Борóк, чтобы пожить там с матерью и дописать, наконец, свое историко-астрономическое исследование о библейских пророках, долженствующее доказать, что они представляют собой подражание Апокалипсису и написаны в средние века. Все, казалось, вдруг перевернулось перед моими глазами. Это не было внезапное землетрясение в природе, оно не приводило в ужас все окрестности, но для меня и близких мне это была катастрофа.

Впереди была новая тюрьма. «Как-то я перенесу ее?» — приходило в голову.

---

* Это было 15 июня 1912 года.— *Н. М.*

— Я должен препроводить вас в Гурзуф, к приставу! — сказал мне урядник.

— Но как же,— протестовала Ксана,— прокурор Московской судебной палаты сам отпустил нас в Крым для поправления здоровья, да и приговор должен быть приведен в исполнение не здесь, а, как всегда делают, в месте постоянного нашего жительства, в Ярославской губернии.

— Ничего не знаю! — отвечал урядник.— Мне приказано доставить в Гурзуф.

— Хорошо! — сказал я.— Но только подождите немного, пока возвратится хозяйка этого имения, чтобы я мог проститься.

— Слушаю-с! — сказал урядник и отошел вдаль.

Мы снова сели за стол и начали допивать свои стаканы. Несколько минут продолжалось всеобщее молчание.

— Это какое-то издевательство! — произнесла, наконец, Ксана, обращаясь к окружающим, и в голосе ее звучали раздражение и сдержанные слезы.— Ведь нас предупреждали в Петербурге очень осведомленные лица, что приговор признан неправильным, что он не будет исполнен, и говорили это не только нам, но и многим другим, и писателям, и общественным деятелям. Когда мы справлялись, отпустят ли нас в Крым, нам отвечали: «Пусть едет, куда угодно». Неужели все это было нарочно, чтобы оттянуть время до лета, когда все наши друзья разъедутся, и арестовать его здесь, в Крыму, вдали от всех родных и знакомых?

Негодующие слова Ксаны выражали также и мои мысли. Я старался объяснить себе, как же это могло случиться. Только что отпустили путешествовать и вдруг арестуют в дороге. И все странности в моем процессе мгновенно пронеслись перед моими глазами.

— Расскажите, в чем же дело? — спросил меня с участием студент-репетитор.— По газетам я неясно понял.

— Да очень просто! С лишком два года тому назад книгоиздательство «Скорпион» в Москве приобрело у меня право издания всех моих, возможных для печати при современных условиях, стихотворений в форме сборника. Я назвал его «Звездные песни», так как в большинстве этих стихотворений так или иначе фигурируют небесные светила. Почти все они, как написанные на общие сюжеты, ничего не говорящие о современной России, не возбудили у издателя никаких опасений. Единственное, относительно которого возник у него вопрос, было «Беззвездное стихотворение». Оно касалось явно современного и в то время жгучего вопроса.

— Оно особенно опасно, так как направлено явно против Азефа и других провокаторов охранного отделения, а за Азефа уже осудили Лопухина,— сказал мне издатель.— Лучше исключить его совсем!

— Нет, ни за что! — отвечал я.— Оно единственное, за которое я буду стоять во что бы то ни стало. Каждый писатель должен выразить свое возмущение подобными людьми. И пока я этого не сделал так или иначе, мне будет казаться, что я не исполнил своего гражданского долга.

Так и вышли мои «Звездные песни». Я уехал в деревню, а Ксана — в Норвегию. И вдруг, через две недели после моего отъезда приходят ко мне нумера московских газет с известием, что Комитет по делам печати привлекает по поводу моей книжки издателя к суду за дерзостное неуважение к верховной власти в России и за воззвание к ее ниспровержению!

Мысль, что за мое произведение, и, может быть, благодаря моей настойчивости относительно «Беззвездного стихотворения» будет посажен в тюрьму издатель, не давала мне покоя. Я написал в Московский цензурный комитет, что «уж если кто-нибудь должен поплатиться тюремным заключением за свой оптимизм по отношению к существующим у нас цензурным порядкам, то пусть лучше я, а не издатель». Комитет сейчас же любезно согласился перенести обвинение с издателя на меня и направил мое письмо в Московскую судебную палату, оказавшуюся не менее предупредительной ко мне. И вот суд в закрытом заседании осудил меня на год в крепость.

В этот самый момент пришла хозяйка дома, пригласившая нас обедать. Она была страшно встревожена. Я извинился перед нею, как мог, и мы с Ксаной пошли вниз вместе с урядником.

— Нельзя ли нам зайти домой, чтобы он мог переодеться и захватить с собой белье и платье? — спросила Ксана.

— Никак нет! — отвечал урядник.— Я должен представить их немедленно приставу, для отправки в Ялту с первым пароходом.

И вот я пошел с ним в тот самом виде, в каком полчаса назад вскочил в лодку после своего купанья.

Прошло около часа. Урядник довел меня до Гурзуфа, где, предложив мне погулять с Ксаной в местном парке, отправился разыскивать по всему местечку пристава. Полчаса пропадал он где-то, затем пришел обратно и, как будто удивившись что увидел нас с Ксаной еще не убежавшими, крикнул издали:

— Все не могу найти! Погуляйте еще! — и снова ушел.

Это было очень трогательное доверие! Не хочешь сидеть в тюрьме, так уезжай и скройся за границу, казалось, говорил он, очевидно, по приказанию свыше.

Но мне это было совсем неподходящее дело. Мое бегство за границу было бы для моих врагов самым лучшим средством от меня отделаться. Еще за несколько недель до суда надо мною пошел слух из судебной палаты в местную адвокатуру, что мое дело очень серьезно, что мне предстоит не менее трех лет заключения с лишением прав и немедленный арест после суда, и некоторые из друзей меня предупреждали об этом.

— Уезжайте немедленно за границу! —уговаривали меня они, когда я приехал в Москву на суд, за несколько дней до судебного заседания.

Но я тогда решительно отказался. Уехать при данных обстоятельствах для меня было немыслимо.

— Ведь я же сам просил судить меня, вместо издателя! — возражал я.— Если я теперь убегу, то будут судить его, как это у них полагается, и осудят, чтобы выставить меня в самом непривлекательном свете. Сам же предложил, а как дошло до дела, струсил и бежал. Если бы мне грозила даже смертная казнь, и тогда я не мог бы уклониться от суда при подобных условиях.

Так думалось мне тогда.

— Пусть будет что будет. Пусть этот год разобьет мое здоровье, принесет крушенье всем моим научным замыслам, пусть совершит даже то, что для меня всего страшнее: причинит непоправимое горе Ксане, но и для нее горе будет легче, чем сознание, что она отдала свою любовь жалкому недостойному ее трусу!

Парк был открыт на все четыре стороны; недавнее наводнение размыло и разрушило его ограды, публика ходит повсюду, да и я, уже арестованный, хожу среди них куда хочу! А пользоваться этим для бегства мне морально нельзя!

Наконец, урядник явился и повел меня к приставу.

— Я должен был немедленно отправить вас в Ялту,— сказал пристав,— в тюрьму, но пароход уже ушел, а следующий придет только через четыре часа. Вам придется подождать.

— Нельзя ли нам воспользоваться этим временем, чтобы съездить в Артек? — спросила Ксана.— Ведь его арестовали при поездке в лодке по морю, всего мокрого, без шапки, без белья. Ему нельзя так идти в тюрьму.

Гурзуфский пристав пошел переговорить с приехавшим сюда на несколько часов ялтинским исправником и возвратился с разрешением.

Мы поблагодарили его и, наняв парного извозчика, помчались в Артек, но на половине дороги должны были оставить извозчика, так как буря с ее бешеными потоками вырыла посреди дороги огромный овраг, и нам пришлось идти далее пешком.

В имении нас встретили взволнованные наши друзья. Урядника пригласили уйти в кухню, что он сейчас же и сделал, а мы пошли в комнаты и начали собирать свои пожитки.

— Уйдите куда-нибудь из усадьбы, а мы уж сплавим вас потом! — уговаривали меня.

— Вы не можете теперь садиться в крепость! — сказал мне тамошний доктор.— Они не имеют права арестовать вас, потому что вы больны и серьезнее, чем думаете сами. У вас расширение сердца и невроз. Я как врач уже писал от себя в Московскую судебную палату, что ваша болезнь требует продления вашего пребывания в Крыму на месяц, и теперь же еду с вами, чтобы заявить это ялтинскому исправнику.

Все обрадовались такому средству продлить хоть на месяц мое пребывание на свободе, и мне самому некоторая отсрочка казалась привлекательной, чтобы без стражи переехать на родной север, где для Ксаны была бы возможность время от времени посещать меня.

Но, как только, вызвав с кухни урядника, мы приехали в Гурзуф, а затем на пароходе в Ялту, местный исправник сказал моим докторам, что ничего не может сделать. Предписание о моем аресте помечено спешным, и он мог бы оставить его без приведения в исполнение лишь в том случае, если бы урядник нашел меня лежащим в постели.

Все это было так ново сравнительно с другими прецедентами, что оба доктора сначала взглянули друг на друга в недоумении, а затем настаивали на том, чтобы теперь же им разрешили написать хоть свидетельство о моей болезни и направить его к прокурору Симферопольского окружного суда для приостановки ареста.

Исправник согласился на это, заявив, что он оставит меня в ялтинской полицейской тюрьме до получения ответа.

— А если будет отказ? — спросила Ксана.

— Тогда для отбывания наказания я должен буду препроводить его в симферопольскую тюрьму!

Это было новым ударом для Ксаны и для всех моих друзей! У меня как петербургского жителя не было здесь ни одного знакомого, за исключением приехавших в Крым на летние месяцы.

— Всю осень и зиму тебе назначили сидеть за две с лишком тысячи верст от всех родных и знакомых, которые не могли бы навестить тебя, если б даже ты заболел и умирал! — воскликну-

ла Ксана.— Это они нарочно сделали! Нарочно тянули исполнение приговора до летних месяцев, когда все наши влиятельные петербургские друзья разъедутся, когда некому будет заступиться за тебя, и нарочно дали тебе разрешение ехать в Крым! Надо, чтобы тебя непременно перевели ближе к Петербургу, в двинскую крепость, куда я могу всегда приехать в одну ночь, или в мологскую тюрьму.

Последняя казалась удобной потому, что в Мологе жили мои сестры, у которых могла в любое время остановиться Ксана. В зимнее время ей приходилось как преподавательнице народной консерватории жить на нашей постоянной квартире в Биологической лаборатории Лесгафта в Петербурге, и потому она только временно могла бы навещать меня и заботиться обо мне.

— Государственный совет еще не распущен; надо немедленно же телеграфировать Максиму Максимовичу (Ковалевскому, члену Государственного совета от высшей школы и Академии наук).

Но я не мог ни в этот день, ни в следующий узнать, что предпримут Ксана и сопровождавшие ее друзья. Меня пригласили идти в тюрьму, и Ксана только успела сказать мне, чтоб я не ждал ее завтра, так как она немедленно отправляется на автомобиле в Симферополь, чтоб лично хлопотать у прокурора о временном освобождении меня по болезни.

Железные ворота отворились передо мною, затем на некотором расстоянии растворились другие, я вошел на четырехугольный, продолговатый тюремный двор, залитый асфальтом, без одной травинки. Три высокие стены, сложенные из буроватых известняков и сверху утыканные осколками битого стекла, окружали его с трех сторон, а четвертая сторона замыкалась тюремным зданием, длинным и одноэтажным. Какой-то молодой белокурый человек в сером пиджаке медленно шел по двору налево от меня, а на правой стороне глядели в окна с решетками головы нескольких арестованных[105].

Полицейский пристав заведывавший этой небольшой тюрьмой и явно знавший заранее о моем прибытии, отвел меня в крошечную, темную камеру, в пять шагов длины и три ширины. Над дверью ее было написано: «Для политических». Небольшое окно с железной решеткой было высоко над ее полом, т. е. устроено по новому, убийственному для глаз тюремному образцу.

Грязный деревянный стол находился в отдаленном, почти совсем темном конце, где не было никакой возможности что-либо читать или писать, не погубив своего зрения, а сбоку, под окном, стояла голая железная кровать.

— Принесите сюда тюфяк! — сказал пристав старшему

унтер-офицеру.— Вот здесь придется вам жить до отправки далее! — добавил он, обращаясь ко мне.

Затем он велел не запирать днем мою камеру и предоставлять мне выходить из нее на дворик, когда хочу, за исключением времени прогулки уголовных [106].

Я проскучал на этом дворике остаток дня, а ночь на грязной койке и утром снова вышел на дворик и замечтался. Но мои мечты скоро были прерваны появлением Ксаны с нашими друзьями на этом обожженном солнцем коробочном дворике. Ксана бросилась ко мне в объятия с тысячами расспросов о том, как я провел эту ночь, хорошо ли мое помещение и т. д. Десяток бумажных пакетиков и коробочек с фруктами, вареньем, кондитерским печеньем и другими съестными припасами в количестве, достаточном для целой роты солдат, были наглядным проявлением ее тревоги и заботливости обо мне и трогали меня до глубины души. В одну ночь она побледнела, осунулась. В каждой черте ее лица чувствовалось нервное возбуждение, но ни одного унылого слова не сорвалось с ее губ. Наоборот, каждое ее слово было ободряющим. Она была готова к действию для меня. Казалось, она совершенно забыла о тех лишениях, какими должно будет отозваться на ней мое заключение, о крушении всех своих планов на будущую зиму, и думала только обо мне, стараясь ободрить, облегчить меня. Как часто казалась она мне в прежнее время слабым растением, которое сломится под первой большой грозой! И вдруг, когда на нас, теперь в далеких краях, налетел ураган и понес меня куда-то в недра преисподней, она, оставшаяся одинокой, держалась сильно и крепко и находила в себе энергию действовать. Как хорошо было чувствовать около себя верного, любящего друга, связавшего свою судьбу с моей на жизнь и на смерть, на радость и на горе!

— Знаешь,— говорила она мне,— мы сейчас же, после ухода от тебя, составили домашний совет и решили, что прежде всего надо добиться отсрочки ареста. А это можно только через симферопольского прокурора, который дал здесь распоряжение о твоем аресте. Я послала ему вчера телеграмму, что ты болен, просила освидетельствовать и отсрочить на месяц заключение. Он должен это сделать. Для всех других это делают.

— Но все же на этом не надо успокаиваться,— прибавил пришедший с нею Борис Владимирович.— Всегда важно переговорить лично, и вот мы решили, что Ксения Алексеевна вместе с Ольгой Владимировной сегодня же поедут на автомобиле в Симферополь и, заручившись там содействием В. Д. К. *, очень

* Варвары Дмитриевны Комаровой.— *Н. М.* [107]

симпатичной дамы, начнут хлопотать у прокурора, чтобы он теперь же отпустил вас на месяц. И мы еще покупаемся с вами в Черном море!

— Да, уж прости, пожалуйста. Завтра и послезавтра не приду,— говорила мне Ксана.— Ранее я не могу возвратиться из Симферополя. Теперь надо действовать, или будет поздно.

С этим нельзя было не согласиться.

Я повел их в свою камеру. Ксана, видевшая внутренность тюрьмы в первый раз в жизни, пришла в настоящий ужас.

— Да тут невозможно жить! — чуть не заплакала она, видя мою грязную, темную каморку и железные прутья кровати.

— Мы пришлем вам кровать, матрац и стул,— сказал Борис Владимирович, у которого был свой дом.— Я сейчас же пойду в канцелярию хлопотать об этом.

Просидев у меня полчаса и переговорив о всех своих планах дальнейших действий, мои друзья ушли. Я остался опять один и снова начал без конца ходить взад и вперед по тюремному дворику-коробочке. Я чувствовал, что если я не измучу себя физически до полного изнеможения, то не буду в состоянии заснуть в эту ночь, несмотря на перспективу мягкой постели. А для того чтобы устать, надо было ходить, ходить без конца. И вот я ходил и ходил под палящими лучами солнца, отражавшимися от голых стен и асфальтового пола моего дворика. В голове было тупо и тяжело, нервы были сильно напряжены от этой резкой и неожиданной перемены в моей жизни. Каждая минута казалась нескончаемой. Я взглядывал вверх в голубое небо. Там быстро неслись и кружились в высоте, как когда-то над моим шлиссельбургским двориком, стрижи и ласточки.

С трех сторон за высокими каменными стенами, окружавшими меня, виднелись крыши домов и между ними, группами, вершины пирамидальных тополей. С четвертой стороны, вдали, открывался чудный вид на горный хребет Яйлу, как скатертью, покрытый белыми облаками. Я всматривался в его извилистые очертания, в леса и голые обрывы его крутых склонов.

Я сделал в этот день взад и вперед не менее тридцати верст, по самому умеренному подсчету часов моего хождения. Ноги болели и едва двигались, но общей физической усталости и соответствующего ей успокоения души все еще не было. Голубоватая вечерняя мгла начала окутывать вершину Яйлы на западе; все детали обращенного ко мне ее склона стали исчезать, стушевываться в одном общем громадном контуре. Прямо над крышей моей тюрьмы, на юге, заблистала яркая звездочка.

Это был Юпитер. Я радостно поздоровался с ним, как и

всегда по вечерам с первой звездой, и его появление над моей кельей показалось мне хорошим предзнаменованием.

— Пора идти в камеру! — обратился ко мне вошедший на двор «старший».

Я простился с Юпитером и вошел в темные сени своей тюрьмы, а из них повернул в закоулок направо, где находилась в углу здания моя комната, освещенная уже тусклой жестяной лампочкой. Вспомнив, как когда-то в Шлиссельбурге я совершал, борясь за свою жизнь, каждый вечер несколько взмахов руками, головой и поясницей, чтобы привести в порядок кровообращение, я сделал это и теперь.

«Надо возвратиться к старому, уже испытанному режиму, чтобы пережить этот тяжелый год и выйти на свободу без большого увечья»,— подумал я и лег в постель.

Но, несмотря на предыдущую бессонную ночь и на сильную усталость в ногах, я все же долго никак не мог заснуть. Вновь вспомнилась Ксана, несущаяся теперь для меня в автомобиле в Симферополь. Вспомнилось, как каждый вечер мы передавали перед сном друг другу все свои впечатления за день. Ведь почти целый день нам приходилось проводить врозь. Я сидел за работой в своем кабинете Биологической лаборатории Лесгафта, она — за своими музыкальными упражнениями и уроками, и только утром, за обедом и вечером мы бывали вместе. Вспомнились мои полеты на аэропланах и воздушных шарах. «Прямо с неба, да и в недра преисподней!» — думалось мне.

— Да, настал для нас черный год! — сказал я невольно вслух, снова переворачиваясь в постели и не находя себе удобного места.

И вдруг прояснилась передо мною и другая сторона моего положения. Вспомнилось, как больно, как стыдно было мне жить в последние годы не преследуемым, на свободе, в то время как разражалась буря над Московским университетом и Киевским политехникумом, как принуждены были, чтобы не потерять к себе уважения, оставить кафедры самые талантливые профессора, большею частью мои друзья или знакомые, как один за другим осуждались и шли в тюрьмы мои товарищи по литературе, лучшие из наших писателей, а учащаяся молодежь продолжала пить ту же горькую чашу, какую пила она и в моей юности.

«Нет! Лучше тюрьма, чем такая жизнь! — думалось мне.— В природе ничто не пропадает бесследно! Не пропадет и каждая капля горечи страдающих теперь за убеждения, но отзовется какими-то невидимыми путями на будущем. А ты теперь даже много счастливее, чем другие, потому что твои новые страдания, более чем многие другие, будут способствовать осуществлению твоих общественных идеалов. Когда сажают на много лет в

тюрьму юношу-студента, которому это особенно губительно, так как вся жизнь его еще впереди, тогда, может быть, бесследно и безвозвратно губится в нем великий гений, гордость и слава человечества; но его никто не жалеет, кроме нескольких человек — его родных и друзей. А о твоем осуждении, раньше чем ты попал сюда, уже писали и сожалели почти во всех газетах, тебя многие заочно знают, любят и жалеют, может быть, даже тысячи людей по всей России; твое заключение на год делается теперь, в смысле обращения общественного внимания на происходящее на твоей родине, равноценным заключению в тюрьму нескольких десятков мало известных людей. Как должна быть легка тебе теперь эта новая неволя, когда сотни горячих сердец бьются в унисон с твоим, страдают за тебя».

Все эти разнородные ощущения быстро сменяли в моей душе друг друга. То овладевала тоска о недавнем прошлом, то охватывало умиление перед предстоящей чашей нового страдания за людей! Иногда хотелось плакать, а затем вдруг откуда-то из глубины души поднималось радостное чувство, и я тихо повторял стихи моего давнишнего товарища по заключению Волховского:

О братство святое, святая свобода!
В вину не поставьте мне жалоб моих,
Я слаб, человек я, и в миг, как невзгода
Сжимает в железных объятиях своих,
Напрасного стона не в силах сдержать я —
Ужасны тюрьмы и неволи объятья!
Но быстро минутная слабость проходит.
И снова светлеют и сердце, и ум,
Гнетущее чувство далеко уходит,
И рой благодатных и радостных дум
Мне в душу низводит луч тихого света:
Мне чудится звук мирового привета!

«Только бы не ослепнуть в темноте,— думал я,— только бы пережить как-нибудь этот год!»

«И все-таки я выживу, выживу назло всем вам!» — обращался я мысленно к своим врагам, подскакивая всем телом в постели от внезапного приступа энергии.

Так в нервном возбуждении, взволнованный внезапным крушением всех своих ближайших планов и быстро переходя от одного настроения к другому, я провалялся в своей постели почти до рассвета. Наконец, я забылся тяжелым полусном, с постоянными пробуждениями и кошмарными снами, так памятными мне по Шлиссельбургу и Петропавловской крепости. Я тут же

записал их на лоскутке бумаги, как записал потом и все последующее, рассказанное здесь и переданное Ксане, перед тем как меня увезли из Ялты. Мне снилось в эту ночь, что мы с Ксаной, спасаясь от преследования властей, вышли зимой из какого-то деревянного дома через заднюю калитку, и она, несмотря на мои просьбы идти обходной тропинкой, пошла у самого забора, где снег был наметен гребнем особенно высоко, а под ним можно было подозревать существование глубокой проточной канавы. Рассердившись, что она меня не слушает, я хотел сначала идти отдельно от нее, обходом, но, пройдя несколько шагов, остановился в нерешительности, так как было страшно за нее.

«Пройдет она или провалится?» — думалось мне.

И вот она сразу провалилась и исчезла в глубине снега. Я бросился за ней, но в нескольких шагах от нее сам провалился по плечи, и только широко распростертыми руками поддерживал над снегом свою голову, чувствуя под ногами пустоту. Я хотел кричать, но мой голос оказался какой-то сиплый, совсем не звонкий. Я мог только произносить слова шёпотом, а кричать не мог.

Вдали показалась какая-то фигура, но прошла мимо, не заметив меня. Тусклый зимний день превратился в вечер, все потемнело в моем сознании, а затем, когда я вновь очнулся, я оказался едущим в узкой гоночной лодке по большому безбрежному озеру, даль которого была окутана туманом.

Вместе со мной ехали Ксана, Борис Владимирович и Сергей Иванович, сидевший верхом на самом носу лодки, а греб незнакомый лодочник. Я глядел вперед, в туманную даль и вдруг, обернувшись, увидел, что оба мои спутника барахтаются в воде далеко за лодкой. Я схватился за весла гребца, но он их не отдавал, он был сильнее меня, и сам повернул к ним лодку. Оказалось, что они держатся за борт своей лодки, затонувшей до бортов и полной водою, а как они очутились в другой лодке, когда перед тем ехали в моей, и откуда явилась она, мне даже и в голову не пришло спросить: это казалось совершенно естественным. Наш гребец подъезжал к ним очень неловко, все какими-то кругами, разгоняя сильно лодку и каждый раз проезжая по инерции далеко от них. Но вот, когда он проехал более близко, я вытянулся из своей насколько мог, более чем наполовину, и с риском опрокинуться в воду схватил их затонувшую лодку за носовую часть и повлек ее за нашей. Но их руки оторвались от ее бортов, и они оба исчезли в глубине. Я опустил в озеро руку, поймал там чью-то другую и вытащил на поверхность целый пучок переплетшихся между собою рук. Я потащил одного утонувшего к себе на борт, другого потащил гребец. Наша лодка сильно качалась, почти зачерпывая воду, но они оба были выта-

щены и положены на дно, и мы поехали к откуда-то появившемуся в тумане низкому берегу, с какими-то не то арсеналами, не то крепостными зданиями, возвышающимися здесь и там.

Так неслись снова в моем уме, как в былые ночи в Шлиссельбурге в подобных же обстоятельствах, бессвязные, кошмарные сновидения, быстро сменяя одно другое и оставляя после себя тупую тяжесть надо лбом и жар в затылке. Вдруг в коридоре вновь раздался уже знакомый мне сердитый, спешный, как будто случился пожар, крик перед камерой пересыльных заключенных:

— Вставай! Вставай, говорю!

Послышался такой же крик перед женской пересыльной камерой и повторилось:

— Стройсь, равняйсь!

— Здраю желаем!

Я уж знал, что утренний крик ко мне не относится, что это высылаемые на родину из Ялты кричат нашему старшему, пришедшему к ним со словами:

— Здорово, ребята!

Быстро и без всякой охоты выпив чай, я снова вышел на свой дворик-коробочку и снова начал ходить по нему взад и вперед под жгучими лучами солнца.

Мне было особенно грустно в это утро. Ксана уехала в Симферополь хлопотать об отсрочке моего заточения, остальные друзья по необходимости уехали в Артек. Я в этот день никого не ждал и, почувствовав временное подкрепление сил после утреннего чая, начал понемногу, как и в прежние времена, отдаваться мечтам.

«Пустяк,— говорил я сам себе; — вообрази, что ты отправился в далекое и трудное путешествие на год. В твоей каморке ты, как в вагоне третьего класса на железной дороге. Этот дворик — платформа станции, на которую ты выходишь погулять, тебе остались еще 363 остановки и, наконец, большая станция — Россия, конечный пункт твоего назначения! И все будет кончено! И ты вновь будешь с Ксаной и со всеми твоими родными и друзьями и вновь начнешь прерванную работу. Кто знает, может быть, даже хорошо для тебя поволноваться немного!»

И вдруг сильные перебои сердца почувствовались мною в груди, как резкое возражение против такой мысли.

Я пошел посидеть в свою полутемную каморку и написал там на лоскутке бумаги: «У меня нервное состояние, но я его не стыжусь. Я никогда не был и не хочу быть бесчувственным истуканом. Я хочу всегда сильно чувствовать и радость и горе. И пусть теперь сердце сжимается и трепещет! Я знаю, что

справлюсь с ним, когда будет нужно, или упаду мертвым. Теперь передо мною новый год страдания и тоски. Вспомнит ли обо мне добрым словом кто-нибудь из моих товарищей-писателей в газетах и журналах? Вспомнит ли кто-нибудь из моих друзей среди профессоров о моих только что изданных научных книгах? Напишет ли кто-нибудь мой некролог? Срочное заточение — ведь это смертная казнь на определенный срок. Убивается не вся жизнь, а только ее определенная доля. Вот у меня теперь будет убито в сумме уже двадцать девять лет жизни. Вся лучшая пора ее смыта, и то, что было суждено мне сделать для науки и человечества, осталось неоконченным. Настал момент, когда обнаружатся все мои истинные друзья».

И вот как бы в ответ на эту пессимистическую заметку карандашом на лоскутке бумаги у ворот раздался звонок. Бросив писать, я вышел на дворик посмотреть на солнце и увидел быстро идущего ко мне от ворот молодого человека. Сначала я его не узнал.

— Вы, видно, не помните меня,— сказал он.— Моя фамилия Шейн. Мы виделись на втором Менделеевском съезде, когда вы делали свой доклад об эволюции вещества небесных светил [108]. Я узнал из газет, что вы тут, и поспешил принести вам привет и сочувствие от здешней молодежи.

Это было так радостно, так неожиданно!

«Вот,— думалось мне,— молодежь всегда верный, надежный друг! Она не будет сидеть и думать: «а не выйдет ли мне или ему из этого какой неприятности?» Молодежь немедленно действует каждый раз, когда моральное чувство долга или дружба диктует ей какой-нибудь поступок. И вот доказательство: первый привет со стороны я получаю здесь от молодежи!»

Мы сразу отдались воспоминаниям.

— А знаете,— сказал мне Шейн,— ведь мы встретились с вами еще раз. Помните в 1906 году осенью литературный вечер в Политехническом институте? Помните, как зал был неожиданно окружен полицией, как вы с вашей невестой были арестованы и отведены в участок? Я был один из сопровождавших вас туда!

Как живо припомнились мне все детали того странного приключения! Шейн стал после этих слов в моих глазах не просто случайным знакомым, вспомнившим обо мне в несчастье, а давнишним другом, нить жизни которого не раз переплеталась с моей, неведомо для меня. Был ли мой арест на том вечере простой случайностью или это была провокационная ловушка действовавшего тогда Азефа? До сих пор я не был в состоянии разобраться в этом. За несколько дней до того вечера ко мне явилась стройная девушка, полная дивной одухотворенной кра-

соты. Потом по фотографии я узнал, что это была казненная через несколько месяцев за пропаганду среди матросов слушательница высших женских курсов Стуре. Зная ее непреодолимое обаяние, Азеф посылал ее тогда повсюду, а затем, когда она инстинктивно почувствовала его двойную игру, он же и устроил ее гибель, чтобы сохранить самого себя. По-видимому, подозрение, что в ее партии было не все ладно, существовало у нее еще и тогда.

— Вот вы меня зовете,— сказал я ей,— читать стихи на студенческий литературный вечер; а не приходит вам в голову, что таким пустячным делом воспользуются в охранном отделении, чтобы меня выслать из Петербурга? Ведь тогда рушится ряд научных работ, которые мне необходимо окончить и напечатать!

— Но уверяю вас, что никому ничего не будет за это! — сказала она, улыбаясь.— Вечеринка официально разрешена директором института. Ведь не похожа же я на шпионку,— прибавила она.

— Вы — нет! — без колебаний ответил я, хотя она явилась ко мне незнакомая, не назвала себя и не принесла никаких рекомендаций.

— И раз вы говорите, что все оформлено хорошо, я приду и прочту некоторые из моих стихов.

Так мы и расстались друзьями.

В это время Ксана только что сделалась моей невестой и, узнав о таинственном приглашении, непременно хотела сопровождать меня туда. Мы пришли. Я начал читать стихи. Раньше чем я кончил, кто-то вбежал в двери, крича: «Господа, полиция окружает солдатами институт». Одни заволновались и бросились к выходу. Другие кричали мне: «Кончайте, кончайте!» Я кончил все, что мне полагалось прочесть. Мы с Ксаной направились к выходу и вслед за этим были отведены полицией в Лесной участок, где нас и продержали до утра, а потом, переписав наши фамилии, отпустили.

Я чувствовал инстинктом, что если в сделанном мне приглашении была ловушка, чтоб найти повод выслать меня из Петербурга, то самое лучшее средство противодействовать этому — тотчас же описать все событие в юмористическом виде в газетах, раньше чем успеют потихоньку наклеветать на меня. Я так и сделал, написал в тот же день фельетон «Именины в участке» и, очень может быть, только благодаря ему не был отправлен в провинцию. Потом я узнал, что организация вечера принадлежала Азефу, и, по-видимому, он же послал ко мне Стуре. Каково было ее состояние, когда она, удержанная от присутствия на

вечеринке тем же Азефом, которому она еще была нужна, узнала ее конец и почувствовала, что после него я и в самом деле могу принять ее за провокаторшу? Мне страшно хотелось разыскать ее и успокоить, но я не знал ее фамилии, и для меня она с тех пор как в воду канула. Не было ли это событие одним из тех немногих, которые способствовали рассеянию тумана, заволокшего в то время ее молодую жизнь и приведшего ее к ужасной смерти? По словам очевидцев, она шла на нее, как на праздник [109].

Так каждое слово Шейна будило во мне ряд воспоминаний о моей жизни на свободе, кончившейся для меня теперь.

— А вы,— спросил я его,— что с вами было в эти годы?

— Я вскоре должен был оставить Политехнический институт.

У наружных ворот тюремного дворика вновь раздался звонок, и вслед за тем показались пожилой, полный человек с черной подстриженной бородкой, в соломенной шляпе и пожилая дама. Они направились прямо к нам.

— Да это Гаршины! — воскликнул я, бросаясь к ним навстречу и снова думая: «Нет! Не все меня забыли в несчастье. Напрасно я так унывал!».

И стало радостно на душе и вновь почувствовался в ней как бы «отзвук мирового» привета. Это был брат известного, теперь уже покойного писателя, устроивший мне когда-то публичную лекцию в Таганроге, сам писатель и известный педагог, пользующийся огромным уважением в своих сферах. Мы обнялись и расцеловались.

— Как вы обо мне узнали?

— Из газет,— отвечал он.

— Вас легко сюда пропустили?

— Конечно; хоть я и не ялтинский житель, но я здешний гласный и почетный мировой судья. Не надо ль вам чего-нибудь? Есть ли у вас деньги?

— Денег пока достаточно.

— А если не хватит, непременно возьмите у меня. Я сюда приехал для поправления здоровья и буду жить поблизости, в Гурзуфе. Сегодня я и жена свободны, а завтра не будем иметь возможности побывать у вас, так как надо приискать в Гурзуфе квартиру. Зато, как все устроим, будем приезжать к вам, по возможности, каждый день.

Все это было чрезвычайно трогательно. Когда, наконец, все они ушли и я остался один, я не мог не сказать в глубине души своей:

«Как не похоже мое новое заключение на предыдущее, когда во всем широком мире никому не было до меня дела, кроме нескольких близких родных да товарищей, большей частью тоже

томившихся уже в заключении или ежеминутно рисковавших в него попасть! Вот уже два посланника извне, один от молодежи, другой от научно-общественных деятелей, навестили меня здесь и выразили свое сочувствие, а сколько других не сделали того же только потому, что находятся далеко!»

Но нервно-радостное, навеянное посетителями настроение скоро сменилось у меня другим. Мне подали обед «на мой счет из кухмистерской», так как Ксана в первый же день заказала мне там обедов на целую неделю вперед. Есть не хотелось, и я ел насильно, потому что нужно было поддерживать свои силы.

В самом начале обеда повеяли вместе с ветром из коридора через дверное окошечко трудно выносимые для носа испарения, несущиеся из находящегося там отдельного чулана. Испарения эти были поистине тошнотворны. «Стараюсь мужественно встречать эти веяния нашего времени!» — написал я снова на листке.

Так проводил я первые бесконечно длинные дни моего нового заточения, переходя от одного настроения к другому, стараясь каждый день измучить себя физически бесконечным хождением по двору, чтобы ослабить напряжение нервов и обеспечить себе хороший аппетит и крепкий сон ночью. Но все ничего не выходило! Приход друзей и приносимые ими разнообразные газеты с сообщениями о подробностях моего нового заключения доставляли мне невыразимое облегчение.

18 июня появился ко мне еще новый гость — бывший пулковский астроном Ляпин, тоже приехавший в Крым для поправления своего здоровья [110]. Он тоже узнал обо мне из газет и нарочно для меня остался в Ялте на несколько дней. Как трогательно было все это участие, сколько воспоминаний врывалось свежей струей при каждом новом визите в мою монотонную серую обстановку! На этот раз ворвались ко мне вместе с ними любимые астрономические воспоминания!

Вскоре пришла ко мне уже целая толпа друзей — приехали из Гурзуфа все мои артекские друзья. Воспользовались удобным моментом, сделали с меня моментальный снимок под решетчатым окном моей темницы. Явилась передо мной эта толпа в самый разгар моего нервозного состояния, особенно сильно давшего себя знать на второй, третий и четвертый дни, когда свежи еще были все мои замыслы на предстоящее лето с сотнями научных, литературных и воздухоплавательных планов, которые страстно хотелось осуществить, а между тем руки оказались скованными. Так бывает, вероятно, с птицей, которую поймали. Ей уже связали крылья, но она еще трепещет, стараясь вырваться и улететь в высоту. У меня уже теперь крылья были связаны не только стенами, но и сознанием внутренней

безвыходности моего положения. Помимо всего другого, побег и жизнь в эмиграции разбили бы мои заветные планы будущих работ и занятий, а с ними и жизнь Ксаны.

И вот, смесь из ощущений моего бессилия и из неувядшей еще свежести самих планов размотала мне нервы в первые четыре дня до того, что в ту самую минуту, когда пришла из Артека вся эта толпа пожилых и молодых друзей — и отцы, и дети — выразить мне свое сочувствие, у меня даже руки нервно дрожали, и я не мог преодолеть их дрожи, прекратить ее усилием воли. Это было так же невозможно для меня, как остановить биение пульса. Но зато черты моего лица отлично поддавались воле, и я мог весело броситься навстречу моим друзьям и расцеловать их, хотя на вопрос: «Как вы себя чувствуете?» — я уже не был в состоянии дать какой-либо удачно сымпровизированный веселый ответ. Гордость мешала мне показать, что атака врагов на меня подействовала, и потому я воспользовался уже готовым восклицанием:

— Жив курилка, не умер!

Каким образом у нас в нужные моменты жизни всплывают из глубины бессознательного подобные, уже готовые фразы? Эта сохранилась у меня, я знал, из сказки Вагнера, содержание которой я почти забыл. Ксана, которую я спросил потом, напомнила мне, что Курилка был игрушечный, гуттаперчевый человечек, которого дети назвали почему-то таким именем. Он много раз забрасывался ими на крыши, попадал в подземные водосточные трубы, но всегда выходил невредимым из самых опасных приключений, и дети, вновь найдя его, радостно показывали друг другу, сопровождая свою находку вышеприведенным восклицанием.

В этот же день случилось со мной новое и необычайное событие. Меня вызвали в канцелярию, где представили полицейскому врачу, внимательно осмотревшему меня и составившему протокол о моем состоянии здоровья. Окончив писать, он прочел его вполголоса, но так, что я все слышал: «Найдено увеличение сердца, анемия желудка и сильное нервное состояние, которое делает желательным отсрочку заключения на четыре или пять недель».

— Я пошлю это сегодня же симферопольскому прокурору,— сказал ему исправник.

Затем со мною любезно простились и отвели обратно на мой тюремный дворик-коробочку.

«Неужели и в самом деле мне дадут отсрочку?» — подумал я.

Я знал, что в других случаях, по литературным и даже политическим делам, это обязательно делается.

«Но в моем деле,— пришло мне в голову,— все так необычно, что положительно не знаешь, что и подумать. Какие-то судороги, как будто обнаруживающие скрытую борьбу двух течений в администрации за меня и против меня. Которое из этих течений возьмет верх? Да и стоит ли хлопотать об отсрочке, раз все равно меня обязательно посадят, и мне через месяц плохо проведенной жизни на свободе вновь придется переживать весь этот хаос разнообразных внутренних ощущений, неизбежных в первые дни неволи?»

Через несколько часов после этого вбежала ко мне Ксана, возвратившаяся из Симферополя. Она старалась казаться в самом оптимистическом настроении, но смотрела с явной внутренней тревогой.

— Была у симферопольского прокурора. Он говорит, что не хочет сажать тебя в Симферополе, так как там плохо. Он хочет сбыть тебя в севастопольскую тюрьму, взамен севастопольской крепости, в которую не берут невоенных. Мы с Ольгой Владимировной напомнили ему о двух докторских свидетельствах, о невозможности для тебя идти в настоящее время в заключение, и он распорядился по телефону об освидетельствовании тебя полицейским врачом и о составлении протокола осмотра. Он обещал немедленно послать все в Московскую судебную палату, откуда будет ответ не раньше как через неделю.

Ксана сильно волновалась; она очень загорела от быстрого пути под жгучим крымским солнцем и от встречного ветра при быстром движении автомобиля. Она уже несколько похудела, но была еще в пароксизме энергии и деятельности.

— Но, к счастью,— продолжала Ксана,— Государственный совет еще не распущен. Я тотчас же телеграфировала Максиму Максимовичу * о том, что тебя хотят посадить в севастопольскую тюрьму и что я прошу хлопотать о разрешении тебе отбывать заключение по месту нашего деревенского жительства — в Мологе, или, если нельзя, то в двинской крепости. Я уже получила ответ: «Завтра буду говорить с министром юстиции».

Через два дня Ксана получила лаконическую телеграмму от Ковалевского: «Сделано распоряжение перевести Двинск».

Кроме того, Ксана принесла мне в этот день и другую радостную весть: полную корректуру немецкого перевода моего «Откровения в грозе и буре» [111].

Итак, моя книжка уже набрана по-немецки и скоро выйдет в продажу! Идеи, возникшие у меня в шлиссельбургском

* Проф. Ковалевский.— *Н. М.*

заточении, пойдут, наконец, по широкому вольному свету в то самое время, когда я вновь буду томиться в заточении! Мне показалось, что в этом совпадении заключается что-то удивительное. Все выходит как будто в романе! Ах, как мне захотелось сейчас же приняться за мою следующую книгу — «О пророках», где идеи, заключенные в «Откровении», должны получить свое окончательное завершение и произвести переворот в наших представлениях об умственной и общественной жизни средних веков, рассеяв черную тучу, окутывавшую человеческую мысль в продолжение полутора тысяч лет!

«Да, наконец-то и моя книга перешагнула нашу границу!» — думал я, бегая по своему залитому солнцем дворику, когда мои друзья ушли.

«Теперь,— думал я в своем одиночестве,— уже вторая моя книга, переведенная на немецкий язык, наконец, вырвалась в международный океан, и мои «Пророки», благодаря ей, уже сразу выйдут и на русском и на немецком языках».

И вот в самое горячее время я вновь должен сидеть в темнице, со связанными руками. Только что начатая мною окончательная обработка «Пророков» насильственно прекращена. И когда я получу возможность снова работать над ними?

И радость от появления моей книги на немецком языке быстро превратилась в источник новой печали и в раздражение на тех, кто меня поставил в такое положение. Постепенно ускоряя свои шаги, я непроизвольно начал бегать по своему дворику, весь взволнованный и нетерпеливый, и не было зла и несчастья, какого в этот вечер я не пожелал бы нашей бюрократии.

«Разбушевались стихии, словно хотят сделать то, чего не могут сделать люди. Дверь моей тюрьмы рвется, железные запоры стучат и гремят, буря завывает в трубе и свистит у прутьев железной решетки моего окна, врываясь ко мне порывами в темную камеру. Могучий голос стихийной природы звучит, как труба. И каждая фибра моей души рвется навстречу ее призыву и хочется броситься отсюда на широкий простор полей, взлететь высоко в мир грозовых туч, виться и кружиться вместе с ними, разогнать дремотный покой на родной земле и пробудить ее к новой, лучшей жизни!

Еще вчера вершина Яйлы, видная с моего дворика, была весь день покрыта, как скатертью, белым облаком. Оно непрерывно выделялось на ней из влажного воздуха, но оставалось на своем месте, несмотря на сильный ветер, мчавшийся через гору с севера, к Черному морю. Гигантские хлопья этой скатерти тянулись к нам все время, как уродливые драконы, гидры и за́мки, но они таяли раньше, чем доходили до моего зенита».

Так записано на одном из моих листков бумаги, которые я передавал Ксане.

Ксана в этот день пришла вся встревоженная:

— Можешь себе представить, тебя хотят везти в двинскую крепость не одного, а по этапу, с уголовными!

— Ну так что же, и очень хорошо,— отвечаю.— Мне еще ни разу не приходилось путешествовать таким способом. Вот удобный случай пополнить свое образование.

— Ты верно воображаешь,— рассердилась Ксана,— что тебя поведут пешком по деревням. Ничего подобного. Я все уже, все расспросила. Тебя сначала повезут в Севастополь в трюме корабля, в грязи и вони, с насекомыми, еще заразят от соседей какой-нибудь болезнью. Потом тебя будут перевозить в уголовные пересыльные тюрьмы, одна темнее и грязнее другой, и будешь по неделям жить в них в разных городах, пока соберут партию до новой тюрьмы; и повезут тебя везде в арестантском вагоне с кучей народа. Ты пересидишь в десятках тюрем и доберешься до Двинска уже весь измученный, может быть, не раньше как через три месяца. Все это я наверное узнала. Я не могу вынести мысли об этом новом издевательстве!— окончила она, наконец, со слезами в голосе.

Это было 23 июня 1912 года вечером.

Пришел Шейн и дал мне драгоценные указания для дороги по этапу как человек, уже испытавший такой способ путешествия по России при своей административной ссылке.

— Прежде всего, сдайте теперь же Ксении Алексеевне все, что у вас есть рукописного. Этапный конвой не возьмет ни одного рукописного листка, все будет тут же изорвано в клочки при вашем первом приеме и брошено на землю там же, где вы стоите.

— Ну, а если я буду просить, чтобы мои письма и бумаги отправили ко мне на место назначения?

— Ничего не сделают. Скажут, что уже поздно, надо отправляться. Они, как огня, боятся всего рукописного, да и печатных книг никаких не возьмут. Если их и не изорвут, то оставят на тюремном дворе, где вас будут принимать.

— А обыскивать будут? — спросила Ксана.

— Обязательно! При каждой перемене конвойных осмотрят все карманы и все тело перегладят.

— А как быть с чемоданом?

— Никакого чемодана не полагается. Купите прежде всего мешок, который он мог бы нести в своих руках, положите туда самое лишь необходимое. Непременно большую подушку и одеяло, пару простынь и пару белья, жестяной чайник с кружкой и простую ложку и, главное, чаю, сахару и каких-нибудь непор-

тящихся съестных припасов, потому что путь дальний, протянется несколько недель, а конвойные не берут ни для кого денег более одного рубля.

— Да как же он с одним рублем поедет за тысячи верст через всю Россию?

— Таковы инструкции высшего начальства последних лет. Тысячи интеллигентных людей каждый год отправляются таким образом по политическим делам за тысячи верст и, конечно, приходят на место измученные. И что бы вы ни говорили, этапные конвойные не уступят. Даже часы заблаговременно возьмите себе, их тоже не возьмут.

— А меня пустят ехать с ним?— спросила Ксана.

— Ни в коем случае! Арестантский вагон будет охраняться часовыми. На станциях никому не позволят даже взглянуть в окошко. Но если вы будете справляться в пересыльных тюрьмах о временах ухода этапов и вас не обманут, то вы всегда можете поехать в обычном вагоне того же товаро-пассажирского поезда, в котором повезут его, и по дороге, на станциях, передавать ему съестное через конвойных. Если будете давать им при этом по двугривенному, то на всякой малой станции, если нет поблизости жандарма, они даже позволят вам обменяться с ним несколькими словами.

— Конечно, я не отстану от него ни на один шаг,— говорила Ксана,— и буду им давать сколько угодно, только бы позволяли видеться!

Вся она была олицетворенное самопожертвование, ни на минуту она не думала о своих собственных неудобствах, а только о том, чтобы мне было легче. Когда я вспоминаю теперь, как она болела за меня душой в то время и как волновались и остальные мои друзья, меня совсем подавляет чувство бессилия правдиво выразить им свою признательность или с фотографической точностью описать их заботливость обо мне.

Наступило 26 июня, одиннадцатый день моего пребывания в ялтинской тюрьме. В этот день в шесть с половиной часов утра, когда я еще лежал в постели, в дверь соседней камеры уголовных вдруг ворвались дежурные с таким страшным громом и топотом, как еще никогда ранее. Крики: «Вставай, вставай! стройсь, равняйсь!» раздались, казалось, с небывалым бешенством.

— Выноси кровать! Скорей! Скорей! Чего смотришь,— доносилось до меня через дверь.

«Верно ждут сегодня начальство! — подумал я.— Уж не меня ли хотят снаряжать в дорогу?»

Я закутался с головой в одеяло и остался лежать, как будто ничего не слышу.

— Здраю желаем! — раздалось из общей арестантской.

Кто-то говорил в ней с минуту, потом загремели запоры, кто-то подошел и заглянул в дверное окно моей камеры и затем ушел, не заходя.

Эти ежедневные утренние тревоги и крики дежурных на заключенных все более и более стали раздражать меня. Мне вспомнился Трубецкой бастион Петропавловской крепости, где со мною делали то же. Франтоватый «старший», приторно любезный со мною и дико грубый с административно высылаемыми простыми людьми как с мужчинами, так и женщинами, начал делаться мне невыносимо противен. Плач и истерики женщин, молодых и старых, приводимых сюда чуть не каждый день для административной высылки по причине отсутствия определенных занятий или видов на жительство, угнетающе действовали на меня.

— Когда же, наконец, увезут меня на постоянное место заключения? Когда получу возможность заниматься? Даже и просто хочется куда-нибудь переехать. Гірше та інше! — говорят украинцы. Самое тяжелое — это однообразие, монотонность.

— Через два дня, в субботу, тебя непременно отправят по этапу в Севастополь! — с тревогой сказала мне, как бы в ответ на мои мысли, прибежавшая в тот день Ксана.— На заявление о твоей болезни и об отсрочке заключения судебная палата все не отвечает. Я очень просила исправника еще тебя оставить, но говорят, что без того мы здесь уже почти две недели, и более держать тебя они не согласны. Теперь необходимо действовать. Я уже отправила телеграмму министру внутренних дел с просьбой разрешить тебе ехать на свой счет. То же телеграфировала симферопольскому прокурору. Все телеграммы с оплаченным ответом.

Надо было приготовляться.

Я тут же сдал ей для сохранения все свои тетради и заметки. А когда она, послав телеграмму, снова пришла на следующий день, я приготовил для сдачи ей и свой чемодан с бельем и книгами, оставив при себе, как говорил Шейн, только подушку, чайник, полотенце и одну перемену белья. Их я уложил в черный мешок с двумя рукавами, имевшийся у меня для перемены во тьме фотографических пластинок кодака. Ксана принесла мне булок, сухарей, два фунта сахару, фунт чаю, фунт копченой колбасы, чтобы можно было подольше сохранить ее в жаркие летние дни. Она была возбуждена и радостна! Ее телеграммы и хлопоты о моем отдельном переводе увенчались успехом!

— Завтра в семь часов утра тебя повезут в Севастополь под *тайным* арестом на том же пароходе, на котором поедет и этап, но тебя повезут отдельно от него, на свой счет, вместе со мной, среди публики, с таким видом как будто мы едем сами по себе.

— Где тебе это сказали?

— Здесь, в канцелярии. Управляющий губернией, в ответ на мою телеграмму, телеграфировал им об этом.

Это было совсем неожиданно. Путешествие под тайным арестом! Это что-то занимательное! Конечно, меня возили много раз тайно, и в отдельных купе, в закрытых каретах, тщательно скрывая, как ворованную вещь, но тайного ареста я еще не испытывал. Становилось даже любопытно.

— Ну, а дальше Севастополя?

— Дальше ничего не известно. Распоряжение симферопольского вице-губернатора дано только до Севастополя. Там, верно, мы будем ждать ответа министра внутренних дел на мою вторую телеграмму.

Итак, наступила перемена в моей однообразной жизни.

«Что-то сулит мне будущее? — думалось мне.— Опять увижу простор полей, море, волны, утесы».

Будем смотреть на них вместе с Ксаной и жить настоящим, оставив будущему дню самому о себе заботиться.

И Вега и Атаир были видны мне с тюремного дворика в этот последний вечер, и Юпитер сиял близ красного Антареса в созвездии Скорпиона, с которым я простился теперь надолго, зная, что его мне уже не видно будет в северных странах, куда меня повезут.

В шесть часов утра я был уже на ногах и вышел заблаговременно на дворик тюрьмы, чтобы посмотреть, как собирают этап. Там уже был наряд конвойных солдат, человек восемь или около того. Их старший расспрашивал у каждого выводимого к нему звание, имя, отчество и место жительства, сверяя это с имеющимися у него бумагами, затем двое конвойных отводили его к стене и, заставив снять куртку, гладили ладонями по всему телу. Они отбирали все и выбрасывали каждый лоскуток бумаги тут же у стены, разорвав его в клочки. Вот вытащили у одного десяток папирос в носке и тоже изорвали и бросили.

— Что вы, что вы! Я только что сейчас купил на дорогу! — протестовал он.— Мне здешние сказали, что папиросы можно!

— Если выбросили, значит нельзя! — резко заметил ему конвойный. Обиженный, по-видимому, мастеровой средних лет, жалостно посмотрел на клочья папирос под своими ногами и, покачав головой, пошел, куда его направили.

Вся партия, наконец, была уведена, окруженная конвойными, с обязательным: «Стройсь, равняйсь!» Вот ворота захлопнулись за нею.

На наш двор вошел пожилой околоточный надзиратель и, обращаясь ко мне, сказал:

— Я прислан сопровождать вас до Севастополя. Вы готовы?

— Да,—ответил я.

— А где же ваши вещи?

— Со мной остались лишь немногие. Остальные привезет на пароход жена.

Он велел одному из сторожей взять все, что у меня было в руках, и отнести в экипаж стоящего у ворот извозчика.

В последний раз я взглянул на вершину Яйлы и на ее обрывистый, лесистый и каменистый склон, ярко освещенный лучами утреннего солнца, и железные ворота ялтинской тюрьмы закрылись за мной навсегда со всем маленьким, печальным мирком, живущим своей внутренней, недоступной постороннему взгляду, жизнью.

Передо мной вновь была шумная улица города с проезжающими экипажами, с торговцами, стоящими у своих лавочек, с прохожими всяких общественных состояний, так ясно обозначенных у женщин относительной дороговизной или бедностью костюмов, а у мужчин более медленной или более спешной походкой и степенью выхоленности наружных частей тела.

Эта новая жизнь в одно мгновение охватила меня своими разнообразными впечатлениями, и то, что осталось за моей спиной на тюремном дворике, вдруг стало мне казаться как будто потонувшим, погрузившимся в какой-то прозрачный, невидимый, но все заслоняющий туман. Воспоминание о только что минувшем вдруг нырнуло куда-то в глубину души, как будто сновидение, стремительно исчезающее из сознания в минуту пробуждения.

Да, было ясно, что в две недели заточения я еще не успел отвыкнуть от шести лет моей последней жизни на свободе! Иначе уличная жизнь города не заглушила бы во мне так сразу только что пережитого, этих мучительно длинных дней хождения и постоянного поглядывания на часы, стрелка которых казалась неподвижно стоящей на месте.

Теперь время снова пошло для меня по-прежнему, и я почти не заметил, как мы проехали несколько улиц и появились на набережной. Вот снова темно-синяя даль слегка волнующегося Черного моря, вот знакомая по прежним приездам ялтинская набережная. Мы входим на палубу морского парохода. Мой околоточный уходит в отдаленный конец и садится за трубой с

видом, как будто ему нет никакого дела до меня. А вдали по ялтинской набережной уже едет ко мне и Ксана на извозчике, с чемоданом, в своей большой белой шляпе, украшенной широкой черной каемкой и цветами. Она выскочила из экипажа и радостно бежит ко мне навстречу, мы обнимаемся, целуемся, садимся на скамью на палубе. С ней приехали провожать меня из Артека все друзья. Мы все расселись кучкой на скамьях палубы, вспоминаем проведенные вместе дни, строим планы будущего, когда я отсижу свой срок и мы снова увидимся. А на сердце у нас всех, несмотря на эту внешнюю радостность, какая-то смутная тревога. Мы ее искусно заглушаем, чтобы ободрять друг друга, но нет-нет она и выплывет у того или другого наружу, и нить разговора часто прерывается.

Раздался третий гудок. Надо расставаться. Мы крепко обнялись. Мои друзья сошли на набережную, вода с шумом забурлила у кормы под начавшим свое вращение винтом, и пароход едва заметно стал повертываться в море. Прощай, Ялта! Прощай, первая станция моего нового трудного пути! Мы медленно стали удаляться, махая друг другу платками и шляпами, пока не исчезли из глаз друг друга.

И вот больше их не видно...

Направо, доколе хватает глаз, протянулось волнующееся Черное море, налево — живописные гористые пейзажи южного берега Крыма, а вдали, как груда белых камней на берегу, виднелась еще оставленная Ялта. Мне даже в голову не пришло разыскать в ней то белое здание, в котором я только что провел пятнадцать мучительно длинных дней! Я вспомнил наш прежний приезд в нее с Ксаной из Севастополя на автомобиле, ожидание на набережной парохода, который должен был отвезти нас в Артек. Искал взглядом кофейную, где мы с Ксаной пили чай, мол, на котором мы с нею гуляли. И вдруг как будто чем-то вспугнутая мысль унеслась в мое ближайшее зловещее будущее, как бы сплошь закрытое нависнувшей над ним грозовой тучей, и мне хотелось сказать:

—Прощай, Ялта! Прощай, первая станция моего нового подневольного пути!

Тихо вздрагивая, шел пароход по темно-синим прозрачным волнам Черного моря. Мы с Ксаной стояли на корме, все время держась за руки, и смотрели вдаль. В этот миг кажущейся свободы нам не хотелось думать ни о прошлом, ни о будущем; хотелось целиком отдаться настоящему, которое хоть и не надолго, но было наше и казалось пока хорошо и светло. Лучи утреннего солнца, поднимавшегося над морем, рассыпались с одной стороны по его волнам широкой полосой золотых брызг, тянувшихся

от нас до самого горизонта, а с другой стороны падали на гористый берег, придавая его деревьям и склонам самые яркие краски. По временам, падая на окна какого-нибудь дома на берегу, они заставляли их стекла светиться для нас яркими звездочками. Как будто снопы света вырывались к нам то из одного, то из другого отдаленного белого домика, а иногда и из нескольких сразу. Мы узнавали каждое местечко, в котором бывали раньше. Вот Алупка с ее лабиринтом камней, вот Симеиз с его живописными скалами — Монахом и Дивой, а вдали виднеется и обсерватория, которую мы посетили всего месяц тому назад.

— Помнишь, Ксана, как мы взлезали на Диву?

— Да, помню,— отвечает она задумчиво.

И нам живо представилась узкая тропинка, вьющаяся в высоте по отвесным обрывам Дивы. Она была, на деле, совершенно безопасна, так как со стороны обрыва вдоль нее шла толстая железная проволока на стержнях, крепко вставленных в скалу и делающих случайное падение невозможным. Но эта ограда на взгляд была такая непрочная, что для людей, боящихся смотреть вниз с высоты, она казалась не представляющей большой защиты, особенно когда вдоль обрыва дует сильный порывистый ветер, как бы грозящий сорвать вас и бросить вниз.

— Видишь Байдарские ворота?

— Разве это они? Совсем не производит впечатления их вид с моря! А какая красота, когда смотришь с них на море! — с грустью прибавила она.

И вновь мне представилась дивная картина, открывшаяся перед нами, когда мы с Ксаной вдруг стремглав влетели на автомобиле из лабиринта узких долин внутренности Крыма в эту живописную арку, на самый край гигантского обрыва гор, как будто для того, чтобы прямо броситься с них из подоблачной высоты в волнующееся у подножья обрыва лазурное море. Это было так неожиданно, так волшебно эффектно, что тот, кто хоть раз въехал с размаху в Байдарские ворота, не забудет их до конца своей жизни. Это воспоминание казалось нам уже не реальностью в нашей жизни, а из царства сказки.

Тихо передвигались перед нами картины и снова уходили в прошлое. Вдали показалась башня маяка, и, обогнув мыс, наш пароход круто повернул к северу. Быстро изменились виды природы. Взамен высоких гор и укрытых склонов, затянулся широкий степной простор, и глаз, не встречая препятствий, проникал далеко до самого горизонта и со стороны моря и со стороны суши. И этот ландшафт показался мне еще милее!

Здравствуйте, родные картины! Здравствуйте, отлогие холмы и равнины! Вы более говорите моему сердцу, чем тесные долины

гористых стран. Вы словно символ свободы и равенства! По вам я иду и бегу, куда хочу, и вы везде приветливо предоставляете место моей ноге, ваша нежная зелень нежно ласкается к моим коленам. Она не рвет мне платья, не царапает кожи, как тесные колючие кустарники южных стран и горных склонов, где только на вершине чувствуешь прилив горделивого восторга над хаосом ниже лежащих гор и долин! Эти низкие, слоистые берега западного края Крыма теперь напомнили мне Волгу. Так и потянуло к ней, в родной уголок средней России, где оттенки вечернего неба так нежны, как нигде, а зори так пышны и так долго горят самыми яркими, золотыми, пурпуровыми и янтарными цветами.

— Да, и мне теперь очень хотелось бы к нам в деревню,— сказала Ксана в ответ на мои мысли.

Вдали показался Севастополь со стоящими перед ним на рейде темными и белыми торговыми судами и серыми броненосцами. Пароход начал причаливать к пристани, и грозное неведомое, перед которым мы стояли, все еще держа друг друга за руки, как на наших деревенских прогулках, вновь распростерло свой беспокойный, черный покров над нашей душой. Я в последний раз взглянул на море, на котором солнце все еще раскидывало миллионы искрящихся блесков, и на синее небо, и сказал им мысленно: «прости!»

Мы вызвали носильщиков взять наши чемоданы. Ксана хотела ехать со мной, куда меня ни повезут, и оставаться вместе пока есть малейшая возможность.

— Отнесите мои вещи на пристань, в склад на хранение! — сказала она носильщику. Он взял, мы последовали за ним, и здесь вновь произошло странное обстоятельство, обратившее на себя мое внимание. Как меня, так, в особенности, Ксану трудно было потерять в толпе из виду благодаря ее широкой белой шляпе с черными полями, особенно смотря сверху, с палубы. И однако же это случилось! Сопровождавший нас околоточный не последовал за нами, как бы оттесненный толпой, которая, впрочем, почти вся уже прошла. Мы с Ксаной явились в склад и сдали вещи под расписку, а его все не было. Я вышел из дверей и вдруг вижу, как он уже идет по направлению к городу. Если бы я промедлил хоть две минуты, он исчез бы совсем.

— Я здесь! — крикнул я ему, махая шляпой, а он спокойно повернулся и подошел ко мне со словами:

— Совсем потерял вас из виду в толпе.

Мы трое сели на извозчика, и он приказал ему ехать в полицейское управление. Там мы нашли в пустой передней только одного невысокого молодого околоточного надзирателя с черными усиками, очень разговорчивого и, очевидно, еще недавно находя-

щегося в своей должности. Высокая женщина, которая оказалась его женой, пришедшей к нему на дежурство обедать вместе, сидела за соседним столом. Узнав, что я арестованный, а Ксана моя жена, он расписался в моем приеме, и наш тайный конвоир, получив от меня полагавшуюся сумму денег за дорогу, любезно раскланялся с нами и ушел.

Раздался звонок телефона.

— Общая полиция, надзиратель Хоржевский *,— молодецки крикнул принявший меня полицейский в телефонную трубку. Ответа не было слышно.

— Слушаю-с! Слушаю-с, господин полицеймейстер! — несколько раз повторил он.

Повесив трубку, он снял другую и, повертев несколько раз какую-то звенящую ручку, крикнул еще более молодецки:

— Военно-морской суд! — и вслед за тем: — Кто тут? Сторож? Полицеймейстер спрашивает, вынесен ли уже приговор по делу матросов.

Я понял, что дело шло о суде над нижними чинами Черноморского флота, обвиняемыми за участие в тайном обществе, о том самом суде, который в этот вечер, как я узнал позднее, вынес пятерым из них смертный приговор, приведенный потом в исполнение [112].

Ответа не было слышно, но я узнал его тотчас же, так как, повертев снова прежнюю ручку, надзиратель сказал:

— Военный суд заседает при закрытых дверях, и ничего еще не известно, господин полицеймейстер.

Сказав затем еще несколько раз: «Слушаю-с!» и добавив: «Немедленно сообщу, как только вынесут приговор, господин полицеймейстер!» — он снова повесил трубку и обратился ко мне:

— За что вас?

— За стихи.

— На сколько?

— На год.

— За стихи на год! — сказал он, пожав плечами.— Совершенно не могу понять! Что это у нас за порядки! Слова нельзя сказать в печати, чтоб не посадили! Только и читаешь: то тот, то другой писатель сидит!

— Вот и до меня добрались,— отвечаю я,— и посадили совсем по пустякам.

— А вы, верно, еще не обедали? — воскликнул он.— Я сейчас же могу распорядиться, чтобы принесли вам обоим из Центральной гостиницы! Обед хороший и недорогой! Мы с женой,

* Фамилию я изменил.— *Н. М.*

когда я дежурю, сами берем оттуда! Вам придется ждать здесь не менее четырех часов, пока придет правитель канцелярии, которому вас должны представить!

Ксана тотчас же выразила согласие. Хоржевский оказался чрезвычайно разговорчивым. Он болтал без конца, рассказывал нам несколько случаев из своей жизни и нас расспросил обо всем. В промежутки приходили арестованные и городовые с докладами. Потом пришла одна плачущая молодая девушка, только что вышедшая из больницы, которой он дал рекомендацию в какое-то филантропическое учреждение и сказал, что ее накормят и приищут место.

Начало темнеть, зажглись электрические лампочки. В соседних комнатах началось движение, и меня вызвали к начальнику канцелярии. Ксана все время не отходила от меня. Как бы готовая защищать меня от всяких нападений и оскорблений, она последовала за мною. Сухой, высокий седоватый чиновник спросил мое имя и фамилию и сказал:

— Мы уже несколько дней предупреждены о вашем приезде. Мы должны отправить вас в здешнюю тюрьму, а затем этапом, но особо от других, в двинскую тюрьму.

— Но он назначен не в двинскую тюрьму, а в двинскую крепость! — протестовала Ксана.— Это две вещи совершенно разные. В крепости военное начальство, комнаты светлые и просторные, а в двинской тюрьме темно и плохо.

— Это нас не касается, у нас в бумаге сказано: в тюрьму.

— Но нельзя ли его оставить здесь до решения этого вопроса? Я телеграфировала нашему хорошему знакомому, члену Государственного совета, который хлопотал о переводе его в двинскую крепость. Очевидно, при передаче по инстанциям смешали крепость с двинской городской тюрьмой.

Это смешение было очень для нас неприятно, но оно не удивило меня. Зная, что у нас в бюрократии все делается чисто механически, без вдумчивого отношения к совершающемуся, я уже давно опасался, что, привыкнув к выражению «посадить в тюрьму», наши чиновники сочтут ошибкой слово «крепость» и постараются исправить его по-своему, а я в результате попаду из огня да в полымя! Так, думалось мне, очевидно, и случилось! Симферопольский прокурор в сопровождающей меня бумаге действительно направил меня в двинскую тюрьму! Ясно, что принимавший меня теперь сухой чиновник не мог ничего сделать для меня, да и не хотел вмешиваться, чтоб не попасть, с одной стороны, на замечание начальства, а с другой — в газеты. Ему хотелось только поскорее отделаться от меня как от очень неудобной для него благодаря газетному ко мне интересу посылки.

Но Ксана не могла и не хотела с этим мириться. Она волновалась, спорила, настаивала. Все это меня очень трогало, хотя я и чувствовал бесполезность ее разговора. Если дело поправится по дороге, подумал я, то единственно благодаря ее последним телеграммам из Ялты. Я еще тогда указал Ксане на возможность путаницы, и она, испугавшись, тотчас же послала в Петербург две обширные телеграммы, прося не смешать двинскую крепость с двинской тюрьмой — совсем другим учреждением.

Чиновник, пригласив нас присесть у стены, принялся выдавать жалованье городовым, а мы с Ксаной стали советоваться, как нам быть.

— Если им удастся засадить тебя вместо крепости в тюрьму, то до самого октября, когда съедутся члены Государственного совета и Государственной думы, тебя нельзя будет оттуда вырвать. Но я все-таки поеду в Петербург хлопотать.

— Конечно, а если в двинской крепости комендант не примет, то хлопочи в Мологу.

Мологская городская тюрьма была теперь моей мечтой.

«Конечно, крепость,— думал я,— звучит как-то возвышеннее, сидеть в ней романтичнее, особенно если попасть вдобавок в какую-либо морскую, где за окном вечно бушуют и пенятся волны. Но разве меньше поэзии на берегу нашей широкой Волги, разве меньше красоты видеть сквозь тюремную решетку весенний разлив, широкую даль полей за ним!»

Кругом все та же даль и ширь,
Все тот же виден монастырь,
На берегу, среди песков.

Я знал, что поэзия была бы обеспечена мне там, хотя белое здание, куда меня посадили бы в родной Мологе, и носит непоэтическое название «уездного острога». В окнах его верхнего этажа, за белой каменной оградой, я уже не раз видал, проходя по улице, политических узников из местной молодежи. Так будут видеть и меня, думалось мне. А смотреть придут многие. Не говоря уже о том, что вся интеллигенция этого города, близ которого я родился, была мне лично знакома, там теперь живут три из моих сестер, в домах которых может поселиться в каникулярное время Ксана. Там у сестер есть и рояли, на которых она может играть, когда угодно, а потом приходить ко мне в любое время. Там, в маленькой тюрьме, личность заключенного не исчезает для начальства, он для него не простой нумер, как в современных больших центральных тюрьмах. И мне там, несомненно, было бы свободнее и удобнее, чем где-либо в другом месте.

Но Ксана боялась и, может быть, не без причины, что в

Мологе, кроме глаз тюремного, незначительного по чину начальства, на меня будут устремлены и глаза местного жандармского офицера и глаза местных мракобесов, которые постараются сделать мое заключение невыносимым.

— Они до того запугают смотрителя,— говорила она,— что он будет дрожать от страха всякий раз, как придется отпирать двери твоей камеры, и, чего доброго, в конце концов набьют на твое окно, как в некоторых наших больших тюрьмах, железный намордник, чтобы никто не мог тебя видеть снаружи.

Поэтому Ксане и хотелось прежде всего для меня двинской крепости, где, по ее предположениям, комендант как крупный военный генерал должен быть менее запуган доносами усердствующих.

— Теперь вопрос о Мологе,—прибавила она,— отпадает сам собой, и остается только желать, чтобы мои телеграммы в Петербург, так удачно посланные на всякий случай, принесли свое действие и парализовали ужасное распоряжение симферопольского прокурора.

Отпустив своих городовых, сухой чиновник сказал мне:

— Я составлю бумагу о временном помещении вас в здешнюю тюрьму. Подождите, пока я напишу, там же, где вы ждали раньше.

Мы вышли в комнату, где по-прежнему сидел надзиратель Хоржевский у своих телефонов.

— А! — приветствовал он нас.— Наконец-то отпустили! Куда же вас?

— Временно в здешнюю тюрьму.

— Там вам будет очень, очень хорошо! — радостно воскликнул он.— Смотритель — прелестнейший человек! Бывший офицер! Я сам вас отвезу туда и отрекомендую, чтоб оказали вам особенное внимание! А если меня не пустят, то передайте ему поклон от надзирателя Хоржевского, тогда уж он будет знать!

И действительно, его не пустили.

Через несколько минут пришел другой, толстый, околоточный нахального вида с бумагой в руках и спросил Хоржевского:

— Кого я должен отвезти?

— Вот их! — ответил тот, показывая на меня, и прибавил с грустной миной: — Так и не удалось!

— Извозчик должен быть на ваш счет! — задрав нос вверх, сказал мне нахальный околоточный.— Пойдемте! Он уже нанят.

Мы с Ксаной взяли свои вещи и собрались идти и садиться.

— Но вас,— обратился он к Ксане,— я не могу взять в экипаж! Мне поручен только один арестованный, а вы не под арестом!

— Но мне всегда позволяли ехать с ним по улицам. Ведь извозчик наш и, конечно, трехместный, как все здешние.

— Мне все равно, сколько у него мест. Вас я не возьму.

— Но я здесь в первый раз, я не знаю даже, куда идти, где тюрьма, а теперь уже ночь.— В голосе Ксаны послышалось плохо сдерживаемое рыдание.

— До этого мне нет никакого дела! — отвечал околоточный, задрав нос еще выше.— Идемте! — сказал он мне.

Один миг я оставался в нерешительности. Отказаться идти без Ксаны и быть выведенным силой, думалось мне, значило бы совершенно подорвать и без того страшно натянутые ее нервы и вызвать кризис, который проявился бы у нее бессильным отчаяньем и слезами. Уйти так, подчинившись нахалу, и оставить ее в этом положении, было унизительно для моей гордости.

Хоржевский вывел меня из этого невыносимого положения.

— Вы,— сказал он Ксане,— поезжайте вслед за ним на другом извозчике. Они стоят всегда направо, за один квартал отсюда.

— Да, Ксана, так лучше! — сказал я, и мы вышли.

На пустынной длинной улице была полная ночь. Редкие фонари, расположенные на далеком расстоянии друг от друга, освещали ее тут и там светлыми пятнами, а в промежутках был мрак.

— Иди вперед, Ксана, а то отстанешь и не догонишь! — сказал я. Она пошла быстро направо, как ей сказал Хоржевский, чтоб отыскать извозчика раньше, чем мы ее обгоним, и мне казалось, что ее колени подгибаются. Внутренний инстинкт говорил мне: «Делай вид, что ты нисколько не удивлен этим, что ты и не ожидал от него ничего другого. Такое поведение — самое неприятное для твоих врагов, желающих убедиться, что сделали тебе больно. Но внутренний инстинкт подсказывал одно, а непосредственное чувство совсем другое, и оно побуждало меня броситься из пролетки и бежать к Ксане, хотя бы это и кончилось потом скверно для обоих.

Однако я сидел в своей пролетке, как скованный неведомой силой, и смотрел на удаляющуюся Ксану. Впереди все было пустынно. Вот мы, направившись по другой половине почти совершенно темной улицы, обогнали Ксану. Я обернулся назад и кивнул ей головой, но она, казалось, не видела меня во тьме. Вот мы оставили ее далеко за собой, и, наконец, она исчезла во мраке из поля моего зрения, одинокая, брошенная ночью на темной пустынной улице чужого города без единого знакомого, без вещей, сложенных нами в складе на пристани.

«И никому до нее нет дела на всех этих улицах»,— думалось мне.

Было ясно, что нас обманули. Никаких признаков извозчиков не оказалось на всем далеком расстоянии от канцелярии полицеймейстера, где мы просидели весь день, до самой тюрьмы, находящейся, по-видимому, где-то на окраине города, во тьме. В состоянии тупого отчаяния за Ксану, в каком я ехал, я не мог следить за расположением улиц. Помню только, что мы поднимались на какие-то холмы и спускались с них. Я все время сидел, демонстративно отвернув лицо от моего спутника, как будто рассматривая дома на моей стороне. Почувствовав, очевидно, неловкость полного молчания или по каким-то другим причинам, он, наконец, обратился ко мне с вопросом, обнаружившим, что ему ничего не известно обо мне.

— Вы здешний?

— Из Петербурга! — сухо ответил я, продолжая рассматривать темные крыши почти невидимых домов на моей стороне.

Он понял, что не получит от меня ничего, кроме таких односложных ответов, и не пытался завязывать разговор. Наш извозчик остановился перед высокими темными воротами большого здания, напоминавшего мне вход в средневековую крепость.

Привезший меня околоточный вышел из экипажа и дернул за звонок. В маленьком сквозном треугольнике, вырезанном в воротах, показался человеческий глаз, напомнивший мне «всевидящее око», как оно рисовалось на старинных иконах.

— Привезли арестованного,— сказал ему околоточный.

Око исчезло, послышался грохот железных запоров, и я с моим спутником был впущен на небольшой внутренний дворик, окруженный высокими зданиями и с внутренним входом на правой стороне, через который меня ввели в тюремную приемную. Там сидел какой-то чиновник, обменявшийся несколькими словами с моим околоточным и тотчас же ушедший в соседнюю длинную комнату, пригласив меня посидеть на скамейке.

Поговорив там о чем-то вполголоса с высоким пожилым человеком в военном мундире, он вышел снова.

Высокий военный обратился ко мне:

— Мы уже давно вас ждали, по газетам, и даже камера для вас готова. Кроме того, уже давно к нам пришли бумаги о препровождении вас в Двинск. Вы у нас будете недолго, только до первого этапа!

Околоточный стал прощаться с ним, а я нарочно пошел рыться в своих вещах, чтоб избежать раскланиваний, и он ушел без них.

— Вас должны по правилам обыскать перед входом в камеру. Вон там в передней, потрудитесь.

Но мне нельзя было уходить, не предупредив его о приходе Ксаны.

— К вам через полчаса, вероятно, явится моя жена, которую этот околоточный не хотел впустить в один экипаж со мной, хотя мы ранее всю дорогу ехали вместе. Так, пожалуйста, успокойте ее относительно меня.

— Хорошо. Но свидания я вам сегодня дать не могу, а только завтра утром.

— Тогда скажите ей, когда надо прийти, а то она осталась одна в незнакомом городе и даже без вещей, брошенных ею на пристани.

Он обещал все сделать и ушел.

В передней меня попросили снять верхнюю одежду и сапоги, прощупали в них складки, вывернули карманы, а затем руками огладили через белье все мое тело. Как это напомнило мне времена в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, где такая процедура проделывалась надо мной еженедельно!

Моя новая темница имела внушительный вид большой центральной тюрьмы. Меня ввели в ее срединную комнату, затем через решетчатую дверь в недлинный коридор с идущими вдоль него в два этажа балкончиками. Вдоль них шли глубокие ниши, закрытые с внутренней стороны тяжелыми окованными железом дверьми и напоминающие, как и в других тюрьмах того же самого, излюбленного нашим тюремным ведомством типа, вход в гробницу. Поднявшись на первый балкончик, тюремщики повели меня по нему в самую дальнюю из этих гробниц, налево. В ней стояла койка с большим мешком, набитым соломой, вместо постели, и с другим маленьким мешком, вместо подушки.

Мне разрешили принести с собой мою простыню, одеяло, подушку и черный фотографический мешок, уже обысканный внизу, с чаем, сахаром, колбасой и фруктами, которые заботливо положила мне Ксана еще на пароходе вместо прежде находившихся в нем фотографических принадлежностей. Но есть мне не хотелось.

«Где ты, Ксана, бедняжка?»— спрашивал я сам себя.

Она представлялась мне теперь одинокой и бесприютной на улице. Я знал, что извозчиков нигде по пути не было, да и прохожих ни одного я не видел всю дорогу в этих окраинных улицах.

«Не найти ей дорогу сюда в эту ночь,— думалось мне,— да и ноги ее не выдержат».

Мне вспомнилось, как у нее подкашивались колена, когда я смотрел на нее в последний раз, и мне стало представляться, что она не выдержит и разрыдается где-нибудь, сев на тротуаре,

что хулиганы вырвут у нее вязаный мешочек, в котором она несла все наши деньги и даже билет на получение ее багажа. Ни в одной порядочной гостинице не примут ее в такое позднее время без вещей и паспорта, оставленных на пристани в складе.

Порывы ненависти, уже не мечтательно благодушные, а мстительные и жестокие, начали охватывать меня, как и в былые годы. Я чувствовал, что в этом здании мне даже не потрудятся сказать, что она здесь была и ее успокоили, что ее просто не пустят даже во двор, если она будет так безумна, чтоб упорствовать и идти стучаться в ворота моей темницы перед их треугольным «всевидящим оком».

На столе в углу тускло горела керосиновая лампочка, против двери высоко находилось решетчатое окно, в котором боковые части были открыты, и в него смотрело покрытое сплошными тучами небо.

Я поднялся посмотреть в него и увидел внизу небольшой дворик, освещенный одиноким фонарем. Ни одной души на нем не было, только прямо под окнами раздавались чьи-то шаги, верно часового. Крепкие запоры моей толстой, окованной железом двери вдруг загромыхали сзади меня, она тяжело повернулась на своих петлях, и коридорный дежурный вошел в сопровождении арестанта с бритой головой, который поставил мне на пол ведро, покрытое крышкой.

— Когда надо будет завтра умываться, позвоните,— сказал мне его провожатый.— Он указал на железный гвоздь в стене, который надо было надавить, чтоб отскочил молоток снаружи.

— А в котором часу у вас встают? — спросил я.

— В семь часов обходит контроль. К этому времени надо уже одеться и при его входе встать у постели или против нее посредине камеры, боком к двери.

И он показал мне, как это нужно сделать. Встал боком к двери и опустил руки по швам.

«Опять эта бессмысленная, направленная на простое раздражение муштровка! — подумалось мне. — Ну не все ли им равно, если я встану к начальству даже и лицом вперед? Ну да чёрт с ними, все равно пробуду у них недолго! Если б тут сидеть весь год, как хотели меня устроить, то это было бы совсем невыносимо, да я и ослеп бы от недостатка света из этого крошечного окна и от вечной темноты внизу, под ногами». Я обратил внимание на пол. Как и в коридоре, он был черный, асфальтовый по общему образцу наших одиночных тюрем этого рода. Было видно, что камеру тщательно очищали перед моим приездом, очевидно, специально для меня и потому пол в ней, как и в коридорах, напоминал своим цветом плохо вычищенный сапог. Все,

как в Доме предварительного заключения в Петербурге, все, как в Шлиссельбурге.

Давно знакомая атмосфера одиночного заточения стала снова обволакивать мой мозг. И когда я лег на свой соломенный мешок, слишком короткий, чтоб на нем уместились мои свесившиеся за пределы койки ноги, и мало-помалу задремал, знакомые тяжелые сновидения, мучившие меня каждую ночь в Шлиссельбургской и Петропавловской крепостях, снова возвратились ко мне. Мне снилось (и я отметил утром этот сон кончиком оставшегося у меня в мешке карандаша на внутренней стороне бумажной обертки моего чая), что в нашем флигеле в Борке́ с грохотом провалился пол в сенях, как только я, входя, поставил на него ногу. Я успел отскочить на порог внешнего крыльца, а передо мной, вместо пола, оказалась зияющая яма. И я знал, что под этой ямой, на дне которой лежали теперь обломки пола, было еще три таких ямы, каждая со своим полом, поддерживаемым над нижними посредством четырех подгнивших бревен.

«Если бы и эти нижние полы рухнули, получился бы бездонно глубокий колодец, чрезвычайно опасный,— думалось мне.— Ксана была во внутренних комнатах, каждую минуту могла выйти и, отворив внутреннюю дверь, сразу упасть в яму. Надо было сейчас же к ней проникнуть, перепрыгнув угол этого провала в сенях и уцепившись над ямой за ручку закрытой двери, ведущей к Ксане. Я уже собирался это сделать, как вдруг вспомнил, что есть обходный путь с другой стороны флигеля, если отпереть там всегда запертую дверь. Надо наглухо забить обе двери, и наружную, и внутреннюю, ведущую в этот провал, и входить всегда с противоположной стороны флигеля».

Звучные шаги сменяющегося караула под окном пробудили меня, и сон этот показался мне как будто слабым эхом двух виденных мною в Шлиссельбурге страшных сновидений, часто повторявшихся у меня там и всегда оставлявших в голове давящую свинцовую тяжесть. Мне тогда снилось, что под большим домом в нашем парке есть огромный провал в глубокую яму, служащую входом в бездонный лабиринт, до конца которого никто никогда не достигал, так как там жил какой-то сверхъестественный спрут, подстерегавший и хватавший своими щупальцами всякого, кто туда входил, а по временам хватал и утаскивал даже просто приближающегося к этой яме. Все смельчаки, желавшие когда-либо исследовать ее, были увлекаемы в нее, как магнитом, и с криками нечеловеческого ужаса и боли падали все ниже и ниже в бездну, где поджидало их чудовище, и, наконец, навсегда умолкали. Не возвратился ни один. И вот мне необходимо было во что бы то ни стало проникнуть к этой яме, когда

чудовище спит, и навсегда засыпать ее. Я тихо подползал к ее краю, заглядывал, проникал внутрь в первые разветвления лабиринта, затем вдруг, заглянув за изгиб одного из узких его ходов, встречался с огненным кровавым глазом чудовища, устремленным прямо на меня среди его сложенных плавников или крыльев, напоминавших крылья гигантской летучей мыши, и в ужасе просыпался.

Второй сон такого же кошмарного рода — «кровавая топь» в углу нашего шлиссельбургского двора, где мы гуляли. Это было бездонное, вязкое болото, скрытое поверхностной травой, с кровью вместо подпочвенной воды. Оно, как мне было хорошо известно, засасывало с непреодолимой силой всякого, чья нога случайно ступала на него, а мне, кружась в насильственной прогулке по дворику темницы, постоянно надо было проходить мимо него, не зная, где кончается твердый дерн и где начинается топь. Только в самой середине его было окошко, т. е. поверхностный выход. Ужас охватывал меня при одном его виде. И вот, каким-то странным образом, но не представлявшим для меня ничего удивительного во сне, это болото оказывалось уже в открытом поле; на нем повсюду были вертлявые, гнувшиеся под ногами кочки, и я стоял посреди него, желая выбраться. Я прыгал с кочки на кочку, кровь из промежутков между ними разбрызгивалась и пятнала мне платье, лицо и руки. По временам мне приходилось перескакивать через глубокие канавы с текущей в них человеческой кровью; попасть в них — значило бы утонуть в крови. А вдали виднелась проезжая дорога с изгородью, отделявшей ее от болота, до которой мне во что бы то ни стало нужно было добраться. И по временам я действительно добирался, весь измученный, до нее, а по временам просыпался с сильным припадком сердцебиения еще посредине дороги.

Я бессилен описать здесь, как страшны были эти сны.

Читатель сам знает, что часто, проснувшись, совсем не понимаешь, отчего то или иное обстоятельство сновидения казалось необычно ужасным.

«Если я буду заключен в подобной большой, центральной тюрьме,— думалось мне,— все ночи будут полны для меня такими сновидениями. И они измучат меня более, чем сама действительность».

Я потер, как делал это всегда, шею и затылок, чтобы усилить в них кровообращение.

— Где ты, Ксана? — сказал я непроизвольно, как часто делал, когда она отсутствовала. Я сразу вспомнил, что ее положение теперь, ночью, на улице, может быть, еще хуже моего.

Слабое мерцание утра засветилось в окне; постепенно наступал новый день.

Дверь загремела и отворилась. Ко мне на минуту вошел тюремщик с бритым арестантом, чтобы унести принесенное на ночь ведро.

И вдруг через несколько минут после их ухода в конце коридора раздалось хоровое пение: «Спаси, господи, люди твоя...» Это было уже совсем неожиданно для меня! Ни в одной из прежних тюрем не было ничего подобного.

«Очевидно,— сообразил я,— здесь заставляют арестантов петь православную кантату как утреннюю молитву. Но всех ли заставляют или только в общих камерах?»

Ответа мне, конечно, не было. Вдали загремел запор, отворилась чья-то дверь, и одиночный голос крикнул:

— Здраю желаю!

Затем начали по очереди отворяться другие двери, приближаясь ко мне, и каждый раз раздавалось то же самое громкое восклицание.

«Кто это обходит? Будут ли учить этому военному приветствию и меня?» — возник у меня вопрос, и я начал спешно одеваться, чтобы не застали меня в постели и не нагрубили. Несмотря на указания коридорного, я почему-то не встал во фронт против постели, а около нее самой, смотря в отворяющуюся дверь. Вошел высокий рябой вахмистр и, обратившись ко мне с легким поклоном, вежливо сказал, улыбаясь:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! — отвечал ему, также улыбаясь, и я.

— Ну что, ничего вам было здесь? — спросил он показывая на соломенный мешок.— Здесь других постелей нет.

— Ничего! Приходилось и хуже! Я очень невзыскателен.

— Никаких жалоб или заявлений нет?

— Никаких.

Он так же вежливо раскланялся и удалился.

«Значит, здесь делают какие-то различия между заключенными»,— подумал я.

В моей камере не было ни умывальника, ни других учреждений. Я нажал железный гвоздь в стене у двери, что-то стукнуло снаружи и опустилось, а через несколько минут загремели мои запоры, и коридорный сторож отворил дверь.

— Где здесь умываются?

— Пожалуйте напротив.

Он повел меня кругом коридора в такую же камеру, как моя, но побольше. Там была кухонная плита с котлом внутри и двумя медными кранами для кипятка, а у второй стены торчал кран

для умывания и все прочее. Он притворил слегка за мной дверь и ушел, не запирая. Я умылся и возвратился к себе. На моем столе лежал уже кусок черного хлеба, а мой чайник был наполнен кипятком. Я заварил чаю и выпил кружку с булкой и с колбасой из запаса, сделанного для меня Ксаной. Я пил и ел насильно, потому что никакого аппетита у меня не было, как и всегда при нервном возбуждении. А теперь мысль о Ксане не давала мне покоя.

— Пожалуйте на прогулку! — сказал мне коридорный, отворяя дверь.— Вам назначено полчаса.

Я вышел в сопровождении другого, разводящего сторожа на тюремный двор, а из него через арку прошел на другой, почти квадратный, в середине которого росло большое дерево. Дорожка для прогулки представляла собой круг значительной величины около этого дерева. Внутри были цветы и овощи, а снаружи, вплоть до окружающих зданий,— свекла и картофель посаженные, очевидно, заключенными. Один из них, бритый, как и все, кого я здесь видел, в белых холщевых панталонах и куртке, копал уже созревший картофель и клал его в корзину, а далее ходил часовой с ружьем. За ними стояло длинное здание с высокими, как двери, решетчатыми окнами.

«Очевидно, лазарет,— подумал я.— Ведь вот строят же для больных большие окна, значит, понимают пользу света для здоровья. А пока не заболел человек, заставляют его портить себе легкие и глаза в полутемных камерах, у которых нарочно сделаны крошечные окна под самым потолком».

Я начал кружиться по своей дорожке под жгучими лучами солнца.

Прошло двадцать минут.

— Прогулка кончена! — сказал мне приведший меня разводящий, глядя на свои часы.

Я взглянул на свои. Он несколько смутился, заметив только тут, что у меня часы не отобраны.

— Немножко меньше получаса,— сказал он.— Но теперь праздник, и надо торопиться к службе.

Однако я уже давно знал манеру разводящих сокращать прогулку заключенных, чтобы самим было больше свободного времени, и ничего ему не ответил.

И вот вновь началось для меня длинное, бесконечное хождение по камере из угла в угол, четыре шага назад и четыре вперед с крутым поворотом на каблуке и с тем же неотвязным вопросом, где и как провела ночь Ксана, брошенная ночью грубым околоточным на произвол судьбы в этом незнакомом нам городе. И вновь стрелка часов, на которые я постоянно поглядывал, ка-

залась мне стоящей на одном месте, так что я после каждого взгляда прикладывал циферблат к уху, чтоб убедиться, что часы еще идут. Наконец, в десять часов утра вошел ко мне вновь коридорный со словами:

— Пожалуйте на свидание!

Я так и подпрыгнул от радости на своем месте и почти бегом бросился в коридор и дальше в приемную. Только решетчатые двери, преграждавшие мне дорогу, дали провожающему возможность догнать меня.

Там, в приемной, была Ксана! Мы бросились обнимать друг друга, не обращая внимания на стоявшего в отдалении высокого начальника тюрьмы и его молодого помощника.

— Где ты провела ночь?

— Сначала бежала за тобой, бежала долго, но никакого извозчика не было. Потом сбилась с пути и никто не мог мне указать, где тюрьма, куда тебя повезли. Я поняла, что до утра меня все равно не пустят, и пошла по направлению к пристани, но там контора была уже заперта. Я явилась в ближайшую гостиницу, просила дать мне комнату и показала свою багажную квитанцию. Она подействовала на них, и мне отвели номер.

— Вот умница! — восклицал я, удивляясь ее находчивости.— Мне, наверно, и в голову не пришло бы сейчас же предъявить свой багажный билет, и меня не впустили бы никуда.

На душе стало сразу легче.

— Я вам предоставлю свиданье здесь,— сказал подошедший к нам смотритель,— а мой помощник должен присутствовать.

Он собрался уходить, вежливо поклонившись Ксане и мне.

— Так вы уже давно ждали меня? — спросил я его.

— Да! И даже получили уже два письма для вас благодаря газетам, судя по которым, вы должны были приехать к нам несколько дней назад. Одно обыкновенное, а другое ругательное.

— Ругательное? Кто же меня ругает и за что?

— Не вас там ругают, а нас. Письмо адресовано к вам и заключает сначала ободрения вам, а потом пишущий начинает ругать нас и ваших судей на нескольких страницах. А подписано: Аминь.

Мы с Ксаной улыбнулись.

— Я оба пошлю к прокурору,— продолжал он,— который разрешает здесь переписку, но он, наверное, пропустит только первое, а не второе.

Ксана стала просить, чтоб ей позволили зайти ко мне и вечером принести мне фруктов.

— Это можно. Фрукты полезны, и я их допускаю охотно.

— А прогулку нельзя ему увеличить?

— У нас на дворе соблюдается очередь, а вместе с другими я не могу пустить. Но, впрочем,— прибавил он, обращаясь, ко мне,— когда захочется, скажите. Я распоряжусь, чтобы вас пускали на передний двор, где мой садик.

Это было необыкновенно любезно. Он ушел, предоставив нас своему помощнику, который сначала тоже ушел, а потом возвратился.

— Неужели вы сидели двадцать лет? — спросил он меня.

— Двадцать восемь; теперь вот назначили мне двадцать девятый, верно, хотят постепенно довести до тридцати.

— За что же? Я читал в газетах, что за стихи. Неужели за такой пустяк на целый год?

Пришлось согласиться, что да.

Он снова оставил нас одних. Видно было, что он добродушен, интеллигентнее большинства своих сослуживцев и принимает искреннее участие в Ксане, про мытарства которой он узнал. В нашу комнату стали входить посетители других заключенных, которые в дальнем конце разговаривали с ними через двойные решетки, становясь в маленькие шкафики, не затворяющиеся сзади. Через четверть часа их пригласили удалиться, и в шкафики вошли новые посетители.

Как тяжело такого рода свидание!

— Чему мы обязаны,— сказала Ксана,— что нас поставили в такое привилегированное положение?

— Только тому,— ответил я ей,— что обо мне пишут газеты и что еще ранее моего приезда какой-то «Аминь» прислал им ругательное письмо.

«Милый, славный Аминь! — сказал я мысленно.— Будь ты благословен! И вы все, остальные, милые, добрые Амини, пишите самовластным бюрократам то, чего они заслуживают, и пусть они по количеству ежегодно получаемых писем высчитывают, собравшись, кто из них популярнее и должен быть произведен в следующий высший чин».

— Очень прошу вас поторопиться окончанием свидания! — сказал, снова подходя к нам, молодой помощник смотрителя.— Я уж на свой страх прибавил вам.

Действительно, вместо указанного нам смотрителем получаса, мы с Ксаной разговаривали почти час.

— Вечером можно будет снова,— прибавил он.

Мы попрощались, и Ксана обещала принести ягод в пополнение обеда, который я заказал себе в тюремной кухне. Извне обед нельзя было получать. Но не прошло и часа после моего возвращения в камеру, как помощник смотрителя пришел ко мне.

— Собирайте ваши вещи. Конвой уже идет, чтобы вести вас на пароход.

Я так и привскочил.

— Но как же,— говорю,— ведь моя жена ничего не знает и останется здесь ждать моего отъезда.

— Может быть, я буду в состоянии предупредить ее?

— Но я не знаю даже, в какой гостинице она остановилась! Притом же она, наверно, ушла в город покупать для меня фрукты и ягоды.

— Уверяю вас, что я совершенно ничего не знал о том, что вас отправят так экстренно! Я вас знаю давно по вашим статьям в «Вестнике знания», который читаю, и по газетам еще со времени вашего освобождения из Шлиссельбурга! Это распоряжение этапного начальника.

Я видел, что он говорит правду, и, подавив свое внутреннее волнение по поводу нового тяжелого испытания, ждущего Ксану, собрал свои вещи и пошел в приемную.

Там все произошло так, как предсказывал мне в Ялте Шейн. Прежде всего старший конвойный попросил меня раздеться и, протерев каждый шов моего платья и огладив руками через белье мое тело, как при приеме сюда, начал особенно усердно и долго прощупывать пятки моих башмаков, очевидно, предполагая там спрятанные для побега деньги. Мне, добровольно пошедшему на это новое испытание за свободу слова, стало смешно при виде его беспокойства.

По-видимому, эти пятки страшно его беспокоили, но, не найдя в них ничего, он, наконец, со вздохом поставил предо мною башмаки. Мои часы, очки вместе с карандашом и пачкой почтовой бумаги были отложены в сторону.

— Этого,— сказал он,— мы не возьмем.

— Как, даже очков? Но без них у меня сейчас же разболятся глаза и придется делать заявление доктору.

— По нашим новым правилам, очков мы не берем иначе как при бумаге доктора о том, что они необходимы для зрения.

— Но ведь никто же из отправляемых не знает, что надо запастись докторским удостоверением!

— Потому почти всех мы и возим без очков. Все это мы оставим здесь в тюрьме, и из нее перешлют вам, если пожелаете, на место назначения.

— Но я даже не знаю, посадят ли меня в двинскую крепость или в двинскую тюрьму!

— Может быть,— вмешался молодой помощник смотрителя,— вы доверите мне все это для передачи вашей жене?

— С удовольствием, все! Но очки мне необходимы.

— Может быть, достаточно будет, если смотритель тюрьмы напишет разрешение на очки, вместо доктора, которого теперь нет? — спросил он конвойного.

— Это можно! — сказал смотритель, только что вошедший с кошельком, отобранным у меня при приеме.— Я вам могу,— обратился он ко мне,— кроме очков, выдать из кошелька восемьдесят восемь копеек, а остальные сорок семь рублей вам будут пересланы мною потом по назначению вместе с вашим чемоданом и всеми отобранными вещами. Вас повезут на пароходе сначала в Одессу, где переменят конвой, а затем по другим этапам в Витебск в распоряжение губернатора. Так сказано в бумаге.

— Но почему же окольным путем, морем через Одессу, а не прямо по железной дороге?

— Может быть, боятся сочувственных встреч на станциях,— улыбнувшись, сказал он.— Ведь о вашем отправлении в Двинск уже напечатано в сегодняшних газетах.

Итак, мне предстояло ехать более двух тысяч верст окружными путями с 88 копейками на пропитание, не считая 10 копеек суточных! Больше двух бутербродов в день не купишь в дороге на такие деньги!

А затем предстоят остановки в губернских тюрьмах по неделям в ожидании сбора попутных этапов. Я уже чувствовал у себя под ложечкой будущий мучительный, многодневный голод, который я испытал когда-то при первом заключении и потом в Алексеевском равелине. Если бы этих предварительных опытов не было, я чувствовал бы себя в тысячу раз легче, но я уже два раза успел узнать, что значит умирать от голода, и мне казалось, что третьего такого испытания уже никто не может выдержать. Мне начинало казаться, что прежний ад снова разверзает передо мною свою пасть, чтоб уж окончательно проглотить меня. Наступает для меня вечная разлука с Ксаной, с наукой, с природой, с полетами по воздуху.

Как горькая ирония, вспомнилось мне, что именно здесь, в Севастополе, находится теперь авиатор Ефимов, с которым я встретился месяц тому назад и условился лететь вместе на его новом моноплане через всю Россию, от Черного до Балтийского моря. И вот, вместо полета по воздуху, судьба и начальство уже приготовляли мне путешествие по простым этапам и как раз по тому же самому направлению! Вместо панорам городов и деревень, рек и озер с высоты птичьего полета, мне приготовлен осмотр всех русских тюрем между Черным и Балтийским морями, может быть, для того, чтобы я успел до своей смерти описать их ужасы.

Пять конвойных с саблями наголо окружили меня, и, по

команде, повели по улицам Севастополя к пристани. Я шел между ними с эмалированным жестяным чайником в одной руке и с черным мешком в другой, где были положены мыло, полотенце, запасная рубашка, булка, фунт копченой колбасы, фунт чаю и три фунта сахару. Мы шли посредине улицы. Случайные прохожие безучастно, как казалось мне, посматривали на меня с тротуаров и проходили мимо. Никого знакомого не встретилось на всем этом длинном пути. «Какой контраст,— думалось мне,— между начинающейся теперь частью моего пути и только что минувшей частью! Раньше сопровождавшие меня одинокие стражники и околоточные нарочно уходили от меня по временам, оставляя одного и как бы говоря: «Да убеги же ты, наконец, избавь нас от неприятности!» А теперь полная перемена фронта. «Знаем мы, что ты каждую минуту только и думаешь, чтобы сбежать, но это, брат, тебе не удастся!» И мне казалось, что все это делается умышленно, что в начале моего ареста властям очень хотелось, чтоб я убежал и этим выставил себя непоследовательным трусом, предложившим, чтобы его судили вместо другого, а затем сбежавшим от неблагоприятного приговора. А когда я не исполнил ожидаемого,— они решили поступать со мною так, как будто бы я только и думал о побеге.

Передо мною показалось снова Черное море, пристань, большой закопченный пароход, но меня не повели туда, а отвели немного направо, к какому-то помещению перед набережной, вроде таможни, и предложили сесть у нее на скамейке. Там, на небольшой площадке спало несколько солдат, и один караулил их ружья, сложенные в козла. Старший моего конвоя сходил на пароход за билетами и возвратился. Минуты за минутами потянулись для меня в томительном ожидании под жгучим солнцем, так как оказалось, что пароход пойдет только через три часа, а меня хотели отвести отсюда на него только перед самым отправлением. Я молча смотрел на проезжающих мимо нас пассажиров и вдруг увидел на одном извозчике, мчавшемся особенно быстро, широкую белую с черной каймой шляпку Ксаны.

— Ксана! — крикнул я ей, чувствуя, что никакие штыки и грубости не удержали бы меня от этого.

— Нельзя! Нельзя разговаривать! — строго заметил мне конвойный.

Ксана быстро остановила извозчика.

— Я все знаю! — крикнула она мне издали.— Сейчас свезу чемодан и возьму себе билет. Мы поедем вместе!

И она поехала к пароходу. Казалось, все стало сразу светло. Кто ей сказал? Или случайно она сама заехала в тюрьму, чтобы передать мне фрукты, и узнала, что меня уже увезли?

— Можно будет ей видеться со мной? — спросил я конвойного.

— Мы не останемся в долгу. И вам и мне будет лучше, потому что все деньги у нее,— прибавил я с ударением.

— До отхода, пока стоят жандармы и смотрит разное начальство, никак нельзя. А потом, когда отъедем, можно.

Конвойные, посидев еще немного, повели меня на пароход, где около самого носа корабля мы спустились под палубу по лесенке, приведшей меня к некрытому четырехугольному широкому колодцу. Он был окружен решеткой, а между ним и бортом парохода по краям палубы находились два этажа нар. Это и было этапное помещение для обычных пересыльных, где они спят вместе, вповалку. Но меня не посадили на нары, а обвели кругом всего колодца и ввели в небольшую каюту с маленьким круглым окном, смотрящим на море, с умывальником в углу и двумя койками у поперечных стен.

— Это машинист уступил вам свою каюту! — сказал мне старший конвойный.— Здесь вам будет удобно.

Он ушел и через несколько минут возвратился снова.

— А супруга ваша уже здесь и говорила, чтобы пустили к вам. Я обещал, как только пароход отойдет от пристани (он был в очень благодушном настроении).

«Очевидно, получил рубль»,— подумал я.

Пошутив немного со своими конвойными, чтобы успокоить их подозрительность, я начал смотреть в окошечко на волнующееся море. Теперь, когда я был спокоен за Ксану, я вновь получил способность любоваться природой. Вдали над рейдом склонялось безоблачное небо, подернутое сероватой мглою жаркого южного дня. Легкий ветерок рябил поверхность серо-синеватых вод, на которой неподвижно поднимались в некотором отдалении серые громады броненосцев.

Кто знает, когда я поплыву еще раз по твоим волнам, Черное море! И поплыву ли когда-нибудь?

Корабль начал понемногу сниматься с якоря. На палубе надо мной забегали, завозились. С треском завертелся блок поднявшегося каната, вода зажурчала у борта, и севастопольский рейд начал понемногу уходить из моего поля зрения. Почти в то же время Ксана вбежала в мою каюту и бросилась мне на шею.

— Знаешь,— говорила она,— если я узнала о твоем отъезде, то только благодаря любезности того молодого помощника смотрителя. Он слышал, как я говорила тебе, что моя гостиница недалеко от пристани, и потому сейчас же после твоего увода попросил разрешения отвезти мне отобранные у тебя вещи и деньги и поехал с ними прямо ко мне.

— Какое счастье, что он тебя застал!

— Да! Только потому, что я решила до ухода к тебе написать несколько открыток знакомым, а то иначе я пошла бы за фруктами. Я так была испугана, что пароход уйдет без меня, что позабыла его даже поблагодарить. Надо будет послать ему с дороги открытку. Я бросилась упаковывать чемоданы, не подождала даже счета за проведенную в гостинице ночь, сунула им прямо пять рублей и помчалась на пристань.

Конвойные ушли в соседнюю каюту, служившую как бы большой передней к нашей крошечной, и начали свои собственные разговоры. На завтрак Ксане пришлось уйти в общую столовую, но через полчаса она возвратилась ко мне с фруктами.

Обедали мы уже вместе благодаря любезности капитана, который заходил ко мне обменяться несколькими словами и даже собирался было напиться с нами чаю, но потом, не придя, откровенно признался Ксане:

— Побоялся, как бы меня не прогнали за это со службы!

«Итак, я вновь стал страшен! — подумал я.— Что же? Ведь теперь коронный суд вновь выбил из моей головы всю астрономию, физику и математику, которым я предавался шесть лет, наполнил ее одним зложелательством к содержащему такие суды общественному строю!»

Наступила ночь. Измученная до сильной головной боли бессонницами и всякими неожиданными тревогами, похудевшая Ксана ушла к себе в каюту, а я вновь начал глядеть в окно. В дни больших тревог или усиленной затраты нервной и физической энергии мне никогда не хочется ни есть, ни спать, хотя бы такое состояние и продолжалось несколько суток.

Черное море было темно, как уголь. Невидимые волны с плеском били снаружи о борт нашего корабля, вдоль которого продолжали журчать водяные струйки, перемежаемые ритмическим вздрагиванием всего корпуса при каждом ударе поршней его машины. По небу почти сплошь неслись черные клочковатые тучи, среди которых впереди, у самого края видимого мне пространства, на несколько минут показался яркий Юпитер, да чуть мелькнул около него красный Антарес. Потом на миг прямо передо мною показался бледный Атаир, и вновь все небо заволоклось тучами *.

Я лег на койку и погрузился в мечты, которых теперь совсем не могу припомнить, так как утром не сделал о них меморативных заметок на обложке своего фунта чаю, чтобы не обратить

* Я описываю это так подробно, потому что в пути при каждой возможности я делал отметки на клочках бумаги карандашом.— *Н. М.*

на нее внимания конвойных. А они, распив предварительно скляночку водки, всю ночь резались друг с другом в карты на деньги в соседней каюте и этим напомнили мне какой-то роман Вальтер Скотта, где сторожа захваченного героя поступали точно так же и этим дали возможность одной прекрасной мисс проникнуть к нему и содействовать его освобождению.

На самом рассвете я встал со своей койки. Ночные черные тучи уже ушли с неба, и только кое-где виднелись вместо них алые полосы и мазки. Я долго смотрел на море и снова лег на койку. Потом Ксана пришла сидеть со мною; мы пили вместе чай, смотрели в окошечко на безбрежное волнующееся море и на белые гребешки пены, тут и там срывающиеся с волн. Трогательны были эти последние приветы моря перед долгой разлукой и мраком, ожидавшими меня в близящемся конце этого последнего пути вдвоем с Ксаной.

Конвойные зашевелились, стали надевать свое оружие, подтягиваться. Мы подъезжали к одесской набережной.

Обо мне не было послано сюда никаких предварительных сведений, и потому здесь со мной и Ксаной поступили по общим правилам. Нас разъединили, меня повезли в тюрьму, не позволив ей сопровождать меня. Я подъехал к ее тяжелым железным воротам, и тут, к своему удивлению, увидел взволнованную Ксану, что-то горячо говорящую чиновнику.

Вдруг она обернулась и, увидев меня, крикнула:

— Да вот же он! — и бросилась ко мне.

— Нельзя! Нельзя подходить к арестованному! — крикнул офицер.

— Да это же мой муж!

— Не наше дело! Проходите с ним в ворота! — крикнул он ведущим меня конвойным.

Это были те же самые конвойные, которые всю дорогу везли нас вместе. Но здесь, в присутствии начальства, они совершенно переменились.

— Проходите! Проходите! — строго говорили они мне, отслоняя руками от Ксаны.

Железная дверь захлопнулась за мною, и я вошел в большой двор, а из него в приемную комнату тюрьмы. Я остановился у окна, бесцельно смотря в него несколько минут.

Никого не было кругом, кроме моих конвойных. Через несколько минут пришел тот же чиновник. Получив бумагу обо мне от старшего конвойного, он дал ему расписку в принятии меня.

— Долго я здесь буду?

— Пока соберут этап в Киев. Никак не меньше недели.

— Можно здесь получать свою пищу?

— Можно заказывать обеды в здешней кухне.

— А от жены при свидании можно получать съестное?

— Можно, кроме фруктов и сладкого, которых здесь не допускают.

Маленькая камера-особняк, изолированная от всех других, с решетчатым окном вверху находилась передо мною. Я вошел, и железная дверь захлопнулась за мною. Я посмотрел в окно. За ним был большой четырехугольный двор с круглой дорожкой для прогулок около большого огорода. Никто не гулял по ней. Несколько деревьев росли в разных местах, а кругом были высокие стены и здания, напоминающие старинную крепость. Как тихо было все кругом! Солнце, смотревшее с неба на меня через окно, страшно палило с подернутого дымкой неба, а вдали собиралась гроза.

Четыре шага вперед... четыре назад... резкий поворот на каблуке... и так далее и так далее в продолжение часа, двух, трех, четырех, пяти и сколько их далее, неизвестно! В промежутки я поднимался на кончиках пальцев и выглядывал на дворик. Вот раздался звон колокольчика, и на дворик — по два и по три вместе — вышли заключенные. Все они были с бритыми головами, в белых холщевых штанах и куртках, в таких же белых шапочках, по покрою напоминающих фески. Платье на всех сидело мешками, сшитое по одной мерке или во всяком случае не более чем по двум-трем меркам разной величины. Они шли без интереса, без оживления, по два и по три вместе, а иногда и по одному, по круглой дорожке, вяло обмениваясь тихими словами. Ни вправо, ни влево они не смотрели. Им было все давно известно, и я мысленно проник в их души, в тупую тяжесть в их умах от этого вечного однообразия, от вечной встречи с теми же самыми товарищами, о которых им было все давно известно. Неужели и я сам представлял такую же вялую белую фигуру на шлиссельбургском тюремном дворике! Да, верно! И картина эта вызвала ряд тяжелых воспоминаний о прошлом, о товарищах.

На дворе под моим окном раздался вновь удар колокола, и вся серая, бритая, печальная толпа медленно пошла обратно в свои камеры. Большинство гулявших даже и не простились друг с другом. Двор опустел, я тоже отошел от окна и старался представить, как они разошлись теперь по своим камерам, молчаливо сели на свои койки или табуреты и, подперев рукой голову, думают... о чем?

Отдаленные раскаты грома вывели меня из раздумья и, как всегда, вызвали у меня в душе какой-то родственный отзвук.

Вспомнились любимые с детства стихи:

Скучно без счастья и воли!
Жизнь бесконечно длинна.
Буря бы грянула что ли!
Чаша с краями полна.
Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи!
Чашу народного горя
Всю расплещи![113]

Я тихо повторил эти стихи Некрасова и с новым чувством бодрости подошел к окну, призывая приближающуюся грозу грохотать сильнее. Ее порывы дули уже в мое окно, я жадно вдыхал свежий воздух, раскрывал перед ним свою грудь.

И то же самое, казалось, делал теперь молодой узник, только что выпущенный на двор, в таких же холщевых штанах, куртке и шапочке, как у других, но на этот раз уже одинокий и в кандалах, надетых на его ноги и подвязанных к поясу.

«Верно, политический»,— подумал я.

Мальчик лет пяти, очевидно, сын кого-то из служащих в тюрьме, подбежал к нему и схватил за руку, очевидно, давно познакомившись с ним при таких же одиноких прогулках.

— Расскажи еще что-нибудь! — послышался его тонкий голосок.

И ребенок, быстро перебирая ножками, бежал, чтобы не отстать от своего спутника. Тот ласково погладил его по беленькой головке, ответил ему что-то неслышное для меня, очевидно, просьбу дать немного походить. Но мальчик не отставал, бежал за ним круг за кругом, а разводящий сторож лениво стоял под навесом, не вмешиваясь в эту сцену.

«Хоть это хорошо!» — подумалось мне.

Но вот новый сильный порыв ветра поднял над двором облако наружной уличной пыли, грянул новый удар грома, и крупные капли дождя начали падать и звонко ударять по железному подоконнику моего окна. Мальчик побежал домой, а молодой узник продолжал быстро ходить кругом своей ничем не прикрытой дорожки, как будто ничего не замечая.

Дождь превратился в ливень. В одну минуту вся полотняная одежда узника, промоченная насквозь, стала серой и облипла кругом его тела. С каждого ее висячего края текли потоки воды. Удары грома и вспышки молнии каждую секунду сменяли друг друга. Его сторож давно спрятался под навесом, а он все ходил и ходил тем же быстрым, ровным шагом, и вся его молодая,

сильная фигура, стройная, несмотря на казенный костюм, была олицетворением полного безразличия.

Но вот прозвучал новый удар колокола, и он, повернувшись, вошел в тюремные двери.

Я знал, по своему прежнему опыту, что перемены платья и белья у него не было. Казенная одежда выдается по субботам на целую неделю в одном экземпляре, и другой до субботы вы не получите, что бы с вами ни случилось. Снимет ли он ее, возвратившись в свою камеру, в такую же маленькую, пыльную и темную, как моя, или так и оставит все на себе сохнуть до завтра на своем мокром, дрожащем от сырости теле? Перенесет ли он эту прогулку или получит бронхит, а потом и чахотку и отнесется к ним так же презрительно и равнодушно? Или это просто молодая уверенность в своих силах, готовая лицом к лицу встретить всякую невзгоду, все победить или умереть?

Этим закончилась прогулка под моим окном. Мне, как новому, она еще не полагалась.

Стало смеркаться.

Я достал из своего фотографического мешка часть булки, несколько ломтиков колбасы, запил их кружкой приготовленного мною чаю и стал вновь ходить взад и вперед по камере. Мне подали зажженную лампочку. Времени дня я не знал, так как здесь не допускалось часов. Почувствовав, наконец, легкую физическую усталость, давшую мне надежду на возможность сна, я лег на свой мешок с соломой и, действительно, забылся глубоким сном.

Долго ли я спал, не знаю. Я сразу был разбужен грохотом замков своей отворяющейся двери. В окне еще была полная темнота, в моей камере по-прежнему тускло светила ночная лампочка.

— Одевайтесь и захватите с собою все вещи! — сказал мне коридорный дежурный.— Вас ждут внизу этапные для увоза.

— Разве уже утро? — спрашиваю.

— Нет, еще вечер, но вас приказано отправить отсюда сегодня же, немедленно.

Я собрал свои вещи и вышел из камеры.

— Была здесь моя жена? — спрашиваю дежурившего в приемной чиновника.

— Нет! — отчетливо отвечал он и, как оказалось потом, солгал, потому что бедная Ксана была здесь второй раз незадолго до моего увоза, но ее снова не впустили.

Началась обычная процедура обыска, особенно тщательная в этот вечер.

— Пойдемте! — сказал мне, наконец, старший.

Я взял свой чайник и мешок. Оба солдата, обнажив сабли, подняли их на плечо и пошли вплотную рядом со мной по обеим сторонам, а старший шел сзади меня, постоянно прикасаясь рукой к верху моей спины и как бы показывая этим, что попытка к бегству безнадежна: он меня сейчас же схватит за шиворот. Наконец, воспользовавшись догнавшим нас извозчиком, возвращавшимся в город, он крикнул ему:

— Извозчик! Сколько возьмешь к вокзалу?

— Сорок копеек! — отвечает тот.

— Садитесь! — сказал он мне.— Иначе не успеем к уходу поезда.

Я сел, он поместился рядом со мною, двое солдат пристроились против нас на маленькой скамеечке, и мы рысцой поехали в город к вокзалу.

Подали вагоны, и меня, окружив толпой конвойных, провели в самый последний из них, в вагон 3-го класса, где предупрежденный заранее кондуктор отвел нас в «служебное отделение» в задней части вагона.

— Сюда никого нельзя пускать кроме контролера! — сказал ему старший.

— Никого и не будет,— отвечал тот.— Только я обязательно должен проходить через вашу часть на заднюю площадку наблюдать за дорогой и фонарями.

В отделении было два купе с поднимающимися скамейками. В первом из них, закрыв занавеской окно, поместили меня и двоих конвойных напротив меня. Третий и четвертый конвойные поместились на скамеечке против этого отделения.

Начала прибывать публика и, не находя свободных мест впереди, постоянно приотворяла двери в наше отделение, чтоб поискать в нем места.

— Нельзя, нельзя! — кричали заглядывающим конвойные.

Попытался войти смазчик, его выставили, несмотря на протест, что он служащий и что это служебное отделение. Попытался войти и сесть жандармский унтер, выставили и его, несмотря на синий мундир, и он, может быть, присланный для соглядатайства, был принужден тоже сесть за дверьми, несмотря на его заявление, что он жандарм и имеет право.

— Кто бы вы ни были, не пущу! — говорил решительным, авторитетным тоном мой старший.— У меня своя инструкция, и, если вы недовольны, можете жаловаться по начальству!

Расспросив конвойных, откуда они родом (так как они всегда боятся молчаливых арестованных), я сказал им для дальнейшего успокоения несколько бесхитростных шуток. Потом я удовлетворил и их любопытство, сказав, что посажен на год за стихи, но

никак не мог объяснить им, почему меня везут с усиленной охраной. Вероятно поэтому трое из них, в том числе и старший, решили всю ночь не спать, уложив четвертого в запас. Они начали наблюдать за каждым моим движением.

Не дождавшись отхода поезда, я влез, к их видимому удовольствию, на верхнюю скамью и, сняв башмаки, так беспокоившие конвойных своими пятками, оставил их у них внизу. Под голову себе я положил свой мешок от фотографического прибора и прикрылся вынутою из него простыней. Несмотря на все усилия, я долго не мог заснуть. Я слышал в полудремоте, как медленно двинулся поезд и, наконец, помчался полным ходом куда-то, в глубокий мрак ночи.

Сильно зазвякали цепи, мирно закачался вагон на ходу, а в голове моей вдруг воскресло и неотвязно, как муха, начало повторяться все снова и снова мое же собственное, давно забытое мною стихотворение:

По стезе своей затейной
Едет поезд мой идейный,
Легкокрылый, тиховейный,
По стезе своей затейной!
Мчись же, поезд окрыленный,
Пред толпою миллионной,
Желтой, красной и зеленой.
Мчись, мой поезд окрыленный!
Я в тебе поехал смело
В край волшебных грез без тела,
В край, где утро заалело,
Я в тебе поехал смело[114].

Всю ночь в этом печальном поезде, везущем меня куда-то, в «край волшебных грез без тела», мои стихи вспоминались мне и составляли монотонный аккомпанемент к моему пути *.

Я чувствовал, что это симптом болезненного состояния[115] моего мозга, и вспомнил слова Ксаны, сказанные ею в конце одного из наших свиданий:

— Будем смотреть на этот период как на тяжелую болезнь, которую приходится перенести.

Как я заснул, не помню, но новый яркий сон, скорее кошмар, оставил в моей памяти такое отчетливое воспоминание, что я

* Повторяю, что я так подробно помню все это потому, что в конце пути мне удалось записать карандашом на клочке бумаги все эти детали и с них написать эти.— *Н. М.*

помню его и без заметки на обложке своего чая, которой не мог сделать на своем пути благодаря неустанному наблюдению конвойных за каждым моим шагом.

Мне казалось — и это было совсем отчетливо, как наяву,— что, запустив свои пальцы в волосы, я почувствовал там нечто неладное. Между ними выросли да и еще вырастают желтые цветы вроде лютиков, но только не высокие, а на толстых, коротких ножках, составляющих непрерывное продолжение моей кожи. Несколько из них уже подняли свои венчики между моими волосами, как в траве, другие были еще в бутонах под ними, а два на одной ветке уже увядали. Я оборвал их тычинки и рассматривал. Они были совсем обыкновенные, даже с пыльцой. Однако меня нисколько не радовало такое украшение моей головы, а, напротив, даже огорчало. Оно представлялось мне накожной болезнью, вроде парши, и я хотел оборвать в волосах все цветки. Они рвались с трудом, но без боли, и в отверстия оставшихся стебельков просачивался из моей кожи какой-то белый густой сок, который застывал тут же, как болячка. При всяком проведении рукой по голове, я сковыривал болячку и вызывал новое истечение того же самого сока. Все это страшно мучило меня, но я знал, что лекарства от такой болезни нет.

Я проснулся посреди ночи, взглянул вниз со своего высокого места и еще раз убедился в полуосвещенной темноте вагона, что спит на скамье подо мною только один конвойный, а старший и второй солдат сидят против него и тихо говорят между собой — о чем, нельзя было расслышать из-за шума движущегося поезда,— а третий даже стоит у двери!

«Страшно боятся моего побега!» — подумал я и, повернувшись на другой бок, вновь заснул.

Считая, что в таком путешествии, как мое теперешнее, лучше всего дольше спать, я валялся на своей жесткой скамье почти до полудня и встал только тогда, когда моим бокам стало слишком больно.

Двое дежуривших ночью конвойных, по-видимому, успокоились теперь. Они лежали и храпели внизу, а старший заснул сидя. Бодрствовал только один, выспавшийся за ночь и, очевидно, сменивший остальных.

Но едва я спустился и, вынув мыло и полотенце, приготовился идти в уборную, как встал еще один и, быстро проскользнув впереди меня, вошел в нее первый и остановился у окна, чтоб я не мог в него выскочить. Другой, последовавший за мною, встал у двери, и все это продолжалось, пока я не окончил своего туалета и не был в том же порядке следования водворен в свое отделение. На ближайшей станции конвойный принес мне ки-

пятку. Заварив большую порцию, я предложил им пить вместе со мною.

— Деньги у меня взял предыдущий конвой,— говорю я им.— Не предупредили о моем отъезде и жену, хотевшую ехать в одном поезде со мною. Она накупила бы нам всяких припасов. Поэтому угощаю вас тем единственным, чего у меня достаточно,— чаем.

Они не отказались, и наши отношения с момента общего чаепития стали доверчивее.

На склоне дня, когда нам оставалось лишь несколько часов до Киева, где должен был принять меня другой конвой, они убедились, наконец, что я совсем не собираюсь бежать. От такой неожиданной для них новости они даже совсем развеселились и, выспавшись, по очереди начали по-своему шутить и паясничать друг с другом.

Особенно отличались этим один худощавый солдат, бывший портной, и наш старший конвойный, державший себя с остальными совершенно по-товарищески.

Когда один из них купил в этот день на общий счет небольшую бутылку водки и предложил старшему «как начальнику» разделить, тот налил сначала им всем и умышленно оставил себе почти вдвое меньшую долю. Все четверо выпили свои доли, плюнули на пол и принялись закусывать взятыми с собой еще в Одессе ситным хлебом и колбасой.

С этого момента веселье их достигло наивысшей степени. Конвойный из портных попросил у меня мою соломенную шляпу и, надев ее задом наперед на самый затылок, начал рассказывать смешные, по его мнению, анекдоты. Часть этих анекдотов была неприличного содержания, и он иллюстрировал их несколькими неприличными же фотографиями, вынутыми из кармана. Другие рассказы были бессодержательны по существу, но соль их состояла в подражании говору украинцев и евреев, причем ломание слов вызывало у его компаньонов еще бóльшие взрывы хохота, чем неприличные анекдоты, очевидно, слышанные уже не раз.

Затем началась дуэль словесного остроумия между портным и старшим, тоже с коверканием слов на украинский лад.

— Ось, ось, дідко! — воскликнул бывший портной.— Дивуйся, ось іде моя жінка!

И он показал на молодую барышню, идущую по деревне за полотном дороги.

— Вре, вре! — отвечал ему старший.— Се моя жінка, а твоя вон-то іде!

И он указал на проходящую по насыпи корову.

— Вре! Се твоя жінка, а моя во́на! — парировал тот.

— Не! Се моя!

И они, не будучи в состоянии придумать чего-либо нового, повторяли эти два ответа друг другу без конца.

Потом портной начал изображать украинца и упрекать старшего, будто тот ворует у него овощи.

Старший отвечал:

— Так тобі і надо! І всяку ночь буду воровати!

— Не будешь!

— Буду!

— Не будешь!

— Буду!

Портной выхватил из кобуры свой револьвер и, прицелившись в него, крикнул:

— Так от тобі!

Тот выхватил свой револьвер и, нацелившись в портного, тоже крикнул:

— А от тобі!

Оба начали бегать, повторяя свои крики, кругом по свободной части нашего отделения, делая вид, что пускают друг в друга заряд за зарядом.

Мне стало неловко. Вдруг кто-нибудь нечаянно нажмет спуск — ведь убьет человека наповал. А потом, подумалось мне, чтоб избавиться от уголовного наказания, сговорятся все и скажут, что это я вырвал у него оружие и застрелил, пытаясь бежать.

— Смотрите, как бы револьвер не выстрелил! — сказал я им.

— Нет! — обратился ко мне, смеясь, конвойный-портной.— У нас безопасные револьверы системы Нагана. У них для выстрела каждый раз надо особо взводить курок.

Однако оба вложили оружие в кобуры и возобновили словесную перепалку и неприличные анекдоты.

Наступил вечер. Вдали показались пригородные фонари Киева, и мы начали приготовляться к высадке. Еще ранее того я отбил спинкой своей сапожной щетки комья грязи с моих штиблет и обломал пальцами кору со штанов и брызги с пиджака. Только теперь сукно настолько подсохло, что его можно было почистить, не размазывая въевшейся в него сырой земли. Я это и сделал и даже довольно удачно. Но когда дело дошло до обуви, я остановился в полном затруднении. Дело в том, что конвой в Одессе разрешил мне положить в мой мешочек только щетки для платья и сапог, но решительно отказал мне взять с собой коробочку с ваксой.

«Как тут быть?» — думал я, печально поглядывая на свои штиблеты «земляного цвета».

Меня вывел из затруднения один из моих конвойных, который, увидев пятно грязи на своих еще с утра вычищенных сапогах, наплевал на него и размазал своей сапожной щеткой. Немедленно я сделал то же самое и, натерев сапоги мои усердно щеткой, убедился, к великому удовольствию, что они стали, как свежевычищенные. В результате оказалось, что в тот самый момент как поезд стал подходить к вокзалу, я вновь принял вид путешествующего туриста и в таком виде был выведен из вагона на платформу с мешком в одной руке и чайником в другой.

Там встретил меня уже заранее предупрежденный местный конвойный офицер. Он любезно раскланялся со мной и, вместо того чтобы приказать вести меня на ночь в тюрьму, сказал:

— Вам придется подождать здесь, на вокзале, до двенадцати часов ночи. Раньше нет поезда в Витебск.

— Разве меня не поведут в тюрьму ночевать?

— Ни в каком случае. Вас должны спешно отправить в распоряжение витебского губернатора.

Меня отвели в залу третьего класса и посадили в стороне, окружив новыми конвойными, так как прежние, передав меня под расписку, пошли ночевать в казармы. Какой-то молодой господин, проходя мимо, взглянул на меня и громко сказал своей даме:

— Ведь это Морозов.

Они остановились, посмотрели на меня несколько секунд и спешно пошли в соседнее помещение, соединяющее третий класс с первым и вторым.

Через минуту небольшие группы прилично одетой публики, появляясь с платформы и из зала первого и второго классов, стали беспрестанно проходить мимо нас взад и вперед, молча и подолгу поглядывая на меня. Наконец, в некотором отдалении собралась целая толпа мужчин и женщин, уже остановившихся и молча смотревших на меня.

— Да вас тут знает половина Киева! — сказал, возвращаясь, уходивший на время мой новый старший конвойный.

Это был молодой человек франтоватого и независимого вида.

— Да! — отвечаю.— Ведь я здесь два раза читал публичные лекции при большом стечении народа.

— Как же, я слышал. В прошлом году вы читали здесь о воздухоплавании, только мне не удалось быть на вашей лекции из-за отъезда по службе. Но лучше пойдемте отсюда. Здесь собирается большая толпа, неудобно оставаться.

Захватив снова свой мешок и чайник, я пошел, прощаясь взглядом с публикой, пришедшей посмотреть на меня в моей возобновленной роли важного политического преступника.

Толпа в отдалении следовала за нами. Меня вывели на платформу и, приведя в узкий короткий коридор, соединяющий вестибюль с залом первого и второго классов, поместили там на принесенном стуле. Конвойные остались стоять, затворив двери направо и налево.

Оказалось, что это был проход специально для служащих. Они беспрестанно толкались в наши двери снаружи то с одной, то с другой стороны, и всем им конвойные, приотворив дверь изнутри, кричали в щелку:

— Нельзя! Нельзя! Здесь арестованный.

— Но где же мы пойдем? Это наш проход! — отвечали им.

— Где хотите, но здесь нельзя!

Служащие, ругаясь, отходили и шли каким-то круговым путем.

Мои новые конвойные были совсем непохожи на предыдущих, одесских и севастопольских. Они были несравненно интеллигентнее и явно не запуганы своим офицером насчет меня.

— О вас еще вчера было в здешних газетах,— сказал мне старший.

— Что же было?

— Что вас переводят из Севастополя в Двинск за стихи. А где теперь Горький?

— Все еще за границей, в Италии.

— Вот и ему нельзя возвратиться! — сказал второй конвойный.— А какой большой талант!

— Да, огромный талант! — прибавил старший.

— И главное, до всего дошел сам, своими собственными силами! — продолжал первый.

Здесь для меня снова обнаружилась уже ранее замеченная мною огромная популярность Горького в народе, который оценивал его всегда наравне с Толстым, а часто он пользовался и еще большей симпатией как человек, вышедший из простой среды.

— Ваши стихи мне случалось читать в разных сборниках,— сказал старший. При этом он очень одобрительно отозвался о них.

— А мне еще не приходилось,— прибавил первый конвойный.— Я больше всего люблю стихи Шевченко. Я сам украинец.

— Ну, а вы? — обратился я к двум самым молодым из четырех, назначенных для моего сопровождения.

— Мы поляки,— отвечал, улыбаясь, один,— и больше читаем польские книги, когда есть время.

— А между тем вы хорошо говорите по-русски.

— Да ведь обучение у нас на русском языке.

Мне стало интересно позондировать их отношение к национализму.

— А как у вас смотрят на австрийских поляков? Считают за своих же?

— Нет! Австрийские поляки смотрят на нас свысока, называют нас москалями.

Это был для меня полный сюрприз!

«Неужели,— подумал я,— разница в политических режимах начинает вызывать раскол в польском простом народе?»

Естествоиспытатель по всему складу своего ума, я брал факт как он есть и не преувеличивал его значения. Не имея возможности подвести беспристрастную статистику мнений, я просто говорил себе: распространенность таких, неслыханных мною ранее взглядов среди крестьянского польского простого населения мне не известна, но эти два поляка стоят теперь передо мною, и их нельзя отрицать.

— Вы католики? — спросил я, чтоб убедиться, что они настоящие польские крестьяне.

— Да, католики! — отвечали оба, и мои сомнения окончательно исчезли.

Когда после полуночи подошел наш новый поезд, нам не дали уже в нем целого служебного отделения, а только крайнее купе. Я вновь расположился спать на верхней скамейке и на этот раз спал несравненно спокойнее, чем в предыдущую ночь, или, лучше сказать, мне не было возможности спать плохо и видеть всякие кошмары. Дело в том, что часов через пять после отъезда, на самом рассвете, нам пришлось сделать пересадку в Жлобине, потом через три часа в Гомеле, где нам уже совсем не дали краевого купе, а поместили в середине вагона среди остальной публики.

Спать более мне не хотелось, и я, несмотря на раннее время дня, принялся смотреть через открытое окно на холмы, поля и леса, проносившиеся мимо меня.

Открывшаяся местность стала близко напоминать мне родные края, в которых так и не удастся побывать в это лето! В душе опять пробудилось страстное желание улететь куда-то за полукруглую черту отдаленного горизонта. «Что звенит там вдали, и звенит, и зовет?» — вспомнилось мне начало полузабытого мною стихотворения, кажется Жадовской, и взгляд уносился в голубую даль и надолго прощался с нею.

— Не хотите ли посмотреть бумагу, по которой мы вас везем? — обратился ко мне старший.

Я взял. Это была та самая, с которой меня отправили из Севастополя. «В распоряжение витебского губернатора на предмет помещения в двинскую тюрьму».

— Я знаю уже эту бумагу.

— А только у нас,— улыбаясь, сказал старший конвойный,— кроме бумаги, которую мы должны показывать, часто бывает другая, секретная, бумага!

— И у вас такая есть?

— Да. И по ней мы вас не повезем в распоряжение витебского губернатора, а прямо в Двинск, где вас будет уже ждать тамошний конвойный начальник, который и доставит вас по назначению.

Это было новым ударом для меня!

Ведь мы же с Ксаной на основании первой, несекретной, бумаги условились, что если она потеряет меня дорогой, то поедет прямо в Витебск и там будет меня ждать в доме нашей тамошней знакомой Варвариной, наводя ежедневные справки обо мне в местной тюрьме и в канцелярии губернатора! А теперь она там целые недели может сидеть, получая однообразный ответ: «Еще не прибыл». А я в это время буду ждать ее в двинской тюрьме!

«Как бы ее предупредить!» — ломал я себе голову и решил, что остается только одно средство.

— Ничего не буду есть всю дорогу до Двинска! Надо сохранить оставшиеся у меня восемьдесят восемь копеек и сейчас же по приезде послать на них из двинской тюрьмы, если разрешат, телеграмму в Витебск Александре Александровне, у которой Ксана побывает прежде всего.

Я понимал, что это будет не легко. Запасы пищи, данные мне Ксаной, истощились еще в Одессе. Предыдущий день, желая сохранить деньги на случай крайнего голода, я тоже ничего не ел, кроме куска хлеба с чаем. Но в нервно напряженном состоянии мне обыкновенно никогда и не хочется есть, я только быстро худею. Так было и теперь. Мой пояс сократился со времени ареста на полтора вершка и сокращался далее, но аппетит не возвращался, и я знал, что это будет продолжаться до тех пор, пока, истощив весь внутренний запас своего организма, я сразу почувствую адский голод.

Когда это случится? Не все ли равно! Зачем спрашивать о неизбежном? Деньги же надо во всяком случае сохранить целиком. Поэтому я отказался от предложения конвойного купить для меня на станции чего-нибудь съестного и откровенно объяснил ему, в чем дело.

Мимо нашего купе начали проходить в уборную с полотенцами и мылом в руках окончательно пробудившиеся, но все еще заспанные и вялые пассажиры. Вот прошла молоденькая барышня, по виду курсистка, и изумленно посмотрела на нас.

Возвращаясь, она сделала то же, и в лице ее выражались сильное участие и беспокойство. Вот она стала у окна наискось против нашего отделения вместе с молодым интеллигентным господином, и оба долго разговаривали друг с другом, все время поглядывая на меня. Старший конвойный прошел зачем-то мимо.

— Ведь это Морозов? — спросила его девушка.

— Да.

— Я его знаю. Можно посидеть с ним?

— Посидите.

Она быстро подошла ко мне.

— Здравствуйте! Это ужасно! Я уже читала в газетах, что вас арестовали и должны перевезти в Двинск. Но могла ли я ожидать, что поеду в одном вагоне с вами?

— А вы куда?

— В Петербург, к сестре-курсистске. Я тоже была на курсах и даже у вас, в бывшей Вольной высшей школе, где вы читали химию. Но я по недостатку денег должна была прервать учение и уехать на время к отцу в Сумы.

— Вы сумская? Я тоже из Сум родом! — перебил ее старший конвойный.— Я вас даже помню.

— Меня зовут Вера Любарская,— сказала она. Конвойный тоже назвал себя.

На станции она выбежала и, купив у деревенских ребятишек черники и малины, принесла мне.

— Вот,— сказал я, смеясь,— неожиданное подкрепление сил! А я уже собирался проголодать еще целые сутки в дороге.

— Зачем?

— Чтобы сохранить оставленные мне деньги для телеграммы и писем из двинской тюрьмы.

Я ей рассказал, как меня увезли из Одессы тайком от Ксаны с восемьюдесятью восемью копейками в кармане.

Она снова пришла в ужас и, открыв свой кошелек, сунула мне в руку один из оставшихся там трех рублей.

— Мне хватит двух для носильщика и извозчика до сестры. А третий вы возьмите на всякий случай.

Отказать при таких обстоятельствах значило бы разрушать то, чем больше всего дорога жизнь.

— Спасибо,— сказал я, страшно тронутый, и положил ее серебряный рубль в свой карман.— Приходите ко мне, когда будете в Петербурге, после моего освобождения. Я вам тоже буду помогать, чем могу.

Я крепко пожал ей руку, и мы стали друзьями.

Несколько минут я молчал, охваченный давнишним чувством.

«Да,— думалось мне,— молодость всегда одна и та же! Ошибаются те, которые говорят, будто наша учащаяся молодежь теперь измельчала! Они не понимают, что это кажется им только по закону перспективы, благодаря которому всякий предмет представляется глазам меньше, чем дальше вы отошли от него. Все помятые жизнью, отцветающие, глядящие в свое прошлое не могут, конечно, войти как равноправные товарищи в юную среду, вся психология которой основана на том, что, не имея пока прошлого, она смотрит исключительно в будущее. Глядеть всегда вперед через свое настоящее в грядущее, приспособлять все свои поступки для него, как будто в прошлом и во всем уже сделанном вами не на что взглянуть — вот единственный способ остаться до конца своей жизни товарищем юности, понимать ее и быть понимаемым ею! А она в каждом новом поколении та же самая или даже лучше, добрее и идеальнее, как и следует быть по общим законам человеческой эволюции. Вот часто говорят, что среди новых молодых писателей нет таких мощных фигур, как Толстой, Тургенев, Пушкин, Лермонтов. И ни говорящие это, ни их слушатели не могут понять, что сравнивают несравнимое. Человека, который сделал все, что ему было суждено, сравнивают с таким, который только начинает предопределенную ему работу! И не хотят допустить, что когда он закончит ее через много лет, то окажется, может быть, еще более великим гением, чем все его предшественники, с которыми сравнивают его теперь и находят, что сравнение не в его пользу!»

— А знаете,— прервала мои мысли наша спутница,— ведь могут вам и не разрешить послать телеграмму из двинской тюрьмы. Не лучше ли мне сделать это с дороги? Впрочем, можно сделать еще лучше. Здесь едет один молодой человек, тоже знающий вас, которому надо высаживаться в Витебске и пробыть там до завтрашнего утра. Может быть, лучше поручить ему зайти к вашей знакомой и предупредить ее?

Она вскочила, убежала и привела ко мне того самого интеллигентного господина, с которым она рассматривала меня издали еще ранее нашего знакомства.

Он с большой охотой взялся все исполнить. Я дал ему адрес Александры Александровны Варвариной, у которой должна была остановиться Ксана, и на моей душе стало легче. «Не так страшен чёрт, каким он представляется! — подумалось мне.— Вот обстоятельства начинают вновь как будто складываться в мою пользу!»

Мои молодые спутники на некоторое время ушли, «чтоб не слишком утомлять меня», но потом снова возвратились, при-

неся мне со станции бутербродов, и благодаря им я и в этот день не чувствовал ожидаемого мною адского голода.

В Витебске, куда мы приехали около полуночи того же самого дня, я дружески распростился с ними обоими, и мы расстались, не знаю навсегда или надолго.

Он высадился в городе, она пересела на скрещивающийся здесь поезд в Петербург, и мне представилось, как нити наших жизней точно так же скрестились здесь по нашей дороге к неизвестному будущему. И я от души пожелал, чтобы будущее оказалось на их пути приветливо и светло!

Рано утром мы приехали в Двинск. Там уже ждал меня начальник местного этапного конвоя.

— Я должен вас отправить в двинскую крепость! — поклонившись, сказал он мне.

И он повел меня и моих конвойных к выходу на площадь.

«В крепость,— как молния, пронеслось у меня в голове.— Значит, не в тюрьму! Неужели благодаря отчаянным телеграммам Ксаны ко всем нашим петербругским знакомым сделано поправочное распоряжение везти меня в крепость? Но примут ли меня там? Может быть, комендант скажет, что нет места, и, подразнив перспективой светлой и просторной комнаты, вместо мрачных камер и мрачных тюремщиков-специалистов, меня все-таки посадят в местную тюрьму?»

— Мошка! — вдруг повелительно крикнул начальник конвоя стоящим извозчикам-евреям.

Меня внутренне перевернуло от этого, еще не привычного мне приглашения извозчиков. Но извозчик подъехал.

— В крепость! — крикнул ему офицер и пригласил меня садиться.

Я сел один. Конвойные, обнажив сабли, пошли справа и слева. Офицер остался на вокзале. Мы въехали в очень грязный уездный город. Уличные ароматы поднимались здесь, особенно на окраинах, от всяких отбросов, почти такие же трудно выносимые для носа, как и из коридора ялтинской тюрьмы.

Мы проехали город, мимо больших навозных куч, и выехали в поле, где пахнуло на меня свежим воздухом.

Заросшие зеленью и деревьями валы показывали невдалеке местоположение крепости. Мы направились между ними и рвами с остатками воды на их дне в аллею из высоких лиственных деревьев вроде дубов или платанов, идущую на некотором расстоянии по правому берегу Двины, и въехали в каменные крепостные ворота с государственными гербами вверху. За ними открылись ряды домов и казарм. Миновав их, мы подъехали к длинному белому двухэтажному зданию перед сквером. Около

подъезда стоял шлагбаум и ходил часовой. Нам указали подъезд с надписью: «Комендантское крепостное управление». Войдя в него и поднявшись по лестнице, мы пришли в комнату, где сидел только один молодой артиллерийский унтер-офицер, по-видимому, писарь.

— Надо сдать арестованного! — сказал ему мой старший.

— Придется подождать, пока придет комендантский адъютант и доложит коменданту. Садитесь.

Мы все сели в разных местах.

Пришел другой молодой унтер-офицер интеллигентного вида и, спросив мою фамилию, сказал, что по газетам меня уже давно ожидают здесь.

— А свободная камера есть?

— Есть целых три. Проситесь в номер первый или второй, они лучше.

Наконец, пришел и комендантский адъютант с серебряным аксельбантом на плече и, поздоровавшись со мной, взял у старшего конвойного мою сопроводительную бумагу.

— Но вы адресованы не сюда, а в двинскую тюрьму! — сказал он.— Почему привели сюда? — спросил он конвойных.

— Нам приказал здешний конвойный начальник,— ответил мой старший.

— Это все перепутал симферопольский прокурор! — говорю я.— Ведь в начале бумаги говорится же, что я приговорен на год в крепость! — и я показал ему строчку.— А он по привычке — в тюрьму да в тюрьму! Начав за здравие, кончил за упокой. Это он называет тюрьмой помещение в крепости.

— Но у нас и места, кажется, нет! — возразил он.

— Как нет! — восклицаю я.— У вас три камеры свободны, и я даже просил бы поместить меня или в первый, или во второй номер!

Адъютант засмеялся.

— Даже и номера вам уже известны!

— Конечно. Ведь это мои друзья в Петербурге просили перевести меня сюда и именно в крепость. Если меня посадят в тюрьму, то они и теперь будут настаивать на переводе меня из нее сюда.

— Но бумага все же адресована не к нам, а в городскую тюрьму. И там, вероятно, уже есть о вас распоряжение, так что я ничего не могу сделать.

Он взял со стены телефонную трубку.

— Тюрьма! — сказал он в нее.

Прошла минута, он слушал.

— Скажите, есть у вас бумага о Морозове с назначением к вам?

Ответа мне не было слышно из трубки, но, повесив ее на ручку, он сказал мне:

— Сейчас обещали посмотреть!

Прошло с полчаса томительного ожидания. Раздался звонок.

— Ну что?

Опять ответа не было слышно.

— Но он адресован именно к вам!

Опять долгое безмолвное слушание в трубку. Наконец, он повесил ее на стену и задумался.

— Там о вас нет никакой бумаги и не хотят принимать без прокурорского предписания. Я пойду и доложу коменданту.

Он взял бумагу и ушел. Длинные минуты ожидания вновь потекли одна за другой. Наконец, он возвратился и сказал с улыбкой:

— Комендант сказал, что если это астроном Морозов, то он примет, а другого — ни в коем случае.

— Ну, конечно, это я и есть! — ответил я с огромным облегчением.

Пройдя фасад комендантского здания, я увидел за ним каменное помещение вроде флигеля с большими решетчатыми окнами. В глубине крайнего из них стояла за решеткой фигура белокурого высокого человека.

— Вот ваш будущий товарищ, профессор Мякотин,— сказал мне штаб-офицер.

— Это мой знакомый,— отвечаю я, и мы раскланялись издали.— Кроме него, у вас теперь сидит еще один из знакомых мне писателей, Пешехонов.

— Да. Он рядом с Мякотиным. А вам назначена камера № 2, в противоположной стороне помещения. У нас только восемь номеров.

«Значит, маленькая тюрьма!» — с новым облегчением подумал я.— В таких личность узника не превращается в глазах начальства в простой номер.

Мы вошли в крошечный дворик, а из него через простую деревянную дверь, запираемую изнутри на цепочку, в длинный мрачный коридор с окнами на обоих далеких его концах. В нем ходил солдат с ружьем.

Направо и налево по сторонам, но довольно редко друг от друга, шли белые деревянные двери такого же устройства, как в обычных комнатах.

— Отворите номер второй! — сказал штаб-офицер пришедшему вместе с нами унтеру со связкой ключей.

Мы вошли в просторную, квадратную комнату с двумя высокими окнами за решетками. Рамы были открыты, и свету было не менее, чем в обыкновенной квартире.

Между окнами стоял длинный стол, вроде письменного в канцеляриях, и около него табурет. У одной из стен кровать без постели. Больше ничего не было.

— К сожалению, не можем предоставить вам никакой мебели,— сказал мне штаб-офицер.— Если что нужно, можно взять напрокат в городе. Обед можно брать на свой счет из офицерского собрания или от одной дамы, живущей рядом и держащей домашнюю столовую.

Солдат принес в комнату мой мешок от фотографического аппарата, в котором я привез с собой полотенце, перемену белья, две щетки, а также мою подушку и жестяной чайник.

— А где же ваши остальные вещи?

— Да разве вы не знаете, как и откуда меня привезли?

И я кратко рассказал ему, как Ксана гонится теперь за мною через всю Россию и направляется в Витебск, не зная, что я здесь.

— Мне необходимо послать сейчас же телеграмму, чтобы она ехала сюда.

— Это можно,— сказал он.— А пока она приедет, я вам дам денег в долг. Сколько вам нужно?

— Рублей десять будет достаточно за глаза до ее приезда.

Он тотчас же вручил мне их.

Как все это было непохоже на порядки тюремного ведомства! Там я десять раз умер бы с голоду, и ни один смотритель не подумал бы хоть полтинник дать мне в долг!

Оставшись один, я начал ходить взад и вперед по комнате.

В ней было двенадцать шагов из одного угла в другой, противоположный, и мое хождение не походило больше на верчение на одном месте, как в крошечных одиночных камерах.

«Да, здесь я выживу и даже, вероятно, что-нибудь успею и написать, как только поправятся немного глаза!» — подумал я.

Пришел дежурный унтер-офицер, передал мне квитанцию на мою телеграмму Ксане и спросил, где заказывать обед.

— Принесите из офицерского собрания.

— Слушаю-с. А вот насчет кровати как быть? У нас матрацов нет.

— Принесите пока солдатскую соломенную постель, если есть. Мне не привыкать спать на жестком, а потом приедет жена, и я устроюсь получше.

Вечером я лег на принесенный мне солдатский соломенный мешок, но он уже не показался мне таким неудобным, как другие.

«Получила ли Ксана мою телеграмму, если уже приехала в Витебск? Во всяком случае,— думал я,— если завтра не получу ответа, то буду телеграфировать в канцелярию витебского губернатора и начальнику витебской тюрьмы, чтобы Ксане сказали обо мне, когда она придет к ним».

Раннее утро уже алело в моих окнах. Я проснулся и почти в то же самое время дежурный по коридору принес мне телеграмму. Я с жадностью распечатал ее и вновь сильно заволновался. «Варварина выехала на дачу». Но кто же это телеграфирует мне? Кто-нибудь из ее домашних? Тогда Ксана все равно узнает. Но подписи не было, и я сообразил, что это любезно отвечает мне местный телеграфист, очевидно, узнавший из газет о моем привозе в Двинск.

— Нельзя ли мне сейчас же послать две телеграммы в Витебск? — спрашиваю.

— Раньше десяти утра невозможно,— отвечает унтер-офицер.— Я их должен сначала представить штаб-офицеру, а он приходит в канцелярию не раньше этого времени.

— Так я вам сейчас же напишу их, а вы передайте штаб-офицеру, как только он придет.

— Слушаю-с! — и он взял от меня листки.

Я сел у окна и грустно начал смотреть из него в переулок, по другую сторону которого стояли невысокие каменные конюшни и помещения пожарного депо. За крышей его поднимались вершины деревьев комендантского сада, с которых доносились ко мне крики грачей.

Час проходил за часом, а я все сидел и смотрел. Солдат мерно ходил под окнами нашего помещения со своим штыком, выдающимся над его фуражкой. Редко кто проходил этим глухим переулком.

Послышался звук подъезжающего экипажа. В отблеске от стекол моего открытого окна показалось отражение извозчичьей пролетки задолго раньше, чем мне можно было увидеть ее в самом окне.

Я пригляделся к отражению. В пролетке сидела дама в белом платье и в широкой белой шляпе с черной каймой.

«Да это Ксана!» — мысленно воскликнул я.

Да! Это была, действительно, она. Она проехала перед моими окнами, смотря вдаль перед собою, и не заметила меня, а мне так и хотелось крикнуть ей отсюда:

— Ксана! Я здесь!

Пролетка повернула за угол, и видение скрылось, Вскочив, как на пружине, я начал быстро ходить из угла в угол. Значит,

известие обо мне дошло, несмотря на отъезд Александры Александровны из Витебска. Каким образом? Кто передал ей?

Прошло целых два часа.

«Очевидно, исполняют всякие канцелярские формальности, прежде чем разрешить свидание»,— догадался я и не ошибся.

В коридоре за моей дверью раздался мягкий, приветливый говор Ксаны, который показался мне настоящей музыкой. Дверь отворилась, и рунд (дежурный офицер), входя, сказал мне:

— Позвольте вам представить вашу жену!

Мы бросились в объятия друг друга. Офицер, постояв немного, сказал:

— Я пока пройдусь по коридору! — и оставил нас вдвоем.

— Как ты узнала? Получила ли мою телеграмму?

— Телеграммы не было, но твой посланный был и предупредил. Александры Александровны, действительно, не оказалось дома, она на даче в двенадцати верстах, но живущий у нее твой знакомый как раз приехал в это время и нарочно остался ждать меня.

— Как же ты приехала так скоро?

— Я гналась за тобой изо всех сил.

Передав спешно свои впечатления после разлуки, мы начали мечтать о том, как устроим свою жизнь. Она поселится здесь же, около меня, в крепости, наймет где-нибудь комнатку и будет каждый день приходить ко мне на свидание. Может быть, найдется рояль или пианино, где она могла бы продолжать заниматься музыкой.

— А ты,— говорила она,— должен прежде написать свои воспоминания об этом пути, раньше чем стушуются в твоей памяти его подробности, и потом тебе надо воспользоваться случаем, чтобы написать и повести твоей жизни. Ведь ты же сам не раз говорил, что никогда тебе не будет времени для них, если не посадят тебя снова! Вот тебя и посадили!

Так мы мечтали, сидя вдвоем в крепостной комнатке, где мне предстояло провести еще много месяцев. Безоблачное небо виднелось перед нами за окном, и теплый летний ветер проникал к нам через его решетку [116].

Письма из Шлиссельбургской крепости[117]

I

18 февраля 1897 г.[118]

Милые мои, дорогие!

Вчера мне сообщили разрешение писать вам два раза в год и получать от вас письма в подлиннике. Если б вы знали, как я обрадовался этому!

Мы так давно расстались, что, боюсь, вы все, кроме матери, уже почти позабыли меня. Да и трудно было бы не забыть. В продолжение этих шестнадцати или даже, вернее сказать, двадцати трех лет у вас было столько новых впечатлений! Сестры, которых я оставил почти совсем маленькими, успели вырасти и давно повыйти замуж. Брат, которого я помню ребенком, крошечным Петей, теперь женат и сам имеет детей. Целое молодое поколение племянников и племянниц появилось на свет, некоторые из них успели окончить курс в гимназиях, а одна из племянниц даже поступила на курсы.

Столько новых лиц и событий не могли не заслонить в вашей памяти давно прошедшую разлуку. Совсем другое дело относительно меня. Все мои впечатления ограничивались почти одной моей внутренней жизнью и немногими, однообразными сношениями с одними и теми же окружающими лицами, а потому я не только ясно представляю себе каждого из вас, как будто бы мы лишь вчера расстались, но даже припоминаю почти каждое слово, сказанное кем-нибудь из вас в последние дни нашей общей жизни. Время, которое было для вас так длинно, пролетело для меня, как один день, или даже как будто и совсем не существовало, хотя и в голове начали кое-где показываться седые волосы, и здоровье стало не так крепко.

Теперь вы поймете, почему вы все представляетесь для меня *вместе* такими, как я вас оставил, и почему я пишу вам всем в одном письме, хотя и знаю, что теперь вы живете уже в различных городах, на сотни или даже тысячи верст расстояния друг от друга.

В последние десять лет я получил от вашего имени несколько коротеньких извещений. Из них я знаю, что сестры, мать, брат и кузина

Мария Александровна живы, получил их фотографические карточки от всех по одной, а от Верочки две (одна снята растрепкой, а другая модницей), об отце же не имею никаких известий, а только одну старую карточку, и это меня сильно беспокоит [119]. Кроме того, я получил карточки Вали и бедного Сережи, который умер, семейную карточку, снятую братом Петей, благодаря которой познакомился с двоими из своих beaux-frères *. Как жаль, что вы не прислали мне карточек остальных близких родственников!

Хотя я их и не знаю, но уже горячо люблю.

Если кто-нибудь из них будет сниматься, не позабудьте и обо мне; я часто смотрю на фотографии, которые у меня есть, и если иногда бываю грустен, то мне от этого делается легче. Я еще не знаю, кому из вас первому попадет это письмо. Когда будете мне отвечать, сообщите адреса для дальнейших писем.

Мне вчера объявили, что теперь мне будут давать для прочтения ваши собственноручные письма. Я буду вам писать (как мне позволено) раз в полгода, буду сообщать вам о себе все, о чем могу говорить, а вы напишите мне подробно о том, что случилось с вами за последние 16 лет, с тех пор, как я простился в Петропавловской крепости с отцом, Верочкой и Марией Александровной [120]. Всякое письмо от вас будет для меня великой радостью.

В первые годы мне было очень тяжело жить, но с тех пор условия много изменились к лучшему [121]. Уже более десяти лет я снова отдаю почти все свое время изучению естественных наук, к которым, как вы знаете, я еще в детстве имел пристрастие. Вы, верно, помните, как, приезжая к вам в именье на каникулы, я каждое лето собирал коллекции растений, насекомых и окаменелостей. Может быть, старшие сестры и Мария Александровна даже не забыли, как в последнее лето я завел вас вечером на Волгу, как вы помогали мне собирать там, под обрывистым берегом, окаменелости и как мы до того запоздали в увлечении, что на возвратном пути нас застигла в лесу ночь, и я должен был вести вас по звездам, через незнакомые поля, болота и заросли, где не было никаких дорог. Помните, как сестры перетрусили? Тогда в глубине души я был очень доволен, что знаю наиболее яркие звезды. Они, действительно, помогли мне довести вас благополучно до самого нашего сада, хотя ночь и была осенняя, безлунная и в лесу такая темная, что мы едва могли видеть кончики собственных носов...

Здесь я несколько лет занимался астрономией, конечно, без телескопа, по одним книгам и атласу. Еще до первого заключения я одно время имел в распоряжении небольшую трубку и настолько хорошо помню наши северные созвездия, что по вечерам узнаю каждое из них вверху через мое окно.

---

* Имеются в виду братья жены П. А. Морозова.

Года два или три я специально занимался здесь ботаникой, могу разводить цветы в крошечном садике, а для зимних занятий составил гербарий, в котором набралось более 300 видов растений. Кроме всего этого, я занимаюсь постоянно теоретической физикой и химией и уже четыре или пять лет имею хороший микроскоп. Теперь я пишу книгу о строении вещества и, если позволит здоровье, окончу в этом году. Написал уже почти полторы тысячи страниц, и осталось не более пятисот. Хотя этой книге, вероятно, и не суждено никогда попасть в печать*, но все же я усердно работаю над ней почти каждый день в продолжение последних трех лет и чувствую невыразимое удовольствие всякий раз, когда после долгих размышлений, вычислений, а иногда бессонных ночей, мне удается найти порядок и правильность в таких явлениях природы, которые до сих пор казались загадочными.

В последние годы я имею возможность пользоваться довольно значительным количеством книг на русском, французском, английском и немецком языках**. Кроме них, я выучился итальянскому и испанскому, чтобы знать все главные языки.

Я часто, конечно, замечал, что если кто-нибудь изучает слишком много наук, то мало углубляется в каждую из них. Но мне кажется, что относительно себя я могу сказать, что избежал этой альтернативы. Моя жизнь прошла в исключительных условиях, и если вы припомните, что в продолжение целых десятков лет у меня не было никаких других радостей, кроме научных, то поймете, почему я часто упрекаю себя, что плохо воспользовался этим временем и что если б не был склонен иногда помечтать и почитать романы, то мог бы значительно более пополнить запас своих знаний.

Успокойте меня насчет отца, или, лучше всего, пусть он сам меня успокоит. Он был так добр и грустен, когда мы прощались с ним в крепости, что я не могу вспомнить об этом свидании без того, чтоб на глазах не навернулись слезы.

Как-то поживает милая, бедная мамаша? Я помню, что еще в нашем поместье, когда она заходила по вечерам в мое летнее жилище, во флигеле, чтобы ласково поговорить со мной и поцеловать меня еще раз на ночь, она жаловалась на «мельканье в глазах», и мог ли я ожидать тогда, что эта болезнь окончится так ужасно! *** Как часто я с любовью вспоминал потом эти нежные вечерние посещения!

---

* Она издана только через десять лет, в 1907 г., после освобождения автора.— *Н. М.* [122]

** Они попали в Шлиссельбургскую крепость благодаря содействию доктора Безродного, тогдашнего крепостного врача, дававшего их под видом книг для переплета в наших мастерских (позднейшее примечание).— *Н. М.*

*** Она почти ослепла (позднейшее примечание).— *Н. М.*

Напишите же мне обо всем подробно.

Как поживают мои beaux-fréres n belles-soeurs? Что делает все младшее, незнакомое поколенье?

Всем передайте мой привет и напишите мне обо всем!

Ваш Николай.

Письма адресуйте в департамент государственной полиции для передачи мне.

II

6 октября 1897 г.

Милая, дорогая моя мамаша!

Когда после стольких лет разлуки и полной неизвестности я принимаюсь писать это письмо, мое сердце полно такой жалости и любви к вам, что я не знаю, как все это я мог бы выразить словами. И прежде я был слишком сдержан и застенчив в этом отношении и редко находил подходящие слова, а теперь я почти совсем отвык говорить; думаю молча, и слова не спешат приходить ко мне на помощь, когда я в них нуждаюсь.

Более всего мне хочется сказать вам, что во все время нашей разлуки, не только здесь, но и на воле и за границей, когда я мог оставаться один и отдаться своим собственным мыслям, я часто вспоминал о вас, и мне было очень тяжело, что мы как бы без вести пропали друг для друга, и вы обо мне ничего не знаете.

[...] И в детстве, и в ранней молодости я вас глубоко любил, и если в последние годы, когда я приезжал к вам на каникулы, моя внутренняя жизнь оставалась для вас закрытой, то лишь потому, что так поступает почти всякий человек в этом переходном возрасте. Зато теперь я уже не боюсь, что кто-нибудь упрекнет меня в ребячестве, а потому часто целую вашу фотографию.

Я очень рад, дорогая, что вы снова поселились в Борке́.

[...] Что же касается моей карточки, то едва ли твое желание иметь ее исполнимо. Во время последних свиданий с отцом я говорил или писал ему, что если вы хотите получить мою хорошую фотографию, то напишите об этом в Швейцарию Элизэ Реклю[123]. Если вы исполнили тогда этот совет и письмо дошло, то он, конечно, давно исполнил ваше желание, так как, уезжая в Россию, я ему оставил свою фотографию.

Я еще не получил твоего письма, милый Петя, и потому не все знаю о твоей жизни. Не знаю даже, как зовут твою жену и сына. Я очень был обрадован словами Верочки, что твое полевое хозяйство идет не без успеха.

До сих пор я представляю себе Боро́к в том же виде, как в молодости, но часто думаю и о переменах, которые там могли произойти. Жив ли

еще флигель, в котором мы все увидели свет? Уничтожена ли при доме исаакиевская колоннада, производившая мрак и сырость в тех комнатах, что прилегают к саду? Я думаю, что давно уничтожена, потому что она была уж слишком неудачно задумана отцом. Что сделалось с оружейной комнатой, с ее вензелями из различного рода старинного оружия, клинков, рапир и проч., и проч.?

[...] От каменных ворот, там, далеко в поле, к которым мы иногда путешествовали, наверно осталась только груда камней? А на старом Борке́, где в мое время еще были живы оба этажа старого, заколоченного наглухо каменного дома и виднелся даже шпиц с шаром наверху, вероятно давно образовались живописные развалины? Я хорошо помню, как не раз, рискуя сломать себе шею, взбирался туда на чердак по старым, шатающимся лестницам, на которых недоставало многих ступенек.

[...] Грустно было мне читать о последних годах жизни отца и о его тяжелой болезни, но известие о его смерти было для меня далеко не так неожиданно, как вы думали. Уже по одному старинному виду его карточки, не говоря об отсутствии положительных известий о его жизни, я давно догадался, что его нет в живых, и неизвестность (если это состояние можно назвать неизвестностью) была едва ли не тяжелее, потому что действовала, как бесконечная хроническая болезнь.

Свои детские мореходные опыты на нашем пруде, в водопойной колоде, вместо лодки, и с парусом из простыни (о которых ты спрашиваешь) я помню очень хорошо. Так же хорошо помню и наши вечерние поэтические прогулки в настоящей лодке вокруг островка, когда окна хижины на островке блестели так таинственно от лунного света, а по волнам на воде тянулась к луне широкая полоса блеска. Помню, как иногда во время нашего катанья поднимался над водой туман, и лодка неслышно скользила посреди беловатого облака; берега совсем исчезли из вида, и только смутные фигуры ивовых кустов одна за другой поднимались из тумана как-то совсем неожиданно и близко. Эта любовь к мореходству не оставляла меня и потом. Я очень любил кататься на парусах или на веслах по Женевскому озеру *, когда поднимался свежий ветер и лодку бросало, как мячик. А когда пришлось ехать морем из Англии во Францию, то был в полном восторге от того, что поднялся сильный ветер, пароход начал переваливаться с боку на бок и клевать носом воду. Почти все пассажиры убежали в каюты, лакеи начали бегать взад и вперед за медными тазиками, а я только радовался; забрался на самый нос и все смотрел, как он сначала поднимался вместе со мной высоко-высоко, и я смотрел с него вниз, как с колокольни,

* Во время жизни в эмиграции в 1875 г. Об этом, как и обо всем касавшемся политики, было запрещено писать под угрозой прекращения переписки (позднейшее примечание).— *Н. М.*

а потом вдруг мы оба (нос и я) бухались в воду, и меня всего обдавало брызгами и пеной.

Мне так хотелось бы иметь ту фотографию нашего островка, которую тебе возвратили обратно из департамента полиции. Я писал туда об этом, и мне ответили, что в департаменте не знали о том, что эта фотография имеет такое близкое отношение к моим семейным воспоминаниям, иначе ее, вероятно, не задержали бы. Если вы хотите сделать мне большое удовольствие, то снимитесь группами на островке или в других живописных местах имения и пришлите мне.

Какие именно цветы и древеса ты насаждаешь, Верочка, и где именно? Я, как и ты с Александром Игнатьевичем, умею набивать чучела птиц и зверей. Что же касается рыб, то это, по-моему, куда труднее. На своем веку я успел набить только одну рыбу — селедку, и притом уже просоленную, из бочонка! Я думаю, что этот подвиг стоит набивки десяти птиц, тем более что селедка была изображена мною плывущей и соответственно утверждена на проволоке.

[...] Ну, прощайте все, мои дорогие! В какие месяцы вам удобнее получать мои письма? Что касается меня, то в моей жизни ничего не переменилось. Здоровье иногда немного лучше, иногда немного хуже, но в общем осталось без перемены. Одно время по причине сердцебиений пришлось приостановить даже главную работу моей жизни — книгу о строении вещества, но теперь я снова принялся за нее. Не бойтесь, что я потрачу на это здоровье, как пишет Верочка. Правильные занятия и научные интересы — это мое единственное спасение. Без них мне было бы совсем плохо.

Целую всех много раз. Любящий вас *Ник. Морозов.*

Милая мамаша! Зрение не позволяет вам писать ко мне. Так продиктуйте для меня Пете или Верочке хоть немного. Мне так хотелось бы иметь от вас хоть несколько ваших собственных слов. *Коля.*

III

24 февраля 1898 г.

Бесценная моя мамаша!

Обнимаю и целую вас множество раз за те добрые строки, которые вы продиктовали для меня Верочке. Да! Будем бодры, будем надеяться на лучшие дни! Теперь, когда я узнал, что вы здоровы, окружены семьей, что ваш день наполнен обычными хозяйственными заботами, исчезла главная тяжесть, лежавшая у меня на душе. Если же нам и не придется более увидеться, то будем радоваться тому, что в последние годы жизни мы не были разлучены душою. Не плачьте обо мне так много, моя доро-

гая! Человек привыкает ко всему, и для меня прошли самые тяжелые первые годы. Не будем думать, что душевное настроение человека, бодрое или унылое состояние его духа зависят только от окружающей его обстановки. Человек носит их в своей собственной душе. Кто по природе склонен к унынию, кто думает только о самом себе, тот будет несчастлив, где бы он ни был и с кем бы он ни был. У меня же нет этого в сердце. Из-за своих стен я также могу сочувствовать всем, кто живет и любит на свободе, вспоминать о вас, думать и гадать о том, что вы теперь делаете и о чем думаете. Кроме того, я имею счастливую в моем положении особенность забывать все окружающее, когда читаю интересную для меня книгу или просто думаю и мечтаю. А это бывает почти каждый день, так что я вечно гляжу куда-нибудь в отдаленное пространство и время и почти не вижу того, что у меня под ногами.

Правда, всего этого слишком мало для сколько-нибудь живого человека... И мне хотелось бы поглядеть на дорогие лица, услышать любимые голоса. Хотелось бы поговорить с вами, дорогая, так, как можно говорить только с самым близким человеком, для которого открыт каждый уголок души... Не все скажешь при людях *, что́ говорится наедине дорогому и любящему тебя существу, и не всякий может писать открыто так, как он мог бы разговаривать в тесном семейном кругу. Да и что значат все слова и письма в сравнении с одной возможностью просто обнять и поцеловать тех, кого любишь? Но что же делать! Будем утешать себя тем, что прежде не было и этого. Будем радоваться тому, что худшее прошло и, вероятно, не возвратится. Кто знает? Может быть, дождемся и лучших дней. Ведь, чем дольше продолжается ненастье, тем скорее можно надеяться, что настанут, наконец, и светлые дни. Отдадимся же, дорогая, на волю течения. Куда оно нас вынесет, туда и хорошо.

В полдень, 13 января, перед самым обедом, я получил, мои милые, вашу вторую посылку. Вы, конечно, поймете, что в этот день я позабыл о своем обеде, и он остался нетронутым на моем столе. Вы просите меня написать вам о моей обычной жизни **. Она очень однообразна! Встаю я довольно рано, часов в 7 или 8, но перед этим некоторое время валяюсь в постели и мечтаю. Перед обедом гуляю довольно много, а после обеда в прежнее время сейчас же принимался за работу над своей «Книгой вещества», а по временам ходил в мастерскую переплетать книги для нашей библиотеки и выучился делать очень недурные и прочные переплеты. Сделал даже большой альбом для ваших фотографий, и теперь мне их очень удобно рассматривать, не опасаясь, что они изотрутся.

---

* Все письма просматривались в департаменте или в министерстве (позднейшее примечание).— *Н. М.*

** Писать что-либо о внутренних порядках и обращении властей было строго запрещено (позднейшее примечание).— *Н. М.*

Однако в последние годы здоровье не позволяет мне много работать или писать после обеда, от этого начинается сердцебиение и боль под ложечкой. В это время я обыкновенно занимаюсь чтением, когда день светлый, или привожу в порядок свои коллекции, или что-нибудь в этом роде. Но часа через три после обеда я каждый день (за очень редкими исключениями) пишу свою «Книгу вещества» *.

[...] Сплю теперь довольно спокойно, когда день прошел без треволнений, а года два назад почти совсем не спал от постоянного звона в ушах и плохого состояния нервов. Чай пью два раза в день, а обед свой редко съедаю даже до половины, потому что совсем потерял аппетит.

[...] В первое время после суда было несколько лет такого полного одиночества (тогда я был в другом месте **), что я почти разучился говорить и не узнавал своего собственного голоса. Вот в это-то первое время, когда приходилось жить только своей внутренней жизнью, и сложилась у меня в общих чертах та теория, о которой в последние годы я пишу книгу, и, вероятно, только это счастливое обстоятельство, наполнившее пустоту моей жизни, и спасло меня от сумасшествия.

В прошлом письме я уже говорил вам, что всякий раз, когда мне позволяли место и обстоятельства на свободе или в заключении, я возвращался к своему любимому предмету, о котором вы помните,— естественным и математическим наукам. Я думал, да и теперь думаю, что естественные науки не только разъяснят нам все тайны окружающей нас природы, облегчат труд человека и сделают его существование легким и счастливым, но в конце концов дадут ответ и на те тревожные вопросы, которые так хорошо выражены в одном из стихотворений Гейне:

Кто объяснит нам, чтó — тайна от века,
В чем состоит существо человека,
Как он приходит, куда он идет,
Кто там вверху, над звездами, живет? [124]

Оттого-то в первые годы сознательной жизни я бросался от одной естественной науки к другой и снова возвращался к первой. Мне всегда казалось, что наиболее интересное заключается именно в том, с чем я еще не успел ознакомиться, и для меня всегда было настоящим праздником, когда приходилось преодолеть какую-нибудь трудность. Вот и сейчас, например, я вспомнил с улыбкой об одном минувшем вечере, когда, занимаясь вместе с товарищем математикой ***, я в первый раз постиг один трудный символ, называемый знаком интеграла и наводивший на меня до

---

* «Периодические системы строения вещества». Изд. Сытина, М., 1907 (позднейшее примечание).— *Н. М.*

** В Алексеевском равелине (позднейшее примечание).— *Н. М.*

*** С Манучаровым (позднейшее примечание).— *Н. М.*

тех пор суеверный трепет. Поняв, в чем дело, и написав этот крючок (∫) в первый раз со смыслом в свою тетрадку, я был в таком восторге, что схватил товарища за руки, и мы оба вертелись, как сумасшедшие, по комнате. Мы даже записали год и число этого памятного дня, но, конечно, все это после затерялось.

Вот эта-то вера в естественно-математические науки и некоторый запас знаний, который я мог разрабатывать, когда остался один, без книг и внешних впечатлений, и поддержали меня в трудные годы жизни, позволяя уноситься мыслью далеко от всего окружающего и даже забывать о своем собственном существовании. Я пишу вам это, потому что знаю, что все касающееся моей внутренней жизни после разлуки с вами, все мои радости и страдания будут вам близки и интересны.

[...] По-прежнему я интересуюсь всем новым в естественных науках: и новыми элементарными телами, вроде аргона и гелия, и каналами на Марсе, и рентгеновыми лучами, и даже новыми математическими теориями о многомерных пространствах.

Все интересное я выписываю в тетради, но, несмотря на это, уже давно перестал перебрасываться от одной науки к другой и в последние пять-шесть лет совсем специализировался на учении о строении вещества, которое, по-моему, лежит в основе всех остальных наук о природе. Вот будет радость, когда удастся дописать последнюю страницу моей книги об этом!

Милый Петя и вы, сестренки! Вы отлично сделали, что описали мне все, что вас окружает, вплоть до того, как квакают лягушки на пруде, и притом, по словам Нади, «очень грубыми голосами», и как их боится Верочка. Именно эти маленькие подробности я и читаю с особенным удовольствием, потому что вижу в это время вас так ясно, как будто бы вы находились у меня перед глазами. Вот так пишите и в будущем! Каждый раз, когда я приезжал в Борòк на каникулы, мой слух еще по дороге со станции поражал этот лягушачий концерт, к которому изредка примешивался резкий крик коростеля, похожий на скрип несмазанной телеги или той деревянной качели, на которой мы с вами и с Мери качались иногда по вечерам. И вот, когда я читал о кваканье лягушек, я все это припомнил очень живо. На меня так и пахнуло детством, свежестью деревьев, простором полей, и на душе стало легко и хорошо! Давно уже я не видал ничего такого!

[...] Очень ли разрослись соседние с Борко́м деревни Дьяконово и Григорьево? Изменились ли в них нравы и обычаи? Когда я был дома в последний раз, там не было еще ни одной школы, и крестьяне почти поголовно были безграмотны, а кругом на много верст не было ни одной души, с которой можно было бы о чем-нибудь поговорить. Есть ли теперь около вас какие-нибудь соседи, с которыми ты более или менее близок?

Ты, Верочка, спрашиваешь меня, как идет моя «Книга вещества». С великим удовольствием могу сказать, что как раз в день рождества и в день Нового (1898) года я окончательно разрешил два последних затруднения в моей теории, и теперь мне остается только изложить уже по готовому плану один большой отдел книги, который хотя и носит понятное и даже приятное (особенно для женщин) название «ароматических соединений», однако представляет в учении о структуре вещества (за исключением белков) самую сложную часть.

Очень охотно объяснил бы я тебе, в чем состоит моя теория и в каком отношении она находится к прежним взглядам, но, к сожалению, вопрос этот настолько специальный, что понятен только для немногих, и я сам не мог бы даже приступить к нему, если б в прежнее время не занимался очень много теоретическим и практическим анализом минералов и органических веществ. На каждой странице моей рукописи ты увидела бы структурные формулы, от одного взгляда на которые у непривычного человека (как сказал мой один товарищ) делается «рябь в глазах». Но для того, кто с ними освоился, эти формулы совсем не так трудны, напротив, они очень стройны и выразительны, а выводы из них имеют большое значение для всех отраслей естествознания. Вот почему я очень люблю их и так свыкся с ними, что вижу их даже во сне и пишу почти все наизусть, десятками, без передышки.

Вот теперь ты имеешь понятие о внешнем виде моей книги и не удивишься тому, что она подвигается так медленно. В последние пять лет я занимаюсь серьезно только одним этим предметом. Каждый день (кроме болезней) посвящаю книге три-четыре часа (больше физически не могу), и все-таки редко удается написать в день более трех-четырех страниц. Однако, несмотря на эти медленные шаги, в год выходит много, и книга медленно, но явно приближается к концу. Сначала я просто приходил в отчаяние, когда после нескольких месяцев работы видел, что конец остается по-прежнему далеко или даже прямо удаляется, вследствие расширения плана во время работы, но теперь перевал сделан, и заключительная глава приближается с каждым месяцем. Когда окончу всю книгу, думаю написать еще более короткое популярное изложение ее содержания, чтоб теория не оставалась доступна лишь тесному кругу специалистов, если книге будет суждено когда-нибудь увидеть свет.

[...] Ты, дорогая моя Катя, просишь написать тебе о моем здоровье... Вот именно материя, о которой я менее всего люблю думать и говорить! Могу тебя только успокоить, что никакой смертельной болезни у меня пока нет, а что касается несмертных, то их было очень много. Было и ежедневное кровохарканье в продолжении многих лет, и цинга три раза, и бронхиты (перестал считать), и всевозможные хронические катарры, и даже грудная жаба. Года три назад был сильный ревматизм в ступне правой ноги, но, убедившись, что никакие лекарства не помогают, я вылечил его очень оригинальным способом, который рекомендую всякому!

Каждое утро, встав с постели, я минут пять (вместо гимнастики) танцовал мазурку. Это был, могу тебя уверить, ужасный танец: словно бьешь босой ногой по гвоздям, особенно когда нужно при танце пристукивать пяткой. Но зато через две недели такой гимнастики ревматизм был выбит из ступни и более туда не возвращался! Раза три совсем приходилось умирать от разных острых болезней, но каждый раз с успехом выдерживал борьбу со смертью. Теперь кровохарканья прошли, а с сердцебиениями кое-как справляюсь и чувствую себя даже лучше, чем в прошлом году.

По наружности во мне нет почти ничего болезненного, и я даже кажусь моложе своих лет, только очень худ, совсем не накопил никакого жиру. Несколько седых волос, о которых я вам писал, ведут себя очень странно и, очевидно, чисто нервного происхождения. В самой голове их нет и не было, но когда я чем-нибудь расстроен, их можно заметить тут и там в бороде. Затем, когда я некоторое время чувствую себя хорошо, они снова исчезают. Сначала я думал, что они выпадают, но потом убедился, что ничего подобного нет, и те же самые волосы принимают снова естественный цвет! Так продолжается и теперь.

[...] Ну, теперь прощайте, все, мои дорогие, Если б вы знали, сколько радости приносят мне ваши милые, милые письма.

Любящий вас *Николай Морозов.*

IV [125]

12 июля 1899 г.

[...] Милая, бедная мамаша! Я и подумать не могу без боли в сердце о том, как тяжело вам почти совсем не видеть окружающего мира! Мне кажется, что к потере зрения так же трудно привыкнуть, как и к лишению свободы, и потому я могу сочувствовать вам более, чем кто другой. Мы оба не можем видеть далеко... В этом смысле ведь и я здесь должен считаться слепцом. Я уверен, что если б был с вами, я успел бы передать и вам свое убеждение, что снятие катаракт — не такая уж опасная операция, как вам кажется, но вдали от вас я чувствую свое бессилие и понимаю, что мои слова, как основанные на заочных представлениях, не могут быть для вас убедительными, да и сам я не могу говорить с уверенностью, когда не вижу положения дел собственными глазами...

Сообщите, дорогая, как вы проводите свой день, что думаете и делаете, и как поживают ваши цыплята? Всякая маленькая подробность вашей жизни будет для меня дорога и радостна.

[...] Кстати, вот вопрос, который меня очень интересует. Когда отец обвел валами и канавами усадьбу, из той канавы, что идет за парком, вода

по веснам начала потоками спускаться по прогону и вырыла там, еще при мне, довольно значительный овраг. В последний год моего пребывания я очень интересовался тем, что будет далее из этого оврага, который, по моим соображениям, должен был делаться все шире и глубже. В каком виде это место, и сбылись ли мои предположения? Это очень интересует меня с геологической точки зрения. Если тут действительно образовался овраг, то на дне его могут валяться вырытые водой окаменелости, вроде тех, которые ты, Петя, с сестрами, помнишь, помогал мне собирать на Волге. Не попадались ли они тебе?

Теперь поговорим и с тобой, дорогая Верочка! Прежде всего поблагодари Александра Игнатьевича за фотографии с нашего островка. Мы, дети деревни, так привязываемся к своим родным местам, что тот, кто вырос в городе, едва ли даже может это понять! А между тем эта привязанность вполне естественна. Мы с детства свыкаемся и дружимся с каждым деревом родного сада. С каждым пригорком и кустом связаны какие-нибудь дорогие воспоминания. Пока живешь в деревне, этого не замечаешь и не сознаешь. Часто даже бывает скучно, особенно в дурную погоду, но зато, когда пришлось надолго или навсегда расстаться со всем этим, сколько милых воспоминаний воскресает в памяти!

[...] Да, милая Верочка! Деревенская природа кладет на нас в детстве неизгладимый отпечаток. Всякий раз, когда из тесных и людных улиц в моей последующей городской жизни мне приходилось попадать на простор полей, на утесы гор или в глубину леса, мне так и хотелось прыгать от радости, и каждое дерево казалось мне моим старым другом. Да и теперь я почувствовал бы то же самое! Так во мне мало солидного, несмотря на то, что погрузился в математические формулы и в структуру вещества...

Что бы вам сообщить о моей жизни?

Здоровье ни хуже, ни лучше, а жизнь идет по-прежнему однообразно и монотонно. Иногда даже, хотя и не надолго, впадаешь в какое-то оцепенелое состояние, но ваши письма всегда вносят луч света в мою душу...

Когда на землю ниспадает
Вечерний сумрак с высоты,
Река неясно отражает
Свои прибрежные кусты.
Так на душе в часы страданья
Все в смутный сон погружено,
Молчат и чувства, и желанья,
И вновь блеснут в ее сознанье
Но как в реке с лучом рассвета
Былая жизнь проснется вновь,
Так и в душе на звук привета
Воскреснет вера и любовь.

И вновь блеснут в ее сознанье
Давно уснувшие мечты,
Как в тихом утреннем сиянье
В воде прибрежные кусты [126].

Всю прошлую зиму, кроме обычной работы над своими научными сочинениями, я давал еще уроки немецкого, а потом и английского языка одному товарищу, с которым мне разрешили видеться *, и очень доволен достигнутыми результатами и своей системой преподавания. Сначала человек так плохо знал по-немецки, что не отличал твердых гласных от мягких, а теперь, после нескольких месяцев занятий, стал читать совершенно свободно и правильно.

А система моя заключается в следующем. Сейчас же после краткого обзора грамматики — читать как можно больше иностранных романов и интересных рассказов. И вот он читал, а я ходил по комнате, слушая его и, где нужно, исправляя произношение и подсказывая значение более редких слов. И мне и ему было очень интересно узнать продолжение романа, а потому и занятия шли с необыкновенным успехом.

В будущую зиму собираюсь прочесть краткий курс дифференциального и интегрального исчисления другому товарищу **. Этот отдел математики очень важен для понимания законов природы, а учебники все очень сухи. Вот я и хочу преподавать его по своей системе. Все теоремы уже выведены у меня очень наглядным и элементарным путем, и каждая будет иллюстрироваться немедленно подходящими законами природы. Я почти уверен, что и этот курс пойдет не менее успешно, чем описанное сейчас преподавание немецкого и английского языков.

Теперь, когда у нас стало попросторнее ***, я уже не всю свою землю отдаю «в аренду» товарищу, а часть ее засадил весною земляникой. Теперь, в первых числах июля, я уже получил ягоды. Осенью думаю на этом месте насадить малины, потому что ее меньше едят слизняки, которых у нас, благодаря сырости, невообразимое количество.

Ваш Николай.

---

* М. Ф. Фроленко (позднейшее примечание).— *Н. М.*

** Сергею Иванову, который просил меня об этом, но в решительную минуту отказался, и курс остался непрочитанным. Но написанная книжка сохранилась в моих тетрадях под названием: «Функция. Наглядное изложение высшего математического анализа» (позднейшее примечание).— *Н. М.* [127]

*** Увезли, по манифесту, Людмилу Волкенштейн, Яновича, Шебалина, Мартынова, Панкратова и других (позднейшее примечание).— *Н. М.* [128]

V

7 февраля 1899 г.

Дорогая моя мамаша!

Все лето и осень я прожил довольно сносно, лучше, чем ожидал, но зимой, в декабре, со мной произошло приключение, о котором пишу теперь так легко лишь потому, что оно окончилось вполне благополучно, и вам нет никаких причин бояться за меня. Под самое рождество к нам проникла, несмотря на все карантины, инфлуэнца и набросилась на меня с большим ожесточением. В довершение беды еще начался насморк, да такой, что целую неделю, если не больше, слезы катились из глаз, не переставая.

Конечно, в таком состоянии нечего было и думать о каких-нибудь серьезных занятиях.

[...] Из письма Верочки я знаю, что в борковском доме прежняя биллиардная превратилась в большую столовую, бывшая оружейная — в детскую и т. д.

[...] Чем больше я узнаю подробностей, тем яснее представляю вашу жизнь. Да это и понятно. Ведь мне знаком у вас каждый уголок, все перила лестниц, все узоры на обоях, и со всем связаны какие-нибудь детские воспоминания! Я помню, например, как, маленький, любил смотреть через нижние цветные стекла рам, взглянешь в одно — и весь мир представляется в желтом, взглянешь в другое — в синем или фиолетовом свете.

Помню и место около террасы, где вы, мамаша, часто варили варенье; я обыкновенно прибегал туда, чтобы получить блюдечко с пенками.

Вообще мои воспоминания о Боркѐ и о всех, кто в нем жил, начинаются замечательно рано. Я хорошо помню мать, когда она еще была совсем молодой женщиной и ходила в светлых платьях с широкими рукавами до локтей и в кринолинах по тогдашней моде, а я пользовался обломками от стальных обручей этих кринолинов, чтобы делать себе пружины для метательных инструментов.

Правда, что эти ранние воспоминания довольно отрывочны, но многие из них замечательно ярки.

Помню, как в первые годы моего детства мы жили сначала в правой половине флигеля, потом перешли в левую и спали в задней комнате: няня Татьяна на своей лежанке, а мы вдоль стен, и моя кровать помещалась в самом углу, против двери в большую комнату (где стоял, между прочим, большой низкий турецкий диван, обитый цветной материей, на котором мы играли). У всех наших детских кроваток, кроме Верочкиной (потому что Верочка в это время еще качалась посреди комнаты в люльке), были вделаны боковые доски, чтоб мы не скатывались на пол, и таким образом мы спали как в ящиках.

Когда нас укладывали спать слишком рано, я потихоньку упражнял свои зубы на боковых досках и на изголовье своей кроватки, и так усердно,

что с течением времени на ее верхних частях оказались выгрызанными очень большие углубления, и, кажется, пришлось даже не раз переменять доски.

Некоторые из моих детских воспоминаний относятся еще к тому времени, когда меня носили на руках. Помню, как няня Татьяна раз вынесла меня на двор, чтоб показать на небе северное сияние, которое она называла «огненными столбами», и говорила, что это перед морозом. Помню и самые столбы, как они катались по северной части неба, свертывались и развертывались, словно куски розового и фиолетового полотна. Другой раз меня выносили показать большую комету, и няня говорила, что это — знамение перед войной. Я был очень испуган, но не мог оторвать своих глаз от ее хвоста, и ее фигура так запечатлелась в моей памяти, что потом, через двадцать или более лет, увидев рисунок кометы Донати в старом «Вестнике естественных наук», я сейчас же узнал в ней свою давнишнюю знакомую и получил возможность точно определить, что мне было тогда четыре года.

Однако самое первое мое воспоминание относится к такому времени, когда я еще не умел ходить и должен был ползком пробираться из одного угла комнаты в другой. Это так удивительно, что иногда я сам спрашиваю себя, не обман ли это моего воображения. Однако я это помню совсем ясно. Я помню, как однажды вы, мамаша, поговорив с няней, решили, что мне уже пора ходить. Вы обе сели на стульях посреди комнаты в двух-трех шагах друг от друга, няня поставила меня между своих колен и велела идти к вам, а вы протягивали ко мне руки. Помню как я с сомнением смотрел на разделяющее нас пространство, и это чувство было такое же, какое появилось у меня впоследствии, когда приходилось переходить по бревну через глубокий овраг и видеть под собой пустоту. Помню, как я колебался, но, наконец, после долгих уговоров вдруг решился и, сделав несколько поспешных, колеблющихся шагов, попал в протянутые руки, и как я смеялся и радовался этой своей удаче. Я помню и дальнейшие уроки, когда вы с няней постепенно увеличивали расстояние между нами, но затем мои воспоминания прекращаются, вероятно, потому, что я совсем научился ходить и перестал обращать на это внимание. Только смутно представляется мне, что еще долго после этого я предпочитал спускаться с крылец по старому способу — на четвереньках.

Я пишу вам, дорогая мамаша, все эти детские воспоминания лишь потому, что вам, наверно, будет приятно на минуту возвратиться в прошлые дни, о которых, кроме меня да вас, едва ли кто-нибудь помнит в целом свете. Да и вы сами, конечно, уже забыли некоторые из тех маленьких событий, о которых я вам пишу. Помните ли вы, например, как подарили мне свои маленькие часы с длинной, тонкой, как снурок, цепочкой, которая надевалась на шею и замыкалась маленькой запонкой? Помните ли, как приехали ко мне в Москву и, уезжая, отдали мне все деньги, взятые из дому, а у себя оставили лишь то, что было нужно заплатить за билет на

железной дороге? А ведь путь был длинный, и я уверен, что вы терпели лишения от такого полного отсутствия запасных денег.

Отца я тоже помню очень молодым. Яснее всего представляется мне, как он приходил к нам во флигель два-три раза в день, и какую суматоху поднимали при этом няня и горничная, чтоб успеть до его прихода поправить наши полуспустившиеся от беготни чулки или привести в порядок наши спутавшиеся волосы. Потом, когда мы с Катей и нашей первой гувернанткой поселились в главном доме, я помню, как отец каждый год дарил мне ко дню рождения сначала пистолеты, а потом, много позднее, дал охотничье ружье, и как мы вместе с ним по временам ходили на охоту, но я за все это время, кажется, ничего не убил на лету, кроме одного кулика.

Я очень обрадовался, дорогая, когда узнал, что Верочка иногда читает вам романы. В то время, когда мы жили вместе, вы часто сидели у окна с какой-нибудь книгой из нашей домашней библиотеки. Что́ именно вы читали, я, конечно, уже не помню, но помню хорошо, что, кроме повестей и романов, вы очень любили стихотворения Пушкина, Лермонтова и Жуковского и особенно басни Крылова. Я знаю, что теперь в большой славе последние проповеднические произведения Льва Толстого, но, по-моему, ничто не может сравниться с его старыми романами «Войной и миром» и «Анной Карениной». Из иностранных современных писателей я особенно люблю Брет-Гарта, а потому рекомендую его всем. Всякий его рассказ так увлекательно написан, что трудно оторваться, и притом большая часть хорошо кончается, а это не малое достоинство в романах.

[...] Не могу не отнестись, милый Петя, с величайшим сочувствием и полным одобрением к твоим земледельческим подвигам. Именно так и надо. Я всегда думал, что если уж браться за какое-нибудь дело, то надо делать его со всей энергией, не отступая перед препятствиями. Всю эту местность, которую ты выкорчевал из-под зарослей, я, конечно, хорошо знаю, а к «одинокой сосне» я не раз пробирался через поле ржи, которое ее окружало. Там, под целым шатром сосновых ветвей, оставалась маленькая зеленая лужайка среди колосьев, и о ней никто не знал, кроме меня, потому что никому другому не приходило в голову ходить к этой сосне через целое поле ржи по едва заметной меже между двумя полосками. Твой сын Шура смотрит молодцом и удивительно, как вырос для своих лет. Пиши подробнее о всех его проказах, а если не припомнишь, что написать, то справься у своей жены, Марии Александровны,— женщины в этих делах всегда находчивее, чем мы. Я всегда любил детей, и когда смотрю на карточки своих племянников и племянниц, то невольно приветствую их словами поэта:

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев...[129]

Кстати, раз дело пошло в этом письме о поэзии: правда ли, что ты тоже пишешь или писал когда-то стихи? Кузина Мери на последнем свидании со мной в Петропавловской крепости говорила мне, что да, и притом очень недурные (наверно, не хуже меня, грешного). Не сохранилось ли у тебя чего-нибудь из них?

Прощайте, дорогие, и будьте счастливы. Почти вся эта зима была в моих краях тусклая и туманная, но в те самые дни, когда я получил ваши письма, небо вдруг прояснилось. Яркое солнце глядело ко мне в комнату, а вечером перед самым окном показалось созвездие Ориона, и звезды сияли так ярко, что я долго любовался ими. И я невольно подумал, что кто-нибудь из вас тоже, может быть, случайно любуется ими в это же самое время.

Крепко обнимаю вас всех.

VI

8 августа 1899 г.

[...] Я почти вошел в свою обычную колею. Вот, вы все просите меня писать как можно подробнее о моем здоровье. А что же написать о нем особенного, когда нет никакой новой болезни, а прежние даже перестали беспокоить. От инфлуэнцы я совсем поправился и гуляю теперь очень много.

Май и часть июня были у нас прескверные, но зато вторая половина июня и июль вознаградили за все прежние невзгоды и непогоды.

[...] Иногда буря срывает гнезда ласточек, и тогда их птенчики поступают к нам на воспитание, откармливаются мухами и пауками и помещаются в маленьких суконных гнездышках, пока у них не вырастут крылья. Вот и теперь воспитывается маленькая ласточка-сиротка по имени «Чика». Дней пять назад она улетела в первый раз, но на другой день возвратилась и сама отдалась в руки. С тех пор она каждый день взлетает по нескольку раз, кружится высоко в небе вместе с другими ласточками, иногда целые часы, но потом снова возвращается и садится на подставленную руку, а если руки не подставишь, то прямо на лицо, цепляясь лапками за усы и бороду. Она очень любит спать на груди за пазухой, в рукаве, а то и просто в кулаке. Любит, чтоб ее гладили и говорили с ней, и знает свое имя. Еще никогда не было такой милой и ласковой птички.

[...] Я рад, дорогая моя мамаша, что несколько строк воспоминаний из моего детства, посланных в прошлом письме, доставили вам удовольствие.

[...] Однако, дорогая моя, все это лишь воспоминания о событиях, которые мало затрагивали нашу внутреннюю жизнь. Несравненно трогательнее были те случаи, когда вы давали мне наставление, как отличать

добро от зла. Так, однажды вы мне сказали, чтобы всякий раз, когда я хочу сделать что-нибудь, касающееся другого человека, я сначала представил бы себе, что это самое сделали со мной, и если я сочту такой поступок дурным по отношению к себе, то он нехорош и с моей стороны. Это простое рассуждение, которое вы, конечно, давно забыли, почему-то очень меня поразило и навело на ряд серьезных размышлений. И я помню, что не раз потом прилагал его к своим поступкам, чтобы сделать им надлежащую оценку. Однако, дорогая моя, я боюсь, что, заговорив об этом предмете, я опять напишу целую тетрадь, а потому лучше скорее кончить.

[...] Когда я подумаю о том, что во многих семьях прямо боятся иметь детей, мне всегда кажется, какой это безумный страх! Ведь рано или поздно придет старость, и тогда — а может быть, и несравненно ранее — в каждой семье наступит время вечной разлуки, и что же останется тогда тому из двух, кто переживет? У меня была маленькая дочка, казавшаяся мне лучше всех остальных; она умерла от скарлатины, не прожив и года, и похоронена на юге Франции, у берегов Средиземного моря, так далеко-далеко от нас, что ни мне и никому из моих близких никогда не придется побывать на ее крошечной могилке. Я знаю и всегда чувствую, что если б она была жива, то я не сознавал бы себя до такой степени оторванным от всего остального мира. Но не будем тревожить теней прошлого, а то, пожалуй, еще расплачемся [130].

Как здоровье Миши, дорогая Катя? Помогли ли ему, бедняжке, свежий воздух и гипсовые повязки? Тяжело лежать неподвижно на своей постели в лучшее время детства, когда все кругом живет и радуется. Да и ты сама, наверное, совсем измучилась. Я очень был обрадован, узнав из письма Верочки, которое было позднее твоего, что Шура благополучно перешел на второй курс. Вот и Маня скоро окончит гимназию. Просто удивительно, как быстро растет это молодое поколение, или, может быть, это моя собственная жизнь проносится так быстро, потому что нет на ней верстовых столбов?

Я очень рад, что Валя стал крепче здоровьем, это главное, а интерес к занятиям возникнет, когда он поступит в гимназию. Теперь в классических гимназиях стало, по-видимому, не так уже плохо, как было прежде. Вон Катя пишет, что ее дети перешли без экзаменов. Мне даже как-то не верится. Если б кто заикнулся об этом в мое время, то все гимназическое начальство пришло бы в панический страх от подобного вольнодумства и послабления. За все время моего пребывания я не помню ни одного подобного случая, да его и не могло быть.

Латинисты и греки в моей гимназии смотрели на учеников, как на своих личных врагов, да и мы сами так на них смотрели и ненавидели их от всей души, хотя к остальным учителям и относились очень хорошо. Я со смехом вспоминаю теперь, как в одном из средних классов после успешного экзамена из латинского и греческого языков мы (и притом все лучшие ученики!) собрались вместе и, убедившись, что некоторые из наших

латинских и греческих книжек уже не будут нужны в следующих классах, решили расстрелять их из комнатного ружья монтекристо. Так и погибли под градом пуль ни в чем неповинные Ксенофонты и Юлии Цезари.

В твоем стихотворении, милый Петя, мне понравилось строгое соблюдение размера строк и куплетов и безукоризненная правильность рифмы. Есть в нем и музыкальность, которая характеризует истинные стихи. По содержанию же оно (как и ты сам предупреждаешь) — из тех, которые назначаются не для печати, а исключительно для себя и той особы, которой посвящены. В таком роде писывал и я; но я более люблю коротенькие лирические стихотворения.

[...] Во время жизни за границей я издал там свои стихотворения отдельной книжкой, но так как в нее вошли некоторые стихи, недопустимые в России, то она и разошлась исключительно среди заграничной публики [131].

Как твои болотоосушительные занятия в этом году? По-видимому, ты, как в свое время отец, завалился в Борке́ по образу медведя в берлоге и почти не бываешь в Петербурге, хотя, наверное, у тебя там остались знакомые?

Как поживает Ниночка? Удачны ли вышли ее новые художественные произведения? Неужели она только в этом году первый раз ехала одна по железной дороге? Судя по тому, что она опять отправилась к Р., я думаю, что она и в этом году была где-нибудь на морских купаньях. На воле я тоже очень любил купаться, и хотя в Женевском озере очень холодная вода от стекающих туда речек из ледников и вечного снега, покрывающего вершины близлежащих гор, и купаются в нем только редкие любители, но я в последнее лето почти каждый день туда бегал. Особенно мне понравилось плавать в бурю, когда волны сильно бросают вверх и вниз. Вот в Роне при ее выходе из Женевского озера вода еще холоднее, потому что течет со дна, и, бросившись в нее, выскакиваешь через несколько минут, как ошпаренный, и должен отогреться на солнце, пока решишься снова окунуться. Впрочем, я купался там лишь в конце лета. А купанье в тех местах тоже обязательно в костюмах, иначе заплатишь штраф, не то что в нашем борко́вском пруде.

[...] О своем обычном состоянии духа что бы тебе сказать? Правда, я читаю и занимаюсь, насколько хватает сил. Но эти отвлеченные занятия не могут заменить живого мира, и невозможность произвести нужный опыт часто сковывает мысль при моих научных размышлениях. Я где-то читал, что головастики лягушек, посаженные в очень маленькую баночку с водой, так и остаются навеки головастиками, между тем как на просторе, в своем пруде или болоте, они скоро превращаются в настоящих лягушек. Так и человек, замкнутый в тесных пределах, оказывается как бы законсервированным в своем первоначальном виде и мало способным к деятельной работе.

Подсчитывая результаты своих недельных занятий, я с грустью убеждаюсь, что в былые времена я делал то же самое в один день.

Ты спрашиваешь, как идет моя книга о «Строении вещества». С огорчением должен признаться, что она все еще не окончена, и замедление произошло не от одной моей вялости, обусловленной недостатком внешних впечатлений, но также и от нескольких совсем непредвиденных причин. Прежде всего летом прошлого года я отвлекся от этой работы. Думал, что успею в две-три недели написать для товарища краткий очерк высшего математического анализа и некоторых его приложений к естествознанию и геометрии, но увлекся этим предметом и написал целый томик в 417 страниц под названием: «Функция».

Правда, что это время (четыре месяца) не пропало даром, и я остался очень доволен своей математической книжкой, в которой отвлеченные теоремы дифференциального и интегрального исчисления изложены очень наглядным и совершенно оригинальным способом. Но в «Строении вещества» все же произошла задержка на целое лето. Осенью прошлого года я снова принялся за этот предмет. Но тут оказалось, что у меня накопилось столько тетрадей и уже написанных естественнонаучных статей, что на разыскание нужного мне в данную минуту уходит очень много времени. Пришлось привести в систему все мои тетради, и, чтобы они не перепутались снова, я их переплел. Вышло 13 объемистых томов, в каждом по 500—800 страниц, и в них по оглавлению стало легко разыскивать все, что понадобится. Но тут — не успели еще просохнуть мои переплеты — напала на меня инфлуэнца и отняла всю зиму.

Весною я снова принялся за свою прерванную книгу, но, чем более пишу, тем более разрастается план. Начиная эту работу, думал все окончить в одном томе, а теперь уже написано два (1342 страницы), но и их придется дополнить новейшими сведениями по «Журналу Русского физико-химического общества», который оказался чистой драгоценностью для меня и самой любимой книгой для чтения. Кроме того, придется окончить еще третий том «Строения вещества». Убедившись в бесполезности назначать себе сроки, я теперь просто работаю над этим предметом, сколько позволяет здоровье, и знаю лишь одно, что не оставлю дела по своей воле, пока не закончу всего.

Вот только жаль, что я не могу писать прямо набело. Все мои рукописи исчерканы вдоль и поперек вставками, надставками, так что непривычному человеку трудно в них разобраться. Происходит это от того, что как только я напишу что-нибудь, так сейчас же замечаю, что это же самое можно написать лучше, проще и яснее, и немедленно зачеркиваю написанное или делаю надстрочные дополнения, а к этим дополнениям еще новые, и в результате получаются многоэтажные строки. Чтобы переписать все эти тринадцать томов начисто, нужно употребить много времени, а потому я и отложил переписывание до окончания главной работы. Сначала я просто в отчаяние приходил от своей непреодолимой склонно-

сти к перемарыванию, но, увидев случайно снимки с рукописей Пушкина, Лермонтова и Льва Толстого, я убедился, что наши величайшие писатели марали и переправляли свои сочинения еще больше меня. Это очень успокоило и утешило меня: если уж они перечеркивали по десяти раз каждую фразу, то мне и бог велел!

Посылаю тебе в письме веточку многолетнего растения, называемого «сердце»; оно мне очень нравится и растет роскошным большим кустом. Но, к сожалению, его семена не вызревают, так что для разведения его приходится пользоваться рассадками.

NB. *Не читайте матери следующих строк.*

Я не могу, дорогая Верочка, послать этого письма, не поговорив с тобой серьезно еще об одном предмете. Когда я прочел в твоем прошлом письме «о скором окончании моего испытания», я не придал этому серьезного значения. Но когда я увидел и из новых писем, что вы все, по-видимому, ждете моего приезда в Борóк к какому-то определенному и притом довольно близкому сроку, мне стало страшно за вас. Пойми, мой друг, что, кроме вас самих, еще никто не назначал срока моего заключения. Я не хочу вам этим сказать: «расстаньтесь со всякой надеждой меня увидеть». Нет! Я знаю, что человеку трудно жить без надежды. Почему же и нам не ждать лучших дней? Но так как никакого срока не назначено, то будем и ждать, так сказать, бессрочно, не приурочивая своих надежд к определенным событиям и временам.

Ты представь только, что мамаша приготовит для меня флигель и начнет высчитывать месяцы и недели до моего воображаемого приезда! Какой удар будет для нее, когда в назначенный день она увидит, что все это — одно недоразумение! Я боюсь, что вас ввели в заблуждение слова моего защитника, который говорил и мне, будто под бессрочным заключением нужно понимать какой-то срок около 25 лет, сокращающийся еще на несколько лет при «безупречном поведении». Это — какое-то недоразумение. Если ты не считаешь меня компетентным в юридических вопросах, то в будущую же поездку в Петербург ты можешь проверить мои слова у директора департамента полиции. За исключением министра внутренних дел, это — единственное лицо в России, которое может дать тебе достоверные сведения. Не читай мамаше этого примечания, но когда ваш воображаемый срок начнет приближаться, постепенно подготовляй ее к разочарованию.

Николай Морозов.

VII

9 февраля 1900 г.

Мои дорогие!

Я живу по-прежнему, гуляю каждый день, укутанный, как кукла, среди сугробов снега, которыми засыпано мое жилище. Все кругом замерзло и умолкло, только воробьи еще по временам чирикают кругом, да и то как-то неохотно. Зато по ночам, закутавшись в одеяло, люблю прислушиваться порой, как за окном воет буря и метель с шорохом обсыпает стекла снеговой пылью.

Из всех фотографий, что мне прислала Верочка, я особенно доволен той, где вы сидите на каком-то полуразрушенном крыльце. Только что это за крыльцо? Оно так успело расшататься, что я его совсем не узнаю. А как хорошо сохранился снаружи наш старый флигель! Один вход переделан на новый лад, а все остальное решительно то же самое, как было в моем детстве. То же полукруглое окошко на чердаке, за которым каждое лето набивалось множество бабочек-крапивниц, постоянно бившихся о его стекла и часто умиравших, не успев выбраться наружу, если я или сестры не находили их там случайно и не выпускали. И окна, и карнизы, и трубы — решительно те же самые. На меня снова так и повеяло от них воспоминаниями детства, когда мы с вами жили счастливо вместе и не предчувствовали будущей разлуки.

Взглянув на этот флигель, весь обросший высокими деревьями, как-то даже не верится, что в раннем детстве я мог еще видеть с его крыльца, через верхушки мелкого березняка, как весной вода в речке просачивалась сначала синими пятнами из-под белого снежного покрова, а потом и речка широко разливалась по полю, между каменными воротами и деревней, а в тихие летние вечера было видно, как над этим полем постепенно расстилалась по низинам пелена тумана.

Помню, что не раз, когда мы жили в западных комнатах этого флигеля, я очень любил подолгу смотреть из его окон на алую полосу вечерней зари, на которой резко, как черная пила, повернутая вверх зубцами, вырисовывалась на самом горизонте полоса елового леса, а в конце этой полосы замечательно рельефно выделялись три отдельных дерева, у которых каждая ветка была видна особо на огненном фоне. А теперь ничего этого не увидишь даже и с крыши флигеля!

А помните ли вы, как старая Татьяна рассказывала здесь в долгие зимние вечера страшные сказки о волках, медведях, привидениях и утопленниках? И как мы, дети, жались к вам от страха и оглядывались на темные окна комнаты, не смотрит ли в них какая-нибудь страшная рожа, но все-таки просили ее рассказывать нам еще что-нибудь «пострашнее»? И долго потом, когда гасили свечку и все погружалось в глубокую темноту, я, бывало, дрожал в своей постельке, закутав голову в одеяло!

Замечательно, подумаешь, какие сильные следы оставляют на всю жизнь в наших головах первые образы детства! Даже самый характер мышления получает своеобразный отпечаток. Вот, например, со мной. Вы, верно, уж и сами забыли, моя дорогая мамаша, что не раз указывали мне в очертаниях облаков разные фигуры: лошадиных голов, всадников, городов и других удивительных вещей, которые я тогда принимал за настоящие. Но даже и потом, когда я узнал и сущность и причины этих явлений природы, я все-таки при виде каждого кучевого облака старался отыскать в нем сходство с каким-нибудь живым существом или воздушным замком. Раз даже видел здесь сон, будто мы с вами и сестрами идем мимо нашей каменной конюшни, а над нами по небу плывут всевозможные необыкновенные облака, одни — как звери и птицы, другие — как ряды всевозможных зданий, так что было даже страшно и казалось, что они обрушатся на нас. А потом два облака, выглядывавшие из-за крыши нашего главного дома и похожие на белых медведей, обратились в настоящих, выбежали из-за угла и стали к нам ломиться во все двери флигеля, куда мы успели спрятаться от них.

Мое здоровье за эту зиму нисколько не ухудшилось, и вам нет причин за меня опасаться. Вероятно, благодаря прошлогодней инфлуэнце, которая, говорят, предохраняет от новых заболеваний, а, может быть, и по причине мягкости зимы у меня еще не было обязательных здесь зимних подарков: насморка и кашля. Авось, не будет и до лета. Берегите себя и вы, дорогая, а то я всегда очень беспокоюсь, когда ваше здоровье не в порядке.

[...] Не знаю, Варя, насколько исполнимо ваше желание получить мою фотографическую карточку. Я уже попросил об этом письменно директора департамента полиции. Если он сочтет возможным, то нет ничего невероятного, что в этом письме вы и получите такой подарок. Но не могу сказать ничего наверное, так как спешу отправить это письмо, не ожидая ответа, чтобы вы не беспокоились за меня. Ну, а о фотографическом снимке моей комнаты, о котором ты тоже просишь, то нечего и думать. Я не имею права даже и описать свое жилище.

Как успехи Вали с новой учительницей? Если он ее любит, как ты пишешь, то я уверен, что и учится теперь несравненно лучше, чем с прежней. Нет ничего хуже преподавателя, который не умеет внушить своему ученику никакого другого чувства, кроме страха. Ребенок еще не может отличить учителя от его науки, и если первый не внушил ему к себе симпатии, то он будет относиться с недоброжелательством и ко всему, о чем он говорит.

[...] Ты спрашиваешь, Верочка, нельзя ли прислать мне каких-нибудь научных книг или инструментов для моей работы о строении вещества? Потребность в них у меня, конечно, страшно велика, и часто приходится биться, как рыба об лед, от невозможности сделать нужный опыт или навести справку. Но уже самый размер этой потребности не допускает возможности ее удовлетворения частными средствами. Я уже не новичок

в своей области, и то, что есть в учебниках и курсах, для меня давно стало почти бесполезно. Здесь могла бы помочь только специальная библиотека и специальная лаборатория при каком-нибудь большом научном учреждении. Таким образом, мне поневоле приходится довольствоваться тем, что дано в мое распоряжение, и не мечтать о новых расширениях.

VIII

20—27 августа 1900 г.

[...] В феврале опять случилось что-то вроде инфлуэнцы с сильным жаром, ознобом и остальными прелестями. Но в этот раз я пролежал не более недели, и весной снова возвратился к обычным занятиям. Теперь, когда я вам пишу, у меня очень расстроена нервная система, и пульс иногда бьется по сто раз в минуту. Однако это расстройство выражается лишь плохим сном и преувеличенной чувствительностью ко всяким ночным шумам, а не раздражительностью в сношениях с окружающими, совсем неповинными людьми, как это часто бывает при сердечных болезнях.

До самого последнего времени никто из товарищей по заключению даже и не подозревал, что мне было не особенно хорошо, и все очень удивились, когда неожиданно узнали, что я уже несколько недель без сна валяюсь с боку на бок, начиная с трех или четырех часов утра.

Однако вы, дорогая мама, не беспокойтесь. Думаю, что до следующего письма сумею справиться и со своим неврозом, тем более что считаю его за самую неприятную из всех болезней: если не сумеешь спрятать ее в самом себе, то она неизбежно сделает человека стеснительным для окружающих, а я этого боюсь пуще огня. Как было бы хорошо, если бы все мы (т. е. вообще люди) старались сообщать другим только одно ободряющее и хорошее, а все раздражающее или печальное старались переносить в одиночку!

Но, конечно, это не всегда возможно, а иногда даже и нехорошо с очень близкими сердцу, в активном сочувствии которых можешь быть заранее уверен.

В только что полученных письмах от сестер особенно растрогало меня то место, где они рассказывают, как вы, дорогая, сейчас же велели переснять в увеличенном виде присланную вам из департамента мою фотографическую карточку, которой я сам никогда не видал. Не знаю, есть ли в ней какое-либо сходство, но во всяком случае она уже не новая и снята еще в первые годы заключения.

[...] Благодаря начавшемуся неврозу, я с начала августа должен был бросить на время всякие научные занятия, и за неимением непрочитанных уже английских романов, над которыми я обыкновенно отдыхаю в случае

переутомления, взял перечитывать еще раз «Войну и мир» Толстого. Толстой — такой великий художник, что его каждый раз читаешь с новым удовольствием, хотя и пишет он очень неровно — рядом с чудными местами вдруг, хотя и редко, попадается совсем не яркая страничка.

Хотелось бы знать, что теперь творится на белом свете. Но, к сожалению, нам не разрешено политических газет.

[...] В условиях моей жизни не произошло ничего ни к лучшему, ни к худшему после моего зимнего письма. Мою жизнь в заключении вы знаете даже много лучше, чем то, что было перед нею. Только подумать, что за все то время мы не могли обменяться хотя бы одним письмом! Я это очень сильно чувствовал, когда жил на свободе и за границей. Я видел, как другие сохраняли постоянное сношение с родными, а для меня это было невозможно. Вот почему я по временам и рассказываю вам в своих письмах о том или ином событии из заграничной жизни, хотя все это и давно прошло.

В качестве усердных огородников, товарищи получили в этом году от коменданта сенсационную новинку: предсказательный календарь Демчинского, выпущенный этой весной. Это, в сущности, простой чертеж, где черными линиями указаны «вероятные» стояния термометра и барометра на лето, определенные в высшей степени легкомысленно по состоянию погоды за прошлые зимы. А красными точками, расставленными в разных местах, обозначены на них несколько дней, за погоду которых автор вполне ручается, так как, по его словам, в эти дни, считая от весеннего полнолуния, погода была одна и та же за много лет, почему он и назвал их «узлами погоды». Сам я не огородник, но очень интересуюсь успехами метеорологии, и, признаюсь, табличка эта заинтересовала и меня, хотя я и знал, что еще шестьдесят лет назад знаменитый французский астроном Араго пробовал найти зависимость между погодой и фазами луны, т. е. руководился тем же самым принципом, но убедился, что ничего не выходит. Начал и я сравнивать погоду с предсказаниями, но увы и ах! В наших местах — что ни узел, то навыворот! А в начале мая, когда был показан самый жаркий день, у нас вдруг пошел лед! Полное разочарование! Даже стихи написал для развлечения своего товарища по прогулке, начинающиеся куплетом

Лед идет, и холод свинский,
Тучи мрачны, ветры злы,
И сбежал домой Демчинский,
Растеряв свои узлы *.

Впрочем и теперь все пишу по естественнонаучным вопросам, и стихи не идут на ум.

---

* Это четверостишие было вымарано в министерстве внутренних дел из моего письма! (позднейшее примечание).— *Н. М.*

Довольна ли ты, Ниночка, своими купаньями в Эдинбурге? Мне очень хочется прочесть о твоих заграничных впечатлениях, особенно потому, что сам я никогда не бывал в Шотландии и даже не знал, что около Эдинбурга есть курорт. Перешла ли ты уже в своей художественной школе в последнее отделение «геометрических тел»? Ты покинула Борóк еще совсем ребенком и, верно, помнишь его довольно плохо. Там у отца было несколько картин знаменитых художников. Особенно мне нравилась висевшая на площадке лестницы, ведущей наверх, картина Айвазовского, представлявшая море с утесистым берегом вдали, а около берега — корабль, убравший все свои паруса, готовясь к буре. Из других картин мне очень нравилась та, которая изображала пасху в деревне. Она была очень смешная. На первом плане стояла у крыльца избы телега, наполненная всякими съестными припасами, а около нее причетник перекладывал заботливо яйца из одной корзинки в другую. На крыльце стоял дьячок, которого, очевидно, сильно тошнило, а на земле, под крыльцом, широкобородый мужик благодушно подставлял ему под рот деревянную чашку. Из дверей избы выходил, пошатываясь, батюшка и умильно смотрел на эту сцену. Все это было написано мастерски; жаль, что не помню имени художника — уж не Репина ли? [132] Я думаю, ты, наверно, забыла все это; ведь ты была тогда совсем маленькая. А я вот помню даже, как однажды подшутил с этой картиной над тогдашним священником. Я его не любил за мелочное самолюбие и за то, что он имел обыкновение каждый раз насмехаться в моем присутствии над Дарвином. Однажды, приехав к нам, он попросил меня проводить его по верхним комнатам, чтобы осмотреть картины, которых он еще не видал. Вспомнив об этой картине, я очень обрадовался случаю понаблюдать его физиономию. И, действительно, было очень забавно! Перед серьезными картинами он подолгу останавливался с видом знатока; перед нимфами и картинами фривольного содержания конфузливо отворачивался, прикрываясь даже рукавом рясы; а когда, в конце обхода, я сделал так, чтоб он неожиданно очутился лицом к лицу с «Пасхой в деревне», он уже совсем смутился и покраснел, хотя и сделал вид, что ему самому смешно.

Я же был чрезвычайно доволен и все твердил про себя: «Это вам за насмешки над Дарвином!»

[...] Это очень хорошо, Катя, что вы все теперь стали чаще съезжаться друг к другу. Весело ли живет младшая детвора? Любят ли они читать какие-нибудь книги, кроме учебников, и есть ли у них в распоряжении какие-нибудь детские книжки или журналы?

В наше время, особенно в городах, уже не найти таких нянек, которые могли бы занимать пробуждающееся воображение детей сотнями всевозможных сказок, а воображение, между тем, требует себе пищи.

[...] В одном замечательном хорошем семействе *, где я любил прово-

* В семействе писателя Станюковича (позднейшее примечание).— *Н. М.*

дить свободные вечера, мне чрезвычайно нравилось видеть, как мать почти каждый вечер читала детям — четырем девочкам — какой-нибудь занимательный рассказ из детских журналов. Просто трогательно было смотреть, как все эти маленькие девочки взбирались к нам на колени и, не шелохнувшись, с широко открытыми и смотрящими куда-то внутрь себя глазами слушали какую-нибудь, большею частью интересную даже и для нас повесть или путешествие. И все они были замечательно умные и милые дети, и, должно быть, теперь выросли из них славные девушки.

[...] Моя книга о «Строении вещества» уже закончена начерно, и теперь работаю над такими ее деталями, без которых, в сущности, было бы можно и обойтись, но которые все-таки не мешает туда ввести. Все это лето, например, занимался разработкой формул тяготения по особому методу, называемому законом однородности физических уравнений. Важное значение этого метода как орудия новых открытий в физических науках еще мало сознается, и он привел меня чисто математическим путем к выводу, что сила притяжения небесных тел зависит в известной степени от их температуры (тепловой энергии), и что причина тяготения заключается в окружающей тела светоносной среде, как это и ранее предполагали некоторые.

Впрочем, все такие вопросы могут интересовать только специалиста, да и то лишь в том случае, если они изложены обстоятельно, а не так, как я пишу в этих строках *.

Вообще над моими естественнонаучными сочинениями тяготеет какой-то рок. Все, что я писал по научным вопросам, пропадало при том или другом передвижении с места на место или безжалостно истреблялось в минуту опасности теми, кому я отдавал свои статьи на сохранение[133]. Так и теперь: в эту зиму я переплету уже пятнадцатый том своих естественнонаучных записок, но кому от этого польза? Работаю, пока позволяет здоровье, как пчела собирает в улей мед и воск, даже в том случае, когда сама видит, что улей разорен.

IX

2 февраля 1901 г.

Дорогие мои!

Вот, наконец, прошли самые короткие из зимних дней, и наше солнце после своей долгой отлучки в южные страны снова поворотилось к нам на север, чтобы немного нас оттаять и согреть. Сегодня, когда я вам пишу,

* Книга об этом была потом издана в 1908 году под названием «Основы качественного физико-математического анализа и новые физические факторы, обнаруживаемые им в различных явлениях природы», а доклад об этом сделан в Русском физико-химическом обществе в 1907 году и напечатан в журнале общества в 1908 году (позднейшее примечание).— *Н. М.*

полуденные лучи настолько поднялись уже над стенами и крышами окружающих зданий, что могли заглянуть и в мое окошко [134].

С приходом ваших писем прекратилась и большая часть обычных беспокойств, которые накопляются в душе после полугодичной неизвестности. Особенно рад я тому, что вы, моя милая мама, остались такая же бодрая и деятельная, как и прежде. Кстати, дорогая, сколько вам теперь лет? Верно, не меньше шестидесяти шести? А на ваших фотографиях вам едва ли можно дать и пятьдесят. Дай бог, чтобы вы еще много и много лет оставались такой же крепкой и неутомимой, как теперь.

Мое собственное здоровье остается, как и было в прежние годы. Осенний невроз теперь прекратился. Однако свои обычные занятия по физико-математическим наукам я все еще не был в состоянии возобновить систематически. Чтоб не прожить все это время совершенно даром, я согласился на желание товарищей принять на себя заботы о здешней библиотеке, то есть хлопотать о приобретении для нее новых книг, наблюдать за их своевременным переплетом в наших мастерских и за справедливым распределением между читающими. Это занятие мне и раньше предлагали, но я все отказывался, опасаясь, что оно нарушит правильный ход моих научных работ, которые я считаю несравненно более важным делом. И действительно, за три последние месяца я убедился, что мои опасения были совершенно основательны. Или моя голова уж такая односторонняя, что не может сразу совместить несколько занятий, или это, действительно, невозможно при разработке открытых вопросов науки, где можно надеяться на успешный результат, только посвятив одному предмету все свое внимание безраздельно.

Всякий раз, как что-нибудь постороннее заставит меня прервать хотя бы на день нить умозаключений, связывающих между собою различные разрозненные факты, так эта нить и затеряется совсем, и не находишь ее снова, как бы ни старался. Приходится вторично изучать весь вопрос сначала. Вот как-то я вам говорил, что пишу одним почерком пера и без всяких размышлений самые сложные формулы органической химии — до такой степени привык к этому предмету, работая постоянно над строением вещества. А когда пришлось оставить эти формулы на полгода при математической разработке законов тяготения, то, возвратившись к ним, я сейчас же заметил, что уже не пишу их так свободно, а должен каждый раз напрягать внимание.

О своем здоровье я вам сообщаю всегда добросовестно, и ты, Верочка, не должна более думать, будто я что-нибудь скрываю от вас относительно этого предмета.

Если б у меня были какие-либо серьезные опасения за свою жизнь, я постарался бы постепенно подготовлять вас к этому, чтоб неожиданность не подействовала на мать слишком сильно. Подробностей о своей внешней обстановке и о некоторых других предметах я по-прежнему не имею права вам писать, иначе мое письмо будет мне возвращено обратно.

Однако смутное представление о моем современном положении и об общем фоне моей жизни вы, конечно, уже успели себе составить, хотя иметь ясное понятие о чувствах человека в долгом изолированном заключении так же невозможно, не испытав этого лично, как представить себе по одному лишь описанию вкус плода, которого сам никогда не пробовал. Притом же и наша жизнь не вполне уж оцепенела. И на ней по временам отзываются события окружающего мира. А потому, если в ряде моих писем вам и приходилось где-нибудь встретить случайную заметку, которая не вполне сходится с одной из предыдущих, то так и вы должны знать, что в это время произошла соответствующая перемена*. Я же при долгих промежутках между моими письмами не в состоянии помнить обо всем, что говорил вам ранее, и излагать последующие письма в связи с предыдущими.

Вот уже третий раз ты меня просишь, Верочка, рассказать вам о каком-нибудь из моих прошлых странствований по швейцарским горам. Только до сих пор у меня все не хватало места, да не знаю, достанет ли и теперь.

Как жаль, что никто из вас никогда не поднимался на настоящие большие горы, вершины которых в ненастную погоду далеко уходят за облака; тогда вы лучше поняли бы и мои рассказы. Тот, кто видел швейцарские горы только на картинах или через окна вагонов и гостиниц, и представить себе не может, как они в действительности страшно громадны, и какие чудные картины, полные дикой красоты и бесконечного разнообразия, открываются с их вершин. Когда в ненастный, тусклый день поднимаешься по их склонам и пройдешь по незнакомой тропинке через густой туман облачного слоя, то сразу попадешь под ясное голубое небо и видишь под ногами только бесконечный океан волнующихся и бегущих облаков, и над этим белым океаном то здесь, то там поднимаются, как островки, белые, серые и зеленые горные вершины, облитые солнечным светом и бросающие темные длинные тени на поверхность облачного моря; и не верится тогда, что внизу, на земной поверхности, так тускло, сумрачно в это же самое время.

Обыкновенно путешественники странствуют по Альпам в сопровождении нескольких проводников, но мы, т. е. я с одним товарищем-студентом (Черепахиным), лазили всегда одни, руководясь лишь хорошей картой и компасом, да по временам расспрашивая горных пастухов. Но зато и было же с нами приключений!

Раз, например, в Савойских Альпах забрались мы в горы в такое время, когда дул очень сильный ветер и гнал по небу, то здесь, то там, кучевые облака. Пока мы были ниже облаков, местность направо и налево не представляла для нас ничего особенно замечательного. Потом облака одно за другим начали налетать на нас, окутывая на минуту или на две все кругом белым густым туманом, и затем быстро улетали далее, снова

---

* Здесь намек на ухудшение условий заключения, начавшееся в этом году (позднейшее примечание).— *Н. М.*

оставляя нас на солнечном свете. Когда же мы взобрались на вершину ближайшего хребта, то увидали с нее картину такой дикой прелести, что я не забуду ее во всю жизнь. Второй склон этого хребта падал прямо перед нами почти отвесным обрывом в огромную, почти круглую котловину, версты в две поперечником, лишенную по бокам всякой растительности и такой глубины, что несколько елей, росших на ее дне, казались едва заметными.

Но поразительнее всего было то, что̀ происходило в этой котловине. Сильный ветер влетал в нее через окружающие горы, и весь воздух кружился в ней, как в водовороте, увлекая за собой и облака, которые носились там, как сумасшедшие. Они гонялись друг за другом, опускались на дно, поднимались вверх, перепрыгивали одно через другое, вытягивались и съеживались, принимая всевозможные фантастические формы, как будто это были живые существа, одаренные собственной волей и движением. А внизу, на дне котловины, кружились и скакали друг через друга их тени. Порой какое-нибудь из облаков вдруг выскакивало из котловины и мчалось по склонам одной из окружающих гор, как клочок белого тумана, пока не поднималось совсем над постепенно понижающейся поверхностью земли и не исчезало в небесной дали, сливаясь с другими облаками. Порою, наоборот, новое облако с быстротой локомотива взбиралось по противоположному склону горы, прыгало в котловину и начинало там гоняться за остальными, описывая огромные круги. По временам одно из них, как и прежние, прямо набегало на нас, снова окружало обоих густым туманом, где мы едва могли разобрать очертания друг друга; но не проходило и минуты, как мы уже видели это самое облако убегающим от нас по склону. Это была такая фантастическая пляска духов, какой нельзя себе представить, пока ее не видел!

Долго не могли мы оторваться от этой дикой сцены. Только когда облака вокруг нас стали появляться слишком часто и долины начали постоянно заслоняться, мы собрались в дальнейший путь на Дан-д'Ош — одну из высоких вершин, куда и предполагали идти сначала. Но только добраться до нее мы так и не могли. По мере того, как мы подвигались вперед, погода портилась, облака вокруг нас сгущались все более и более и, наконец, не стали оставлять вокруг нас никаких просветов.

Думая, что этот сплошной слой облаков не должен быть слишком толст и что, поднявшись выше на сотню-другую сажен, мы будем совсем над облаками, под ясным голубым небом и сияющим солнцем, мы все еще продолжали карабкаться вверх по какому-то сухому руслу, прорытому в горе весенними потоками, и шли, не видя ничего ни вверх, ни вниз даже на расстоянии каких-нибудь двух-трех сажен. Потом мы выбрались на довольно ровную местность и, в конце концов, очутились на каком-то каменном гребне, который скоро принял форму крыши, поднимающейся передним концом вверх. По этому гребню мы и стали двигаться, сначала ползком, а затем, когда его бока стали слишком круто опускаться вниз, сидя верхом,

работая руками и ногами и не зная, что находится под правой и что под левой ногой. Видно было только, что бока хребта опускались вниз сажени на две очень круто, а затем все сливалось в одной белой, быстро несущейся мимо нас дымке облаков, и что было под ней — отлогие ли склоны, на которые можно соскочить, или верстовые обрывы,— так мы и не узнали до сих пор. Решив, что путешествовать подобным образом далее невозможно, мы стали пятиться назад, пока не удалось повернуться, и добрались по-прежнему, то верхом, то ползком, до исходного пункта этого гребня, а затем с помощью компаса снова попали в прежнее сухое русло и спустились ниже облачного слоя в серый, тусклый день, который успел сменить недавнее солнечное утро.

Однако вы, конечно, не должны думать, что каждое наше путешествие сопровождалось какими-нибудь приключениями в облаках. Совсем наоборот. Я сделал в сумме не менее тридцати или сорока экскурсий, и большинство их не ознаменовалось ничем другим, кроме усталости и высочайшего удовольствия видеть с высоты дивные картины горной природы. Ничто в мире не может доставить большего наслаждения, как вид, открывающийся с высокой горы вечером, когда заходящее солнце окрашивает в розовый цвет вершины отдаленных гор, между тем как в долинах, под ногами, уже давно все покрыто вечерней мглой, а в городах внизу (например, в Женеве, когда смотришь на нее с вершины Салева) один за другим зажигаются фонари, и через несколько минут каждая улица вырисовывается, как на плане, прямыми линиями из огненных точек, как будто там раскинулась огненная паутина. А какая прелесть бывает там в ясную лунную ночь, когда видишь с вершины горы, как полная луна отражается в темной глубине Женевского озера, лежащего далеко внизу, и освещает волшебным голубоватым светом все обращенные к ней склоны окружающих гор и ледников, белеющих вдали, между тем как другие, противоположные, склоны остаются совсем невидимыми для глаза, как будто это сама бесконечная тьма и пустота ночи, а поперек озера и долин, от одного края до другого, тянутся бесконечные черные тени гор.

[...] Не придавай, Груша, такого трагического значения несколько грустным размышлениям, иногда прорывающимся в моих письмах. В общем я не склонен к унынию ни в каких обстоятельствах жизни и считаю повешенный нос одной из самых неприличных вещей в мире, потому что он нарушает хорошее настроение и у всех окружающих. Как поживает теперь наша милая Молога со всеми ее летними и зимними заботами и увеселениями?

Твои слова, Надя, что Анатолий Михайлович более всего любит «читать лежа», напомнили мне, что этим же самым мог бы и я охарактеризовать свою жизнь за последние месяцы, хотя и порываюсь каждый день «писать стоя» шестнадцатый том своих тетрадей (потому что пишу только всегда стоя за этажеркой).

Николай Морозов.

X

25 августа 1901 г.*

Милая и дорогая мамаша!

[...] Это лето было такое теплое и ясное, каких уже давно не бывало в наших краях, и я буду надеяться, что возможность проводить все время в имении, на чистом воздухе, послужит вам лучшим целебным средством; буду надеяться, что ваше нездоровье кончилось еще весной. И откуда только берутся посреди ваших лугов и березовых рощ все эти поганые коклюшечные микробы и тому подобная дрянь! Другое дело — в больших городах или у нас; но даже и здесь не было ничего подобного.

Хотя последние три-четыре месяца я и чувствую себя несколько более нервозно, но в общем мое здоровье осталось, как и в прежние годы, ни то, ни се.

Все это время я работал очень много над составлением новой книги под трудно выговариваемым для вас названием: «Периодические системы. Теория внутреннего строения химических единиц»** и успел вполне закончить всю работу в августе, а о дальнейшей судьбе этой книги сообщу вам только в следующем письме ***.

Всякий раз, когда я вам пишу, я не могу не пожалеть глубоко, что большинство моих научных работ настолько специального характера, что о содержании их нельзя ни с кем потолковать, кроме людей, посвятивших всю свою жизнь изучению этой же области естествознания. Для большинства общеобразованных людей самые названия моих сочинений покажутся сочетанием совершенно непонятных звуков.

Ну да что поделаешь! Верно, такова уже моя судьба! Всякий должен работать в той области, в которой надеется принести пользу людям, иначе жизнь была бы слишком пуста.

Что сообщить вам о своей жизни? Почти нечего. Она идет по-прежнему однообразно. Вот только в конце июня буря принесла к нам новую воспитанницу, вторую Чику, на этот раз уже деревенскую ласточку-малютку, отличающуюся от городских ласточек тем, что у нее лапки не покрыты пухом.

Эта Чика оказалась еще более ручной, чем прежняя.

---

* Письмо затеряно и восстановлено по сохранившемуся в тетрадях черновику (позднейшее примечание).— *Н. М.*

** Ее у меня взяли тогда для передачи на рассмотрение Д. И. Менделееву или Н. Н. Бекетову, но я умолчал об этом в письме, чтоб не испортить дела, зная манеру департамента делать все наоборот желаемому (позднейшее примечание).— *Н. М.* [135]

*** Напечатана в 1907 году (позднейшее примечание).— *Н. М.*

Но не одни ласточки разнообразят теперь мою жизнь. В последние годы у товарищей царит настоящая мания куроводства. Разводятся десятками цыплята, и кругом царит такое клохтанье и победоносное кукареку, что я затыкаю себе уши ватой, когда принимаюсь обдумывать и писать свои сочинения *. Но, вероятно, и это увлечение скоро кончится и заменится чем-нибудь другим. Общий фон жизни в заключении независимо от времени и места — это конвульсивная порывистость и в большинстве случаев потеря способности к самообладанию и продолжительному систематическому труду. Счастлив тот, у кого есть какие-нибудь определенные интересы, например научные, и возможность их удовлетворять, хотя бы отчасти!

Отсутствие семьи, которая могла бы дать исход естественной потребности человека любить и охранять беззащитные существа, зависящие всецело от него одного, невольно вызывает у него всякие суррогатные увлечения.

Один привязывается к голубям и радуется, когда они свивают у него гнезда в печурках камеры, хотя постоянное воркование и мешает ему спать; другой разводит кроликов, которые поедают все им же самим посаженные в прошлом году кустарники и деревья; третий размножает кур и до того ухаживает за ними, что со стороны невольно кажется, будто не куры существуют для человека, а человек для кур. Все это понятно, и иначе быть не может. И я не могу не согласиться с товарищами, что из всех предприятий, какие у нас заводились, куры с их яйцами приносят наиболее пользы (для желудка); но мне все-таки жалко видеть, что многочисленные пестрые цветы, которыми все так восхищались и увлекались несколько лет назад, теперь — увы! почти везде раскопаны курами, поруганы и забыты **.

Когда вы получите это письмо, моя дорогая мамаша, лето уже совсем окончится, и наступит осень с ее дождями и непогодами. Берегите же в

---

* Последняя фраза была исключена мною из письма, чтобы не повредить хозяйственным занятиям товарищей, и осталась только в тетрадях в черновом наброске, с которого и переписано это затерявшееся письмо (позднейшее примечание).— *Н. М.*

** Это утилитарное направление было введено у нас в 1900 г. комендантом, разрешившим сначала В. Г. Иванову, а затем и другим желающим товарищам разводить кур в их крошечных садиках. Пара кроликов сама прибежала к нам из комендантского сада и поела почти все посаженные ранее кустарники у С. А. Иванова и некоторых других, а голубей приручал П. С. Поливанов. Меня эти увлечения очень огорчали, так как отвлекали от умственных интересов и занятий. Это огорчение в слабой степени и прорвалось наружу в печальном тоне последних строк. Через год, при Плеве, все это было уничтожено как незаслуженные нами льготы (позднейшее примечание).— *Н. М.*

это время свое здоровье! На одной из фотографий, присланных мне Верочкой, я видел ваш птичий дом совершенно таким же, как он стоял при мне в роще. Вспомнив, как вы заблудились ночью даже по дороге из нашего дома в кухню, я невольно подумал с тревогой, как же вы уходите в эту рощу, так далеко! Впрочем, ведь вам и не приходится бывать там по вечерам, да и днем вы, верно, заходите туда лишь в сопровождении кого-либо из прислуги.

Еще раз прошу вас, не беспокойтесь обо мне так много. Люди с не особенно крепким здоровьем в конце концов делаются выносливее тех, кто был постоянно здоров. Я очень доволен, что в прошлом моем письме вас развлекли мои рассказы о приключениях в Савойских горах. Когда кругом нет никаких перемен, о которых было бы возможно рассказать, мысль невольно улетает за тысячи земель.

Признаюсь, что и мне самому бывает по временам приятно вспомнить о местах, где пронеслись последние годы моей жизни на свободе. Все мельчайшие события перед долгим заключением вспоминаются необыкновенно ярко, и, может быть, именно поэтому берега Женевского озера и окружающие его горы стали для меня теперь как бы вторым Борко́м. Притом же тот, кто хоть сколько-нибудь сочувствует природе и прожил там целые годы, не может не полюбить этой местности. Она так прекрасна, что даже здесь я не раз находил в попадавших к нам случайно иллюстрированных журналах то ту, то другую картинку местностей, где я когда-то жил.

Раз как-то открыв книгу по географии, я увидел в ней картинку островка Руссо при выходе Роны из Женевского озера, где под памятником этого великого писателя я не раз сиживал с книгой в руках на скамеечке, в тени плакучих ив. От одного вида этой картинки так и повеяло на меня чем-то близким и родным, и я чуть ли не целую неделю мечтал о прошлом, позабыв свои ежедневные дела и все окружающее. Потом приходилось встречать в иллюстрированных журналах и другие близкие знакомые места, которые вижу здесь во сне: Роше-де-Нэ, Дан-дю-Миди, Граммон или вершину Салева над Женевой, совершенно в том же виде, как они представлялись из окон моих жилищ в Кларане или Женеве.

Большая часть этого письма была уже написана к 25 августа, но окончанию его в этот день помешала необходимость переплести одну из моих научных работ*, а затем наступило какое-то вялое настроение; на-

---

* «Периодические системы. Теория внутреннего строения химических единиц», которую только что разрешили взять у меня для передачи Н. Н. Бекетову на рассмотрение (позднейшее примечание).— *Н. М.*

деюсь, что письмо не очень опоздает, а относительно упомянутой сейчас «вялости» не беспокойтесь: она была не от нездоровья *. (Конец этого письма утерян в черновике.)

XI

2 марта 1902 г.

Дорогая моя, милая мама!

Смотрю на фотографию, где вы сидите на стуле за углом дома, полуобняв Ниночку, прижавшуюся к вашим коленям. Это замечательно хороший снимок. Каждая морщинка ясно видна на ваших руках и лице. Только как много появилось у вас этих морщинок, моя дорогая!

Верочка писала мне, как вы вспомнили о ямах, которые я накопал у крыльца флигеля, когда был еще мальчиком, и как потом вы едва не сломали себе ногу в одной из них. Ведь и я помню эти ямы! Меня очень занимало тогда, что такое находится под полами комнат флигеля, потому что туда не было ни с одной стороны прохода. Вот я и вздумал подкопаться под крыльцо, чтобы проползти этим путем в предполагаемые «подземелья», а в результате вышло только то, что, сходя с крыльца, вы как раз попали в одну из моих ям.

По этому поводу припомнился мне и другой случай со мною самим. Когда я приезжал к вам из гимназии на каникулы и жил в верхнем этаже, мне всегда было скучно пересчитывать ногами на лестнице все ступени, и, наконец, после многих упражнений я научился скакать оттуда в три огромных прыжка, по одному через каждый поворот лестницы, и так ловко, что проделывал это даже ночью. Раз крикнули меня снизу ужинать. Запоздав из-за каких-то занятий, бегу со всех ног. Сделал в абсолютной темноте первый прыжок, через верхний ряд ступеней, и благополучно уперся руками в противоположную стену. Сделал второй прыжок — снова благополучно толкнулся во вторую стену. Сделал третий и последний прыжок, и едва лишь попал ногами на пол, как ударился лбом о кастрюлю с супом, которую проносил в потемках перед лестницей наш тогдашний повар Иван. Крышка с кастрюли полетела со звоном на пол, часть супа выплеснулась, а повар в испуге от неожиданности завопил не своим голосом. Я быстро отворил дверь в соседнюю освещенную комнату, увидел, в чем дело, и сказал Ивану, чтоб он, когда будет возвращаться назад, подтер с пола суп и ничего не рассказывал, потому что супа осталось еще довольно для всех.

Бегу в столовую как ни в чем не бывало, сажусь между вами, и только чувствую, что перед правым глазом у меня появилась как будто какая-то завеса, а все кругом смотрят на меня с изумлением и спрашивают, что это со мною. Я протер рукой свой глаз и вижу: пальцы в крови, бровь над краем глаза рассечена краем крышки, которую я сбил с кастрюли,

* Карповича увели в карцер.— *Н. М.* [136]

и кровь с нее течет мне прямо в глаз. Так и пришлось сознаться, умаляя по возможности эффект, что, мол, это я наткнулся нечаянно на Ивана с супом.

Не знаю, помните ли вы теперь, как обвязывали тогда мою голову платком, а отец говорил: «этакий сумасшедший!» Едва ли помните, потому что кровь перестала течь уже на следующий день, и я снял повязку. А ведь шрам вдоль брови сохранился у меня и до сих пор, только его трудно рассмотреть сразу в волосках.

Писать вам о моей жизни более подробно, чем это сделано в прошлых письмах, я не имею права. Здоровье мое по-прежнему довольно хрупко, но не хуже, чем в прошлом году. Никаких опасных болезней не было. Я и теперь могу гулять с одним из товарищей по заключению, но не пользуюсь этой льготой в тех размерах, как позволено, по причине почти ежедневных научных занятий у себя в камере, а летом — также и на прогулках. Притом же вид одних и тех же лиц, живущих день за днем в продолжение многих лет в той же самой обстановке, отрезанных от окружающего мира и часто не имеющих перед собою никакой определенной цели, перестает вносить разнообразие в нашу жизнь, и разговоры понемногу становятся все более и более вялыми по недостатку предметов, о которых не было бы уже сто раз переговорено. Вот разве кто-нибудь вдруг заболеет или стрясается какая беда *.

Очень хочется по временам взглянуть на простор лугов и полей, и даже как-то защемит от этого желания на душе, но поскорее гонишь от себя воспоминания и стараешься думать о чем-нибудь другом. Когда я был в Берне, я часто ходил смотреть на семейство медведей, которые там содержатся на городской счет (и получают от посетителей пряники) в память каких-то древних событий. От них же произошло и самое название этого города. Живут они в огромной круглой яме, занимающей половину одной из городских площадей и огороженной железной решеткой. На дне ямы построен для них красивый белый дом с берлогами внизу, а посредине ямы растет, если можно так выразиться, ствол большого засохшего дерева, весь ободранный их когтями, потому что они постоянно влезают на него, чтобы посмотреть с высоты на улицы города. Вот так живу и я! Но как печально, что и у нас на дворе не устроено такого места, с которого было бы можно заглянуть хоть раз в год на простор окружающего мира.

В прошлых письмах я не раз уже говорил вам всем о своих занятиях и работах по теории строения вещества. Теперь могу прибавить, что мне разрешили послать их общее изложение на имя президента Русского физико-химического общества **, для рассмотрения специалистов. Я сдал эту

---

* Намек на ухудшение условий заключения в этом году (позднейшее примечание).— *Н. М.*

** Н. Н. Бекетова (позднейшее примечание).— *Н. М.*

работу в конце прошлого года под названием «Периодические системы. Теория внутреннего строения химических единиц». Если мои выводы окажутся справедливыми, т. е. подтвердятся соответствующими опытами, то моя работа, несомненно, будет иметь серьезное значение для науки. Не входя в специальные подробности, неуместные в письме к неспециалистам, я могу только сказать, что моя теория сводит первоначальные крупинки, или, как их называют, атомы, всех простых веществ — железа, меди, серы, фосфора и др.— к различным комбинациям одних и тех же трех, еще более первоначальных, невидимых крупинок: полуатома очень легкого газа — гелия, атома водорода и третьего, по-видимому, не сохранившегося на Земле в свободном виде вещества, первоначальный атомный вес которого был равен четырем атомам водорода, а современный вес есть кратное этого числа.

Комбинации эти устраиваются не по произволу, а по правилам, установленным в современной химии для так называемых углеводородных радикалов, из соединений которых состоят все животные и растения. Результат такого построения оказывается замечательный: периодические ряды получаемых комбинаций предсказывают все химические и даже физические особенности известных в настоящее время «простых» веществ, т. е. таких, которые мы не успели пока разложить на более простые, и, кроме того, они указывают на существование в природе и определяют главные свойства многих еще не известных веществ. Когда я впервые обрабатывал эту теорию еще в восьмидесятых годах, она предсказала, между прочим, существование в природе и самого гелия и целого ряда разнообразных веществ, не способных соединяться химически с металлами, чего нельзя было обнаружить по обычной периодической системе, как она была обработана в то время Менделеевым и Лотаром Мейером. И что же? Не прошло и нескольких лет, как почти все эти вещества были открыты, к моей величайшей радости, английским физиком Рамзаем и его сотрудниками!

Но, кроме этого, теория объяснила и много других особенностей, замечаемых у «простых» веществ, показав, между прочим, и то, что вопрос об их превращении одних в другие вовсе не такая неразрешимая задача, как большинство думает в настоящее время; что посредством специально приспособленных методов и приборов можно расчленить современный гелий на полуатомы* и, присоединив их к атомам большинства обычных «простых» веществ, преобразовать их в новые, несколько более тяжелые и с другими свойствами. Правда, что ввиду чрезвычайной трудности получения чистого гелия, хотя бы и в очень малых количествах, такие опыты должны обходиться необыкновенно дорого, а потому не могут иметь

---

* Это писано в марте 1902 г., а через два года эти полуатомы были экспериментально открыты Рамзаем и названы *х*-эманацией радия (позднейшее примечание).— *Н. М.*

никакого промышленного значения. Но для познания природы возможность превращения хотя бы некоторых веществ, считаемых простыми, в другие такие же имела бы большое значение.

Теперь, когда я уже передал свою рукопись по начальству (и, говорят, она уже послана по назначению)[137], меня смущает только одно обстоятельство: предмет моей работы принадлежит к таким, о которых идет еще немало споров между специалистами, и среди них имеются почти фанатические приверженцы как сложности, так и неделимости атомов. Такие знаменитости, как Крукс, высказываются за сложность и были бы предрасположены заранее в пользу моих построений. Другие, в том числе и Менделеев, более склонны к допущению неразделимости. Поэтому судьба моей рукописи во многих отношениях зависит не только от ее собственных достоинств или недостатков, но также, хотя бы в некоторой доле, и от того, как привык смотреть на этот предмет данный ученый. Вот почему я жду теперь с большим интересом какого-нибудь известия о ней. Но как бы то ни было, я все же очень рад, что хоть одна из моих работ попала, наконец, в компетентные руки.

Теперь я занимаюсь уже новым исследованием по математической физике, потому что еще несколько лет тому назад при обработке «Строения вещества» заметил, что по двум-трем соотношениям, даже часто и по одному, между несколькими сложными физическими деятелями в природе можно математическим путем определить и все их остальные соотношения, подобно тому как в зоологии по одному зубу животного можно начертить и все остальное его тело. Но для этого мне пришлось разработать новый метод, который я назвал «качественным физико-математическим анализом», где, вместо химических формул, наполнявших «Периодические системы», пестрят на каждой странице математические формулы. Этим путем мне удалось уже сделать несколько очень интересных для меня выводов, например, что притяжение между небесными светилами зависит не от одних только их масс, как это думают до сих пор, но и от заключающейся в них специальной энергии тяготения, так что при некоторых условиях, например, при абсолютном нуле температуры, между звездами и их планетами, вероятно, не будет никакого притяжения и планетные системы распадутся *. Впрочем, это опять такой вопрос, который интересен только для специалистов, а между вами, мои дорогие, я думаю не найдется ни одного, кто хоть сколько-нибудь занимался бы в настоящее время физикой, химией или астрономией, и если я переполнил этой сухой для вас материей целых два столбца моего письма, то лишь для того, чтобы навсегда отвести себе душу и более не возвращаться к подобным предметам.

---

* Книга «Основы качественного физико-математического анализа» была после моего освобождения издана Сытиным в 1908 г. (позднейшее примечание).— *Н. М.*[138]

Навалило у нас в эту зиму такое количество снега, что едва удавалось разгрести место для прогулки. Впрочем, в средине февраля была довольно ясная, хотя и холодная погода, а теперь крутит во всех закоулках самый продувной ветер. Ну да скоро весна, наступает март и, когда вы получите это письмо, у вас, верно, будут уже цвести одуванчики.

Как идут твои акварели, Ниночка? Что касается твоих «анатомических» рук, ног и тому подобного, то в былые времена рисовал их много и я. Раз перерисовал почти целый атлас по сравнительной анатомии, но потом вся куча моих рисунков, и копий, и с натуры, затерялась при каком-то переселении *.

Считая и групповые снимки, я имею тебя теперь в четырех видах, и очень доволен этим. Думаю, что узнал бы тебя с первого взгляда. Как хорошо, что ты побывала в своих родных краях и повидалась со всеми. Боюсь, что внутренняя обстановка наших комнат сильно изменилась во время междуцарствий, которые там случались в 80-х годах.

Ты говоришь, что вспомнила даже и место, где стояли твои игрушки? Можешь себе представить, ведь и я помню, где стояли мои! Помню даже, что, когда к нам с Катей взяли первую гувернантку, наша старушка нянька так плакала о нас, что мы попрятали все свои игрушки во флигеле в углу за няниной «лежанкой».

Я сильно опасаюсь, Верочка, что теперь, когда я наполнил целую страницу письма такой сухой материей, как содержание моих ученых работ, ты никогда более меня о них не спросишь. Да и поделóм, Верочка! Даже и специалист почти ничего не понял бы по моему краткому описанию. Для этого необходимо прочесть всю рукопись, страниц в пятьсот, со всеми ее чертежами и таблицами. Могу сказать только, что занятия эти для меня — вопрос жизни и смерти. Только в то время, когда я отдаюсь им целиком, дни проходят для меня быстро и незаметно; иначе часы тянутся, как недели, да и здоровье сейчас же становится хуже. Вот почему я очень желал бы получить благоприятный ответ. Тогда я с удвоенной энергией принялся бы за окончательную обработку своей новой физико-математической рукописи, которая, по моей собственной оценке, будет интереснее первой, потому что приводит к совсем неожиданным выводам, тогда как идеи о строении вещества, изложенные в прошлой работе, уже сильно подготовлены многими частными исследованиями, хотя и не были никогда развиты последовательно и систематически.

Прощайте, мои дорогие! Крепко обнимаю вас всех. Будьте здоровы и счастливы!

---

* Проще говоря, ее сжег один товарищ, у которого она была на сохранении, из опасения полиции (позднейшее примечание).— *Н. М.*

XII

18 сентября 1902 г.

Милая, дорогая мама, прежде всего целую и обнимаю вас сто раз! Ваши последние письма почему-то сильно запоздали, я получил их только в половине сентября, и потому, начиная с августа, очень беспокоился о вас. Но тем сильнее была моя радость, когда, наконец, пришла посылка, и я узнал, что ваше здоровье было даже лучше, чем в прежние годы.

О моей собственной жизни не могу вам сообщить ничего нового или хорошего *.

[...] Условия моей жизни, особенно по отношению к научным занятиям, стали складываться тяжелее, чем в прежние годы, когда была только что разрешена наша переписка, и для систематической разработки открытых вопросов науки стало еще более затруднений. Не знаю даже, какие книги появляются на свет божий по интересующим меня физико-математическим наукам **. Однако, несмотря на все, я уже успел окончить свою вторую научную работу, носящую очень длинное название: «Основы качественного физико-математического анализа и новые физические факторы, присутствие которых он обнаруживает в силе тяготения, действиях электрической энергии и других явлениях природы» ***. Вышло немного более пятисот страниц, и я переплетал ее как раз в день получения ваших писем. Впрочем, я уже писал вам о ней, так же как и о рукописи «Периодические системы», посланной с разрешения министра на рассмотрение Ник. Ник. Бекетову как президенту Русского физико-химического общества.

Теперь жду только удобного случая, чтобы попросить о передаче и этой моей работы на рассмотрение специалистов, но не знаю, скоро ли это удастся, да и удастся ли это вообще. Новая рукопись представляет то преимущество перед первой, что она не приводит ни к каким чересчур неожиданным выводам, за исключением изменчивости силы тяготения в зависимости от физических условий, хотя и представляет совершенно новый метод обработки физических вопросов чисто математическим путем. Поэтому для человека, который привык держаться старых мнений, она не будет казаться слишком смелой в своих заключениях, и ему будет легче согласиться с ней, тем более что каждый новый параграф выводится из предыдущего строго математическим путем.

Но и здесь главная беда в том, что я живу в темноте. Просидев более двадцати одного года отрезанным от внешнего мира, я совсем позабыл о безостановочном течении времени и о том, что все те, редкие на нашей родине, светила науки, которые в мое время были полны сил и энергии

* Было последовательное ухудшение общих условий в тюрьме (позднейшее примечание).— *Н. М.*

** Все было отобрано Плеве (позднейшее примечание).— *Н. М.*

*** Издана в 1908 г.— *Н. М.*

теперь должны быть совсем дряхлыми стариками, если еще живы, а более молодых я знаю только по некоторым их работам и потому нахожусь в постоянном затруднении, кому же лучше послать свою рукопись, если получу разрешение. Притом же и выбирать я стараюсь исключительно между такими, всем известными учеными, посылка которым не могла бы возбудить никаких подозрений со стороны начальства.

Как теперь ваше зрение, дорогая мама? Верочка мне пишет, что вы сильно беспокоились весной из-за того, что мое письмо немного опоздало сравнительно с предыдущими. Я лично всегда писал и буду писать вам в первые же дни по получении ваших писем и, каково бы ни было мое здоровье или другие обстоятельства моей жизни, буду сдавать их в продолжение первой же недели или в крайнем случае десяти дней после получения ваших. Но ваши письма доходят до меня не всегда в одно и то же время, а дальнейшая судьба моих зависит не от меня.

[...] Твои впечатления, Ниночка, при посещении Борка́ служат как раз повторением моих собственных. И мне в детстве все его здания и расстояния казались необыкновенно громадными, а потом, когда мне приходилось год за годом приезжать туда на каникулы, мне всегда казалось, что они уменьшаются, по мере того как вырастал я сам. Да это так и должно быть. Ведь всякие размеры мы, в сущности, относим к собственному росту, и то, что нам кажется маленьким, для крысы или мыши должно быть чрезвычайно велико.

Боюсь, моя дорогая Верочка, что твоя радость по случаю прошлогодней посылки моей рукописи Бекетову слишком преждевременна. Я до сих пор не имею о ней никакого известия, и это меня так огорчает, что если б я не привык работать ради самой работы, как пчела, которая тащит мед и воск даже в развалившийся улей, то давно бы пришел в отчаяние и жил бы, как многие, день за днем, лишь бы сутки прочь. Хотя ты и пишешь в утешение, что «рассматривать и производить опыты надо время, да время», но главная беда в том, что ему скоро 80 лет, и я даже не знаю, жив он теперь или нет, и если жив, то сохранил ли настолько бодрости или зрения, чтобы перечитать почти 500 страниц моей рукописи. Если б ты, Верочка, или Ниночка могли как-нибудь справиться о ней, то это была бы для меня самая лучшая рождественская елка будущей зимы.

Роман Сенкевича «Камо грядеши?», о котором ты спрашиваешь, я читал, и он мне понравился, хотя эпоха, которую он описывает, слишком отдалена от нас. Ее нравы и обычаи, а также склад ума действующих лиц во многом стали для нас совершенно чужды, а потому часто трудно войти в положение героев романа и прочувствовать этот роман так сильно, как могли бы прочувствовать талантливый рассказ из более близкой к нам эпохи. Возьмем, например, Петрония. Говорят, что он описан особенно хорошо, а между тем попробуй-ка войти в его душевное состояние! Поэтому и смерть его в середине романа не производит на читателя никакого впечатления.

Конечно, истинное назначение и истинная мера при оценке бытового романа должны заключаться в том, насколько верно он описывает жизнь и характеры данного времени. Когда роман написан действительно талантливо и жизнь довольно близка для нас, мы инстинктивно чувствуем в нем правду и искренность, и нам кажется иногда, что все это мы передумывали или переживали сами. Но для того чтоб обладать такой силой и яркостью изображения, необходимо, чтобы автор сам много лет вращался в том мире, который нам изображает, и наблюдал его лично, а не по одним чужим рассказам. Всякий раз, когда он изменяет этому правилу, он неизбежно будет впадать в ряд более или менее грубых ошибок. Чтоб убедиться в этом, стоит только прочесть те части рассказа или повести даже у хороших иностранных писателей, где они переносят действие в страны, которые не посещали лично, например в Россию.

Возьмем хоть у Евгения Сю лучшее место в «Вечном жиде» — описание снежных пустынь Сибири на берегах Берингова пролива после пронесшейся над ними снежной метели, поваливщей вековые ели и сосны. Для того, кто не имеет ясного представления о природе этих стран, это — чудное место; но оно теряет все свое обаяние для того, кто знает, что область северных лесов кончается за несколько сот верст до Берингова пролива, где господствуют тундры да моховые болота, а потому не может быть и вырванных с корнем вековых деревьев, о которых говорит Сю.

А о второстепенных писаниях уж и говорить нечего. В одном французском романе, принадлежащем перу небезызвестного писателя, вздумавшего перенести действие в Россию, одна глава начинается тем, как двое влюбленных сидели на берегу реки под тенью огромной клюквы (à l'ombre d'un grand klukwa). Для французов, слышавших только названия наших северных ягод, это место кажется особенно колоритно, но каково читать его нам? Конечно, у Сенкевича, который жил в Италии, не может быть таких грубых ошибок, особенно в описании природы. Но более тонкие и труднее поддающиеся анализу черты характеров и типов первых веков христианства — как их восстановить по тем отрывочным сведениям, которые дошли до нас через несколько рук, и притом нередко в противоречивом виде, или касаются только внешней стороны событий?

Даже самого языка древних римлян и греков мы, в сущности, не знаем Прослушав несколько раз, как произносят иностранные слова люди, изучившие их по самоучителям или в одиночном заключении, через третьи руки, я пришел к полной уверенности, что если бы древние поэты — Овидий и Гораций — услыхали, как их торжественно декламируют в наших европейских школах (и притом каждый народ произносит на свой лад), то они прежде всего схватились бы за бока от неудержимого хохота.

Мой привет всем, кто меня помнит и любит!

Николай Морозов.

XIII

17 февраля 1903 г.

Милая, дорогая мамаша!

Каждый раз, как я начинаю писать вам свое полугодичное письмо, мне хочется представить себе вас через разделяющее нас пространство и через долгие годы разлуки такою, как вы теперь, в своей домашней обстановке, так знакомой и близкой мне по воспоминаниям детства и юности. И каждая фотографическая картинка, доходящая до меня из родного края, каждая группа близких лиц, расположившихся на крыльцах и балконах знакомой усадьбы, снова будят в моей душе картины нашей былой жизни вместе, и так хотелось бы в эти мгновения посетить родные места и увидать снова вас, моя дорогая, и всех остальных близких людей! И я, действительно, часто вижу вас, сестер и брата, но только не такими, как вы в настоящее время, а какими я вас видал много лет назад. Правда, что, рассматривая ваши фотографии, я давно привык к вам и в вашем современном виде и новой обстановке, и, пока бодрствую, я именно и представляю вас, какими вы есть по фотографиям, не исключая и племянников с племянницами, и узнал бы каждого при первой встрече; но стоит лишь немного задремать, и все мгновенно меняется! Вы, мама, сразу молодеете лет на тридцать и более, а брат и сестры обращаются в детей!

Мне грустно подумать, моя дорогая, что ваше зрение до такой степени ослабело. А то вы увидели бы, что многое из того, к чему мы с вами так привыкли в родном имении, сильно переменилось. Развалины староборко́вского дома, где вы прежде жили и откуда, как вы мне рассказывали когда-то, выскочила ночью из окна второго этажа и убежала цыганка, посаженная туда за воровство, уже совсем исчезли без следа, а старая липа, росшая в тамошнем маленьком садике, давно свалилась, так что, выйдя за угол нашего флигеля, никто уже не видит на горизонте ее круглой вершины.

Впрочем, что же мне говорить только о ваших переменах? Окружающая нас жизнь идет своим путем и понемногу накладывает отпечаток старины и на то, что я здесь видел новым в первые годы заточения. Все давно посерело и обросло лишайниками, да и меня самого не минула рука времени, и часто теперь приходится чинить себе то печень, то легкие, то сердце, то желудок. Однако, как это ни покажется удивительным для постороннего человека, я все-таки никак не могу представить себя пожилым человеком.

Из моей жизни как бы вырезаны начисто все впечатления, свойственные среднему возрасту, и оставлены лишь те, какими подарили меня молодые годы, а потому нет на мне и того отпечатка в манерах или характере, который накладывается долгой жизнью. Благодаря этому обстоятельству из меня, должно быть, вышло нечто очень странное. Готов бы бегать

и играть с детьми, как равный с равными, и рассуждать с взрослыми о всевозможных отвлеченных предметах. Желчности же, раздражительности и нетерпимости к чужим мнениям, характеризующих утомленных жизнью людей, во мне нет даже и следов, так что разговоры или обыденные отношения со мною ни для кого не бывают в тягость.

Особенно обрадовало меня, дорогая моя мама, что в этом году у вас, по-видимому, не было никаких простуд или острых болезней. Будьте же и в будущем здоровы, а обо мне не беспокойтесь, мое здоровье не хуже, чем прежде, и за мою жизнь нет причин опасаться! Все время, какое позволяют силы, я по-прежнему посвящаю занятиям физико-математическими науками, хотя условия моей жизни стали страшно неблагоприятны для всякого умственного труда. За невозможностью разрабатывать теперь современные вопросы теоретической физики я привожу теперь в порядок запас материала, накопившегося в голове в прежние годы. Какими затруднениями ни было бы обставлено стремление человека работать для науки, но если он более тридцати лет только и думал о тех же самых предметах, то у него неизбежно накопится значительный материал и возникнет ряд идей и обобщений, которые могут привести к открытию очень важных законов природы, а эти открытия неизбежно вызвали бы при опытной проверке и практические применения, полезные для всего человечества.

Вот почему меня очень огорчают преграды, поставленные мне для того, чтоб я не мог сообщить своих научных выводов компетентным лицам! И это тем более жалко, что у меня есть все основания рассчитывать, что некоторые из них имели бы серьезное значение для физико-математических наук. Если будет благоприятный случай, я думаю еще попросить министерство об этом, но в настоящее время, судя по всему, такое обращение было бы совершенно безнадежно. По-видимому, даже и писать здесь об этом мне нельзя, так как вам, очевидно, не позволили ответить на мои вопросы в прошлом письме. Но я от всей души благодарен вам за ваши хлопоты и нисколько не сомневаюсь, что вы, со своей стороны, сделали для меня все, что от вас зависело *.

Я уже сообщал вам довольно подробно содержание двух или трех моих прежних научных работ, а о том, что̀ выйдет из современной обработки накопившихся у меня материалов, сообщу вам будущим летом, так как я больше люблю говорить о своих законченных произведениях, чем о новых замыслах, которых, может быть, и не придется довести до полного окончания.

Сестра Груша мне пишет, между прочим, что, хотя она нисколько не считается молчаливой в обществе, но как только возьмет перо, так все

---

* Весь абзац (от слова: Вот) был замазан в департаменте полиции и восстановлен здесь мною по черновику, сохранившемуся в моих шлиссельбургских тетрадях (позднейшее примечание).— *Н. М.*

сразу улетучивается у нее из головы. А вот у меня так наоборот: мне легче писать, чем говорить. Впрочем, это и понятно: ведь я каждый день аккуратно посвящаю писанию часа два или три и не считаю изученным ни одного предмета, пока не представлю его в своем изложении на бумаге. Как раз теперь оканчиваю двадцатый том своих «Научных записок и заметок», в которых заключается около пятнадцати тысяч страниц исписанной бумаги. Они-то и служат мне главным материалом, когда принимаюсь за систематическую обработку какого-либо научного вопроса.

Что же касается частной переписки с родными и друзьями, то мне кажется, милая моя Груша, большинство людей находит для нее мало материала единственно потому, что хотят говорить в своих письмах лишь одни умные вещи или передавать важные новости, которые вообще редки в обыденной жизни. По-моему, это — величайшее заблуждение. Следует писать вот, как я теперь, все, что приходит в голову, хотя бы это была, в сущности, чепуха, конечно, не очень уж глупая. Тогда окажется страшно много материала для дружеской переписки. Сидит, например, муха на стене: взять да о ней написать, и можешь быть уверена, что выйдет не хуже всего другого. Вот жаль только, что теперь зима, и у меня в комнате нет ни одной мухи (последняя, бедняжка, умерла после непродолжительной, но тяжкой болезни в начале декабря), а то я сейчас же показал бы тебе, что и этот предмет для переписки не хуже всякого другого. Пиши же и ты все, что придет в голову, ведь мелочи вашей жизни для меня особенно интересны! Это все равно, как будто видишь человека в его домашней обстановке, а не прибравшегося для приема гостей.

Ах, моя дорогая Ниночка! Прочитав названия твоих первых классных картин — «Медный кувшин перед желто-зеленой портьерой» и «Амур с головой из глины на зеленом плюшевом поле», я очень смеялся да и теперь смеюсь, хотя и знаю, что все это необходимо. Ведь по таким названиям можно было бы заключить, что ты отчаянная декадентка в живописи! Напиши мне непременно в следующий раз твои мнения о различных современных течениях в художестве, и к какому роду живописи более влекут тебя твои вкусы. Некоторые направления развились уже после того, как я исчез с земной поверхности, но кое-что я все-таки успел увидеть до того времени, забежав несколько раз в лондонские, парижские, берлинские и ваши петербургские галереи и выставки. О позднейших выдающихся произведениях я мог судить здесь лишь в прежние годы по доходившим до нас несколько лет назад иллюстрированным изданиям, а это, конечно, дает очень бледное представление об оригиналах.

Среди всех направлений второй половины XIX века особенно сильное впечатление производила на меня английская школа, так называемые прерафаэлиты. Большинство картин Берн-Джонса — это чудо что такое, так и врезываются в воображение! Не случалось ли тебе видеть копий с его «Золотой лестницы», по которой спускается толпа молодых девушек, или картин мифологического содержания вроде «Зеркала Венеры» и т. д.?

Скажи, пожалуйста, можно ли отнести Беклина к символистам, как их понимают в новейшее время в живописи, или к их родоначальникам? О символистах я не имею никакого представления, кроме того, что они любят выбирать странные сюжеты и употребляют особые приемы при наложении красок, а потому не могу иметь о них и никакого мнения. Но вот в поэзии так символизм, по-моему, выступает иногда и не совсем удачно. Несколько лет тому назад я читал по-английски одного, чуть не лучшего из этого лагеря — Мередита, и в половине фраз не мог доискаться никакого смысла, хотя Байрона, Томаса Мура и других английских поэтов читаю совершенно свободно и даже знаю наизусть некоторые из их стихотворений. А у Мередита только звучная диалектика, да еще необычно запутанное чередование рифм.

О русских представителях этого направления я ничего не знаю, кроме нескольких смешных пародий, вроде соловьевской:

Призрак льдины огнедышащей
В звучном сумраке погас,
Где стоит меня не слышащий
Гиацинтовый Пегас [139].

Еще читал я когда-то случайно с десяток стихотворений Бальмонта, относящего себя тоже к символистам. У этого — выдающийся талант. Нужно признаться, что все, необычное по форме или содержанию, действует на нас заразительно. Это так верно, что, прочитав его стихи, и я сейчас же захотел написать что-нибудь в необычном роде и придумал, между прочим, рифмы на четвертом слоге от конца. Таких еще ни разу нигде не употребляли, но их оказалось так мало, что писать этим размером почти невозможно, и мне удалось закончить только одно стихотворение:

В южном море воющая
Мечется волна.
Вечно берег роющая,
Риф дробит она;
Но за рифом скрывшееся
Озеро молчит,
И над ним склонившееся
Небо вечно спит.
Так, стена́ми скованные
В мире гроз и бед,
Словно заколдованные
Спим мы много лет [140].

Впрочем, ведь ты, Ниночка, художница, и стихи, верно, не по твоей специальности.

Благодаря тому, что у меня существует потребность поговорить в моих письмах с каждым из вас отдельно, они неизбежно всегда страдают от-

рывочностью. Приходится постоянно перескакивать от одного предмета к другому: от ниночкиных художественных успехов и картин * вдруг переходишь к моим собственным огорчениям из-за того, что не хотят выпустить на волю мои последние научные работы и новые математические формулы, хотя моя компетентность в этих предметах и признана теперь официально, благодаря отзыву Д. П. Коновалова [141].

Все ваши фотографические снимки я переплел в один том, и вышел великолепный альбом, так что при первом желании я могу вас всех увидеть и прогуляться в воображении почти везде по родным местам. Выпавших из гнезд ласточек в этом году нам уже нельзя было воспитывать (*жандармы хватали и убивали.— Н. М.*), но воробьи по-прежнему прилетают, едят из рук и зимой садятся на колени целыми стаями.

Твой рассказ, Верочка, о местных школах и ежегодных поездках с мамашей в Никольское к пасхальной заутрене был для меня очень интересен и впервые дал мне более отчетливое представление о современном деревенском быте. Это хорошо, что козлогласие в ваших деревенских церковных хорах исчезает, а то у меня до сих пор скрипит в ушах, как только вспомню, что это было за пение, когда к нам приезжали «славить Христа». Что же касается твоих ястребенков, то мне кажется, моя дорогая, твои оппоненты были правы. Хищных птиц, конечно, не следует плодить, хотя я и понимаю вполне, что тебе было жалко отдавать их на чучела, после того как ты сама их вырастила. Но ведь подумай только, что каждая из них, для того чтобы существовать, неизбежно должна пожирать каждый год сотни три невинных певчих пташек! Если б мне случилось когда-нибудь побывать летом в Борке́, я непременно взял бы лестницу и осмотрел бы внутренность каменных ворот. Там, в столбах, наверно живут те совы, которые истребили всех соловьев в нашему саду. А вот галке твоей передай мой поклон. Как она поживает?

На твой вопрос о моих научных занятиях и предположениях не могу пока сказать ничего утешительного. Ты сама видишь, как плохи стали условия для научных работ. Привожу в порядок накопившиеся материалы в ожидании лучших дней, как это приходилось делать и ранее, когда условия были еще хуже. Оглядываясь назад на эти двадцать два года, протекшие со времени моего последнего ареста 28 января 1881 г., я не без облегчения вижу, что за все это время я никогда не впадал в мизантропию и не терял способности к умственной работе, хотя более половины моей жизни прошло в одиночестве, за семью замками. При встречах с другими людьми, кто бы они ни были, но особенно с товарищами по судьбе, я всегда показываю веселую физиономию. А так как мне разрешено видеться с другими только на прогулках, то почти никто из товарищей

---

* Текст от слова *вдруг* до конца абзаца был вымаран в департаменте полиции и восстановлен здесь мною химическим путем (позднейшее примечание).— *Н. М.*

и не подозревает, сколько порошков и микстур мне приходится проглатывать по временам, чтоб поддерживать свое существование. Вообще я очень хорошо умею владеть собой и, кажется, не навожу своим видом тоски ни на кого из окружающих *.

Чтоб спокойнее спать и не видеть во сне математических формул, постоянно читаю на ночь что-нибудь более легкое, по возможности иностранные романы, чтобы не позабыть языков; если же случайно не сделаю этого, то долго не могу заснуть. Не так давно читал дедушку Дюма в переводе с его родного французского языка на английский, а в последнее время перечитывал еще Реклю «Земля и люди».

Будем же надеяться и теперь на лучшие дни! Целую вас всех, мои дорогие!

XIV

25 июня 1903 г.

Милые мои, дорогие!

Сейчас я получил все ваши письма и карточки и нахожусь еще во взволнованном состоянии, как и всегда в такие дни. Эти дни я посвящаю исключительно нашим семейным воспоминаниям и обыкновенно бросаю всякие посторонние занятия до тех пор, пока не соберусь ответить. Сегодня же я особенно доволен, так как получил вашу посылку ранее обыкновенного, и неожиданность еще прибавила к моей радости. Кроме того, когда получаешь известия скоро после их отправления, то меньше остается опасений, что с тех пор могло случиться что-нибудь дурное.

Я живу по-прежнему, моя дорогая мамаша, здоровье мое не хуже, чем ранее; по крайней мере, вся зима прошла без каких-либо острых болезней, а к обыкновенным хроническим я давно привык. Несравненно больше я беспокоюсь за ваше здоровье, и потому известие, что у вас в последнее время не было никаких особенных болезней, кроме прошедшей уже благополучно опухоли лица, сильно облегчило мне душу.

Лето стоит пока очень теплое и ясное. У вас в имении собралось уже, наверно, много народу. Что-то вы поделываете в этот вечер, когда я вам пишу? Может быть, катаетесь на лодке на пруде парка или еще сидите и толкуете за чаем на балконе дома? Или кто-нибудь читает вам газету или журнал, или все ушли куда-нибудь в поле, как это иногда делали мы при отце?

Я очень рад, что Верочка, а с нею и вы все уже получили ответ от министра внутренних дел о том, что моя рукопись «Периодические систе-

* Весь этот большой абзац (от слов: На твой вопрос) был замазан в департаменте полиции, но потом восстановлен мною химическим путем (позднейшее примечание).— *Н. М.*

мы» * была передана на рассмотрение одному из профессоров и что его мнение уже передано мне.

— Что сказал профессор? — спрашивает меня Верочка,— сделал ли он нужные опыты? Как он мог прочитать так скоро все пятьсот страниц рукописи?

Признаюсь, что мне довольно трудно вам ответить на ваши вопросы в такой форме, которая была бы понятна для не занимающихся специально этим предметом. Боюсь, как бы не вышло слишком скучно. Однако все-таки попытаюсь передать вам сущность дела, насколько это возможно на одной страничке моего письма.

С самых давних пор, как только возникло современное естествознание, считается нерешенным один очень важный вопрос: как произошли в природе современные металлы — железо, серебро, медь и другие — а вместе с ними и некоторые неметаллические вещества, например, сера, фосфор и, главное, газы воздуха? Можно ли считать их абсолютно неразложимыми на более простые и первоначальные вещества, присутствие которых астрономия указывает на некоторых звездах и в находящихся между ними то там, то здесь туманных скоплениях, или же, подобно тому как все окружающие нас камни и почва состоят главным образом из соединения металлов с газами воздуха, так и сами эти металлы и газы состоят из некоторых других, еще более первоначальных веществ, чрезвычайно прочно соединившихся между собою?

Все эти не разрешенные ранее вопросы занимали меня с давних пор, и им-то (как я уже не раз писал вам прежде) и была посвящена моя работа. Предмет этот чрезвычайно важен не только для будущего развития физики, химии и астрономии, но и для всех наших основных представлений о прошлой и будущей жизни вселенной. Большинство самых выдающихся заграничных ученых склонно решать этот вопрос в том же смысле, как решаю его я в своем сочинении, и даже думает, что все окружающие нас предметы образовались из одного и того же первоначального вещества, называемого мировым эфиром. Правда, что, оставаясь на строго научной почве, нельзя еще в настоящее время довести дело до самого первичного вещества, как не довел его и я, но все же мне после многолетних размышлений и вычислений удалось показать вполне научно, каким образом могли образоваться все современные металлы и простые неметаллические тела лишь из трех родов более первоначального вещества. При этом объясняются все их физические и химические свойства, история и время образования их на Земле и других небесных светилах, а вместе с тем предсказываются как неизбежные последствия и некоторые явления, считавшиеся до сих пор совершенно необъяснимыми, например, присутствие кристаллизационной воды в большинстве растворимых кристаллов и самое ее количество в каждом из них.

* Вышла отдельным изданием после освобождения в 1908 г. (позднейшее примечание).— *Н. М.*

Но, к сожалению, в последние два-три десятилетия между русскими, и особенно петербургскими, химиками возникло новое направление, представители которого считают все металлы, все главные газы воздуха и несколько других неметаллических веществ абсолютно неразложимыми ни на что другое, т. е. существующими вечно и неизменно в той или другой своей форме, каждый элемент как своеобразное вещество, о разложении которого нечего и думать. Вот почему при посылке моей рукописи мне очень хотелось выбрать такого из видных представителей русской науки, который не держался бы этих взглядов, а был бы, наоборот, склонен, как большинство иностранных ученых, считать металлы неразложимыми только потому, что нет такой реторты, где их можно было бы нагреть тысяч до десяти градусов.

Мне казалось, что такой ученый, увидев в моей работе только подтверждение своих собственных взглядов, охотно произвел бы те опыты, о необходимости которых я говорю, между тем как представитель противоположных воззрений, привыкший считать все попытки в этом направлении заведомо безнадежными, должен был бы, прежде чем приняться за дело, переубедиться во всех своих основных представлениях.

Но, к несчастью, мои дорогие, мое сочинение было передано не Бекетову, а одному из самых крайних представителей противоположных взглядов. Этот ученый — несомненно, очень образованный, добросовестный, но мои доводы его не переубедили, а потому он, конечно, не произвел и указываемых мною опытов, тем более что они не из легких *. Однако, несмотря на это, он дал (не мне, а начальнику, от имени которого и была послана ему рукопись) очень лестный отзыв о моей работе. Но так как мне неловко самому себя хвалить и это всегда выходит очень смешно, то уж лучше я приведу в ответ на вашу просьбу целиком несколько строк из начала и конца его отзыва, тем более что точные, собственные выражения человека всегда интереснее их пересказа другими словами.

«Автор сочинения,— начинает он,— обнаруживает большую эрудицию, знакомство с химической литературой и необыкновенное трудолюбие. Задаваясь общими философскими вопросами, он не останавливается перед подробностями, кропотливо строит для разбора частностей весьма сложные схемы».

Затем профессор, рассматривавший мою работу, делает несколько исторических и общих замечаний, по-видимому, не имеющих прямого отношения к моей рукописи. Так, например, он говорит, что «вес и непревращаемость элементов», т. е. металлов и металлоидов, «сделались со времен Лавуазье основными понятиями, и все, что есть ценного в химии, постро-

---

* Рукопись была передана проф. Д. П. Коновалову, но мне было почему-то запрещено сообщать об этом родным, вероятно, чтобы избежать их хлопот через него об мне, или, право, не знаю почему! (позднейшее примечание).— *Н. М.*

ено на этих понятиях». Но так как в этом своем сочинении я нигде не говорил о возможности изменять вес предметов на земной поверхности, а относительно возможности особыми, выводимыми теоретически способами приготовлять в лабораториях некоторые вещества, до сих пор не разложенные химией, я говорил лишь в одном месте (да и то лишь в семнадцати строках среди целого тома рукописи), то эти слова являются, по-видимому, не возражением мне, а лишь желанием со стороны профессора особенно настоятельно выразить свое собственное убеждение в полной самостоятельности каждого из современных металлов и металлоидов и в их вечном существовании в природе в том или другом состоянии, т. е. твердом, жидком, газообразном, свободном или соединенном химически с другими веществами. Это особенно ясно из последних строк данного места, где он говорит, что «химический элемент», т. е. основная сущность каждого отдельного металла, каждого из газов воздуха и т. д., есть «тайна природы», которая не будет разгадана гипотезой об их сложности, какого бы вида сама эта гипотеза ни была.

Затем, снова возвращаясь к моей работе, он говорит о ней так: «Работа автора — это удовлетворение естественной потребности мыслящего человека выйти из пределов видимого горизонта, но значение ее чисто субъективное (*т. е. такое, где каждый имеет право оставаться при своем мнении*). Это удовлетворение собственного ума, это личная атмосфера, ибо недостает еще проверки; нельзя ли было бы прийти к тем же выводам, каковы, например, интересные соображения автора о кристаллизационной воде, обыденными средствами, не прибегая к гипотезам, требующим такой радикальной реформы ходячих понятий».

Каким образом можно было бы получить те же результаты, какие получил я, если оставаться на точке зрения ходячих понятий, профессор не говорит, но, по-моему, это совершенно невозможно, так как над данным предметом работали почти все XIX столетие и никаких удовлетворительных результатов не получили, между тем как моя теория подтверждена мною более чем тысячью примеров, почти всем, что было до сих пор известно относительно кристаллизационных соединений. Как жаль, что я не могу представить ему трех томов моих материалов об этом, собранных в другом моем сочинении — «Строение вещества» *. Однако, не имея возможности разбирать здесь этот специальный предмет, я прямо перехожу к последним строкам его отзыва.

После совершенно справедливого замечания о трудности работать на почве чисто «абстрактной», т. е. одной головой, не имея возможности помогать себе опытом, профессор снова возвращается к моему сочинению и говорит:

---

* Эта специальная работа до сих пор не нашла себе издателя (позднейшее примечание).— *Н. М.*[142]

«После той большой работы мысли, которая затрачена автором на анализ химических отношений с высоты, так сказать, птичьего полета, можно было бы ему посоветовать остановить свое внимание на областях более ограниченных с тем, чтобы дать их законченную обработку. Опыт мышления и приобретенный навык не пропадали бы даром. Могло бы случиться то, что случилось с Карно, открывшим свой знаменитый закон термодинамики при помощи неправильного представления о теплоте. Представление о сущности теплоты, как видно, не играло роли в выводе, созданном верным пониманием реальных соотношений».

Последними словами он хотел сказать, что хотя представление о сложности металлов, газов сухого воздуха и т. д. и о происхождении их из более первоначальных веществ и неправильно с его точки зрения, но при моем верном понимании реальных соотношений, т. е. фактической части науки, оно не помешало бы мне, как и знаменитому французскому физико-математику Карно, сделать открытия первостепенной важности при разработке подробностей моей теории. В заключение он извиняется за то, что уделил моей теории недостаточно времени, так как ежедневные научные работы приучают оставлять в стороне все субъективное, т. е. не доказанное еще никаким опытом, такое, где каждый имеет право оставаться при своем мнении.

Вот, мои дорогие, и все, что он сказал. Принимая во внимание, что этот отзыв сделан одним из сторонников противоположных воззрений на природу вещества, он в общем является очень лестным для меня. Мне даже положительно неловко было собственноручно переписывать и пояснять вам некоторые из его выражений, но так как в моем распоряжении нет никого другого, кто мог бы это сделать вместо меня, то для меня и не остается здесь никакого иного выхода. Поэтому я вам и переписал буквально все, что́ непосредственно относится к моей рукописи, а заметки исторического и общего характера, касающиеся воззрений самого профессора, передал в кратком изложении. Никаких указаний на ошибки или возражений на научную строгость и логичность моих выводов — раз мы станем на точку зрения происхождения металлов и металлоидов из более первоначального вещества — в отзыве нет. И действительно, разбиравший мою работу ученый хорошо знает, что тех же основных убеждений, как и я, держались и держатся многие первоклассные ученые как в России, так, особенно, и за границей.

Хорошо здесь то, что благодаря этому отзыву мне, вероятно, легче будет получить разрешение министра на передачу других моих работ, если когда-нибудь наступят благоприятные времена *. Но печально то, что ни-

---

* Это оказалось бессмысленным мечтанием. После вышеприведенного отзыва мои научные работы стали еще усиленнее охраняться от всякого постороннего взгляда (позднейшее примечание).— *Н. М.* [143]

каких опытов в подтверждение моих выводов не было сделано, и особенно то, что рукопись моя снова возвращена мне, тогда как я надеялся, что она останется у того ученого*, которому я просил ее передать, и что она принесет свою пользу, если какое-либо неожиданное открытие оправдает мои взгляды. Ну, вот, мои дорогие, на этот раз я преподнес вам целых полторы страницы ученой материи, которая окажется, вероятно, очень скучной для большинства из вас.

Твой испуг, дорогая Нина, что я приму тебя за декадентку в живописи, был совершенно напрасен: ведь я уже не раз имел описание твоих картин как от тебя самой, так и от сестер. Ты совершенно права, говоря, что старинная школа никогда не утратит своей прелести, хотя техника, конечно, сильно усовершенствовалась со времен Рубенса и его современников, картины которых мне случалось не раз рассматривать в музеях. Самое искусство сильно расширило свою область, охватило новые, волнующие и затрагивающие нас стороны и эффекты в окружающей нас природе, отметило новые черты одухотворенной красоты и новые внешние проявления внутреннего чувства и мысли на лице человека, о которых старинные мастера даже и не мечтали, хотя великое историческое значение их никто не может отрицать.

В середине XIX века искусство, мне кажется, стало правдивее и реальнее даже в самом идеализме, а потому как-то ближе и родственнее нам. Новых картин, писанных мазками, я, конечно, никогда не видал, а потому не могу о них судить, но в рисунках эта манера производит иногда положительный эффект. Впрочем, боюсь, как бы не оказалось, что мы говорим совсем о разных предметах. То, что я видел года три тому назад в одном из английских иллюстрированных журналов, были, собственно говоря, не мазки и кляксы, а смелые и резкие толстые черты, где несколькими взмахами вычерчивалась целая фигура.

Что же касается твоей симпатии к лягушкам, то, можешь себе представить, ведь и я ее разделяю! В эту весну удалось раздобыть несколько лягушачьей икры и вывести из нее в глиняном тазу на прогулке несколько головастиков, а затем и настоящих крошечных лягушонков. Было очень забавно, когда первый из них начал прыгать крошечными прыжками. Но, к сожалению, каждый вылезавший из сосуда лягушонок уже не возвращался в него, а куда-то исчезал.

Ты видишь сама, милая Верочка, что для воспоминаний о прошлом в этом письме не остается места. Постараемся вознаградить себя в следующем.

На вопрос же твой о моих новых ученых работах я, по-видимому, еще успею тебе ответить. (Я ведь обязательно должен в своих письмах помещать все, что хочу сказать вам, на одном листе.)

---

* Н. Н. Бекетова (позднейшее примечание).— *Н. М.*

После окончания осенью моих «Основ качественного физико-математического анализа», о которых было уже рассказано в прошлом письме, я некоторое время отдыхал и читал английские романы, а затем, через месяц, снова принялся за работу и теперь только что окончил книжку, составляющую уже 21-й том моих научных работ. Она небольшая, всего полтораста страниц, и называется «Законы сопротивления упругой среды движущимся в ней телам» *. Над этим вопросом я уже давно работал, потому что хотел разъяснить себе, каким образом Солнце, Земля и другие небесные светила не испытывают заметных замедлений при своих движениях в светоносной мировой среде, но долго натыкался в своих поисках на непреодолимые аналитические затруднения. Вопрос этот в науке считается одним из самых трудных, и над ним работают еще со времен Галилея.

Только в последнюю зиму мне удалось, наконец, вывести настоящие формулы, т. е. найти такие интегралы, которые дают величины, хорошо подходящие к результатам опытов и наблюдений, и притом вполне объясняют общую картину явления. Это меня страшно обрадовало; я сейчас же принялся делать целые ряды вычислений, которыми исписал несколько тетрадей, и затем, подведя результаты, окончил всю работу в два месяца и только что переплел ее перед получением вашего письма. Об этом новом исследовании уже нельзя сказать, чтобы оно было исключительно теоретического интереса. Вопрос о сопротивлении среды составляет один из главных предметов преподавания во всех артиллерийских академиях под названием «внешней баллистики». А полученные мною формулы дают возможность очень точно вычислять движение в атмосфере каких угодно летящих тел.

Эти формулы сразу разрешили и интересовавший меня вопрос о сопротивлении междузвездной среды движущимся в ней небесным светилам. Величина его оказалась такой малой, что ее влияние можно заметить только в миллионы лет.

[...] Прощайте, все мои дорогие, будьте здоровы и счастливы. Целую много раз мою добрую мамашу и всех остальных наших близких и знакомых. Сегодня как раз день моего рождения, и теперь ты, мамаша, верно вспоминаешь обо мне!

---

* Была напечатана по освобождении меня из Шлиссельбурга в «Известиях С.-Петербургской биологической лаборатории Лесгафта» (т. IX, вып. 2) и отдельным изданием в 1908 г. «Основы качественного физико-математического анализа» были напечатаны в 1908 г. (позднейшее примечание).— *Н. М.*

XV

13 февраля 1904 г.

Дорогая моя, милая мамаша, только что получил я вашу обычную посылку и вспомнил при этом, что теперь наступил уже 9-й год нашей переписки, не считая прежних отрывочных известий, передававшихся от вас в эти 23 года моего заключения. День был сумрачный и тусклый, но он показался мне на этот раз еще тусклее, потому что не пришло вместе с письмами тех фотографий, которые были приложены к посылке и на которых я снова надеялся увидеть ваши дорогие лица и места, где прошли мои детские и юношеские годы. Я искренне надеюсь, что тут было какое-нибудь недоразумение, потому что фотографии мне было разрешено получать от вас еще в прошлое царствование, и некоторые были переданы мне в декабре 1893 или январе 1894 года. Я сейчас же написал об этом вместе с просьбой передать их мне, если тут вышло какое-нибудь недоразумение, и надеюсь, что еще получу их через некоторое время *.

Теперь же буду радоваться и тому, что узнал, по крайней мере, что все вы живы и более или менее здоровы.

Вот скоро вы дождетесь и весны и теплых солнечных дней, и скоро будет у вас в имении весело и людно, и снова вы, моя любимая мамаша, будете окружены своими близкими людьми и будет вам куча хлопот, чтобы ублаготворить их всех! Будьте же здоровы и счастливы, моя дорогая, и не беспокойтесь так много обо мне, потому что моя жизнь и теперь идет так же, как и в прошлые годы. Правда, здоровье по-прежнему слабо, и по временам становится тоскливо от однообразия, но ведь это продолжается уже столько лет! Если судьба не лишит меня когда-нибудь возможности ежедневно заниматься своими научными работами, обдумывать и решать различные загадки природы, отыскивать скрытые еще от нас законы мировой жизни и стараться выразить их в точных математических формулах, то моя жизнь, вероятно, протянется еще не один год, и я напишу в своем уединении еще не один том физико-математических исследований.

Это просто удивительно, но до сих пор я еще нисколько не забыл того, что́ когда-то окружало меня и чего я не видал почти четверть столетия! Ни простора полей и лугов, ни тишины и безмолвия наших северных лесов, ни плеска волн, ни бездонной глубины открытого со всех сторон ночного неба с его миллионами звезд, ни лунных зимних ночей с бесчисленными отблесками лунного света по снежным равнинам, среди которых мы не раз езжали с вами по проселочным дорогам, одним словом ничего, что́ было так давно! Чем дальше уходит все это в глубину прошлого, тем становится милее и ближе сердцу, и часто все это представляется мне в воображении, как живое, и снова возникают перед этими

---

* Это было напрасно. Министр внутренних дел все запретил (позднейшее примечание).— *Н. М.*[144]

призраками прошлого прежние чувства и прежние вопросы, которые возникали когда-то:

> Что звенит там вдали, и звенит, и зовет?
> Для чего по пути пыль столбами встает?
> И зачем та река широко разлилась,
> Затопила луга, лишь весна началась?

Но довольно об этом! Я знаю, дорогая, что и без слов все это хорошо понимаете, потому что и сами давно не видите ничего. Но зато какая радость была бы для вас, если бы вы решились, наконец, снять со своих глаз катаракты, и операция вышла бы удачная!

[...] А ведь все современное естествознание, к которому влекло меня почти с самого детства, есть не что иное, как искание истины в природе и вечных законов, которыми управляется вселенная. Ведь только тот, кто любит истину более всего на свете, и может быть способным, как истинные современные ученые, бескорыстно проводить и дни и ночи, тратить свои силы и здоровье над разрешением мировых загадок, радоваться от всего сердца, когда удается что-нибудь прибавить к тому запасу истинного знания, которым обладает в настоящее время человечество, и приходить почти в отчаяние, когда поиски не приводят к желанным результатам [145].

Одно время (хотя уже давно) у меня не было другого чтения, кроме Библии, и, перечитав ее несколько раз, я и до сих пор помню наизусть очень многие ее места. К некоторым из библейских книг я относился особенно внимательно, так как в них нередко говорится о таких предметах, которые меня особенно интересуют, например о географических представлениях прошлых поколений человечества. Но более всего заинтересовал меня Апокалипсис, в котором, кроме чисто теологической части, есть прекрасные по своей художественности описания созвездий неба с проходившими по ним тогда планетами, и облаков бури, пронесшейся в тот день над островом Патмосом.

Однако всю прелесть этого описания может понять только тот, кто хорошо знаком с астрономией и ясно представляет себе все виды прямых и понятных путей, по которым совершаются кажущиеся движения описанных в Апокалипсисе коней-планет, и кто хорошо помнит фигуры и взаимные положения сидящих на них зверей — созвездий Зодиака, с их бесчисленными очами-звездами. Тот, кто не знает вида звездного неба, кто не может сразу показать, где находятся в данное время дня и года описанные там созвездия Агнца или Овна, Весов, Тельца, Льва, Стрельца, Алтаря, Дракона и Персея, кто никогда не читал в старинных книгах о древнем символе смерти — созвездии Скорпиона, по которому несся тогда бледный конь Сатурн, или о созвездии Возничего с его Конскими Уздами, до которых протянулась тогда, после грозы, кровавая полоса вечерней зари, или о созвездии Девы, которое было тогда «одето» Солнцем, кто не видал в темную звездную ночь, как двадцать четыре старца-часа, на которые разде-

ляется в астрономии небо, обращаются вокруг вечно неподвижного полюса, символа вечности,— для того будет совершенно потеряна вся чудная прелесть и поэзия лучших мест этой книги, и в голове его не останется ничего, кроме какого-то кошмара от всех этих «звериных фигур», с которыми он не может связать надлежащего представления!

Только потому, что мне пришлось читать эту книгу уже после того, как я хорошо узнал астрономию и помнил много типических форм облаков, встречающихся постоянно во время гроз, она и могла произвести на меня такое сильное впечатление! Она мне так понравилась, что, несмотря на свою нелюбовь к греческому языку, которым меня так неумеренно упитывали в гимназии, я не только прочел эту книгу в подлиннике, по-гречески, но даже и перевел ее с объяснениями, потому что на греческом она оказалась вне сравнения лучше и яснее, чем в обычных переводах на русский и другие языки.

Но даже и этим не ограничились мои теологические занятия этого лета! Еще при первом чтении Апокалипсиса я заметил, что описанные там виды звездного неба и положения планет среди созвездий дают полную возможность вычислить астрономическими способами, когда небо имело такой вид, и, следовательно, определить и год, и месяц, и день, когда была написана эта книга, о времени составления которой не только историки, но даже и теологи не могут прийти к соглашению, считая достоверным лишь то, что она написана очень поздно, не ранее конца первого столетия нашей эры.

Вычисление это, относящееся к такому далекому прошлому, конечно, очень трудно без таблиц Леверрье, т. е., вернее, утомительно и сложно, и распадается на несколько рядов различных вычислений, а каждый ряд распадается в свою очередь на несколько других, подчиненных. Но я был так заинтересован, что все-таки принялся за это и, исписав цифрами с лишком девяносто страниц бумаги и проследив таким путем движение всех планет по небу за первые восемьсот лет после рождества Христова, получил, наконец, двумя различными способами, что в описанном в Апокалипсисе виде звездное небо представлялось с острова Патмоса только в воскресенье 30 сентября триста девяносто пятого юлианского года, между четырьмя и восемью часами вечера! Я хотел было сделать и еще проверочное вычисление третьим способом, но это пока не удалось. Дело в том, что такого рода вычисления нельзя прерывать, иначе потеряешь связующую нить, а над первыми двумя мне уже пришлось подряд заниматься каждый вечер в продолжение почти целого месяца. Это так меня утомило, что, наконец, затрещала голова, и я начал ходить, как в тумане. Пришлось дать себе отдых, принявшись для отвлечения мыслей за чтение иностранных романов, как я обыкновенно делаю в таких критических обстоятельствах. После же отдыха, когда снова просветлело в голове, я уже не возвращался к занятиям теологией, а принялся снова за разработку различных вопросов по физике и физической математике, так как этот предмет меня менее утомляет, чем какие-нибудь другие, непривычные.

Спасибо тебе, дорогой мой Петя, за такое полное сочувствие к моим трудам по «строению вещества». Это сочувствие — именно то, чего мне более всего хотелось от тебя получить. Братские чувства всегда останутся братскими, но когда имеешь не только брата, но и человека, интересующегося теми же самыми вопросами, которыми интересуешься сам, то это вдвое дороже. Очень мне хотелось бы, чтобы ты получил когда-нибудь возможность прочитать мои работы не в тех кратких изложениях их содержания, какие я давал вам в прошлых письмах, но в полном виде. Тогда ты не спросил бы меня, как теперь, даю ли я указания, как разложить не разложенные до сих пор вещества.

В голове моей и в моих черновых заметках есть немало способов, которые подсказываются самой теорией и которые я непременно попытался бы осуществить, если бы была хоть какая-нибудь возможность. Что же касается моего сочинения «Периодические системы», которое было рассмотрено Д. П. Коноваловым *, то в нем я только вскользь указывал на два способа, потому что я хорошо знал скептицизм большинства русских ученых по этому предмету. Вот если бы я был в Англии, то, конечно, написал бы совершенно иначе, потому что выдающиеся британские ученые держатся совершенно противоположного мнения, чем наши. И можешь себе представить! Их опыты уже подтвердили очень многое из того, что я несколько лет тому назад вывел теоретически в этой моей работе.

Помнишь, я говорил вам не раз **, что моя теория строения вещества предсказывает, как совершенно необходимую вещь, что в состав современных металлов и металлоидов входят гелий, водород и еще третий, до сих пор не исследованный элемент, свойства которого я указывал. И что же? Почти все это теперь уже подтвердилось опытами и наблюдениями английских и американских ученых! Присутствие структурного водорода в атомах металлов указано английским астрофизиком Локьером путем спектроскопического исследования некоторых звезд, где металлические пары отчасти разложились от страшно высокой температуры; а гелий и еще какой-то новый неизвестный газ оказались постоянно выделяющимися из недавно открытого металла радия и потому должны присутствовать и в остальных металлах. Поэтому можно сказать с уверенностью, что через несколько лет пребывания здесь мои работы будут лишь запоздалыми пророчествами о таких предметах, которые сделаются общепризнанными. Если б я был мелочно самолюбивым человеком, то я очень огорчался бы такой потерей своего труда. Но для меня, наоборот, каждый такой случай подтверждения бывает настоящим праздником. Только бы больше было света и истинного

---

* Фамилию Коновалова вычеркнули, чтоб не дать моим родным возможности повидаться с ним (позднейшее примечание).— *Н. М.*

** В прежних письмах, например в письме 11-м, от 2 марта 1902 года (позднейшее примечание).— *Н. М.*

знания в человеческих головах, а откуда оно пришло, из Англии, Америки или Австралии, не все ли это равно?

Очень бы хотелось мне, дорогая Груша, исполнить твою просьбу и рассказать тебе что-нибдуь о своей жизни. Но для воспоминаний о прошлом теперь нет места, а современное не представляет подходящих предметов для переписки. Могу только сказать, что у меня, как у тебя, есть порядочно друзей из животного мира: воробьи, о которых я не раз писал, и несколько галок и голубей по-прежнему не перестают навещать меня на прогулках. Да вот еще хромая ворона прилетает по временам и просит себе чего-нибудь поесть. Ласточек в это лето не удалось воспитывать, да и синички почему-то исчезли в эту зиму, а то ранее одна из них даже забралась зимой на воротник моей шубы и долго чего-то искала носиком у меня за ухом, хотя никаких насекомых здесь, слава богу, не водится.

Я чувствую по временам симптомы малокровия. Всего лишь несколько дней назад, возвратившись к себе в комнату с прогулки, где пришлось расчищать себе дорожку от снега, я вдруг увидел от утомления перед обоими глазами светлые, большие пятна почкообразной формы, замечательно хорошо обрисовавшиеся на тусклом освещении противоположной стены. Таких я еще никогда не видал и потому присел, не раздеваясь, чтобы наблюдать их изменения, пока не пройдут совсем, но они лишь постепенно ослабевали и, наконец, исчезли, не обнаружив ничего особенно интересного. По причине этой слабости я и не занимаюсь совсем физическим трудом за исключением переплетного, да и то не более двух недель в году.

[...] Целую тебя семьдесят семь раз, дорогая Верочка, за то, что ты так хлопочешь и заботишься о моих работах. Какой ответ получила ты о них от министерства внутренних дел? Твое письмо, по женскому обыкновению, без обозначения года и месяца, но мне кажется, что оно написано в начале ноября, а потому и все, что ты говоришь в нем, относится еще к осени.

Ты спрашиваешь меня, что я сделал со своей работой «Законы сопротивления упругой среды». И много и мало, мой милый друг! Еще в июне прошлого года я имел случай просить министра о посылке этой работы (вместе с «Качественным физико-математическим анализом» и первым томом «Строения вещества») на рассмотрение некоторым ученым, особенно компетентным в этих предметах, по моему мнению, и к величайшей своей радости получил разрешение. Все три рукописи были сданы мною еще в июне, но, к сожалению, до сих пор не удалось осуществить их передачу этим лицам*, и потому в январе я попросил министра внутренних дел

* Они все время лежали у «Удава» [Яковлева], как мы называли нашего коменданта, и совсем никому не были посланы до года моего освобождения. Все сообщения мне об их посылке Д. И. Менделееву и Н. Н. Бекетову были, как оказалось потом, обманом, неизвестно зачем сделанным (позднейшее примечание).— *Н. М.*

сделать это иначе (имен я, по-видимому, не могу тебе называть) *, и потом передать их вам ввиду того, что вам так хотелось этого. Не знаю, окажется ли это возможным теперь. Мне так хотелось бы, чтоб мои работы, на которые я потратил столько лет, не лежали простым научным балластом. Я знаю, что в них есть выводы, которые должны показаться неожиданными для большинства специалистов, но все они относятся к таким вопросам, которые еще считаются нерешенными, а потому и оценка их неизбежно будет носить субъективный характер, в зависимости от взглядов того лица, которое будет их читать.

В таких работах неизбежно приходится критиковать некоторые из старых воззрений и высказывать новые, потому что ведь если б все повторяли только старое, то как могла бы наука двигаться вперед? Мне очень хотелось бы, чтоб после рассмотрения учеными мои рукописи сохранялись у вас, потому что в моем положении легче написать несколько томов научных работ, чем переслать их потом на рассмотрение кому-нибудь компетентному, кто мог бы воспользоваться ими.

[...] Ты спрашиваешь меня о моих новейших занятиях. Летом и осенью, после отсылки вам письма, я занялся главным образом писанием второго тома «Основ качественного физико-математического анализа», а затем, в промежутки, написал три небольших исследования о структуре атомов вещества.

В одном из них я изложил в возможно общедоступной форме взгляды на этот предмет выдающихся ученых XIX века и привел новые доказательства сложности атомов. В другом рассматривал причины самосвечения радия и других подобных ему веществ, а третье было посвящено электрическим явлениям и электрическим атомам.

Так и проходило мое время день за днем, а на сон грядущий для отвлечения мыслей прочитывал по обыкновению по нескольку десятков страниц из какого-либо иностранного романа, чтобы не забывать языков. Только — страшная досада! — большинство из тех романов, которые пришлось читать в последнем году, были с преотвратительными концами, а ты знаешь, как я не люблю этого. И без того жизнь невесела, а тут еще и в романе дополнительное горе!

Единственным оправданием такого безжалостного обращения авторов с действующими лицами в этом случае может служить разве только то, что

* Я сказал дежурному офицеру (узнав, наконец, что мои рукописи еще лежат у коменданта): «Если даже такие люди, как Д. И. Менделеев и академик Н. Н. Бекетов, кажутся в министерстве внутренних дел подозрительными, то пусть перешлют их просто в Академию наук, как это принято за границей». Офицер сказал, что сообщит об этом через департамент полиции министру, и через две недели передал ответ министра внутренних дел: «О передаче в Академию наук нечего и думать» (позднейшее примечание).— *Н. М.*

они помещены в чрезвычайно дешевом издании чуть не по десяти копеек за роман, так что я вспомнил, читая их, одну карикатуру в каком-то старинном иллюстрированном журнале.

Там изображена была толстая уличная торговка пирожками, а перед ней покупатель-мастеровой, только что откусивший от купленного у нее пирожка один из концов и вытащивший из него при этом зубами лоскуток сукна вместо говядины.

— Что же это такое? — говорит он торговке, показывая ей этот лоскуток.— Пирог-то с сукном!

— А ты что же,— отвечает ему она, упершись руками в бока,— за две-то копейки с бархатом, что ли, захотел?

Так и с этими моими романами! Если б кто-нибудь из читателей захотел пожаловаться на то, что в конце каждого из них все действующие лица погибают от чахотки, самоубийства и всевозможных напастей, и никто не может уцелеть, то автор мог бы с таким же правом, как и эта торговка, ответить ему:

— А ты что же, за десять-то копеек, да еще с хорошим окончанием захотел?

Обнимаю и целую вас всех! Мой привет тем, кто меня еще не забыл!

Николай Морозов.

XVI

25 июня 1904 г.

Вот уже прошло несколько дней, милая моя мама, как я получил ваши письма и снова увидел ваше дорогое лицо. Сколько морщинок провело на нем неумолимое время с тех пор, как мы расстались! Но все же я с отрадой замечаю, что за последние годы вы изменились очень мало, и на последней фотографии (увы! единственной из трех, посланных в этот раз Верочкой и переданной мне) вы вышли даже несколько моложе и здоровее, чем были на некоторых из прежних снимков. И в этот раз, как прошлой весной, мне приходится отвечать вам в день своего рождения, и когда я стал по этому поводу припоминать для вас что-нибудь из нашей прошлой жизни, то мне вспомнилось прежде всего, как в один из этих самых дней я застал вас раз во флигеле, где вы перебирали в маленькой шкатулке с несколькими выдвижными ящичками, вроде комода, какие-то крошечные нарядные рубашечки и золотые крестики на цветных лентах. На мой вопрос, что это такое, вы ответили, что это наши крестильные рубашечки, которые вы сохраняете у себя для воспоминаний. Вы мне также показали тогда между ними три такие же нарядные рубашечки, принадлежавшие моим сестричкам, умершим в детстве, из которых я помню только одну последнюю, и даже помню, как я горько плакал после ее смерти, и никак не мог себе простить, что иногда дрался с нею и раз отнял у нее куклу.

Где-то теперь, дорогая моя, все эти ваши сувениры?

Все ваши птенцы давно обзавелись своими гнездами, и некоторые уже вывели своих птенцов, а у других развалились и самые гнезда. Так проходит время, и одно за другим выходят на жизненную сцену все новые поколения. Только для меня одного, как будто заколдованного, не существует давно никакого времени. То кажется, что я лишь года три как расстался с вами; то кажется, наоборот, что все, что я видел за стенами своей крепости *, я видел только во сне. Вот и это самое письмо я вдруг нечаянно пометил в черновом наброске 395-м годом по Р. Х. только потому, что как раз перед получением ваших писем я думал о событиях того времени, а затем и сам сейчас же рассмеялся, увидев такое время в заголовке своего письма. Вот было бы хорошо, если бы я и отправил его под таким годом. Вы, пожалуй, подумали бы, я сошел с ума или шучу, а между тем это было только по рассеянности и по отвычке считать года, которые для меня ничем не отличаются один от другого.

Этот 395-й год я написал потому, что продолжал в последние дни те астрономические вычисления о времени возникновения Апокалипсиса, о которых писал вам еще в прошлом письме. Пришлось этой весной исписать числами целую тетрадь, чтоб определить с надлежащей точностью видимое с Земли положение на небе Солнца, Луны и пяти известных древним планет на 30 сентября 395 года, и в результате оказалось не только полное подтверждение моих прежних выводов, что Апокалипсис написан в это время, но и обнаружился еще новый, удостоверяющий их факт: оказалось, что в тот день было также и солнечное затмение, описанное в этой заинтересовавшей меня в старые годы древней греческой книге. Я убежден теперь, что она принадлежит перу Иоанна Златоуста, и что вся его трагическая судьба после 395-го года находится в неразрывной связи с этим древним астрологическим сочинением.

Таким образом, и вышло совершенно неожиданно, что занятия теоретической астрономией вдруг завлекли меня в такую область науки, по которой я никогда и не собирался путешествовать: в историю первых четырех веков христианства. В библиотеке же нашей, к счастью для меня, оказалось достаточно материалов по этому предмету. Вот я и начал все пересматривать, стараясь выяснить себе как общий строй мысли, так и воззрения на природу у образованных людей того времени. И все это старался, по своему обыкновению, делать не по чужому изложению, а на основании имевшихся у меня, хотя бы и односторонних, старинных документов. Пересмотрел, между прочим, значительную часть Четьих-Миней на славянском языке и вычитал в них такие вещи, каких даже и не подозревал. Многие из приводимых там Макарием Киевским и Дмитрием Ростовским старин-

---

* Слова «за стенами крепости» были почему-то вымараны в министерстве внутренних дел. Каждое письмо, по словам коменданта, докладывалось министру. Вероятно, хотели скрыть, что я все еще в Шлиссельбургской крепости (позднейшее примечание).— *Н. М.*

ных легенд положительно не лишены остроумия. Особенно оригинально, например, сказание о том, как святой Макарий (Египетский) возвратил человеческий образ жене одного египтянина, нечаянно превратившейся в кобылицу. Совершенно как из «Тысяча и одной ночи», а я-то сначала думал, что эти толстые 12 томов, напечатанные древним славянским шрифтом на позеленелой от времени бумаге, очень скучная и сухая материя.

Минувшая зима прошла для меня так же монотонно и как будто даже больше лишена была каких-либо впечатлений из жизни окружающего мира, чем все остальные со времени нашей переписки. Оглядываясь назад на этот промежуток времени в поисках за каким-нибудь событием, о котором было бы можно поговорить с вами, я не могу заметить ни одной выдающейся точки, заслуживающей того, чтобы остановиться на ней в моем письме. Каждый день был похож на предыдущий и на все остальные и проходил мимо меня, не оставляя по себе никаких определенных, отличительных воспоминаний. Как будто несет тебя течение по безбрежному океану времени, где не видно вокруг решительно ничего, кроме бесконечного ряда однообразных волн! Каждый новый день, как вершина волны, поднимает тебя к сознательной жизни и обычным занятиям, и каждая ночь, как промежуток между двумя волнами, повергает во временное забвение, которое нарушается лишь смутными сновидениями, исчезающими из памяти так же легко, как и мысли и мечты во время бодрствования.

Вот только в самое последнее время, в тот день, когда я получил ваши письма, это монотонное однообразие нарушилось чем-то вроде инфлуэнцы с кашлем, тошнотой и головной болью, которая и заставила меня на несколько дней отложить свой ответ, чтоб не обеспокоить вас, дорогая мамаша, известием о неокончившемся нездоровье. Теперь все это совсем прошло, и вот, как только отправлю вам это письмо, сейчас же примусь за переплет нескольких книг, который займет дней десять, а после этого снова войду в обычную колею и займусь разработкой некоторых интересующих меня физико-математических вопросов, так как тем для разработки и желания заниматься ими у меня всегда несравненно больше, чем средств и времени.

Получила ли ты, Ниночка, свое ожидаемое штатное место? * Оказывается из писем, что тебя берут нарасхват в различные учебные заведения и что ты вообще пользуешься симпатией и взрослых, и детей. Последнее для тебя особенно важно, так как дети почти всегда лишь постольку симпатизируют наукам, поскольку им нравится сам преподаватель. Вот, например, моя первая гувернантка Глафира Ивановна (наша няня называла ее, по простоте, не иначе как Графиня Ивановна) любила больше всего лишь громко хохотать, а к нам, детям, относилась чисто формально и равнодушно, нисколько не стараясь приобрести нашего сочувствия, вследствие чего и я, и сестра Катя, тоже учившаяся сначала у нее, относились ко

* В Петербурге, в городском училище (позднейшее примечание).— *Н. М.*

всем преподаваемым ею предметам с непреодолимой зевотой и старались лишь о том, как бы поскорее отделаться от них. А так как я был тогда довольно предприимчивый мальчик, то вскоре придумал средство сокращать этот неприятный для нас промежуток дня. Как только она за чем-нибудь уходила из нашей классной, находившейся тогда направо от парадного подъезда, со стороны флигеля, так я сейчас же брал кочергу и переводил ею стрелку висевших там, под самым потолком, стенных часов на полчаса или минут двадцать вперед. Возвратившись назад минут через пять, она сейчас же взглядывала на часы и восклицала:

— Ах, просто удивительно, как быстро летит время! Кажется, уходила всего на минутку, а прошло уже полчаса.

Затем уроки кончались раньше положенного времени, и мы с сестрой убегали шалить и бегать по парку, а потом, когда все приглашались обедать, я нарочно забывал в классной свой носовой платок или что-нибудь другое, чтоб побежать за ним во время общего передвижения в столовую и снова перевести кочергой стрелку обратно, сколько следовало. Так это и продолжалось целую зиму и часть лета. Но, по пословице: «повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить», наступило, наконец, и крушение моей выдумки. Пошла раз наша «Графиня Ивановна» поставить утюг в кухню на плиту для своих воротничков, а окна в классную были растворены. Когда она миновала их и скрылась за выступом парадного подъезда, я схватил кочергу и начал переводить стрелку, а она, забыв что-то, внезапно повернула назад и видит с дорожки в окно, под самым потолком противоположной стены, часы и поднимающийся к ним конец кочерги, а меня не видит под часами.

— Что такое там! — кричит она в окно.— Разве можно кочергу вешать на часы?

Я, конечно, сейчас же отдернул свой инструмент и поставил на место, говоря, что снимал паука, но она догадалась и говорит:

— Теперь я понимаю, почему эти часы то идут вперед, то отстают каждый день.

Так и пришлось прекратить мои упражнения в часовом искусстве.

Но зато, когда, наконец, взяли ко мне гувернера (Мореля), все сразу пошло совершенно иначе. Он был молод и умел внушить к себе симпатию, а потому и все, что он преподавал, начало поглощаться мною с жадностью, а время занятий стало казаться даже слишком коротким. Он любил естественные науки, и эта склонность сейчас же передалась и мне, и притом в тысячу раз сильнее, чем была у него. Именно с этого времени я и начал заниматься естествознанием и составлять всевозможные коллекции.

Но еще более сильное впечатление произвел на меня один известный петербургский педагог Федор Федорович Резенер, умерший лет десять тому назад. Он приехал на лето в семейство наших знакомых помещиц Глебовых заниматься с их старшей дочкой, и они всей компанией приехали к нам. Он мог бы прямо сказать обо мне: «пришел, увидел, победил»,

и все это только потому, что с первой же встречи сразу отнесся к моим занятиям и коллекциям как к серьезному делу и толковал со мной о них и обо всем другом без внешних признаков снисхождения, как будто с товарищем. Потом, когда он, уезжая в Петербург, прислал мне на память один из своих переводов: «Микроскопический мир» Густава Иегера с надписью: «От переводчика», то я готов был за него в огонь и в воду, и как только встречал в каталогах какую-нибудь книгу, на которой написано: «Перевод Ф. Ф. Резенера», старался при первой же возможности раздобыть ее и прочесть. А он был одним из лучших переводчиков естественно-научных книг и этим принес мне большую пользу.

В таком же точно положении находитесь теперь и ты, Ниночка, и ты, Маня, и нет пользы, мои дорогие, больше той, какую вы можете принести, стараясь внушить этой мелюзге любовь к знанию и умственному труду!

Да, вот и ты, дорогая моя Маня, стала на самостоятельную дорогу! Желаю тебе от души полного успеха и вполне понимаю описанное тобою состояние души, когда ты в первый раз появилась перед своей аудиторией и увидела, как на тебя с любопытством смотрит несколько десятков пар глаз, замечая каждое твое движение. Почти то же раз было со мной, когда мне пришлось читать в московской Пробирной палатке для небольшого кружка товарищей и друзей лекцию о происхождении миров, а в залу, где я должен был читать, вдруг попросил позволения явиться послушать один инженерный генерал, начальник этой палатки и отец одного из товарищей, а с ним и целая куча его гостей обоего пола, среди которых был десяток полузнакомых мне расфранченных дам, и все они, рассевшись на почетных местах, с любопытством уставились на меня. В первый момент было очень неловко и замирало сердце, и приходилось следить за своим собственным голосом, чтобы говорить ровно и не выдавать своего волнения, но к средине речи, видя, что все идет благополучно, я и сам увлекся предметом и даже увлек за собой и эту неожиданную публику, потому что по окончании речи произошли всеобщие оживленные разговоры о затронутом мною предмете [146].

Вообще говоря, мне не раз приходилось здесь в разное время преподавать в более или менее популярной форме различные физико-математические науки, но большей частью взрослым, а это, по-моему, несравненно утомительнее, чем иметь дело с детьми или с большой публикой. Взрослые менее внимательны к тому, что говорят, а некоторым даже совсем невозможно ничего втолковать: они часто требуют, чтоб им объяснили не так, как представляется наиболее удобным самому лектору, а так, как этого хотят они, еще не знающие предмета. Они постоянно прерывают изложение различными вопросами и преждевременными недоумениями, которые и без этих вопросов объяснились бы через одну или две минуты, а в данный момент только отвлекают внимание от сущности дела и делают изложение чем-то вроде тряской поездки на крестьянской телеге по мостовой из булыжника.

Но если кому-нибудь бывает особенная польза от преподавания, то это, несомненно, самому преподавателю. Вот, например, тебе, моя дорогая, как ты говоришь, пришлось в эту зиму подучивать курс средней истории, но я уверен, что теперь, по окончании, ты стала знать его так хорошо, как никогда не знала бы ранее, хотя бы и читала различные книги по этому предмету целую жизнь. Нечто подобное было и со мной, когда мне раз пришлось преподавать полный курс теоретической кристаллографии одному человеку, почти совсем лишенному пространственного воображения, абсолютно необходимого при изучении этой науки, хотя бы (как это было в моем случае) и при помощи многочисленных моделей. Он приобрел не особенно много и ненадолго, но зато от постоянной возни с ним мне самому все вдруг сделалось ослепительно ясно! Так вот и ты, наверно, достигнешь года через два по своему предмету такой ослепительной ясности ума, что если б кто-нибудь разбудил тебя среди ночи и вдруг спросил, например, в какой стране и в каком году женщины вынесли на спинах своих мужей из осажденного города, то ты, раньше чем проснуться окончательно, успела бы уже ответить на оба вопроса. А я так вот уже и забыл, в котором году это было! Помню только, что это произошло в Вейнсберге во время борьбы города с германскими королями. Один из королей осадил город, и когда увидел, что жителям приходится сдаваться, объявил, что истребит в нем всех, кроме женщин, которым предоставил право беспрепятственно выйти из города со всем имуществом, которое они могут унести на своих спинах. А вейнсбергские дамы взяли да и вынесли оттуда всю тяжелую мужскую половину!

Если у тебя будет время и охота, то прочти, между прочим, Стасюлевича «Историю средних веков в исторических памятниках». Благодаря оригинальности изложения прямо цитатами из древних документов это — очень интересная работа.

Вот у меня пропала охота заниматься и цветоводством и чем-либо другим, кроме научных вопросов! Как-то чаще и яснее начинает чувствоваться и сознаваться, что жизнь не бесконечно длинна и что ни одного потерянного даром дня уже не вернешь обратно. И хочется поскорее разработать и закончить те научные труды, многие из которых были намечены мною, когда я был еще на воле, хотя и не могу себе представить, что с ними будет, если не надеяться на какую-либо счастливую случайность. Когда-то я читал в давно окончившем свое существование журнале «Слово» [147] одно стихотворение, которое не раз приходило мне на память в моем уединении:

Догорает свеча, догорает,
А другого светильника нет!
Пусть мой труд остановки не знает,
Пока длится мерцающий свет!
Пусть от дремы, усталости, скуки

Ни на миг не потускнет мой взгляд,
Пусть мой ум, мое сердце и руки
Сделать все, что возможно, спешат.
Чтоб во сне меня мысль утешала,
Чтоб последняя вспышка огня,
Чтоб последняя искра застала
За работой полезной меня!
Чтоб, уйдя поневоле к покою,
Мог сказать я в тот горестный час,
Что умножил хоть каплей одною
Добрых дел моих скудный запас!

Как бы ни старался я выразить словами то настроение, которое охватывает меня, когда минует период усталости или тоски и я принимаюсь за какую-нибудь новую научную работу и начинаю ее обдумывать и писать день за днем целыми месяцами, пользуясь теми небогатыми материалами, какие есть в моем распоряжении, я никогда не мог бы выразить это лучше, чем в только что приведенном стихотворении о догорающей свече. Так иногда чувства одного человека находят себе отголосок в душе другого, совсем ему не известного и далекого.

Мне очень было грустно, мой милый Петя, когда я узнал, что нельзя было передать вам моих научных сочинений, но будем надеяться на будущее. «Времена меняются», говорит латинская пословица, и иногда то, чего нельзя было сделать в этом году, оказывается возможным в будущем или наоборот. Недавно мне сказали, что три мои работы, о которых я писал вам прошлый раз, т. е. первый том «Строения вещества», «Основы качественного физико-математического анализа» и «Законы сопротивления упругой среды движущимся в ней телам», отданы теперь на рассмотрение компетентному лицу, но я не знаю его имени, Менделееву же и Бекетову, о которых я просил, оказалось было неудобно по причине «преклонного возраста обоих» *. Очень мне хотелось бы, чтоб и тебе удалось познакомиться когда-нибудь с моими работами, и при случае я буду еще об этом просить, да и вы помогите мне, если увидите, что обстоятельства будут благоприятны. Я же на этот счет живу теперь в совершенных потемках.

А как мне хотелось увидеть вас всех, в какие наряды вы ни облеклись бы, и родные места, где каждый куст и каждый пригорок так много

* Так мне сказали из департамента, после того как ответили, что о посылке в Академию наук «нечего и думать». Ужасная мука была с этими рукописями, результатами многих лет труда, после того как их взяли у меня для передачи Бекетову или Менделееву, а затем два года обманывали меня, говоря противоречивые вещи и не возвращая мне рукописей. Я был уверен, что их просто уничтожили и что весь мой труд пропал даром (позднейшее примечание).— *Н. М.*

говорят сердцу! Лучше уж и не огорчать себя воспоминаниями об этом! Сейчас за неимением новых пересматривал ваши прежние фотографии в своем альбоме. Вот и наш дом, где все мы жили вместе, и флигель, и каменные ворота вдали, куда мы ходили иногда гулять, и подъем на горку в парке, поросший березами, и широкое ровное поле под горой, и большой пруд с островком посредине. Как он весь зарос водяными кувшинками! Их белые цветки так и торчат из воды повсюду вокруг лодки, где наклонилась ты, Верочка, с веслами в руках.

Сижу сейчас и думаю, что-то творится теперь на белом свете. Когда-то в Швейцарии пришлось мне посетить Ронское ущелье. Лет сорок тому назад в него еще никогда не ступала нога человека, потому что река прорезала в этом месте целый горный хребет от самого верха до низу и текла не менее двух верст в узкой расщелине, дна которой никто никогда не видал со склонов горы. Но человеческая предприимчивость воспользовалась и этой таинственной пропастью, которую народное воображение считало испокон веков жилищем горных фей и горных духов и гномов. С обоих концов ущелья стали пробивать одну за другою дыры в отвесной каменной стене, начали вставлять туда толстые железные стержни и крючья и привешивать на них в мрачной глубине расщелины висячие деревянные мостки, вроде длинного балкона в нескольких саженях над мутными, мечущимися волнами потока. И вот все то, что было, казалось, тайною от века, стало вдруг доступно человеческому глазу за каких-нибудь два франка.

И я проходил вместе с несколькими русскими и английскими спутниками по этим висячим и гнущимся под ногами, хрупким по внешности мосткам с большими щелями между досками, нарочно оставленными для эффекта. От шума и грохота потока не слышно было человеческого голоса; внизу в полутьме метались волны и крутились водовороты, а вверху, на громадной недосягаемой высоте, синела лишь узкая полоска голубого неба. Весь мир, казалось, был сжат в этой узкой щели, и таким же представляется мне он часто и теперь. Когда я гляжу в промежуток между бастионами на несущиеся вверху облака и на летающих под ними ласточек и стрижей, я часто вспоминаю об этом Ронском ущелье. Все, что делается в мире, представляется отсюда таким же далеким, каким оно казалось и тогда. И что же удивительного в том, что я чуть не пометил по рассеянности этого самого письма 395-м годом?

Я живу все эти годы главным образом своим внутренним миром и если сохранил еще в себе живую душу и восприимчивость не только к печальному, но и к смешному, то это только потому, что, раньше чем я исчез со света, у меня в голове уже много было научных вопросов, которые хотелось разрабатывать, и предметов, которые хотелось изучать. Вот окончу сейчас это письмо и снова примусь за них и снова на полгода войду в обычную колею. В это полугодие я успел закончить статью о радиоактивных веществах и книгу по древней астрологии конца четвертого

века, для которой нашлись случайно достаточные материалы, как я уже писал в начале этого письма. Вышло довольно живо, и я назвал свою книгу: «Откровение в грозе и буре; история возникновения Апокалипсиса». Теперь примусь опять за теоретическую физику и буду разрабатывать один новый математический метод исследования физических вопросов. Если позволит здоровье, окончу к новому году и напишу вам тогда об этом новом произведении.

Прощайте все, мои дорогие! Будьте здоровы и счастливы!

XVII

Январь 1905 г.*

Дорогая, милая мамаша!

Вот и снова тихо пришел в мое жилище Новый год, и снова принес за собою обычные известия из родных краев. Все у вас осталось, говорят ваши письма, без особенных перемен, не случилось ничего особенного, ни дурного, ни хорошего. И когда подумаешь об этом спокойно, то кажется, что такое отсутствие событий не дает ровно никаких поводов ни для радости, ни для печали. А между тем, дорогая, у меня все-таки сразу стало легче на душе, как только я получил вашу обычную посылку и узнал, что все у вас идет по-старому. Это, вероятно, потому, что в моей тусклой личной жизни как-то привыкаешь больше ждать печальных, чем радостных событий.

О себе я тоже не могу сказать ничего особенного [148]. По-прежнему живу, как в заколдованном замке, и каждый новый год проносится над его крышей, как тень чего-то далекого, невидимого и недоступного, совершающегося где-то во внешнем мире. Здоровье мое ни хуже, ни лучше, занятия те же самые. Пишу том за томом новые работы по физико-математическим наукам.

[...] Сейчас, дорогой мой Петя, я только что снова пересмотрел твои философские размышления в последнем письме. Написаны они тобою, очевидно, в минуту утомления рутиной обыденной жизни с ее однообразными интересами, когда человеку хочется на время уйти в глубину своей собственной души и определить свое отношение к окружающей нас беспредельности, в вечной жизни которой теряется каждое наше единичное существование, хотя и составляет в ней неотъемлемую часть. Ты говоришь, между прочим, что «природа устроила очень разумно, не сделав нас бессмертными в том смысле, как мы это привыкли понимать», т. е. в смысле сохранения памяти о бывшем до нашего рождения, что «каждый из нас, быть может, пережил миллионы видов существования и каждый раз,

* Затеряно. Восстановлено по сохранившемуся в моих тетрадях черновику (позднейшее примечание).— *Н. М.*

начиная снова жизнь, радуется ей как чему-то новому и интересному». Можешь себе представить, что это самое, притом почти в тех же самых выражениях, приходило и мне в голову, и я даже написал лет пятнадцать тому назад небольшой рассказ: «Эры жизни» * (научная полуфантазия), где все эти мысли в связи с соответствующими фактами естествознания вложены в голову одинокого мечтателя, размышляющего о прошлом и будущем Земли в своей одинокой комнате под шум зимней вьюги, осыпающей снегом его окно. Как жаль, что я теперь не могу послать тебе этого рассказа в виде отголосков твоих собственных мыслей!

Те немногие, кому приходилось его читать, говорили мне потом, что он произвел на них в чисто литературном отношении очень яркое впечатление, но по отношению к его философскому смыслу мнения разошлись в двух диаметрально противоположных направлениях в зависимости от мировоззрения читателей. Одни объявили его «вкладом в поэзию науки» **, а другие *** говорили мне, наоборот, что это — настоящая галлюцинация сумасшедшего, написанная до того реально, что у них явилось даже сомнение в нормальности моих умственных способностей в то время, когда я писал этот рассказ. А между тем, в нем нет решительно ничего более необыкновенного, чем твои собственные мечтания, с которыми притом же находятся в полном согласии философия и религия всего азиатского юго-востока. Только одно я сюда прибавил от себя в виде «нового вклада» не то в науку, не то в поэзию: на основании давно известного в химии закона «изоморфных замещений» одних веществ другими я старался доказать возможность существования сознательной жизни, совершенно аналогичной нашей, даже на таких раскаленных светилах, где, вместо водного океана, бушует еще океан расплавленного кварца, а на континентах, состоящих из веществ еще более тугоплавких, текут стеклянные ручьи и реки и носятся кварцевые облака.

Конечно, все тела и кости современных живых существ сгорели бы в одно мгновение, если бы они перенеслись туда без изменения. Но если их углеродистые вещества заменить соответствующими химическими аналогами, плавящимися при очень высоких температурах, то можно доказать совершенно научно, что этого рода аналоги белков оказались бы способными к химическому обмену веществ, а следовательно и к физиологической деятельности даже и при таких необычных условиях.

Вся суть моего рассказа и заключается в том, что изображенный в нем одинокий узник мечтает под шум ночной вьюги, будто и он когда-то жил в другой телесной форме и при других условиях. Я думаю, что рассказ тебе понравился бы.

[...] Я рад, дорогой мой Петя, что ты написал мне все эти твои раз-

---

* Был напечатан в журнале «Современный мир» в 1907 г. (позднейшее примечание). — *Н. М.*[149]

** Лаговский (позднейшее примечание). — *Н. М.*

*** В. Н. Фигнер (позднейшее примечание). — *Н. М.*

мышления и ввел меня не только в окружающую тебя внешнюю обстановку, но показал также и уголок твоей собственной души. Как жаль, что у меня нет места поговорить с тобою более подробно об этих интересующих и меня предметах, вот хотя бы и о затронутом тобою вопросе о существовании или несуществовании в природе абсолютной пустоты. Твое мнение, что пустоты быть не может, высказано еще знаменитым математиком Декартом, который даже утверждал, что если б то, что наполняет какой-нибудь сосуд, было вынуто из него без замещения чем-нибудь другим (например, воздухом или всенаполняющим мировым эфиром), то стенки этого сосуда, не имея ничего между собой, оказались бы в соприкосновении. Мне кажется, что этот философский, или, скорее, метафизический, парадокс основан исключительно на злоупотреблении словом «ничего», потому что сейчас же является вопрос: а можно ли сказать, что пустое пространство есть ничто только потому, что в нем нет ничего другого, за исключением самого пространства? Ведь пустое пространство, как оно представляется нашему уму — беспредельное и непрерывное,— это только отсутствие чего-либо материального.

Я лично вместе с Фарадеем, с Максвеллом и другими естествоиспытателями новейшей школы отвергаю только передачу действий через пустое, т. е. лишенное вещества, пространство, и признаю возможность передачи влияний от предметов к предметам лишь в момент соприкосновения некоторых из их атомов или через окружающую среду, состоящую, подобно газовой, из сталкивающихся и отскакивающих друг от друга упругих молекул, тоже передающих друг другу свои воздействия механическим путем в моменты своих соприкосновений. Но для движения самих атомов и его вечного продолжения без замедлений, естественно, должны, по-видимому, существовать между первичными частицами веществ промежутки, в которых ничто не мешает им ни сближаться, ни расходиться, хотя и здесь является вопрос о природе самого соприкосновения, потому что раз между соприкасающимися неделимыми частичками нет никакого промежуточного пространства, то должно бы произойти их слияние воедино, хотя и в одной лишь точке соприкосновения и на один момент. Здесь, дорогой мой Петя, мы подходим уже к таким основным вопросам знания, которые выходят из пределов нашего современного понимания. Сколько ни ломай себе голову, тут ничего не узнаешь нового, кроме самого факта.

Мои научные работы, милая Верочка, в последние полгода несколько приостановились. Больше всего я писал и приводил в порядок за это время черновые наброски для второго тома «Основ качественного физико-математического анализа», первый том которых вместе с двумя другими: о «Строении вещества» и «Законами сопротивления упругой среды движущимся в ней телам», был, как ты знаешь *, послан департаментом на

---

* Слова «как ты знаешь» употреблены с хитростью. В прошлых двух письмах я ей ничего не писал о том, что у меня взяли для передачи

рассмотрение кому-то из специалистов. Но об их окончательной судьбе я до сих пор не имею никаких дополнительных сведений, хотя и прошло уже более полутора лет с тех пор, как я получил разрешение послать их и передал местному начальству.

Не знаю, не слишком ли я предаюсь оптимизму, думая, что если б ваша просьба министру о позволении передать брату эти мои работы была написана не в позапрошлом году, а в этом, то она, может быть, имела бы более успеха. Таких тяжелых для меня лет, какими были два прошлых года (до самого лета 1904), я уже давно не знал, да ты и сама, верно, заметила это по тону моих последних писем. Посмотрим, что-то принесет нам этот год! Более всего хотелось бы мне, конечно, получить какой-нибудь отзыв о посланных мною работах, а затем хотелось бы особенно, чтоб, вместо обратного возвращения ко мне, их передали брату. Если представится случай, то непременно буду просить об этом министра, а также и о передаче брату других моих работ, которые бесполезно лежат у меня теперь уже много лет.

Присланную тобою фотографию мамы с Александром Николаевичем я получил в этот раз без всяких затруднений и даже вообразил себе, не знаю почему, а как-то так, по общему неуловимому впечатлению, что, может быть, теперь тебе не возвратили бы назад и фотографию Ниночки только из-за того, что она снялась для меня в наряде Сандрильоны-судомойки с мочалкою в руке. Впрочем, ты ведь и сама недавно была в Петербурге и, конечно, знаешь лучше меня, что теперь можно и чего нельзя.

Я по-прежнему каждый день хожу, закутавшись, по своей тропинке в садике и мечтаю среди сугробов снега, но по временам вдруг взгляну и увижу: целые десятки воробьиных глаз смотрят на меня с голых ветвей кустов и следят за каждым моим движеньем, ожидая крошек хлеба. И невольно приходит тогда в голову: то, что для тебя представляет лишь случайный интерес, для других существ является очень важным фактом в жизни и ты сам являешься для них очень важной особой, за каждым движением которой необходимо очень внимательно следить.

Не беспокойся так сильно о моем здоровье, дорогая Варя. Хуже всего для меня не оно, а моя рассеянность и забывчивость. Читаешь иногда свои старые заметки и думаешь: да неужели это я написал? Если не в

Д. И. Менделееву или Н. Н. Бекетову все эти сочинения, так как знал по опыту, что тогда их нарочно не пошлют, чтобы не привести этих ученых в соприкосновение с моими родными. Но потом оказалось, что и без того ни одна из этих книг не была послана, а все почти до моего освобождения через девять месяцев после этого письма лежали в канцелярии у коменданта Яковлева, и только перед освобождением были отосланы Д. П. Коновалову, у которого и лежали. Теперь они все уже напечатаны (позднейшее примечание).— *Н. М.*

чем другом, то в этом я стал теперь похож на знаменитого физика Ампера, который раз, отправляясь из своей квартиры к знакомому, начертил на своей двери: «ушел и не вернусь до десяти часов». Не застав знакомого дома, он вернулся назад и вдруг видит на дверях свою собственную надпись. «Экая досада,— говорит он,— и этот тоже ушел и не вернется до десяти часов! Что же мне теперь делать? Пойду и погуляю по улице!» И ушел.

Вот то же самое часто бывает теперь и со мной. Прощайте же, мои, дорогие! Будьте здоровы и счастливы. Целую всех племянников и племянниц. Мой привет всем, кто меня не забыл.

XVIII

6 августа 1905 г.

Дорогая моя, милая мама, вот снова увидался я с вами на фотографической карточке и мысленно целую вас множество раз. Я думал, что человек, живущий в обычных, нормальных условиях, даже и представить себе не может, какая это отрада видеть родные физиономии и родные места, хотя бы только на картинках. Это совсем не то, что одни простые письма безо всяких иллюстраций! Из писем узнаешь, что пережито и передумано человеком, но он сам как живое существо остается в тени и рисуется в воображении как-то смутно, как будто встретился с ним ночью. А потом обыкновенно оказывается, что его внешность совсем не такая, какою ее представлял себе. Это со мной нередко случалось, когда я знакомился с людьми на свободе сначала по переписке, а потом уже лично или в давние годы через стену.

Но другое дело, когда сразу получаешь и письма и фотографии их авторов. Тогда все освещается, и кажется, что если когда-нибудь пришлось бы увидеть этого человека, то сейчас же узнал бы его в целой толпе. Так я знаю теперь и представляю себе очень живо всех своих племянников и племянниц, карточки которых мне были присланы, хотя они и появились на свет и выросли уже после моего заключения. Знаю и Ниночку, и Маню, и Ниночкину тетю Нину, и всех тех, кто окружает вас теперь в родных краях, а за вами самими, дорогая мама, могу следить, открыв свой альбом, год за годом. Вот и теперь пересмотрел все, собираясь вам писать.

Сижу сейчас в уголке крошечного, как клетка, садика и пишу вам это письмо посреди травы, под тенью лопуха и необыкновенно высокого зонтичного растения (Archangelica officinalis), которое нарочно не полол, потому что оно мне кажется очень живописным. Вечер теплый и ясный, солнце склоняется к закату, а высоко над головой летают последние перелетные ласточки и щебечут между собою о чем-то неизвестном. И вот переношусь своими мыслями к вам и думаю, что и у вас теперь такой же ясный и тихий вечер и все у вас, может быть, уже сидят за большим столом

на террасе или в саду под тенью больших берез и пьют вместе с вами вечерний чай или, может быть, выкупались и возвращаются домой.

Мое здоровье, дорогая, то же, что и прежде.

[...] Я рад сообщить тебе, что уже не раз упомянутые в этих письмах мои работы «Строение вещества», «Основы качественного физико-математического анализа» и «Законы сопротивления упругой среды движущимся в ней телам» переданы этой весной после двухлетних затруднений тому же самому профессору *, который рассматривал четыре года тому назад мою прежнюю работу — «Периодические системы». В следующем письме, зимой, вы, может быть, получите от меня и сообщение о результатах.

В этом же году я написал новую книгу по высшей математике, где дается дальнейшее развитие вопросам, поднятым еще в первую половину XIX столетия гениальным английским математиком Гамильтоном, основателем так называемой «векториальной алгебры» и метода «кватернионов». Вот этому-то самому предмету и посвящена только что законченная мною теперь работа — «Аллотропические состояния и метаморфозы алгебраических величин» **, где аллотропическими состояниями величин называются такие случаи, когда они принимают вид комплексных и им подобных выражений, считавшихся в старые времена «мнимыми», но реальность которых была указана еще Гамильтоном.

Знаю, дорогая моя Верочка, что от этого определения у тебя останется только звон в ушах, но уж прости меня: никакого другого тут дать невозможно. Таков предмет, все это сочинение (составляющее 26-й том моих работ и черновых набросков) переполнилось математическими формулами, графиками и вычислениями. В нем только четыреста с небольшим страниц, но, для того чтоб написать их в этом окончательном виде, пришлось исписать различными подготовительными вычислениями по крайней мере вчетверо больше бумаги, а потом лишь резюмировать их окончательные результаты. Некоторые вычисления приходилось делать подряд несколько дней и исписать цифрами и преобразованиями страниц по двадцати бумаги, а потом свести все на одну страницу, и голова у меня под конец подобных утомительных операций готова была лопнуть, а бросить посредине и отдохнуть было нельзя, чтобы не потерять связи начала вычисления с их концом. Раз дошел даже до такого отупения, что стал, наконец, путать таблицу умножения и, получив нелепый результат, нашел при проверке, что в одном месте я сосчитал пятью пять — сорок пять, вследствие

* Д. П. Коновалову, от которого я и получил их обратно в нераспечатанном виде после моего освобождения, совершившегося через три месяца после отправки этого моего письма (позднейшее примечание).— *Н. М.*

** Она издана в конце 1908 г. товариществом «Общественная польза» под названием «Начала векториальной алгебры в их генезисе из чистой математики», так как первоначальное название показалось мало понятным (позднейшее примечание).— *Н. М.*

чего написал и посылаю теперь для моих маленьких племянников и племянниц следующее стихотворение:

Жил поэт
До ста лет;
Он играл на лире:
Пятью пять —
Двадцать пять,
Дважды два — четыре.
Так поэт
Жил сто лет
И почил он в мире...
Пятью пять —
Двадцать пять,
Дважды два — четыре[150].

Из нескольких строк, милый Петя, в которых ты сообщил мне твои мысли о причинах тяготения, я не мог вполне отчетливо выяснить себе твою идею. По-видимому, ты сводишь всемирное тяготение на действие остаточных электромагнитных сил, к которым, по новейшим представлениям, сводится химическое сродство атомов вещества, так как эти мельчайшие частички в природе, действительно, притягивают друг друга, как ты и говоришь, подобно тому как северный полюс одного магнита притягивает южный полюс другого и наоборот. Отсюда, конечно, возможно предположить, что остаточные силы этих химических воздействий при больших скоплениях вещества могут простираться и на огромные расстояния, если притягательные магнитные силы противоположных полюсов у небесных светил не уравновешиваются отталкивательными силами их однородных полюсов. Но будет ли это, в сущности, объяснением тяготения? Одно неизвестное здесь только заменяется другим, а самый механизм явления по-прежнему остается в тумане.

Вот почему те взгляды, которые уже высказывались некоторыми астрономами, вроде Секки и других, являются для меня более понятными, так как сводят дело к простым точкам частиц окружающей среды, упругость которой возрастает по мере удаления от центра небесных светил хотя бы по причине излучения ими в окружающее пространство света и теплоты. Замечательно, что и сам Ньютон, как видно из одной его заметки, относящейся к 1675 году, старался найти механические причины тяготения в действиях все наполняющего мирового эфира и говорит, между прочим, что солнце «для своего постоянного горения» должно поглощать из окружающих мировых пространств находящиеся в них газообразные вещества, и их постоянное течение к солнцу могло бы увлекать за собой и планеты, вызывая таким образом как будто притяжение между ними.

Конечно, с точки зрения современной астрономии этот взгляд давно сделался анахроничным, но заключающаяся в нем идея чисто механического объяснения является единственной, которую приходится разрабатывать в настоящее время, даже и по отношению к действиям магнитов друг на друга, из которых ты исходишь. Несомненно, что северный магнитный полюс одного небесного светила должен (как ты и допускаешь) в некоторой, хотя и чрезвычайно малой, степени притягивать южный магнитный полюс другого и отталкивать его северный полюс, но сейчас же является вопрос: почему же вообще магниты действуют друг на друга? В этом-то последнем объяснении и заключается весь вопрос.

А так как мы с тобой не можем решить его окончательно, то лучше перейдем к твоим домашним делам, тем более что устраиваемые у тебя любительские спектакли меня очень удивили. Я никак не мог представить себе, что в нашей глуши могут найтись актеры-любители, способные сыграть «Грозу» Островского, «Предложение» Чехова и другие пьесы, которые ты назвал. И все это — в нашей большой зале, в которой мы когда-то играли в жмурки! Просто удивительно, как цивилизовалась провинция.

На присланной мне коллективной фотографии сидишь ты, милая Груша, такая худенькая, что первое мое пожелание тебе — это немного растолстеть! Недавно я тебя видел во сне и очень странным образом. Казалось, что как будто мамашины мечты сбылись, и я, действительно, живу в Борке́ во флигеле. Заспавшись утром, вскакиваю с постели и вижу, что уже десять часов. Вот, думаю, опоздал к чаю и смотрю из восточного окна флигеля, не видно ли вас на балконе большого дома, за чаем. Но вижу только тебя одну, да и то спиной ко мне. Я бросился одеваться и вдруг с ужасом вспомнил, что все двадцать шесть томов моих записок по физико-математическим наукам, все, над чем трудился ежедневно пятнадцать лет, пропало где-то в дороге! Меня охватило такое отчаяние, что и сказать нельзя: все мои мечты принести какую-либо пользу науке пропали даром! Но сейчас же мне пришло в голову: да ведь это только сон! Не мог я никак попасть в этот флигель! И вот начинаю ломать себе голову, как бы мне отличить этот сон от действительности, и нет никаких средств убедиться, что я сплю. Наконец, просыпаюсь от волнения и вдруг вижу, что все мои сочинения стоят в целости у изголовья моей кровати.

Вообще я очень часто вижу себя во сне во всевозможных самых опасных положениях, но большею частью нисколько не боюсь, так как отлично сознаю, что это — сон. Раз, например, попал в камышах в лапы к огромному тигру, но в тот самый момент, когда он уже хотел перекусить мне горло, я вдруг успокоился и сказал себе: «Не может он этого сделать, ведь это только во сне!» А тигр зарычал от ярости и ушел.

Ты как-то спрашивала меня, что я теперь читаю? Да все, как и прежде. Кроме научных сочинений по своей специальности, больше всего — иностранные романы. Давно перечитал все английские, какие были, некоторые по два раза и более. Недавно прочел очень недурной фантастиче-

ский роман Уэллса «Морская дама» и начал читать Дюма-отца «Le Vicomte de Bragelonne), но, прочитав шесть с половиной томов, бросил с досадой, не кончив полутора остальных. Во всяком романе для меня нужно кому-нибудь сочувствовать, а тут решительно некому: все действующие лица — не люди, а куклы, и на самых патетических местах вдруг начинаешь смеяться! Взял вместо него Жорж Занд и немного успокоился, как будто из-за грубо намалеванных кулис попал на простор лугов и полей. Теперь читаю по-немецки «Сузи» Шпильгагена, конечно, только в промежутках между своими физико-математическими работами и размышлениями, так как романы мне служат только отдыхом от них.

Вот уже кончается и лето. В мое окошко снова начала заглядывать с высоты желтая звезда Арктур, обычная для меня вестница близкой осени, и я каждый вечер обмениваюсь с ней приветом в ожидании других звезд, поочередно посещающих меня в продолжение зимы, так как летом ничего не видно: заря во всю ночь. Скоро в уголке, где я вам пишу, будут лежать сугробы снега, и от зеленых растений, среди которых я теперь сижу, будут выглядывать из них только сухие поблекшие стебли.

Прощайте же, мои дорогие! Целую вас всех множество раз!

Ваш *Николай Морозов* *

---

* Это было последнее письмо. 28 сентября 1905 года меня с товарищами увезли из Шлиссельбургской крепости[151].

Письма к разным лицам

О. С. ЛЮБАТОВИЧ

[11 февраля 1882 г.]

Милая Ольга!

Только что узнал о твоем аресте от следователя по твоему делу и, едва получив письменные принадлежности, спешу написать тебе несколько строк. Как ты поживаешь, как твое здоровье? Береги себя. Не скучай, спи больше, не волнуйся, читай романы, это развлекает, иначе ты совсем заболеешь, тогда я заболею тоже. Есть ли у тебя деньги? Если нет, то я попрошу позволенья переслать тебе часть моих. У меня достаточно. Я совсем здоров и нисколько не скучаю благодаря тому, что веду очень регулярную жизнь. Вот только известие о твоем аресте тяжело подействовало на меня, но ничего — привыкну. Теперь, по крайней мере, можно будет писать по временам друг другу. Отвечай скорее и пиши больше. Целую тебя.

Н. Морозов.

В. К. ПЛЕВЕ

СПб., крепость 14 марта 1882 г.

На последнем свидании со мной мои родные, расставаясь со мной на долгое время (если не навсегда), выражали сильное желание иметь мою фотографическую карточку. Поэтому я решаюсь обратиться к Вам с покорнейшей просьбой, не сочтете ли возможным выдать им для передачи моей матери одну из имеющихся в департаменте моих карточек, или, если это невозможно, не позволите ли Вы мне сняться для них на свой счет. Я очень прошу Вас не отказать мне в одной из этих просьб.

Николай Морозов.

РОДНЫМ

16 марта 1882 г.

Дорогая моя мамаша, дорогая сестра и брат!

Наконец-то, после столетнего молчания, я могу послать вам письмо, не опасаясь, что оно будет для вас только новым поводом беспокойства и преувеличенных опасений за мою участь. До сих пор я писал вам всего один раз, тотчас же после моего отъезда за границу, но письмо мое, как я узнал теперь, затерялось в дороге, и я, не получая от вас никакого ответа, уже не решался писать вам еще раз.

Но все это время я не переставал думать о вас и часто, сидя с книгой в руках на берегу голубого Женевского озера, среди роскошной южной зелени, прямо над которой уходили за облака высокие снежные горы, я мечтал о вас и о вашем Борке́, и с радостью променял бы все это на одно катанье с вами на нашей деревенской лодке.

Как вы поживаете, что делаете и думаете? Сколько перемен, должно быть, совершилось у вас за это время. Как выросли деревья в саду, как разрослись акации в кругу, как зарос тиной пруд (если только его не вычистили), и как стала велика та березка в кругу, которую я посадил лет пятнадцать тому назад над могилой найденного мной и потом умершего воробья! (Впрочем, ее кажется скосили.) Сколько перемен, должно быть, произошло и в вас самих!

Ты, Петя, говорят, стал настоящим Немвродом и целые дни ходишь с ружьем за тетеревами и другими птицами и стал так велик, что я едва достану тебе до глаз.

Вы, сестренки, стали также совсем большие. Мне приносили карточки Груши и Вари, я долго их рассматривал, и тебя, Варя, я даже не узнал, потому что я до сих пор не мог вообразить тебя больше стула, на котором ты, бывало, обедала с нами за маленьким столом. Верочка стала такая тоненькая, что, когда я увидел ее на свидании, мне даже стало ее жалко. Ты, Груша, изменилась менее, чем другие, и я тебя сейчас же узнал и нашел в тебе некоторое сходство с мамашей. Но как выросла и ты! Твоей карточки, Надя, я, к несчастью, не видел, но ты тоже, должно быть, очень выросла, потому что вышла уже замуж и имеешь даже своих детей. Как бы я хотел тебя видеть и Катю, которая, кажется, живет не с вами. Передайте ей, что я ее целую и обнимаю, и спросите, помнит ли она, как мы с ней вырезывали лошадей и всяких зверей из бумаги и прятали их во флигель за печкой, когда к нам назначили гувернантку? Я это отлично помню. Я тогда был еще очень мал и зол и помню, что иногда бил ее, как это, впрочем, делают, кажется, все старшие братья. Передайте мои приветствия обоих beaux frér'ам *, из которых я, к сожалению, знаю только одного, и всему вашему молодому поколению, которое я целую.

---

* Мужьям сестер.

Но особенно хотелось бы мне видеть тебя, мамаша! Мне сказали, что у тебя теперь стало очень плохо зрение, вообще ты не совсем здорова. Напиши непременно, или, если плохо видишь, попроси сестер написать мне подробно об этом. Меня особенно беспокоит то, что ты, наверное, представляешь себе мое положение гораздо хуже, чем оно есть в действительности. Я не буду, конечно, писать тебе, что не желал бы ничего лучшего, это была бы неправда, но ужасного, право, ничего нет, и теперь, когда я надеюсь время от времени переписываться с вами, я чувствую себя совершенно счастливым. Пишите мне все, обо всем, что только придет вам в голову, попросите и Катю об этом же. Я буду ужасно счастлив.

Ну прощайте, целую вас всех и крепко обнимаю.

Ваш *Николай Морозов.*

О. С. ЛЮБАТОВИЧ

20 марта 1882 г.

Дорогая моя Ольга, наконец я получил твое последнее письмо, и ты не поверишь, как я обрадовался, что ты хоть немного успокоилась от своих неосновательных фантазий. Но все твои объяснения о субъективности впечатлений в заключении положительно не заслуживают никакого уважения именно потому, что ты сама настолько умный человек, что сознаешь неизбежность этой субъективности, и потому всякий раз, когда тебе приходят в голову какие-нибудь ужасные фантазии, ты можешь и должна припомнить, что они не имеют никаких оснований на сходство с действительностью, что даже и на воле за последние годы ты всегда представляла ее хуже, чем она есть, а относительно будущего имела всегда самые невероятно черные предчувствия, которые никогда еще не сбывались. Дорогая Ольга, прости, что я браню тебя, но это, право, необходимо для тебя же, потому что ты губишь будто нарочно сама себя и довела себя, наконец, до воспаления в легких, причина которого, очевидно, заключается не в чем другом, как в горячечном состоянии, которое ты до сих пор поддерживала в себе. Слава богу, что это воспаление уже проходит, и ты выздоравливаешь. Когда тебе будут в будущем приходить опять черные мысли, ради бога, припомни, что я говорил тебе сейчас о их вероятной и даже верной несостоятельности, и заставь себя думать о чем-нибудь другом, хотя и фантастичном, но менее мрачном: например, сочиняй в уме какой-нибудь роман à la Купер. Это, по крайней мере, хоть развлечет тебя.

Я теперь боюсь, что если планы твои о дозволении нам свидания окажутся неосуществимыми (что́ я предполагаю заранее), то ты опять впадешь в уныние; если ты дорожишь моим спокойствием, пожалуйста, не строй на этом основании никаких новых зданий. Свидания даются теперь даже с находящимися на свободе родственниками чрезвычайно трудно, а наш брак, как сказал мне следователь, будет признан только в том слу-

чае, если представим свидетельство о венчании. Я совершенно здоров, был до сих пор спокоен, но письмо о твоей болезни несколько привело меня в уныние. Теперь я уже снова оправился, так как кризис у тебя прошел, и ты, очевидно, скоро выздоровеешь. Веди более регулярную жизнь. Не лежи и не спи днем: от этого всегда болит голова и бывает бессонница. Как только перестанешь, все это сейчас же пройдет. Ложись спать всегда в одно и то же время, это также сохраняет здоровье. Я не знаю еще, когда меня увезут, но, если позволят, напишу тебе и оттуда. Ну прощай, моя дорогая, и не мучь себя.

Твой *Н. Морозов.*

Л. Н. ТОЛСТОМУ

СПб., Гончарная, 11, кв. 11

31 марта 1907 г.

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Вчера у меня был астроном А. П. Ганский, посетивший Вас во время своего возвращения в Петербуг после неудавшегося солнечного затмения. Он мне сказал, что Вы интересуетесь моей книгой об Апокалипсисе, и я спешу Вам теперь послать ее в знак моего глубокого уважения к Вам как писателю и человеку. Не знаю, насколько убедительными покажутся Вам мои доводы. Могу сказать только одно: если мои выводы ошибочны, я первый буду рад, когда их опровергнут. Если же они верны, будущие исследования оправдают их, и тогда моя книга принесет пользу, так как послужит к открытию истины.

Глубоко уважающий Вас *Николай Морозов.*

Л. Н. ТОЛСТОМУ

От Ник. Александр. Морозова
СПб., Торговая, 25, кв. 13

16 апреля 1910 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Лев Николаевич!

Как часто за это время вспоминаю я о тех немногих часах, которые мне удалось провести у Вас в прошлом году в Ясной Поляне. Полтора года прошло с того времени, а воспоминание осталось так же свежо, как если бы я был у Вас только вчера. Раз, возвращаясь с юга, проезжал я совсем близко от Вас и хотелось снова заехать на несколько часов и повидать Вас и Софью Андреевну и Вашу дочь и всех, кого у Вас видел, но я очень торопился в Петербург и остановиться было невозможно.

Теперь я пользуюсь случаем, дорогой и всем сердцем любимый Лев Николаевич, чтоб послать Вам две только что вышедшие мои книжки: «Письма из Шлиссельбургской крепости» и «На границе неведомого», несколько статей по научно-философским вопросам, писанные там же.

Конечно, я не придаю значенья ни тем ни другим, и обе книжки выпустил лишь потому, что об этом просили меня несколько близких друзей, после того как пришли издатели, которым у меня нечего было дать, кроме этих книжек. Но все же и та и другая являются продуктами исключительных условий жизни, образчиками своеобразной психологии одиночного заключения и с этой точки зрения, может быть, будут небезынтересны и для Вас, работающего над общественными и философскими вопросами. Если же они и не будут интересны для Вас ни в каком отношении, то пусть они напомнят Вам на минуту о том, кто когда-то нашел в Вашем доме, у Вас и у Ваших близких такой добрый прием, о котором он никогда не забудет.

Всем сердцем любящий Вас и всех, кто с Вами,

Николай Морозов.

Д. Н. АНУЧИНУ

СПб., Торговая, 25, кв. 13.

19 января 1911 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Дмитрий Николаевич!

Недавно я писал В. Д. Лебедевой, чтобы забежала к Вам в редакцию и получила мой гонорар за новогоднюю статью о воздухоплавании и гонорар за рождественскую сказку моей жены (Ксении Морозовой) о звездах, чтоб не затруднять контору пересылкой. Но Лебедева заболела и неизвестно, когда выздоровеет, так что приходится просить о пересылке нам по почте.

Теперь я сильно занят печатающейся новой моей книгой «Функция. Наглядное изложение высшего математического анализа в полном его объеме». Уже отпечатано восемь первых листов, остальные (около 20) в наборе, и корректура занимает много времени. Пишу также книгу «Вселенная» для «Итогов науки», издающихся в Москве книгоиздательством «Мир». Затем приготовляю публичную лекцию о воздухоплавании, которую в первой половине февраля думаю повторить в Москве в пользу, кажется, Московского общества улучшения участи женщин, Е. В. Головина его председательница.

После же Москвы предполагал повторять ее в разных провинциальных городах весь февраль и март, но тут клином стало привлечение меня в качестве обвиняемого за мою книжку «Звездные песни». Ее издало весной книгоиздательство «Скорпион», и первоначально привлекали его представителя, но я написал в Комитет по делам печати, что хотя в книжке моей и нет ничего подходящего под ст. 129, п. 1 и 2, и под ст. 128, но уж если кому-нибудь необходимо подвергаться за нее заключению в крепости, то лучше мне как автору, а не издателю. На это мне более полгода не было ответа, но так как мне было очень тяжело думать, что из-за

меня будет страдать другой человек, я снова, в декабре, воспользовался представившимся случаем попросить А. И. Гучкова как председателя Государственной думы похлопотать об ускорении этого дела.

После этого хлопоты мои увенчались успехом, обвинение переведено (конечно, без всякого содействия в этом отношении А. И. Гучкова) на меня, следователь по особо важным делам (при Московской судебной палате) поручил допросить меня следователю 28 уч. Коломенской части в Петербурге, и предварительное следствие окончилось в два допроса. Инкриминированы мне 8 стихотворений: на стр. 5, 19, 33, 41—44, 64, 90, 118 и 133 «Звездных песен». Все из них, подведенные под «дерзостное неуважение» по ст. 128, оказываются совершенно общего содержания, стихотворения вне пространства и времени, в которых выражения «тиран», «троны», «короны» одинаково можно отнести к Нерону, Тамерлану или к кому угодно в том же роде. Так что на суде будет вообще очень курьезное превращение ролей: мне, человеку оппозиции, придется доказывать (и совершенно по совести), что, употребив слово «тиран», я не имел в виду русской верховной власти и даже не думал о том, подходит ли она или нет под этот термин, а прокурор будет доказывать, что именно подходит! Точно так же и все подведенные под «воззвание к ниспровержению» по 1 и 2 п. 129 ст. места содержат лишь общие призывы к борьбе с угнетением и ни слова не говорят о России, а прокурору придется доказывать, что угнетение именно и есть в России. Поистине удивительные настали времена.

Я думаю предстать на суд без защитника, так как дело и без него ясно. Во всяком случае настолько ясно, что если осудят без защитника, то осудят и с ним. Друзья мои настаивают, чтоб я его взял хоть на случай кассации. Но я прежде всего думаю, что за эту книжку, общий характер которой есть художественная литература, а не воззвание, меня не могут осудить, а затем если и осудят, то что же?

Резюмируя всю свою жизнь, я не могу не прийти к выводу, что наибольшую пользу своей родине я принес именно своим 28-летним сидением в тюрьме и крепости. Почему же не думать, что принесу ей пользу и одним дополнительным годом?.. Меня же теперь, как я вижу из статей в периодической печати и из получающихся писем, знают и любят десятки тысяч людей, тогда как каждого заключенного из молодежи, хотя бы в нем и полюбили будущего гения, знают пока только несколько родственников да десятки личных друзей. Отсюда ясно, что мое заключение по своему общественному значению равнялось бы теперь заключению тысячи безвестных молодых людей, одним годом я заменил бы тысячу лет их заключения! Я не имею права от этого отказываться, если это мне будет назначено судьями помимо моей воли!

Крепко, крепко жму Вашу руку. Привет всем московским друзьям. Верю, скоро увидимся в Москве.

Сердечно ваш *Н. Морозов.*

АКАДЕМИКУ М. М. КОВАЛЕВСКОМУ

28 февраля 1911 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Максим Максимович!

Вера Дмитриевна Лебедева, которую Вы встретили за границей больную и так трогательно посещали, исполнила Ваше желание описать свои свидания и дела с Львом Николаевичем Толстым. Я уже прочитал ее воспоминания (т. е. она мне их прочитала). В них очень много интересного, а по живости и непосредственности впечатления они мне кажутся одним из самых ценных для характеристики Толстого как человека.

По ее желанию я ей дал для помещения в этих воспоминаниях и два письма Толстого ко мне; однако остальные приводимые ею документы несравненно более ценны.

Очень буду рад, если ее произведение подходит для «Вестника Европы». Весь рассказ очень живой, занимательный, а мелкие недочеты в слоге я с ее разрешения исправлю в корректуре, если редакция «Вестника Европы» его примет.

В таком случае корректуру присылайте прямо ко мне.

Ваш *Н. Морозов.*

АКАДЕМИКУ Б. Б. ГОЛИЦЫНУ

Двинск. Крепость, 5 сентября 1912 г.

Глубокоуважаемый Борис Борисович!

Книгоиздательство «Просвещение» начало с прошлого года издавать многотомную «Техническую энциклопедию» по всем наукам; различные отделы ее редактируются различными профессорами, список которых в ней приложен, а отдел астрономии мною. Вначале казалось, что все полно составлено, но теперь, когда дошли до «Горизонтального маятника», вдруг обнаружили крупный недочет: недостает отдела «Геофизика» (она была сочтена за часть более крупного подразделения), а в частности необходим отдел «Сейсмология».

Книгоиздательство написало мне об этом сюда, выражая желательность Вашего руководства этим отделом как первого авторитета по данному вопросу не только в России, но и в современном цивилизованном мире. Не могу не согласиться с этим и от имени редакции очень прошу Вас принять участие в этом полезном и нужном издании. Материальные условия как для Вас, так и для Ваших сотрудников сообщит книгоиздательство.

К моему полному недоумению (так как по-прежнему не вижу в моих «Звездных песнях» ничего противозаконного), я все-таки попал в крепость за свои стихи. Срок оканчивается 15 марта 1913 г., так что через полгода

снова возвращусь на свою прежнюю квартиру в Биологическую лабораторию. Очень жалею, что не успел весной преподнести Вам двух последних томов своих научных работ: книги «Функция» по чистой математике и «Вселенная» по астрономии, отдельный том в редактируемом Шимкевичем, Ланге, М. Ковалевским и мною иллюстрированном издании «Итоги науки в теории и практике». В марте представлю их Вам лично.

Здесь, в крепости, написал пока исследование по чистой математике «Разносистемное исчисление», сущность которого заключается в исследовании бесконечных рядов путем их переложения на различные системы счисления (кроме нашей десятичной системы). Удалось открыть ряд интересных закономерностей. Далее думаю заняться тем, чем предполагал заняться в этот год и на свободе: исследованием библейских пророков с астрологической точки зрения.

Еще раз очень прошу не отказать в участии в «Технической энциклопедии».

С глубоким уважением *Николай Морозов.*

В нотабене. Посылаю это письмо через книгоиздательство «Просвещение», которому важно знать Ваш ответ.

АКАДЕМИКУ Б. Б. ГОЛИЦЫНУ

Двинск. Крепость, 10 октября 1912 г.

Глубокоуважаемый Борис Борисович!

Несколько дней назад получил Ваше доброе письмо, а затем и Вашу книгу. Сердечно признателен Вам за нее. Ведь это фундамент совершенно новой науки! Примусь за ее изучение по Вашим лекциям, как только закончу некоторые маленькие начатые дела.

Не менее признателен Вам и за согласие участвовать в «Технической энциклопедии». Теперь отдел «Сейсмология» будет в надежных руках.

Сердечно преданный Вам *Н. Морозов.*

Послесловие

Во вступительной статье, помещенной в I томе настоящего издания, отмечена познавательная ценность мемуаров Н. А. Морозова. Его воспоминания вызывают интерес не только обилием фактических сведений, относящихся к революционному движению семидесятых годов прошлого века, но и тем, что автор воспоминаний весьма точно передает чувства, переживания и мечты революционно настроенной молодежи того времени.

Мемуары Н. А. Морозова дают читателям возможность познакомиться с революционным народничеством семидесятых годов и критически разобраться в его сильных и слабых сторонах. Они читаются с неослабевающим интересом и будят мысль читателя, помогая ему, независимо от воли автора, понять историческую неизбежность краха той идеологии, под знаком которой развивалась социально-политическая борьба в России семидесятых годов.

Особенно интересна та часть мемуаров Н. А. Морозова, которая посвящена переходу народников семидесятых годов от агитации и пропаганды среди крестьян к террористической борьбе. Переход этот был прямым следствием неудачи «хождения в народ» и «оседлых поселений» в деревне. Пропагандистский опыт народников, недоверчиво встреченных деревней, привел их к выводу, что попытки поднять крестьян на восстание обречены на неудачу. Неумение найти себе опору в народе повлекло за собою переход большинства народников к тактике индивидуального террора. Ее пытались обосновать народнической теорией активных «героев» и пассивной «толпы» — теорией, недооценивавшей революционную активность масс.

Н. А. Морозов был одним из самых ранних и самых упорных пропагандистов борьбы «по способу Вильгельма Телля», т. е. индивидуального террора.

В. И. Ленин указывал, что террористическая тактика, рассчитанная, по замыслу ее сторонников, на дезорганизацию правительства, в действительности дезорганизовала не его, а сами

революционные силы. Увлечение террором как средством борьбы, указывал Ленин, неизбежно приводит к тому, что революционеры отвлекаются от своей главной задачи — подготовки массового движения (В. И. Ленин. Сочинения, т. 5, стр. 7). Справедливость этого указания Ленина вполне подтверждается на примере «Народной воли». Для народовольцев, увлеченных «дезорганизаторской», как они выражались, борьбой, террористические акты из средства борьбы превращались в самоцель. Это подтверждается, в частности, оценкой, какую Н. А. Морозов дает цареубийству 1 марта 1881 г. Он считает, что, убив Александра II, народовольцы нанесли своим врагам «последний могучий удар, от которого они уже не могли окончательно поправиться». Такой взгляд на дело 1 марта, конечно, глубоко ошибочен. Успехом это дело можно считать только в том случае, если рассматривать убийство Александра II как самоцель. Первоначально товарищей Н. А. Морозова по «Народной воле» интересовало не цареубийство само по себе, а те политические последствия, к которым оно, по их мнению, должно было привести. Народовольцы, организуя цареубийство, рассчитывали напугать правительство и заставить его пойти на политические реформы, сформулированные затем в известном письме Исполнительного комитета «Народной воли» к новому императору Александру III. В действительности эти расчеты не оправдались. Правительство не только не пошло на уступки, но, напротив, сразу же после 1 марта взяло твердый курс на реакцию. На террор народовольцев оно ответило усилением репрессий; в результате члены Исполнительного комитета «Народной воли» были частью казнены, частью подвергнуты продолжительному лишению свободы, а сама эта организация прекратила свое существование. Таким образом, в день 1 марта 1881 г. был нанесен сокрушительный удар, вопреки мнению Н. А. Морозова, не самодержавию, а самой «Народной воле».

Рассказывая о покушении В. И. Засулич на генерала Трепова, Морозов пишет: «Вот явилась у нас Шарлотта Кордэ; скоро появятся и Вильгельмы Телли». В другом месте воспоминаний мы читаем: «...ближайшее будущее должно принадлежать Вильгельмам Теллям и Шарлоттам Кордэ». Эти высказывания Н. А. Морозова свидетельствуют, что в его глазах всякий террорист, независимо от того, против кого направлен его удар, был окружен героическим ореолом. Именно потому он одинаково восхищался и Вильгельмом Теллем, боровшимся против врагов своего народа, и контрреволюционеркой Шарлоттой Кордэ, убившей «Друга народа» — Марата! Такую путаницу в умах порождало увлечение террором.

Индивидуальный террор не принес и не мог принести революционному движению ничего, кроме вреда, отвлекая внимание трудящихся от борьбы с классом угнетателей бесполезными для революции убийствами отдельных представителей этого класса.

Переход от агитации и пропаганды к террору был первым шагом на пути к идейному краху народничества, обнаруживал его теоретическую слабость. Эта теоретическая слабость проявлялась и на других сторонах народнического миросозерцания. Народники считали себя социалистами; в действительности же, как это показал В. И. Ленин, во всем народничестве не было ни грана социализма. Не за осуществление социализма в России боролись революционеры шестидесятых и семидесятых годов, а за буржуазно-демократическую революцию в нашей стране, в частности за ликвидацию помещичьего землевладения и переход всей земли в руки крестьян.

Вопреки мнению народников, перед Россией после отмены в ней крепостного права вопрос стоял не о переходе к социализму, минуя капитализм, а о том, в какой форме осуществится неминуемое торжество капиталистических отношений. Сами не сознавая того, народники боролись за развитие русского капитализма по американскому, а не по прусскому пути, т. е. на основе мелкого крестьянского землевладения, а не крупных помещичьих латифундий.

Естественно, что народники не могли не сочувствовать тем странам, в которых развитие капиталистических отношений совершилось по этому типу, и в первую очередь классической в этом отношении стране — Соединенным Штатам Америки.

«Республиканские знамена великой федерации Нового Света», говоря языком Н. А. Морозова, представлялись русским народникам как бы символом нового мира, совершенно отличного от старого мира буржуазной Европы.

Испытав на себе все тяготы русского полицейского произвола, революционеры-народники идеализировали буржуазно-демократические порядки Заокеанской федерации. Забывая свойственные этим порядкам темные стороны, они, в том числе и Н. А. Морозов, думали, что там осуществились принципы равенства и свободы. Они не замечали, что североамериканское «равенство» было чисто формальным, а североамериканская «свобода» — уделом только тех, у кого карманы полны денег.

Народниками, в том числе Н. А. Морозовым, идеализировалась и Швейцария — страна, якобы осуществившая в своем политическом устройстве принципы народничества и полной свободы человеческой личности. Известно, что и М. А. Бакунин, проповедовавший необходимость разрушения всех государств,

соглашался сделать исключение только для Швейцарской федерации, которая в глазах его и его единомышленников была чем-то совершенно отличным от других буржуазных государств. Такую точку зрения на швейцарские политические порядки не могли поколебать даже хорошо известные русским революционерам факты преследования местными властями поселившихся в Швейцарии эмигрантов, вроде выдачи С. Нечаева на расправу царскому правительству, вроде С. Серебренникова, по ошибке принятого швейцарской полицией за Нечаева, вроде высылки ряда русских «нигилистов» и т. п.

Остановимся еще на одной особенности воспоминаний Н. А. Морозова.

По социальному составу народническое движение было разночинским. Большинство его участников вышло из мелкого чиновничества, духовенства, мещанства и других непривилегированных слоев общества. Однако в рядах революционеров-народников была и значительная прослойка дворянской молодежи, порвавшей со своим классом и посвятившей себя борьбе за интересы русского крестьянства. К этой прослойке принадлежал Н. А. Морозов, внебрачный сын богатого помещика Щепочкина. Не все люди подобного типа, порывая с господствующим классом, смогли полностью отделаться от взглядов, сложившихся у них в детстве. Н. А. Морозов всю жизнь сохранял воспоминание о счастливых и радостных годах детства и юности. В его представлении прошлое навсегда осталось окрашенным в розовые тона, и это сказалось на некоторых его высказываниях. Говоря об отношениях между помещиками и крестьянами при крепостном праве, он утверждает, что «салтычихи», о которых он знал только по книгам, были редким исключением среди дворянства, и в подтверждение ссылается на знакомых в детстве соседей-помещиков, между которыми, по его словам, не было ни одного «человека-зверя». «Большинство окружавших нас помещиков были просто гостеприимные люди, совершенно так, как описано у Гоголя, Тургенева, Гончарова... Многие выписывали журналы, мужчины развлекались больше всего охотой, а барыни читали романы и даже старались быть популярными, давали даром лекарства и т. д.».

Н. А. Морозов, очевидно, забыл, как ярко обрисовал упомянутый им Тургенев крепостническую суть этих «гостеприимных» и «образованных» рабовладельцев. Вспомним героя рассказа «Бурмистр», отставного гвардейского офицера Аркадия Павловича Пеночкина, славившегося среди соседей своим отличным воспитанием и считавшегося одним из образованнейших дворян уезда. Это — зверь, умевший прекрасно маскироваться

под культурного человека. «На счет Федора... распорядишься», приказывал он вполголоса. И камердинера Федора, провинившегося лишь в том, что он по забывчивости подал барину неподогретое вино, пороли. Вспомним другой тургеневский персонаж — гостеприимного помещика Мардария Аполлоныча Стегунова из рассказа «Два помещика»; во время порки крепостных он с наслаждением слушал звуки ударов розгами и «с добрейшей улыбкой» вторил им: «Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк. Чюки-чюк!»

Чуткий художник, Тургенев сознавал всю фальшь помещичьего добродушия и под внешностью культурного европейца умел разглядеть зверя-крепостника. От Морозова-ребенка нельзя было требовать такой проницательности, и он сохранил в своей памяти неразоблаченные в их крепостничестве образы культурных, добрейших и гостеприимных соседей, которых наблюдал в детстве. В своих воспоминаниях он не дает правильной оценки крепостнических порядков.

Эти порядки были страшны не столько зловещими, извращенными салтычихами, сколько рядовыми — добрыми на вид, крепостниками и крепостницами. В крепостном праве самым страшным было то, что оно безжалостно уродовало личность и крестьян, и их владельцев. В первых оно убивало чувство человеческого достоинства и воспитывало психологию рабов; во вторых оно вселяло убеждение в полной естественности такого порядка, при котором один человек владеет другим, как вещью.

Ребенок Морозов не мог понять развращающего влияния крепостного права. Когда же он сделался взрослым и сознательным человеком, этого права уже не существовало, и он судил о нем лишь по своим детским, окрашенным в розовые тона, воспоминаниям.

К этому надо прибавить, что воспоминания Н. А. Морозова проникнуты глубоким оптимизмом и жизнерадостностью, не покидавшими автора даже в самые тяжелые моменты его жизни и поддерживавшими в нем ясность мысли и бодрость духа во время многолетнего заключения в каземате Шлиссельбургской крепости.

При чтении воспоминаний Н. А. Морозова перед читателями рисуется яркий образ их автора, непоколебимо верившего в неизбежность светлого будущего и сохранявшего эту веру, несмотря на все неудачи, пережитые в неравной борьбе, которой он посвятил свою молодость.

Б. Козьмин

Примечания

К книге третьей

[1] (стр. 5). Повесть «Дни испытания» написана в Двинской крепости (см. т. I, примеч. 1 к стр. 29) во второй половине ноября 1912 г., первоначально напечатана в журн. «Русская мысль» за 1913 г. (№ 6 и 7). Предшествующая повесть «Свободные горы» (т. I, стр. 459 и сл.) о жизни автора в Швейцарии заканчивается рассказом о решении Н. А. вернуться в Россию, чтобы участвовать в революционном движении на родине.

[2] (стр. 6). В обвинительном акте по «Делу о революционной пропаганде в империи» («Большой процесс», «Дело 193-х») сообщается: «Саблин и Морозов были задержаны в пограничном селении Кибартах на обратном пути в Россию, причем у Морозова оказалось прусское легитимационное свидетельство на имя Карла Энгеля, а у Саблина прусская легитимационная карта на имя Фридриха Вейсмана» (сб. «Государственные преступления в России в XIX в.», т. III, ред. В. Богучарского, стр. 159).

[3] (стр. 30). Куплеты о Третьем отделении были широко распространены во второй половине XIX в. Авторство их не установлено. Распространялись в списках. Были напечатаны частично в «Колоколе» за 1866 г. (№ 221 от 1 июня), в заметке «Задержание «Московских ведомостей»», перепечатанной затем в Полном собрании сочинений А. И. Герцена (т. XVIII, 1922, стр. 413) с указанием М. К. Лемке, что автор куплетов — А. К. Толстой. Но в Полном собрании стихотворений А. К. Толстого под редакцией И. Ямпольского (1937 г.) эти куплеты не включены ни в основной текст, ни в отдел приписываемых Толстому стихов. Куплеты о Цепном мосте перепечатывались много раз в сборниках политических стихотворений, издававшихся в России и за рубежом до революции 1917 г. и после нее. Из зарубежных изданий, кроме «Колокола», Н. А., несомненно, читал их в сборнике «Лютня, собрание свободных русских песен и стихотворений» (Лейпциг, 1869, стр. 160 и сл.: было несколько переизданий). Включены в сборник Н. А. Бродского и В. Львова-Рогачевского «Революционные мотивы русской поэзии» (Л., 1926, стр. 117). Запомнив, что куплеты были напечатаны в «Колоколе», Н. А. через несколько десятков лет приписал их авторство издателям лондонского журнала.

[4] (стр. 34). Реакционный «учено-литературный и политический» журнал «Заря» издавался в Петербурге в 1869—1872 гг.

[5] (стр. 34). Стихотворение «Цветики» напечатано в № 1 журн. «Заря» за 1869 г. (стр. 167 и сл.) без заглавия и подписи. Н. А. приводит его по памяти со значительными разночтениями. Ни в одно из собраний стихотворений П. А. Вяземского оно не включено.

[6] (стр. 46). Это первая строфа стихотворения неизвестного автора; оно широко распространялось среди революционной молодежи задолго до ареста Н. А.; пелось на один из мотивов оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»); встречается в мемуарах других участников революционного движения второй половины XIX в.

[7] (стр. 47). Смельский, действительно, сделал карьеру на аресте Н. А. Морозова и Саблина. После их ареста В. Н. Смельский был из начальников Вилковышского уезда в чине майора назначен в конце 1875 г. чиновником особых поручений при петербургском градоначальнике Ф. Ф. Трепове. В Петербурге он заведовал секретным шпионажем, повышался в этой роли в чинах и должностях, приобрел в определенных кругах известность как опытный охранник. После убийства Александра II в высших придворных кругах образовалось общество «священной дружины», официальным назначением которой была охрана царя от покушений революционеров. Сановные руководители «дружины» преследовали свои карьеристские цели, а рядовые участники занимались шантажем и мошенничествами. Для заведования тайной агентурой «дружины» был приглашен В. Н. Смельский. Он недолго удержался в этой должности, так как высказывался против соперничества «дружины» с официальной полицией и жандармерией. Смельский вел дневник, представляющий значительный интерес для освещения провокационной деятельности «священной дружины». Дневник напечатан в журнале «Голос минувшего» за 1916 г. (№ 1—6). Литература об этой сановно-провокационной организации обширна. Обстоятельный очерк «дружины» — в книге Д. Заславского «Взволнованные лоботрясы. Очерки из истории «священной дружины»». М., 1931.

[8] (стр. 49). Декабрист М. А. Бестужев подробно описывает в своих воспоминаниях, как он, сидя в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, изобрел стенную азбуку для переговоров с товарищами по заключению посредством перестукивания (Воспоминания Бестужевых, ред. М. К. Азадовского и др., М., 1931, стр. 168 и сл.).

[9] (стр. 53). Из стихотворения Н. А. Некрасова (1868 г., без заглавия). Цитата не точная. У Некрасова: «Душно! без счастья и воли, Ночь бесконечно длинна» и т. д. (Н. А. Некрасов. Избранные сочинения. Со вступительной статьей А. М. Еголина. 1945, стр. 154).

[10] (стр. 59). Из стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных» (1829 г.). Полное собрание сочинений под ред. С. М. Бонди, М. А. Цявловского и др., т. II, М., 1936, стр. 104.

[11] (стр. 61). Это мастер Иоганн Пельконен.

[12] (стр. 66). Маликовцы — последователи А. К. Маликова. Он родился в 1839 г.; по окончании университета (в 1863 г.) был судебным следователем. В 1866 г. арестован в связи с делом Д. В. Каракозова, покушавшегося на Александра II. Обвиняли Маликова в агитации среди заводских рабочих, которых он убеждал устроить завод на артельных началах. На допросе он признал, что знаком с участниками кружка Ишутина — Каракозова, но что разделял только их стремление распространять социальные идеи в народе с разрешения правительства через образование, артели и книги, без всяких насильственных действий. Обвиняли еще Маликова в желании участвовать в освобождении из сибирского заточения Н. Г. Чернышевского, но он отрицал это: он только хотел жениться на купчихе и часть приданого обратить на улучшение участи Чернышевского, если жена разрешит это. Суд освободил его от наказания, но признал подлежащим высылке по усмотрению министра внутренних дел («Покушения Каракозова», под ред. М. М. Клевенского, т. I,

1928, по Указателю; т. II, 1930, стр. 130 и сл., 237 и сл. и по Указателю).

Маликова выслали в г. Холмогоры Архангельской губернии, откуда перевели в 1873 г. под надзор полиции в Орел. Здесь Маликов окончательно отказался от сочувствия «социальным идеям» и стал проповедовать «религию богочеловечества». Говорил он, по рассказу революционера 70-х годов Н. Ф. Цвиленева, проникновенным голосом, необыкновенно выразительно, гипнотизировал слушателей. «Но я не мог понять,— пишет мемуарист,— как мог допускать этот человек возможность победить антагонизм классовых соотношений» (Н. Ф. Цвиленев. Автобиография, Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат, т. 40, 1926, приложение к ст. «Развитие социалистической мысли в России», вып. 7—8, стр. 522).

Ясно и четко изложена «религия богочеловечества», увлекавшая небольшое время некоторых участников движения 70-х годов, у товарища Н. А. по шлиссельбургскому заточению М. Ф. Фроленко. Он пишет, что Маликов проповедовал «о возрождении людей путем веры в то, что люди — боги, что стоит людям поверить в это (найти в себе бога, как выражались тогда), и с них спадет кора всех порочных страстей и чувств, и они превратятся в непорочных агнцев, неспособных ни на что злое, дурное. Мир быстро обновится, и на земле водворится земной рай... Тут не требовалось ни договоров, ни скрытности, ни революции, никаких бунтов. Все дело только в том, чтоб отказаться от налипших недостатков, почувствовать себя богочеловеком, уверовать в это» (М. Ф. Фроленко. Маликов и маликовцы. Собр. соч., т. I, М., 1930, стр. 217 и сл.).

[13] (стр. 96). Влад. Ник. Щепкин — внук великого русского артиста М. С. Щепкина, сын известного общественного деятеля Н. М. Щепкина, друга Шевченко, первого издателя полного собрания сочинений В. Г. Белинского, стихотворений Н. П. Огарева и др. В. Н. Щепкин был привлечен к «Большому процессу» (193-х) как деятельный участник революционной пропаганды среди крестьян и рабочих. Среди «опасных» вещей у него были найдены сочинения Н. Г. Чернышевского, портрет Лассаля с надписью «Вы камень, на котором созидается церковь настоящего», и рукописи, «колеблющие основы государственного порядка».

В. Н. Щепкина защищал его отец. Приговорили его к трехмесячному аресту с зачетом предварительного тюремного заключения. После суда занялся научной работой в области политической экономии. Напечатал книгу «Голод в России». Умер в конце 80-х годов XIX в.

[14] (стр. 98). Слова Гамлета в одноименной трагедии Шекспира (акт 5-й, сцена 1-я, кладбище).

[15] (стр. 101). С. С. Синегуб умер много лет спустя по окончании срока его каторги. Приговорив его по делу 193-х к каторжным работам в крепости на 9 лет, суд предлагал царю в порядке «монаршего милосердия» заменить это наказание ссылкою на поселение в «места Сибири, не столь отдаленные» (сб. «Государственные преступления в России в XIX в.», т. III, стр. 297—299).

Александр II утвердил, однако, первоначальный приговор. Царь «милостиво» разрешил только зачесть Синегубу в срок каторжных работ пять лет, проведенных им в предварительном заключении. По утверждении царем приговора, в № 6—7 журнала «Община» было напечатано обращение 24 осужденных, в том числе С. С. Синегуба, к «товарищам по убеждениям». Здесь, между прочим, заявлялось, что «никакие кары и снисхождения» не изменят приверженности участников процесса к революционной партии. «Мы по-прежнему остаемся врагами действующей в России системы, составляющей несчастье и позор нашей родины»,— писали Синегуб и его товарищи в документе, помеченном: «Петропавловская

крепость, 25 мая 1878 г.» (сб. «Государственные преступления», т. III, стр. 303).

Синегуб был отправлен на карийскую каторгу, откуда выпущен на поселение в 1881 г. в Читу. Впоследствии он переехал в Томск, где умер в октябре 1907 г.

[16] (стр. 102). Эти рассуждения Н. А. Морозов подробно развил в напечатанных после шлиссельбургского заточения книгах «Откровение в грозе и буре», «Пророки» и др.

[17] (стр. 103). Дальше следуют размышления о взаимоотношениях современных государств, о войнах и т. п. Подробно Н. А. Морозов развил это в книге «На войне».

[18] (стр. 105). Повесть «На перепутье» написана в крепости в первой половине декабря 1912 г., напечатана в журн. «Современный мир» за 1913 г. (№№ 6 и 7).

[19] (стр. 145). Свои рассуждения на социально-экономические и социально-бытовые темы Н. А. Морозов развил в книгах: «Как прекратить вздорожание жизни. Основные законы денежного хозяйства». М., 1916; «Эволюционная социология, земля и труд», П., 1917. Первая из названных книжек упоминается в сноске к тексту «Повестей моей жизни» в предшествующем издании, где ее содержание было сокращенно изложено на нескольких страницах.

[20] (стр. 147). Рыбинско-Бологовская железная дорога была открыта для движения в июне 1870 г.; сооружена на акционерный капитал, не гарантированный правительством, и потому давала мало дохода. Упоминавшееся отцом Н. А. Морозова продолжение дороги и подъездные пути впоследствии были сооружены на гарантированные правительством капиталы.

[21] (стр. 161). Неточная цитата из стихотворения М. Л. Михайлова «Памяти Добролюбова» (М. Л. Михайлов. Полное собрание сочинений. Ред. Н. С. Ашукина. М.—Л., 1934, стр. 616).

[22] (стр. 165). Процесс 20-ти народовольцев — Н. А. Морозова, А. Д. Михайлова и других — начался 9(21) февраля 1882 г., закончился 15 февраля. Царь подписал приговор 17 марта. Министр внутренних дел (с мая 1881 г.) граф Н. П. Игнатьев был заменен графом Д. А. Толстым в мае 1882 г.

[23] (стр. 167). Повесть «Перед грозой» написана во второй половине декабря 1912 г., напечатана в журн. «Северные записки» за 1913 г. (№№ 5—8).

[24] (стр. 171). «Из мрака к свету» — роман Ф. Шпильгагена, напечатанный по-немецки в 1861 г., переводился на русский язык несколько раз.

[25] (стр. 174). Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» (1827 г.). В первом стихе у Н. А. неточность. У Пушкина: «Но лишь...» и т. д. (Полное собрание сочинений, под ред. С. М. Бонди, М. А. Цявловского и др., М., 1936, т. II, стр. 33).

[26] (стр. 178). «Из-за решетки. Сборник стихотворений русских заключенников по политическим причинам в период 1873—1877 гг., осужденных и ожидающих «суда»». Женева, тип. газ. «Работник», 1877, 10+ +32+144 стр. В сборнике семь стихотворений Н. А. Морозова (подпись — М. Н.), стихотворения С. С. Синегуба (псевдоним — Вербовчанин) и других.

[27] (стр. 187). Из русских революционеров участвовали в борьбе балканских славян за свободу С. М. Кравчинский, Д. А. Клеменц, М. П. Сажин, П. С. Поливанов и другие. Некоторые из них заводили там связи с местными революционерами. Среди них представляет особенный интерес личность офицера русской армии Ник. Дм. Далматова (род. в 1842 г.). Получив в 1859 г. от матери имение, он отпустил

крестьян на волю и отдал им всю землю — около 1000 десятин. В конце 60-х годов Далматов уехал в Болгарию для участия в подготовлявшемся там восстании против турецкого ига. Не имея денег, поступил в Одессе матросом на пароход, отправлявшийся в Болгарию. Затем работал на патронном заводе в Белграде (Сербия). Вернувшись в начале 70-х годов в Россию, работал слесарем на заводах и подозревался в распространении среди рабочих революционной литературы. В начале восстания в Герцеговине (1875) отправился туда; был убит в сражении под Крагуевацом.

[28] (стр. 192). В первой половине 70-х гг. в Чигиринском у. Полтавской губ. происходили крестьянские волнения на аграрной почве. Среди крестьян пошли слухи, что царь скоро пошлет по деревням комиссаров для передела земли. Этими слухами воспользовался один из участников революционного движения — Я. В. Стефанович. Подобрав небольшую группу товарищей (среди них главные — Л. Г. Дейч и И. В. Бохановский), он повел среди крестьян Чигиринского уезда агитацию. Организовали в 1877 г. «Тайную дружину», в которую было вовлечено около 2000 крестьян путем раздачи подложных царских грамот с обещанием земли и с призывом отбирать ее силой от помещиков. Тайна, вопреки убеждениям подложных царских грамот, соблюдалась недолго. Нескольких человек сослали в Сибирь, 74 крестьянина были приговорены к различным наказаниям. Подложные документы Чигиринской дружины опубликованы в журн. «Былое» за 1906 г. (№ 12, стр. 257 и сл.).

[29] (стр. 195). Изложенная здесь, в общем довольно точно, т. н. «боголюбовская» история произошла 13 июля 1877 г. А. С. Емельянов, известный в революционных кругах под фамилией Боголюбова, за участие в демонстрации 6 декабря 1876 г. на площади перед Казанским собором в Петербурге был приговорен к каторжным работам в рудниках на 15 лет. Перед отправкой на каторгу содержался в доме предварительного заключения. Здесь и произошла описанная Н. А. Морозовым история. Боголюбова подвергли по приказу Трепова телесному наказанию. Вскоре его отправили в Ново-Белгородскую центральную каторжную тюрьму, где он впал в душевное расстройство. Умер в Казанской больнице около 1885 г.

[30] (стр. 197). См. «Автобиографию» Н. А. Морозова в т. I «Повестей моей жизни».

[31] (стр. 202). Об Алексеевой см. в т. I «Повестей моей жизни».

[32] (стр. 205). См. т. I «Повестей моей жизни».

[33] (стр. 206). Вера Ивановна Засулич была в первый раз арестована в связи с делом С. Г. Нечаева в 1869 г. Около двух лет ее держали в тюрьме, затем выслали в административном порядке в места «не столь отдаленные». Лишь в 1875 г. разрешили приехать в Харьков для поступления на фельдшерские курсы. В Трепова она стреляла 24 января 1878 г. в приемной градоначальника в присутствии просителей и чиновников. Тяжело ранила Трепова в живот, но он потом выздоровел. В своих воспоминаниях Засулич рассказывает, что было после ее выстрела: «Выстрел, крик... Стояла и ждала... Посыпались удары, меня повалили и продолжали бить... Что было совершенно неожиданно, так это то, что я не чувствовала ни малейшей боли; чувствовала удары, а боли не было. Я почувствовала боль только ночью... в камере».

[34] (стр. 206). Сопоставление Веры Засулич с Шарлоттой Кордэ не соответствует политическим мотивам их выступлений. Шарлотта Кордэ убила вождя французской революции конца XVIII в. Жана-Поля Марата (13 июля 1793 г.) из побуждений контрреволюционных. Вера Засулич стреляла в царского ставленника за жестокое обращение с осужденным революционером.

[35] (стр. 215). О супругах Гольдсмит см. «Повести моей жизни», т. I, Упоминаемую дальше в тексте дочь Гольдсмитов звали Маней, а не Соней, как пишет Н. А. Морозов.

К книге четвертой

[36] (стр. 227). Повесть «Невозвратно былое» написана в Двинской крепости в середине января 1913 г.; напечатана в журнале «Северные записки» за 1916 г. (№№ 2 и 12). Вторая половина повести (гл. 5—7) появилась в печати спустя десять месяцев после первой вследствие задержки цензурой. После долгих переговоров редакции с цензурой последняя разрешила печатание глав пятой и седьмой; заголовок шестой главы был в журнале сохранен, но вместо текста под ним был ряд точек. Первая глава повести имела в журнале заголовок: «Мысли узника».

[37] (стр. 227). Из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» (1828 г.). Полное собрание сочинений, т. II, ред. М. А. Цявловского, М., 1936, стр. 57 и сл.

[38] (стр. 237). Из поэмы «Антоний» поэта первой трети XIX в. Э. И. Губера. Цитировано неточно (Сочинения, т. I, СПб., 1859, стр. 298).

[39] (стр. 245). Интересные подробности о саратовской революционной молодежи, среди которой действовал Н. А. в описываемый период,— в позднейшем очерке одного из тогдашних молодых людей, И. И. Майнова, «Саратовский семидесятник» («Минувшие годы», № 1, 1908, стр. 244—276; № 3, стр. 171—208; № 4, стр. 252—282).

Очерк посвящен жизнеописанию и революционной деятельности главного героя рассказа «Изумительный револьвер» — П. С. Поливанова, который просидел одновременно с Н. А. почти двадцать лет в Шлиссельбургской крепости. Описывая общество, собиравшееся у Гофштеттеров, И. И. Майнов так характеризует тогдашнего Н. А.: «Когда разговор, что так часто бывало, сводился на литературу, на поэзию или принимал шутливый и веселый характер, то первое место в живой словесной перестрелке занимал молодой человек лет 23—24, стройный, хорошенький, с нежным цветом лица, с ясными глазами, в которых самый опытный сыщик не увидел бы ничего говорящего о том, что вот это — «заговорщик» и будущий террорист. В литературно-философски-шутливом causerie * Николай Иванович Полозов — псевдоним этого нелегального — напоминал скорее какого-нибудь беззаботного виконта дореволюционной эпохи, чем русского «нигилиста», которому, по шаблону реакционных романов того времени (Маркевич, Авсеенко, Крестовский, Мещерский и т. д.), полагалось быть неотесанным циником, отрицающим эстетику и носовые платки. Этот «нигилист» не только признавал эстетику, но и был проникнут эстетическим чувством до конца ногтей. Он был изящен и по внешности, и по ходу своих мыслей, живому, свободному, почти всегда несколько своеобразному, и по легкой, искристой форме своей речи, с прорывающимися в ней по временам нотками лиризма, тотчас же спешившего замаскироваться веселой шуткой. Тонкий и строгий критик чужих стихов, Николай Иванович сам писал очень недурно».

Излагая дальше содержание революционных бесед молодежи, собиравшейся на балконе квартиры Гофштеттера, автор очерка вспоминает: «Мечтали о возрождении человечества к новой жизни, искали путей к такому возрождению и, чувствуя в себе силы идти в своих исканиях навстречу всем бедам и напастям, какие может послать судьба, беззаботно

* Беседа.

отдавались красивым настроениям, когда они являлись естественно и охватывали сразу всех, как это иногда бывает в хорошей компании. В такие моменты Морозов являлся самым приятным и занимательным собеседником. По своей любви к шуткам он нередко старался поддеть нас, юношей, на нашей юношески прямолинейной и необузданной революционности и раз сочинил с этой целью особые стихи, сверх-ультрареволюционные; не только содержание, но и самые рифмы в этих стихах состояли сплошь из самых сакраментальных или жупельных для революционера слов: «жандармы» — «казармы», «троны» — «стоны» (конечно, народные), «тираны» — «под игом рабства гибнущие страны» и т. п. С совершенно серьезным видом и с немалым пафосом он прочел перед нами это дивное произведение революционной музы, ожидая, что юнцы не разберут и придут в восторг от столь пламенного «прославления свободы»; но в этой гипотезе будущий философ ошибся, и дело закончилось дружным смехом автора и его критиков» («Минувшие годы», № 3, стр. 192—193).

[40] (стр. 245). А. И. Иванчин-Писарев рассказывает об этом в своих воспоминаниях («Хождение в народ», изд. «Молодая гвардия», М.— Л., 1929, стр. 92).

[41] (стр. 248). Об этой истории (1878 г.) рассказано в нелегальном журнале «Начало» (№ 2, апрель 1878 г.). В рассказе использованы сообщения легальных буржуазных газет. «3-го апреля в Москве у вокзала Курской железной дороги собралось до 200 молодых людей. Они явно выражали намерение встретить киевских студентов, отправляемых административным порядком в ссылку... Полиция, которая приходит в ужас от всякого рода манифестаций и демонстраций, полиция, которая для предупреждения демонстраций крадет трупы умерших людей, замешанных в политических делах,— эта самая полиция молчит и бездействует. Что за причина? Но встречавшим некогда было вдумываться в эти фразы. Ссыльные приехали; ожидавшие встретили их с восторгом. Оказалось, что у многих из них нет теплого платья,— москвичи отдали свое. Ссыльных поместили в кареты, окруженные небольшим конвоем с частным приставом во главе. Москвичи с громкими криками «ура» шли около карет. Медленно двигался поезд; толпа прибывала все более и более... Поезд проезжает почти через весь город, толпа вырастает до пяти тысяч. Еще медленнее и с большими затруднениями движется поезд; москвичи, провожавшие своих киевских товарищей, недоумевают; очевидно, полиция сама способствует демонстрации. Наконец, приближаются к Охотному ряду, приближаются к развязке той загадки, что задана им полицией... Незадолго до появления этого поезда в Охотном ряду там был пристав Тверской части и обращался к лабазникам и торгующим мясом с просьбой помочь полиции усмирить студентов, бунтующих против царя и желающих освободить поляков, ссылаемых в Сибирь на каторгу... Полиция обещала им безнаказанность битья студентов. Вот в каком настроении были торговцы Охотного ряда, когда к нему приближался поезд с высылаемыми студентами. Лабазники присоединились к толпе, окружавшей кареты и состоявшей в громадном большинстве из зевак, принадлежавших к высшему сословию, и стали «задирать» студентов, а потом открыто вступили в драку со словами: «Лупи, ребята, барских щенков!». Лабазники били всех, не разбирая ни возраста, ни пола, кто одет в немецкое платье. Избитые мужчины и женщины, без чувств распростертые на мостовой, встречались по всему пространству от Охотного ряда до Никитской. Все это делалось в продолжение трех часов без всякой помехи с чьей-либо стороны. Полиции не было видно вовсе» (сб. «Революционная журналистика 70-х годов», ред. В. Богучарского, стр. 29 и сл.).

[42] (стр. 252). В. Н. Фигнер рассказывает о происхождении названия

«троглодиты»: «Однажды, как-то в разговоре, когда сошлись Писарев, Клеменц, я и еще кто-то. Клеменц в юмористическом духе изображал невозможность добраться до хорошо законспирированных товарищей. «Это какие-то пещерные люди,— говорил он с обычной насмешливой улыбкой,— троглодиты, скрывающиеся в недоступных расщелинах и скрытых пещерах». Сравнение это понравилось и стало повторяться; отсюда и пошло потом шутливое прозвище «троглодиты», а позднейшие «историки» превратили штуку в серьезное название — «Общество троглодитов»» (Соч., т. I, 1933, стр. 113).

[43] (стр. 262) Вера Засулич была предана суду с участием присяжных заседателей. Председателем Петербургского окружного суда был тогда знаменитый юрист, писатель, общественный деятель, впоследствии почетный член Академии наук — А. Ф. Кони. Процесс происходил 31 марта 1878 г. Кони руководил заседанием беспристрастно. Этому приписывали в реакционных кругах понесенное царским правительством поражение в процессе Засулич. Руководители судебного ведомства хотели назначить обвинителями В. И. Засулич одного из товарищей прокурора окружного суда — В. И. Жуковского или С. А. Андреевского. Рассчитывали, что их красноречие повлияет на присяжных заседателей. Оба отказались. Первый ссылался на то, что его брат, Николай Иванович,— политический эмигрант. Второй оставил интересный рассказ о своем отказе. Он заявил своему начальнику, что по его убеждению, кто бы ни обвинял Засулич, присяжные заседатели оправдают ее. «Каким образом?» — спросил начальник. Потому что Трепов совершил возмутительнейшее превышение власти. Он выпорол «политического» Боголюбова во дворе тюрьмы и заставил всех арестантов из своих окон смотреть на эту порку... И все мы, представители юстиции, прекрасно знаем, что Трепову за это ничего не будет. Поймут это и присяжные. Так вот, они и подумают, каждый про себя: «Значит, при теперешних порядках и нас можно пороть безнаказанно, если кому вздумается? Нет! Молодец Вера Засулич! Спасибо ей!» И они ее всегда оправдают. В обвинители Веры Засулич следовало бы достать какого-нибудь дореформенного человека, преданного далекой старине». Жуковский и Андреевский понесли за отказ административное наказание (Р. Кантор. К процессу В. И. Засулич. «Былое», № 21, 1923, стр. 87 и сл.; А. Ф. Кони. Воспоминание о деле Веры Засулич. М.— Л., 1933; см. еще примеч. 52 к стр. 383).

[44] (стр. 263). Рассказ «Проблески» написан 13—20 января 1913 г. в Двинской крепости; напечатан в «Ежемес. журнале» за 1914 г. № 1—3.

[45] (стр. 273). Из стихотворения Н. А. Добролюбова (без названия). У автора четвертая строка читается так: «Не залегла передо мной» (Полное собрание сочинений, т. VI, ред. П. И. Лебедева-Полянского и Б. П. Козьмина. М., 1939, стр. 266.

[46] (стр. 283). Дм. Андр. Лизогуб — богатый украинский помещик. Принимал участие в революционном движении с 1874 г. Все свои средства отдал на революционные предприятия. Подвергался преследованию жандармов, но дела о нем прекращались несколько раз за отсутствием улик. По доносу его управляющего, хотевшего присвоить имение Лизогуба, арестован в конце 1878 г. Привлечен к процессу группы лиц, подготовлявших широкое крестьянское восстание, приговорен к смертной казни и повешен 10 августа 1879 г.

[47] (стр. 295). В рассказе некоторые неточности. С. Л. Перовскую выслали не в Архангельскую, а в Олонецкую губ. От жандармов она скрылась со станции Волхов в ночь с 24 на 25 августа 1878 г., почти два месяца спустя после свидания с Н. А. Морозовым по делу об освобождении П. И. Войнаральского.

[48] (стр. 302). В рассказе «Попытка освобождения товарища» Н. А. использовал свой очерк (во многих местах — буквально), напечатанный в № 4 подпольного журнала «Земля и воля» от 20 февраля 1879 г. («Попытка освобождения Войнаральского», сб. «Революционная журналистика семидесятых годов», ред. В. Богучарского, стр. 202—206).

Попытка освободить П. И. Войнаральского была 1 июля 1878 г. Раненый жандарм Яворский умер 3 августа. Всем участникам (около 15) удалось скрыться, кроме А. Ф. Медведева, жившего тогда под фамилией П. Н. Фомина. Он был предан военному суду и приговорен к бессрочной каторге. Первое время он держался стойко, но затем не выдержал мучительной обстановки каторжной тюрьмы и дал покаянное показание (П. Е. Щеголев. Алексей Медведев. «Каторга и ссылка», № 10—71, 1930, стр. 67—110).

О попытке освободить Войнаральского писали и другие участники дела. Интересен рассказ М. Ф. Фроленко, как он старался оградить Н. А. от опасности при подготовке этого рискованного предприятия (Соч., т. I, 1930, стр. 291 и сл.).

[49] (стр. 306). В т. I «Повестей моей жизни» школьный товарищ Н. А. Морозова, у которого он жил в свои гимназические годы, назван Печковским.

[50] (стр. 315). Повесть «За свет и свободу» написана в Двинской крепости в конце января 1913 г., первоначально напечатана в журн. «Голос минувшего» за 1915 г. (№ 4, стр. 108 и сл.)

[51] (стр. 315). Рассказа «Нерешительность моего друга» не было в журнале. В предшествующем отдельном издании шеф жандармов Н. В. Мезенцов был назван Печориным. В примечании к другому рассказу, где упоминался Мезенцов под фамилией Печорина, автор так объяснил эту замену: «В этих повестях, написанных во время заточения в крепости, некоторые фамилии были изменены для того, чтоб в случае их захвата слугами самодержавия они не имели значения юридических документов для обвинения кого-либо. Так и здесь фамилией Печорин обозначается Мезенцов. Позднейшее примечание».

[52] (стр. 316). Министр юстиции (с 1867 г.) граф К. И. Пален все время своего управления министерством проводил политику систематического и всестороннего уничтожения самостоятельности суда. Завершил он это умалением прав присяжных заседателей в делах политических. Через шесть дней после оправдания присяжными заседателями Веры Засулич (см. примеч. 43 к стр. 262), 6 апреля 1878 г., Пален внес в Государственный совет проект закона «Об изменении подсудности и порядка производства». Совет утвердил закон, устранявший присяжных заседателей от рассмотрения политических дел. Революционные организации ответили на этот реакционный закон изданием: «Записки министра юстиции Палена по поводу изменения подсудности дел о преступлениях против должностных лиц» с соответственными объяснениями.

Внимание революционных кругов к деятельности Палена испугало его. Летом того же года он оставил должность министра. Еще раньше, в 1875 г., редакция революционной газеты «Работник» выпустила тремя изданиями со своими объяснениями «Записку министра юстиции графа Палена — Успехи революционной пропаганды в России».

[52а] (стр. 317). Одна из организаторов партии эсеров Е. К. Брешко-Брешковская после свержения самодержавия перешла в лагерь оголтелой контрреволюции, была ярой пропагандисткой керенщины; после Великой Октябрьской социалистической революции принимала активнейшее участие в белогвардейских заговорах и интервенции. Умерла за границей в 1934 г.

[53] (стр. 322). С. Г. Ширяев рассказывает в автобиографической записке, что он познакомился с С. Н. Халтуриным в Петербурге в середине февраля 1879 г. («Красный архив», № 7, 1924, стр. 89).

[54] (стр. 327). Пав. Ник. Яблочков — знаменитый русский ученый. Он первый применил электричество к уличному и вообще массовому освещению. Патент на изобретенную им электрическую лампочку Яблочков получил в марте 1876 г. В Европе ее называли «русским светом».

[55] (стр. 328). Ошибка. В Нижнем-Новгороде Н. А. Морозов был летом 1878 г. Арестовали Н. А. Армфельдт и братьев Ив. Ник. и Игн. Ник. Ивичевичей в Киеве 11 февраля 1879 г. Братья Ивичевичи умерли от ран в больнице через несколько дней.

[56] (стр. 330). Вооруженное сопротивление И. М. Ковальского и его товарищей жандармам в Одессе произошло 30 января 1878 г. Все были преданы военному суду, который заседал с 19 по 24 июля. Приговорен был к смертной казни один Ковальский, остальные — к каторжным работам и ссылке.

[57] (стр. 332). Покушение С. М. Кравчинского на Н. В. Мезенцова произошло 4 августа 1878 г. Кравчинский скрылся.

[58] (стр. 334). Общество «Земля и воля» (первое) зародилось в конце 1861 г. В нем участвовали Н. Г. Чернышевский, Н. Н. Обручев (автор революционных прокламаций, при Александре III — начальник генерального штаба), А. А. Слепцов, братья Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, П. И. Боков, Н. И. Утин и др. М. Л. Михайлов в «Земле и воле» не участвовал: он был арестован до ее возникновения. Общество было связано с А. И Герценом и Н. П. Огаревым. В конце 1863 г. после подавления польского восстания и торжества реакции «Земля и воля» была ликвидирована ее участниками. Подробности — у М. К. Лемке в комментариях к сочинениям А. И. Герцена (т. XVI, 1920, стр. 69—101 и др. по Указателю на упомянутые фамилии).

[59] (стр. 334). Орган русских революционеров «Начало» издавался нелегально в России; вышло четыре номера (март — май 1878 г.).

[60] (стр. 348). Рассказ «Земля и воля» напечатан в «Голосе минувшего» за 1915 г. (№№ 4 и 5) как продолжение повести «За свет и свободу».

[61] (стр. 348). Приведенное Н. А. Морозовым место взято из передовой статьи № 1 журн. «Земля и воля» от 25 октября 1878 г. В обширной статье «От редакции» говорится о целях и задачах журнала, о намечаемой обществом деятельности. Здесь, между прочим, читаем: «Социализм — высшая форма всеобщего, всечеловеческого счастья, какая только когда-либо вырабатывалась человеческим разумом. Нет для него ни пола, ни возраста, ни религии, ни национальности, ни классов, ни сословий! Всех зовет он на чудный пир жизни, всем дает он мир, свободу, счастье, сколько каждый может взять! В этом и только в этом та непреодолимая, чарующая сила, которая влечет в ряды социалистов все свежее, чистое, бескорыстное». Обращаясь к убийству шефа жандармов, в связи с которым царское правительство и его прислужники распространяли на революционеров клевету, будто им вообще не дорога человеческая жизнь, автор статьи пишет: «Господа филистеры! Поверьте же, что для нас личность человека не менее священна, чем для вас, рукоплещущих бесцельному истреблению сотен тысяч людей из-за честолюбивых династических фантазий и допускающих гибель миллионов рабочего люда, чтобы только не поступиться некоторой долей своих скотских наслаждений». Журнал обращается к своим друзьям: «Не звать их на продолжение начатой борьбы намерены мы... Напротив того, хотим предостеречь их от... увлечения этого рода борьбой... Мы должны помнить, что не этим путем мы

добьемся освобождения рабочих масс. Против класса может восстать только класс; разрушить систему может только сам народ» (сб. «Революционная журналистика 70-х годов», ред. В. Богучарского, стр. 68 и сл.).

[62] (стр. 349). Дальше было на трех печатных страницах стихотворение А. А. Ольхина «У гроба», посвященное «поразившему шефа жандармов», т. е. С. М. Кравчинскому. В «Повестях» Н. А. Морозова оно приводилось с некоторыми разночтениями против текста, опубликованного в № 1 «Земли и воли».

[63] (стр. 351). Стихотворение «На смерть И. М. Ковальского» напечатано в № 2 «Земли и воли» от 15 декабря 1878 г.

[64] (стр. 352). О рассказе «Попытка освобождения Войнаральского» см. выше, примеч. 48 к стр. 302. Фельетоны Д. А. Клеменца в «Земле и воле» имели название «Письмо чистосердечного россиянина».

[65] (стр. 353). «Абрамка» — Сергей Ник. Лубкин, наборщик революционных подпольных типографий.

[66] (стр. 356). 17 июля 1875 г. А. И. Герцен писал своей хорошей знакомой М. К. Рейхель о посещении его многими соотечественниками, приезжающими из России. Герцен был тогда на вершине своей эмигрантской славы и популярности. «Русских все так же видимо-невидимо: и Краевский, и Зотов, и т. д.» (Соч., т. VIII, 1919, стр. 551).

В. Р. Зотов в позднейших воспоминаниях рассказывает об этом посещении: «В Лондоне или, точнее, в Путнее, в нескольких верстах от столицы Англии, где жил тогда на даче Александр Иванович Герцен, я провел несколько дней, о которых, конечно, никогда не забуду, как и о том времени, когда он был моим чичероне в Лондоне, водил меня на митинги и в клубы... Не забыть мне и последних бесед наших еще через десять лет в Женеве, на берегу ее синего озера» («Петербург в сороковых годах», гл. VI, «Исторический вестник», № 4, 1890, стр. 113 и сл.).

Автор воспоминаний был знаком с А. И. Герценом с 1846 г. «К сожалению,— пишет Зотов,— я видел его в Петербурге только три раза, и из них только одна беседа продолжалась несколько часов, остальные были слишком коротки» (там же).

В свой лондонский приезд Зотов передал Герцену упоминаемые в тексте материалы. Они изданы в книге: «Русская потаенная литература XIX столетия. Отдел первый. Стихотворения. Часть первая. С предисловием Н. Огарева». Лондон, 1861, 66 + 427 + 12 стр. В книге много стихотворений А. С. Пушкина революционного содержания (стр. 1—108), К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева (стр. 109—128), В. К. Кюхельбекера, А. И. Полежаева, вольнолюбивые стихи Н. М. Языкова, П. А. Вяземского, Д. В. Давыдова, М. Ю. Лермонтова, А. И. Одоевского и др. Сборник имел большое подпольное распространение в России вплоть до Октябрьской революции.

К заявлению В. Р. Зотова, что он «очень хорошо знал» Пушкина, Лермонтова, Гоголя и многих других писателей, которые «часто забегали провести вечерок» у его отца, надо отнестись с большой долей критики. Вряд ли Пушкин, Лермонтов и Гоголь «забегали» к отцу рассказчика, второстепенному романисту и драматургу Р. М. Зотову «очень часто». Но В. Р. Зотов в год смерти А. С. Пушкина достиг 15-летнего возраста и учился в Царскосельском лицее, где всегда была жива память о Пушкине-лицеисте. Конечно, он мог сильно интересоваться великим поэтом и с увлечением слушать разговоры о нем в литературном окружении отца.

В. Р. Зотов и сам имел в молодые годы касательство к революционному движению В 1849 г. он допрашивался по делу М. В. Петрашевского, с которым одновременно учился в лицее. Рассказал об этом в своих воспоминаниях («Петербург в 40-х годах», гл. VIII, «Исторический

вестник», 1890, № 6, стр. 536 и сл.; об этом — в сб. «Петрашевцы», ред. П. Е. Щеголева, т. I. М.— Л., 1926, стр. 112 и сл.; т. III, 1928, стр. 360; М. М. Клевенский. Герцен-издатель и его сотрудники, сб. «Литературное наследство», вып. 41—42. А. И. Герцен, т. II, М., 1941, стр. 591 и сл.).

[67] (стр. 358). См. примеч. 77 к стр. 421.

[68] (стр. 366). Когда впервые печатался этот рассказ, главный герой его, Л. Ф. Мирский, сын польского шляхтича, был еще жив. Н. А. изменил для печати фамилию героя, назвав его Любомирским. В примечании к тексту в послереволюционном издании автор объяснял эту замену осторожностью. В соответствии с этим шеф жандармов А. Р. Дрентельн, в которого стрелял Мирский, назван был Дриттеном, а невеста Мирского Вивиен де-Шатобрен — Лилиан де-Шатобрен. Предосторожность, впрочем, была излишней, так как правительство вскоре после покушения Мирского узнало его фамилию, и за это покушение он был приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой (он подал прошение о помиловании).

Посаженный в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, Мирский из самых низменных, шкурных побуждений выдал заговор С. Г. Нечаева, связавшегося с революционерами на воле через распропагандированных им солдат крепостной стражи и жандармов равелина. Этим предательством Мирский не только сорвал подготовлявшийся Нечаевым побег, который явился бы большим моральным ударом царскому правительству, но и погубил многих солдат, а также ухудшил режим содержания политических заключенных. Отправлен в 1884 г. на Кару, выпущен в 1890 г. в вольную команду. В 1906 г. приговорен карательной экспедицией ген. Ренненкампфа к смертной казни за редактирование в Верхнеудинске оппозиционной газеты. Казнь заменена каторжными работами без срока. Мирский умер в 1919 или 1920 г. в Верхнеудинске. О его заключении в Алексеевском равелине, о предательстве и полученных за это льготах, вроде винограда к обеду и хорошего табака, см. у П. Е. Щеголева — «Алексеевский равелин, книга о падении и величии человека» (М., 1929, стр. 263—269, 292—312, 366—367).

[69] (стр. 381). В обвинительном акте по делу 20-ти народовольцев приводится рассказ Н. В. Клеточникова на предварительном следствии о его содействии революционерам во время службы в Третьем отделении. Приехав в Петербург для приискания места по государственной службе, он познакомился с А. Д. Михайловым и сблизился с ним. Тот предложил ему снять комнату у вдовы жандармского полковника Кутузовой, чтобы выяснить, как и через кого она помогает охранке бороться с революционно настроенной молодежью. Кутузова устроила Клеточникова на службу в Третье отделение, где он служил два года. Имея доступ ко всем секретным розыскным делам, он сообщал революционерам интересовавшие их сведения, а те «за его услуги платили ему деньги, хотя неаккуратно и в небольшом количестве». В собственноручно написанных показаниях Клеточников, по обвинительному акту, признал, что он «руководился главным образом корыстными целями и желанием более разнообразной жизни в столице, а также сочувствием к... идеям о развитии и обогащении народа». Когда же Клеточников узнал «об истинных целях деятельности... социалистов, то уже не мог оставить сношений с ними и продолжал служить их интересам, так как боялся в противном случае быть убитым» («Былое», № 1, 1906, стр. 265 и сл.).

На судебном заседании выяснилась обстановка, при которой Н. В. Клеточников дал такие показания, а также истинная цель его сношений с революционерами. В составленном одним из присутствовавших на процессе отчете о ходе судебного следствия читаем: «Клеточников

(худой, среднего роста, желтый, жидкие волосы, небольшая жидкая окладистая борода, короткие усы, все лицо сильно суживается книзу, темные очки, вид чахоточного): «Мое обвинение основано исключительно только на моих собственных показаниях. Кроме них, в деле нет никаких улик против меня, и я теперь считаю нужным заявить, что эти показания даны были под сильным давлением извне, людей допрашивающих. При дознании, сравнительно с другими подсудимыми, находился в исключительном положении: я попал в руки своих врагов, людей, относившихся ко мне с особою злобою, и я мог ожидать от них для себя особенно жестокого отношения. Я преувеличивал свои вины и клеветал на себя, чтобы только как-нибудь добиться привлечения к суду и не подвергнуться административной высылке; так, например, это совсем неверно, чтобы я руководствовался при своей деятельности корыстными целями: у меня были другие мотивы, хотя, с другой стороны, я не революционер по убеждениям. Меня давила мелкая, неинтересная провинциальная жизнь, я чувствовал бесполезность своего существования, и я искал какого-нибудь общественного дела; к тому же я хорошо знал, что мне недолго осталось жить, и вот я хотел хоть последние дни посвятить какому-нибудь хорошему, полезному делу. Мысль моя остановилась на бывшем Третьем отделении; я нисколько не сомневался в громадности приносимого им вреда и решился по мере сил противодействовать ему... Я всею душою ненавидел Третье отделение. Это — ужасное учреждение, и я считал себя правым даже перед правительством, так как, наконец, даже и правительство признало негодным это учреждение и решило закрыть его. Все относятся с полнейшим омерзением к этому учреждению, и, действительно, люди, здесь служащие,— самой низкой нравственности... В обвинительном акте сказано между прочим, что я будто бы принужден был продолжать свою деятельность, опасаясь возмездия с их стороны в случае прекращения ее. Это совсем неверно: у меня не было никакого основания ожидать такого возмездия, а не бросал я своего дела потому, что считал его полезным. Таким образом, повторяю, причина, заставившая меня поступать так, как я поступил,— это стремление служить на пользу общества» («Былое», № 6, 1906, стр. 280 и сл.).

О поведении Н. В. Клеточникова на суде имеется свидетельство одного из главных обвиняемых по процессу 20-ти — А. Д. Михайлова. В письме, от 12 февраля 1882 г., переданном им на волю товарищам, Михайлов сообщал: «Клеточников ведет себя прекрасно, решительно и достойно. Он говорил спокойно, хотя председатель палачей набрасывался на него зверем» (сб. «Народоволец Ал. Дм. Михайлов», Л., 1925, стр. 204).

Н. В. Клеточников был приговорен к повешению. Царь заменил это бессрочной каторгой. Клеточников был заточен в Алексеевский равелин и скоро доведен царскими слугами до смерти. Он умер в 1885 г.

[70] (стр. 406). «Немец» — мещанин Смоленской губ. Ник. Вас. Шмеман, участник революционного движения 70-х годов. Убит — злостный провокатор-предатель Ник. Вас. Рейнштейн 26 февраля 1879 г.

[71] (стр. 406). Из стихотворения Н. А. Добролюбова «На смерть особы» (1862 г.). Приведенный Н. А. текст печатался в измененном, смягченном, виде по цензурным условиям. Авторский текст, более резкий, направленный против реакционеров, сторонников феодально-крепостнического строя,— в советском издании Полного собрания сочинений Н. А. Добролюбова, под ред. П. И. Лебедева-Полянского и Б. П. Козьмина: «Пируй же, смерть, в моей отчизне, Все в ней отжившее рази, И знамя новой, юной жизни На грудах трупов водрузи» (т. VI, М., 1939, стр. 243).

В предшествующем отдельном издании «Повестей моей жизни» после

этого очерка следовала приписка, помеченная 4 февраля 1913 г. Здесь Н. А., между прочим, заявлял, что тогдашние цензурные условия не давали ему возможности продолжать свои повести. «Так лучше ж я совсем не буду продолжать этих повестей,— записал он в Двинской крепости 4 февраля 1913 г.,— потому что все, что я буду в состоянии рассказать в них далее читателю, будет простой скелет событий без их души, без их внутреннего логического смысла, без психологического выяснения происшедшего. А между тем я хотел бы, я должен был бы указать, каковы были причины, заставившие нас, бежавших три года назад до покушений на Александра II из городов в деревни, чтоб трудиться, как крестьяне, среди простого крестьянского народа, вдруг повернуть совсем в обратном направлении на чисто политическую борьбу». Пробел этот до некоторой степени восполнен в написанных Н. А. после 1905 г. очерках-характеристиках и воспоминаниях об отдельных участниках революционного движения 70-х годов XIX в.

[72] (стр. 407). Рассказ «Возникновение «Народной воли»» напечатан впервые в журнале «Былое» за 1906 г. (№ 12) с настоящим заглавием (без слова «Эпилог») и с подзаголовком: «Из воспоминаний о Липецком и Воронежском съездах летом 1879 года» (стр. 1 и сл.). В текст отдельного издания Н. А. внес изменения и дополнения, вызванные полемикой, возникшей по поводу его очерков. Об этой полемике он и сам упоминает в сноске к тексту. Полемика выразилась в статьях М. Р. Попова (собраны в его книге «Записки землевольца», М., 1933) и М. Ф. Фроленко (собраны в его Сочинениях, т. II, М., 1931).

[73] (стр. 410). Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова 24 января 1878 г. (см. примеч. 33 к стр. 206).

[74] (стр. 415). М. Р. Попов подробно рассказывает в своих воспоминаниях об этих спорах, но приводимых Н. А. Морозовым слов у него нет. Как противник террористического акта, Попов указал товарищам на возможность появления среди них нового Комиссарова (якобы помешавшего Д. В. Каракозову застрелить Александра II). На это Квятковский ответил: «Если Комиссаровым будешь ты, то я тебя застрелю!» (М. Р. Попов. Записки землевольца. М., 1933, стр. 202). В тексте «Былого» (№ 12, 1906, стр. 6) у Н. А. нет фамилии Попова в рассказе о спорах по поводу покушения на царя.

[75] (стр. 418). № 2—3 «Листка Земли и воли» вышел 22 марта 1879 г. Упоминаемая в тексте статья передовая и как таковая не имеет названия, а помечена датой написания: «14 марта 1879 г.».

[76] (стр. 419). Григ. Дав. Гольденберг примкнул к революционным кружкам в 1873—1874 гг. Подвергался арестам и ссылке. 9 февраля 1879 г. застрелил харьковского губернатора князя Д. Н. Кропоткина (за жестокое обращение с политическими заключенными) и скрылся. Принимал участие и в других революционных делах; был на Липецком и Воронежском съездах. Арестован 14 ноября 1879 г. В одесской тюрьме к нему был подсажен злостный предатель Ф. Е. Курицын, которому он сообщил о своих революционных деяниях. Затем в камеру Гольденберга была посажена его мать, уговаривавшая его дать подробные показания. После этого и под влиянием прокурора, а также после свидания в Петропавловской крепости с министром внутренних дел М. Т. Лорис-Меликовым дал подробнейшие показания, сыгравшие решающую роль в последующем разгроме народовольчества. Поняв из разговора с товарищем по заключению свою предательскую роль, повесился в крепостной камере 15 июля 1880 г.

[77] (стр. 421). В первой книге возобновленного после революции 1917 г. журнала «Былое» сообщалось от редакции: «Мы получили ар-

хив редакции «Народной воли». Его история такова. Редакция «Народной воли», издававшейся в 1880—1881 гг. в тайных типографиях в Петербурге. сохраняла свой архив на квартире сотрудника «Голоса» В. Р. Зотова. Это был по своим взглядам очень умеренный человек, никогда не возбуждавший никаких подозрений со стороны полиции, и его квартира поэтому была вполне безопасной для хранения даже и такого архива, каким был архив редакции «Народной воли». О местонахождении этого архива знали очень немногие, между прочим Н. А. Морозов и А. Д. Михайлов. После арестов наиболее видных народовольцев в 1881—1882 гг. архив редакции «Народной воли» как бы был потерян для революционных деятелей, и о необходимости найти его мы писали в 1906 г. Но он не был уничтожен В. Р. Зотовым и бережно, как бы под спудом, сохранялся некоторое время им самим. После его смерти архив перешел к А. С. Суворину, а от него к сыну его М. А. Суворину, который уже при новом режиме, в марте 1917 г., передал его нам. Мы имели возможность пересмотреть этот архив вместе с Н. А. Морозовым, и он признал, что это — тот самый архив, который был им передан В. Р. Зотову чуть ли не сорок лет тому назад» («Былое», № 1—23, 1917, стр. 49).

В позднейшей статье Н. А. «Несколько слов об архиве «Земли и воли» и «Народной воли»» — дополнение к рассказу о его сношениях с В. Р. Зотовым: «Постоянный страх за то, что лица, которым мы давали на сохранение наши рукописи и документы, могут в случае экстренных предупреждений или даже недостаточно обоснованных опасений обыска уничтожить очень важные для нас бумаги, которые где-то прятала до того времени, кажется, Ольга Натансон, заставил нас не раз подумать о том, где бы мы могли найти для них надежное убежище. В одну из своих очередных ночевок у присяжного поверенного Ольхина, у которого мне пришлось тоже хранить разные бумаги, я сказал ему об этом, и в следующее же мое посещение он сообщил мне, что нашел великолепное место: у теперешнего секретаря газеты «Молва», Владимира Рафаиловича Зотова, который по своему положению вне всяких подозрений, очень хочет познакомиться со мною и заранее согласен дать приют нашему архиву, если он не очень велик. Так началось одно из самых интересных моих знакомств в литературном мире... Я пришел к Зотову вместе с Ольхиным на угол Бассейной улицы и Литейного проспекта, в старинный дом Краевского, где прежде была редакция «Отечественных записок»... При нашем появлении из-за письменного стола встал высокий седой старик интеллигентного вида, с редкой бородкой и длинно подстриженными волосами и приветствовал нас своеобразным шепелявым голосом, который свойствен людям, потерявшим передние зубы. Он тотчас же сказал мне, что очень рад приютить у себя мой архив и предлагает такой проект:

— Положите все бумаги в портфели, заприте их замками, ключи которых будут у вас, а я их положу на верхней полке среди папок. которые вы, видно, видели в моей передней. К ним запрещено прикасаться кому бы то ни было из моей семьи, а посторонние всегда встречаются и провожаются прислугой или нами. Это самое лучшее место, так как в случае какого-либо несчастья я всегда могу сказать, что портфели в передней оставил кто-нибудь из приходящих ко мне по литературным делам без моего ведома, а я сам, конечно, спрятал бы их где-нибудь поглубже.

Я вполне одобрил этот план, и мы начали разговор на общественные темы, где Зотов выражал нам полное сочувствие во всей той части нашей революционной деятельности, которая носит чисто радикальный характер, а в социалистической части считал прекрасными, но трудно

достижимыми практически те идеалы, которые проповедуются во «Вперед» и других наших журналах. За ними он следил в своих поездках за границу.

Потом, засмеявшись с таинственным видом, он воскликнул:

— Кто бы мог подумать, что на этом самом кресле, где во время моей юности сидели Пушкин, Лермонтов, Гоголь в гостях у моего отца, будет сидеть через пятьдесят лет редактор тайной революционной литературы! Что бы подумали и они сами?

Я живо помню, как эти его слова сильно подействовали на меня».

Зотов поставил условием, чтобы к нему для пользования архивом не приходил никто, кроме Н. А. Морозова. «Это условие,— читаем в статье,— было вполне одобрено и строго исполняемо нами, пока после ареста типографии «Народной воли» я временно не уехал за границу и передал Зотова Александру Михайлову. А до того времени место хранения было известно только мне, Ольхину и Александру Михайлову на случай моего ареста. В нем были все сообщения нашего товарища Клеточникова...

Когда я приходил за какой-нибудь из них [тетради с копиями сообщений Клеточникова] или приносил на сохранение новую, я шел прямо в кабинет Зотова, в конце коридора его квартиры. Нам приносили туда по стакану чая, через четверть часа Зотов отправлялся в переднюю и, когда никого там не было, приносил оба портфеля. Я делал с ними за особым столиком то, что было нужно, и уходил, а Зотов относил их на прежнее место уже после моего ухода. Так было вплоть до ареста тайной типографии «Народной воли» и до взрыва в Зимнем дворце, когда я временно уехал за границу...

После своего освобождения [из Шлиссельбургской крепости] я пробовал разыскать этот архив. Но Зотов к тому времени уже умер, а из его детей об архиве никто не знал. Мне говорили только, что Зотов хранил какие-то заметки под полом беседки на своей загородной даче, но и эта беседка уже исчезла с лица земли».

По-видимому, А. С. Суворин после 1905 г. хотел вернуть архив «Народной воли» оставшимся в живых революционерам 70—80-х годов. «Года через два после моего появления на белый свет из Шлиссельбургской крепости,—пишет Н. А. Морозов,— со мной познакомилась артистка Инсарова-Рощина и, зазвав меня к себе обедать, познакомила со своим приятелем Плещеевым, сыном известного поэта и большим театралом. Потом она же зазвала меня на репетицию в Суворинский театр, где играла главные роли. На репетиции, кроме актеров, было человек тридцать из театрального мира и в том числе Плещеев, сидевший через несколько кресел от меня с каким-то седым человеком сановного вида.

В перерыве Плещеев вдруг подошел ко мне, сел рядом и сказал:

— Хотите, я вас познакомлю с Сувориным, который сидит вон там?

Я сразу понял, что он это делает не без согласия самого Суворина, но, не зная причины его такого желания, почувствовал себя очень неловко... Передо мною предстал чрезвычайно живо такой вопрос. Если Суворин желает познакомиться со мною, то он может пригласить меня, как делали все остальные, под каким-нибудь интересным предлогом к себе обедать, и мне нельзя будет отказаться... А что скажут мои друзья из «Русского богатства», узнав об этом или даже о простом моем знакомстве с ним? Я уже не раз видел, как они были ревнивы и нетерпимы в таких случаях, и чувствовал, что все меня осудят, а мой друг, поэт Якубович, прямо поставит вопрос ребром, чтобы я прекратил сношения или с Сувориным, или с ним.

Я сказал это откровенно Плещееву. Тот, несколько смущенный, сказал, что понимает мое положение, посидел со мною еще минут двадцать и потом ушел за кулисы вместе с Сувориным. Так и не состоялось у нас

это знакомство, которое, как я теперь думаю, привело бы к открытию архива «Земли и воли» и «Народной воли» на много лет ранее, чем оно произошло» (сб. «Архив «Земли и воли» и «Народной воли»», Гос. музей революции, М. 1932, стр. 32 и сл.).

Среди сохраненных В. Р. Зотовым бумаг революционного архива, напечатанных в названном сборнике, нашлись кассовые документы «Земли и воли» (стр. 126 и сл.). В них — сведения о выдаче денег Н. А. Морозову «на жизнь»; выдавались грошовые суммы — от трех до двадцати рублей. Там же — «Заметки Н. А. Морозова во время Воронежского съезда и в период подготовки первых покушений» (стр. 150 и сл.). Среди них «Запись юмористических кличек». Н. А. Морозову здесь присвоена кличка «Орел». В кассовых документах он назван «Воробьем».

[78] (стр. 424). О Липецком съезде Н. А. Морозов написал в 1907 г. очерк для «Календаря русской революции», печатавшегося в Петербурге. Книга была конфискована до выпуска ее из типографии и уничтожена. Переиздана в прежнем составе в 1917 г. (статья Н. А.— на стр. 165—168). Этот очерк представляет собой сжатое изложение рассказа «Липецкий съезд» со многими разночтениями.

[79] (стр. 427). В статьях Г. В. Плеханова по истории землевольческого и народовольческого движения, в его воспоминаниях о революционных деятелях 70-х годов (Соч., тт. I, II, III, XII, XIII), в его переписке позднейшего времени встречаются упоминания о Липецком и Воронежском съездах (о съездах специально — в т. XIII), о его взаимоотношениях с двумя основными группировками движения, а также отзывы о «Повестях» Н. А. Морозова, где изложены июньские события 1879 г. Самый обширный отклик Г. В. Плеханова на рассказы Морозова о Липецком и Воронежском съездах — в статье «О былом и небылицах», опубликованной Л. Г. Дейчем в 1923 г. с подзаголовком «Из литературного наследства Плеханова» в «Пролетарской революции» (№ 3—15, стр. 29 и сл.).

Л. Г. Дейч сообщает, что в 1908 г. он предложил Плеханову написать возражения на «небылицы», распространяемые о нем Морозовым и другими мемуаристами-народниками. Г. В. Плеханов за недосугом отказался, но согласился диктовать ответы на определенные вопросы Л. Г. Дейча, который записывал эти ответы и затем вносил в них поправки по указанию Г. В. Плеханова. Статья «О былом и небылицах» не включалась Г. В. Плехановым в собрание его сочинений, хотя Л. Г. Дейч в некоторых своих статьях приписывает ее авторство Г. В. Плеханову (Л. Г. Дейч. Из отношений Г. В. Плеханова к народовольцам, «Каторга и ссылка», № 7, 1923, стр. 10 и сл.).

Не включается эта статья и в посмертные издания сочинений Г. В. Плеханова. Действительно, все ее содержание и стиль отражают манеру писаний и полемические приемы самого Л. Г. Дейча. Среди других опровержений рассказов Н. А. Морозова здесь говорится, что он был совершенно незаметным деятелем революционного движения и описывает все события 70-х годов исключительно для самовозвеличения.

Что касается фактических поправок к рассказу Н. А. Морозова, то в статье «О былом...» имеется такое заявление Г. В. Плеханова, непосредственно относящееся к комментируемому очерку: «Морозов как нельзя более ошибается, воображая, что я ехал на Воронежский съезд с уверенностью в победе. Нет, этой уверенности у меня тогда не было... Мысль о выходе из «Земли и воли» вовсе не явилась в моей голове так внезапно, как это можно подумать на основании воспоминаний Морозова» («Пролетарская революция» № 3, 1923 г., стр. 39 и сл.).

Для характеристики статьи «О былом и небылицах» в отношении к Н. А. достаточно привести отзывы о ней одного из крупных деятелей

70—80-х годов — А. И. Зунделевича, которому Л. Г. Дейч посылал ее в рукописи на просмотр. «Я получил твою рукопись... Для сборника плехановского было бы лучше, если бы было напечатано только то, что Плеханов сказал... С твоей стороны в таком издании резкая полемика излишня... Неверно утверждать, что Морозов был второстепенным деятелем... он был весьма видным членом кружка... Конечно, полезно делать поправки к сообщениям Морозова... но насмешливое и сердитое отношение к нему неуместно... Весьма вероятно, что устав и программу для Липецкого съезда... написал Морозов» (письмо от 24 августа 1922 г., сб. «Группа освобождения труда», вып. III, 1925, стр. 204 и сл.).

Сам Г. В. Плеханов говорит о воспоминаниях Н. А. Морозова в статье 1912 г. «Неудачная история партии «Народной воли»» — по поводу книги В. Я. Богучарского «Партия «Народной воли»». В этой статье Г. В. Плеханов писал, что после ухода с Воронежского съезда «вследствие того, что он в огромном большинстве своем слишком мягко отнесся к террористической.... тактике Н. Морозова, Л. Тихомирова и А. Д. Михайлова», он «оставался в Воронеже» и его «ближайшие единомышленники немедленно по окончании каждого заседания осведомляли» его обо всем происшедшем на съезде. Далее Г. В. Плеханов указывает, что народовольческая, террористическая тактика осуждена самой жизнью, что отсталость их идеологии установлена победоносным развитием идей революционной русской социал-демократии «как раз около того времени, когда «Былое» начало печатать... воспоминания народовольцев». Вот почему эти мемуаристы заняли «оборонительную позицию... Это было не более как самооборона. Особенно сильно давал себя чувствовать элемент полемики в воспоминаниях Н. А. Морозова. Почти все, касающееся роли пишущего эти строки в борьбе с «террористической» тактикой, изложено в них совершенно неправильно». После этого Г. В. Плеханов заявляет, что на предложенные Л. Г. Дейчем в 1908 г. вопросы он «немедленно дал письменные ответы» («Современный мир», № 5, 1912, стр. 154, 168 и сл.).

Отношение Г. В. Плеханова к террористическим произведениям Н. А. Морозова дошлиссельбургского периода выявлено в письмах Г. В. Плеханова к П. Л. Лаврову. 30 мая 1880 г. Плеханов писал Лаврову из Женевы, что он «против принятия в число изданий «Русской социально-революционной библиотечки» [см. т. I, примеч. 40 к стр. 485] труда (lucubration) * Морозова», что он «протестует против статьи Морозова» (сб. «Дела и дни», вып. 2, 1921, стр. 79 и сл.; перепечатано в кн. Л. Г. Дейча. Г. В. Плеханов, вып. 1, М. 1922, стр. 79 и сл.; дополнения к этой серии писем, характеризующих переход Г. В. Плеханова от народничества к революционному марксизму,— в публикации Б. П. Козьмина, сб. «Литературное наследство», вып. 19—21, 1935, стр. 272).

[80] (стр. 427). Освещение описываемых событий у Веры Фигнер в ее Сочинениях (тт. I и V, 1932, по Указателям; особенно — т. I, стр. 150, и т. V, стр. 242 и сл.).

[81] (стр. 431). Этим кончался рассказ «Возникновение «Народной воли»» в первоначальной публикации (датирована 8 августа 1906 г.). Вслед за рассказом была напечатана в той же книге «Былого» статья М. Ф. Фроленко «Комментарий к статье Н. А. Морозова». В связи с заявлением Н. А., что он участвовал в выработке проектов программы и устава, обсуждавшихся на июньских съездах 1879 г. (см. в тексте, стр. 511 и сл.), М. Ф. Фроленко писал: «Я до сих пор был того мнения, что записка эта была составлена Михайловым с Тихомировым» («Былое», № 12, 1906, стр. 27; ср. Соч., т. II, стр. 50).

* Разглагольствование.

В примечании к этому заявлению Н. А. Морозов говорит: «Это представление Мих. Фед. является прекрасной иллюстрацией существовавшей в то время тенденции приписывать Л. А. Тихомирову все те статьи и документы, авторы которых... оставались неизвестны».

Дальше следует яркая характеристика Тихомирова, тесно и непосредственно связанная с заключительной главой рассказа Н. А. о возникновении «Народной воли». «В последнее время моего пребывания в «Народной воле» перед отъездом за границу после крушения ее типографии,— пишет Н. А. Морозов,— мне часто случалось слышать в посторонней публике и даже от вновь принятых членов (на Липецком съезде и после него), будто все заявления от Исполнительного комитета писаны были Л. А. Тихомировым. Мне всегда неловко было это опровергать, но в действительности, вплоть до осени 1878 г., т. е. до указанного здесь заседания по поводу новой программы Тихомирова, все эти заявления поручали писать мне. После же этого заседания и, может быть, именно под впечатлением новых членов (которых теперь оказалось большинство), предполагавших вместе с Михаилом Федоровичем, что это специальность Л. А. Тихомирова, ему стали поручать все подобного рода бумаги. Вообще могу сказать, что престиж Л. А. Тихомирова как наилучшего выразителя идей и целей партии «Народной воли» начинается именно с этого времени. На деле же он никогда не был их выразителем уже по тому одному, что Исполнительный комитет «Народной воли», к которому мы, редакторы журнала и составители деклараций, обращались в принципиальных случаях за разрешением наших теоретических разногласий, был не о б щ е с т в о т е о р е т и к о в, а б о е в а я д р у ж и н а. При приеме в него новых членов мы никогда не спрашивали их: «Како мыслиши о социалдемократии, об анархизме, о конституциях, о республиках?» Мы спрашивали их только: «Готов ли ты сейчас же отдать свою жизнь и личную свободу и все, что имеешь, за освобождение своей родины?» И если на последний вопрос мы получали утвердительный ответ и нам казалось, что человек действительно способен все это сделать, мы его тотчас принимали. Вот почему и программа Тихомирова, напечатанная в № 3 «Народной воли», и его письмо от имени Исполнительного комитета к Александру III (хотя они de facto * и были простыми компиляциями собранных им у различных теоретиков мнений) никогда не выражали собою реального духа боевой организации «Народной воли», девизом которой можно было поставить только то, что я сказал выше: г о т о в н о с т ь о т д а т ь и ж и з н ь и л и ч н у ю с в о б о д у и в с е, ч т о и м е е ш ь, з а о с в о б о ж д е н и е с в о е й р о д и н ы о т г н е т а е е с а м о в л а с т н о г о п р а в и т е л ь с т в а.

Когда мне приходилось в подобных случаях спрашивать своих сочленов, почему им понравилась более та или другая программа или декларация, то часто получал ответ: «Она более трогательно написана, окончание ее совсем как стихи» или что-нибудь в этом роде, совсем не по существу. Другие же прямо отвечали, что, не будучи ни ораторами, ни литераторами, они «не считают себя компетентными по теоретическим вопросам и дали свое согласие только потому, что не видят в программе ничего вредного; при том же в случае несогласия автор может обидеться, ведь даром пропадет столько труда». Вот почему, обращаясь к вопросу, поднятому здесь Михаилом Федоровичем, о причинах предпочтения, отданного на осеннем петербургском заседании Исполнительного комитета в 1879 г. тихомировской программе перед моей липецкой декларацией,

---

* На деле.

я могу лишь присоединиться к мнению, высказанному в своих воспоминаниях Ольгой Спиридоновной Любатович-Джабадари, и добавить, что предпочтение было отдано отчасти и потому, что тихомировский проект был много длиннее липецкой декларации, а потому казался нелитературной публике более убедительным. Однако на второй же день после этого заседания большинство присутствовавших, я убежден, уже не были бы в состоянии рассказать, что было в программе Тихомирова, а через несколько недель де-факто почти все, кроме самого Тихомирова и меня, забыли, что в ней было написано: практические дела отвлекали все их внимание от теоретических вопросов» («Былое», № 12, 1906, стр. 27—28).

Характеристику Л. А. Тихомирова как политического деятеля Н. А. продолжил в примечании к заявлению М. Ф. Фроленко, что «на Тихомирова смотрели как на большую мыслящую, литературную силу». «Вся характеристика Л. А. Тихомирова, находящаяся в конце этой заметки Фроленко, само собой понятно, выражает лишь его личное мнение и более характеризует Михаила Федоровича, чем Л. А. Тихомирова. Еще не наступило время для выяснения роли последнего в «Народной воле» и почему он перешел затем в помощники редактора «Московских ведомостей», но уже из этого самого факта ясно, что у него никогда не было прочных убеждений в необходимости изменения самодержавного образа правления. Тем благоговейным отношением, отголосок которого еще чувствуется в заметке Фроленко, и легендами о его необыкновенном умении выражать общественные настроения многие практические деятели «Народной воли» гипнотизировали сами себя, а вместе с собою и публику. Они как бы поставили Л. А. Тихомирова насильно на ходули, а потому нельзя удивляться и тому, что он, наконец, с них соскочил и пошел своей настоящей дорогой. Нельзя без прочных убеждений вести жизнь бесконечных лишений, бесконечного самоотвержения и самопожертвования, а этого загипнотизировавшая себя публика требовала от Л. А. Тихомирова. Почему же произошел этот гипноз? — Потому что статьи в «Земле и воле» все были анонимны, и все выдающееся публика стала приписывать ему, а он этого никогда не отвергал и этим только увеличивал гипноз публики. Затем, после гибели всех выдающихся членов «Народной воли» в 1881—1883 гг., он оказался единственным наследником их деятельности, и это временно окружило его ореолом, а затем à posteriori * это было распространено и на его прошлый облик.

Замечу еще, что воспоминания М. Ф. Фроленко относительно особенной близости Александра Михайлова с Л. А. Тихомировым не сходятся с моим и Александр Михайлов не раз говорил мне, что Л. А. Тихомиров вял в практических делах, не имеет определенного облика как теоретик, но что он умеет вести себя в постороннем обществе так, что, о чем бы там ни говорили, у всех является представление как будто предмет ему хорошо знаком. Я сам это хорошо замечал.

Я лично никогда не был особенно близок с Тихомировым и не переоценивал его значения. Но я его любил как спутника лучших дней своей жизни, и, когда узнал о его измене во время заключения в Шлиссельбургской крепости от товарища на прогулке, я тотчас же убежал к себе в камеру, и у меня брызнули слезы» (там же, стр. 31—32).

Роль Л. А. Тихомирова в «Народной воле» и переход его в лагерь реакции были выяснены после Октябрьской революции в связи с публикацией «Воспоминаний» и других произведений самого Тихомирова, в статьях исследователей движения 70—80-х годов, в мемуарах и статьях В. Н. Фигнер и других участников движения.

* Задним числом.

Кроме очерка «Возникновение «Народной воли»» и примечаний к комментариям М. Ф. Фроленко, полемика по поводу рассказа Н. А. Морозова о распаде «Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный передел» отражена в его статье «Отголосок давних дней» («Былое», № 10, 1907, стр. 241—245).

К книге пятой

[82] (стр. 435). Очерк «Тени минувшего» впервые напечатан в книге «Народовольцы», сборник III (М., 1931, стр. 39—74). Очерк ярко рисует ужасную физическую и моральную обстановку содержания заключенных в «государевой» каторжной тюрьме. Остальные очерки пятой части «Повестей моей жизни» печатаются здесь в хронологическом порядке их содержания по существу. В приложении к пятой части печатаются «Письма из Шлиссельбургской крепости», дающие интересные дополнения к основному тексту.

[83] (стр. 445). Стихотворение «С черкесского» не включено в книгу «Звездные песни» (ч. I, М., 1920; ч. II, М., 1921).

[84] (стр. 446). В книге «Звездные песни» стихотворение «Г. А. Лопатину» напечатано в более полной редакции (ч. I, М., 1920, стр. 172 и сл.). После 4-й строки имеется еще строфа: «Уж больше не звучат Людмиле мадригалы... Ужели ты совсем писать их перестал? Иль осмеяли их в дороге зубоскалы, Иль кто-нибудь из нас сквозь стену переврал?». Строка 6 (в книге — 10) читается так: «И стал тебе не мил темницы тусклый свет?». В строке 8 (в книге — 12) вместо: «Не хочет воспевать» — «Желает изменить». После строки 8 — еще строфа (в книге — 4): «И к Вере перейти, чтоб также через стены, Как гномы под землей, иль просто как сверчки, Передавали мы их звучные рефрены. И вдоль по этажам, и вверх, сквозь потолки?». Два мелких разночтения исправлены здесь и не оговариваются. Всего в книге шесть строф, причем стихотворение имеет еще подзаголовок: «Шутка на прекращение его мадригалов, передававшихся Людмиле Волкенштейн стуком через промежуточных товарищей в Шлиссельбургской крепости с намеками на обстоятельства образа действия».

Что касается стихотворений Г. А. Лопатина, о которых упоминает Н. А. Морозов, то два из них напечатаны мною по автографам, переданным мне автором: «На именины Веры Фигнер» с пометкой — «17. IX. 87» и «Послание по поводу перевода в другую камеру Людмилы Волкенштейн». Последнее стихотворение напечатано по автографу Г. А. Лопатина с пропуском многих строф. Автор собирался продиктовать мне эти строфы, но так и не удосужился, причем высказывал уверенность, что они сохранились в заграничном архиве шлиссельбуржца П. С. Поливанова (см. «Герман Александрович Лопатин. 1845—1918». П., 1922, стр. 187 и 193).

[85] (стр. 449). Н. П. Стародворский задавал вопросы вследствие своих тайных сношений с департаментом полиции. Это вскрылось после революции 1917 г. Жандармский подполковник Г. П. Судейкин, обладавший огромной энергией и еще бо́льшим честолюбием, задумал путем ряда провокационных убийств своих высших начальников, вплоть до министра внутренних дел графа Д. А. Толстого и некоторых великих князей, запугать царя и сделаться единовластным правителем государства. В своих провокационных замыслах он хотел пользоваться содействием предателя-народовольца С. П. Дегаева, которого пытался прельстить участием в будущих благах. Когда Дегаев решил искупить свое предательство, руководимое Судейкиным, убийством последнего, он устроил в своей квартире засаду. В убийстве Судейкина — в декабре 1883 г. — участвовал и Стародворский, которому удалось скрыться. Вскоре он был арестован и по процессу 21 в 1887 г. приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой. Посаженный

в Шлиссельбургскую крепость, Стародворский высидел там вместе со всеми народовольцами вплоть до осени 1905 г. О его поведении в крепости за все это время рассказывают В. Н. Фигнер, М. В. Новорусский и другие шлиссельбуржцы. Но еще задолго до конца русско-японской войны Стародворский подал просьбу о помиловании и разрешении отправиться в Манчжурию для участия в войне против Японии. Первую часть ходатайства он скрыл от товарищей по заключению, о второй сообщил им.

В июле 1905 г. Стародворского вызвали в департамент полиции. Все думали, что это — результат его просьбы об отправлении в армию. Однако на другой день Стародворский вернулся в крепость. Его рассказы о беседе с директором департамента передают в своих воспоминаниях некоторые шлиссельбуржцы. Приведу из двух таких рассказов извлечения, освещающие сообщение Н. А. Морозова. «Увозят Стародворского,— рассказывает в воспоминаниях о шлиссельбургском заточении М. Ф. Фроленко.— Жандармы и мы были уверены, что его отправили в Сибирь, как вдруг, смотрим, привезли его обратно. Что такое? В чем дело? Оказывается, об отправке незачем и думать; в России после 9 января события пошли быстрым шагом вперед, и ждут конституцию, Народного собрания. Стародворского вызывали лишь с тем, чтобы узнать, что он имел в виду, просясь в армию. Он объяснил; тогда с ним немного пооткровенничали и предложили, не хочет ли он послужить: «Мы теперь сами народники и ищем сотрудников»,— добавили они. Стародворский отказался.— «В таком случае вам придется еще посидеть, пока не осуществятся правительственные предначертания». Рассказав далее о надеждах шлиссельбуржцев на освобождение в связи с ожидавшимся созывом Государственной думы, М. Ф. Фроленко пишет про сентябрьские события 1905 г.: «Стародворского вторично увозят, это снова поднимает целый ряд предположений, догадок, но... оказывается, мы все-таки были далеки от действительности» (Собр. соч., т. II, М., 1931, стр. 265 и сл.).

Шлиссельбуржец М. Р. Попов так передает рассказ Стародворского: «В департаменте директор сказал ему: «Вы просились на войну, но война приходит к концу, на днях, вероятно, уже будет заключен мир. Так что, значит, ехать вам на войну не придется. Война эта страшно непопулярна в обществе, так что мир будет заключен во что бы то ни стало». Прошелся мимоходом насчет генералов, назвал их бездарностями и вообще говорил о том, что Россия, не спросившись броду, сунулась в воду и оказалась совершенно неподготовленной к войне с таким врагом, как Япония. «А вот что,— перевел потом разговор директор,— скажите, пожалуйста, чем бы вы занялись, если бы мы выпустили вас на волю?.. А приходилось ли вам слышать о том, что у нас в России существует партия социал-демократов, и не скажете ли вы мне, как вы относитесь к учению этой партии?» Стародворский ответил ему, что теории этой партии не признает. «А вот, кстати — продолжал директор,— я вам могу сообщить приятную новость. На днях у нас выйдет указ о Государственной думе... Затем еще вопрос позволю себе предложить вам,— сказал директор.— Обещаете ли вы, если вы выйдете на волю, не заниматься политическими делами? Я должен вас предупредить, что вас будут разыскивать, добиваться с вами вступить в сношения, например, хоть те же социал-демократы, и нам интересно было бы знать, как вы будете ко всему этому относиться... И вот я еще раз ставлю вам вопрос, даете ли вы мне слово, что вы не будете принимать участия в политических делах?» Стародворский якобы отказался дать такое обещание».

М. Р. Попов сообщает также о втором, сентябрьском, вызове Стародворского в департамент. На этот раз его не вернули на остров, а оставили в Петропавловской крепости, где с ним встретились другие товарищи по

шлиссельбургскому заточению, когда их перевезли туда перед освобождением. «Рассказал нам Стародворский, что по приезде в Петербург он имел аудиенцию уже у самого Трепова... Трепов говорил ему почти то же самое, что и директор департамента полиции. Центральным гвоздем этих переговоров было затруднительное положение правительства при проведении реформ, в которых нуждается Россия, ибо, по словам Трепова, русское общество в политическом отношении мало созрело и потому руководить им не так-то легко, и приходится прибегать к мерам, к которым правительство прибегает только в силу необходимости» («Записки землевольца», М., 1933, стр. 378 и сл.).

Впоследствии выяснилось, что Стародворский имел в Петропавловской крепости свидания с известным охранником-провокатором П. И. Рачковским. Вступив после освобождения из крепости в сношения с революционными организациями, Стародворский сделался агентом департамента полиции.

[86] (стр. 451). См. рассказ о влюбленности в Веру Фигнер во II томе «Повестей моей жизни» («Сердечная буря»).

[87] (стр. 463). История с сорванными у смотрителя погонами изложена самой В. Н. Фигнер в очерках «Погоны» и «Под угрозой» (Соч., т. II, 1932, стр. 204 и сл.).

[88] (стр. 463). Это стихотворение включено в сборник Н. А. «Звездные песни» в такой же редакции (пунктуация исправлена по тексту книги) с заголовком «Прости надолго» (ч. II, М., 1921, стр. 53 и сл.).

Значительно раньше Н. А. посвятил Вере Фигнер стихотворение «Сквозь стену»:

Пусть наш привет твои невзгоды,
О, милый друг мой, облегчит!
Пусть пролетит сквозь эти своды
И светлым ангелом свободы
Тебя в темнице посетит!
И пусть за годы испытанья.
Как в ясный вечер после бурь,
Увидишь ты конец страданья
И в блеске чудного сиянья
В грядущем вечную лазурь!

Под стихотворением пометка: «Шлиссельбургская крепость» («Звездные песни», ч. I, стр. 129).

[89] (стр. 465). Очерк «В Алексеевском равелине» впервые был напечатан «вместо эпилога» к «Повестям моей жизни» в издании 1928 г. В издание «Повестей» 1933 г. не включен. В пояснительной заметке к первой публикации сообщалось, что очерк представляет собою изложение «речи, произнесенной на торжественном публичном заседании Общества бывших политкаторжан и ссыльно-поселенцев 12 марта 1927 г. в Академическом театре оперы и балета в Ленинграде». Это было заседание, посвященное десятилетию свержения самодержавия в России. Очерк является в хронологическом порядке первым в серии рассказов Н. А. о его двадцатичетырехлетнем заточении в казематах Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей.

[90] (стр. 465). Для характеристики Н. А. в первое время его заключения представляют интерес письма к родным, посланные из Петропавловской крепости в феврале и марте 1882 г.

[91] (стр. 465). О суде над Н. А. Морозовым и его товарищами по «процессу двадцати» см. «Повести моей жизни», т. I.

[92] (стр. 469). О смотрителе М. Е. Соколове см. «Повести моей жизни», т. I.

[93] (стр. 469). О Н. В. Клеточникове см. «Повести моей жизни», т. II.

[94] (стр. 470). См. ниже очерк Н. А. Морозова «Айзик Арончик».

[95] (стр. 470). Об отношении доктора Вильмса к находившимся под его наблюдением политическим заключенным рассказывают и другие «сидельцы» равелина. Интересна характеристика его в августовском письме В. Н. Фигнер за 1883 г. к сестре из Петропавловской крепости (Соч., т. VI, 1932, стр. 65 и сл.) и в «Странице из воспоминаний» А. А. Спандони («Былое», № 5, 1906, стр. 30 и сл.).

[96] (стр. 472). Очерк «Пролог» напечатан в виде предисловия к книге «Под сводами» (стр. 5—8), составленной Н. А. (Под сводами. Сборник повестей, стихотворений и воспоминаний, написанных заточенными в старой Шлиссельбургской крепости. Составлен Николаем Морозовым. Изд. «Звено». М., 1909, 305 стр.). В сборнике помещены произведения Н. А. Морозова, В. Н. Фигнер, М. В. Новорусского, Г. А. Лопатина и других шлиссельбуржцев.

[97] (стр. 474). Кроме стихотворений Н. А., в сборнике «Под сводами» напечатан его «юмористический рассказ» «По общим законам природы» (стр. 195—208). Рядом с фамилией автора слова: «заключенный № 4». Это кличка, под которой Н. А. упоминается в официальной переписке начальства крепости с высшими властями. В рассказе описан эпизод из жизни Н. А. в Швейцарии в середине 70-х годов.

[98] (стр. 475). Рассказ «Освобождение из Шлиссельбургской крепости и первые годы жизни на свободе» написан Н. А. для настоящего издания его «Повестей».

[99] (стр. 486). Это заключение Н. А. сделано на основании фактического отношения к нему властей вплоть до революции 1917 г. Сам он считал себя не лишенным избирательных прав и выставлял свою кандидатуру по предложению различных общественных организаций при выборах в представительные учреждения местного и государственного значения. Так, в 1907 г. Н. А. был избран по гор. Мологе выборщиком в III Государственную думу. Однако это избрание было признано царскими властями недействительным. Как сообщал Н. А. редактору газ. «Русское слово», его избрание «перевернуло весь город; черная сотня вопит; начались подкопы» (письмо к Ф. И. Благову из Мологи от 26 сентября 1907 г. Рукописный отдел Гос. библиотеки им. В. И. Ленина, шифр «Р. С. 17/43»).

Спустя несколько лет такая же история произошла в связи с избранием Н. А. Морозова земским гласным. В 1913 г. в газ. «Русское слово» (4 сентября) появилась такая заметка: «Исключение шлиссельбуржца Н. А. Морозова. Избранный гласным от 2-го избирательного собрания Мологского уезда шлиссельбуржец Н. А. Морозов постановлением Ярославского по земским и городским делам присутствия сегодня исключен из состава земских гласных. Мотивом исключения выставлено то, что у присутствия нет сведений, восстановлен ли Н. Морозов в правах после привлечения его в 1911 г. по 128 и 129 ст. ст. Уложения о наказаниях, т. е. в преступлениях, совершенных Н. Морозовым после амнистии». Прочитав эту заметку, Н. А. Морозов просил редактора напечатать поправку в том смысле, что он «не лишен и даже не ограничен в правах» (письмо к Ф. И. Благову из Боркà без даты. Рукописный отдел Гос. библиотеки им. В. И. Ленина, шифр «Р. С. 17/43»).

[100] (стр. 487). Очерк «Дело о «Звездных песнях»» написан Н. А. для настоящего издания.

[101] (стр. 487). См. «Мытарства осужденного» и письмо к Д. Н. Анучину.

[102] (стр. 488). Посылая в 1910 г. в газ. «Русское слово» очерк о своих впечатлениях от полетов, Н. А. писал редактору: «В моей статье я упоминаю мои «Звездные песни» не без умысла. Их держат в цензуре под секвестром, чувствуя, что нет повода для привлечения меня к суду. А мне хочется поднять это дело» (письмо к Ф И. Благову от 17 сентября 1910 г. Рукописный отдел Гос. библиотеки им. В. И. Ленина, шифр «Р. С. 17/43»; см. письмо Н. А. к академику Д. Н. Анучину от 19 января 1911 г.).

[103] (стр. 488). После уничтожения ряда стихотворений книга была выпущена в свет и вновь поступила в продажу (И. В. Владиславлев. Русские писатели. М.— Л., 1924, стр. 186). Приведенные в очерке «Дело о «Звездных песнях»» стихотворения (или отрывки из них) включены в сборник стихотворений Н. А., изданный в советскую эпоху («Звездные песни», первое полное издание всех стихотворений до 1919 года, книга I, М., 1920; книга II, М., 1921). Разночтения не отмечаются.

[104] (стр 503). Повесть «Мытарства осужденного» была напечатана в журнале «Вестник Европы» за 1913 г. (№ 4, стр. 213—263; № 5, стр. 132—175; № 6, стр. 54—77) под названием «В глубине преисподней, по заметкам, писанным в ней самой». Для настоящего издания Н. А. переработал повесть по журнальным оттискам, сократил ее почти вдвое и нанес на оттиски свои поправки. По этому, правленному автором, экземпляру повесть печатается здесь. В журнале повесть была разбита на главы и некоторые из них имели названия, изъятые автором при переработке. В конце повести было отмечено время и место написания: «Двинская крепость. Между 13 июля и 10 августа 1912 г.».

[105] (стр 513). Здесь кончалась глава I журнального текста. В обширной II главе, имевшей название «Странный товарищ»,— рассказ о редакторе черносотенной газ. «Гроза». Он был осужден к трехмесячному тюремному заключению за нападки на крупного администратора, проявившего недостаточное, по мнению черносотенцев, рвение в своей служебной деятельности. Весь рассказ о редакторе «Грозы», «принципиальные разговоры» с ним, размышления Н. А. по поводу их бесед,— все вычеркнуто автором при подготовке повести к печати для настоящего издания. Не оставлено также изложение снов Н А. в этой тюрьме, вычеркнуто описание грубого обращения тюремной администрации с уголовными заключенными.

[106] (стр. 514). При сокращении повести был опущен рассказ о переживаниях Н. А. Морозова в первую ночь его нового заключения. Вот небольшие выдержки из него: «И вот я в первый раз очутился снова один, снова в тюремной келье, еще более темной и унылой, чем шлиссельбургская. То, чего я боялся более всего, именно и случилось через каких-нибудь полчаса одиночества, при тусклом свете крошечной жестяной керосиновой лампочки, принесенной солдатом в мою окончательно потемневшую камеру. Опять нахлынули старые воспоминания. Шесть лет жизни на свободе, светлые, поэтические воспоминания... показались мне светлым сном, от которого я теперь вдруг пробудился к своей тусклой, темничной действительности, захватившей половину моей жизни... Я взглянул на железную решетку в окне, посмотрел через нее в ночную тьму на небольшой дворик, на дверь с четырехугольным окошечком в ней для наблюдения за мною дежурного тюремщика, стоявшего вдали и читавшего, бормоча, какую-то маленькую книжку. Потом начал ходить по-прежнему, как маятник, из угла в угол своей камеры, четыре шага в одну сторону и четыре обратно, с

крутым и резким поворотом на каблуке в каждом углу... Я попробовал лечь на принесенный мне грязный, длинный мешок, набитый измельчившейся от времени и употребления соломой, составлявший мой матрац, и только тут заметил, что в железной кровати глубоко продавились все тонкие продольные железные полосы, и мне приходилось спать лишь на четырех поперечных жестких железных прутьях, один из которых приходился под головой, другой поперек моей спины, третий под бедром, а на четвертом покоились мои колени. Все остальное пространство казалось совершенно провалившимся. Я посмотрел, нельзя ли положить мою постель, как я делывал не раз в таких случаях ранее, прямо на пол. Но пол был так невообразимо грязен и заплеван отдыхавшей здесь стражей, и все эти плевки так свеже размазаны шваброй, что я не решился... Сердце сильно билось, в висках как будто стучали молотки; привычная мне в Шлиссельбурге тупая тяжесть в мозгу снова начала овладевать мною к рассвету. Я ворочался с боку на бок, стараясь подставлять на железные стержни, вместо наболевших, другие части своего тела и, пройдя всю возможную их очередь, возвращался к прежним, отдохнувшим местам.

Утро не принесло облегчения. На рассвете стража будила уголовных. Я лежал неподвижно на своих стержнях, делая вид, что сплю и ничего не слышу. Скоро все затихло; ко мне только посмотрели в дверное окошечко, но не зашли. Эта предрассветная тревога сильно подействовала на мои нервы. Мне припомнилось, как во время дознания в Петропавловской крепости, чтобы расшатать мои нервы, ко мне врывалась по временам часа в три ночи, когда я крепко спал, целая толпа тюремных сторожей вместе со смотрителем. Они с грохотом отворяли тяжелые железные запоры, рванув, раскрывали мою дверь, бегом окружали мою постель и с грубым окриком: «Одевайтесь!» совали мне мою куртку и штаны, а затем бегом вели меня куда-то вниз по коридорам, как будто в застенок для пытки. Потом, поднявшись снова вверх, они вводили меня в другую камеру и, также крикнув: «Раздевайтесь!», забирали с собой всю мою одежду и с шумом уходили, предоставив мне оканчивать ночь в новом месте».

[107] (стр. 514). В. Д. Комарова, племянница искусствоведа В. В. Стасова и сестра известной революционерки Е. Д. Стасовой,— исследовательница литературы, автор одной из лучших в европейской литературе обширной монографии о Жорж Занд (два тома на русском, третий на французском языке).

[108] (стр 520). На II Менделеевском съезде Н. А. Морозов произнес 27 декабря 1911 г. речь на тему «Прошедшее и будущее миров с современной геофизической и астрофизической точки зрения». Напечатана в журн. «Природа» за 1912 г. (№ 3, стр. 333—362) с пометкой редакции: «Предоставлена для напечатания в полном виде исключительно журналу «Природа»». На I Менделеевском съезде, состоявшемся в Петербурге в конце декабря 1907 г., Н. А. Морозов сделал сообщение на тему «Эволюция вещества в природе». Напечатано в «Трудах» съезда, П., 1909 (стр. 191 и сл.). Названный в комментируемом тексте доклад «Эволюция вещества на небесных светилах по данным спектрального анализа» Н. А. Морозов сделал 3 января 1910 г. на соединенном заседании XII съезда естествоиспытателей и врачей и Московского общества испытателей природы; напечатан в «Известиях Общества испытателей природы» за 1910 г.; есть отд. оттиск (М., 1910, 28 стр.). Статья Н. А. Морозова на ту же тему напечатана в приложении к русскому переводу книги: К а р у с Ш т е р н е, Эволюция мира (т. III, М., 1910. «Эволюция элементов на небесных светилах», стр. 381—432) и отд. брошюрой — по-немецки (Дрезден, 1910, 41 стр.).

[109] (стр. 522). Лидия Петровна Стуре вместе с другими шестью революционерами была повешена за участие в покушении 7 февраля 1908 г.

на вел. князя Николая Николаевича и реакционного министра юстиции И. Г. Щегловитова. За выдачу этих лиц Азеф получил, кроме обычного ежемесячного оклада за службу в жандармской охранке, награду в несколько тысяч рублей (В. К. Агафонов. Евно Азеф. В книге «Заграничная охранка», П., 1918, стр. 268).

В. Н. Фигнер дает характеристику Л. П. Стуре, дополняющую сообщение Н. А о ее непреодолимом обаянии: «Прелестная, изящная Лидия Стуре заходила на несколько минут ко мне. В шубке и меховой шапочке, еще осыпанной снегом, высокая, стройная, с тонким, правильным личиком, она была восхитительна» (Соч., т. III, 1932, стр. 244).

На основании материалов о Стуре и ее товарищах Л. Н. Андреев написал «Рассказ о семи повешенных».

[110] (стр. 523). Н. М. Ляпин произвел поверочные астрономические вычисления для исследования Н. А. Морозова об Апокалипсисе (см. «Повести моей жизни», т. I).

[111] (стр. 525). Откровение Иоанна. Историко-астрономическое исследование. Со статьей Артура Древса. Штутгарт, 1912, 20 + 229 стр., 50 иллюстраций вкладками и в тексте. Книга была также издана в польском переводе (Львов, 1909).

[112] (стр. 535). Исследователь революционного движения во флоте ген.-майор С. Ф. Найда сообщает о начале революционного подъема в результате большевистской пропаганды в Черноморском флоте после столыпинской реакции: «Эта работа велась интенсивно, и именно в результате ее стало возможным предпринять попытку восстания весной 1912 г.... Традиции «Потемкина» и «Очакова» были живы среди моряков Черноморского флота... Восстание на Черном море, как и на Балтике, было предано провокаторами... Были проведены аресты. Первую группу арестованных судили в июне 1912 г. 13 человек были приговорены к смертной казни и 5 — к каторжным работам... Суд над второй группой арестованных (143 чел.) состоялся в октябре. И для этой группы приговор был беспощаден... На защиту осужденных моряков... поднялись рабочие и лучшая часть интеллигенции страны. Организаторами этой борьбы были большевики... Бастовало... в стране до 220 тысяч человек... Именно это движение спасло многих черноморцев от смертной казни» (С. Ф. Найда. Революционное движение в царском флоте, тезисы доклада в Институте истории Академии наук СССР, 24/1 1946 г. М., 1946, стр. 19 и сл.). Подробности — в обширной работе С. Ф. Найда под тем же названием, выпущенной Институтом истории Академии наук СССР. Ср. статью того же автора «К истории революционного движения во флоте в годы реакции и революционного подъема» (сб. «Флот нашей родины», М.— Л., 1940, стр. 197).

[113] (стр. 556). Из стихотворения Н. А. Некрасова.

[114] (стр. 559). Стихотворение включено в книгу Н. А. «Звездные песни» (ч. I, стр. 72) под заглавием «Идейный поезд», с подзаголовком «Модерн». Строка 10 читается в книге так: «В край, где грезам нет предела». В остальном редакция та же.

[115] (стр. 559). Сочинено стихотворение «Идейный поезд» в 1910 г. на операционном столе при удалении у Н. А. Морозова опухоли, нажитой им в Шлиссельбургской крепости.

[116] (стр. 574). В Двинской крепости Н. А. Морозов написал все «Повести моей жизни» и настоящую повесть.

В письме к редактору газ. «Русское слово» от 25 апреля 1913 г. из Петербурга Н. А. Морозов сообщал: «Вышел из Двинской крепости совсем здоровым» (Письмо к Ф. И. Благову. Рукописный отдел Гос. библиотеки им. В. И Ленина шифр «Р. С. 17/43»).

Сохранилось несколько писем Н. А. Морозова из Двинской крепости. Одно из них — ответ некоему Матвею Ивановичу, который спрашивал, где он может достать книги «В начале жизни», «Откровение в грозе и буре» и др. Н. А. Морозов указал ему адреса издателя (письмо от 24 июля 1912 г. Рукописный отдел Гос. библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Собрание Э. П. Юргенсона, шифр «V. 4. 4»).

Первая из названных книг — «В начале жизни. Как из меня вышел революционер вместо ученого». Изд. В. М. Саблина, М., 1907, 265 стр., с илл., ц. 80 коп. Содержание книги составило т. I «Повестей моей жизни». Письма из Двинской крепости к академику Б. Б. Голицыну см. в тексте.

К повестям Н. А. Морозова, написанным после выхода из Шлиссельбургской крепости, относятся еще очерки под названием «За снежными вершинами — из путевых заметок», не связанные по теме с настоящим изданием. Их содержание видно из названий отдельных глав: «Первые дни в Закавказье. В горной Имеретии. В горных ущельях Сванетии. В избушке на курьих ножках. На неведомом курорте. У забытого памятника прошлого. Латпарский перевал». Повесть напечатана в журнале «Вестник Европы» за 1910 г. (№ 4, стр. 50—71; № 5, стр. 64—88).

117 (стр. 575). «Письма из Шлиссельбургской крепости» впервые напечатаны в журнале «Вестник Европы» за 1909 г. (№ 1—3, 5—7). Затем изданы отдельной книгой под тем же названием (СПб., 1910). В обращении «К читателю», помеченном «Ноябрь 1908 г.», Н. А. Морозов передавал свой разговор с одним из друзей, ознакомившихся с письмами частным образом: «Почему вы не отдаете в печать этих писем?» — спросил тот. «Что может быть интересного для публики в посланиях, прошедших через цензуру таких министров внутренних дел, как Сипягин, Плеве и другие? — возразил Николай Александрович.— Ведь в этих письмах мне было запрещено говорить о чем бы то ни было, кроме своего здоровья, занятий и семейных дел. Они ни для кого не интересны, кроме моих собственных родных и близких знакомых».

Собеседник напомнил, что Шлиссельбург не был обыкновенной темницей. «Самый остров был двадцать лет изолирован от всего живого мира. Поэтому все, что там делалось, стало интересно не для одних друзей» автора, «но и для многих посторонних». «Ваши письма,— говорил этот друг Н. А. Морозова,— будут интересны многим по месту, из которого они написаны, а другим интересны, кроме того, и с одной, совершенно особой, точки зрения. В воспоминаниях, появившихся в «Былом», «Минувших годах», «Историческом вестнике» и других журналах, подробно описана внешняя сторона жизни заключенных в старой Шлиссельбургской крепости, но еще плохо выяснена их внутренняя, интимная и духовная жизнь, а ваши письма именно и являются официально засвидетельствованными документами психического настроения человека, считавшего себя навеки погребенным».

«Но эта интимная сторона жизни мало или, лучше сказать, односторонне очерчена и здесь,— сказал Н. А. Морозов.— Неужели вы думаете, что я все 25 лет своего третьего заключения только и думал о том, что можно было сообщать родным через департамент полиции и министров внутренних дел? Нет! Такие мысли постоянно чередовались с другими, о которых я не имел ни малейшей возможности писать. Даже из этих писем были вычеркнуты администрацией некоторые места».

Н. А. Морозов после долгого раздумья решил опубликовать свои «Письма из Шлиссельбургской крепости». Всех писем — с 18 февраля 1897 г. по 6 августа 1905 г.— восемнадцать. Их рукописи, конечно, от усердного чтения «готовы были обратиться в клочья». Некоторые восстановлены по черновикам, вывезенным из крепости. Подлинники писем долгое время хранились у одной из сестер Н. А. Морозова, но впоследствии были утраче-

ны. Для настоящего издания в письмах сделаны некоторые сокращения, не коснувшиеся, впрочем, рассказов о настроении Н. А. Морозова, о его научных занятиях, воспоминаний о различных эпизодах из его жизни за границей до 1881 г. Сокращения отмечены многоточиями в прямых скобках.

[118] (стр. 575). Даты писем — по старому стилю.

[119] (стр. 576). Отец Н. А. Морозова умер 24 марта 1886 г. (см. «Повести моей жизни», т. I). Мать, Анна Васильевна, скончалась 11 марта 1919 г., 85 лет от роду. Из их шестерых детей (сын Петр и пять дочерей) никто не пережил Н. А. Морозова. Единственный сын его брата Александр умер в Ленинграде во время блокады в войну 1941—1945 гг. Все сестры были замужем. Их фамилии в порядке их старшинства по рождению: Екатерина Зыкова, Надежда Грушецкая, Аграфена (Груша — в письмах из крепости) Франция, Вера Захарова, Варвара Мясищева (сообщение К. А. Морозовой).

[120] (стр. 576). Марья Александровна Васильковская — гувернантка младших детей в семье родителей Н. А. Морозова.

[121] (стр. 576). Об «улучшении» обстановки жизни политических заключенных в Шлиссельбургской крепости сказано, конечно, лишь в расчете на первых читателей этих писем — на жандармские власти. О жутких условиях, в которых царские жандармы содержали попавшихся к ним в плен революционеров, рассказывает сам Н. А. Морозов в очерках, составляющих настоящий том его «Повестей». Мрачная обстановка жизни в «государевой» каторжной тюрьме обрисована Н. А. Морозовым в очерке «Тени минувшего» и в других повестях настоящего тома, а также в воспоминаниях других шлиссельбуржцев, особенно В. Н. Фигнер (Соч., тт. I—VII, 1932) и М. В. Новорусского (1933).

[122] (стр. 577). Имеется в виду книга Н. А. Морозова «Периодические системы строения вещества. Теория возникновения современных химических элементов», 483 стр., 55 литогр. табл., М., 1907. По выходе книги в свет автор разослал ее многим ученым-химикам. Получил ее также профессор химии Новороссийского (Одесского) университета, впоследствии член-корреспондент Академии наук П. Г. Меликишвили. Ознакомившись с произведением Н. А. Морозова, проф. Меликишвили отозвался о нем очень лестно. «Книга эта,— заявил он,— в высшей степени оригинальна и обнаруживает в авторе ее глубокий философский ум и способности ученого. Весь труд изобилует остроумными выводами, хотя и не новыми с научной точки зрения, но весьма оригинальными. Приходится сожалеть о том, что автор не имел возможности пользоваться литературой вопроса и вынужден был ограничиваться лишь двумя учебниками химии да журналом Русского химического общества. Вследствие этого он приходил самостоятельно к некоторым выводам, известным уже в литературе до него. При других условиях работа могла бы явиться видным вкладом в науку, но и в настоящем виде это оригинальный и ценный труд» (газ. «Одесские новости», 1907 г., 17 февраля).

Что касается литературного изложения этого ученого труда, то В. Н. Фигнер вспоминала о нем много десятилетий спустя: «Работая систематически изо дня в день, Морозов мог создать одно из своих главных произведений — «Строение вещества», написанное таким увлекательным языком, что было истинным наслаждением читать его» (Соч., т. II, 1932, стр. 186).

[123] (стр. 578). Сохранилось письмо Н. А. Морозова к сестре Вере от 14 марта 1882 г. Там он предлагал родным обратиться к Э. Реклю с такой же просьбой.

[124] (стр. 582). Из стихотворения «Вопросы» в серии «Северное море».

[125] (стр. 585). Многоточие в начале письма принадлежит автору, который, по-видимому, сократил текст при сдаче письма в печать. В дальнейшем такие многоточия повторяются.

[126] (стр. 587). Это стихотворение имеет в сборнике Н. А. Морозова «Звездные песни» заглавие «Привет» (ч. I. М., 1920, стр. 124).

[127] (стр. 587). Книга издана: «Функция. Наглядное изложение дифференциального и интегрального исчисления и некоторых его приложений к естествознанию и геометрии. Руководство к самостоятельному изучению высшего математического анализа». Киев, 1912, 12+464 стр., с чертежами.

[128] (стр. 587). Л. А. Волкенштейн была арестована в октябре 1883 г., судилась по «процессу 14-ти» в сентябре 1884 г. Приговорена к смертной казни, замененной 15-летней каторгой. В марте 1897 г. отправлена на поселение на о. Сахалин. Затем переехала во Владивосток. Здесь убита 10 января 1906 г. при расстреле безоружной манифестации.

Л. Ф. Янович арестован в Варшаве в июле 1884 г. Приговорен к 16-летней каторге. В 1896 г. отправлен в Средне-Колымск. Жестокие условия шлиссельбургского заключения повлияли на психическое состояние Яновича. Он не выдержал суровой жизни в ссылке и кончил самоубийством в мае 1902 г. В оставленной записке заявлял, что его убило царское правительство. «Пусть на него падет ответственность за мою смерть,— писал он,— точно так же как и за гибель бесчисленного ряда других моих товарищей» («Галерея шлиссельбургских узников», т. I, СПб., 1907, стр. 184).

М. П. Шебалин арестован в марте 1884 г., приговорен по «процессу 12-ти» к 12-летней каторге; в конце 1896 г. отправлен в Якутскую область.

К. Ф. Мартынов (Борисевич) осужден по тому же процессу, приговорен к тому же наказанию, что и Шебалин; вместе с ним отправлен в ссылку.

В. С. Панкратов осужден одновременно с ними на каторгу на 20 лет; в ссылку отправлен вместе с товарищами по процессу.

Манифест был по случаю коронации Николая II.

[129] (стр. 590). Из стихотворения А. С. Пушкина «Вновь я посетил...» (1835 г.; Полное собрание сочинений, т. II, ред. М. А. Цявловского, М., 1936, стр. 240).

[130] (стр. 592). См. письма к О. С. Любатович от 11 февраля и 20 марта 1882 г.

[131] (стр. 593). Имеются указания на два сборника стихотворений Н. А. Морозова, изданные до его шлиссельбургского заточения: 1) Тюремные видения. Тип. газ. «Начало» (в Петербурге, 1878 г.), 11 страниц (сб. «Русская подпольная и зарубежная печать», ред. С. Н. Валка и Б. П. Козьмина, М., 1935, стр. 81). 2) Стихотворения. 1875—1880. Женева, 1881. Тип. «Работника» и «Громады», 80 стр. (сб. «Вольная русская печать в Российской публичной библиотеке». П., 1920, стр. 73). Несколько стихотворений Н. А. Морозова было напечатано в книге «Из-за решетки. Сборник стихотворений русских заключенников по политическим причинам в период 1873—1877 гг., осужденных и ожидающих «суда»». Женева, тип. газ. «Работник», 1877.

[132] (стр. 600). Упоминаемая здесь картина написана не И. Е. Репиным. Есть сходная по теме картина В. Г. Перова «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861 г.) Однако не все сообщаемые Н. А. Морозовым подробности имеются в произведении Перова. Возможно, что при составлении комментируемого письма в памяти Н. А. Морозова возникла какая-то третья картина или за давностью лет он не точно припоминал ее содержание.

[133] (стр. 601). Об этом — в «Повестях моей жизни» (т. I).

[134] (стр. 602). Здесь один из многочисленных остроумных приемов

Н. А. Морозова для сообщения родным о своей мрачной камере в шлиссельбургской каторжной тюрьме. В. Н. Фигнер сообщает об условиях, созданных жандармами для переписки шлиссельбуржцев: «Запрещено писать о товарищах, о тюремном здании, о своей камере, о тюремных порядках. К содержанию писем департаментская цензура относилась с подозрительностью, доходившей до смешного» (Соч., т. II, 1932, стр. 147 и сл.).

[135] (стр. 606). Точное название книги см. выше, прим. 122 к стр. 577.

[136] (стр. 608). П. В. Карпович 14 февраля 1901 г. смертельно ранил «душителя университетской молодежи» (выражение В. Н. Фигнер), министра просвещения, злейшего реакционера Н. П. Боголепова. Вот что рассказывает В. Н. Фигнер об упоминаемом Н. А. Морозовым уводе Карповича в карцер: «Карпович не руководился нашим опытом [постепенного завоевывания тюремных льгот] и в своих действиях проявлял импульсивность, иногда без всякой нужды вызывая столкновения с начальством». Однажды Карпович вздумал петь, когда тюремное начальство, из опасения доноса со стороны приехавшего в тюрьму постороннего лица, просило соблюдать «порядок». «Напрасно смотритель раза два-три подходил к нему, прося прекратить. Карпович не слушался. Тогда смотритель увел его в здание старой тюрьмы, где он и пробыл два или три дня» (В. Н. Фигнер. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 194 и сл., 1932). Об истории с П. В. Карповичем см. очерк «Тени минувшего».

[137] (стр. 611). Рукопись этого труда Н. А. Морозова долго пролежала в департаменте полиции без движения. Затем ее послали профессору Д. П. Коновалову, а не академику Н. Н. Бекетову или Д. И. Менделееву, как о том просил автор, так как оба они за свой прогрессивный образ мыслей находились на плохом счету у департамента полиции (см. письмо от 25 июня 1903 г.).

[138] (стр. 612). Полное название книги: «Основы качественного физико-математического анализа и новые физические факторы, обнаруживаемые им в различных явлениях природы». Изд. И. Д. Сытина, 402 стр., 22 табл. и 89 рис., М., 1908.

[139] (стр. 620). Ни в книге «Стихотворения» Вл. Соловьева, изд. 6-е, М., 1915, ни в книге «Шуточные пьесы» Вл. Соловьева, М., 1922, нет такого четверостишия. В Собрание сочинений Вл. Соловьева (тт. I—X, 1911—1914) стихотворения вообще не включены.

[140] (стр. 620). Приведенное здесь стихотворение Н. А. Морозова включено в сборник «Звездные песни» с заглавием «Атолл». В книге первая строка читается так: «Пред атоллом воющая» и т. д. (ч. I, М., 1920, стр. 123).

[141] (стр. 621). Отзыв профессора Д. П. Коновалова был очень условный. Он признавал большую осведомленность Н. А. Морозова в науке, но отрицательно относился к его теоретическим выводам (см. письмо от 25 июня 1903 г.).

[142] (стр. 625). Трехтомный труд Н. А. «Строение вещества» не был издан и в дальнейшем. См. Л. Круковская. Н. А. Морозов, очерк жизни и деятельности (П., 1919, стр. 77); ср. «Библиография трудов почетного академика Н. А. Морозова» под ред. О. В. Исаковой, в книге К. Морозовой: Николай Александрович Морозов, к 90-летию со дня рождения, изд. Академии наук СССР (М.— Л., 1944, стр. 38 и сл.); см. выше, прим. 41 к стр. 181.

[143] (стр. 626). На отрицательный отзыв Д. П. Коновалова о научном значении трудов Н. А. Морозова, кроме отсутствия опытного подтверждения абстрактных выводов Н. А. Морозова, могла повлиять его репутация борца с царским правительством. Сам Д. П. Коновалов в то время, когда ему приходилось разбирать труд Н. А. Морозова, усердно поддерживал реакционную политику царского правительства. В качестве директора Горного

института он вел еще до первой русской революции решительную борьбу с прогрессивным студенчеством (об этом — в книге «Из истории студенческих волнений. Коноваловский конфликт». СПб., 1906, 851 стр.).

Крупные научные заслуги Д. П. Коновалова высоко ценились в нашей стране и за рубежом. Он был почетным членом многих отечественных и иностранных ученых обществ. С 1921 г. был членом-корреспондентом, а с 1923 г.— действительным членом нашей Академии наук, несколько раз избирался президентом Русского физико-химического общества. Сжатый обзор его научной деятельности дал академик А. А. Байков: «Дм. Петр. Коновалов, биографический очерк», изд. Академии наук СССР. Л., 1928, 19 стр.

[144] (стр. 629). Министром внутренних дел был тогда В. К. фон Плеве. До чего доходила его система запрещения, видно из письма В. Н. Фигнер, относящегося к тому же времени, что и письмо Н. А. Морозова: «Мы лишены решительно всего, что может скрашивать жизнь, и изоляция нас от всех событий, политических и общественных, доведена до высшей степени совершенства. Никаких газет, журналов» (Соч., т. VI, 1932, стр. 277). Об условиях содержания шлиссельбуржцев см. очерк «Тени минувшего».

[145] (стр. 630). Здесь ответ Н. А. Морозова на запрос родных о его отношении к религии. В своем многотомном исследовании «Христос», в журнальных статьях и очерках на эту тему, в исследованиях об Апокалипсисе и Пророках, в публичных лекциях он подробно развил свое отрицательное отношение к религиозным сказаниям.

[146] (стр. 639). Об этой лекции Н. А. Морозова — в § 3 главы 1-й «Повестей моей жизни» (т. I настоящего издания).

[147] (стр. 640). Журнал «Слово» издавался в 1878—1881 гг. Ни в одной из 38 книг этого журнала не удалось обнаружить приводимого здесь Н. А. Морозовым стихотворения.

[148] (стр. 643). Текст этого письма от слов «По-прежнему живу» включен Н. А. Морозовым в его позднейший очерк «Княжна Мария Михайловна Дондукова-Корсакова, воспоминание». Очерк напечатан в книге «Первый женский календарь на 1910 г.» (СПб., 1910, отдел «Из прошлого и настоящего», стр. 25—29) и помечен: «5 ноября 1909 г.». В этот очерк включены выдержки из двух шлиссельбургских писем — комментируемого и следующего за ним. Отрывки снабжены краткими связующими заметками автора.

Начинается очерк так: «Осенью минувшего года скончалась после долгой жизни, посвященной нуждающимся, обремененным и заключенным в темницах, одна из симпатичнейших деятельниц XIX века — княжна Дондукова-Корсакова. Еще не настало время произвести полную и всестороннюю оценку ее бескорыстной гуманитарной деятельности на пользу ближнего, так свежа еще ее память. Но мне невольно хочется сказать хоть несколько добрых слов об этой необыкновенно симпатичной женщине, прежде чем другие дадут ее полную биографию. Впервые мы встретились с ней в июле 1904 г. в стенах Шлиссельбургской крепости. Это была единственная посетительница, навестившая нас там за все время нашего заточения.

В то время нам уже разрешено было писать родным по два письма в год, в январе и июне, каждое на одном листке, и ее приход ко мне описан был в следующем же январском письме 1905 г. Вот что в нем говорилось». Затем — точная выдержка из письма.

[149] (стр. 644). В журнале «Современный мир» за 1907 г. (№ 3, стр. 50—67) напечатан очерк Н. А. Морозова «Четвертое измерение. Из писем товарищам по заключению». В нем три «письма», содержание которых определяется их подзаголовками: «Письмо I — Не имеем ли мы в нашем

понятии о времени намека на четвертое измерение? Маленькое путешествие по вечности. Письмо II — Миры различных измерений с точки зрения опыта и в воображении. Письмо III — Миры различного числа измерений с математической и физической точки зрения. Путешествие в бесконечность вселенной».

Было еще отдельное издание очерка Н. А. Морозова на ту же тему: «На границе неведомого. Астрономические и физические полуфантазии», М., 1910, 189 стр. с илл.

[150] (стр. 649). Это стихотворение включено в книгу Н. А. Морозова «Звездные песни» (ч. I, М., 1920, стр. 169).

В книге первая строка начинается иначе: «Был поэт» и т. д., а восьмая читается так: «Пел сто лет».

[151] (стр. 651). В заключительном примечании к письмам Н. А. Морозова из Шлиссельбургской крепости приведем несколько сообщений о пребывании его в «государевых» каторжных тюрьмах.

М. Н. Тригони писал о начальном периоде их заточения: «Среди тишины, ничем не нарушаемой, справа слышались шаги бегающего, словно белка в колесе, Морозова» (Из воспоминаний об Алексеевском равелине, «Минувшие годы», № 4, 1908, стр. 61).

Сам Н. А. Морозов рассказывал по выходе из Шлиссельбурга, что отрезанные от всего мира он и его товарищи должны были искать всеми путями сношения с внешним миром, с живыми людьми, не принадлежавшими к составу охраны. В условиях их заключения и священник мог оказаться отдушиной, и он мог сообщить что-нибудь или «проговориться» о том или ином событии. Таков был их взгляд на приглашение священника в камеры (П. Е. Щеголев. Алексеевский равелин, книга о падении и величии человека. М., 1929, стр. 339).

Подробный рассказ о пребывании Н. А. Морозова в Шлиссельбургской крепости оставил И. П. Ювачев, попавший туда в самом начале «вечного» заточения Н. А. Морозова. «Однажды летом 1885 г. приходит ко мне смотритель и спрашивает, не желаю ли я гулять вдвоем с одним из товарищей по заключению.— Конечно, хочу.

Меня охватила невыразимая радость, но одновременно я почувствовал и некоторое смущение. Мне казалось, что я уже отвык от людей... Меня ввели в загородку, в северо-восточном углу тюремного двора, разделенную на небольшие клетки в виде секторов. Оставив меня в одной из них под присмотром жандармов, помещавшихся тут же, на деревянной вышке, смотритель пошел за другим заключенным.

Через три-четыре минуты, слышу — ведут его. Открывается дверь, и входит высокий, страшно бледный и сильно истощенный молодой человек с небольшой русой бородкой, в таком же арестантском костюме, как и я, товарищ по заключению, по общим страданиям! Но, боже мой, что за вид у него! Болезненно худой, с тусклыми глазами; серый халат повис складками, как на вешалке, из башмаков выбились подвертки. Он не шагал, подымая ноги, а передвигал и волочил их, как старик. Пройдя два шага, он останавливается и смотрит себе под ноги, как бы выбирая место, куда стать... Мы сказали друг другу свои фамилии.

Во все время наших первых переговоров дверь была открыта, и солдаты вместе с смотрителем с видимым любопытством смотрели на наше свидание. Когда они ушли, Н. А. Морозов — так звали моего нового товарища — спрашивает меня: — Вы давно в одиночном заключении? — Три года.

Он недоверчиво заглянул мне в глаза и стал расспрашивать о моих занятиях. Потом, когда через десять минут оживленного разговора мы стали друзьями, он откровенно признался:

— А знаете ли, я ведь вас заподозрил, когда вы сказали мне, что сидели три года.— Почему же? — Да у вас блестят глаза, как будто вы вчера приехали из деревни. Я вот совсем ослабел глазами, теперь и читать не могу.

Я объяснил ему, что прежде я тоже не мог читать, но потом, ежедневно делая холодные ванны для глаз, снова укрепил их.

Это был Н. А. Морозов... Мы виделись во время прогулок два раза в неделю. Каждый из нас приходил на свидание с кучею всевозможных вопросов, но предложить их один другому на разрешение мы никогда не успевали. Тогда мы придумали такую систему: как только встречаемся в загородке, прежде всего выкладываем друг другу все наши заранее приготовленные вопросы. Иные сейчас же разрешались, а которые требовали более обдуманного ответа, оставлялись до следующего свидания. И о чем только ни переговорили мы в эти немногие минуты! К моему счастию, я встретил в Морозове тоже любителя математики и астрономии [И. П. Ювачев был до ареста морским офицером]... К сожалению, он настолько ослаб глазами, что временами совершенно не мог ни читать, ни писать. Иногда он выносил книгу на прогулку и просил меня прочесть наиболее заинтересовавшие его страницы. А ведь был когда-то красивый, здоровый, краснощекий юноша! Николай Александрович много мечтал по выходе из тюрьмы завести школу и отдать все свои силы, богатства и способности детям» (И. П. Ювачев. Шлиссельбургская крепость. М., 1907, стр. 71 и сл.).

Автор этого рассказа не упоминает об одном любопытном эпизоде из его совместных прогулок с Н. А. Морозовым в клетках Шлиссельбургской крепости. Разделявший до ареста боевую программу «Народной воли», Ювачев в годы заточения постепенно «превратился в миролюбца в духе Толстого и советовался с Морозовым, не должен ли он, согласно изменению своих убеждений, довести до сведения правительства об одной тайне, известной ему как революционеру: дело шло об указании места, с которого легко было сделать покушение на жизнь императора Александра III, жившего в Аничковом дворце. Отец Ювачева служил в этом дворце и имел квартиру, из окна которой с величайшей легкостью можно было бросить бомбу в экипаж царя при его выездах из дворца. Стоит ли говорить, что Морозов отклонил Ювачева от этого поступка» (В. Н. Фигнер. Соч., т. II, 1932, стр. 110).

Рассказывая о посещении шлиссельбуржцев царскими сановниками, В. Н. Фигнер сообщает, что именно жандармский генерал А. И. Пантелеев разрешил передать рукопись Н. А. Морозова «О строении вещества» для рассмотрения и отзыва профессору химии. Кроме разговора о рукописи, командир жандармского корпуса затронул и вопрос политический. «Вы боролись против самодержавия,— сказал он тоном победителя,— но это самодержавие теперь крепче, чем когда-либо». Морозов отвечал: «Пусть ваше мнение таково, но я остаюсь при убеждении, что только политическая свобода даст России возможность развиваться и процветать» (Соч., т. II, стр. 178).

В конце 90-х годов к заключенным попал журнал «Новое слово», в котором печатались статьи марксистского содержания. «Впечатление от журнала было, можно сказать, потрясающее... Тотчас среди нас обозначились различные лагери: одни торжествовали, другие чувствовали себя уязвленными. Лукашевич [И. Д., осужденный по процессу А. И. Ульянова за покушение 1 марта 1887 г. на Александра III] и Новорусский... заявляли, что были социал-демократами... Их поддерживали... Шебалин и Янович... Примкнул к ним и Морозов... Начались обсуждения, горячие споры» (В. Н. Фигнер. Соч., т. II, 1932, стр. 183 и сл.).

Кроме научно-исследовательской деятельности, преподавания товарищам и писания стихов, Н. А. Морозов занимался в Шлиссельбурге, правда недолго, редактированием тюремного журнала «Паутинка». Вышел только один номер (В. Н. Фигнер. Соч., т. II, стр. 187).

В революционные дни 1905 г. опустевшая каторжная тюрьма Шлиссельбургской крепости была местом паломничества петербуржцев. Старый тюремный надзиратель водил посетителей вдоль камер, объяснял, где, кто и как сидел. О Н. А. Морозове он рассказывал: «Морозов сидел по-благородному, как мышка, не слыхать его. Заглянешь в глазок, а он либо пишет, либо так себе спокойно думает» («Голос минувшего», № 11 за 1915 г., стр. 127).

В небольшом мемуарном очерке о шлиссельбургском заточении Н. А. Морозов писал после свержения царского самодержавия: «От Шлиссельбургской крепости остались одни обгорелые стены. От этого известия веет на меня какой-то трудно определимой грустью... Когда-то, приехав много лет тому назад в Швейцарию как политический изгнанник из своей страны, я посетил в Монтрё темницу Шильонского узника и, глядя на ее сохраненную обстановку, ярко представил себе по ней мучения Бонивара, как они описаны в гениальной поэме Байрона, и думал, что когда-нибудь также будут ходить путешественники будущей свободной России, чтобы посмотреть с благоговением на мрачные темницы мучеников русских царей» (Николай Морозов. Каменный гроб. «Аргус», № 4 за 1917 г., стр. 7 и сл. См. еще книжку Н. А. Морозова «Полет в Шлиссельбург над местами заточения», П., 1917).

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ТРЕТЬЯ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

КНИГА ПЯТАЯ

Почетный академик
Николай Александрович
Морозов

Повести моей жизни

Том II

Книга отпечатана с матриц
издания 1961 года.

*

Утверждено к печати
Редколлегией научно-популярной серии
Академии наук СССР

Редактор издательства *Н. Б. Прокофьева*
Художник *Н. А. Сидельников*
Технический редактор *С. Г. Тихомирова*

*

Подписано к печати с матриц 28/XII 1964 г.
Формат 60×90[1]/[16]. Печ. л. 44 + 1 вкл.
Уч.-издат. л. 44,4 (44,3 + 0,1 вкл.). Тираж 20 000 экз.
Т-16943. Изд. № 250. Тип. зак. № 1056.

Цена за два тома 3 р. 50 к.

Издательство «Наука»
Москва, Б-62, Подсосенский пер., 21

1-я типография Издательства «Наука»
Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12.



Н. А. МОРОЗОВ

Почетный академик

Н. А. МОРОЗОВ

Повести моей жизни